UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 00276295 3

Mikhaĭlovskiĭ, Nikolaĭ Konstantinovich

Posliednia sochineniia

ПОСЛѢДНІЯ СОЧИНЕНІЯ

Н. К. МИХАЙЛОВСКАГО.

t. 1

ТОМЪ I.

ИЗДАНІЕ РЕДАКЦІИ ЖУРНАЛА

„РУССКОЕ БОГАТСТВО“.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Н. Н. Клобукова. Лиговская ул., № 34.
1905.

PG
3011
M474
t.1

789901

Оглавленіе

СТРАН.

I. Кое что о современной беллетристикѣ. — Къ Пушкинскому юбилею . . . . . 1— 46

II. Книга г. Котляревскаго о „міровой скорби". — Журналы „Начало" и „Жизнь".—Любовь къ ближнему и любовь къ дальнему. . . . . 47— 81

III. О нѣкоторыхъ мнѣніяхъ г. Невѣдомскаго . . . . . 82—103

IV. Памяти Салтыкова.— О лживыхъ словахъ, ихъ многообразіи и разнообразіи.—Г. Величко и „гражданскіе мотивы" . . . 104—133

V. О г. Соловьевѣ, какъ „моменталистѣ-трансформистѣ" и развязномъ человѣкѣ вообще . . . . . 134—161

VI. О „повѣстяхъ и разсказахъ" г-жи Лѣтковой.—О двойственныхъ чувствахъ и одиночествѣ. — О рабствѣ и условіяхъ, при которыхъ „стыдно жить" . . . . . 162—193

VII. О г. Розановѣ . . . . . 194—214

VIII. Памяти Д. В. Григоровича . . . . . 215—222

IX. „Прогрессъ, какъ эволюція жестокости" г. М. Энгельгардта.—„Накипь" г. Боборыкина.—„Добро въ ученіи гр. Толстого и Ф. Ничше" г. Л. Шестова . . . . . 223—254

X. Нѣсколько словъ по поводу двухъ писемъ. - Г. Шестовъ о гр. Л. Н. Толстомъ.—„Воскресеніе" . . . . . 255—281

XI. Кое-что о г. Чеховѣ . . . . . 282—306

XII. Объ „Альмѣ", „трагедіи изъ современной жизни" г. Минскаго 307—328

XIII. Китайскія дѣла. — Предвидѣнія г. Мамина и Лапужа.—Повѣсть объ антихристѣ г. Вл. Соловьева.—„Будущность бѣлой расы" г. Я. Новикова . . . . . 329—342

XIV. Сверхъ-патріотъ . . . . . 343—353

XV. „Знаменія времени", романъ г. Мордовцева. — „Критическія замѣтки" о немъ г-на А. Б. въ „Мірѣ Божіемъ" . . . . . 354—382

XVI. „Соціальный вопросъ съ философской точки зрѣнія" Людвига Штейна. Нѣсколько словъ „Міру Божію" . . . . . 383—402

СТРАН.

XVII. Статья г. Панова о „нѣкоторыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ литературнаго труда въ Россіи“ . . . . . 403—422

XVIII. О книгѣ г. Бердяева съ предисловіемъ г-на Струве и о самомъ себѣ . . . . . 423—445

XIX. Продолженіе о книгѣ г. Бердяева съ предисловіемъ г. Струве и о себѣ самомъ.—Кончина В. А. Манассеина . . . . . 446—470

XX. О книгѣ гг. Бердяева и Струве и о себѣ самомъ.—О докторахъ философіи вообще и о д-рѣ философіи М. М. Филипповѣ въ частности . . . . . 471—490

I *).

Кое что о современной беллетристикѣ.—Къ Пушкинскому юбилею.

Недавно одинъ изъ нашихъ собратовъ, въ противоположность распространенному мнѣнію, усмотрѣлъ въ русской беллетристикѣ „кипучую жизнь, неумолчное біеніе живой силы". У насъ, писалъ онъ,—„не теряютъ силы старшіе по времени таланты... и на ряду съ ними каждый день выдвигаетъ все новыхъ и новыхъ". „Каждый день",—конечно, такъ, съ разбѣгу сказано, потому что вѣдь это выходитъ 365 новыхъ талантовъ въ годъ (а въ высокосный 366). Но и не придираясь къ нечаянному гиперболическому выраженію, позволительно усомниться въ правильности общаго положенія почтеннаго собрата. Безспорно, „можетъ собственныхъ Платоновъ и быстрыхъ разумомъ Ньютоновъ россійская земля рождать",—почему бы нѣтъ? По крайней мѣрѣ, отчаяваться не слѣдуетъ. Но почему бы именно теперь такъ разбогатѣла беллетристическими талантами россійская земля? Авторъ не отвѣчаетъ на этотъ вопросъ, можетъ быть, только потому, что и не задаетъ его. Не будемъ же и мы вдаваться въ размышленія о причинахъ богатства, равно какъ и о томъ—одна ли беллетристика у насъ такъ процвѣтаетъ или и прочія отрасли и формы литературы соревнуютъ ей въ блескѣ. Ограничимся фактами, при томъ въ тѣхъ самыхъ предѣлахъ, которые намѣчены почтеннымъ собратомъ, и даже, пожалуй, еще болѣе узкихъ.

Онъ пишетъ: „если сравнивать нашу родную беллетристику съ иностранной, право, мы вовсе не такъ ужъ обижены судьбой. На Западѣ выступаютъ двѣ-три крупныя звѣзды, въ родѣ Зола во Франціи, Гауптмана въ Германіи, Ибсена въ норвежской литературѣ, около которыхъ группируются нѣсколько меньшихъ свѣтилъ, а за-

* Январь и февраль 1899 г.

тѣмъ разстилается обширное поле дарованій, приближающихся къ посредственности, мелкихъ метеоровъ, блистающихъ на мгновеніе, чтобы исчезнуть безслѣдно". Выразивъ затѣмъ вышеприведенную мысль объ обиліи у насъ талантовъ и сказавъ въ особенности нѣсколько любезныхъ словъ „Русскому Богатству", „на страницахъ котораго можно найти рядъ новыхъ писателей, отличающихся несомнѣнно искрой таланта, вдумчивостью и оригинальностью",— авторъ заканчиваетъ такъ: наша литература „далека отъ оскудѣнія и слабости, отъ декадентскихъ кривлѣній и жалкихъ попытокъ къ символизму, вымученной манерности и ломанія, въ значительной степени характеризующихъ литературу Запада въ послѣднее время".

Не будемъ говорить о европейской литературѣ, — это тема, слишкомъ обширная для вступленія къ сегодняшней бесѣдѣ. Не будемъ говорить и о разныхъ отечественныхъ „цимбалистахъ" (выраженіе Поля Верлена),—были они, и по сейчасъ, пожалуй, есть, но въ общемъ цимбализмъ у насъ, дѣйствительно, не ко двору пришелся. Въ нашей беллетристикѣ несомнѣнно сохраняются здоровыя зерна, дающія время отъ времени свѣжіе и оригинальные ростки, которые, однако, рѣдко, слишкомъ рѣдко оправдываютъ возлагаемыя на нихъ надежды. И являются-то они не только не „каждый день", а примѣрно въ пропорціи одного на сто бездарностей или посредственностей. Но это бы еще не бѣда, а въ томъ бѣда, что какая-то безжалостная коса быстро срѣзываетъ эти ростки; какая-то мрачная сила мѣшаетъ имъ развернутьса и дать могучую листву, подъ тѣнью которой можно было бы укрыться отъ непогоды, яркій цвѣтъ, на которомъ отдохнулъ бы глазъ, и питательный плодъ. Сошлюсь на читателей „Русскаго Богатства". Нашъ журналъ можетъ безъ ложной скромности принять похвалу выше цитированнаго критика. Онъ правъ, говоря, что намъ удалось представить читателю нѣсколько новыхъ, оригинальныхъ, вдумчивыхъ и талантливыхъ беллетристовъ. Но многихъ ли изъ нихъ намъ удалось представить въ многократномъ видѣ? Ко многимъ ли изъ нихъ успѣлъ читатель прилѣпиться душой? Къ сожалѣнію, это большею частію именно „метеоры, блистающіе на мгновеніе". Таковъ фактъ, разумѣется, преходящій, но пока солнце взойдетъ, роса очи выѣстъ, а въ настоящую минуту это фактъ несомнѣнный и закрывать на него глаза не приходится,— отъ этого не разбогатѣешь...

Послушаемъ самихъ молодыхъ беллетристовъ и возьмемъ двухъ изъ тѣхъ, кого упомянутый критикъ перечисляетъ для иллюстраціи

своей мысли о „кипучей жизни, немолчномъ біеніи, живой силы“ въ нашей литературѣ,—гг. Горькаго и Вересаева. Это тѣмъ поучительнѣе, что оба названные писателя несомнѣнно талантливы. Предупреждаю читателя, что выписки изъ произведеній того и другого будутъ большія, но онъ объ этомъ не пожалѣетъ.

„Была ночь, когда я вышелъ изъ дома, гдѣ въ кругу близкихъ мнѣ людей читалъ свой первый напечатанный разсказъ. Меня много хвалили за него и я, пріятно взволнованный, медленно шагалъ по пустынной улицѣ, впервые въ моей жизни испытывая такъ полно наслажденіе жить“. Такъ начинается разсказъ г. Горькаго „Читатель“, напечатанный въ ноябрьской книжкѣ журнала „Космополисъ“. Далѣе молодого беллетриста, отъ имени котораго ведется разсказъ, нагоняетъ нѣкто таинственный и ведетъ съ нимъ разговоръ о литературѣ. Вотъ нѣкоторыя изъ этихъ, то ядовитыхъ, то страстныхъ, рѣчей:

Теперь притупляется вниманіе къ простому и ясному, какъ черезчуръ холодному и жесткому, а согрѣть и смягчить что-нибудь мы не умѣемъ—мы сами холодны и жестки. Мы, кажется, снова хотимъ грезъ, красивыхъ вымысловъ, мечты и странностей, ибо жизнь, созданная нами, бѣдна красками, тускла, скучна! Дѣйствительность, которую мы когда-то такъ горячо хотѣли перестроить, сломала и смяла насъ... Что же дѣлать? Попробуемъ, быть можетъ вымыселъ и воображеніе помогутъ человѣку подняться ненадолго надъ землей и снова высмотрѣть на ней свое мѣсто, потерянное имъ. Потерянное, не правда ли? Вѣдь человѣкъ теперь не царь земли, а рабъ жизни, утратилъ онъ гордость своимъ первородствомъ, преклоняясь предъ фактами, не такъ ли? Изъ фактовъ, созданныхъ имъ, онъ дѣлаетъ выводъ и говоритъ себѣ: вотъ непреложный законъ! И подчиняясь этому закону, онъ не замѣчаетъ, что ставитъ себѣ преграду на пути къ свободному творчеству жизни, въ борьбѣ за свое право ломать для того, чтобы создавать. Да онъ и не борется больше, а только приспособляется... Чего ради ему бороться? Гдѣ у него тѣ идеалы, ради которыхъ онъ пошелъ бы на подвигъ? Вотъ почему живется такъ бѣдно и скучно, вотъ почему обезсилѣлъ въ человѣкѣ духъ творчества...

Когда-то среди насъ жили великіе мастера слова, тонкіе знатоки жизни и человѣческой души, люди, одухотворенные неукротимымъ стремленіемъ къ совершенствованію бытія, одухотворенные глубокой вѣрой въ человѣка. Они создали книги, которыхъ никогда не коснется забвеніе, ибо въ книгахъ тѣхъ запечатлѣны вѣчныя истины, нетлѣнной красотой вѣетъ съ ихъ страницъ. Образы, начертанные въ тѣхъ книгахъ, живы, ибо воодушевлены силой вдохновенія, а примѣры поступковъ и правила жизни во вѣки будутъ незыблемы. Въ тѣхъ книгахъ есть и мужество, и гнѣвъ пылающій, въ нихъ звучитъ и любовь искренняя и свободная, и ни одного лишняго слова нѣтъ въ нихъ. Оттуда, я знаю, ты черпалъ пищу душѣ своей... Но, должно быть, плохо питалась душа твоя, ибо у тебя рѣчь о правдѣ и любви звучитъ фальшиво и лицемѣрно, точно ты насилуешь себя, когда говоришь объ этомъ.

Ты, какъ луна, чужимъ свѣтомъ свѣтишь, свѣтъ твой печально-тусклъ, онъ много плодитъ тѣней, но слабо освѣщаетъ и не грѣетъ онъ никого. Ты нищъ для того, чтобы дать людямъ что-нибудь дѣйствительно цѣнное, а то, что ты даешь, ты даешь не ради высокаго наслажденія обогащать жизнь красотой мысли и слова, а гораздо больше для того, чтобы возвести случайный фактъ твоего существованія на степень феномена, необходимаго для людей. Ты даешь для того, чтобы больше взять отъ жизни и людей. Ты нищъ для подарковъ, ты просто ростовщикъ, — даешь крупицу твоего опыта подъ проценты вниманія къ тебѣ. Твое перо слабо ковыряетъ дѣйствительность, тихонько ворошитъ мелочи жизни и, описывая будничныя чувства будничныхъ людей, ты открываешь ихъ уму, быть можетъ, много низкихъ истинъ, но можешь ли ты создать для нихъ хотя бы маленькій, возвышающій душу обманъ?.. Нѣтъ! Ты увѣренъ, что это полезно рыться въ мусорѣ буденъ и не умѣть находить въ нихъ ничего, кромѣ печальныхъ, крошечныхъ истинъ, установляющихъ только то, что человѣкъ золъ, глупъ, безчестенъ, что онъ вполнѣ и всегда зависитъ отъ массы внѣшнихъ условій, что онъ безсиленъ и жалокъ одинъ и самъ по себѣ. Знаешь, ты, пожалуй, уже успѣлъ убѣдить его въ этомъ! Ибо душа его охлаждена и умъ тупъ... Еще бы! Онъ смотритъ на свое изображеніе въ твоихъ книгахъ, а книги, особенно если онѣ написаны съ той увѣренностью, которую такъ часто вы принимаете за талантъ, всегда нѣсколько гипнотизируютъ человѣка. Онъ смотритъ на себя въ твоемъ изображеніи и, видя какъ онъ дуренъ, не видитъ возможности быть лучше. Развѣ ты умѣешь показать ему эту возможность?..

Понимаете ли вы жизнь настолько, чтобы объяснить ее другимъ? Понимаете ли вы запросы своего времени, предчувствуете ли вы будущее и что вы можете сказать для возбужденія человѣка, растлѣннаго мерзостью жизни, павшаго духомъ? Онъ упалъ духомъ, его интересъ къ жизни низокъ, желаніе жить съ достоинствомъ въ немъ изсякаетъ, онъ хочетъ жить просто, какъ свинья, и—вы слышите? Уже онъ нахально смѣется, когда произноситъ слово идеалъ; человѣкъ становится только грудой костей, покрытыхъ мясомъ и толстой шкурой, эту скверную груду двигаетъ не духъ, а похоти. Онъ требуетъ вниманія—скорѣе! помогайте ему жить, пока онъ еще человѣкъ!.. Но что вы можете сдѣлать для возбужденія въ немъ жажды жизни, когда вы только ноете, стонете, охаете или равнодушно рисуете, какъ онъ разлагается? Надъ жизнью носится запахъ гніенія, трусость, холопство пропитываютъ сердца, лѣнь вяжетъ умы и руки мягкими путами... Что вы вносите въ этотъ хаосъ мерзости? Какъ вы всѣ мелки, какъ жалки, какъ васъ много!..

Вотъ что говорилъ молодому беллетристу, имѣвшему успѣхъ, таинственный нѣкто, олицетвореніе его собственной совѣсти. Эти бичующіе монологи совѣсти не внушаютъ увѣренности въ наличности „кипучей жизни, неумолчнаго біенія живой силы...“

А вотъ что записываетъ въ своемъ дневникѣ герой лучшаго изъ произведеній г. Вересаева „Безъ дороги“:

„Зачѣмъ я отъ времени зависѣть буду? Пускай же лучше оно зависитъ отъ меня“. Мнѣ часто вспоминаются эти гордыя слова Базарова. Вотъ были

люди! Какъ они вѣрили въ себя! А я, кажется, настоящимъ образомъ въ одно только и вѣрю,—это именно въ неодолимую силу времени. „Зачѣмъ я отъ времени зависѣть буду!“ Зачѣмъ? Оно не отвѣчаетъ; оно незамѣтно захватываетъ тебя и ведетъ, куда хочетъ; хорошо, если твой путь лежитъ туда же, а если нѣтъ? Сознавай тогда, что ты идешь не по своей волѣ, протестуй всѣмъ своимъ существомъ, — оно все-таки дѣлаетъ по своему. Я въ такомъ положеніи и находился. Время тяжелое, глухое и сумрачное со всѣхъ сторонъ охватывало меня, и я со страхомъ видѣлъ, что оно посягаетъ на самое для меня дорогое, посягаетъ на мое міросозерцаніе, на всю мою душевную жизнь... Какимъ чудомъ могло случиться, что въ такой короткій срокъ все такъ измѣнилось? Самыя свѣтлыя имена вдругъ потускнѣли, слова самыя великія стали пошлыми и смѣшными; на смѣну вчерашнему поколѣнію явилось новое, и не вѣрилось, неужели *эти* — всего только младшіе братья вчерашнихъ? Въ литературѣ медленно, но непрерывно шло какое-то общее заворачиваніе фронта, и шло вовсе не во имя какихъ либо новыхъ началъ, о нѣтъ! Дѣло было очень ясно: это было лишь ренегатство, — ренегатство общее, массовое и, что всего ужаснѣе, безсознательное. Литература тщательно оплевывала въ прошломъ все свѣтлое и хорошее, но оплевывала наивно, сама того не замѣчая, воображая, что поддерживаетъ какіе-то „завѣты“; прежнее чистое знамя въ ея рукахъ давно уже обратилось въ грязную тряпку, а она съ гордостью несла эту опозоренную ею святыню и звала къ ней читателя; съ мертвымъ сердцемъ, безъ огня и безъ вѣры, говорила она что-то, чему никто не вѣрилъ.

Какъ видитъ читатель, герой г. Вересаева подходитъ къ современной литературѣ не съ той стороны, какъ герой г. Горькаго, и, однако, тоже не находитъ въ ней кипучей жизни и неумолчнаго біенія живой силы. Могутъ возразить, что докторъ Чекановъ (такъ зовутъ героя разсказа г. Вересаева) говоритъ о прошедшемъ времени: его дневникъ относится къ 1892 году, и пишетъ онъ о своемъ настроеніи за три предыдущіе года. Съ тѣхъ поръ, съ конца восьмидесятыхъ годовъ, много воды утекло, и, можетъ быть, народилась новая литература, бодрая, сильная, обильная оригинальными талантами. Молодой беллетристъ, отъ лица котораго ведется разсказъ г. Горькаго, съ этимъ во всякомъ случаѣ не согласился бы. Что же касается доктора Чеканова, то его мысли и настроенія выяснятся намъ послѣ того, какъ мы присмотримся къ самому г. Вересаеву. А пока сдѣлаемъ только одну фактическую поправку. Докторъ Чекановъ правъ, говоря, что съ восьмидесятыхъ годовъ началось въ литературѣ „тщательное оплевываніе въ прошломъ всего свѣтлаго и хорошаго“. Но онъ даже до странности ошибается, утверждая, будто и оплевывающіе „воображали, что поддерживаютъ какіе-то „завѣты“, будто „заворачиваніе фронта шло вовсе не во имя какихъ либо новыхъ началъ“. Говорить такъ — значитъ вычер-

кивать чрезвычайно яркую и характерную страницу изъ новѣйшей исторіи русской литературы. Какъ разъ наоборотъ: отъ „завѣтовъ“ громогласно отрекались, „новыя начала“ столь же громогласно провозглашались. Припомните всѣ эти въ разныхъ концахъ литературы раздававшіеся торжественные „отказы отъ наслѣдства“, эти задорныя провозглашенія „новыхъ мозговыхъ линій“, эти откровенныя заявленія: „идеалы отцовъ и дѣдовъ надъ нами безсильны“, эти столь же глупыя и невѣжественныя, какъ и наглыя нападки на „отцовъ“ и т. д., и т. д. Все это началось именно тогда, когда, по мнѣнію доктора Чеканова, литература воображала, что она блюдетъ „завѣты“, и ни о какихъ „новыхъ началахъ“ не думала.

Сдѣлавъ эту чисто фактическую поправку, спросимъ себя,—не эти ли разныя, столь, повидимому, ярко выдвинутыя „новыя начала“ породили ту кипучую жизнь и то неумолчное біеніе живой силы, которыя усмотрѣлъ въ современной беллетристикѣ вышеупомянутый критикъ и которыя, впрочемъ, рѣшительно отрицаются совѣстью молодого беллетриста въ разсказѣ г. Горькаго? или,—въ виду этого разногласія, — чѣмъ и какъ вообще отозвались на беллетристикѣ „новыя начала“? Взятая во всей обширности, это тема высоко интересная, но сейчасъ мнѣ некогда, да и охоты нѣтъ читать или перечитывать разныя „первыя ступени новой красоты“, разныхъ „Инвалидовъ“ и т. п. Ограничимся тѣмъ матеріаломъ, который дается произведеніями г. Вересаева, котораго все равно пришлось бы выдѣлить, какъ писателя и искренняго, и талантливаго. Кстати же недавно вышелъ отдѣльнымъ изданіемъ сборникъ его „Очерковъ и разсказовъ“.

Въ книжкѣ г. Вересаева всего семь разсказовъ, изъ которыхъ только одинъ („Безъ дороги“) достигаетъ нѣсколько значительныхъ размѣровъ, а есть и такіе („Прекрасная Елена“, „Загадка“), въ которыхъ всего по нѣскольку страничекъ. При такомъ багажѣ, вообще говоря, рано выступать съ собраніемъ произведеній. Но у насъ нынче ужъ такъ повелось: напечатаетъ человѣкъ въ журналѣ или газетѣ нѣсколько разсказовъ и тотчасъ же торопится вторично предложить ихъ читателямъ въ видѣ отдѣльнаго изданія. Однако, что касается собственно г. Вересаева, то можно порадоваться, что ему пришла въ голову эта мысль. Мало того, можно пожалѣть, что онъ не указалъ даты, когда именно, въ которомъ году написанъ каждый изъ разсказовъ, или не расположилъ ихъ, по крайней мѣрѣ, въ хронологическомъ порядкѣ. Конечно, для молодого, еще недавно высту-

пившаго писателя, у котораго, собственно говоря, нѣтъ прошлаго, это было бы нѣсколько претенціозно. Но я надѣюсь показать, что даже на основаніи тѣхъ немногихъ свѣдѣній, которыя я имѣю о хронологіи разсказовъ г. Вересаева, можно придти къ небезынтереснымъ выводамъ. А свѣдѣнія мои сводятся вотъ къ чему. Самый значительный—и по размѣрамъ, и по содержанію, и по художественности формы—разсказъ „Безъ дороги", былъ напечатанъ въ „Русскомъ Богатствѣ". Но это не первое произведеніе г. Вересаева. Послѣ „Безъ дороги" тамъ же былъ напечатанъ разсказъ „На мертвой дорогѣ". Разсказъ (или „эскизъ", какъ называетъ его авторъ) „Повѣтріе" написанъ еще позже и, если не ошибаюсь, до отдѣльнаго изданія нигдѣ не былъ напечатанъ. Какъ распредѣлить остальные четыре разсказа,—не знаю...

Молодой врачъ Чекановъ служилъ въ земствѣ и получалъ отъ властей аттестацію „преданнаго своему дѣлу врача", которая, однако, съ теченіемъ времени замѣнилась иною — „наглаго и неотесаннаго фрондера", и Чекановъ долженъ былъ, наконецъ, оставить службу. Онъ пріѣхалъ въ деревню къ дядѣ отдохнуть. Пріѣхалъ въ мрачномъ настроеніи, навѣянномъ не только служебной неудачей. Въ качествѣ земскаго врача онъ работалъ много и самоотверженно, онъ „сознательно отказался отъ довольной и обезпеченной жизни" и „ушелъ туда, гдѣ много горя, много нужды и такъ мало поддержки и помощи". Однако дѣлалъ онъ свое дѣло „безъ живого огня", „горько смѣясь въ душѣ надъ самимъ собой". Въ работѣ онъ видѣлъ свое спасеніе, онъ хотѣлъ „наркотизироваться" ею, „совершенно забыть себя". А нужно это ему было потому, что въ немъ происходилъ какой-то мучительный переломъ „міросозерцанія". Если бы онъ захотѣлъ говорить готовыми, чужими словами, онъ могъ бы сказать: я чувствую, что идеалы отцовъ и дѣдовъ утрачиваютъ свою силу надо мной. Но сказалъ бы онъ это не съ тѣмъ самодовольнымъ видомъ, съ какимъ эта и подобныя ей фразы писались въ литературѣ, а, напротивъ, съ сокрушеніемъ и сердечною болью. Онъ прибавилъ бы: и это мнѣ мучительно больно; во-первыхъ, потому, что я тѣми идеалами жилъ, душу свою въ нихъ клалъ, а не красивыя лишь сочетанія словъ и мыслей въ нихъ видѣлъ; во-вторыхъ, потому, что мнѣ нечѣмъ ихъ замѣнить,—мнѣ жить нечѣмъ. Именно къ такому безотрадному результату пришелъ Чекановъ: „уничтожиться, уничтожиться совершенно — единственное для меня спасеніе". Къ этому надо прибавить, что Чекановъ неизлѣчимо боленъ, у него чахотка.

Въ деревнѣ у дяди онъ находитъ тихую пристань: свобода, просторъ, воспоминанія дѣтства, любящіе родственники, смѣшные, но добродушные старики, жизнерадостная, беззаботная молодежь... Но среди этой молодежи есть дѣвушка Наташа, двоюродная сестра Чеканова, нарушающая спокойно веселую гармонію деревенскаго затишья и вмѣстѣ съ тѣмъ душой родственная Чеканову. Ее, какъ и большинство хорошей русской молодежи, тревожатъ вопросы: „что дѣлать?“ „какъ жить свято, достойно?“ Она разсчитываетъ получить отъ Чеканова отвѣты на эти вопросы, и еще недавно онъ зналъ бы, что отвѣчать; онъ и теперь знаетъ соотвѣтственныя „высокія“ слова, но ему стыдно ихъ произносить, потому что въ немъ самомъ надломлена вѣра въ нихъ. Въ разговорахъ Наташи проскальзываютъ слова „долгъ народу“, „дѣло“, „идея“. Чеканову же эти слова „рѣжутъ ухо, какъ визгъ стекла подъ тупымъ шиломъ“. Разъ только, прижатый, такъ сказать, къ стѣнѣ Наташей, Чекановъ посовѣтовалъ ей идти въ сельскія учительницы, но онъ „говорилъ это, какъ плохой актеръ говоритъ заученный монологъ“. И скоро Чекановъ откровенно признался въ этомъ Наташѣ. Онъ такъ исповѣдался ей:

Ты подозрѣваешь, что я самъ не вѣрю... Не вѣрю? Наташа, голубушка, я вѣрю, всею силою души вѣрю, — это ты ошибаешься. Люби ближняго своего, какъ самого себя,—нѣтъ больше этой заповѣди. Если бы ея не было, мнѣ страшно, что было бы со мной. И ты повѣришь, что я не фразы говорю. Но тебѣ нужно другое. Жить для другихъ, работать для другихъ... Все это слишкомъ обще. Ты хочешь идеи, которая наполнила бы всю жизнь, которая бы захватила тебя цѣликомъ и упорно вела къ опредѣленной цѣли; ты хочешь, чтобъ я вручилъ тебѣ знамя и сказалъ: „вотъ тебѣ знамя, — борись и умирай за него“... Я больше тебя читалъ, больше видѣлъ жизнь, но со мною то же, что съ тобой: *я не знаю!*—въ этомъ вся мука.

Вскорѣ послѣ этой исповѣди доносятся вѣсти о холерѣ и холерныхъ безпорядкахъ (напоминаю, что дѣйствіе происходитъ въ 1892 г.). Докторъ Чекановъ вновь поступаетъ на службу и ѣдетъ въ холерныя мѣста, напутствуемый „дѣтски восторженнымъ, любящимъ“ взглядомъ и горячимъ поцѣлуемъ Наташи. На холерной практикѣ онъ то поднимается духомъ, то падаетъ, то завоевываетъ, то теряетъ довѣріе простого народа, напуганнаго эпидеміей и дикими слухами о злой роли врачей и больницъ. Дѣло кончается тѣмъ, что напоенная этими слухами и водкой толпа избиваетъ и безъ того неизлѣчимо больного, слабаго Чеканова. Передъ смертью онъ записываетъ свои обидныя и скорбныя думы. Къ умирающему пріѣзжаетъ Наташа, и послѣднія строки дневника посвящены ей: „Я говорю ей, чтобы она любила

людей, любила народъ, что не нужно отчаяваться, нужно много и упорно работать, нужно искать дорогу, потому что работы страшно много... И теперь мнѣ не стыдно говорить эти „высокія" слова. Она жадно слушаетъ и не замѣчаетъ, какъ слезы льются по ея лицу; а я смотрю на нее, и тихая радость овладѣваетъ мной; и я думаю о томъ, какая она славная дѣвушка, и какъ много въ жизни хорошаго, и... и какъ хорошо умирать"...

Я счелъ нужнымъ напомнить читателю фабулу значительнѣйшаго изъ разсказовъ г. Вересаева и нѣкоторыя его собственно психологическія детали. Но разсказъ заслуживаетъ вниманія не только своимъ остовомъ, а и тою художественною плотью-кровью, въ которую авторъ облекъ этотъ остовъ. Форма дневника очень неблагодарна въ художественномъ отношеніи. Если подлинные дневники могутъ представлять высоко интересный матеріалъ, то дневники художественные, отъ которыхъ мы требуемъ не матеріала, а его обработки, большею частію скучны, а дневникъ Чеканова, по самой своей задачѣ, долженъ носить сѣрый, унылый характеръ. Но на этомъ уныломъ фонѣ ярко выдѣляются и трагическіе моменты вродѣ избіенія Чеканова озвѣрѣвшей толпой, и полныя юмора подробности вродѣ, напримѣръ, забавной сценки между двумя братьями-подростками („Очерки и разсказы", стр. 126 — 127), или фигуры стараго дяди, который занимаетъ собесѣдниковъ сообщеніями о томъ, что „макароны у итальянцевъ любимое блюдо", а „нѣмцы не могутъ обойтись безъ *бира*" и т. п. Къ этому разнообразію струнъ, имѣющихся въ распоряженіи молодого автора, надо еще прибавить чувство художественной мѣры, не дозволяющее звучать этимъ струнамъ слишкомъ сильно или слишкомъ слабо, и искусство литературнаго портретиста: всѣ дѣйствующія лица выступаютъ рельефно, хотя иныя изъ нихъ очерчены всего лишь нѣсколькими штрихами. Правда, г. Вересаевъ не обнаружилъ большой оригинальности: въ разсказѣ то и дѣло проскальзываютъ знакомые мотивы. Такъ, напримѣръ, Чекановъ „чувствуетъ ненависть" къ „лишнимъ людямъ" вродѣ Чулкатурина (и Плошовскаго) и „не можетъ простить нашей чуткой славянской литературѣ, что она благоуханными цвѣтами поэзіи увѣнчала людей, заслуживающихъ лишь сатирическаго бича"; не можетъ быть, однако, сомнѣнія въ томъ, что дневникъ Чеканова во многихъ отношеніяхъ навѣянъ Тургеневскимъ „Дневникомъ лишняго человѣка". Точно такъ же, хотя Чекановъ очень строго относится къ героинѣ „Наканунѣ" и тѣмъ какъ бы подчеркиваетъ свою независимость отъ

Тургенева, но его Наташа слишкомъ напоминаетъ если не Елену, то хоть Маріанну въ „Нови“. Сцена избіенія Чеканова явно подсказана Толстымъ, найдутся и навѣянныя г. Чеховымъ черточки.

Все это не мѣшало, однако, разсказу „Безъ дороги“ быть очень и очень пріятнымъ явленіемъ въ нашей сѣрой и какъ-то растерянной беллетристикѣ. Пріятно оно было не только само по себѣ, а и по тѣмъ надеждамъ, которыя естественно возбуждало въ читателяхъ. Наши младшіе беллетристы вольно или невольно ограничиваютъ свой кругозоръ или далекими окраинами, или какими-нибудь спеціальными общественными сферами, или, наконецъ, просто случайно бросившимися въ глаза картинками. Нѣкоторыя изъ этихъ произведеній написаны очень талантливо, но удачныхъ попытокъ нарисовать сколько-нибудь широкую картину, захватывающую разные слои русскаго общества и центральные пункты русской жизни, мы со стороны молодыхъ беллетристовъ до „Безъ дороги“ г. Вересаева не видали. Конечно, этому есть и чисто внѣшнія причины. Но, нисколько не умаляя значенія этихъ причинъ, напротивъ, понимая ихъ даже гораздо болѣе широко, чѣмъ въ смыслѣ щекотливости многихъ темъ, я думаю, что нужно принять въ соображеніе не одни непосредственно внѣшнія условія для объясненія указанныхъ фактовъ. Прежде всего приходитъ въ голову просто безсиліе, неурожай талантовъ или, по крайней мѣрѣ, талантовъ, способныхъ охватывать широкіе горизонты. Однако и это уже не такъ просто, какъ можетъ показаться съ перваго взгляда. Неурожаи вѣдь могутъ зависѣть отъ разныхъ причинъ...

Какъ бы то ни было, разсказъ г. Вересаева (въ старые годы, въ виду его размѣровъ и значительности содержанія, его называли бы повѣстью), представляя собою нѣчто исключительное въ молодой беллетристикѣ, производилъ отрадное впечатлѣніе не только самъ по себѣ, а и по тѣмъ надеждамъ, которыя онъ возбуждалъ. Не то, чтобы въ лицѣ молодого автора намъ явился новый могучій талантъ вродѣ тѣхъ, которыми справедливо гордится старая русская литература; но можно было ожидать, что г. Вересаевъ, отдѣлавшись отъ нѣкоторой невольной, безсознательной подражательности, окрѣпнетъ и сдѣлаетъ еще болѣе цѣнные вклады въ отечественную литературу. Казалось, у него для этого есть всѣ данныя. Но, увы! эти ожиданія, эти надежды не оправдались...

Слѣдующее произведеніе г. Вересаева—„На мертвой дорогѣ“—было напечатано въ нашемъ же журналѣ. Это небольшой набросокъ

съ подзаглавіемъ „Изъ лѣтнихъ встрѣчъ“. Трехъ лицъ встрѣтилъ разсказчикъ на „мертвой“, то есть заброшенной дорогѣ: мужика Михайлу, шахтера Никитина и бабу-богомолку. Всѣ трое очерчены очень живо и талантливо, но читатель, памятующій впечатлѣніе, полученное отъ повѣсти „Безъ дороги“, невольно задаетъ себѣ вопросъ: почему разсказъ лишенъ какого бы то ни было центра, около котораго группировались бы три встрѣтившіеся разсказчику человѣка? почему они стоятъ, такъ сказать, торчкомъ, каждый самъ по себѣ, не связанные какимъ-нибудь общимъ дѣйствіемъ, общей концепціей? Разсказчику могла бы встрѣтиться только одна баба-богомолка или одинъ шахтеръ, или, напротивъ, одинъ за другимъ еще десять человѣкъ разнаго званія, возраста и пола, — это внесло бы только количественныя измѣненія въ разсказъ. Мужикъ Михайло, шахтеръ Никитинъ и баба-богомолка — только мимоходомъ, отрывочно и слегка набросанные портреты, связанные лишь внѣшнимъ образомъ, обстановкой „мертвой дороги“ и степи. Остановимся, напримѣръ, на фигурѣ шахтера Никитина. Литература до сихъ поръ, можно сказать, совсѣмъ не занималась своеобразнымъ міромъ, представителемъ котораго является Никитинъ. Но мы видѣли на передвижныхъ выставкахъ картины г. Касаткина, и ихъ однихъ достаточно, чтобы оцѣнить случайность выбора г. Вересаева. Съ Никитинымъ разсказчикъ былъ знакомъ еще до встрѣчи на мертвой дорогѣ. А именно онъ видѣлъ его въ одномъ изъ „балагановъ“, то есть рабочихъ казармъ: „Зайдешь въ праздникъ въ балаганъ, — говоритъ онъ, — все пьяно, на нарахъ кипитъ игра въ карты и орлянку, въ воздухѣ только одни скверныя слова и слышны; а Никитинъ молчаливо сидитъ за столомъ, склонясь своимъ худымъ лицомъ надъ какими-то чертежами; вокругъ разложены краски, готовальни, линейки. Заговоришь съ нимъ, онъ отвѣчаетъ вѣжливо, но односложно и сдержанно. Первое время я принималъ его за механика, но потомъ узналъ, что онъ простой шахтеръ“. А затѣмъ, уже на мертвой дорогѣ, оказывается, что Никитинъ — маньякъ, убѣжденный въ томъ, что главная бѣда шахтеровъ состоитъ въ отсутствіи хорошей вентиляціи въ рудникахъ и что печатное разоблаченіе этого обстоятельства вполнѣ поправитъ дѣло. Столь исключительный или столь односторонне освѣщенный представитель того полнаго мрака и ужаса міра, который мы знаемъ по картинамъ г. Касаткина и котораго г. Вересаевъ лишь бѣгло, нѣсколькими строками коснулся со стороны пьянства и сквернословія, — такой, говорю, представитель этого

міра, какъ Никитинъ, самъ по себѣ ничего не говоритъ нашему уму и сердцу. Это—занесенный художникомъ въ альбомъ или записную книжку набросокъ, который съ теченіемъ времени можетъ войти въ картину, какъ матеріалъ, подлежащій дальнѣйшей обработкѣ въ связи съ другими и гораздо болѣе важными матеріалами, а можетъ такъ и остаться сырьемъ. Подобныхъ матеріаловъ многое множество въ современной беллетристикѣ. Перечитывая многочисленные „очерки и разсказы“ разныхъ талантливыхъ, посредственныхъ и бездарныхъ авторовъ, вы невольно задаетесь вопросомъ: почему авторъ остановился на такомъ-то именно эпизодѣ или на такой-то фигурѣ и сейчасъ же перескочилъ къ такому-то или такой-то, не имѣющими съ первыми ничего общаго? Если же кто и не задаетъ себѣ этихъ вопросовъ, то только потому, что очень ужъ мы привыкли къ этому воспроизведенію случайно бросавшихся автору въ глаза предметовъ, какъ бы они ни были мало типичны или мало характерны, къ этому отрывистому творчеству, въ которомъ, по выраженію одного изъ героевъ г. Чехова, „самый искусный аналитикъ не найдетъ того, что называется общей идеей или богомъ живого человѣка“. Дѣло, понятно, не въ размѣрахъ и не въ формѣ художественнаго произведенія, а въ обладаніи художникомъ такой точкой зрѣнія, которая давала бы ему возможность различать важное и не важное, типичное и случайное, и концентрировать „разсыпанную храмину“ отрывочныхъ наблюденій. Этого-то и нѣтъ у огромнаго, подавляющаго большинства нашихъ молодыхъ беллетристовъ. Но г. Вересаевъ поманилъ насъ повѣстью „Безъ дороги“ и куда же теперь дѣвалась обнаруженная имъ сила?

А можетъ быть и никуда не дѣвалась? Изъ того, что послѣ одной, болѣе чѣмъ удачной вещи художникъ написалъ нѣчто незначительное, еще нельзя заключать объ убыли его силы. Приливы и отливы творчества очень капризны, и ни отъ кого нельзя ждать не только неустаннаго подъема, но и одного и того же уровня. Это такъ. Но вотъ послѣднее произведеніе г. Вересаева—„Повѣтріе“, опять сравнительно большого размѣра, которое составляетъ какъ бы продолженіе „Безъ дороги“. И...

Но прежде, чѣмъ говорить о „Повѣтріи“, пересмотримъ другіе очерки и разсказы г. Вересаева въ томъ порядкѣ, въ какомъ они напечатаны въ сборникѣ, такъ какъ порядокъ происхожденія ихъ мнѣ неизвѣстенъ.

„Товарищи“ — „уѣздная картинка“. Три акцизныхъ чиновника, врачъ и учитель прогимназіи, бывшіе товарищи по университету и затѣмъ попавшіе на службу въ городъ Слесарскъ, собрались у одного изъ нихъ провести вечеръ. Невеселый выходитъ вечеръ, хотя товарищи и подбадриваютъ себя пѣніемъ, пивомъ, остротами. Хозяинъ еще до прихода гостей раздумывалъ, что вотъ онъ уже два года ведетъ въ Слесарскѣ скучную, однообразную, сѣрую жизнь, состоящую изъ опротивѣвшей службы, безконечныхъ прогулокъ по комнатѣ и выпивокъ. А впереди — ничего. „Не нужно бы яркихъ радостей, разнообразія, счастія; довольно было бы знать, что живешь для чего-нибудь, что хоть кому-нибудь нужны твое дѣло, твой трудъ“. Такъ скорбитъ хозяинъ. А потомъ, когда пришли гости и когда началось пѣніе, „опять ему вспомнились два послѣдніе года, — бездѣятельные, позорные: сердце спало, мысль довольствовалась готовыми отвѣтами и ни разу не шевельнулась самостоятельно. И дальше то же будетъ. А между тѣмъ онъ учился, думалъ, искалъ... И все это для того, чтобы здѣсь, гдѣ такъ нужны люди, только пьянствовать, сплетничать и жалѣть, что не у кого научиться играть въ карты“. Всѣ присутствующіе не дурные люди, „взгляды у всѣхъ честные, симпатичные“; но обмѣниваться взглядами имъ не приходится, во-первыхъ, потому, что они у всѣхъ „до мелочей одинаковые“, а во-вторыхъ, потому, что „взгляды“ эти утратили свой живой и животворящій смыслъ и свелись къ одной словесности. И всѣхъ, даже среди кажущагося веселья, грызутъ тѣ же мысли, что и хозяина. А одинъ изъ гостей слѣдующими словами „какъ будто выдавалъ всѣмъ тайну, которую они старательно скрывали другъ отъ друга“: „Въ семьѣ, въ школѣ намъ никогда никто не говорилъ о нашихъ обязанностяхъ. Не воруй, не лги, не обижай другихъ, не, не, не... Вотъ была мораль... Мы думали спокойно прожить съ этой моралью, какъ жили наши отцы. И вдругъ приходитъ книга и обращается къ намъ съ неслыханно-громаднымъ запросомъ: она требуетъ, чтобы вся жизнь была однимъ сплошнымъ подвигомъ. Но гдѣ взять для этого силъ? Книга этихъ силъ дать не могла, — она ихъ предполагала уже существующими... И вотъ результатъ: она только искалѣчила насъ и пустила гулять по свѣту съ „больной совѣстью“...

Разсказъ производитъ тяжелое впечатлѣніе, на которое, конечно, и разсчитанъ. Вамъ жалко этихъ пяти молодыхъ людей, просвѣщенныхъ, хорошихъ, полныхъ силъ и еще недавно жаждавшихъ жизни,

но затянутыхъ уѣздной тиной. Оправившись, однако, отъ перваго впечатлѣнія, вы убѣждаетесь, что либо авторъ слишкомъ сгустилъ краски, либо эти пять молодыхъ людей ни мало не достойны сожалѣнія. Бываетъ у насъ такъ, что въ какой-нибудь Слесарскѣ злая судьба загонитъ одинокаго человѣка, и если онъ, побившись какъ рыба объ ледъ, поставленный въ исключительныя условія, запьетъ и пропадетъ, то, конечно, кромѣ обиды за него и скорби, его нравственная смерть возбудить ничего не можетъ. Но чтобы пять университетскихъ товарищей, вмѣстѣ переживавшихъ лучшія времена, попавши въ Слесарскъ, „гдѣ такъ нужны люди", нашли для себя въ сплетняхъ и пивопитіи единственное поле общенія... Нѣтъ, какъ хотите, а это не достойные сожалѣнія, а лишь въ презрительномъ смыслѣ слова жалкіе люди. И характеренъ этотъ протестъ противъ прошлаго, которое сами они признаютъ свѣтлымъ: будто бы книга потребовала, чтобы вся жизнь была сплошнымъ подвигомъ, а на дѣлѣ искалѣчила ихъ, наградивъ „больной совѣстью". Прежде всего, это фактическая неправда: не было такой книги, хотя и были книги, воздававшія или старавшіяся воздать должное подвигу и имѣвшія цѣлью будить совѣсть. И потомъ, что же ужъ ссылаться на подвиги, на дѣла великія, когда эти жалкіе люди и малыхъ-то дѣлъ кругомъ себя не находятъ; когда имъ „не нужно бы яркихъ радостей, разнообразія, счастія, а довольно бы знать, что живешь для чего-нибудь, что хоть кому-нибудь нужны твое дѣло, твой трудъ". Почему же тогда въ Слесарскѣ „такъ нужны люди"? Очевидно во всякомъ случаѣ, что изображенные г. Вересаевымъ слесарскіе обыватели лишены того, „что называется общей идеей или богомъ живого человѣка". То есть „общая идея" у нихъ, пожалуй, есть — они всѣ хорошія слова знаютъ, но это для нихъ только слова, изъ которыхъ выдохлось содержаніе, и это они тоже знаютъ. Въ этомъ ихъ и бѣда.

„Порывъ" — небольшой и все-таки очень растянутый разсказъ объ томъ, какъ мальчикъ-подростокъ, въ „порывѣ" великодушія (или просто молодой удали?), бросился спасать погибающихъ отъ наводненія при прорывѣ мельничной плотины и какъ онъ изъ-за этого поссорился съ отцомъ. Интересъ разсказа сосредоточивается на внутренней борьбѣ, происходящей въ душѣ мальчика: онъ огорчилъ родителей, людей хорошихъ, любящихъ его и имъ любимыхъ; при этомъ мать даже не гнѣвается, а только волнуется мыслью о пережитой сыномъ опасности, отецъ же смотритъ дальше и боится

за „порывистость“ мальчика вообще; все это мальчикъ понимаетъ и цѣнитъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ чувствуетъ, что ничего худого онъ не сдѣлалъ, и даже напротивъ, а потому не только не хочетъ просить у отца прощенія, какъ того требуетъ мать, но питаетъ къ нему злобное чувство, почти ненависть. Эпизодъ кончается благополучно, но душевный разладъ дорого обошелся мальчику. Потомъ онъ вспоминаетъ объ этомъ такъ, между прочимъ: „Если бы нашелся въ то время кто-нибудь, кто сказалъ бы мнѣ:—„Ты ненавидишь своего отца,—ненавидѣть его не за что; онъ тебя любитъ,—плати ему такою же любовью; но не позволяй себя оковать ею, оставь за собой навсегда право чистаго порыва, право беззавѣтнаго отклика на чужія страданія“,—если бы нашелся такой... то онъ сдѣлалъ бы хорошее дѣло“.

„Прекрасная Елена“. Живетъ въ Петербургѣ молодой, холостой, обезпеченный человѣкъ Воронецкій. Человѣкъ онъ, что называется, образованный, бывшій въ университетѣ. Но его умственные интересы не велики. Такъ, онъ „давно уже собирался познакомиться съ философіей“, для чего и купилъ „Исторію новой философіи“ Фалькенберга, но дальше четвертой страницы никакъ не могъ пойти и бросилъ Фалькенберга для Мопассана и Армана Сильвестра. У Воронецкаго есть другъ, университетскій товарищъ, Можжеловъ, котораго онъ искренно любитъ, хотя тотъ ему и кажется смѣшнымъ. А смѣшонъ онъ ему тѣмъ, что „остался совсѣмъ такимъ, какимъ былъ студентомъ: по прежнему въ каждомъ извозчикѣ и дворникѣ видитъ „брата“, по прежнему горячо разсуждаетъ о предметахъ, въ глазахъ Воронецкаго ничего не стоющихъ. У Можжелова есть жена, молоденькая, хорошенькая, скучающая при разговорахъ мужа барынька. Остроумный и веселый Воронецкій ей гораздо интереснѣе и ближе. Замѣтивъ это, Воронецкій рѣшаетъ воспользоваться тѣмъ, что такъ плохо лежитъ, и, послѣ нѣкоторыхъ предварительныхъ маневровъ, назначаетъ барынькѣ въ одиннадцать часовъ вечера свиданіе въ Лѣсномъ паркѣ (дѣло происходитъ лѣтомъ, и Можжеловы живутъ на дачѣ въ Лѣсномъ). Въ ожиданіи назначеннаго часа Воронецкій отправляется въ загородный театрикъ „Амуровы стрѣлы“, гдѣ даютъ „Прекрасную Елену“. Все идетъ, какъ должно идти въ подобныхъ заведеніяхъ, и Воронецкій усиленно подумываетъ о предстоящемъ свиданіи. Но вдругъ его поражаетъ игра Менелая. Этотъ „невѣдомый актеръ убогой сцены“ игралъ такъ, что его ревность вызвала не смѣхъ, какъ слѣдовало по ходу дѣйствія и замыслу компози-

тора, а чуть не слезы. Однако Воронецкій не сразу переваривалъ это неожиданное впечатлѣніе и уже собирался ѣхать въ Лѣсной, какъ вдругъ, послѣ нѣкотораго колебанія, перерѣшилъ и повернулъ домой Онъ ѣхалъ, „прикусивъ губу и сдерживая презрительную усмѣшку: онъ самъ себѣ былъ невыразимо смѣшонъ, что не поѣхалъ въ Лѣсной“...

Велика разница между разладомъ въ душѣ маленькаго героя „Порыва“ и разладомъ въ душѣ Воронецкаго. Тому мальчику было одинаково больно, какъ ненавидѣть своего отца, такъ и признать свой „порывъ“ чѣмъ-то дурнымъ. Воронецкому же одинаково легко и завязать интригу съ женой своего любимаго друга, и отказаться отъ этой интриги, потому что не только любви, а и настоящаго увлеченія тутъ нѣтъ,—просто плохо лежитъ, отчего же и не поднять? Однако и въ томъ, и въ другомъ случаѣ мы имѣемъ душевный разладъ, неувѣренность нравственной поступи, если можно такъ выразиться; неувѣренность, отражающуюся въ одномъ случаѣ тяжелыми душевными муками, а въ другомъ—презрительной насмѣшкой надъ самимъ собой. И это отсутствіе полной вѣры въ правильность избранняго пути или совершоннаго поступка сближаетъ героя „Порыва“ и Воронецкаго съ проживающими въ городѣ Слесарскѣ „товарищами“, которые вѣдь тоже страдаютъ отъ раздвоенности, отъ потери вѣры въ хорошія слова, когда-то полныя смысла для нихъ и воодушевлявшія ихъ, и ничѣмъ не замѣненныя. Припомнимъ, что и докторъ Чекановъ терзается тѣмъ же опустошеніемъ души и гибелью былого символа вѣры безъ замѣны его новымъ...

Мы, кажется, нащупываемъ постепенно ту нить, которою г. Вересаевъ безсознательно руководится, направляя свой художественный аппаратъ на тѣ или другія явленія жизни. Пересмотримъ съ этой точки зрѣнія разсказъ „На мертвой дорогѣ“. Теперь, догадываясь, въ чемъ состоитъ хотя бы и безсознательно руководящая нашимъ авторомъ нить, мы найдемъ, можетъ быть, въ этомъ разсказѣ нѣчто, не замѣченное нами при первомъ взглядѣ.

Шахтеръ Никитинъ—человѣкъ нелѣпый, маньякъ; его проекты преобразованія рудничной вентиляціи, по отзывамъ спеціалистовъ, вполнѣ невѣжественны; да и сама занамающая его мысль свидѣтельствуетъ объ его невѣжествѣ и необыкновенной узости, хотя, вмѣстѣ съ тѣмъ, и о благонамѣренности въ хорошемъ смыслѣ этого испачканнаго слова. Тѣмъ не менѣе, авторъ разсказываетъ: „Для Ники-

тина эти планы, въ которые онъ вложилъ столько любви и труда, видимо, дышали жизнью: ему казалось, что достаточно любому взглянуть на нихъ, чтобы сразу получить яркое представленіе о тяжелой судьбѣ шахтера". Дѣло Никитина нелѣпо и безнадежно, но онъ его таковымъ не считаетъ, онъ вѣритъ въ него, и онъ счастливъ,—счастливъ тѣмъ высшимъ счастьемъ цѣльности и отсутствія внутреннихъ противорѣчій, которое не боится никакихъ лишеній, никакой борьбы.

Баба-богомолка разсказываетъ о томъ, что она видѣла и слышала въ Іерусалимѣ. Напримѣръ такъ: „Золотыя ворота тамъ есть, теперь ихъ турки камнями заклали; въ эти ворота Христосъ въѣзжалъ на ослѣ. Евреи ему стлали по дорогѣ бархаты—шелки, а Онъ говоритъ: „Не поѣду по бархатамъ-шелкамъ, поѣду по вербамъ, что мнѣ дѣти настлали". Евреи смотрятъ,—„зачѣмъ, говорятъ, Онъ по вербамъ ѣдетъ,—царь что ли?" Хотѣли дѣтей поразогнать... Только Христосъ имъ этого не дозволилъ, говоритъ: „не препятствуйте имъ. Если, говоритъ, воспрепятствуете, то *аще камни возопіе!..*" И что же, миленькіе вы мои? Такъ до сего времени всѣ тѣ камушки, разинувши рты, и лежатъ!" (стр. 22). Баба-богомолка путаетъ евангельскія событія, перевираетъ евангельскія слова и вообще говоритъ вздоръ. Но, говоритъ авторъ,—„она относилась ко всему съ такимъ глубокимъ благоговѣніемъ, что улыбка не шла на умъ. Лицо ея смотрѣло серьезно и какъ-то успокоенно, какъ бываетъ у очень вѣрующихъ людей послѣ причастія. Видимо, изъ своего долгаго путешествія, полнаго тяжелыхъ лишеній, собесѣдница наша несла съ собою въ душѣ нѣчто новое, безконечно для нея дорогое, что всю ея остальную жизнь заполнитъ тепломъ, счастьемъ и миромъ".

Вотъ проходящіе по „мертвой дорогѣ" истинно счастливые люди, душевное состояніе которыхъ представляетъ такой рѣзкій контрастъ съ душевнымъ состояніемъ „товарищей", проживающихъ въ городѣ Слесарскѣ, мальчика „Порыва", Воронецкаго и доктора Чеканова. И этотъ контрастъ наводитъ на мысль, что вся доселѣшняя литературная дѣятельность г. Вересаева представляетъ собою нѣчто въ родѣ некрасовскаго „Кому на Руси жить хорошо?"—хорошо въ спеціальномъ смыслѣ душевной цѣльности и вѣры въ свое дѣло. Разница, однако,—помимо таланта, разумѣется,—въ томъ, что Некрасовъ, для полученія отвѣтовъ на свой вопросъ, обращается къ типическимъ фигурамъ, вслѣдствіе чего они являются передъ нами во всей своей житейской обстановкѣ. Г.-же Вересаевъ довольствуется

попадающимися ему на глаза случайностями. Ужъ, разумѣется, для изображенія счастія, даваемаго слѣпой вѣрой, можно было бы найти фигуры ярче, интереснѣе, новѣе и типичнѣе, чѣмъ шахтеръ Никитинъ или баба-богомолка, которую въ нашей беллетристикѣ трепали безчисленное множество разъ. Она бы могла и теперь занять свое мѣсто гдѣ-нибудь въ углу широкой картины, но предъявлять ее въ одиночку — совершенно не стоющее дѣло. Въ широкой картинѣ могъ бы по праву получить свое мѣсто и Никитинъ, но авторъ вырываетъ его изъ всей его среды и частію отдѣлывается отъ послѣдней нѣсколькими словами о пьянствѣ и сквернословіи шахтеровъ по воскресеньямъ, частію отмахивается отъ нея, какъ отъ назойливой мухи, словами: „Михайло, попыхивая трубкой, неутомимо разсказывалъ мнѣ о безчисленныхъ злоупотребленіяхъ здѣшнихъ углепромышленниковъ,—и ропталъ, ропталъ безъ конца“... Намъ бы вотъ хоть этихъ рѣчей Михайлы послушать, тогда, можетъ быть, и Никитинъ сталъ для насъ интереснѣе...

Какъ бы то ни было, мы имѣемъ двухъ людей „на мертвой дорогѣ“ и цѣлую коллекцію людей „безъ дороги“,—ибо ясно, что не одинъ докторъ Чекановъ годится въ герои повѣсти подъ этимъ заглавіемъ, а и „товарищи“, и мальчикъ „Порыва“, и Воронецкій, каждый въ своемъ родѣ. Но не могутъ же этимъ кончиться наши съ г. Вересаевымъ поиски счастливаго увѣренностью въ правотѣ своего дѣла человѣка. Напримѣръ, хоть бы тотъ же мальчикъ „Порыва“, котораго въ свое время удовлетворилъ бы, по его собственному признанію, довольно элементарный моральный рецептъ, съ теченіемъ времени, можетъ быть, и сталъ на настоящую дорогу. Или Наташа „Безъ дороги“, въ которой Чекановъ высоко цѣнилъ именно жажду твердой, увѣренной нравственной поступи...

Да, Наташа нашла дорогу. Къ этому событію насъ подготовляетъ маленькая, старательной ювелирной работы и символическаго характера вещица подъ заглавіемъ „Загадка“. Трудно разсказать содержаніе этой вещицы, и я не стану пытаться преодолѣвать эту трудность. Перейдемъ прямо къ тому, что она подготовляетъ, къ прозрѣнію Наташи, объ чемъ разсказывается въ „Повѣтріи“, послѣднемъ произведеніи г. Вересаева *).

Съ художественной стороны это очень слабое произведеніе.

---

*) Съ тѣхъ поръ г. Вересаевъ напечаталъ въ журналѣ „Жизнь“ начало повѣсти „Конецъ Андрея Ивановича“.

Здѣсь и въ поминѣ нѣтъ той многострунности, того разнообразія мило-юмористическихъ и глубоко-трагическихъ нотъ, которыя мы слышали въ „Безъ дороги“. Нѣтъ и того широкаго захвата жизненныхъ явленій, скажу больше: жизни нѣтъ. Авторъ сосредоточиваетъ вниманіе читателя на монологахъ и діалогахъ, на словесномъ поединкѣ „народника“ Киселева (при секундантѣ Троицкомъ) и „марксиста“ Даева (при секунданткѣ Наташѣ). Да проститъ мнѣ г. Вересаевъ, но всѣ подобные словесные поединки въ беллетристической формѣ—ни Богу свѣчка, ни чорту кочерга. Въ столь обнаженномъ видѣ они слишкомъ безжизненны, чтобы быть истинно художественнымъ произведеніемъ, и слишкомъ произвольны въ подробностяхъ, чтобы быть поучительными въ научномъ или публицистическомъ смыслѣ. И еще разъ прошу прощенія у г. Вересаева, если припомню по этому случаю „Отцовъ и дѣтей“ Тургенева. Не для униженія молодого автора хочется мнѣ сопоставить его „эскизъ“ съ такимъ крупнымъ произведеніемъ, а для сравненія пріемовъ—сравненія, на которое наводитъ самая тема „Повѣтрія“,—вѣдь и въ немъ отцы „народники“ расходятся съ дѣтьми „марксистами“. Есть и въ „Отцахъ и дѣтяхъ“ Тургенева словесные поединки, но они составляютъ только словесное отраженіе очень сложныхъ житейскихъ отношеній и явленій. Павелъ Кирсановъ (при секундантѣ Николаѣ Кирсановѣ) и Базаровъ (при секундантѣ Аркадіи) препираются не одинъ разъ, но возьмемъ, напримѣръ, Базарова: онъ на глазахъ читателя не только въ принципіальныхъ разговорахъ упражняется, а и врачебной практикой занимается, и лягушекъ рѣжетъ, и становится въ извѣстныя отношенія къ женщинѣ, и на настоящей дуэли дерется; мы узнаемъ, что онъ, при всей своей самоувѣренности, часто бываетъ глубоко недоволенъ собой; что онъ умѣетъ возбуждать къ себѣ довѣріе въ простомъ народѣ, хотя вовсе не заискиваетъ передъ нимъ, не подлаживается къ нему и т. д., и т. д. Всѣ эти, мелкія и крупныя, черты создаютъ живую почву, изъ которой естественно выростаютъ цвѣты разговоровъ, а у г. Вересаева это цвѣты срѣзанные, лишенные корней и потому не оправданные художественно. Не оправданы и надежды, возлагавшіяся на автора „Безъ дороги“...

Конечно, это не окончательное рѣшеніе: слишкомъ еще мало опредѣлился г. Вересаевъ, чтобы кто нибудь могъ взять на себя смѣлость предрекать ему будущее, да и какъ ни слабо „Повѣтріе“, оно все-таки выше многихъ изъ безчисленныхъ „очерковъ и разсказовъ“, предлагаемыхъ современному русскому читателю. Но, во

всякомъ случаѣ, мы имѣемъ отъ „Безъ дороги“ черезъ „Мертвую дорогу“ къ „Повѣтрію“ явственную наклонную плоскость.

Если словесный поединокъ, составляющій центръ тяжести „Повѣтрія“, не дорогого стоитъ въ художественномъ отношеніи, въ отношеніи формы, то тѣмъ паче не можетъ онъ удовлетворить кого нибудь своимъ содержаніемъ. Киселевъ, Троицкій, Даевъ, Наташа горячо спорятъ о рынкахъ, артеляхъ, общинѣ, переселеніяхъ. Но кто хочетъ познакомиться со взглядами обѣихъ спорящихъ сторонъ на эти вещи, тотъ, конечно, не къ разсказу г. Вересаева обратится. Единственное, что можно сказать въ пользу этихъ діалоговъ, это то, что они не для того намъ и предъявляются, чтобы исчерпать образъ мыслей обѣихъ сторонъ по тому или другому частному вопросу. Они только иллюстрируютъ характеръ и значительность разницы воззрѣній: „Споръ тянулся долго, — замѣчаетъ авторъ, — горячій, но утомительно безплодный, потому что спорящіе стояли на слишкомъ различныхъ точкахъ зрѣнія“. Дѣло, однако, въ томъ, что и эта общая характеристика спора теряетъ всякое значеніе въ виду разницы положенія спорящихъ. Напримѣръ, одинъ изъ нихъ „въ экономическихъ вопросахъ былъ очень не силенъ и только помнилъ что-то о рынкахъ, отсутствіе которыхъ дѣлаетъ развитіе русскаго капитализма невозможнымъ; противники же его, видимо, именно экономическими-то вопросами преимущественно и интересовались и засыпали его доказательствами“. А другой собесѣдникъ „больше забавлялся“ споромъ. Но если первый такъ плохо вооруженъ, а второй такъ много „забавляется“, то, можетъ быть, отъ этихъ именно случайныхъ обстоятельствъ и зависитъ безплодность спора, и во всякомъ случаѣ не однимъ „слишкомъ большимъ различіемъ точекъ зрѣнія“ объясняется эта безплодность.

Все это избавляетъ насъ отъ надобности внимательно прислушиваться къ спору. Мы возьмемъ изъ него только кое что, характерное для настроенія Наташи.

Съ тѣхъ поръ, какъ мы оставили Наташу въ „Безъ дороги“ у постели умирающаго Чеканова, съ ней произошло много событій. Сосѣдъ по имѣнію, Троицкій, видѣлъ ее два мѣсяца спустя послѣ трагической смерти Чеканова. „Измѣнилась она страшно: глаза ея горѣли глубокимъ, сосредоточеннымъ огнемъ, всѣми помыслами, всѣмъ существомъ она какъ бы ушла въ одно желаніе, — желаніе страданія и жертвы. — Въ то время Наташа часто бывала у Сергѣя Андреевича (Троицкаго) и настойчиво распрашивала его, что теперь

всего нужнѣе дѣлать, на что отдать свои силы". Читатель помнитъ, что съ этими вопросами она обращалась и къ Чеканову, и какъ тотъ не умѣлъ на нихъ отвѣтить, такъ не умѣлъ и Троицкій. Оба отвѣчали: „не знаю" (мимоходомъ сказать, совершенно такъ же, какъ въ „Скучной исторіи" г. Чехова Николай Степановичъ отвѣчаетъ на тѣ же вопросы своей воспитанницы). Потомъ Наташа была сестрой милосердія, жила въ Швейцаріи, жила въ Петербургѣ и вотъ теперь опять, черезъ четыре года, пріѣхала въ деревню. Когда Троицкій увидѣлъ Наташу, „у него сердце сжалось отъ жалости; видимо, за эти четыре года ей пришлось пережить не мало: она сильно похудѣла и поблѣднѣла, выглядѣла нервной; но за то отъ нея такъ и повѣяло на Сергѣя Андреевича бодростью, энергіей и счастьемъ. Онъ съ горячимъ интересомъ слушалъ торопливые, оживленные разсказы Наташи, наблюдалъ и думалъ: „она нашла дорогу и вѣритъ въ жизнь".

Такимъ образомъ, отъ вѣрующихъ „на мертвой дорогѣ",—шахтера Никитина и бабы-богомолки, — черезъ рядъ скептиковъ, колеблющихся и не знающихъ дороги,—„товарищей", мальчика „Порыва", Воронецкаго, доктора Чеканова, — г. Вересаевъ приводитъ насъ опять къ такимъ людямъ, которымъ „живется весело, вольготно на Руси". Не въ смыслѣ личнаго благополучія весело и вольготно, а въ смыслѣ душевнаго спокойствія, отсутствія колебаній и сомнѣній: они вѣрятъ въ жизнь и знаютъ дорогу, по которой имъ слѣдуетъ идти въ жизни. Таковы въ „Повѣтріи" не только Наташа и ея единомышленникъ и, кажется, учитель Даевъ, а и ихъ противникъ Киселевъ, „всѣмъ своимъ видомъ сильно напоминающій ярославца-цѣловальника, но только практическую сметку свою онъ употреблялъ не на „объегориваніе" и спаиваніе мужиковъ, а на дѣло широкой помощи имъ". Этотъ тоже вѣритъ въ свое дѣло, доставляющее ему „нравственное удовлетвореніе" и „хорошее счастіе". Но Наташу это счастіе удовлетворить не можетъ. И именно вотъ почему. Даевъ, въ отсутствіи Наташи, высказалъ мысль, что „переселенія вещь нежелательная, ихъ незачѣмъ поощрять, потому что въ такомъ случаѣ у насъ мало останется безземельныхъ работниковъ". Киселевъ лукаво сообщаетъ эту мысль Наташѣ, не указывая источника.—„Ну, это вы слышали отъ какого нибудь молодца съ Страстного бульвара! — съ улыбкою сказала Наташа". По ея мнѣнію, „переселенія прямо желательны, потому что они повысятъ благосостояніе и переселенцевъ, и остающихся; а это поведетъ къ

расширенію внутренняго рынка". Наташу сводятъ на очную ставку съ Даевымъ, и тотъ, признавъ фактъ, фактъ „разногласія, конечно, существеннаго", оканчиваетъ такъ: „Общее у насъ съ Натальей Александровной во всякомъ случаѣ вотъ что: дорога къ лучшему будущему лежитъ у насъ черезъ капитализмъ, разовьется онъ у насъ неизбѣжно, и никакія артели, общины и переселенія его не предотвратятъ; по моему, чѣмъ скорѣе онъ разовьется, тѣмъ для производителя лучше; Наталья Александровна думаетъ, что переселенія могутъ нѣсколько смягчить процессъ, — только. И, конечно, лишь полнѣйшая невозможность болѣе полезной работы могла бы заставить ее посвятить свои силы дѣлу переселеній или артелей".

Какъ это Наташа могла бы „посвятить свои силы дѣлу переселеній",—я не понимаю, но обратите вниманіе вотъ на что: Наташа не посвящаетъ своихъ силъ этому дѣлу не потому, что оно не ясно, не потому, что относительно его есть „существенныя разногласія", а потому, что оно для нея мелко, она желаетъ „болѣе полезной работы". Съ этой точки зрѣнія любопытны нѣкоторыя разсужденія Даева. Устройство артелей, такъ занимающее Киселева, Даевъ считаетъ „очень хорошимъ, добрымъ дѣломъ". Кромѣ того, онъ доказываетъ, что артели не только не помѣшаютъ развитію капитализма, черезъ который у насъ, какъ мы видѣли, „лежитъ дорога къ лучшему будущему", а неизбѣжно сами превратятся въ капиталистическія предпріятія. Казалось бы, поэтому, отчего бы Даеву и не разрѣшить Наташѣ „посвятить свои силы дѣлу артелей"?—и дѣло доброе, и историческіе результаты надлежащіе. Но нѣтъ, на замѣчаніе Киселева, что мало жить умомъ, нужно и сердцемъ жить, Даевъ возражаетъ: „Но вѣдь сердечность и въ томъ, чтобы, скажемъ, накормить нищаго, ухаживать за больнымъ человѣкомъ? Если я устрою ночлежный домъ или богадѣльню, это вѣдь тоже будетъ очень хорошимъ, сердечнымъ дѣломъ, не такъ ли?.. Все это важно. Филантропія—вещь необходимая, потому что на землѣ слишкомъ много горя. Но *причинъ* этого горя филантропія по самому своему существу не можетъ уничтожить... Очень возможно, что ваши артели поднимутъ благосостояніе артельщиковъ, улучшатъ на нѣкоторое время ихъ положеніе,—противъ этого никто не станетъ спорить. Но вы при этомъ поможете *только даннымъ лицамъ*, вслѣдствіе вашей помощи *имъ* станетъ хорошо, и больше никому. А это и есть то, что называется филантропіей".

При такомъ широкомъ пониманіи филантропіи и при нежеланіи

ею заниматься, Наташѣ очень трудно найти достойное ея дѣло. Говорю объ Наташѣ, а не объ Даевѣ, потому что его мы знаемъ только какъ говорильщика, а съ Наташей познакомились еще въ „Безъ дороги“. Знаемъ, что она учила деревенскихъ ребятишекъ и дѣвокъ, читала имъ, сама училась, готовилась поступить на медицинскіе курсы и проч. Знаемъ высокое объ ней мнѣніе покойнаго Чеканова. Помните, онъ ей говорилъ: „Люби ближняго своего, какъ самого себя,—нѣтъ больше этой заповѣди... Но тебѣ нужно другое. Жить для другихъ, работать для другихъ... Все это слишкомъ обще. Ты хочешь идеи, которая наполнила бы всю жизнь, которая захватила бы тебя цѣликомъ и упорно вела къ опредѣленной цѣли; ты хочешь, чтобъ я вручилъ тебѣ знамя и сказалъ: „Вотъ тебѣ знамя,—борись и умирай за него“... И вотъ почему Чекановъ предложилъ было Наташѣ роль сельской учительницы, но тогда же чувствовалъ, а потомъ и ей сказалъ, что это слишкомъ мелкая для нея дѣятельность. И въ самомъ дѣлѣ: сельская учительница (какъ, впрочемъ, и всякая другая учительница и всякій другой учитель въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова) „поможетъ *только даннымъ лицамъ*“, а это „филантропія“, недостойная исключительной натуры Наташи. „Товарищамъ“ „довольно было бы знать, что живешь для чего нибудь, что хоть кому нибудь нужны твое дѣло, твой трудъ“; мальчика „Порыва“ утихомирило бы „право беззавѣтнаго отклика на чужія страданія“; разочарованный Чекановъ всетаки живетъ заповѣдью „люби ближняго своего, какъ самого себя“. Но Наташѣ не то нужно, не на томъ она бы успокоилась...

Можно пожалѣть, что г. Вересаевъ въ своихъ поискахъ людей, „нашедшихъ дорогу и вѣрящихъ въ жизнь“, ограничился шахтеромъ Никитинымъ, бабой-богомолкой, артельщикомъ Киселевымъ, да Наташей съ Даевымъ. Людей съ твердой нравственною поступью совсѣмъ не такъ мало. Оставимъ въ сторонѣ тѣхъ, кто „безъ борьбы, безъ думы роковой“ живетъ въ свое удовольствіе и твердо увѣренъ въ своемъ правѣ растолкать всѣхъ направо и налѣво, чтобы добраться до жирнаго куска; и тѣхъ, кто, какъ ломовая лошадь, везетъ свой жизненный возъ, исполняя свой долгъ воспитанія дѣтей, и т. п. Но вотъ, напримѣръ, ученый, астрономъ или химикъ, твердо увѣренный въ великомъ значеніи своего дѣла; адвокатъ, искренно вѣрующій въ святость своей миссіи; земскій дѣятель, убѣжденный въ своемъ дѣлѣ; писатель, не имѣющій никакихъ сомнѣній въ томъ, что онъ дѣлаетъ настоящее благое дѣло, распространяя правильные

взгляды, напримѣръ, на отношенія къ инородцамъ (каковы бы эти взгляды ни были, положительные или отрицательные, лишь бы онъ въ нихъ искренно вѣрилъ) и т. д., и т. д. Было бы интересно, если бы г. Вересаевъ ввелъ подобную, по возможности пеструю компанію въ то помѣщеніе, гдѣ происходитъ словесный поединокъ между Киселевымъ при секундантѣ Троицкомъ и Даевымъ при секунданткѣ Наташѣ. Можетъ быть, отъ этого произошло бы еще большее смѣшеніе языковъ. Но, во первыхъ, это немножко освѣжило бы атмосферу: химикъ разсказалъ бы, напримѣръ, о предсказаніи Крукса, что меньше, чѣмъ черезъ пятьдесятъ лѣтъ человѣчеству предстоитъ вымереть съ голоду, если не выручитъ химія; адвокатъ сообщилъ бы что нибудь и для насъ интересное о дѣлѣ Дрейфуса; писатели поспорили бы насчетъ историческихъ задачъ Россіи по отношенію къ окраинамъ и проч. А то что же все артели да артели, да еще обсуждаемыя людьми малосвѣдующими! Во вторыхъ, нѣкоторые изъ пунктовъ и того спора, который изобразилъ намъ г. Вересаевъ, получили бы, можетъ быть, новое и не безынтересное освѣщеніе. Вотъ, напримѣръ, Наташа говоритъ: „Вѣдь выдвигаетъ же жизнь какія нибудь историческія задачи? Во что же вѣрить, какимъ путемъ идти? Что нужно дѣлать?“ Самой Наташи и Даева мнѣнія на этотъ счетъ мы отчасти слышали. „Отчасти“, потому что слышали только, какимъ путемъ идетъ Россія, а „что дѣлать“ еще пока не знаемъ. Но вотъ, представимъ себѣ, одинъ изъ собесѣдниковъ, не предвидѣнныхъ г. Вересаевымъ, начинаетъ доказывать, что хотя путь капитализма дѣйствительно неизбѣженъ, но рядомъ съ этимъ или даже прежде всего существуетъ другая „историческая задача“: обрусѣніе окраинъ и завоеваніе Индіи. Съ нимъ не соглашаются, спорятъ. Между прочимъ, химикъ сердито замѣчаетъ, что если черезъ нѣсколько десятковъ лѣтъ всему человѣчеству грозитъ голодная смерть, которая смететъ всякія артели и всякій капитализмъ, всякія обрусѣнія и завоеванія, такъ единственная историческая задача состоитъ въ предотвращеніи этого всемірнаго голода.—Вмѣшивается Троицкій, притомъ именно тѣми словами, которыя въ „Повѣтріи“ приведены. Г. Вересаевъ разсказываетъ: „Волнуясь и раздражаясь, онъ (Троицкій) сталъ доказывать, что жизнь предъявляетъ много разнообразныхъ запросовъ, и удовлетвореніе всѣхъ ихъ одинаково необходимо, а что будущее само уже должно рѣшить, „историческая“ ли была данная задача или нѣтъ; что нельзя гоняться за какими-то отвлеченными историческими задачами, когда кругомъ такъ много насущнаго

дѣла и такъ мало работниковъ".—Наташа презрительно возражаетъ (опять таки подлинно какъ въ „Повѣтріи"): „Ну, да, то же самое я слышала отъ васъ и четыре года назадъ—„не знаю", и поэтому всякое дѣло одинаково хорошо и важно".—Троицкій умолкаетъ, но къ Наташѣ обращается еще одинъ непредвидѣнный г. Вересаевымъ собесѣдникъ и говоритъ: „Мнѣ кажется, Наталья Александровна, что вы вывели изъ словъ г. Троицкаго неправильное заключеніе. Едва ли онъ хотѣлъ сказать, что *всякое* дѣло одинаково хорошо и важно: онъ, безъ сомнѣнія, понимаетъ, что есть дѣла важныя и не важныя, хорошія и дрянныя. А кромѣ того, въ его репликѣ есть одна интересная мысль: не всегда, конечно, но бываетъ, что изъ простой „филантропіи", какъ сказалъ бы г. Даевъ, разростается настоящая историческая задача. Да вотъ вамъ примѣръ: Эмиль Зола совершилъ своимъ знаменитымъ письмомъ по дѣлу Дрейфуса „филантропическій" актъ. „Историческую задачу" Франціи въ это время разные люди понимали разно: кто основывалъ ее на „банкротствѣ науки", кто видѣлъ ее въ возвращеніи Эльзаса и Лотарингіи, въ возстановленіи французской гегемоніи въ Европѣ, въ извѣстной колоніальной политикѣ, въ борьбѣ съ капитализмомъ и т. д. Зола же, внѣ всѣхъ этихъ историческихъ задачъ, просто движимый негодованіемъ. вступился за какое-то тамъ несправедливо осужденное „данное лицо", какъ говоритъ г. Даевъ. И посмотрите, однако, какая историческая волна поднялась изъ этой филантропіи. Насколько я успѣлъ познакомиться съ вашимъ образомъ мыслей, вы скажете, можетъ быть, что никакой Зола и вообще никто, будь онъ хоть семи пядей во лбу, исторіи не дѣлаетъ, а дѣлаетъ ее самъ неизбѣжный историческій процессъ. Не стану спорить, потому что это и къ дѣлу не идетъ. Равнымъ образомъ не отрицаю я и „историческихъ задачъ". Я хочу сказать только то, что говорю". И т. д., и т. д.

Я могъ бы еще продолжить эту гипотетическую бесѣду и, слѣдовательно, перечень тѣхъ житейскихъ явленій, тѣхъ теоретическихъ и практическихъ вопросовъ и тѣхъ точекъ зрѣнія, которые точно и не существуютъ для словесныхъ дуэлистовъ г. Вересаева. Несомнѣнно, однако, что г. Вересаевъ вѣренъ дѣйствительности, загоняя собесѣдниковъ въ тупикъ, изъ котораго нѣтъ выхода, хотя бы уже потому, что они „говорятъ на разныхъ языкахъ и никогда не столкуются",—какъ рѣшаетъ Даевъ. Въ разныхъ уголкахъ нашего обширнаго отечества, навѣрное, и сейчасъ происходятъ подобные горячіе споры; но отечество наше столь обширно и жизнь его столь мно-

госложна, что какъ бы ни было велико число этихъ уголковъ и число спорящихъ,—*эта* дѣйствительность все-таки окажется сама маленькимъ уголкомъ огромной и сложной дѣйствительности. Г. Вересаевъ вѣренъ дѣйствительности, но былъ бы ей еще вѣрнѣе, если бы устроилъ свою дуэль въ засѣданіи какого нибудь спеціальнаго экономическаго общества или какой нибудь коммиссіи, учрежденной для разработки вопроса объ артеляхъ, или въ какой нибудь частной петербургской квартирѣ. А въ деревнѣ, при томъ въ такой, гдѣ вопросъ объ артеляхъ не имѣетъ живого практическаго значенія (Киселевъ человѣкъ проѣзжій и устраиваетъ артели въ совсѣмъ другой мѣстности), немножко странно полное отсутствіе въ разговорахъ того, что деревню сейчасъ и непосредственно интересуетъ: тутъ и урожай или неурожай, и земскія дѣла, и земскій начальникъ, и школьное дѣло, и кулакъ-ростовщикъ, и кабакъ, и высѣченный мужикъ, и вообще обида, нанесенная такому-то или такимъ-то, и удача такого-то; словомъ, множество какъ будто и мелочей, изъ которыхъ, однако, слагается жизнь, „дѣйствительность". А дуэль г. Вересаева гдѣ-то на облакахъ надъ этой дѣйствительностью происходитъ.

Говорю все это по адресу г. Вересаева, какъ художника. Киселевъ, какъ проѣзжій человѣкъ, иностранецъ въ нѣкоторомъ родѣ, и маньякъ артельнаго вопроса, съ своей точки зрѣнія правъ, не видя ничего, въ данную минуту его окружающаго. Права съ своей точки зрѣнія и Наташа, которая, найдя ключъ отъ всѣхъ ключей, отдавшись не „филантропическому" какому нибудь дѣлу, не помощи только какимъ нибудь „даннымъ лицамъ", а *самой* полезной работѣ, „дающей наиболѣе существенные результаты", указываемой „историческою задачею",—естественно съ презрѣніемъ относится къ разнымъ мелочамъ...

А любопытно знать, какъ бы отнесся теперь къ Наташѣ покойный Чекановъ. Я уже говорилъ, что ведя, въ сущности, своего рода „дневникъ лишняго человѣка", Чекановъ очень бранитъ Тургеневскаго „лишняго человѣка" Чулкатурина (и Плошовскаго Сенкевича) и сурово отзывается о героинѣ „Наканунѣ". Это, по его мнѣнію, „разновидность типа очень стараго: неопредѣленныя порыванія въ даль, игнорированіе окружающаго, исканіе чего-то эффектнаго, яркаго, необычнаго". Дѣло свое Елена находитъ не непосредственно, а черезъ любовь къ Инсарову. А „неужели дѣйствительно все дѣло женщины заключается въ томъ, чтобы отыскивать достойнаго ея

любви мужчину-дѣятеля? Гдѣ же прямая потребность настоящаго дѣла"? Чекановъ и далѣе развиваетъ эту тему, и Наташа слушаетъ его со „страстнымъ вниманіемъ", она не спускаетъ съ Чеканова „радостно-недоумѣвающаго взгляда". Она — не Елена. Правда, неопредѣленныя порыванія въ даль" не чужды и ей (по крайней мѣрѣ, въ „Безъ дороги"), равно какъ и „исканіе чего-то эффектнаго, яркаго, необычнаго". Но и въ „Безъ дороги", и въ „Повѣтріи" авторъ держитъ ее въ сторонѣ отъ волненій любви, и „дорогу" свою она находитъ независимо отъ „мужчины-дѣятеля", самостоятельно. Такъ-ли, однако, самостоятельно, какъ это кажется? Не говоря о ея требованіяхъ указать ей дорогу, обращенныхъ сначала къ Чеканову, потомъ къ Троицкому, она и сейчасъ находится въ полной зависимости отъ Даева. Хотя она и довольно бойко комбинируетъ слова „рынокъ", „покупательная сила", „условія производства", но, напримѣръ, однажды, прежде чѣмъ выразить свое мнѣніе, она „быстро и внимательно взглянула на Даева"; въ другой разъ, высказавъ свое мнѣніе (о переселеніяхъ), которое оказалось противнымъ мнѣнію Даева, она „вспыхнула и въ замѣшательствѣ наклонилась надъ чашкой". Въ этой ея зависимости отъ Даева не видно той спеціальной нити, которая привязала Елену къ дѣлу Инсарова, но ни изъ чего такъ же не видно, чтобы Наташа нашла свою „дорогу" путемъ самостоятельныхъ наблюденій и выводовъ и непосредственнаго общенія съ жизнью. А это всегда опасно. Какъ бы впослѣдствіи Наташа не уподобилась тѣмъ „товарищамъ", проживающимъ въ городѣ Слесарскѣ, которые жалуются на „книгу": „потребовала, чтобы вся жизнь была однимъ сплошнымъ подвигомъ; но гдѣ взять для этого силъ? И вотъ результатъ: она только искалѣчила насъ". Для Наташи этотъ печальный результатъ тѣмъ вѣроятнѣе, что она, можно сказать, суется въ воду, не спросясь броду. Она ищетъ не такой задачи, которая бы была ей подъ силу, а просто *самой* важной, *самой* полезной, для которой она, можетъ быть, вѣдь и не годится...

Докторъ Чекановъ разочаровался въ своемъ „міросозерцаніи". Онъ пишетъ: „У меня *ничего* (курсивъ въ подлинникѣ) нѣтъ. Къ чему мнѣ мое честное и гордое міросозерцаніе, что оно мнѣ даетъ? Оно уже давно мертво; это не любимая женщина, съ которою я живу одною жизнью, это лишь ея трупъ; и я страстно обнимаю этотъ прекрасный трупъ и не могу, не хочу вѣрить, что онъ нѣмъ и безжизненно холоденъ; однако обмануть себя я не въ состояніи".

„Міросозерцаніе“—это вѣдь огромность. Это—извѣстное пониманіе всего прошедшаго, настоящаго и будущаго, всего бывшаго, существующаго, имѣющаго быть и долженствующаго быть. Это—объединенная совокупность всѣхъ нашихъ знаній и вѣрованій, надеждъ и опасеній, методовъ изученія и правилъ поведенія. Нельзя, разумѣется, думать, чтобы носителю извѣстнаго міросозерцанія были въ каждую данную минуту ясны всѣ нити и узлы этого страшно огромнаго клубка. Но общія основанія міросозерцанія должны быть въ нашемъ распоряженіи. И неужели же Чекановъ до такой степени обнищалъ, что въ его распоряженіи *ничего* нѣтъ? Разочаровался ли онъ, напримѣръ, и въ истинахъ физическихъ наукъ?

Я не придираюсь и не праздный вопросъ задаю. Образованное человѣчество подходитъ къ XX вѣку съ тяжелымъ грузомъ сомнѣній и разочарованій. Разумѣется, есть много людей съ твердою поступью, живущихъ изо дня въ день за механически привычной работой или безъ передышки срывающихъ одинъ за другимъ цвѣты наслажденія; у тѣхъ и у другихъ нѣтъ времени, да и охоты оглянуться на все ихъ окружающее, и твердость ихъ поступи зависитъ не отъ вѣры въ какое-нибудь міросозерцаніе, а отъ отсутствія его. Не мало, конечно, есть и такихъ, которые имѣютъ опредѣленное міросозерцаніе, твердо, даже слѣпо вѣрятъ въ него и никакими сомнѣніями не колеблются. Если мы, однако, возьмемъ всю совокупность умственнаго и нравственнаго багажа современнаго европейскаго человѣка, то едва ли найдется хоть одна, сколько нибудь значительная часть его, относительно которой не было бы крупныхъ разногласій, сомнѣній, колебаній. Разумѣю не второстепенные какіе нибудь и чисто спеціальные пункты разногласій, а самыя общія основы міросозерцанія, еще недавно, казалось, стройнаго и на вѣки нерушимаго. Послѣ гигантскихъ шаговъ науки, возбуждавшихъ въ нѣкоторыхъ даже преувеличенную надежду, что она, чистая, безстрастная, точная, не оставитъ не освѣщеннымъ ни одного уголка мірозданія и человѣческой души,—мы слышимъ въ концѣ XIX вѣка заявленіе о „банкротствѣ науки“. И какъ бы ни было это заявленіе нагло и плохо обосновано, оно встрѣчаетъ сочувствіе, ему рукоплещутъ, скептическимъ отношеніемъ къ наукѣ хвалятся, какъ недавно еще хвалились вѣрою въ нее; изъ далекой тьмы средневѣковья поднимаются оккультизмъ и всякое чернокнижіе. Съ другой стороны разносятся по всему читающему міру противонаучныя выходки гр. Толстого

вмѣстѣ съ проповѣдью аскетическихъ идеаловъ и любви къ ближнему. Цѣлый рядъ вѣковъ не умолкала эта проповѣдь, но нынѣ ей внимаютъ какъ будто съ особенною, новою жадностью или, по крайней мѣрѣ, любопытствомъ. А между тѣмъ, на встрѣчу ей съ не меньшимъ шумомъ несется волна отрицанія любви къ ближнему во имя „любви къ дальнему", любовь къ ближнему, состраданіе, участіе къ униженнымъ и оскорбленнымъ, самопожертвованіе—объявляется элементами презрѣнной „морали рабовъ". У этого новаго теченія есть свой талантливый провозвѣстникъ—Ничше, но онъ не одинокъ. Не говоря о множествѣ прямыхъ послѣдователей, Ничше отчасти подготовлялся, отчасти поддерживается многими людьми науки, опирающимися на теорію Дарвина. Съ другой стороны, ему подаютъ руку декаденты и символисты вродѣ Метерлинка *), не оставляющіе камня на камнѣ въ привычныхъ намъ цѣляхъ, задачахъ, пріемахъ и формахъ художественнаго творчества. И въ этой области, значитъ, какой-то переломъ, какія-то разочарованія и колебанія. Среди гимновъ промышленному прогрессу просыпается энтузіазмъ къ отрицающей этотъ прогрессъ „религіи красоты" Рёскина. Отрицается патріотизмъ во имя общечеловѣческихъ идеаловъ и въ тоже время ростетъ антисемитизмъ, чехи и нѣмцы не могутъ усидѣть рядомъ безъ драки, иностранцы массами изгоняются изъ Германіи и проч., и проч. Парламентаризмъ встрѣчаетъ рѣзкую критику съ разныхъ и неожиданныхъ сторонъ. Соціализмъ твердо вѣритъ въ осуществленіе своихъ идеаловъ, но изъ за него уже выглядываетъ анархизмъ, объявляющій соціализмъ „послѣднею универсальною глупостью человѣчества". По истинѣ взбаломученное море! А вѣдь я еще кое что только и самымъ бѣглымъ образомъ намѣчаю.

Не мудрено, что Чекановъ, не могущій, повидимому, похвалиться самостоятельностью мысли, растерялся въ этихъ встрѣчныхъ и поперечныхъ волнахъ. Онъ и самъ считаетъ себя осужденнымъ „блуждать въ темнотѣ, горько упрекать себя за то, что нѣтъ у тебя сильнаго ума, который бы вывелъ на дорогу".

Мимоходомъ сказать, Чекановъ, кромѣ слабости мысли или, по

---

*) „Почти все великое въ этомъ мірѣ было создано людьми, которые менѣе всего думали о самопожертвованіи. Платонъ не прерываетъ своихъ размышленій, чтобы идти проливать слезы съ тѣмъ, кто плачетъ въ Аѳинахъ; Ньютонъ не оставляетъ своихъ наблюденій ради поисковъ несчастныхъ и обездоленныхъ" („Эгоизмъ". См. „Жизнь" 1899 г. № 2, стр. 46).

крайней мѣрѣ, отсутствія „сильнаго ума“, еще и физически очень слабъ и неизлѣчимо боленъ. Но у него доброе и благородное сердце, онъ хочетъ „жить не для себя одного“, ему дорого „сознаніе, что живешь не напрасно“, онъ вѣритъ, что „нѣтъ больше заповѣди, какъ: люби ближняго своего, какъ самого себя“. И это не фразы. Онъ дѣйствительно живетъ не для одного себя, онъ мужественно борется съ неправдой въ предѣлахъ своей дѣятельности врача, претерпѣваетъ всяческія лишенія, „и подъ дождемъ мокнулъ, и въ полыньи проваливался, спѣша въ весеннюю распутицу къ роженицѣ, корчащейся въ эклампти́ческихъ судорогахъ“ и т. п. Но все это его не удовлетворяетъ, собственно потому, что „есть что-то гораздо болѣе важное и необходимое“. Мы видѣли, что и для Наташи нѣтъ дѣятельности, кромѣ самой важной и необходимой. Она ее нашла, и дай ей Богъ удачи. Но вообще-то самое важное и необходимое (если только такое „самое“ есть) по всей вѣроятности и самое трудное. И къ этому-то самому трудному дѣлу тяготѣетъ человѣкъ, сознающій свою умственную слабость, у котораго, вдобавокъ, „легкія усѣяны тысячами тѣхъ предательскихъ желтенькихъ бугорковъ, къ которымъ онъ такъ приглядѣлся на вскрытіяхъ“. Возможно, конечно, что и въ „самомъ важномъ и необходимомъ“ дѣлѣ (опять таки, если такое „самое“ есть) окажутся тѣ или другія подробности по плечу и слабосильному человѣку. Но характерна во всякомъ случаѣ для героевъ г. Вересаева эта черта: искать себѣ дѣла безъ соображенія своихъ силъ и своихъ склонностей, при томъ искать не непосредственно въ жизни, а по указанію, такъ сказать, свѣдущихъ людей. При этихъ условіяхъ шансы разочарованія, конечно, очень велики. „Товарищи“, проживающіе въ городѣ Слесарскѣ, пожелали сдѣлать свою жизнь „однимъ сплошнымъ подвигомъ“ не потому, что таково было требованіе ихъ натуры, и не потому, что чувствовали въ себѣ нужныя для этого силы („гдѣ взять для этого силы“? — этотъ вопросъ они задаютъ себѣ уже post factum, заднимъ числомъ), а потому, что подвига у нихъ потребовала „книга“. И вотъ они жалуются на эту самую книгу: она ихъ „искалѣчила“. Мальчикъ „Порыва“ мучается потому, что не нашлось свѣдущаго человѣка, который прописалъ бы ему элементарный моральный рецептъ. Умственно и физически слабый Чекановъ жалуется на литературу, которая перестала возбуждать его и не даетъ ему указаній на самое важное и необходимое дѣло. Наташа ищетъ свѣдущихъ людей въ лицѣ Чеканова, Троицкаго, Даева, которые опять таки должны ука-

зать ей самое важное и необходимое дѣло, при чемъ о ея природныхъ склонностяхъ и силахъ рѣчи нѣтъ. Повторяю, разочарованіе при такихъ условіяхъ имѣетъ за себя много шансовъ; разочарованіе и горькіе упреки, иногда проклятія своему прошлому и, часто безъ вины виноватымъ, свѣдущимъ людямъ...

Въ чемъ же, однако, состоитъ то міросозерцаніе, въ которомъ разочаровался Чекановъ? Ни изъ чего не видно, чтобы его обуревали или даже просто занимали выше бѣгло намѣченныя волненія европейской мысли. Вопросъ о „банкротствѣ науки“ для него не существуетъ: колебанія политической мысли тоже идутъ мимо него; въ величіи заповѣди любви къ ближнему онъ не сомнѣвается. Вотъ, если не ошибаюсь, единственное мѣсто дневника Чеканова, гдѣ онъ пишетъ не о своемъ разочарованіи въ „міросозерцаніи“ вообще, а даетъ этому огромному по своему значенію слову болѣе опредѣленное содержаніе:

„Наташа хочетъ знать, какъ я смотрю на общину, какое значеніе придаю сектантству, считаю ли возможнымъ и желательнымъ развитіе въ Россіи капитализма. И въ разспросахъ ея сказывается предположеніе, что я непремѣнно долженъ интересоваться всѣмъ этимъ. Что-жъ? Я вѣдь дѣйствительно интересуюсь; однако, правду говоря, разговоры эти мнѣ крайне непріятны. Я съ величайшимъ удовольствіемъ прочту книгу, гдѣ дается что нибудь новое по подобному вопросу, не прочь и поговорить объ немъ; но пусть для моего собесѣдника, какъ и для меня, вопросъ этотъ будетъ холоднымъ теоретическимъ вопросомъ, вродѣ вопроса о правильности теоріи фагоцитоза или о вѣроятности гипотезы Альтмана. Наташа же вноситъ въ дѣло слишкомъ много страстности, и мнѣ становится неловко. Наташа знаетъ, что я могъ остаться при университетѣ, имѣлъ возможность хорошо устроиться и, вмѣсто этого, пошелъ въ земскіе врачи. Она разспрашиваетъ меня о моей дѣятельности, объ отношеніяхъ къ мужикамъ, усматривая во всемъ этомъ глубокую идейную подкладку; въ разговорѣ ея проскальзываютъ слова „долгъ народу“, „дѣло“, „идея“. Мнѣ же эти слова рѣжутъ ухо, какъ визгъ стекла подъ тупымъ шиломъ“.

Такимъ образомъ, повидимому, не „міросозерцаніе“ Чеканова расшаталось или поблекло, а расшатался или поблѣднѣлъ для него извѣстный кругъ идей и чувствъ, занимающихъ извѣстную часть русскаго общества. Онъ когда-то хорошо оріентировался въ этомъ кругѣ, былъ, что называется, свой въ немъ, а теперь сталъ чу-

жимъ, разочаровался. И надо сказать, что для разочарованія этого несомнѣнно есть причины и помимо личныхъ свойствъ Чеканова. Символическимъ выраженіемъ этихъ причинъ можетъ служить трагическая смерть Чеканова, трагическая потому, что Чекановъ избитъ тѣми, кому онъ принесъ свою любовь, свой трудъ, свою жизнь. Онъ пишетъ: „Я лежу въ больницѣ, изувѣченный и умирающій; передо мной, какъ живыя, стоятъ перекошенныя злобой лица, мнѣ слышится хохотъ, слышится крикъ „бей его!!" И они меня *били*, *били*! Били за то, что я пришелъ къ нимъ на помощь, что я несъ имъ свои силы, свои знанія, — все... Господи, Господи! Что же это, — сонъ ли тяжелый, невѣроятный, или голая правда?... Не стыдно признаваться,—я и въ эту минуту, когда пишу, плачу, какъ мальчикъ. Да, теперь только вижу я, какъ любилъ народъ и какъ мучительно горька обида..."

Этотъ трагическій эпизодъ не есть изобрѣтеніе фантазіи г. Вересаева. Извѣстно, что въ голодно-холерный 1892 годъ, къ которому относится дневникъ Чеканова, было нѣсколько случаевъ избіенія врачей и другихъ профессій людей, самоотверженно пришедшихъ на помощь обездоленному голодомъ и эпидеміей народу. Можно себѣ представить весь ужасъ горечи и обиды въ душѣ избиваемыхъ. Но въ Чекановѣ оказалось настолько великодушія и безпристрастія, чтобы не только принять въ соображеніе „невѣдѣніе творящихъ" и простить обиду, но и вернуться въ смертный часъ къ былой вѣрѣ. Умирая, онъ говоритъ Наташѣ, чтобы она „любила народъ, что не нужно отчаяваться, нужно много и упорно работать, нужно искать дорогу, потому что работы страшно много". „И теперь мнѣ не стыдно говорить эти „высокія слова" — прибавляетъ онъ; не стыдно потому, что въ эти слова опять влилось утраченное содержаніе. Тѣмъ не менѣе, избіеніе Чеканова обезумѣвшей толпой, какъ уже сказано, можетъ служить символическимъ выраженіемъ причины (или, по крайней мѣрѣ, одной группы причинъ) крушенія „міросозерцанія" Чеканова. Это не было міросозерцаніе въ настоящемъ смыслѣ слова. Многое въ міросозерцаніи Чеканова осталось непоколебленнымъ; поколебалась или потускнѣла лишь извѣстная, довольно опредѣленная часть его, настолько, однако, для Чеканова важная, что его постигло полное разочарованіе и какъ бы вся душа его омертвѣла. Въ этомъ потускнѣвшемъ для Чеканова кругѣ идей и чувствъ „народъ" игралъ первую роль, и тускнѣть этотъ кругъ сталъ задолго до избіенія Чеканова, ибо задолго до этого „народъ"

не оправдалъ тѣхъ ожиданій, съ которыми къ нему относились Чекановы. Скоро сказка сказывается, а дѣло дѣлается не скоро, и процессъ разочарованія шелъ медленно. Кромѣ того, рядомъ съ нимъ шла работа непоколебленной части „міросозерцанія", вызывая такое напряженіе силъ, за которымъ послѣдовала убыль и усталость. Тутъ-то и начались жалобы „товарищей", проживающихъ въ Слесарскѣ и другихъ мѣстахъ, на „книгу", будто бы потребовавшую превращенія жизни „въ одинъ сплошной подвигъ".

Не всѣ, однако, Чекановы остановились на томъ уныломъ распутьи, на которомъ стоятъ, кляня свое прошлое, но и оторваться отъ него не смѣя, слесарскіе „товарищи". Были предъявлены разныя „новыя слова", при чемъ съ особенною настойчивостью подчеркивались ихъ новизна и содержащійся въ нихъ „отказъ отъ наслѣдства". Кое кому изъ отказывающихся сдѣлать это было тѣмъ легче, что они никогда не были Чекановыми, въ томъ смыслѣ, что лично никогда не переживали ни пылкихъ увлеченій, ни горькаго разочарованія героя „Безъ дороги". Это были пришлые люди безъ всякой связи съ прошлымъ, часто лишь по наслышкѣ объ немъ знавшіе. Были, конечно, и настоящіе Чекановы. Во всякомъ случаѣ всѣ „новыя слова", либо прямо вызванныя разочарованіемъ, усталостью, убылью силъ, либо благодаря имъ получившія нѣкоторый просторъ, естественно должны заключать въ себѣ нѣчто протестующее по адресу прошлаго и нѣчто утѣшительное, успокоительное по адресу настоящаго и будущаго. Такъ оно и было. Я не стану перебирать здѣсь всю коллекцію „новыхъ словъ", провозглашенныхъ у насъ въ послѣднія десять-пятнадцать лѣтъ, и остановлюсь пока только на одномъ; на томъ именно, которое было формулировано въ концѣ 80-хъ годовъ въ газетѣ „Недѣля", въ статьѣ „Новое литературное поколѣніе".

„Новое поколѣніе родилось скептикомъ, и идеалы отцовъ и дѣдовъ оказались надъ нимъ безсильными. Оно не чувствуетъ ненависти и презрѣнія къ обыденной человѣческой жизни, не признаетъ обязанности быть героемъ, не вѣритъ въ возможность идеальныхъ людей. Всѣ эти идеалы—сухія логическія произведенія индивидуальной мысли, и для новаго поколѣнія осталась только дѣйствительность, въ которой ему суждено жить и которую оно потому и признало Оно приняло свою судьбу спокойно и безропотно, оно прониклось сознаніемъ, что все въ жизни вытекаетъ изъ одного и того же источника — природы, все являетъ собою одну и ту

же тайну бытія, и возвращается къ пантеистическому міросозерцанію".

Переживалъ или не переживалъ Чекановскія увлеченія авторъ этой тирады, но въ ней ясно отразилось разочарованіе, какъ въ „идеалахъ отцовъ и дѣдовъ", такъ и въ собственныхъ силахъ, и усталость, вызывающая пониженіе требованій отъ жизни. Вмѣстѣ съ тѣмъ мы имѣемъ „возвращеніе (?) къ пантеистическому міросозерцанію". Пантеизмъ означаетъ здѣсь почти буквально обожествленіе „природы", какъ источника, изъ котораго „вытекаетъ все въ жизни"; все,—и то, что мы въ своихъ „сухихъ логическихъ произведеніяхъ индивидуальной мысли" называемъ зломъ, и то, что считаемъ добромъ, все большое и малое, по землѣ пресмыкающееся и въ облакахъ парящее,—все это равноцѣнно, ибо все изъ одного источника происходитъ и нѣтъ основаній для нравственнаго суда надъ дѣйствительностью.

Любопытно, что то же самое — nur mit ein Bisschen andern Worten говорятъ и герои „Повѣтрія" г. Вересаева, Наташа и Даевъ. Они обожествляютъ не „природу", а „историческій ходъ вещей", что по отношенію къ идеаламъ и дѣйствительности не измѣняетъ дѣла. „Пора - говоритъ Даевъ—перестать судить о явленіяхъ дѣйствительности съ точки зрѣнія нашихъ идеаловъ... Жизнь развивается по своимъ законамъ, не справляясь съ вашими идеалами; нечего и приставать къ ней съ этими идеалами; нужно принять тѣ, которые диктуетъ сама дѣйствительность". Сообразно этому Наташа и Даевъ говорятъ о своемъ безсиліи, и не лично о своемъ, а вообще о безсиліи людей противостоять ходу вещей или направлять его. Неизвѣстно опять таки, въ какой мѣрѣ лично Наташа и Даевъ „приставали къ дѣйствительности съ своими идеалами", но въ ихъ *міросозерцаніи* очевидно отразились тѣ же мотивы, что и въ „пантеистическомъ міросозерцаніи" вышеупомянутаго критика „Недѣли".

Подчеркиваю слово *міросозерцаніе*, потому что на этотъ разъ мы имѣемъ дѣло съ чѣмъ-то, гораздо болѣе заслуживающимъ этого названія, чѣмъ тотъ кругъ идей и чувствъ, въ которомъ разочаровался Чекановъ. На этотъ разъ дѣло идетъ не о надеждахъ на мужика, на общину, на артель. Правда, и разговоры Наташи и Даева вертятся около этихъ предметовъ, но такова ужъ воля г. Вересаева; это — частности, хотя бы и очень важныя въ положительномъ или отрицательномъ смыслѣ (а въ „пантеистическомъ" міросозерцаніи,

повидимому, и совсѣмъ не важныя), но во всякомъ случаѣ не исчерпывающія собою міросозерцанія. Рядомъ съ ними стоитъ множество другихъ частностей, подлежащихъ освѣщенію съ нѣкоторой единой, всеобъемлющей точки зрѣнія, ибо дѣйствительность это— вѣдь все въ данный моментъ существующее. Изучать эту дѣйствительность sine ira et studio; объективно слѣдить — что въ ней ростетъ, крѣпнетъ, ширится и что слабѣетъ, умаляется; по мѣрѣ силъ поддерживать растущее, крѣпнущее и ускорять паденіе падающаго,— вотъ что значитъ идти вровень съ „историческимъ ходомъ вещей" и „не приставять къ жизни съ своими идеалами, а принимать тѣ, которые диктуетъ сама дѣйствительность". Это міросозерцаніе призвано гарантировать насъ отъ безплодныхъ мечтаній и напрасной траты силъ, но, послѣдовательно проведенное, очевидно, отрицаетъ не только идеалы отцовъ и дѣдовъ, а идеалы вообще. Что такое идеалъ? Это такая комбинація элементовъ, которая удовлетворяетъ моимъ требованіямъ, при которой я чувствовалъ бы себя наилучше въ данной области явленій: идеалъ красоты удовлетворяетъ эстетическимъ требованіямъ, идеалъ взаимныхъ людскихъ отношеній — этическимъ, идеалъ общественнаго строя — политическимъ и т. д. Спора нѣтъ, всѣ эти требованія могутъ оказаться неразумными, преждевременными, чрезмѣрными, вообще не подлежащими удовлетворенію, и тогда vae victis! Но умудренные личнымъ или историческимъ опытомъ, герои „Повѣтрія" предлагаютъ отказаться отъ всякихъ требованій и жить подъ диктовку дѣйствительности; они намъ даютъ въ руки своего рода аршинъ и говорятъ: мѣряйте и— что растетъ, тому служите, а что падаетъ, то толкайте внизъ. Гарантируетъ ли насъ этотъ аршинъ отъ ошибокъ, это, въ виду сложности житейскихъ дѣлъ, еще большой вопросъ, но онъ есть во всякомъ случаѣ только аршинъ, и, при послѣдовательномъ его примѣненіи, ни о какихъ идеалахъ не можетъ быть рѣчи.

Мы сейчасъ увидимъ, что послѣдовательно аршинъ героями „Повѣтрія" и не примѣняется, а теперь посмотримъ, какъ отражается ихъ „новое слово" въ художественной литературѣ. Но сначала вернемся на минуту къ новому слову „пантеистическаго міросозерцанія". Съ его точки зрѣнія нѣтъ никакихъ основаній для расцѣнки явленій жизни по степени ихъ значенія, ибо всѣ они вытекаютъ изъ одного источника и всѣ равно заслуживаютъ художественнаго воспроизведенія. Теорія эта, собственно говоря, возводила въ принципъ голый фактъ. Наша беллетристика въ цѣломъ давно уже пред-

ставляетъ собою множество осколковъ разбитаго зеркала, изъ которыхъ въ каждомъ,—иногда вѣрно и отчетливо, иногда криво и мутно,—отражается какой нибудь уголокъ жизни, но безъ всякой связи съ цѣлымъ; при чемъ авторамъ безчисленныхъ „очерковъ и разсказовъ“ совершенно безразлично отражать ли муху или слона, уголокъ дамскаго будуара или соломенную крышу мужицкой избы, непереносное горе или перезвонъ троечныхъ бубенцовъ,—лишь бы все это возбуждало эстетическую эмоцію. Въ числѣ писателей этого типа у насъ былъ одинъ, особенно радовавшій сердца проповѣдниковъ пантеистическаго міросозерцанія,—г. Чеховъ. Другихъ этотъ высокоталантливый писатель, напротивъ, очень огорчалъ своими часто прелестными картинками, въ которыхъ, однако, по выраженію одного изъ его позднѣйшихъ героевъ, „самый искусный аналитикъ не найдетъ того, что называется общей идеей или богомъ живого человѣка“. То, пожалуй, именно, зеркальное спокойствіе и безразличіе, съ которымъ г. Чеховъ отражалъ все, что попадалось на глаза, въ осколкахъ разбитаго зеркала, едва ли даже не было ближайшимъ поводомъ для провозглашенія пантеистическаго міросозерцанія. Но, не говоря уже о томъ, что никого, хотя бы приблизительно равнаго г. Чехову это міросозерцаніе не выставило, тотъ же г. Чеховъ хоронитъ его на нашихъ глазахъ. Давно уже началъ ему измѣнять спокойный, ровный, „зеркальный“, пантеистическій тонъ; все больше и больше оправдывается на немъ изреченіе одного изъ дѣйствующихъ лицъ „Палаты № 6“: „органическая ткань, если она жизнеспособна, должна реагировать на всякое раздраженіе: на боль я отвѣчаю крикомъ и слезами, на подлость—негодованіемъ, на мерзость—отвращеніемъ“. Въ послѣднихъ произведеніяхъ г. Чехова, вмѣсто прежняго жизнерадостнаго убѣжденія въ равноцѣнности всего сущаго, звучитъ такая страшная тоска, такое отчаяніе, какого нельзя было бы ожидать отъ автора „Налима“, „Винта“ и множества другихъ хорошенькихъ вещицъ...

Одинъ изъ послѣднихъ разсказовъ г. Чехова—„Мужики“—заслужилъ чрезвычайное одобреніе представителей другого „новаго слова“, предъявленныхъ въ „Повѣтріи“ образами Наташи и Даева. Согласно вышеприведенной ихъ программѣ построенія идеаловъ подъ диктовку дѣйствительности или, точнѣе, упраздненія идеаловъ и замѣны ихъ аршиномъ, они обрадовались возвеличенію города въ лицѣ трактирнаго полового и униженію деревни въ лицѣ мужиковъ. И г. Чеховъ былъ прославленъ... Скоро оказалось, од-

нако, что это чистое недоразумѣніе, ибо для бывшаго пантеиста нынѣ все одинаково окутано флеромъ безъисходнаго мрака,—и деревня, и городъ...

Но для того „новаго слова“, которому, по недоразумѣнію, угодилъ было „Мужиками“ г. Чеховъ, онъ, пожалуй, уже слишкомъ старъ. Послѣ него могли объявиться новые беллетристы, на которыхъ уже полностью отпечаталось міросозерцаніе героевъ „Повѣтрія“. Чѣмъ же выразился этотъ приливъ новыхъ силъ, если таковой есть? Что внесли и что могутъ внести они въ сокровищницу нашей художественной литературы?

Талантливѣйшій и оригинальнѣйшій изъ беллетристовъ послѣдней формаціи есть безспорно г. Максимъ Горькій. Припомнимъ же кое-что изъ приведенныхъ въ прошлый разъ негодующихъ рѣчей совѣсти молодого беллетриста въ разсказѣ „Читатель“.

„Жизнь, созданная нами,—говоритъ этотъ голосъ совѣсти,—бѣдна красками, тускла, скучна. Дѣйствительность, которую мы когда-то такъ горячо хотѣли перестроить, сломала и смяла насъ... Человѣкъ теперь не царь земли, а рабъ жизни, утратилъ онъ гордость своимъ первородствомъ, преклоняясь передъ фактами, не такъ ли? Изъ фактовъ, созданныхъ имъ, онъ дѣлаетъ выводъ и говоритъ себѣ: вотъ непреложный законъ!.. Вотъ почему живется такъ бѣдно и скучно, вотъ почему обезсилѣлъ въ человѣкѣ духъ творчества... Ты открываешь уму людей, быть можетъ, много низкихъ истинъ, но можешь ли ты создать для нихъ хотя бы маленькій возвышающій обманъ? Нѣтъ! Ты увѣренъ, что это полезно рыться въ мусорѣ и не умѣть находить въ немъ ничего, кромѣ печальныхъ крошечныхъ истинъ, установляющихъ только то, что человѣкъ золъ, глупъ, безчестенъ, что онъ всегда и вполнѣ зависитъ отъ массы внѣшнихъ условій, что онъ безсиленъ и жалокъ одинъ и самъ по себѣ... Человѣкъ упалъ духомъ, его интересъ къ жизни низокъ, желаніе жить съ достоинствомъ въ немъ изсякаетъ, онъ хочетъ жить просто, какъ свинья, и—вы слышите? уже онъ нахально смѣется, когда произноситъ слово идеалъ“.

Ясно, кажется, что г. Горькій не только не вдохновляется „новымъ словомъ“ героевъ „Повѣтрія“, но находится въ самомъ рѣзкомъ противорѣчіи съ нимъ. Для сколько нибудь внимательныхъ читателей это и прежде было ясно, но теперь г. Горькій, устами воплощенной совѣсти молодого беллетриста, прямо говоритъ, что

на почвѣ міросозерцанія героевъ „Повѣтрія“ нѣтъ мѣста настоящему художественному творчеству. Лично онъ не только негодуетъ на презрительное отношеніе къ идеаламъ и на преклоненіе передъ фактами; онъ требуетъ даже „насъ возвышающаго обмана“ въ ущербъ тѣмъ „печальнымъ, крошечнымъ истинамъ“, что человѣкъ, „вполнѣ и всегда зависитъ отъ массы внѣшнихъ условій, что онъ безсиленъ и жалокъ одинъ и самъ по себѣ“. Насколько же правъ г. Горькій, утверждая, что „новое слово“ героевъ „Повѣтрія“ неблагопріятно отзывается на нашей беллетристикѣ?

Мудрено было бы, конечно, приписывать скудость беллетристики одному этому источнику, но что онъ не далъ намъ въ этой области ничего сколько нибудь достойнаго вниманія,—это фактъ, а что онъ и не можетъ дать что либо подобное,—это въ высшей степени вѣроятное предположеніе.

Есть такой комическій поэтъ, г. М. М., который, года два тому назадъ, слѣдующимъ образомъ изложилъ программу Даевыхъ и Наташъ:

Сумѣемъ мы сердце тому покорить,
Что умъ неизбѣжнымъ признаетъ,
А слезы оставимъ любителямъ лить,—
Пускай себѣ льетъ, кто желаетъ!
На жизненной сценѣ словамъ не дано
Ни власти могучей, ни силы,
Безплодно погибнуть имъ всѣмъ суждено,
Когда ихъ незнанье родило...
Да будемъ же больше стремиться узнать,
Да будемъ рабами мы знанья,
Научимся чувство уму покорять,
Чтобъ не было лишнихъ страданій...

Я не для того напомнилъ читателямъ эти неуклюжіе и безграмотные стихи, чтобы посмѣяться надъ поэтомъ. И не для того, чтобы иллюстрировать ими мысль о роковомъ худосочіи художественнаго творчества, вдохновляемаго программой Даева и Наташи. Охотно допускаю, что она способна внушить нѣчто гораздо лучшее, но едва ли она можетъ быть выражена точнѣе, чѣмъ въ стихотвореніи г. М. М.

Выше было уже замѣчено, что мало кто проводитъ эту программу послѣдовательно до ея логическихъ предѣловъ. Относительно многихъ Наташъ и Даевыхъ совершенно справедливо замѣчаніе маньяка артельнаго дѣла Киселева: „Сердца у васъ хорошія, только теорія васъ губитъ, вотъ въ чемъ горе“. Не знаю, конечно, какое

сердце у г. М М., но, повидимому, оно у него совсѣмъ не „мохнатое“, какъ у нѣкоторыхъ шекспировскихъ героевъ, а даже очень доброе. Правда, онъ хвалится, что „сумѣетъ онъ сердце тому покорить, что умъ неизбѣжнымъ признаетъ“; но уже давно извѣстно, что не слѣдуетъ хвалиться, „идучи на рать“, и во всякомъ случаѣ его сердцу еще, значитъ, предстоитъ борьба; да, онъ и „научится чувство уму покорять“ не съ какими другими, а именно съ сердечными, сентиментальными цѣлями,—„чтобъ не было лишнихъ страданій“. Только поэтому онъ вполнѣ безграмотно, но убѣжденно приглашаетъ насъ: „да будемъ же больше стремиться узнать, да будемъ рабами мы знанья“. Онъ „знаетъ“, но хочетъ знать еще больше. Онъ можетъ сказать, подобно Вагнеру: zwar weiss ich viel, doch will ich Alles wissen. Не совсѣмъ, впрочемъ, Alles, а лишь ту долю или ту сторону этого огромнаго „всего“, которая открываетъ ему радужныя перспективы въ будущее. И не въ силу вагнеровской жажды познанія, самодовлѣющей и безстрашно готовой утолиться и горькимъ, и сладкимъ напиткомъ, лишь бы утолиться, а въ силу увѣренности, что то, что „умъ неизбѣжнымъ признаетъ“, есть чаша радости и счастія. Словомъ, profession de foi нашего поэта представляетъ собою слабо замаскированное сочетаніе фатализма съ оптимизмомъ, какихъ уже много, подъ разными фирмами, создавала человѣческая мысль.

Въ тѣхъ же сѣтяхъ путаются и герои „Повѣтрія“. Троицкій упрекаетъ ихъ въ томъ, что они дѣлаютъ изъ явленій русской жизни „звѣрскіе выводы“. Это и вѣрно, и невѣрно. Дѣйствительность, подъ диктовку которой, если не жить, то смотрѣть на вещи рекомендуетъ Даевъ и Наташа, часто бываетъ звѣрски жестока, а потому естественно, что эта точка зрѣнія логически обязываетъ и къ соотвѣтственнымъ выводамъ.

Недавно вышла книжка г. Р. Гвоздева „Кулачество-ростовщичество, его общественно-экономическое значеніе“, съ эпиграфомъ: „Sine ira et studio“. Это—настоящій апоѳеозъ „кулака-міроѣда“, хотя авторъ отнюдь не скрываетъ ни отъ себя, ни отъ читателей всей той массы страданій, которыя вносятся этими піявками въ деревню, и „той атмосферы лжи и обмана, среди которой дышется такъ вольготно чумазому“. Но онъ разсуждаетъ подобно г. М. М.: „Съумѣемъ мы сердце тому покорить, что умъ неизбѣжнымъ признаетъ, а слезы оставимъ любителямъ лить“. Или подобно Даеву: пора перестать приставать къ дѣйствительности съ своими идеалами.

надо брать тѣ, которые она сама диктуетъ; и если кровопійца ширится, растетъ, набирается все больше силы, то такъ и должно быть, и слава ему, хотя онъ несомнѣнно кровопійца! Троицкій назоветъ этотъ выводъ „звѣрскимъ“, и это несомнѣнно такъ, но онъ, можетъ быть, и откажется отъ этого мнѣнія, выслушавъ г. Гвоздева до конца, и скажетъ вмѣстѣ съ Киселевымъ: „сердца у васъ хорошія, только теорія васъ губитъ, вотъ въ чемъ горе“.

Г. Гвоздевъ предвидитъ возраженіе: „Но это фатализмъ, мрачный, не знающій ни пощады, ни состраданія фатализмъ“—и горячо протестуетъ: „Нѣтъ, это не фатализмъ, это лишь свобода не биться о стѣнку головой, это свобода не воевать съ вѣтряными мельницами“. Оставляя въ сторонѣ вопросъ—какая это такая „свобода не биться“ и „свобода не воевать“, я готовъ подтвердить, что исповѣдуемая г. Гвоздевымъ теорія не есть просто фатализмъ. Это—сочетаніе фатализма съ оптимизмомъ. Г. Гвоздевъ продолжаетъ: „Фатализмъ исключаетъ свободу дѣйствія только потому, что подавляетъ человѣка своей непонятной стихійностью, неизвѣстно откуда вышедшей, неизвѣстно что несущей, неизвѣстно куда стремящейся... Признавая же кулачество-ростовщичество безобразной, мрачной, тѣмъ не менѣе вполнѣ законной переходной ступенью въ общей эволюціи Россіи, мы тѣмъ самымъ сразу освобождаемся изъ подъ его фатальности, ибо мы знаемъ, гдѣ начался этотъ процессъ, также, какъ знаемъ, гдѣ онъ и кончится, *мы знаемъ, что онъ превращается въ свою противоположность*, что онъ же является однимъ изъ наиболѣе энергичныхъ факторовъ въ созданіи такихъ условій, при которыхъ дальнѣйшее существованіе его является невозможностью“.

Итакъ, г. Гвоздевъ не фаталистъ, но только потому не фаталистъ, что „знаетъ“ („Да будемъ рабами мы знанья!“), и знаетъ именно очень утѣшительныя вещи: кровопійца превратится въ свою противоположность,—можетъ быть, въ миѳическаго пеликана, столь полнаго любви и самоотверженія, что даже раздираетъ грудь свою и внутренностями своими другихъ пеликановъ питаетъ. Конечно, не сразу наступитъ эта идиллія, но задатки ея уже и теперь есть. Г. Гвоздевъ не находитъ достаточно презрительныхъ словъ для характеристики тѣхъ, кто, какъ и онъ, считаетъ кулака-міроѣда кровопійцей, но не „знаетъ“, что онъ превратится въ свою противоположность. Достается, между прочимъ, и Салтыкову, хотя Салтыковъ (или „г. Салтыковъ“, какъ съ неизмѣнною вѣжливостью

называетъ покойника г. Гвоздевъ) кое что всетаки понималъ: Міроѣдъ „любитъ и холитъ землю,—пишетъ г. Салтыковъ,—какъ настоящій крестьянинъ, но уже не работаетъ ее самъ, а предпочитаетъ пользоваться дешевымъ или даровымъ трудомъ кабальной гольтепы". Здѣсь—замѣчаетъ г. Гвоздевъ—превращеніе міроѣда въ предпринимателя, пользующагося наемнымъ или даровымъ трудомъ кабальной гольтепы ясно, но авторъ этой мысли не развиваетъ, онъ ее бросилъ вскользь, очевидно, не придавая этой сторонѣ дѣятельности міроѣда того значенія, какое принадлежитъ ему по праву" („Кулачество-ростовщичество", 154). Конечно, предприниматель, пользующійся даровымъ трудомъ кабальной гольтепы, не есть еще тотъ пеликанъ, который питаетъ своими внутренностями другихъ пеликановъ, но это уже шагъ впередъ въ направленіи идиллически свѣтлаго будущаго. И только потому, что г. Гвоздевъ увѣренъ въ неизбѣжности этого царства свѣта и любви, только поэтому онъ и „умѣетъ сердце тому покорять, что умъ неизбѣжнымъ призналъ". А то кровопійца былъ бы для него просто кровопійцей... Какое же это „звѣрство выводовъ"? Это скорѣе маниловщина какая-то. Правда, при видѣ страданій, вызываемыхъ грабительскою и надувательскою дѣятельностью кулака-ростовщика, г. Гвоздевъ готовъ сказать вмѣстѣ съ великолѣпнымъ поэтомъ: „слезы оставимъ любителямъ лить!" Но то слезы печали и состраданія, а слезу умиленія при мысли о міроѣдѣ, превращенномъ въ свою противоположность, отчего же и не пролить...

Кстати о „превращеніи въ свою противоположность", которое нынѣ часто употребляется въ видѣ словесной заплатки на прорѣхи въ ткани фактическихъ данныхъ и логическихъ выводовъ. Въ недавно вышедшей интересной книгѣ г. Х. Раппопорта „Философія исторіи въ ея главнѣйшихъ теченіяхъ" находимъ, между прочимъ, слѣдующее замѣчаніе:

„Оптимизмъ далеко не есть отличительное свойство одного провиденціальнаго направленія исторіи. Онъ присущъ извѣстному роду философскаго идеализма, осмѣяннаго Вольтеромъ въ Кандидѣ въ лицѣ безсмертнаго типа Панглосса. Элементы такого же оптимизма мы находимъ и въ играющей въ послѣднее время извѣстную роль „діалектической и матеріалистической теоріи исторіи", приверженцы которой считаютъ своей особенной заслугой то, что они въ злѣ видятъ не только зло, но и элементы уже возникающаго и предстоящаго намъ добра. Вся эта глубокомысленная оптимистическая

философія основана на простомъ недоразумѣніи: берется какое-нибудь сложное явленіе, вродѣ „капитализма“, напримѣръ, характеризуется безъ дальнѣйшихъ объясненій, какъ „зло“, при этомъ положительныя стороны, связанныя съ этимъ явленіемъ, какъ развитіе техники и городской культуры, сначала игнорируются и только *потомъ* открываются якобы при помощи діалектическаго метода, находящаго и въ общественномъ злѣ общественное добро, или, по рецепту Гегеля, за тезисомъ слѣдуетъ антитезисъ. „Діалектики“ посредствомъ этого логическаго фокуса получаютъ возможностъ *положительныя слѣдствія положительной причины* обратить въ *положительную* сторону *самого отрицательнаго явленія* и торжественно обращать явленія въ свою „противоположность“, „отрицаніе отрицанія“ и тому подобныя прелести нео-схоластицизма“.

Быть можетъ, эта цитата заставитъ кое кого изъ читателей задать себѣ вопросъ: что́ именно знаютъ тѣ, которые *знаютъ*, что кулакъ-ростовщикъ превращается въ свою противоположность, и не есть ли это превращеніе въ данномъ случаѣ, какъ и во многихъ другихъ, просто словесная заплатка?

Въ одномъ мѣстѣ г. Гвоздевъ выражаетъ неудовольствіе по поводу словъ г. Златовратскаго „о предательствѣ Колупаева, о томъ, что онъ подобно Іудѣ сталъ выдавать „своихъ присныхъ за тридцать сребренниковъ“ („Кулачество-ростовщичество“, 153). Г. Гвоздевъ согласенъ, пожалуй, что Колупаевъ—Іуда, но не только Іуда, въ порицательномъ смыслѣ этого собственнаго имени, ставшаго нарицательнымъ, ибо предатель Іуда неизбѣжно превратится въ свою противоположность, изъ зла выростетъ благо. Это напоминаетъ мнѣ одинъ любопытный эпизодъ изъ исторіи мысли. Въ числѣ гностическихъ сектъ было нѣсколько (офиты, каиниты и проч.), поклонявшихся змѣю-искусителю Адама и Евы, братоубійцѣ Каину, христопродавцу Іудѣ, вообще представителямъ зла и грѣха въ ветхомъ и новомъ завѣтѣ. Въ разныхъ развѣтвленіяхъ этихъ сектъ мотивы такого поклоненія были разные и вообще очень сложные и запутанные. Между прочимъ, Іуда вызывалъ поклоненіе именно своимъ предательствомъ, на томъ основаніи, что, не продай онъ Христа, грѣхи наши не были бы искуплены кровью, пролитою на Голгоѳѣ. Какъ ни дико это поклоненіе предателю, какъ предателю, какъ несомнѣнному злу, изъ котораго, однако, *проистекло* благо,—оно въ логическомъ смыслѣ одного порядка съ апологіей кровопійцы, какъ кровопійцы, какъ несомнѣннаго зла, изъ котораго, однако, *должно*

проистечь благо. Подчеркиваю и разницу: въ первомъ случаѣ мы имѣемъ ретроспективный оптимизмъ, во второмъ—перспективный. Ретроскептивный оптимизмъ тоже очень знакомъ единомышленникамъ г. М. М., г. Гвоздева и героевъ „Повѣтрія". Сюда, напримѣръ, относятся извѣстныя разсужденія о рабствѣ, которое было, во-первыхъ, исторически необходимо, во-вторыхъ, соотвѣтствовало понятіямъ своего времени, въ-третьихъ, безъ него не было бы греческой культуры, римской культуры, европейской цивилизаціи и, наконецъ, господъ М. М., Гвоздева, героевъ „Повѣтрія", которые, оглядываясь назадъ, могутъ въ стихахъ и въ прозѣ радоваться,—какъ все это хорошо вышло. Въ этомъ радужномъ освѣщеніи исчезаютъ кое какіе пустяки. Не говорю о моряхъ пролитой человѣческой крови, о многомильонноголосомъ хорѣ стоновъ и воплей, о тьмѣ темъ крестовъ, костровъ, плахъ, дыбъ, о неописуемыхъ нравственныхъ мукахъ оскорбленной чести и ущемленной совѣсти, соединяющихъ длинною сложною цѣпью причинъ и слѣдствій древнее рабство съ современностью. Пусть все это искуплено тѣмъ, что человѣчество считаетъ нынѣ въ своихъ рядахъ такого поэта, какъ г. М. М., и такого ученаго, какъ г. Гвоздевъ. Да и „слезы оставимъ любителямъ лить, пускай себѣ льетъ, кто желаетъ!" Наконецъ, вѣдь это ужъ все затихло, умерло, было и быльемъ поросло. Пусть такъ, но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы позволительно было извращать былое. Неправда, что греческое и римское рабство соотвѣтствовало понятіямъ своего времени: оно соотвѣтствовало понятіямъ рабовладѣльцевъ, а какъ относились къ нему сами рабы, которыхъ счетомъ побольше было, объ этомъ свидѣтельствуютъ ихъ кровавыя возстанія. Недостойно правдиваго изслѣдователя оттѣнять исключительно положительныя стороны греческой культуры, римской культуры, европейской цивилизаціи, какъ явленія, которымъ не было бы мѣста въ исторіи, если бы не было рабства; не было бы ихъ, но не было бы и отрицательныхъ сторонъ, не было бы и тѣхъ позорныхъ пятенъ, которыя грязнятъ греческую культуру, и римскую культуру, и европейскую цивилизацію. Надо быть слишкомъ довольнымъ, фигурально выражаясь, „самимъ собой, своимъ обѣдомъ и женой", для такого ретроспективнаго оптимизма. Что же касается исторической необходимости, то вѣдь все совершившееся, совершающееся и имѣющее совершиться исторически одинаково необходимо Какъ говоритъ все тотъ же великолѣпный поэтъ:

Такъ люди живутъ; ихъ дѣлами
Слагается жизнь, но всегда

Идетъ она тѣми шагами,
Что сдѣлать *фатально должна.*

Однако, вотъ еще недавно одинъ изъ единомышленниковъ гг. М. М. и Гвоздева во всеуслышаніе заявилъ, что если бы онъ жилъ во время освобожденія крестьянъ, то настаивалъ бы на освобожденіи безъ земли *). Освобожденіе совершилось съ землей, и это, какъ все на свѣтѣ, было исторически необходимо, неизбѣжно, но на этомъ пунктѣ единомышленникъ г. М. М. не считаетъ возможнымъ „сердце тому покорить, что умъ неизбѣжнымъ призналъ“: историческая необходимость ошибку дала... Троицкій и тутъ, пожалуй, усмотрѣлъ бы «звѣрскій выводъ“. А между тѣмъ этотъ частный протестъ противъ исторической необходимости, представляющій, собственно говоря, „приставаніе къ дѣйствительности съ своими идеалами“, истекаетъ именно изъ сердца, изъ любвеобильнаго, маниловскаго сердца, запутавшагося въ паутинѣ на этотъ разъ перспективнаго оптимизма,—того самаго, который побуждаетъ г. Гвоздева писать апологію кулака-ростовщика. Если бы мужикъ былъ освобожденъ безъ земли, то, конечно, онъ былъ бы обездоленъ, и даже представить себѣ трудно—до какой степени, но за то тѣмъ скорѣе всѣ вещи превратились бы въ свою противоположность и пеликаны стали бы кормить своими внутренностями другихъ пеликановъ, и райскія птицы райскія пѣсни запѣли...

Не смотря на невольно пробивающійся по временамъ ироническій тонъ, я самымъ искреннимъ образомъ готовъ повторить слова маньяка артельнаго дѣла Киселева: „сердца у нихъ хорошія, да теорія ихъ губитъ“. Есть, конечно, и такіе, у которыхъ и сердца хорошія и которыхъ и теорія не губитъ, такъ какъ самая практика жизни ставитъ границы „звѣрскимъ выводамъ“ теоретиковъ. Что же касается теоретиковъ, то между ними есть всякіе. Есть и узколобые, и щеголяющіе новымъ моднымъ костюмомъ, но „хорошихъ сердецъ“

*) Мимоходомъ сказать, какъ неблагодарны эти молодые люди, отрѣзывающіе себя отъ „идеаловъ отцовъ и дѣдовъ“. Въ числѣ послѣднихъ было не мало людей, которыхъ они должны бы были признать своими предшественниками. Извѣстно, что на освобожденіи крестьянъ безъ земли настаивала цѣлая сильная группа, имѣвшая своихъ выразителей и въ литературѣ, какъ передъ освобожденіемъ, такъ и послѣ него. Газета „Очерки“ въ юмористическомъ „перечнѣ наиболѣе замѣчательныхъ открытій, сдѣланныхъ русскою литературой въ 1862 г.“ отмѣчала, между прочимъ: „признана польза размноженія въ Россіи батраковъ, т. е. людей, не имѣющихъ ни земли, ни кола, ни двора, въ видахъ преуспѣянія отечественнаго земледѣлія“.

и тутъ много, только они запутываются въ паутинѣ перспективнаго оптимизма. Они очень человѣколюбивы, эти люди, подчасъ даже щеголяющіе непреклонностью своего „объективизма“ и жестокостію равнодушія къ страданіямъ живыхъ людей, сейчасъ облеченныхъ плотью и кровью, чувствующихъ и боль. и обиду, и голодъ. Но это только потому, что они „знаютъ“: „тамъ, за далью непогоды, есть блаженная страна“, гдѣ пока еще ничего не чувствущіе, потому что не родившіеся, люди „неизбѣжно“ будутъ пить изъ чаши радости и счастья. Они горячо любятъ, но не „ближняго“ своего, а „дальнаго“...

Не съ одной этой стороны надвигается на насъ мораль „любви къ дальнему“ въ замѣнъ „любви къ ближнему“, освященной не только христіанскимъ ученіемъ, а и самыми условіями общежитія. Я буду имѣть скоро случай подробно говорить объ этой новой морали. А теперь пора вернуться къ нашей беллетристикѣ, къ тому вліянію, которое можетъ оказать на нее программа Даева и Наташи, гг. М. М. и Гвоздева.

Когда сердце и умъ находятся въ разладѣ и приходится „сердце тому покорять, что умъ неизбѣжнымъ признаетъ“, въ художественномъ творчествѣ необходимо долженъ преобладать элегическій, мрачный, грустный, пессимистическій, гнѣвный и т. п. тонъ. Но въ данномъ случаѣ настроеніе художника раздваивается. Для него, напримѣръ, раззореніе есть не только раззореніе, а и его грядущая противоположность—богатство, голодъ—не только голодъ, а и сытость и т. д. Въ теоретическомъ трактатѣ все это болѣе или менѣе удобно устраивается при помощи разныхъ словесныхъ заплатъ, но художественные образы и картины не терпятъ заплатъ и требуютъ цѣльности настроенія. И я думаю, что художественная литература того направленія, о которомъ идетъ рѣчь, фатально обречена на скудость. Она можетъ давать фантастическія изображенія того, пусть „неизбѣжнаго“, но не воплощеннаго и лишь въ произвольныя формы уложимаго грядущаго, когда кулакъ-ростовщикъ превратится въ свою противоположность; или—протокольныя описанія дѣйствительности; или—изложеніе доктрины въ quasi поэтической формѣ, какую избралъ г. М. М., въ quasi художественной формѣ діалоговъ и монологовъ, примѣненной г. Вересаевымъ въ „Повѣтріи“. Все это не есть настоящее искусство. Возможны, конечно, еще разные „Инвалиды“ и тому подобные опыты художественнаго оплеванія „идеаловъ отцовъ и дѣдовъ“, которые знали, что голодъ есть голодъ, но не знали, что голодъ есть сытость. Но подобныя произведенія

даже если они будутъ очень талантливы,—чего мы пока еще не видали,—къ самой сути доктрины не имѣютъ прямого отношенія.

Въ числѣ проектовъ чествованія памяти Пушкина видное мѣсто занимаетъ предположеніе устроить въ селѣ Михайловскомъ убѣжище для престарѣлыхъ или вообще нуждающихся писателей. Мысль очень симпатичная, но вотъ что разсказываетъ въ № 38 „Сына Отечества“ г. Яблоновскій. Онъ ѣздилъ въ Михайловское и бесѣдовалъ съ нынѣшнимъ его владѣльцемъ, сыномъ поэта. Между прочимъ, послѣдній сказалъ:

Теперь я уже успѣлъ привыкнуть къ мысли объ отъѣздѣ, и меня только безпокоитъ участь крестьянъ: они очень встревожены продажей имѣнія и положительно заваливаютъ меня своими просьбами и заявленіями. Дѣло въ томъ, что моя земля находится въ центрѣ ихъ владѣнія, обойтись безъ этой земли они положительно не могутъ—отсюда и безпокойство. Въ настоящее время они пользуются землей на условіяхъ для нихъ необременительныхъ *). Впослѣдствіи же, когда имѣніе перейдетъ въ другія руки (по слухамъ оно поступитъ въ вѣдѣніе псковскаго дворянства), мнѣ совершенно неизвѣстно, какъ съ ними поступятъ: останутся-ли они при прежнемъ положеніи, или арендная плата будетъ повышена. Признаюсь, я очень опасаюсь именно послѣдняго. Если будетъ рѣшено содержать предполагаемую богадѣльню для литераторовъ съ доходовъ отъ имѣнія, то крестьяне понесутъ очень чувствительные убытки, а мнѣ бы до послѣдней степени этого не хотѣлось.

— Не лучше-ли было бы,—прервалъ я,—если бы ваша земля, съ помощью ли крестьянскаго банка или какъ-нибудь иначе, перешла къ крестьянамъ. Пусть-бы они пользовались ею, какъ до сихъ поръ пользовались, да помнили Александра Сергѣевича.

— Не знаю...—съ сомнѣніемъ произнесъ Григорій Александровичъ,—все это должно рѣшить псковское дворянство, а какъ оно поступитъ—сказать не берусь, хотя для меня лично было бы, конечно, очень больно, если бы съ именемъ Михайловскаго у крестьянъ связывалось представленіе, какъ о чемъ-то тяжеломъ для нихъ.

— Да и не для однихъ крестьянъ,—замѣтилъ я,—былъ бы непріятенъ такой порядокъ вещей. Я съ увѣренностью могу сказать, что и для тѣхъ литераторовъ, которыхъ предполагается здѣсь устроить, было бы больше чѣмъ не желательно очутиться на шеѣ у окрестныхъ крестьянъ, и я не думаю, чтобы уважающій себя писатель, какъ бы ни была велика его крайность, примирился бы съ такимъ положеніемъ...

— Само собой, но повторяю, все будетъ зависѣть отъ псковскихъ дворянъ.

Мнѣ нечего прибавлять къ этому.

*) Послѣ я узналъ, что крестьяне арендуютъ землю очень дешево. По крайней мѣрѣ, по мнѣнію мѣстныхъ купцовъ, они платятъ впятеро меньше того, что можно было бы съ нихъ взять, пользуясь безвыходностью ихъ положенія.

II *).

Книга г. Котляревскаго о „міровой скорби“.— Журналы „Начало“ и „Жизнь“. — Любовь къ ближнему и любовь къ дальнему.

Въ отдѣлѣ „новыхъ книгъ“ „Русскаго Богатства“ уже говорилось о книгѣ Н. А. Котляревскаго „Міровая скорбь въ концѣ прошлаго и въ началѣ нашего вѣка“. Но книга настолько интересна и затрагиваетъ столь важные вопросы, какъ историко-литературные, такъ и житейскіе, что я позволю себѣ возвратиться къ ней. Не стану повторять или развивать тѣ вполнѣ заслуженныя похвалы, которыми нашъ рецензентъ привѣтствовалъ книгу. Не хотѣлъ бы касаться и ея сюжета въ тѣхъ рамкахъ, которыя указаны ея заглавіемъ: „Міровая скорбь *въ концѣ прошлаго и въ началѣ нашего вѣка*“. Но авторъ самъ вышелъ изъ этихъ рамокъ и доводитъ нить своего изслѣдованія даже до порога XX вѣка, и вотъ собственно на эту-то часть его работы я и хочу обратить вниманіе читателя.

Нашъ рецензентъ справедливо говоритъ: „Могутъ замѣтить, что авторъ слишкомъ легко раздѣлывается съ этимъ („противообщественнымъ“) движеніемъ, представители котораго и болѣе многочисленны и разнообразны, и болѣе сильны, чѣмъ могло бы, пожалуй, показаться читателямъ г. Котляревскаго“. И далѣе: „Сложность неопредѣленность предмета заставляетъ изслѣдователя иногда говорить общими положеніями, въ которыя можно вложить разное содержаніе, иногда болѣе широкое, иногда болѣе узкое, глядя по читателю, и которыя не даютъ увѣренности, что авторъ хотѣлъ сказать именно то, что намъ кажется“.

У насъ мало книгъ, написанныхъ такъ красиво, какъ произве-

---

*) Апрѣль 1899 г.

деніе г. Котляревскаго. Я сказалъ бы даже, что она написана слишкомъ красиво для научной работы. Боже насъ избави отъ тяжеловѣснаго, неуклюжаго, небрежнаго или прямо таки граматически неправильнаго языка, какимъ у насъ часто пишутся ученыя, да и неученыя книги. Помимо всякихъ эстетическихъ требованій, этотъ дурной языкъ, конечно, не способствуетъ пониманію мысли автора. Но не всегда способствуетъ ему и блескъ языка г. Котляревскаго, — онъ подчасъ ослѣпляетъ и не даетъ возможности фиксировать выраженную имъ мысль. Это красота ярко окрашенной ящерицы, скользящей граціозными, но почти неуловимыми для глаза движеніями въ зеленой травѣ, или горнаго ручья, блестящими брызгами разсыпающагося о встрѣчные камни,—за нимъ трудно слѣдить. Въ научной работѣ вообще и въ особенности такой, которая оперируетъ съ такими двусмысленными и многосмысленными, не разъ мѣнявшими свое содержаніе словами, какъ „индивидуализмъ“ или „идеализмъ“, это очень неудобно.

„Истинный идеализмъ ставитъ конечною цѣлью своихъ стремленій умственное и нравственное совершенствованіе человѣчества“. Таково, если не ошибаюсь, единственное опредѣленіе „идеализма“, которое счелъ нужнымъ дать г. Котляревскій и которое находимъ уже въ самомъ концѣ книги (стр. 258). Но и это опредѣленіе отдаетъ какою-то двусмысленностью: въ немъ говорится объ *истинномъ* идеализмѣ, значитъ, — есть или возможенъ идеализмъ *не* истинный? Повидимому, да, потому что г. Котляревскій даетъ приведенное опредѣленіе съ цѣлью оттѣнить ученіе Ничше, которое, дескать, „состоитъ въ связи съ истиннымъ идеализмомъ“. *Въ связи*, но тутъ же авторъ прибавляетъ: „только въ ученіи Ницше этотъ (истинный?) идеализмъ истолкованъ очень своеобразно“. Все это слишкомъ неопредѣленно и двусмысленно. Но относительно идеализма дѣло стоитъ довольно просто; на основаніи конкрентныхъ примѣровъ представителей идеализма, проходящихъ передъ нами въ книгѣ г. Котляревскаго, мы можемъ, пожалуй, и безъ точнаго авторскаго опредѣленія обойтись. Удовольствуемся тѣмъ, что конечная цѣль стремленій идеалиста есть „умственное и нравственное совершенствованіе человѣчества“. Это—скобка, объединяющая тѣхъ мыслителей-художниковъ, жизнь и произведенія которыхъ занимаютъ г. Котляревскаго. Во всѣхъ другихъ отношеніяхъ эти люди могутъ держаться очень разныхъ мнѣній и вѣрованій; они могутъ быть позитивистами и метафизиками, спиритуалистами и матеріалистами, христіанами, деиста-

ми, атеистами. Далѣе, они интересуютъ автора, главнымъ образомъ, поскольку они заражены „міровою скорбью“ въ ея „основныхъ этическихъ и соціальныхъ мотивахъ“. Передъ нами проходятъ освѣщенные съ этой точки зрѣнія Руссо, Гете, Шиллеръ, романтики временъ имперіи, Байронъ и герои ихъ произведеній, при чемъ авторъ представляетъ себѣ ихъ въ видѣ коллективно-единаго „идеалиста“ или „гуманиста“, какъ безразлично называетъ его авторъ, послѣдовательно измѣняющаго свое направленіе. За оптимистическимъ возбужденіемъ конца прошлаго вѣка наступила, подъ давленіемъ извѣстныхъ обстоятельствъ, реакція, выразившаяся „тѣмъ чувствомъ антигуманнаго озлобленія и ненависти, которое гуманный человѣкъ почувствовалъ къ ближнему, то самопрезрѣніе, съ какимъ онъ сталъ относиться къ самому себѣ, наконецъ, тотъ холодный индифферентизмъ, который смѣнилъ въ его сердцѣ недавній порывъ любви и самопожертвованія“. Авторъ продолжаетъ: „Человѣкъ и прежде бывалъ большимъ пессимистомъ, онъ и прежде скорбѣлъ о мірѣ и обезцѣнивалъ жизнь, но до принципіальной вражды къ ближнему, до яркихъ антисоціальныхъ тенденцій, до безсердечнаго индифферентизма онъ поднимался рѣдко, въ видѣ исключенія. Въ міровой скорби конца прошлаго и начала нашего вѣка эти антисоціальныя тенденціи проглядываютъ очень ясно и часто; человѣкъ не только скорбитъ и жалѣетъ о ближнемъ, онъ ненавидитъ его и презираетъ; и, что всего важнѣе, онъ поднимается на эту ступень противообщественнаго пессимизма не въ силу враждебныхъ ему злобныхъ наклонностей, а движимый все тою же любовью, тѣмъ же нравственнымъ духовнымъ чувствомъ, которое въ немъ оскорблено, принижено и доведено до своего отрицанія“.

Ближайшимъ образомъ г. Котляревскій желаетъ прослѣдить то отношеніе, въ которое его коллективно-единый „идеалистъ“ или „гуманистъ“, „гуманный человѣкъ“ „становился къ великой задачѣ своего вѣка“. А эта задача такова: „отыскать путь и указать средства, какими отдѣльная личность, совершенствуясь сама, могла бы достигнуть своей высшей гуманной цѣли, а именно—созданія новаго общественнаго строя, въ которомъ права человѣка, его достоинство, его свобода физическая, нравственная и умственная были бы уважены“ (60).

„Идеалистъ“, „гуманистъ“, „гуманный человѣкъ“ разно относился къ этой „задачѣ вѣка“ на протяженіи обозрѣваемаго г. Кот-

ляревскимъ времени. Такъ, „если говорить о господствующемъ мотивѣ поэзіи Байрона, о той основной мысли, которая, начиная съ юности, провожала поэта до самой смерти, съ которою онъ никакъ не могъ поладить или покончить, то придется указать все на тотъ же вопросъ объ отношеніи личности къ обществу, о взаимныхъ обязательствахъ, существующихъ между ними, о соглашеніи индивидуальнаго начала съ общимъ,—однимъ словомъ, на вопросъ объ индивидуализмѣ въ его борьбѣ за гуманные принципы нашего вѣка“ (169).

Въ этой послѣдней цитатѣ индивидуализмъ борется *за* гуманные принципы, но въ другихъ мѣстахъ книги онъ борется *противъ* нихъ, а точнаго опредѣленія „индивидуализма“, какъ его понимаетъ авторъ, мы опять таки не имѣемъ. И это, какъ увидимъ, ведетъ къ гораздо болѣе неудобнымъ послѣдствіямъ, чѣмъ отсутствіе опредѣленія „идеализма“. Индивидуализмъ противопоставляется въ книгѣ иногда не только той или иной опредѣленной общественной формѣ, но и обществу въ принципѣ, какъ организованному цѣлому, налагающему на личность непереносныя для нея обязательства; а иногда „большинству“, „массѣ“, подъ которою разумѣются преимущественно низшіе общественные слои, лишь недавно выступающіе на историческую сцену активно. Это даетъ автору поводъ высказывать справедливыя мысли на ту тему, что „демократизація общества есть аристократизація массы“, но, къ сожалѣнію, не подвигаетъ насъ въ пониманіи того, что авторъ разумѣетъ подъ индивидуализмомъ. Дѣло стоитъ, повидимому, такъ. Идеалистъ конца прошлаго вѣка поднялъ тяжбу съ данной формой общества во имя „правъ человѣка“, этою формою стѣсняемыхъ и оскорбляемыхъ. Не смотря на весь обнаруженный имъ при этомъ энтузіазмъ, героизмъ, самопожертвованіе, онъ тяжбу проигралъ. Онъ разочаровался частью въ себѣ самомъ, въ своихъ силахъ, частью въ людяхъ, которые не доросли, а можетъ быть, и никогда не доростутъ до его идеаловъ. Отсюда или мрачное презрѣніе къ себѣ, а черезъ себя и ко всему человѣчеству, или горделивое самообожаніе и презрѣніе, даже ненависть къ остальнымъ людямъ, какъ къ стаду, которое вполнѣ достойно своей участи и не заслуживаетъ любви и участія, когда-то наполнявшихъ сердце идеалиста. Возможны колебанія и незамѣтные переходы между этими состояніями „міровой скорби“. Но эта старая, конченная исторія, и г. Котляревскій удостовѣряетъ: „Теперь, въ концѣ вѣка, мы можемъ спокойно говорить объ этой странной пси-

хической болѣзни, не опасаясь ея возврата" (341). Не то, чтобы идеалисту не объ чемъ скорбѣть въ наше время. Напротивъ, очень есть объ чемъ. Но—говоритъ г. Котляревскій—„недовольные тѣми внѣшними и внутренними формами, въ какія отлилась современная намъ жизнь, и оскорбленные отсутствіемъ иногда самыхъ элементарныхъ понятій о справедливости и гуманности въ современномъ цивилизованномъ обществѣ, мы съ полнымъ правомъ надѣемся, что прямое и широкое участіе въ ходѣ жизни до сихъ поръ исключенной и отстраненной массы уменьшитъ ту замкнутость и обособленность интересовъ личныхъ и классовыхъ, которые придаютъ такой эгоистическій, иногда прямо антигуманный характеръ современнымъ общественнымъ порядкамъ" (343). „Эта надежда въ настоящее время не только заманчивая мечта, вѣчная утѣшительница страдающаго человѣчества, она — увѣренность, построенная на научныхъ данныхъ, подтверждающихъ ея законность и исполнительность" (338). „Призвать массу къ разумному и нравственному существованію, чтобы она оправдала его любовь къ человѣчеству и его вѣру, — вотъ задача, надъ детальнымъ выполненіемъ которой трудится теперь прежній энтузіастъ любви, такъ дорого за свою любовь заплатившій" (345). Идеалистъ отказался отъ чрезмѣрныхъ требованій отъ жизни, отдался скромному труду въ ряду другихъ тружениковъ, „муравьиному труду, который окупаетъ себя такъ медленно и требуетъ отъ сильнаго человѣка такого самоограниченія и обузданія своего индивидуализма" (347) и т. д. Словомъ, „задача вѣка", если еще не на дѣлѣ, то въ принципѣ и въ возможности рѣшена: тяжба личности и общества кончена для современнаго идеалиста.

Утѣшительное рѣшеніе, но соотвѣтствуетъ-ли оно дѣйствительному положенію вещей? Боюсь, что нѣтъ. Самъ г. Котляревскій дѣлаетъ нѣкоторыя оговорки, но, во-первыхъ, слишкомъ незначительныя, а во-вторыхъ, даетъ ими едва-ли вполнѣ вѣрное и во всякомъ случаѣ бездоказательное освѣщеніе фактами. „Задача вѣка" рѣшена въ указанномъ смыслѣ только для „идеалиста", и г. Котляревскій очень хорошо знаетъ, что огромное множество не-идеалистовъ либо совсѣмъ объ этой задачѣ не думаютъ, либо всячески готовы препятствовать практическому осуществленію ея рѣшенія и даже теоретической ея разработкѣ. Но и въ сферѣ „идеализма" г. Котляревскій вынужденъ отмѣтить нѣсколько явленій, рѣзко противорѣчащихъ его утѣшительному окончательному выводу. Но ихъ немного, при томъ же они кажутся г. Котляревскому или „рѣдкими исключе-

ніями", или „послѣдней лебединой пѣсней умирающаго аристократическаго общества". Мы сейчасъ разсмотримъ эти рѣдкія исключенія и эту лебединую пѣсню.

Задача вѣка, состоящая въ „соглашеніи индивидуальнаго начала съ общимъ",—рѣшена теоретически, и постепенно, но неудержимо приближается и практическое осуществленіе этого рѣшенія. Личность признала для себя обязательными извѣстныя общественныя нормы, общество въ свою очередь, путемъ постепенной демократизаціи, удовлетворяетъ пониженнымъ требованіямъ личности. И все это уже не мечта какая-нибудь, а „увѣренность, построенная на научныхъ данныхъ".

„Въ нашемъ вѣкѣ этическая точка зрѣнія на міръ и человѣка рѣшительно взяла верхъ надъ всѣми другими и наше столѣтіе—одинъ изъ тѣхъ моментовъ цивилизаціи, когда человѣкъ занятъ всего болѣе нравственной оцѣнкой совершающихся на его глазахъ событій". „Идеалистъ" конца прошлаго и начала нынѣшняго вѣка искренно и горячо исповѣдывалъ любовь къ ближнему, но потомъ разочаровался, замкнулся въ себѣ и, гордо противопоставляя себя, свою одинокую личность, всему окружающему обществу и даже всему человѣчеству, обливалъ его своимъ презрѣніемъ и ненавистью. Нынѣ онъ смирился и примирился и вновь возвращается къ альтруизму.

Такъ-ли все это безспорно?

Посмотримъ на нѣкоторыя явленія литературы и жизни, не укладывающіяся въ окончательный выводъ г. Котляревскаго и имъ самимъ указываемыя.

На первомъ мѣстѣ здѣсь стоитъ знаменитая книга Макса Штирнера (онъ-же Каспаръ Шмидтъ) „Der Einzige und sein Eigenthum". Всю выразительность этого заглавія трудно съ точностью передать по-русски и, пожалуй, лучше всего передать не точно: „Я и моя собственность". Въ „Русскомъ Богатствѣ" 1894 г. я съ возможною подробностью изложилъ содержаніе этой книги и здѣсь замѣчу только, что это культъ даже не личности вообще, а исключительно своего *я*, не признающаго власти какихъ бы то ни было общественныхъ узъ, реальныхъ и идеальныхъ, ибо реальное бытіе имѣетъ для меня только мое *я*, а все остальное есть лишь мое представленіе и моя „собственность", поскольку я хочу и могу имъ пользоваться. Это самое откровенное и послѣдовательное обоснованіе

эгоизма, какое когда либо во всемірной литературѣ существовало. И *въ этомъ смыслѣ* г. Котляревскій правъ, называя Штирнера „рѣдкимъ исключеніемъ". Но г. Котляревскій упускаетъ при этомъ изъ виду двѣ вещи. Прежде всего—оригинальную судьбу книги. Книга эта, появившаяся въ 1845 г., по вѣрному замѣчанію Фр. А. Ланге, есть вообще „самая крайняя, какую мы только знаемъ". Съ высоты занятой имъ позиціи Штирнеръ громитъ всѣ тогдашнія политическія партіи,—не только консерваторовъ, а и либераловъ, и соціалистовъ, и коммунистовъ. Поэтому и встрѣчена она была очень сурово, но, надѣлавъ нѣкоторое время большого шуму, пропала безъ вѣсти. Однако безъ малаго черезъ сорокъ лѣтъ (1882 г.) вышло новое ея изданіе и на этотъ разъ не вызвало уже такихъ ожесточенныхъ нападокъ, а вызвало кое гдѣ даже восторги, вообще оказалось не столь одинокимъ и всѣмъ чужимъ, какъ въ 1845 году. Конечно, этотъ фактъ самъ по себѣ еще ничего не доказываетъ, но онъ во всякомъ случаѣ не говоритъ въ пользу положенія г. Котляревскаго объ убыли индивидуализма къ концу нашего вѣка. Затѣмъ слѣдуетъ еще отмѣтить то обстоятельство, что верховная роль, которую Штирнеръ предоставлялъ своему *я*, не стоитъ въ противорѣчіи съ моралью любви. Штирнеръ не признаетъ „закона любви", но—говоритъ онъ,—„я люблю людей, потому что любовь доставляетъ мнѣ счастіе, потому что любовь во мнѣ естественна, потому что мнѣ такъ нравится... Я сочувствую каждому чувствующему существу, и его мука мучаетъ меня, а радость радуетъ". Такимъ образомъ, у Штирнера даже не индивидуализмъ, а самый обнаженный эгоизмъ, объявляющій войну всѣмъ кристаллизованнымъ формамъ общественныхъ узъ, не ведетъ къ человѣконенавистничеству или презрѣнію къ людямъ. Вопросъ, слѣдовательно, сложнѣе, чѣмъ онъ поставленъ у г. Котляревскаго

Слишкомъ быстро покончивъ съ Максомъ Штирнеромъ, г. Котляревскій переходитъ къ Ренану, съ которымъ тоже кончаетъ слишкомъ быстро. Для нашего автора „міросозерцаніе такихъ излишне пугливыхъ умовъ, не желающихъ признать, что демократизація общества есть аристократизація массы, также фактъ исключительный, который не можетъ претендовать на значеніе общаго явленія" (насколько это вѣрно—сейчасъ увидимъ). Гораздо большее значеніе имѣетъ, по мнѣнію г. Котляревскаго, „протестъ противъ демократизаціи, раздавшійся въ послѣднее время такъ громко въ лагерѣ людей, въ міросозерцаніи которыхъ эстетическая точка

зрѣнія на міръ беретъ верхъ надъ всѣми остальными; этотъ эстетическій индивидуализмъ—иногда съ очень рѣзкой проповѣдью противообщественныхъ чувствъ—явленіе очень характерное". Характерное или нѣтъ, но во всякомъ случаѣ любопытное, въ особенности, если, какъ утверждаетъ г. Котляревскій, „въ нашемъ вѣкѣ этическая точка зрѣнія на міръ и человѣка рѣшительно взяла верхъ надъ всѣми другими", и „человѣкъ всего болѣе занятъ нравственной оцѣнкой совершающихся на его глазахъ событій". Спрашивается, почему же въ разгаръ исключительнаго господства этической точки зрѣнія объявилось это столь же исключительное господство точки зрѣнія эстетической?

Дѣло здѣсь идетъ о расползшемся изъ Франціи по всей Европѣ декадентствѣ, съ одной стороны, и все болѣе распространяющемся ученіи Ничше—съ другой. Успѣхъ этихъ двухъ теченій г. Котляревскій объясняетъ такъ. Историческій ходъ вещей ведетъ общество къ дальнѣйшей демократизаціи въ соціально-политической сферѣ и къ торжеству альтруизма—въ нравственной. „Индивидуализмъ", которому это теченіе грозитъ ограниченіями, противится ему, но это его послѣдняя, лебединая пѣсня, „послѣдняя лебединая пѣснь умирающаго аристократическаго общества". А перевѣсъ эстетической точки зрѣнія объясняется тѣмъ, что „поэзія и искусство—послѣдняя и единственная область, въ которой современный индивидуалистъ можетъ еще отстаивать свою полную независимость..." „во всѣхъ иныхъ роляхъ жизнь заставитъ его сдѣлать уступки".

Если подъ индивидуализмомъ разумѣть противопоставленіе одинокой личности всѣмъ кристаллизованнымъ общественнымъ формамъ, то я позволю себѣ повторить указаніе на Макса Штирнера, индивидуализмъ котораго отлично уживался, какъ мы видѣли, съ альтруистическими чувствами; а затѣмъ—указать на теченіе совершенно упущенное изъ виду г. Котляревскимъ, хотя оно въ послѣднее время часто заставляетъ о себѣ говорить: разумѣю анархизмъ. Не смотря на весь ужасъ и негодованіе, періодически вызываемыя кровавыми преступленіями анархистовъ, теченіе это до сихъ поръ остается безъ должнаго разсмотрѣнія и всесторонней критики. Въ особенности у насъ дѣло на этотъ счетъ плохо стоитъ, какъ оно, впрочемъ, и естественно. Напримѣръ, часто можно слышать сопоставленіе анархизма и соціализма за одной скобкой. На самомъ дѣлѣ это рѣзко враждебныя противоположности, и какъ организація и дисциплина соціалистическихъ партій въ Европѣ, такъ и вѣра въ

грядущее „обобществленіе“ въ соціалистическомъ смыслѣ слова,— столь же ненавистны анархистамъ, какъ въ свою очередь ихъ ученіе и дѣятельность ненавистны соціалистамъ. Далѣе, анархизмъ исчерпывается для многихъ кровавыми преступленіями, хотя, конечно, не въ нихъ заключается сущность анархизма. Преступленія этого рода давно знакомы міру. Орсини, котораго покушеніе на жизнь Наполеона III дорого обошлось полутораста ни въ чемъ неповинныхъ людей, былъ не анархистъ, а итальянскій патріотъ; убійца герцога Беррійскаго Лувель былъ не анархистъ, а бонапартистъ; убійца Генриха III—ярый католикъ, какъ и дѣятели знаменитаго „порохового заговора“, имѣвшаго цѣлью взорвать короля Іакова I, все его семейство и всѣхъ членовъ парламента. Извѣстна, наконецъ, іезуитская доктрина, освящающая такого рода факты. Ясно поэтому, что пока мы будемъ довольствоваться этимъ проявленіемъ анархизма, мы будемъ закрывать глаза на его дѣйствительный характеръ, причины его возникновенія и распространенія и т. д. А г. Котляревскій даже не упоминаетъ о немъ, хотя онъ прямо входитъ въ составъ его темы. И если бы г. Котляревскій ввелъ анархизмъ въ цѣпь своего изслѣдованія, ему пришлось бы отказаться отъ своей схемы, объединяющей аристократическій, противообщественный и ультра-эстетическій элементы въ современномъ индивидуализмѣ: при небывало ярко выраженномъ отрицательномъ отношеніи ко всѣмъ кристаллизованнымъ, консолидированнымъ общественнымъ формамъ, анархизмъ, конечно, не заключаетъ въ себѣ элементовъ аристократизма и эстетизма. Если же мы и видимъ иногда соединеніе анархизма и декадентства въ томъ или другомъ отдѣльномъ лицѣ или литературномъ произведеніи, то это вопросъ факта, а не принципа. Во всякомъ случаѣ объ анархизмѣ нельзя сказать того, что г. Котляревскій говоритъ о „новѣйшей морали индивидуализма“ Ничше, которая, по мнѣнію нашего автора, „выросла на почвѣ чисто эстетическаго міросозерцанія“.

Это послѣднее мнѣніе до извѣстной степени справедливо. Говорю „до извѣстной степени“, потому что эстетика и этика являются тѣсно переплетенными въ первомъ же произведеніи Ничше, а затѣмъ этическая точка зрѣнія выступаетъ все ярче.

Не мѣшаетъ замѣтить, что, если, по мнѣнію г. Котляревскаго, ничшіанство входитъ въ составъ „послѣдней лебединой пѣсни умирающаго аристократическаго общества“, то пока что, а теперь эта пѣсня раздается все громче и подхватывается все болѣе многоголоснымъ хоромъ. Не говоря о Европѣ и въ особенности Германіи, и

у насъ интересъ къ Ничше, очевидно, растетъ. имя его все чаще мелькаетъ въ нашихъ журналахъ, переводятся отрывки изъ него, переводятся книги объ немъ, пишутся оригинальныя. Я уже указывалъ на эту нарождающуюся литературу, а теперь появились еще переводы нѣсколькихъ главъ изъ „Заратустры“ и „Происхожденія трагедіи“; и оба перевода не ремесленныя работы, какихъ у насъ слишкомъ много, а сдѣланы съ величайшею любовью и тщательностью. Не думаю, чтобы это были признаки замиранія.

„Происхожденіе трагедіи“ — одно изъ раннихъ произведеній Ничше“, авторъ впослѣдствіи самъ очень строго осудилъ его. Переводчикъ (г. Полиловъ) упоминаетъ объ этомъ, но, къ сожалѣнію, не нашелъ возможнымъ приложить къ своему труду тотъ „Опытъ самокритики“, который приложенъ къ третьему изданію оригинала. Правда, полный переводъ этой самокритики представилъ бы, вѣроятно, по нашимъ условіямъ нѣкоторыя затрудненія, но въ такомъ случаѣ—и это было бы даже лучше—переводчикъ, съ такою любовью и знаніемъ отнесшійся къ своему дѣлу, могъ бы приложить собственное изложеніе въ общихъ чертахъ, какъ того, отъ чего Ничше впослѣдствіи отрекся, такъ и того зерна его міросозерцанія, которое сохранилось на всемъ протяженіи его литературной дѣятельности Само по себѣ, „Происхожденіе трагедіи“ можетъ однихъ столь же неосновательно притянуть къ Ничше, какъ другихъ неосновательно оттолкнуть отъ него. Помимо даже содержанія, лишь часть котораго характерна для общей физіономіи автора, въ заблужденіе можетъ вводить своеобразный блескъ изложенія, которое самъ Ничше называлъ впослѣдствіи чрезмѣрно образнымъ (bilderwüthig und bilderwirrig), чуждымъ „логической трезвости“, „очень убѣжденнымъ и потому не считающимся съ доказательствами“. Вдобавокъ и нѣкоторые пункты книги слишкомъ ужъ для насъ чужіе. Переводчикъ нѣсколько преувеличиваетъ, но не очень удаляется отъ истины, говоря, что „Происхожденіе трагедіи“ есть „настолько же эстетическій трактатъ, насколько и поэма, обнимающая собою всю исторію эллинской культуры, а отчасти и нашей — со времени эпохи Возрожденія“. Но намъ, не смотря на нашу классическую систему образованія, а вѣрнѣе—даже именно благодаря ей, совершенно чуждо то восторженное отношеніе къ эллинской культурѣ, которымъ проникнута книга Ничше (см., напримѣръ, стр. 123—124); не то, чтобы мы могли соглашаться или не соглашаться съ такими воззрѣніями, а просто они намъ совсѣмъ чужія. По всѣмъ

этимъ соображеніямъ ошибется тотъ, кто подумаетъ, что онъ узналъ Ничше изъ „Происхожденія трагедіи", хотя, повторяю, въ этой книгѣ есть нѣчто, и далѣе развивавшееся въ его произведеніяхъ сквозь цѣлый рядъ отступленій и противорѣчій.

Что касается „эстетической почвы", на которой Ничше стоитъ въ „Происхожденіи трагедіи", то въ главныхъ и общихъ чертахъ она сводится къ слѣдующему. Міръ со всѣмъ, что въ немъ нарождается, существуетъ, гибнетъ, есть какъ бы художественное произведеніе вѣчно творящаго, вѣчно разрушающаго, всеединаго Первосущества. Задача человѣчества состоитъ въ томъ, чтобы слиться съ этимъ вѣчнымъ первичнымъ началомъ, будучи вмѣстѣ съ тѣмъ, подобно ему, творцомъ, дѣятелемъ. Какъ это сдѣлать? Путемъ познанія? Но познаніе распространяется только на явленія, и впервые въ лицѣ Сократа обнаружившаяся вѣра, что „мышленіе по путеводной нити причинности можетъ проникнуть до глубочайшихъ безднъ бытія", есть заблужденіе. При томъ же „познаніе убиваетъ дѣйствованіе", какъ только мы проникаемся страшной картиной неизбѣжныхъ страданій и гибели всего сущаго. Примирить насъ съ этою неизбѣжностью и заставить радостно слиться съ Первосущимъ, хотя бы претерпѣвая страданія и идя на встрѣчу гибели, можетъ только искусство, которое есть высшая мудрость, ведущая насъ за предѣлы явленій въ самыя глубокія тайны бытія. Я не буду входить въ подробности, въ раздѣленіе искусства на аполлоновское и діонисіевское и проч. По справедливому замѣчанію Риля, „не эти эстетическіе вопросы составляютъ главный предметъ книги о „Происхожденіи трагедіи". Изъ всего эстетическаго міросозерцанія, какъ оно излагается въ этой книгѣ, Ничше выводитъ теорію о нарожденіи новой культуры, которую онъ называетъ „культурой трагическаго міросозерцанія". „Главная цѣль его юношескаго произведенія — провозгласить эту новую культуру и вызвать ея проявленіе" („Фридрихъ Ницше, какъ художникъ и мыслитель". Переводъ З. Венгеровой, стр. 59). Пусть это міросозерцаніе выросло на эстетической почвѣ (хотя можно бы было, напротивъ, утверждать, что эстетика Ничше выросла на почвѣ трагическаго міросозерцанія), но оно во всякомъ случаѣ мыслимо и независимо отъ эстетической подкладки и сохранено несчастнымъ мыслителемъ отъ юношеской работы до окончательнаго помраченія разума. Это не оптимизмъ и не пессимизмъ, а можно бы было сказать именно „трагизмъ", если бы слово это уже не установилось въ извѣстномъ гораздо болѣе

узкомъ значеніи. Это не вѣра въ преобладаніе и окончательное торжество добра и счастія, но и не скорбная или мрачная оцѣнка бытія и тѣмъ болѣе не примиреніе со зломъ и несчастіемъ; это, напротивъ, призывъ къ бодрой, радостной, „веселой“ борьбѣ съ ними, хотя бы цѣною трагическаго конца. Трагическій человѣкъ можетъ быть увѣренъ въ неуспѣхѣ своей задачи, въ полной безнадежности предпріятія, но онъ готовъ „погибнуть на великомъ невозможномъ“. „Онъ плыветъ всегда противъ историческихъ волнъ... Къ счастью, исторія хранитъ и воспоминанія о великихъ борцахъ противъ исторіи, то есть противъ слѣпой силы дѣйствительности“. Во имя чего же сознательно идетъ трагическій человѣкъ на страданія и гибель въ своемъ конфликтѣ съ дѣйствительностью? Многіе считаютъ Ничше какимъ-то отрицателемъ всякаго идеала и всякаго нравственнаго долга. Это—заблужденіе, основывающееся частію на томъ, что онъ самъ называлъ себя „имморалистомъ“, частію на нѣкоторыхъ его отдѣльныхъ выраженіяхъ и въ особенности на заглавіи его книги, „Jenseits von Gut und Böse“. Но самъ же онъ разъяснилъ, что заглавіе это не значитъ „по ту сторону *добра* и *зла*“, то есть внѣ всякой нравственной оцѣнки, а только „по ту сторону *добраго* и *злобнаго*“. Онъ возставалъ противъ отождествленія „добраго“ и „нравственнаго“ (мимоходомъ сказать, какъ и Штирнеръ), но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы онъ отрицалъ нравственный долгъ. Напротивъ, именно во имя извѣстнаго идеала и нравственнаго долга онъ и выражалъ желаніе „погибнуть на великомъ невозможномъ“.

Обращаясь къ идеалу и къ содержанію и мотивамъ нравственнаго долга Ничше, мы встрѣчаемся опять съ трудностями примѣненія къ нему термина „индивидуалистъ“ и т. п. безъ всякихъ дальнѣйшихъ опредѣленій и оговорокъ. Г. Котляревскій на себѣ испыталъ эти трудности и не преодолѣлъ ихъ. Ничше отрицаетъ всѣ общественныя формы, „устанавливающія кругъ правъ и обязанностей“ во имя автономіи личности, или „самодержавнаго сердца“, какъ сказалъ бы г. Котляревскій, или, наконецъ, какъ говоритъ самъ Ничше,—„себѣ лишь равнаго, отъ нравственности нравовъ освобожденнаго, автономнаго, сверхнравственнаго индивидуума“; личность есть сама цѣль и не должна служить средствомъ служебнымъ, орудіемъ какихъ бы то ни было надъ ней стоящихъ единицъ, каковы хозяйственныя, политическія, національныя. Это, конечно, индивидуализмъ, при томъ очень ярко и опредѣленно выраженный, и Ничше

еще подчеркиваетъ его восхваленіями „одиночества“. Однако, „не добро быть человѣку едину“, и внѣ общества человѣкъ немыслимъ даже тогда, когда онъ одинокъ, ибо весь его духовный складъ воспитанъ и пропитанъ общественными отношеніями. Поэтому „противообщественныхъ“ ученій въ точномъ смыслѣ этого слова нѣтъ и быть не можетъ. Рѣчь можетъ идти лишь о тѣхъ или другихъ отрицаемыхъ и о тѣхъ или другихъ признаваемыхъ типахъ общежитія. Максу Штирнеру, исходившему изъ той же точки рѣзкаго индивидуализма, на которой стоитъ Ничше, положительный типъ общежитія рисовался въ видѣ „союзовъ эгоистовъ“, члены которыхъ связаны лишь взаимною склонностью, даже прямо любовью, и столь же свободно входятъ въ союзъ, какъ и выходятъ изъ него. Тоже самое видимъ у Ибсена въ его извѣстномъ письмѣ къ Брандесу, гдѣ онъ противопоставляетъ государству союзы, основанные на добровольномъ согласіи и духовномъ родствѣ. Тоже входитъ, повидимому, не только въ теорію, но и въ практику анархистовъ. Совсѣмъ не таковъ общественный идеалъ Ничше, и здѣсь, въ положительной части своего ученія, онъ является уже отнюдь не индивидуалистомъ, ибо совершенно подчиняетъ личность нѣкоторому цѣлому, которое онъ называетъ „совокупностью жизни“. Съ точки зрѣнія этой „совокупности жизни“ онъ отвергаетъ даже существованіе индивидуума, который, дескать, есть лишь одна изъ точекъ „линіи жизни“. Линія же жизни можетъ быть и восходящая, ведущая къ вящшей полнотѣ и къ вящшему расцвѣту жизни, и нисходящая, ведущая къ умаленію и пониженію жизни, къ вырожденію. Представители этихъ линій не равноцѣнны и не равноправны. Представители восходящей линіи, какъ задатки высшихъ формъ жизни, „сверхъ-человѣка“, должны быть окружены наилучшими условіями и удовлетворять въ высшей степени присущую имъ „жажду власти“ или „волю къ власти“; они – активные служители того высшаго цѣлаго, которое называется „совокупностью жизни“. Представители нисходящей линіи, всѣ слабые духомъ или тѣломъ, обречены на пассивное ей служеніе—своею гибелью или подчиненіемъ. Такимъ образомъ, слагается чисто аристократическій, но вовсе не индивидуалистическій идеалъ общежитія, члены котораго связаны частію отношеніями власти и подчиненія, а частію чувствомъ „любви къ дальнему“,—къ тѣмъ „сверхъ-человѣкамъ“, которые постепенно вырабатываются исторіей.

Итакъ, въ ученіи Ничше слѣдуетъ различать два теченія. Одно—

кладущее въ основаніе морали автономію личности, ея достоинство, ея неприкосновенность для какого бы то ни было охватывающаго ее или надъ ней стоящаго цѣлаго, и другое—прямо противоположное, обрекающее личность на служебную роль по отношенію къ нѣкоторому цѣлому,—„совокупности жизни", при чемъ, какъ всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, это цѣлое персонифицируется въ своего рода аристократію. Первое изъ этихъ теченій не находится въ противорѣчіи съ принципомъ любви къ ближнему, второе же вызываетъ, по выраженію самого Ничше, „переоцѣнку всѣхъ цѣнностей" съ точки зрѣнія „любви къ дальнему". Объ этомъ новомъ моральномъ принципѣ, объ этой основѣ ничшевской переоцѣнки всѣхъ цѣнностей, г. Котляревскій даже не упоминаетъ, а между тѣмъ „любовь къ дальнему", хотя бы и не этимъ терминомъ выраженная, играетъ очень видную роль въ современной смутѣ умовъ и сердецъ. По Ничше, любовь къ ближнему можетъ лишь задерживать человѣчество на пути къ выработкѣ „сверхъ-человѣка", даже отодвигать назадъ, ибо она предписываетъ поддержку слабыхъ, больныхъ, нуждающихся въ какой нибудь помощи, то есть, дескать, представителей нисходящихъ линій жизни. Съ точки зрѣнія любви къ дальнему всѣ эти слабые правомѣрно подлежатъ гибели, а потому тѣ чувства и дѣла, которыя называются доселѣ „добрыми"—состраданіе, милосердіе, самоотверженность и т. д.,—не одобренія заслуживаютъ, а презрѣнія, какъ элементы „рабской" морали.

Повторяю, вся *эта* часть ученія Ничше, очевидно, не заслуживаетъ названія индивидуализма. И нѣмецкій философъ отнюдь не одинокъ въ своей проповѣди „любви къ дальнему". Не говорю о прямыхъ послѣдователяхъ и ученикахъ Ничше. Но вотъ, напримѣръ, Ренанъ, которому г. Котляревскій тоже удѣлилъ слишкомъ мало вниманія. Въ своей извѣстной утопіи Ренанъ, конечно, не индивидуалистъ. Онъ очень странно, но характерно выражается: „нація, церковь, городъ существуютъ болѣе, чѣмъ индивидъ" (existent plus que l'individu). Затѣмъ онъ предлагаетъ этому относительно не существующему индивиду раствориться въ нѣкоторомъ великомъ цѣломъ, на вершинѣ котораго будутъ стоять „великіе люди" или даже „боги" (!), то есть тѣ же сверхъ-человѣки. И мы должны возлюбить этихъ грядущихъ „дальнихъ" на томъ же основаніи, на какомъ „животныя, которыми питается геніальный или добродѣтельный человѣкъ, были бы счастливы, если бы понимали, чему они служатъ".

Та же любовь къ дальнему, взамѣнъ любви къ ближнему, лежитъ въ основѣ цѣлаго ряда дарвинистскихъ произведеній по соціологіи и этикѣ. Я не буду ихъ здѣсь касаться, такъ какъ уже много разъ и въ „Русскомъ Богатствѣ", и раньше въ „Отечественныхъ Запискахъ" говорилъ объ этой обширной литературѣ. Замѣчу только, что если бы г. Котляревскій принялъ ее въ соображеніе, то не пришелъ бы, можетъ быть, къ своему оптимистическому окончательному выводу, по крайней мѣрѣ, сильно ограничилъ бы его, а въ частности не утверждалъ бы, что лишь съ эстетической точки зрѣнія возможно нынѣ отрицаніе „гуманныхъ" и демократическихъ принциповъ; убѣдился бы онъ также, что и къ дарвинистской соціологіи и этикѣ трудно приложимъ терминъ „индивидуализмъ", такъ какъ она приноситъ личность въ жертву на алтарь нѣкотораго цѣлаго—вида или рода, во главѣ котораго стоятъ наиболѣе приспособленные (то есть, по дарвинистски,—высшіе) экземпляры.

Какъ видимъ, „задача вѣка" не рѣшена, тяжба личности и общества не кончена. Что она не кончена въ жизни, это мы слишкомъ хорошо знаемъ, но и въ области мысли она рѣшается далеко не столь единогласно, какъ это кажется г. Котляревскому.

Съ нынѣшняго года наша періодическая литература обогатилась новымъ ежемѣсячнымъ „журналомъ литературы, науки и политики"—„Начало". Судя по именамъ сотрудниковъ и составу перваго номера (двойного—за январь и февраль), направленіе „Начала" уже имѣетъ своихъ представителей въ журналистикѣ. Но „Начало", конечно, не будетъ лишнимъ. И не только въ силу того общаго правила, что „дай Богъ поболѣе журналовъ,—плодятъ читателей они", а читатели очень нужны нашему обширному, но малограмотному отечеству. Это само собой разумѣется. Но „Начало" имѣетъ возможность яснѣе и полнѣе другихъ своихъ собратовъ выразить то направленіе „экономическаго матеріализма", представителемъ котораго оно является; а въ такомъ выясненіи нуждаются не только читатели, но и сами представители направленія. Изъ множества эпизодовъ, которые можно бы было привести для иллюстраціи этой послѣдней мысли, напомню одинъ. Г. Каменскій, развивая положенія экономическаго матеріализма, доказывалъ, что только глупые и невѣжественные люди („умные и ученые",—но это была ядовитая

иронія) могутъ приписывать его единомышленникамъ мысль о „преобладающемъ значеніи экономическаго фактора“ или о „господствующемъ значеніи въ общественной жизни экономическихъ отношеній“; если же—говоритъ онъ—такіе и есть, то это не „настоящіе“, а „самозванцы“. А между тѣмъ это самое утверждалъ никто иной, какъ г. Туганъ-Барановскій, который, значитъ, есть либо „умный и ученый“ человѣкъ въ ядовито-ироническомъ смыслѣ этихъ эпитетовъ, либо самозванецъ, а, казалось бы, какой ужъ достовѣрный единомышленникъ... А то вотъ еще эпизодъ, можно сказать, вчерашняго дня. Во время преній въ „Обществѣ экономистовъ“ по рефератамъ г. Энгельгардта, одинъ изъ „единомышленниковъ“ заявилъ, что г. Струве „не вполнѣ типичный представитель марксизма“, что у него „нѣтъ ясности понятій“, что „его можно смѣшать съ манчестерцами“ и т. д., а другой единомышленникъ указалъ на существованіе „узколобыхъ“ марксистовъ, мнѣнія которыхъ не слѣдуетъ принимать въ соображеніе при оцѣнкѣ защищаемаго ими ученія. Все это, конечно, совершенно не важно, пока рѣчь идетъ о степени узколобости или широколобости того или другого представителя ученія лично. Но вотъ, напримѣръ, выше приведенное разъясненіе г. Каменскаго объ отношеніи доктрины къ экономическому фактору направлено не противъ г. Тугана-Барановскаго, какъ слѣдовало бы, а противъ „народниковъ“, „субъективистовъ“ и другихъ, ни во грѣхахъ, ни въ добродѣтеляхъ г. Тугана-Барановскаго неповинныхъ людей. А это уже самую доктрину затемняетъ, тѣмъ болѣе, что господствующее значеніе экономическаго фактора было сразу рѣзко и опредѣленно поставлено, какъ основной пунктъ доктрины.

Надо надѣяться, что „Начало“ положитъ конецъ всѣмъ такимъ недоразумѣніямъ. Не вдругъ, конечно. И не удивительно, если первый, хотя бы и двойной номеръ новаго журнала мало подвигаетъ насъ въ этомъ отношеніи впередъ. Изъ него пока видно только, что первоначальный рѣзко и грубо очерченный обликъ русскаго марксизма блѣднѣетъ, воспринимая въ себя нѣкоторые инородные элементы. Это становится особенно ясно, если слѣдить за статьями не только „Начала“, но и родственнаго ему журнала „Жизнь“ (въ числѣ сотрудниковъ обоихъ журналовъ значатся такіе характерные писатели, какъ гг. Струве, Гвоздевъ, Туганъ-Барановскій и др.).

Относительно „Жизни“ слѣдуетъ замѣтить, что уже г. Ма-

ксимъ Горькій представляетъ въ ней рѣзко анти-марксистскій элементъ. Но вотъ, напримѣръ, во второй февральской книжкѣ почтеннаго журнала напечатано начало статьи Зомбарта „Идеалы соціальной политики“ (окончена въ мартовской книжкѣ). Тутъ есть кое-что, подъ чѣмъ подписались бы и гг. Струве, Гвоздевъ и Туганъ-Барановскій, но есть и такія, напримѣръ, строки: „Довольно часто среди эволюціонистовъ возникаютъ разногласія вслѣдствіе смѣшенія понятій: *эволюція* и *квіетизмъ*. Въ особенности среди марксистовъ распространилось мнѣніе, будто эволюція представляетъ естественный процессъ, совершающійся независимо отъ дѣятельности людей, по отношенію къ которому единичныя личности должны спокойно положить руки въ карманы и ждать, пока плодъ созрѣетъ для срыванія. Этотъ квіетическій и, по моему мнѣнію, псевдо-марксистскій взглядъ, не имѣетъ ничего общаго съ идеей эволюціи. Онъ совершенно упускаетъ изъ виду, что все, совершающееся въ соціальной жизни, несомнѣнно происходитъ между живыми людьми, которые участвуютъ въ процессѣ развитія, ставя себѣ цѣли и стремясь къ ихъ осуществленію“.—Или вотъ въ мартовской книжкѣ „Жизни“ статья г. С. Штейнберга „Новая книга объ историческомъ матеріализмѣ“. Это не самостоятельная статья, а только изложеніе содержанія книги Бернштейна, но точка зрѣнія автора видна уже изъ эпиграфа, взятаго имъ у того же Бернштейна: „Die Fortentwickelung und Ausbildung der marxistischen Lehre muss mit ihrer Kritik beginnen“. Между прочимъ, читаемъ: „Матеріалистическое пониманіе исторіи совершило въ головахъ своихъ творцовъ значительную эволюцію. Выступивъ, какъ протестъ противъ историческаго идеализма и утопизма, они естественно грѣшили первоначально противоположной крайностью. На мѣсто гегелевской идеи стали производительныя силы, на мѣсто произвола, введеннаго французскими утопистами, была поставлена идея строгаго детерминизма. Однако, съ теченіемъ времени въ матеріалистическое пониманіе исторіи ея авторами были введены элементы, значительно измѣняющіе ея первоначальную форму. Рядомъ съ производствомъ и производственными отношеніями были признаны иные идеологическіе факторы, которымъ была отведена извѣстная самостоятельность. Характерны въ этомъ отношеніи послѣднія статьи Энгельса, въ которыхъ онъ указываетъ на вліяніе, оказываемое политическими и правовыми учрежденіями и даже философіей, литературой и религіей на экономическій фундаментъ. Но съ признаніемъ роли идеаль-

ныхъ силъ въ историческомъ развитіи и ихъ вліянія на производство, историческая необходимость теряетъ подъ собой основаніе. Мы допускаемъ тѣмъ самымъ возможность сознательнаго воздѣйствія людей на ихъ экономическія отношенія". И далѣе: „Если предметъ изслѣдованія простъ, то опытъ и здоровая логика являются достаточнымъ препятствіемъ противъ увлеченія аналогіями вродѣ „отрицаніе отрицанія". Но тамъ, гдѣ объектомъ изслѣдованія служитъ сложная сѣть явленій и силъ, эти термины гегелевской діалектики могутъ повести насъ къ самымъ ошибочнымъ заключеніямъ. Примѣръ такихъ ошибочныхъ заключеній даютъ намъ сами авторы матеріалистическаго пониманія исторіи и именно въ той его части, гдѣ развивается теорія историческихъ катастрофъ. Извѣстно, какую громадную роль играетъ въ системѣ Маркса „экспропріація экспропріаторовъ", и какъ глубока была его вѣра, особенно въ ранніе періоды его дѣятельности, въ близость этой „экспропріаціи". Этотъ историческій самообманъ, простительный для какого либо политическаго мечтателя, былъ бы трудно объяснимъ у Маркса, вообще, трезваго мыслителя,—если бы мы не знали вліянія на него гегелевской діалектики съ ея противорѣчіями и „отрицаніемъ отрицанія" и т. д.

Какъ это все далеко отъ грубаго пониманія г. Туганомъ-Барановскимъ „преобладающаго значенія экономическаго фактора"; отъ восторженныхъ отзывовъ г. Каменскаго о гегелевской діалектикѣ; отъ маниловскихъ надеждъ г. Гвоздева на превращеніе кулака-ростовщика „въ свою противоположность". И, однако, все это напечатано въ журналѣ, постоянными сотрудниками котораго состоятъ гг. Струве, Гвоздевъ, Туганъ-Барановскій.

Въ „Началѣ" мы еще пока не видимъ столь опредѣленной эволюціи въ сторону критическаго отношенія къ недавно непоколебимымъ грубымъ догматамъ. Мало того, журналъ, повидимому, намѣренъ удѣлить значительную долю своего вниманія полемикѣ отъ лица какъ бы нисколько не поколебленнаго марксизма, какимъ онъ явился читателямъ съ самаго начала. Но эта кажущаяся неуступчивость не можетъ скрыть бреши, произведенныя въ доктринѣ, какъ самою жизнью, такъ и ударами противниковъ. Авторъ статьи „Новый періодическій органъ" въ №№ 74 и 82 „Сына Отечества" справедливо замѣчаетъ, что нѣкоторую перемѣну фронта знаменуетъ уже чрезвычайное обиліе въ первомъ № „Начала" статей по аграрнымъ вопросамъ, доселѣ остававшимся внѣ поля зрѣнія русскаго марксизма.

Да и самая постановка и рѣшеніе этихъ вопросовъ составляютъ несомнѣнно инородный элементъ въ первоначальномъ обликѣ русскаго марксизма. Не эти, однако, сознательныя уклоненія отъ узкой и грубой доктрины занимаютъ меня въ настоящую минуту. Если „Жизнь“ проводитъ въ сознаніе своихъ читателей подъ иностраннымъ флагомъ тѣ критическіе взгляды, которые въ русской литературѣ вызывали въ „ученикахъ“ презрѣніе и негодованіе; если „Начало“ обращаетъ свое благосклонное вниманіе на группу вопросовъ, выпирающихъ рамки доктрины,—то этому можно только радоваться и желать, чтобы такъ и дальше дѣло шло. Иначе съ уклоненіями безсознательными.

Самый непоколебимый изъ сотрудниковъ обоихъ журналовъ есть безспорно г. Туганъ-Барановскій. Это типичный ортодоксальный русскій „ученикъ“, на котораго, вѣроятно, съ изумленіемъ — а можетъ быть, и съ другимъ чувствомъ—посмотрѣлъ бы учитель. Узкій до того, что едва ли имѣетъ отчетливое представленіе о трехъ измѣреніяхъ, въ которыхъ всѣ мы живемъ, ясный до прозрачности, этотъ писатель ухитряется быть непонятымъ. По крайней мѣрѣ, онъ самъ это утверждаетъ, напоминая собою великолѣпную m-me Гурмыжскую въ тотъ моментъ, когда она говоритъ: „меня никто не понимаетъ, рѣшительно никто; понимаетъ меня только нашъ губернаторъ, да отецъ Григорій“. Г. Тугана-Барановскаго понимаетъ только г. Струве, который и не упускаетъ случая подносить ему букеты славословія,—въ обмѣнъ, впрочемъ, на таковые же (Вѣроятно, именно такъ и m-me Гурмыжская съ губернаторомъ бесѣдовала). Поэтому-то г. Туганъ-Барановскій и имѣетъ видъ величественнаго монумента самому себѣ, презрительно озирающаго окрестности съ чрезвычайно высокаго пьедестала, о который безсильно разбиваются волны критики. Такъ вотъ этотъ самый монументъ самому себѣ предпринялъ въ „Началѣ“ обзоръ нѣкоторыхъ теченій русской литературы. Это только вступленіе къ отвѣту „моимъ критикамъ“ (между которыми — увы! — не оказалось ни нашего губернатора, ни отца Григорія), и такъ какъ г. Туганъ-Барановскій естественно торопится перейти къ самому себѣ, то историко-литературное вступленіе весьма кратко. Однако, искусное перо г. Тугана-Барановскаго и на маломъ пространствѣ начертало не мало значительныхъ мыслей, въ цѣломъ образующихъ путаницу. Распутывать ее всю—я не отваживаюсь, но двѣ-три подробности предложу вниманію читателей.

Въ числѣ тѣхъ литературныхъ теченій, на костяхъ представителей которыхъ г. Туганъ Барановскій воздвигъ свой монументъ самому себѣ, онъ отмѣчаетъ „увлеченіе всякаго рода декадентствомъ и эстетизмомъ въ области искусства (литературнымъ памятникомъ этого направленія является нынѣ покойный „Сѣверный Вѣстникъ"). Это изсякшее теченіе мало занимаетъ г. Тугана-Барановскаго, равно какъ и „толстовство". Нѣсколько больше вниманія удѣляетъ онъ „вѣрѣ во всемогущество „критически мыслящихъ личностей". Вѣра эта, говоритъ г. Туганъ-Барановскій, „не только была подорвана, но даже совершенно исчезла". Тогда, по хронологіи нашего автора, насколько ее понимать можно, выступило „народничество", въ свою очередь уступившее мѣсто новому теченію, представителемъ котораго и является самъ г. Туганъ-Барановскій. Въ литературѣ поднялись горячіе споры, въ которыхъ—поясняетъ г. Туганъ-Барановскій—„дѣло идетъ не болѣе и не менѣе, какъ о выработкѣ новаго міросозерцанія, о рѣшеніи самыхъ важныхъ вопросовъ, которыми опредѣляется все наше отношеніе къ жизни. За этими спорами скрывается все то же наболѣвшее, мучительное исканіе отвѣта на вопросъ—„что дѣлать", „какъ внести больше справедливости въ человѣческія отношенія". Далѣе читаемъ: „Какъ я уже сказалъ, поколѣніе 70-хъ годовъ вѣрило въ силу критически мыслящихъ личностей и было разбито. Необходимъ былъ новый принципъ, столь же универсальный и могущій служить болѣе солиднымъ базисомъ для общественной дѣятельности. Этотъ принципъ и былъ формулированъ съ полною ясностью. Принципомъ этимъ является не только признаніе законосообразности историческаго процесса, но и опредѣленное представленіе о его направленіи. Новое міросозерцаніе основывается на глубокой увѣренности, что, какъ бы мы ни были слабы, побѣда останется за нашими идеалами, ибо таковы неизбѣжные законы исторической эволюціи". Этихъ неизбѣжныхъ законовъ исторической эволюціи г. Туганъ-Барановскій не излагаетъ, если не считать таковымъ изложеніемъ заявленіе „убѣжденія, что именно „темныя стороны (общественнаго строя) создаютъ движеніе, дѣлаютъ исторію, вызываютъ борьбу", порождаютъ силы, долженствующія побѣдить общественное зло.

Прежде всего маленькая фактическая поправка: *никогда никто* (подчеркиваю) у насъ о „всемогуществѣ критически мыслящей личности" не говорилъ; съ другой стороны, принципъ „законосообразности историческаго процесса", точнѣе—причинной связи явленій

общественной жизни — отнюдь не г. Туганомъ-Барановскимъ или г. Струве, или еще какимъ представителемъ экономическаго матеріализма былъ въ нашей литературѣ провозглашенъ. Принципъ этотъ много старше самого экономическаго матеріализма. Недостойный пріемъ навязыванія своимъ предшественникамъ мыслей, которыхъ они никогда не высказывали, и вычеркиванія изъ ихъ наслѣдства другихъ, которыя они высказывали съ полною опредѣленностью,—не однимъ г. Туганомъ-Барановскимъ пускается въ ходъ. Г. Струве раньше его говорилъ, будто „прогрессивная литература 60-хъ и 70-хъ годовъ“ утверждала, что „*личность все можетъ* въ томъ смыслѣ, что для нея не существуетъ соціологической необходимости“. Г-ну Струве эта неправда нужна была для того, чтобы съ тѣмъ большею самостоятельностью выставить противоположный тезисъ: личность ничего не можетъ. Но не только личность безсильна, какъ активный участникъ историческаго процесса. По словамъ г. Струве, вообще „соціологія можетъ игнорировать личность“, а экономическій матеріализмъ „просто игнорируетъ личность, какъ соціологически ничтожную величину“. Въ подтвержденіе или въ подкрѣпленіе своей мысли г. Струве цитируетъ, однако, не основателей экономическаго матеріализма, а всего только Гумпловича, и именно слѣдующія его слова: „величайшая ошибка индивидуалистической психологіи это—предположеніе, что мыслитъ *человѣкъ*“. Такимъ образомъ, игнорированіе личности переносится и въ психологію: мыслитъ не человѣкъ, не личность, а соціальная группа, въ составъ которой личность входитъ. Отсюда естественный переходъ въ этику, при чемъ, впрочемъ, оказывается, что личность, пожалуй, и можетъ мыслить, но — неправильно: „Мышленіе возможно только соціальное, истина есть представленіе рода, заблужденіе—представленіе индивидуума, нравственной нормой для индивидуума въ общемъ является то, что представляетъ фактическую норму для соціальной группы“. „Никто въ такой мѣрѣ не характеризуетъ современную научную этику, какъ именно матеріализмъ (или реализмъ), выражающійся въ сведеніи содержанія нравственности къ типически соціальному поведенію“.

Мысли эти г. Струве излагалъ въ „Критическихъ замѣткахъ по вопросу объ экономическомъ развитіи Россіи“, и я въ свое время бесѣдовалъ объ нихъ съ читателями „Русскаго Богатства“. Теперь я напоминаю ихъ, чтобы показать все безсиліе занятой русскими „учениками“ позиціи для отвѣта на занимающій г. Тугана-Баранов-

скаго вопросъ: „что дѣлать?“ Когда рѣчь идетъ о *происхожденіи* или исторіи того или другого нравственнаго понятія, того или другого нравственнаго идеала, эта позиція удовлетворительна: такія-то и такія-то обстоятельства причинно обусловливаютъ происхожденіе идеала суроваго, мужественнаго, презирающаго опасности воина, такія-то создаютъ бережливаго и трудолюбиваго земледѣльца и т. д. Но уже и тутъ мы встрѣчаемъ затрудненія при объясненіи нѣкоторыхъ индивидуальныхъ отклоненій. Скажемъ такъ: Марксъ, сынъ состоятельнаго адвоката, и Энгельсъ, сынъ богатаго фабриканта, по рожденію и общественному положенію принадлежали къ буржуазіи. Слѣдуетъ ли изъ этого, что ихъ нравственные идеалы были идеалами ихъ соціальной группы? Конечно, нѣтъ, и въ этомъ, какъ и въ другихъ подобныхъ случаяхъ, мы должны признать извѣстную долю индивидуальнаго почина, ставящаго личность въ противорѣчіе съ той соціальной группой, въ составъ которой она входитъ. Однако при разъясненіи этихъ противорѣчій мы можемъ, да и должны оставаться на почвѣ причинной связи явленій, такъ сказать, разсуждать въ изъявительномъ наклоненіи: такія-то индивидуальныя особенности, плюсъ такія-то стороннія вліянія изъ за предѣловъ данной соціальной группы—привели къ такимъ-то результатамъ. Но какъ перейти отъ этого изъявительнаго наклоненія къ повелительному, то есть отвѣтить на волнующій г. Тугана-Барановскаго вопросъ: „что дѣлать“? Одно дѣло сказать: такія-то обстоятельства создали нравственный или политическій идеалъ такой-то соціальной группы, живущей, положимъ, грабежомъ и разбоемъ; и совсѣмъ другое дѣло сказать: грабь, разбойничай. Здѣсь мнѣ особенно пріятно сослаться на слова иностраннаго сотрудника гг. Струве, Гвоздева, Тугана-Барановскаго, — на упомянутую уже статью Зомбарта въ журналѣ „Жизнь“.

Наука можетъ разсматривать идеалъ въ его необходимости или въ его свободѣ. Она можетъ объявить его или причинно обусловленнымъ въ его возникновеніи—генетическая точка зрѣнія, или же освѣтить его въ его цѣнности и значеніи—критическая точка зрѣнія. Послѣдняя, въ свою очередь, исходитъ изъ молчаливаго предположенія вѣры въ возможность успѣшнаго измѣненія направленія политической дѣятельности, такъ какъ безъ этой вѣры критика была бы праздной, чисто академической болтовней... Штамлеръ ищетъ сущность соціальной „закономѣрности“ въ (телеологическомъ) соотношеніи соціальныхъ событій съ единою объективною цѣлью всей соціальной жизни, которую должно a priori установить научное мышленіе. Эту точку зрѣнія я считаю ошибочной... Онъ относитъ въ сферу познанія такую

область человѣческаго бытія, которая въ главныхъ своихъ элементахъ выходитъ за его предѣлы. Всѣ политическія стремленія имѣютъ своимъ конечнымъ основаніемъ общее міросозерцаніе и жизнепониманіе отдѣльныхъ людей, а это послѣднее, въ концѣ концовъ, укрывается въ метафизическую область вѣры, куда не смѣетъ послѣдовать за нею познаніе... Того, кто не желаетъ знать или признавать категоріи причинности, мы можемъ, конечно, оставить въ сторонѣ, какъ чудака, упрямца или идіота, но мы не можемъ поступить такимъ-же образомъ съ тѣмъ, кто защищаетъ міросозерцаніе, противоположное нашему. Почему я не долженъ избрать цѣлью своихъ стремленій „общество людей съ свободной волей", а не ничшеанскую „теорію культурнаго удобренія", мистическій аскетизмъ или рабскую мораль, не сумѣетъ „доказать" мнѣ ни одинъ человѣкъ, хотя бы онъ затратилъ на это столько же труда, какъ Штамлеръ, по той простой причинѣ, что здѣсь рѣчь идетъ не о распознаніи истиннаго или ложнаго, т. е. соотвѣтствующаго однообразнымъ законамъ человѣческаго мышленія или противорѣчащаго имъ, а о выборѣ точки зрѣнія, опредѣляемой, главнымъ образомъ, моими чувствами, принятіе которой еще далеко не оправдываетъ причисленія меня къ категоріи идіотовъ или чудаковъ.

Указавъ затѣмъ ту важную, хотя и второстепенную роль, которую изученіе причинной связи явленій можетъ оказать выработкѣ идеала и направленію дѣятельности „на путь прогресса", Зомбартъ продолжаетъ:

Прогресса?—Но развѣ наука показываетъ, въ чемъ онъ заключается? Конечно, нѣтъ. Но представитель науки,—и этого не слѣдуетъ забывать,—самъ живой человѣкъ и, если онъ не вполнѣ изсушенъ наукой, человѣкъ съ живыми идеалами, въ направленіи которыхъ лежитъ для него прогрессъ. И какъ никто не согласится отказаться отъ попытокъ убѣдить другого въ преимуществахъ собственнаго идеала, навязать другому свою волю, точно также не откажется отъ этого и ученый. Онъ не покинетъ надежды, что уже уясненіе положенія, котораго онъ можетъ достигнуть только одному ему доступными средствами, можетъ оказать вліяніе на направленіе политической дѣятельности. Но съ тѣмъ большей отчетливостью онъ долженъ провести границу между наукой и дѣятельностью. Онъ долженъ открыто и честно сказать, гдѣ онъ перестаетъ вести своего читателя и слушателя при посредствѣ убѣдительной силы своихъ логическихъ дедукцій, гдѣ онъ обращается уже не къ знанію, а къ волѣ. Тогда онъ можетъ раскрыть всю свою индивидуальность, свое міросозерцаніе, всю силу своего краснорѣчія, если его на это вызываетъ темпераментъ,—для того, чтобы направить волю другихъ въ колею собственныхъ стремленій, но только онъ не долженъ предаваться иллюзіи, что этимъ служитъ распространенію научнаго знанія. Онъ говоритъ и дѣйствуетъ уже какъ человѣкъ, а не какъ изслѣдователь.

Вернемся къ г. Тугану-Барановскому. Онъ уже не въ первый разъ отметаетъ „вѣру въ силу критически мыслящей личности",

равно какъ и мнѣ случалось высказывать свои по этому поводу соображенія. Поэтому оставимъ этотъ разговоръ по существу. Напомню лишь, что лично я не заинтересованъ въ торжествѣ или паденіи формулы „критически мыслящая личность“, но эта формула во всякомъ случаѣ можетъ лечь въ основаніе отвѣта на вопросъ: „что дѣлать“?—развивай въ себѣ критическую мысль и буди ее въ другихъ (буди сознаніе производителей, сказалъ бы г. Бельтовъ). Г. Туганъ-Барановскій желаетъ установить „новый принципъ, столь же универсальный и могущій служить болѣе солиднымъ базисомъ для общественной дѣятельности“, и находитъ его въ „признаніи законосообразности историческаго процесса“. Не говоря объ томъ, что г. Туганъ-Барановскій открываетъ весьма давно открытую Америку, и что въ частности автору ученія о роли критически мыслящей личности законосообразность историческаго процесса была болѣе знакома, чѣмъ г. Тугану-Барановскому; не говоря объ этомъ,—мы видѣли, что признаніе законосообразности, изученіе причинной связи явленій само по себѣ не можетъ дать непосредственный отвѣтъ на занимающій г. Тугана-Барановскаго вопросъ; оно можетъ сослужить лишь косвенную, но, конечно, огромной важности услугу въ дѣлѣ выработки этого отвѣта. Въ главныхъ же своихъ чертахъ этотъ отвѣтъ лежитъ внѣ предѣловъ познанія. Изслѣдователь, какъ *изслѣдователь*, не долженъ даже его касаться, но, какъ *человѣкъ*, онъ обязанъ его имѣть.

Чтобы позабавить нашихъ „объективистовъ“, которые неизмѣнно приходятъ въ смѣшливое настроеніе, когда слышатъ слова: „субъективный“, „субъективизмъ“,—мнѣ хочется напомнить слѣдующія слова Маркса. „Главный недостатокъ матеріализма—до Фейербаховскаго включительно—состоялъ до сихъ поръ въ томъ, что онъ разсматривалъ дѣйствительность, предметный, воспринимаемый внѣшними чувствами міръ лишь въ видѣ *объекта* или въ формѣ созерцанія, а не въ формѣ конкретной человѣческой дѣятельности, не въ формѣ практики, не *субъективно*... Матеріалистическое ученіе о томъ, что люди представляютъ собою продуктъ обстоятельствъ и воспитанія, и что, слѣдовательно, измѣнившіеся люди являются продуктомъ измѣнившихся обстоятельствъ и другого воспитанія,—забываетъ, что обстоятельства измѣняются именно людьми“ („Marx über Feuerbach“, въ приложеніи къ книжкѣ Энгельса „Ludwig Feuerbach“ etc.). Такимъ образомъ, для цѣльнаго міровоззрѣнія, въ которое долженъ входить не только элементъ познанія, по необходимости

довольствующагося объективнымъ изслѣдованіемъ причинной связи явленій, Марксъ требовалъ еще субъективной оцѣнки явленій. Обективная правда-истина и субъективная правда-справедливость должны образовать нѣкоторое великое цѣлое, оставаясь, однако, каждая самой собой. И пока г. Туганъ-Барановскій думаетъ, что обладаетъ нравственно-политическимъ принципомъ въ видѣ признанія законосообразности явленій, до тѣхъ поръ онъ не имѣетъ законченнаго, цѣльнаго міровоззрѣнія, и его отвѣтъ на вопросъ „что дѣлать?“ виситъ въ воздухѣ. Онъ наивно заблуждается, утверждая, что въ его распоряженіи имѣется „новый универсальный принципъ, могущій служить солиднымъ базисомъ для общественной дѣятельности“. То, что онъ принимаетъ за такой принципъ, совершенно не ново для *изслѣдователя* и не только не универсально, а совсѣмъ-таки недостаточно для *человѣка*. Я еще недавно имѣлъ случай бесѣдовать о попыткахъ единомышленниковъ г. Тугана-Барановскаго обойти стоящее передъ ними затрудненіе простымъ обращеніемъ изъявительнаго наклоненія изслѣдователя въ повелительное наклоненіе общественнаго дѣятеля: дѣйствительность состоитъ въ томъ-то и томъ то; признай ея силу и живи подъ ея диктовку. Мы видѣли, что это, собственно говоря, отреченіе отъ какихъ бы то ни было идеаловъ и нравственныхъ принциповъ; что послѣдовательное проведеніе этой точки зрѣнія невозможно; что, наконецъ, подъ отреченіемъ этимъ, помимо сознанія самихъ отрекающихся, формируется дѣйствительно новый универсальный принципъ,—любовь къ дальнему въ противоположность любви къ ближнему. Но этотъ универсальный принципъ прокрадывается помимо сознанія доктринеровъ законосообразности, какъ основы морали и общественной дѣятельности, прокрадывается изъ сферъ, или невѣдомыхъ доктринерамъ, или даже презираемыхъ ими.

Въ „Началѣ“ есть статья г. П. Румянцева „Къ характеристикѣ вліянія неурожая на жизнь въ деревнѣ“, въ которой читаемъ: „Дѣлая болѣе интенсивнымъ процессъ разслоенія деревни и процессъ первоначальнаго накопленія капитала, неурожай расширяетъ, съ одной стороны, внутренній рынокъ, увеличивая численность классовъ, потребляющихъ продукты не собственнаго производства, а рыночные, съ другой стороны—сферу товарнокапиталистическаго производства, дѣлая объективный и субъективный факторы производства (капи-

талъ и трудъ) достояніемъ отдѣльныхъ классовъ общества". Можно, конечно, сомнѣваться, чтобы тысячи и тысячи голодныхъ людей дѣйствительно „расширяли внутренній рынокъ", но въ общемъ приведенныя слова г. Румянцева вѣрно отражаютъ представленіе школы о неизбѣжномъ и вмѣстѣ прогрессивномъ ходѣ развитія нашей общественной жизни. Однако г. Румянцевъ кончаетъ такъ: „Каковы бы ни были послѣдствія переживаемаго населеніемъ Мензелинскаго уѣзда бѣдствія въ будущемъ, но въ настоящее время мы имѣемъ передъ собой, прежде всего, картину безъисходной нужды тысячъ человѣческихъ существъ, для которыхъ помощь во всѣхъ ея видахъ является вопросомъ жизни и смерти. Передъ этимъ грознымъ вопросомъ всѣ другіе по необходимости уходятъ на второй планъ".

Вотъ примѣненіе принципа любви къ ближнему. За многовѣковое свое существованіе этотъ великій принципъ часто извращался, опошлялся, служилъ маской для лицемѣрія и фразерства,— словомъ, всячески унижался. Но по существу своему онъ и донынѣ, при надлежащемъ его пониманіи, остается руководящимъ. Для насъ здѣсь особенно интересно отношеніе къ нему индивидуализма. Казалось бы, они несовмѣстимы. Мы видѣли, однако, что такой крайній индивидуалистъ, какъ Максъ Штирнеръ, вводитъ любовь къ ближнему въ свою систему, какъ составную часть. И это понятно. „Ближній" есть не эллинъ или іудей, не баронъ или мужикъ; это человѣкъ, человѣческая личность, помимо всякихъ національныхъ, сословныхъ, классовыхъ и другихъ случайныхъ опредѣленій. Извѣстно, напримѣръ, что у всякаго барона своя фантазія, и принципъ любви къ ближнему отнюдь не обязываетъ меня сострадать хотя бы дѣйствительнымъ страданіемъ барона, фантазія котораго не осуществилась, равно какъ и сорадоваться по поводу осуществленной спеціально баронской фантазіи; но и барону доступно не спеціально баронское, а истинно человѣческое горе, равно какъ и истинно человѣческая радость. Понятно, что „индивидуалисты" типа Макса Штирнера и *отчасти* Ничше, протестующіе противъ консолидированныхъ, внѣшнею силою сдерживаемыхъ общественныхъ формъ, не могутъ ничего имѣть противъ такъ понимаемой любви къ ближнему, ибо она устраняетъ всѣ внѣшнія опредѣленія личности, налагаемыя тѣми консолидированными общественными формами.

Не слѣдуетъ, далѣе, думать, что сфера принципа любви къ

ближнему ограничена такъ называемою благотворительностью, хотя бы и въ такихъ широкихъ размѣрахъ, какіе требуются, напримѣръ, послѣдствіями неурожая. Обыкновенно такъ именно и понимаютъ дѣло, но ни что не мѣшаетъ распространенію принципа любви къ ближнему далеко за эти узкіе предѣлы. Онъ можетъ быть положенъ въ основаніе цѣлой политической программы, обнимая собою извѣстныя общественныя группы, національныя или иныя, сообразно положенію въ нихъ „ближняго", т. е. человѣческой личности.

Но есть индивидуализмъ и индивидуализмъ. Выше, упомянувъ о Ничше, я подчеркнулъ слово *отчасти*, и очень прошу читателя помнить, что отъ Ничше могутъ идти два совершенно противоположныхъ теченія. Одной своей стороной Ничше примыкаетъ къ декадентству (или оно къ нему), и здѣсь мы встрѣчаемся съ культомъ не человѣческой, а сверхъ-человѣческой личности, для которой нѣтъ ближнихъ и которая имѣетъ поэтому право шагать черезъ чужія страданія все къ высшему совершенству. Декадентами это совершенство рисуется въ видѣ эстетическаго идеала „новой красоты"; Ничше, стоя, въ особенности въ началѣ своей дѣятельности, на той же точкѣ, осложняетъ ее элементомъ Wille zur Macht, жажды власти. Чужія страданія поэтому не только не вызываютъ и не должны вызывать отзвука состраданія, а составляютъ источникъ наслажденія—эстетическаго или же того, которое дается упоеніемъ власти, доведеннымъ до жестокости. Надо, однако, замѣтить, что этого рода индивидуализмъ въ извѣстный моментъ своего развитія уже перестаетъ быть индивидуализмомъ въ строгомъ смыслѣ слова, ибо отдаетъ личность на службу нѣкоторому высшему, надъ нею стоящему цѣлому,—„Совокупности жизни" у Ничше: его сверхъчеловѣки представляютъ собою высшій расцвѣтъ этой „Совокупности жизни" и въ этомъ смыслѣ ея персонификацію. Отсюда „любовь къ дальнему". Говоря словами Дарвина, „изъ вѣчной борьбы, изъ голода и смерти прямо слѣдуетъ самое высокое явленіе, которое мы можемъ себѣ представить, а именно—возникновеніе высшихъ формъ жизни". Это—въ растительномъ и животномъ мірѣ. То же и въ человѣческомъ обществѣ: страданія ближнихъ необходимы для торжества дальнихъ. Понятно, что съ этой точки зрѣнія необходима задуманная Ничше „переоцѣнка всѣхъ цѣнностей".

Какъ я уже говорилъ, любовь къ дальнему, хотя бы и безъ этой этикетки и даже безъ всякой этикетки, возникаетъ въ разныхъ пунктахъ и распространяется разными путями. И вотъ она

стучится въ двери русскаго марксизма. Ей очень легко туда проникнуть. Такія экстренныя событія (хотя они у насъ, кажется, даже перестаютъ быть экстренными), какъ голодъ, могутъ вызвать вышеприведенныя слова г. Румянцева, но внѣ такихъ острыхъ случаевъ—мы знаемъ—мужицкое раззореніе и всѣ связанныя съ нимъ страданія представляютъ собою лишь ступени къ лучшему будущему. Притомъ же, если, какъ утверждаетъ г. Струве, экономическій матеріализмъ „игнорируетъ личность", то что же и говорить, напримѣръ, о пустыхъ желудкахъ, когда сами владѣльцы этихъ желудковъ—пустое мѣсто; зачѣмъ откликаться на стоны боли и обиды избитаго человѣка, когда эти стоны исходятъ изъ „игнорируемаго" мѣста и т. д. Это все нелѣпая и неосновательная сентиментальность „любителей лить слезы". Дѣйствительность дѣлаетъ свое дѣло, зло превращается въ свою противоположность, кулакъ-ростовщикъ становится благодѣтелемъ... чьимъ? Конечно, не тѣхъ живыхъ людей, которыхъ онъ грабитъ и по міру пускаетъ, а будущихъ, пока не существующихъ „гражданъ всего міра, членовъ великаго мірового хозяйства", по выраженію г. Тугана-Барановскаго.

„Отрекись отъ ближняго своего и возлюби дальняго", — вотъ скрытый отвѣтъ г. Тугана-Барановскаго на вопросъ: „что дѣлать?" Скрытый не потому, чтобы г. Туганъ-Барановскій хотѣлъ что нибудь скрывать, скрытый отъ него самого, не сознанный.

Г. Туганъ-Барановскій съ большимъ презрѣніемъ говоритъ о „всякаго рода декадентствѣ и эстетизмѣ", похороненныхъ вмѣстѣ съ „Сѣвернымъ Вѣстникомъ". Но г. Туганъ-Барановскій съ высоты своего величія не замѣчаетъ, что эти покойники возрождаются, если позволительно такъ выразиться, у него подъ носомъ.

Въ „Началѣ" напечатана статья г-жи Венгеровой „Морисъ Метерлинкъ". Это еще только первая статья, имѣющая подзаглавіе: „Трагическое начало въ драмахъ Метерлинка". Изъ нея узнаемъ, между прочимъ, что драмы этого декадента или символиста „вышли изъ глубины современнаго міросозерцанія". Но глубина эта явственнѣе выступаетъ въ статьѣ самого Метерлинка „Эгоизмъ", переводъ которой журналъ „Жизнь" счелъ нужнымъ предложить вниманію читателей въ своей 2-й книжкѣ за текущій годъ. Это—апофеозъ того двусмысленнаго индивидуализма, въ составъ котораго входитъ, какъ необходимая интегральная часть, любовь къ дальнему въ ущербъ

любви къ ближнему. Я приводилъ уже слѣдующее характерное мѣсто изъ статьи бельгійскаго декадента: „Почти все великое въ этомъ мірѣ было создано людьми, которые менѣе всего думали о самопожертвованіи. Платонъ не прерываетъ своихъ размышленій, чтобы идти проливать слезы съ тѣмъ, кто плачетъ въ Аѳинахъ; Ньютонъ не оставляетъ своихъ наблюденій ради поисковъ несчастныхъ и обездоленныхъ". Казалось бы, наблюденія и размышленія могутъ очень хорошо уживаться съ самопожертвованіемъ, хотя бы въ томъ смыслѣ, что ученый человѣкъ можетъ отказаться отъ всѣхъ радостей жизни, рисковать здоровьемъ и жизнью ради просвѣщенія своихъ ближнихъ. И мы знаемъ такіе примѣры, но новая мораль, стремясь къ переоцѣнкѣ всѣхъ цѣнностей, не хочетъ пользоваться даже терминомъ „самопожертвованіе". Казалось бы, далѣе, и чисто личная жизнь великаго человѣка была бы только полнѣе, ярче, богаче, многостороннѣе, если бы, на ряду съ своими наблюденіями и размышленіями, онъ не отказывался отъ вниманія къ „несчастнымъ и обездоленнымъ". Но „новый универсальный принципъ" требуетъ по малой мѣрѣ равнодушія къ несчастнымъ и обездоленнымъ...

Метерлинкъ не одинъ держитъ это новое знамя рядомъ съ гг. Струве, Гвоздевымъ, Туганъ-Барановскимъ.

Въ „Началѣ" печатается романъ г. Мережковскаго „Воскресшіе боги". Прикосновенность г. Мережковскаго къ столь презираемымъ г. Туганъ-Барановскимъ „всякаго рода декадентству и эстетизму"— достаточно извѣстна. Но извѣстна также крайняя неустойчивость образа мыслей этого талантливаго писателя. Поэтому можно бы было ожидать, что, разъ его произведеніе появляется въ „Началѣ", похоронившемъ „всякаго рода декадентство и эстетизмъ",—въ этомъ новомъ произведеніи г. Мережковскаго мы встрѣтимъ какой нибудь новый поворотъ. Однако уже самый эпиграфъ романа намекаетъ на противное.

Эпиграфъ къ своему роману г. Мережковскій взялъ у Достоевскаго: „Тутъ берега сходятся, тутъ всѣ противорѣчія вмѣстѣ живутъ... Ужасно то, что красота не только страшная, но и таинственная вещь. Тутъ дьяволъ съ Богомъ борется, а поле битвы—сердца людей". А герой романа, Леонардо да Винчи, характеризуется, между прочимъ, слѣдующими чертами. Прежде всего, его художественная исповѣдь: „Если хочешь быть художникомъ, оставь всякую печаль и заботу, кромѣ искусства. Пусть душа твоя будетъ, какъ зеркало, которое отражаетъ всѣ предметы, всѣ движенія и цвѣта,

само оставаясь неподвижнымъ и яснымъ". Искусство, значитъ, есть нѣчто самодовлѣющее, само въ себѣ свою цѣль заключающее, художникъ не долженъ волноваться никакими сторонними мотивами ни при выборѣ предмета воспроизведенія, ни въ самомъ процессѣ воспроизведенія. Но Леонардо да Винчи не только художникъ, онъ и наукою занимается, какъ теоретическою, такъ и прикладною. Его всеобъемлющій геній неустанно занятъ изученіемъ, измѣреніями, наблюденіями, открытіями, изобрѣтеніями. И, какъ и въ сферѣ искусства, вся эта неустанная умственная дѣятельность служитъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ сама себѣ цѣлью. Леонардо да Винчи изобрѣтаетъ, пожалуй, и „самовращающійся вертелъ, чтобы равномѣрно жарить каплуновъ и поросятъ", и „щелокъ изъ куринаго помета для стирки бѣлья", не говоря уже объ изобрѣтеніи летательной машины или руководствѣ грандіозными оросительными работами. Но во всѣхъ этихъ случаяхъ практическія цѣли играютъ совершенно второстепенную роль, онѣ вполнѣ безразличны для героя г. Мережковскаго. Полезны или вредны результаты умственной работы Леонардо, и кому полезны, кому вредны, нравственны или безнравственны,—это ему все равно.

Онъ изобрѣтаетъ автоматическій вертелъ для лучшаго поджариванія кушанья, но онъ же выращиваетъ у себя въ саду ядовитые персики. Что же касается безразличія въ нравственномъ отношеніи, то Леонардо даже своего покровителя, герцога Моро Сфорца, весьма на этотъ счетъ свободомыслящаго, поражаетъ. И г. Мережковскій съ особливымъ стараніемъ подчеркиваетъ это обстоятельство. Герцогъ просматриваетъ тетради художника, въ которыхъ набросаны разные рисунки, чертежи, архитектурные планы. Тутъ есть, между прочимъ, „планъ города съ двухъ ярусными улицами,—верхними для благородныхъ, нижними для черни, вьючныхъ животныхъ и нечистотъ, омываемыхъ водою множества трубъ и каналовъ,—города, построеннаго согласно съ точнымъ знаніемъ законовъ природы, но для такихъ существъ, у которыхъ совѣсть не смущается передъ вопіющимъ неравенствомъ, раздѣленіемъ на избранниковъ и отверженныхъ". Есть, далѣе, проектъ колоссальной гробницы, которую герцогъ не можетъ иначе назвать, какъ „мавзолеемъ боговъ". Есть еще планъ дома терпимости, по мнѣнію герцога, чрезвычайно удобнаго. Выразивъ по этому случаю свое удовольствіе, герцогъ прибавилъ:

— Однако, ты у меня, я вижу, на всѣ руки мастеръ, не брезгаешь ничѣмъ: мавзолей для боговъ—рядомъ съ домомъ терпимости! Кстати,—продолжалъ онъ,—читалъ я однажды въ книгѣ какого-то древняго историка о такъ называемомъ „ухѣ тирана Діонисія"—слуховой трубѣ, скрытой въ толщѣ стѣнъ и устроенной такъ, что государь можетъ слышать изъ одного покоя все, что говорится въ другомъ. Какъ ты полагаешь, нельзя ли устроить ухо Діонисія въ моемъ дворцѣ?

Герцогу сначала было немного совѣстно. Но онъ тотчасъ оправился, почувствовавъ, что художника нечего стыдиться. Не смущаясь, даже не помышляя о томъ—хорошо или дурно Діонисіево ухо, Леонардо бесѣдовалъ о немъ, какъ о новомъ научномъ приборѣ, радуясь предлогу изслѣдовать при устройствѣ этихъ трубъ законы движенія звуковыхъ волнъ.

Таковъ Леонардо да Винчи въ освѣщеніи г. Мережковскаго. Это—настоящій „сверхъ-человѣкъ", для котораго нѣтъ ближнихъ, которому совершенно безразличны ихъ радостныя и горестныя волненія; онъ стоитъ jenseits von Gut und Böse, вслѣдствіе чего ему все равно—строить ли храмъ или публичный домъ, или устраивать шпіонскія „уши Діонисія", или создавать планъ города для „существъ, совѣсть которыхъ не смущается вопіющимъ неравенствомъ, раздѣленіемъ на избранныхъ и отверженныхъ". Герой Мережковскаго не только не тратитъ времени на „поиски несчастныхъ и обездоленныхъ", но въ немъ есть какая-то жестокость, онъ способенъ наслаждаться видомъ страданій. Пока эта жестокость проявляется только на мухѣ, пожираемой паукомъ. Десятилѣтній мальчикъ Джьякопо принесъ ему въ коробочкѣ „громаднаго, ядовитаго" паука, и затѣмъ происходитъ слѣдующая сцена:

Джьякопо поймалъ муху и бросилъ въ коробку. Паукъ кинулся на добычу, схватилъ ее мохнатыми лапами, и жертва забилась, зажужжала все слабѣе, все тоньше.

— Сосетъ, сосетъ! Смотрите,—шепталъ мальчикъ, замирая отъ наслажденія. Глаза его горѣли жестокимъ любопытствомъ и на губахъ дрожала нѣжная улыбка. Леонардо тоже наклонился, глядя на чудовищное насѣкомое. И вдругъ Джіованни (ученику Леонардо) показалось, что у нихъ у обоихъ въ лицахъ мелькнуло общее выраженіе, какъ будто, не смотря на бездну, отдѣлявшую ребенка отъ художника, они сходились въ этомъ любопытствѣ къ ужасному.

Вслѣдъ за тѣмъ Леонардо „погладилъ мальчика по головѣ съ нѣжностью, какъ будто угадывая вѣчную тайну этого сердца, *созданнаго природою злымъ и невиннымъ во злѣ*".

Все это—пока неясные намеки на переоцѣнку всѣхъ цѣнностей съ точки зрѣнія „новаго универсальнаго принципа", оправдывающаго

не только равнодушіе къ несчастнымъ и обездоленнымъ, но и злобу, и жестокость, и прямо зло—потому ли, что оно превратится въ свою противоположность, или потому, что оно уже само по себѣ есть добро, или, наконецъ, потому, что, какъ гласитъ эпиграфъ, „красота не только страшная, но и таинственная вещь; тутъ дьяволъ споритъ съ Богомъ, а поле битвы—сердца людей“.

Интересно отношеніе г. Мережковскаго къ Іудѣ Искаріоту. Въ подробностяхъ оно также пока не совсѣмъ ясно, но видно всетаки, что и здѣсь должна быть пущена въ ходъ переоцѣнка всѣхъ цѣнностей, и Іуда окажется представителемъ зла, но такого, которое либо превратится въ свою противоположность, либо въ самомъ себѣ содержитъ добро. На знаменитой картинѣ Леонардо да Винчи „Тайная вечеря“ „лица апостоловъ дышали такою жизнью, что Джіованни какъ будто слышалъ ихъ голоса, заглядывалъ въ глубину ихъ сердецъ, смущенныхъ самымъ непонятнымъ и ужаснымъ изъ всего, что когда-либо совершалось въ мірѣ,—рожденіемъ зла, отъ котораго Богъ въ человѣкѣ долженъ умереть“. Это очень загадочная фраза: нѣкоторый свѣтъ бросаетъ на нее описаніе наружности Іуды, головы котораго еще нѣтъ на картинѣ, но она набросана художникомъ на „подготовительномъ рисункѣ“. „Это было лицо страшное, но не отталкивающее, даже не злобное,—только полное безконечною скорбью и горечью познанія“. И, глядя на него, ученикъ Леонардо, Джіованни, говоритъ: „Да, это онъ. Тотъ, о комъ сказано: „вошелъ въ него сатана“. Онъ, можетъ быть, зналъ больше всѣхъ, но не принялъ этого слова: „да будутъ всѣ едино“. Онъ самъ хотѣлъ быть одинъ“.—Такимъ образомъ, если Іуда и не окажется „сверхъ-человѣкомъ“, для котораго не писаны законы старой морали, осуждающей предательство, то мы во всякомъ случаѣ имѣемъ нѣкоторую реабилитацію предателя. Онъ не просто подлый христопродавецъ, самъ себя казнившій за свое подлое дѣло, какимъ до сихъ поръ жилъ въ умахъ людей: онъ еще до этой казни былъ полонъ „безконечной скорби“, и, главное, онъ „зналъ больше всѣхъ“, онъ былъ, говоря языкомъ г. М. М., „рабомъ знанья“.

Если читатель заглянетъ въ отдѣлъ „новыхъ книгъ“ въ той же книжкѣ „Начала“, то найдетъ тамъ рецензію недавно вышедшей въ русскомъ переводѣ книги Габріэля Сеайля „Леонардо да Винчи, какъ художникъ и ученый“. Изъ этой рецензіи читатель увидитъ, что Сеайль никоимъ образомъ не согласился бы съ освѣщеніемъ, которое даетъ знаменитому художнику г. Мережковскій. Въ част-

ности обращу вниманіе читателя на слѣдующій разсказъ Сеайля. Голова Іуды долго не давалась художнику, и, наконецъ, настоятель монастыря, въ которомъ писалась „Тайная вечеря“, пожаловался герцогу Мору на лѣность Леонардо. Послѣдній на упреки герцога отвѣчалъ: „Вашей свѣтлости извѣстно, что мнѣ остается нарисовать только голову Іуды, этого всѣмъ извѣстнаго отмѣннаго мошенника. Но ему необходимо придать такую физіономію, которая соотвѣтствовала бы его злодѣйскому характеру. Ради этого я уже годъ, а можетъ быть и болѣе, ежедневно утромъ и вечеромъ отправляюсь въ Боргетто, гдѣ, какъ вашей свѣтлости хорошо извѣстно, живетъ всякая сволочь; но я не могъ найти злодѣйскаго лица, соотвѣтствующаго моему замыслу. Лишь только такое лицо мнѣ встрѣтится, я въ одинъ день окончу картину. Однако, если мои поиски окажутся тщетными, я возьму черты лица настоятеля, приходившаго къ вашей свѣтлости жаловаться на меня: его лицо вполнѣ соотвѣтствуетъ моей цѣли“.

Итакъ, для Леонардо да Винчи Іуда былъ „мошенникъ“, злодѣй, и натурщика для его изображенія онъ искалъ среди „сволочи“. Не Леонардо, а г. Мережковскій освѣщаетъ Іуду съ точки зрѣнія „новаго универсальнаго принципа“, требующаго переоцѣнки всѣхъ цѣнностей.

Іудѣ предателю вообще повезло въ послѣднее время въ нашей литературѣ. Еще недавно мнѣ пришлось говорить о г. Гвоздевѣ, который негодуетъ на г. Златовратскаго за то, что тотъ сравнилъ Колупаевыхъ съ Іудой, не „зная“, что Іуда превращается въ свою противоположность и несетъ въ себѣ зародышъ грядущаго блага. Я по этому поводу припомнилъ ту странную гностическую секту, которая поклонялась Іудѣ предателю, какъ предателю Теперь вотъ г. Мережковскій занимается реабилитаціей Іуды, навязывая ее вдобавокъ и Леонардо да Винчи. Благосклонности къ Іудѣ или „прощенія“ его требуетъ, повидимому, и г. Невѣдомскій, авторъ статьи „Художникъ-интеллигентъ“, напечатанной въ „Началѣ“.

Эта интересная статья посвящена обзору художественной дѣятельности Н. А. Ярошенко. Я не имѣю теперь времени заниматься ею во всѣхъ ея подробностяхъ, но очень хотѣлъ бы вернуться къ ней въ связи съ продолженіемъ романа г. Мережковскаго. Пока замѣчу лишь слѣдующее.

Г. Невѣдомскій—горячій поклонникъ „новаго универсальнаго

принципа“ и ненавистникъ „народничества“. Послѣднее умерло, утверждаетъ г. Невѣдомскій, но онъ не устаетъ преслѣдовать его своими сарказмами. И именно вотъ за что: „Пересмотрѣвши нашу народническую, т. е. почти всю передовую литературу, прислушиваясь при этомъ къ той нравственной нотѣ, которая является въ ней преобладающей,—всякій согласится, что рядомъ съ нотой „задолженности передъ народомъ“ это нота „жалѣнія“: жалость, состраданіе, страданіе *за другихъ* (курсивъ г. Невѣдомскаго), самопожертвованіе, какъ идеалъ,—вотъ нервъ эпохи“.—Теперь все это кончено: новый универсальный принципъ отвергаетъ всѣ эти виды „жалѣнія“, не рекомендуетъ состраданія, самопожертвованія или страданія за другихъ. Все это устарѣло, равно какъ и вообще „народническія“ (другихъ г. Невѣдомскій въ нашемъ недавнемъ прошломъ не знаетъ) понятія о добрѣ и злѣ. Вотъ, напримѣръ, Іудино предательство. „Старый народникъ“ Салтыковъ осыпалъ Іуду въ сказкѣ „Христова ночь“ проклятіями. Но времена перемѣнчивы. Ярошенко отражалъ въ своей художественной дѣятельности „народническую“ струю литературы, но подъ конецъ сталъ сбавлять тонъ, подъ напоромъ надвигающагося новаго универсальнаго принципа: написалъ нѣсколько картинъ безъ опредѣленной тенденціи и картину „Іуда“. На этой картинѣ Іуда „не злостный, сознательный предатель, а лишь ничтожество, которому не устоять подъ напоромъ злой воли соблазнителей: картина, относительно говоря, довольно мягко трактуетъ предателя, объясняетъ его поступокъ, а помните George Sand?—comprendre c'est pardonner“... Многозначительное многоточіе, заканчивающее эти слова, слѣдуетъ, можетъ быть, понимать такъ: сдѣлай Ярошенко еще нѣсколько шаговъ, и онъ не только простилъ бы предателя, а возвелъ бы его на пьедесталъ, подобно г. Мережковскому или г. Гвоздеву.

Такова переоцѣнка всѣхъ цѣнностей съ точки зрѣнія новаго универсальнаго принципа, прокрадывающагося въ среду нашихъ марксистовъ помимо ихъ сознанія.

Повторяю, мнѣ теперь некогда обсуждать всю статью г. Невѣдомскаго, но разъ зашла рѣчь о „старомъ народникѣ“ Салтыковѣ, скажу еще нѣсколько словъ.

Разсказывая о томъ, съ какимъ восторгомъ была встрѣчена первая передвижная выставка, какой хвалебный гимнъ воспѣвали ей „всѣ газеты и журналы отъ лучшихъ столичныхъ до косноязычнѣйшихъ захолустныхъ органовъ“, г. Невѣдомскій иллюстрируетъ свое

сообщеніе слѣдующимъ примѣромъ: „Приведемъ два слова изъ характерной для Щедрина замѣтки, привѣтствующей первую выставку („Отеч. Зап.“, мартъ, 1871 г.). Онъ увѣренъ въ „несомнѣнной пользѣ предпріятія“. „Сердца обывателей смягчатся“, говоритъ онъ и въ доказательство разсказываетъ о знакомомъ становомъ, который на петербургской выставкѣ увидѣлъ изъ картины Мясоѣдова, что Петръ Великій отъ юности почиталъ науку, и становой разрыдался, припавши къ плечу писателя и восклицая: „А мы-то... мы-то!“ —Г. Невѣдомскій не совсѣмъ точно передаетъ факты: во первыхъ, статья Щедрина, о которой идетъ рѣчь, напечатана не въ мартѣ, а въ декабрѣ 1871 г.; во вторыхъ, „знакомый“, о которомъ разсказываетъ сатирикъ,—не становой, а цензоръ („не римскій, а другой“, прибавляетъ Щедринъ въ скобкахъ); въ третьихъ, знакомый этотъ не „припалъ къ плечу писателя“, а „упалъ на грудь г. Мясоѣдова“. Но дѣло не въ этихъ неточностяхъ, а въ томъ, что г. Невѣдомскій „въ серьезъ“ принялъ, казалось бы, столь очевидную иронію сатирика. Статья Щедрина о выставкѣ дѣйствительно „характерна“ для него. Онъ дѣйствительно былъ увѣренъ въ „успѣхѣ предпріятія“, но по своей тогдашней манерѣ (лишь позже заглушенной скорбными и гнѣвными нотами) вмѣстѣ съ тѣмъ подсмѣивался надъ возможнымъ слишкомъ оптимистическимъ къ нему отношеніемъ, какое проявлялъ, напримѣръ, г. Стасовъ. А г. Невѣдомскій думаетъ, что „цензоръ (не римскій, а другой)“ и въ самомъ дѣлѣ рыдалъ въ присутствіи Щедрина на груди г. Мясоѣдова... И это не единственный случай, что г. Невѣдомскій понимаетъ весьма ясныя рѣчи какъ разъ „наоборотъ“.

III *).

О нѣкоторыхъ мнѣніяхъ г. Невѣдомскаго.

Трехмѣсячное невольное молчаніе прервало мою бесѣду о напечатанной въ первой книжкѣ „Начала“ статьѣ г. Невѣдомскаго „Художникъ интеллигентъ“. Мнѣ хочется кончить эту бесѣду. Иной читатель спроситъ, можетъ быть, зачѣмъ это нужно? Развѣ г. Невѣдомскій авторитетъ какой-нибудь, чтобы къ его мнѣніямъ—ошибочнымъ или вѣрнымъ—слѣдовало прислушиваться такъ внимательно? Развѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ недостаточно, чтобы впечатлѣніе, произведенное его статьей,—если таковое было произведено,—изгладилось въ памяти читателей?

Нѣтъ, г. Невѣдомскій не авторитетъ. Онъ, напротивъ, сколько я понимаю, только еще начинающій писатель. Но я питаю слабость къ начинающимъ писателямъ, обнаруживающимъ литературную жилку, позволяющую предполагать, что человѣкъ не мимоходомъ заглянулъ въ литературу, а имѣетъ намѣреніе основаться въ ней болѣе или менѣе прочно на постоянное жительство; имѣетъ намѣреніе и хоть какіе-нибудь шансы привести это намѣреніе въ исполненіе. Да и какъ не интересоваться такими писателями намъ, старикамъ, которымъ они идутъ на смѣну? Какъ не вглядываться, можетъ быть, даже съ чрезмѣрнымъ, на посторонній взглядъ, вниманіемъ въ то добро или зло, которое они вносятъ въ литературу, а слѣдовательно, въ сознаніе безпрерывно растущей массы читателей? Добро или зло,—потому что моя слабость къ начинающимъ писателямъ, имѣющимъ намѣреніе и шансы водвориться въ литературѣ, не требуетъ признанія, что въ ихъ писаніяхъ все добро зѣло; она требуетъ только внимательнаго къ нимъ отношенія. И г. Невѣдомскій вполнѣ, мнѣ

*) Августъ 1899 г.

кажется, таковаго заслуживаетъ. Въ майской книжкѣ „Начала“ напечатана вторая его статья „О современномъ художествѣ“, еще не конченная. И—кто его знаетъ!—можетъ быть, съ теченіемъ времени онъ, въ качествѣ художественнаго критика, заставитъ насъ забыть трубы и барабаны В. В. Стасова *)...

Художественная критика—область, чрезвычайно благодарная. Г. Невѣдомскій объясняетъ во второй своей статьѣ, что онъ будетъ трактовать о явленіяхъ современнаго художества—почти исключительно живописи—„импрессіонистски“, то есть отправляясь отъ личныхъ впечатлѣній. И, конечно, онъ совершенно правъ, поскольку дѣло не касается техники искусства. Никакой критикъ въ мірѣ не убѣдитъ меня, что такая то картина хороша, если она мнѣ не нравится, и, наоборотъ, что картина дурна, если она на меня производитъ хорошее впечатлѣніе. И этимъ не ограничивается сфера личнаго вкуса и произвола въ оцѣнкѣ художественныхъ произведеній. Художникъ можетъ, вовсе не желая извращать дѣйствительность (а тѣмъ паче при этомъ условіи), а только произвольно выбирая, скажемъ, тотъ или другой моментъ изъ жизни историческаго лица или народа, бросить на свой сюжетъ то или другое освѣщеніе. Въ свою очередь зрители (въ томъ числѣ и критики) могутъ толковать картину каждый по своему и видѣть въ ней то, объ чемъ художникъ не думалъ, чего, можетъ быть, въ ней вовсе и нѣтъ; но ни одинъ изъ нихъ не въ состояніи доказать другому, что тотъ ошибается.

Приведу примѣръ. Въ извѣстной картинѣ Ярошенка „Кочегаръ“ г. Невѣдомскій видитъ унизительную для рабочаго человѣка тенденцію „жалѣнія“, а въ картинѣ Котте „Въ странѣ моря“, бывшей на петербургской французской выставкѣ,—„жалѣнія нѣтъ и слѣда“, тутъ „не состраданіе, не покаяніе, а *уважительное* (курсивъ г. Невѣдомскаго) сочувствіе“. Я не видалъ картины Котте и не знаю, что бы я прочиталъ въ ней,—можетъ быть, именно „жалѣніе“,

*) Журналъ „Начало“ прекращенъ. Это, конечно, затрудняетъ бесѣду о немъ. Но что касается собственно г. Невѣдомскаго, то, какъ окончанію его начатой въ майской книжкѣ „Начала“ статьи, такъ и дальнѣйшимъ его работамъ, ничто, мнѣ кажется, не мѣшаетъ появиться въ другихъ органахъ печати. Мало того, „Русское Богатство“ не можетъ предоставить г. Невѣдомскому свои страницы для распространенія его идей: но если бы мнѣ случилось въ нижеслѣдующемъ сдѣлать *фактическую* ошибку, то мы сочтемъ себя обязанными напечатать у себя его *фактическое* же возраженіе.

тогда какъ въ „Кочегарѣ“, мнѣ кажется, нѣтъ ничего, кромѣ правды. Кто насъ разсудитъ? Какъ убѣдитъ меня г. Невѣдомскій и какъ я могу убѣдить его? Споры на этотъ счетъ совершенно безполезны, и всѣ „тузовые“ и „аховые“ и какіе еще тамъ есть въ арсеналѣ г. Стасова эпитеты вполнѣ законны, какъ выраженіе личныхъ взглядовъ критика-громовержца, но ни для кого другого не обязательны.

Если такимъ образомъ въ оцѣнкѣ художественныхъ произведеній сфера логическихъ доказательствъ очень ограничена, то изъ этого не слѣдуетъ, чтобы правиленъ былъ цитируемый гр. Л. Толстымъ чей то афоризмъ: „художественные критики—это глупые, разсуждающіе объ умныхъ“. Г. Невѣдомскому очень нравится этотъ афоризмъ, онъ „глубоко цѣнитъ всю его мѣткость“. Я, въ свою очередь, готовъ глубоко цѣнить скромность и самоотверженіе г. Невѣдомскаго, какъ художественнаго критика, но не могу съ нимъ согласиться. Афоризмъ просто нелѣпъ логически и не вѣренъ фактически. Безспорно, существуютъ умные художники и глупые художественные критики, но ни изъ чего не видно, чтобы это было обязательное распредѣленіе ума и глупости, и мы очень хорошо знаемъ, что глупые художники и умные художественные критики совсѣмъ не миѳы и даже не какія нибудь рѣдкія, исключительныя явленія природы. Да и какъ быть съ людьми въ родѣ Дидро или Лессинга,—признать ихъ умными художниками и вмѣстѣ съ тѣмъ глупыми художественными критиками?

Нѣтъ, радующій г. Невѣдомскаго афоризмъ просто пустяки, одинъ изъ тѣхъ вздоровъ, которые легко запоминаются, благодаря краткости и энергіи выраженія, что не мѣшаетъ имъ, однако, быть вздоромъ. И остановился я на немъ только потому, во первыхъ, что г. Невѣдомскій „глубоко оцѣнилъ его мѣткость“, и затѣмъ, во вторыхъ, чтобы кто не подумалъ, будто ограниченность примѣненія орудій логики въ художественной критикѣ сколько нибудь подтверждаетъ положеніе о фатальной глупости критиковъ. Ни одинъ критикъ въ мірѣ не можетъ меня убѣдить логическими доводами, что картина хороша, если она мнѣ не нравится, или наоборотъ; но критикъ можетъ отстаивать свое мнѣніе умно или глупо, понимать задачи искусства широко или узко, трактовать самый сюжетъ, тему, самое содержаніе картины вѣрно или невѣрно. И тутъ уже нельзя не требовать отъ него логическихъ доказательствъ и фактическихъ

подтвержденій. Принимая въ соображеніе необъятность всего, подлежащаго художественному воспроизведенію,—тутъ и фантазія и дѣйствительность, и исторія и природа, и надзвѣздный и подземный міръ, и прошедшее и настоящее и будущее, и высочайшая высь и нижайшая подлость человѣческаго духа,—принимая это въ соображеніе, художественный критикъ, если фактически и можетъ, то принципіально не долженъ быть глупъ. Во всякомъ случаѣ онъ имѣетъ возможность по поводу одной даже какой нибудь выставки или коллекціи художественныхъ произведеній, въ родѣ Эрмитажа или Третьяковской галлереи, распаковать значительную часть своего умственнаго и нравственнаго багажа, развернуть цѣлое міросозерцаніе, пустить въ ходъ запасъ своихъ научныхъ знаній и „ума холодныхъ наблюденій и сердца горестныхъ замѣтъ“...

Конечно, для этого, кромѣ извѣстнаго писательскаго темперамента, необходимы два условія: во первыхъ, чтобы у критика былъ запасъ научныхъ знаній, холодныхъ наблюденій ума и горестныхъ замѣтъ сердца; чтобы, во вторыхъ, онъ понималъ многостороннюю связь искусства съ жизнью. Иначе онъ въ лучшемъ случаѣ обреченъ или на болѣе или менѣе удачную передачу своихъ личныхъ впечатлѣній, что уже только отъ бойкости пера зависитъ, или на академическія разсужденія по части техники искусства, можетъ быть очень цѣнныя для художниковъ, но мало интересныя для большой публики. Это въ лучшемъ случаѣ, а въ худшемъ онъ окажется просто болтуномъ,—забавнымъ или томительно скучнымъ.

Пока еще трудно судить о размѣрахъ научныхъ знаній и собственныхъ „наблюденій и замѣтъ“ г. Невѣдомскаго, но многостороннюю связь искусства съ жизнью, онъ, повидимому, понимаетъ. По поводу картины Ярошенка онъ касается нѣкоторыхъ интереснѣйшихъ моментовъ нашей недавней исторіи и нѣкоторыхъ основныхъ нравственно-политическихъ вопросовъ. Но... Есть такія непріятныя „но“, которыя играютъ роль ложки дегтя въ бочкѣ меда...

Книжки журнала „Жизнь“ заключены въ обертку съ вычурнымъ символическимъ рисункомъ (въ противоположность „Началу“, обертка котораго имѣла строгій, можно сказать, аскетическій характеръ). На немъ изображенъ согбенный старецъ въ плащѣ, съ большой бородой; онъ сидитъ, положа руки на какой то свитокъ; возлѣ него стоитъ совершенно голый мальчикъ, украшенный лишь узенькой повязкой на головѣ; онъ смотритъ по направленію къ слову „Жизнь“: и это слово, и обѣ фигуры помѣщены въ какомъ то пейзажѣ-не-

разберихѣ въ современномъ декадентскомъ стилѣ,—что то въ родѣ первобытнаго хаоса, въ которомъ небо не отдѣлено отъ земли.

Голенькій мальчикъ съ узенькой повязкой на головѣ кажется мнѣ очень удачнымъ символомъ кое какихъ современныхъ умственныхъ теченій и многихъ современниковъ; въ томъ числѣ и г. Невѣдомскаго. Именно какъ одно изъ характернѣйшихъ воплощеній этого символа и интересны статьи г. Невѣдомскаго.

Г. Невѣдомскій — сторонникъ такъ называемаго „чистаго“ или, какъ онъ предпочитаетъ выражаться, „свободнаго“ искусства. Къ сожалѣнію, не легко понять, что онъ подъ нимъ разумѣетъ. Съ одной стороны, онъ рѣшительно отказывается отъ солидарности съ тѣми, кто подъ „чистотой“ разумѣетъ „вздорное содержаніе“ („праздное искусство побрякушекъ и блестокъ“, по выраженію г. Стасова). Съ другой стороны, утверждая, что единственное обязательство, лежащее на искусствѣ, есть „совершенство формы“, онъ развиваетъ эту мысль такъ: „къ художнику, какъ таковому, можно предъявлять лишь одно требованіе, чтобы онъ говорилъ „чисто“ („не косноязычно“, правильно), и говорилъ то, что думаетъ; одинъ думаетъ о блесткахъ и побрякушкахъ—пусть его думаетъ и пусть о нихъ и говоритъ; другой думаетъ о чемъ нибудь болѣе значительномъ—пусть говоритъ болѣе значительное“.—Это, конечно, очень либерально, но нѣтъ ли тутъ маленькаго противорѣчія или, по крайней мѣрѣ, маленькой недодуманности? Если эстетическая теорія г. Невѣдомскаго разрѣшаетъ художнику изображать все, о чемъ онъ „думаетъ“, то не придется ли иногда художнику позаботиться и не только о „совершенствѣ формы“, а также и о вложеніи своихъ „думъ“ въ эту возможно болѣе совершенную форму? И будетъ ли тогда искусство „чисто“, „свободно“? Удостоится ли оно благосклоннаго отношенія г. Невѣдомскаго? Можетъ быть — да, можетъ быть— нѣтъ. „Передвижники“, по мнѣнію г. Невѣдомскаго, находились во власти ложной эстетической теоріи: они требовали отъ художника „идейности, содержательности“, какъ необходимыхъ атрибутовъ искусства. Но „если передвижники и грѣшили въ своихъ эстетическихъ теоріяхъ, то на дѣлѣ они были правы: они брали тѣ краски, которыми былъ для нихъ „окрашенъ міръ“ (выраженіе Крамскаго).— Итакъ, вообще, теоретически, требованіе отъ искусства „идейности, содержательности“ незаконно, но практически оно вполнѣ законно, если для художника міръ окрашенъ извѣстнымъ образомъ, если онъ „думаетъ о чемъ нибудь значительномъ“... А такъ какъ

естественно желать, чтобы художникъ, какъ и представитель любой другой профессіи, думалъ о чемъ нибудь значительномъ, то тѣмъ самымъ приходится желать, чтобы ложная теорія торжествовала.

Таковъ двусмысленный выводъ, логически вытекающій изъ разсужденій г. Невѣдомскаго и еще подчеркиваемый имъ въ концѣ статьи. Онъ говоритъ: „Моментъ, который переживаетъ теперь у насъ искусство—моментъ „совершенствованія спеціальности въ самой себѣ“ (по опредѣленію г. Рѣпина) — несомнѣнно законенъ (собственно говоря странно даже ставить этотъ вопросъ). Совершенно такъ же, какъ законно было „передвижничество“. Именно въ такой моментъ становится очевиднымъ, что эстетическія теоріи, художественная критика, могутъ предъявлять къ художнику только эстетическія требованія — требованія соблюдать законы художественнаго творчества; а во всемъ прочемъ искусство совершенно *свободно*“. Кажется ясно? Но г. Невѣдомскій непосредственно послѣ этихъ словъ ошеломляетъ читателя вопросомъ: „Чему могутъ „учить“ люди, не имѣющіе ключа къ жизни? Какъ требовать идеи въ картинѣ, когда ея нѣтъ въ головѣ художника?“

У г. Чехова есть прелестный разсказъ объ одномъ учителѣ гимназіи, который былъ столь твердъ въ своихъ убѣжденіяхъ, что исповѣдывалъ ихъ, даже умирая: „Волга впадаетъ въ Каспійское море“; „лошади кушаютъ сѣно и овесъ“ и т. п. Г. Невѣдомскій съ такою же непреклонностью утверждаетъ свои истины: неучи учить не могутъ; если въ головѣ художника нѣтъ идеи, то онъ не можетъ вложить ее въ картину. Истины безспорныя, но, спрашивается, какое отношеніе онѣ имѣютъ къ вопросу о „свободномъ“, „чистомъ“ или „идейномъ“, „содержательномъ“ искусствѣ? Онѣ не опровергаютъ неправильныхъ, по мнѣнію г. Невѣдомскаго, эстетическихъ теорій „передвижниковъ“, а лишь указываютъ тѣ элементарныя и сами собою разумѣющіяся условія, при которыхъ означенныя теоріи практически неосуществимы, какъ неосуществимо, напримѣръ, хожденіе безъ всякихъ приспособленій по водѣ или плаваніе на сухомъ пути. Не подтверждаютъ безспорныя истины г. Невѣдомскаго и противоположной, имъ раздѣляемой, эстетической теоріи. И самъ онъ, порадовавшись, что въ наше счастливое время „выяснился принципъ свободы искусства“, оканчиваетъ свою диссертацію такъ: „Мы не думаемъ, что наше искусство навѣки останется при однихъ красивыхъ „пятнахъ“ и „мазкахъ“... Мы увѣрены, что опять придетъ пора, когда люди (по крайней мѣрѣ большая часть общества,

чѣмъ теперь) станутъ ощущать новый нервъ жизни, будутъ имѣть ключъ къ существованію... усовершенствованныя, разработанныя формы искусства наполнятся новымъ содержаніемъ". Иначе говоря, опять восторжествуетъ ложная теорія „идейнаго, содержательнаго" искусства, и г. Невѣдомскій привѣтствуетъ это грядущее торжество ложной теоріи...

Но не будемъ дальше останавливаться на логикѣ г. Невѣдомскаго (боюсь, однако, что ниже намъ еще придется съ ней встрѣтиться). Мы подошли къ одному изъ самыхъ интересныхъ пунктовъ его вообще чрезвычайно интересной статьи.

Итакъ, нынѣ у художниковъ нѣтъ идей въ головѣ, да и вообще у людей нѣтъ „ключа къ существованію". У передвижниковъ идеи были, былъ ключъ, и въ этомъ ихъ историческое оправданіе, но это уже пройденная ступень, ихъ идеи, ихъ ключъ для современниковъ не годятся, а новый ключъ лежитъ гдѣ то, можетъ быть и въ близкомъ, а можетъ быть и въ далекомъ будущемъ... Пожалуй, современные художники могли бы сказать г. Невѣдомскому: maître, parlez pour vous! если вы чувствуете, что у васъ нѣтъ ключа, такъ изъ этого не слѣдуетъ, чтобы его не было и у насъ.—И это могли бы сказать не только живописцы, о которыхъ спеціально говоритъ г. Невѣдомскій, и не только художники вообще, а и современники вообще; тѣмъ болѣе, что, говоря о прошломъ, о передвижникахъ, г. Невѣдомскій привлекаетъ къ отвѣту и литературу 60-хъ—70-хъ годовъ и тогдашнее общественное настроеніе. Конечно, далеко не всѣ современники г. Невѣдомскаго могли бы возразить ему приведенными словами, ибо дѣйствительно велика современная растерянность, но не такъ же всетаки вокругъ насъ безлюдно, пустынно, не такъ умственно и нравственно безпомощно, чтобы ужъ совсѣмъ не могло быть „идей въ головѣ у художника".

Возьмемъ такой примѣръ. На послѣдней передвижной выставкѣ была, между прочимъ, картина г. Пимоненка „Жертва фанатизма". Для насъ здѣсь теперь безразлично, — хороша или не хороша эта картина въ техническомъ или какомъ другомъ отношеніи. Пусть она во всѣхъ отношеніяхъ не удовлетворяетъ г. Невѣдомскаго, но неужели же въ головахъ современныхъ художниковъ нѣтъ и не можетъ быть никакихъ идей, имѣющихъ отношеніе къ темѣ картины г. Пимоненка? нѣтъ и не можетъ быть ключа къ этой сторонѣ нашей жизни? И неужели, слѣдовательно, незаконно требованіе, чтобы художникъ въ подобной картинѣ далъ намъ теперь же, а не

въ какомъ то туманномъ будущемъ, нѣчто, кромѣ „красивыхъ пятенъ и мазковъ“? Скажу больше—трактовать подобную тему при помощи исключительно красивыхъ пятенъ и мазковъ прямо таки невозможно. И очевидно, что г. Невѣдомскій стоитъ на какой-то особенной точкѣ зрѣнія, съ которой „жертвы фанатизма“ не видны. И не только жертвы фанатизма. Поле зрѣнія г. Невѣдомскаго вообще необычайно узко: нѣкоторые даже близкіе предметы онъ различаетъ очень плохо, а что подальше, такъ и совсѣмъ не видитъ...

Ключъ къ существованію былъ; ключъ къ существованію потерянъ или до такой степени заржавѣлъ, что уже не годится; ключъ къ существованію найдется или будетъ сдѣланъ новый... Можетъ быть, это и очень хорошая метафора; но я предпочитаю другую: одежда была; одежда сброшена; одежда вновь найдется, а въ ожиданіи г. Невѣдомскій ходитъ на манеръ мальчика на обложкѣ „Жизни“ имѣя узенькую повязку на головѣ вмѣсто всякаго костюма. Эта повязка, конечно, не много значитъ въ смыслѣ одежды, но она можетъ сдавливать голову, что не способствуетъ вѣрному воспріятію дѣйствительности и правильному теченію мысли.

Сброшенная одежда—это міросозерцаніе 60-хъ и 70-хъ годовъ, которое г. Невѣдомскій характеризуетъ такъ (курсивы вездѣ принадлежатъ г. Невѣдомскому):

Для нашего передового общества это была пора великаго *покаянія*, великаго *отрицанія* барина и всего барскаго, отрицанія почти всей современной дѣйствительности и въ то же время пора великихъ *надеждъ*. Надеждъ на кого, на что?.. Теперь, „заднимъ числомъ“ мы знаемъ, что надежды эти были утопическими, что на поставленный вопросъ не давалось достаточно точнаго отвѣта. Но въ то время огромный, небывалый у насъ подъемъ общественнаго настроенія, вызванный и питавшійся паденіемъ рабства, не давалъ выждать точнаго рѣшенія вопроса, и *надежды* (какъ и всегда, впрочемъ) имѣли происхожденіе скорѣе, такъ сказать, извнутри, чѣмъ снаружи... Не забудемъ, однако, что насколько интенсивны были эти надежды у однихъ, настолько же интенсивны были у другихъ *страхи*. Вспомнимъ того помѣщика, который, по свидѣтельству Успенскаго, обучалъ своихъ дѣтей ремесламъ въ виду того, что „Богъ вѣдь знаетъ, до чего доживемъ—къ ихъ то времени“!.. Надѣялись на народъ, на самихъ себя—интеллигенцію. На мужика надѣялись потому, что его идеализировали, а это было вполнѣ естественно въ „кающихся дворянахъ“ по отношенію къ тѣмъ передъ кѣмъ они каялись. Этого мужика горячо любили за надежды, которыя на него возлагались, и за тотъ грѣхъ, въ которомъ себя передъ нимъ винили, и, можетъ быть, еще горячѣе любили за тѣ страданія, которыя онъ перенесъ въ прошедшемъ и переносилъ въ настоящемъ: любили—жалѣли. Самихъ себя—интеллигенцію тоже любили, но лишь постольку, поскольку

отрекались отъ себя, скидали съ себя барскія „ризки“, „сливались“ съ народомъ, дѣлая его дѣло... (Пропускаю одну вводную мысль, къ которой можетъ быть вернусь ниже, а можетъ быть и не вернусь. Н. М.)... Въ горячей любви къ мужику, въ великихъ надеждахъ коренится источникъ и великой способности къ самопожертвованію. Къ срединѣ 70-хъ годовъ, когда сложился духовно Ярошенко, жизнерадостности было уже не много. Надежды оставались, но уже были не розовыя: онѣ какъ бы свѣтили сквозь какой-то мрачный туманъ отъ тѣхъ трагедій, которыя чуялись въ воздухѣ... Не одна уже была введена поправка, не мало было сдѣлано оговорокъ. Но все-таки *надежды* были *великія*. Лирическое, пробавлявшееся однимъ собственнымъ настроеніемъ, народничество уступило мѣсто *критическому* Послѣднее уже видѣло, что община это—„чортъ знаетъ что, а не община“, но еще держалось (и теперь намъ видится, пожалуй, здѣсь какой то порывъ отчаянія), держалось за *надежду*—„безсознательную красоту ржаного поля“, стихійное благообразіе формъ народной жизни *превратить* въ сознательную красоту и благообразіе; и сдѣлать это могла и должна была интеллигенція, которая для того сама должна стать свободной (Успенскій).

Нѣсколько дальше читаемъ:

Пересмотрѣвши нашу народническую (т. е. почти всю передовую!—прибавляетъ съ восклицательнымъ знакомъ г. Невѣдомскій въ скобкахъ) литературу, прислушиваясь при этомъ къ той нравственной нотѣ, которая является въ ней преобладающей,—всякій согласится, что рядомъ съ нотой „задолженности передъ народомъ“ нота „жалѣнія“: жалость, состраданіе, страданіе *за другихъ*, самопожертвованіе, какъ идеалъ, вотъ нервъ эпохи. У Щедрина есть такая любопытная аргументація: „бѣдная это страна (Россія), ее *надо* любить“. Само слово *жалѣніе* не разъ съ любовью употребляется имъ. Это слово не только щедринское, а и крестьянское: жалѣть и любить на языкѣ крестьянина синонимы. И выходитъ какъ будто крестьянская этика отчасти отразилась въ этикѣ народниковъ. Какой другой образецъ правды могъ найти интеллигентъ въ носителяхъ „красоты ржаного поля“, т. е., конечно, дѣйствительно существующій, а не мнимый образецъ? Думается, что ничего лучшаго, чѣмъ „жалѣніе“ юродивыхъ, *уваженіе* къ страданію „несчастненькихъ“ — въ „красотѣ ржаного поля“ не заключалось. Это съ одной стороны. А съ другой—отношеніе барина, хотя бы и „покаявшагося“, къ только что признанному за человѣка мужику, несмотря на горячую идеализацію послѣдняго, несмотря на всю полноту самоотрицанія, можетъ статься, все же, *по существу*, не могло быть ничѣмъ инымъ, кромѣ *жалѣнія*... Во Франціи, въ эпоху „народничества“, т. е. въ эпоху великой революціи, по замѣчанію Токвиля, идея „правъ человѣка“ пропитывала собою всю жизнь, всѣ проявленія человѣческой мысли, и именно въ этой формулировкѣ повторялась всюду—отъ великолѣпныхъ декларацій правительственныхъ лицъ до убогой кляузы какого нибудь сельскаго писаря. Это былъ нервъ эпохи. У насъ освобожденіе крестьянъ пошло не снизу, а сверху, и не совпадало съ освобожденіемъ буржуазіи, и, можетъ быть, потому нервомъ эпохи стало „жалѣніе“ — рѣдко формулировавшееся, но право, кажется, всюду присут-

ствовавшее отъ саркастическихъ рѣчей Щедрина до писаній такого типичнаго „жалѣтеля“, какъ Гаршинъ.

Да проститъ мнѣ читатель эти длинныя выписки, но я хочу со всею возможною точностью передать мысли г. Невѣдомскаго и потому продолжаю. Описавъ картину Ярошенка „Кочегаръ“, онъ говоритъ:

Кажется, чуть не словами говорятъ эти глаза: „Вотъ до чего вы довели, низвели меня!“... а пожалуй и такъ: „Господа! удѣлите мнѣ, человѣку, вывариваемому въ котлѣ капитализма, милостыню вашего вниманія“—перифразъ словъ, вложенныхъ въ уста „рабочему человѣку города и деревни“ Н. К. Михайловскимъ (въ замѣткѣ о Чеховскихъ „Мужикахъ“). Изо всей выставки Ярошенки самое сильное впечатлѣніе произвелъ на насъ этотъ „Кочегаръ“. Но, не въ укоръ будь сказано памяти покойнаго художника и не въ укоръ эпохѣ *жалѣнія*, въ которую онъ писалъ свою картину, не жалѣніе, не состраданіе и не благодарное чувство къ художнику пробудила она въ насъ.. Нѣтъ, что то тяжелое, какое то ощущеніе чуть не позора, какъ бы полученнаго оскорбленія, поднимается въ душѣ по мѣрѣ того, какъ вглядываешься въ подобное изображеніе человѣка. Вѣдь ничего, ни единой черточки не вложено художникомъ въ это лицо, въ эту фигуру, кромѣ аргументовъ для „жалѣнія“! Неужели и вправду ничего не найдется въ этомъ человѣкѣ, кромѣ жалости достойнаго, кромѣ огрубѣнія, машино или, пожалуй, звѣроподобности? И не потому оскорбляютъ насъ подобныя картины, что мы перенесли свои надежды въ другое мѣсто изъ того, куда помѣщали свои надежды народники, не потому, что въ этой картинѣ, если она претендуетъ на обобщеніе, на созданіе типа, намъ видится теперь не правда, а клевета. Нѣтъ, просто непосредственное чувство оскорблено. Если бы это было правдой, то это такая ужасная правда, которую изображать въ „картинкѣ“—почти кощунство. Мы бы сказали то же, если бы въ такомъ видѣ, съ такими же „просящими милостыни“ глазами былъ изображенъ „рабочій человѣкъ деревни“.

Осмотримся немного. Я уже говорилъ, что препираться о томъ, что вложено художникомъ въ „Кочегара“, „жалѣніе“ или что другое, — не стану, потому что это былъ бы вполнѣ безполезный, а, слѣдовательно, не интересный споръ. Но вотъ что дѣйствительно интересно: по мнѣнію г. Невѣдомскаго, есть или возможна такая „правда“, которую изображать не слѣдуетъ, ибо она ужасна. Правда, г. Невѣдомскій прибавляетъ—изображать въ „картинкѣ“, желая, повидимому, этимъ поставленнымъ въ кавычки уменьшительнымъ именемъ смягчить или ограничить свое запрещеніе. Но это онъ напрасно. „Кочегаръ“ не „картинка“, и г. Невѣдомскій самъ очень хорошо знаетъ это. Онъ называетъ „Кочегара“ самой лучшей и

характерной вещью изъ написанныхъ Ярошенко картинъ жалѣнія и „можетъ быть единственной вполнѣ художественной вещью Ярошенка". „Кочегаръ" производитъ на него изъ всей выставки самое „сильное впечатлѣніе". Поэтому уничижительное или, по малой мѣрѣ, снисходительное „картинка" въ данномъ случаѣ совершенно неумѣстно.

Художникъ узналъ, увидѣлъ „ужасную правду", она пронизала его душу жалостью, негодованіемъ, сочувствіемъ, гнѣвомъ, все равно чѣмъ,—въ немъ пробудился творящій духъ... Онъ долженъ подавить его въ себѣ, потому что правда ужасна... Позвольте, однако, при чемъ же тогда всѣ вышеприведенныя разсужденія о „свободѣ" искусства, о томъ, что критикъ можетъ предъявить художнику только одно требованіе: чтобы онъ говорилъ „чисто" и говорилъ то, что думаетъ? Въ картинѣ „Кочегаръ" Ярошенко „говоритъ чисто" („съ необычайной для Ярошенко простотой и силой, „живьемъ"—замѣчаетъ г. Невѣдомскій) и говоритъ то, „что думаетъ". Чего же еще нужно критику, поставившему единственное требованіе? И потомъ, на такихъ критиковъ вѣдь не напасешься ужасныхъ правдъ. Г. Невѣдомскій видитъ таковую въ „Кочегарѣ". А я съ такимъ же паѳосомъ буду говорить о томъ, что мое непосредственное чувство оскорблено ужасной правдой Іудушки Головлева, его жестокимъ словоточивымъ лицемѣріемъ; другой скажетъ, что ужасна правда мукъ ревности Отелло и безвинной смерти Дездемоны; третій отвернется отъ ужасной правды Верещагинскаго „Забытаго" или другихъ его картинъ войны; четвертый забракуетъ (и приблизительно на тѣхъ же основаніяхъ, на какихъ г. Невѣдомскій бракуетъ „Кочегара") „Пѣсню о рубашкѣ" Томаса Гуда, и т. д., и т. д. Подобные критики вѣдь и бывали, но, къ счастію, искусства въ цѣломъ они не застращали своимъ краснорѣчіемъ. Г. Невѣдомскій дѣлаетъ мнѣ честь, находя остроумнымъ мое замѣчаніе, что эти критики „не любятъ гражданской скорби, но ничего не имѣютъ противъ гражданской радости". Очень польщенъ похвалою и былъ бы очень огорченъ его намеками на то, что въ „двуединой правдѣ, особенно въ колѣнѣ „субъективной науки" первенствующая правда нѣсколько обижала логику"; былъ бы, говорю, очень огорченъ, если бы не было до очевидности ясно, что собственная логика г. Невѣдомскаго хромаетъ на обѣ ноги. Это, впрочемъ, естественное послѣдствіе замѣны одежды узенькой повязкой на головѣ...

Г. Невѣдомскій „сказалъ бы то же (что объ „Кочегарѣ"), если

бы въ такомъ видѣ, съ такими же „просящими милостыни“ глазами, былъ изображенъ „рабочій человѣкъ деревни“. Этими словами г. Невѣдомскій хочетъ выразить свое безпристрастіе. Прекрасное качество, но дѣло въ томъ, что въ ту минуту, когда г. Невѣдомскій предъявлялъ читающей публикѣ эту именно благородную черту, тысячи голодныхъ рабочихъ людей деревни ходили по лицу русской земли съ просящими милостыни не только глазами, а и языками. Эта по истинѣ ужасная правда не сразу раскрылась передъ нашимъ обществомъ, но, наконецъ, она и оффиціально была признана, и неужели же одно искусство должно отъ нея отворачиваться подъ тѣмъ великолѣпнымъ предлогомъ, что правда „оскорбляетъ непосредственное чувство“?

Узенькая повязка на головѣ не позволяетъ г. Невѣдомскому видѣть то, что бьетъ въ глаза, но, съ другой стороны, разрѣшаетъ видѣть то. чего нѣтъ. Онъ утверждаетъ, напримѣръ, что слова: „Господа! удѣлите мнѣ, человѣку, вывариваемому въ котлѣ капитализма, милостыню вниманія“, — что эти слова суть „перифразъ словъ“, вложенныхъ въ уста „рабочему человѣку города и деревни“ Н. К. Михайловскимъ (въ замѣткѣ о Чеховскихъ „Мужикахъ“). — Я съ своей стороны утверждаю, что г. Невѣдомскій говоритъ *фактическую неправду*. Пишу и подчеркиваю и предлагаю г. Невѣдомскому страницы „Русскаго Богатства“ для опроверженія меня или же для признанія. Я не влагалъ никому въ уста просьбы о милостынѣ вниманія. Г. Чеховъ въ концѣ своихъ „Мужиковъ“ дѣйствительно вложилъ въ уста вдовы умершаго въ деревнѣ полового и ея дочери просьбу о милостынѣ, просто о милостынѣ Христа ради. А я по этому поводу *отъ себя* попросилъ у ликующихъ господъ критиковъ „Мужиковъ“ „милостыни вниманія“ къ рабочимъ людямъ, какъ города, такъ и деревни. На этой „милостынѣ вниманія“ уже кто то изъ единомышленниковъ г. Невѣдомскаго ѣздилъ, а теперь и ему захотѣлось на томъ же конькѣ покрасоваться! Но что же дѣлать, господа, если приходится просить у васъ милостыни? И что же дѣлать, если вы не понимаете ни ироніи, ни метафоры, а вотъ еще вдобавокъ и факты перевираете? Мнѣ пришлось потомъ повторить эту ироническую метафору въ формѣ просьбы о милостынѣ вниманія къ моимъ сочиненіямъ: просьба была обращена къ человѣку, у котораго, по моему счету, ровно на грошъ амуниціи и на сто рублей амбиціи. Надѣюсь это не значитъ, чтобы я серьезно позарился на какую нибудь долю гроша, имѣю-

щагося въ распоряженіи этого гордаго, но бѣднаго человѣка... Да и, кажется, мнѣ нечего серьезно то просить о милостынѣ вниманія. Мнѣ и безъ того ее подаютъ въ изобиліи, такъ что даже надоѣло, да иной разъ еще фальшивой монетой подаютъ, вотъ какъ г. Невѣдомскій.

Спрашивается, почему же г. Невѣдомскому нужно, чтобы я вложилъ въ уста рабочему человѣку просьбу о милостынѣ вниманія, которой я никому не влагалъ, и чтобы дѣйствительно сказанная мною фраза была не ироническая или метафорическая? Собственно говоря, это ему совсѣмъ не нужно, но замѣняющая ему костюмъ узенькая повязка на головѣ заставляетъ его подгонять подъ свою узенькую мѣрку факты, въ томъ числѣ цѣлое и детали той одежды, которую онъ сбросилъ, за ветхостью или ненужностью. Одежда эта, по его мнѣнію, пропитана запахомъ оскорбительной „милостыни", унизительнаго и унижающаго „жалѣнія" мужика; „жалѣнія" и вмѣстѣ съ тѣмъ „горячей идеализаціей послѣдняго". Тутъ есть какъ будто нѣкоторое противорѣчіе, а потому г. Невѣдомскій подчеркиваетъ: „несмотря на горячую идеализацію", отношеніе того времени къ мужику „все же, *по существу* не могло быть ничѣмъ инымъ, кромѣ *жалѣнія*".

Начнемъ съ идеализаціи. Потребность идеализаціи присуща человѣку и уже потому самому законна, когда она искренна и не переходитъ извѣстныхъ, впрочемъ, трудно опредѣлимыхъ, границъ. Удовлетворяла-ли этимъ условіямъ идеализація мужика въ 60-хъ, 70-хъ годахъ? Отвѣтить на этотъ вопросъ гораздо труднѣе, чѣмъ это кажется г. Невѣдомскому, которому узенькая повязка мѣшаетъ видѣть оттѣнки и которому нужны огульныя рѣшенія. Что въ общемъ идеализація была искренна,—это несомнѣнно; что во многихъ отдѣльныхъ случаяхъ она переступала законные предѣлы,—это тоже несомнѣнно. Но, во первыхъ, самая эта идеализація была направлена въ разныя стороны: кто видѣлъ въ мужикѣ великую историческую силу активную, грозную, буйную, мало обращая вниманія на нравственныя качества, „добродѣтели"; кто, напротивъ, цѣнилъ именно „добродѣтели", выкованныя извѣстными общественными формами трудовой жизни; кто идеализировалъ въ политическомъ направленіи, кто—въ экономическомъ, кто—въ этическомъ: кто требовалъ уваженія лишь къ „интересамъ" народа, а кто настаивалъ и на святости его „мнѣній"; кто вѣрилъ, что великія силы лежатъ въ народѣ въ зародышѣ, подавленномъ вѣковыми неблагопріятными

условіями; а кто утверждалъ, что онъ великая и благая сила сейчасъ, какъ онъ есть; кто разумѣлъ подъ „народомъ“ исключительно мужика, а кто — всю совокупность людей труда. Это разъ. А во вторыхъ, при этой пестротѣ направленій, характера и напряженности идеализаціи (не разъ вызывавшей рѣзкую полемику въ той самой средѣ, которую г. Невѣдомскій малюетъ, какъ суздальскій живописецъ, одной краской); при этой пестротѣ, дававшей возможность взаимнаго контроля, существовала еще жажда правды, какова бы она ни была. Страсть и потребность идеализаціи могли въ томъ или другомъ случаѣ затемнять правду, ослѣплять, но чтобы въ принципѣ, сознательно сказать: „эта правда ужасна и потому предъявлять ее есть кощунство“,—нѣтъ, этого не было и не могло быть въ то время, когда мы носили одежду, нынѣ сброшенную г. Невѣдомскимъ. „Слащавое лирическое народничество не нашло своего отраженія въ живописи,—говоритъ г. Невѣдомскій (можетъ быть—ядовито прибавляетъ онъ въ скобкахъ—провѣрка была слишкомъ легка, такъ какъ вѣдь живописцы пишутъ всегда *съ натуры*). Большинство, и самые талантливые, писали крестьянство, точно находя удовлетвореніе въ какой то горькой правдивости (Перовъ, Рѣпинъ въ „Бурлакахъ“)“.—Къ именамъ Перова и г. Рѣпина г. Невѣдомскій могъ бы прибавить многія другія имена, ну хоть, напримѣръ, г. Максимова съ его „Приходомъ колдуна на свадьбу“ и „Раздѣломъ“. Но это подробности, а интересно было бы знать вотъ что: если, какъ говоритъ г. Невѣдомскій, „передвижники шли въ хвостѣ у литературы“, а литература только идеализировала мужика, то почему же имъ была свойственна „горькая правдивость“? Неужели только потому, что живописцы пишутъ всегда съ натуры? Если допустить это объясненіе, такъ вѣдь придется признать, что и вообще фальшь въ живописи невозможна, а находитъ же ее г. Невѣдомскій, напримѣръ, въ картинѣ Ярошенка „Всюду жизнь“ (не говорю о „Кочегарѣ“) и, конечно, въ очень многихъ другихъ произведеніяхъ живописи. Гораздо вѣрнѣе предположить, что горькая правдивость была свойственна и литературѣ. Да и что же тутъ предполагать, когда мы знаемъ такія горькія изображенія „ужасной правды“, какъ, напримѣръ, „Подлиповцы“ Рѣшетникова, какъ трепещущіе скорбной правдой разсказы Успенскаго, какъ многія страницы даже наиболѣе изъ тогдашнихъ крупныхъ писателей склоннаго къ идеализаціи г. Златовратскаго, какъ немногочисленные, но яркіе разсказы изъ крестьянскаго быта Салтыкова и его же публицистическія статьи

на эту тему. Я напоминаю только кое что, только такое, что занесется, какъ характерные факты, на страницы каждой будущей, самой бѣглой и краткой, исторіи литературы. Не говорю о болѣе мелкихъ явленіяхъ, не говорю и о такихъ, какъ, напримѣръ, произведенія Слѣпцова и Николая Успенскаго, въ которыхъ на мужика, на его невѣжество и грубость, направлялась даже чрезмѣрно обильная обличительная струя. И если принять все это во вниманіе, то по истинѣ можно только руками развести: гдѣ же глаза у г. Невѣдомскаго?

Ахъ, читатель, они у него, конечно, на мѣстѣ, но замѣняющая костюмъ узенькая повязка давитъ ему голову...

Но что же это за „народничество", которое наполняло собою „почти всю передовую литературу" 60-хъ, 70-хъ годовъ? Идеализація не составляетъ, какъ мы видѣли, его существа: оно „по существу не могло быть ничѣмъ инымъ, кромѣ *жалѣнія*". Итакъ, жалѣніе,—жалѣніе курсивомъ, жалѣніе въ кавычкахъ,—словомъ, всѣми возможными способами подчеркнутое жалѣніе,—вотъ корень народничества. Мы видѣли, однако, что во Франціи „эпохой народничества" была „эпоха великой революціи", но „жалѣнія" тамъ не было, а „нервъ" эпохи составляла „идея правъ человѣка". Неизвѣстно почему эпоха великой французской революціи есть эпоха народничества (какъ бы этому изумился покойный Юзовъ, авторъ, „Основъ народничества"!), но во всякомъ случаѣ возможно народничество безъ жалѣнія, а тѣмъ паче, конечно, жалѣніе безъ народничества, и г. Невѣдомскій знаетъ нѣсколько картинъ Ярошенка „на тему жалѣнія же, но болѣе общаго—не спеціально народническаго". Все это не способствуетъ, конечно, уясненію смысла слова „народничество" въ устахъ г. Невѣдомскаго, тѣмъ болѣе, что опредѣленія его онъ нигдѣ не даетъ. Мы узнаемъ только, что было сперва „лирическое, пробавлявшееся однимъ собственнымъ настроеніемъ, народничество", потомъ „уступившее мѣсто критическому". Это мы узнаемъ изъ первой статьи г. Невѣдомскаго („Художникъ-интеллигентъ"). Во второй („О современномъ художествѣ"), предъявляя нѣкоторыя возраженія на мои предварительныя замѣчанія („Послѣднія сочиненія", т. I, стр. 80—81), г. Невѣдомскій указываетъ еще третій фазисъ народничества. Онъ говоритъ:

Мы очень жалѣемъ, если наша замѣтка дѣйствительно даетъ поводъ обвинить насъ въ „саркастическомъ" отношеніи къ народничеству въ его прошломъ. Мы вовсе не хотѣли „преслѣдовать сарказмами" этой лучшей

страницы нашей исторіи, этихъ единственныхъ по своему значенію годовъ нашей общественной жизни; мы не хотѣли, не думали хоть сколько нибудь умалять великихъ людей — дѣятелей и писателей того времени. Это большіе люди, немного такихъ людей создавала наша исторія, и передъ ними, передъ ихъ памятью всякій порядочный человѣкъ всегда скинетъ долой шапку—совершенно независимо отъ того, какъ онъ относится къ „жалѣнію" или къ „любви къ дальнему". Если въ замѣткѣ нашей были сарказмы, то мы всѣ ихъ относили не къ прошлому, а къ современности—къ выдохшемуся, выцвѣтшему народничеству нашихъ дней, утратившему и историческую почву, и „надежды", и прежній духъ, и прежній смыслъ.

Я очень радъ, что далъ г. Невѣдомскому случай снять шапку передъ прошлымъ, но эта выписка всетаки ни на шагъ не подвигаетъ насъ къ рѣшенію вопроса: что же такое, по его мнѣнію, народничество? Можетъ быть, мы окажемся счастливѣе, если войдемъ въ подробности фактическаго свойства, если остановимся на какихъ нибудь опредѣленныхъ указаніяхъ именъ или литературныхъ произведеній. Къ сожалѣнію, такого рода указаній очень мало у г. Невѣдомскаго. Чаще другихъ онъ поминаетъ, кажется, меня, но говорить съ соотвѣтственною подробностью о себѣ я не считаю удобнымъ. Возьмемъ Салтыкова. Объ немъ г. Невѣдомскій говоритъ слѣдующее:

У Щедрина есть такая любопытная аргументація: „бѣдная эта страна (Россія), ее *надо* любить". Самое слово *жальніе* не разъ съ любовью употребляется имъ. Это слово не только щедринское, а и крестьянское; жалѣть и любить на языкѣ крестьянина синонимы. И выходитъ, какъ будто крестьянская этика отчасти отразилась въ этикѣ народниковъ. Какой другой образецъ правды могъ найти интеллигентъ въ носителяхъ „красоты ржаного поля", т. е., конечно, дѣйствительно существующій, а не мнимый образецъ? Думается, что ничего лучшаго, чѣмъ „жалѣніе" юродивыхъ, *уваженіе* къ страданію „несчастненькихъ"—въ „красотѣ ржаного поля" не заключалось. Это съ одной стороны. А съ другой—отношенія барина, хотя бы и „покаявшагося" къ только что признанному за человѣка мужику, несмотря на горячую идеализацію послѣдняго, несмотря на всю полноту самоотрицанія, можетъ статься, *по существу*, не могло быть ничѣмъ инымъ, кромѣ *жальнія*.

Перейдя затѣмъ къ „Кочегару", въ творцѣ котораго особенно отразились литературныя вѣянія „эпохи жалѣнія", г. Невѣдомскій поясняетъ свою мысль такъ:

Мы допускаемъ, что *субъективно* Ярошенко правъ и, тѣмъ болѣе, правдивъ. Мы не думаемъ винить здѣсь ни его, ни тѣмъ паче, всей эпохи жалѣнія. Но и мы не виноваты, если подобныя произведенія кажутся намъ оскорбительными. „Это такъ и баста!"—какъ говоритъ Крамской. На нашъ

взглядъ такое „жалѣніе“ (это „двуединое“ чувство – на половину рабье, на половину барское) можетъ быть и похвально въ „кающемся“ дворянинѣ, но содержитъ нѣчто глубоко оскорбительное для тѣхъ, кто служитъ ему объектомъ, кого „жалѣютъ“ эти господа... Право же, они не жалости отъ нихъ хотятъ, а лишь *справедливости*, да и обойдутся безъ нашего „жалѣнія“, даже если мы не соблаговолимъ „удѣлить имъ милостыню нашего вниманія“.

Г. Невѣдомскій называетъ въ одномъ мѣстѣ Салтыкова „старымъ народникомъ“, да и, конечно, этотъ умершій десять лѣтъ тому назадъ писатель не можетъ быть отнесенъ къ „современности“, какъ ее понимаетъ г. Невѣдомскій. Если ужъ Салтыковъ народникъ, то именно „старый“ и долженъ быть отнесенъ къ древнѣйшей, то есть „лирической“ стадіи народничества. И вотъ что, напримѣръ, писалъ онъ въ 1864 г., то есть тридцать пять лѣтъ тому назадъ, когда г. Невѣдомскій, нынѣ обучающій стариковъ „справедливости“, можетъ быть еще не родился:

Когда говоришь о мужичкахъ, то нѣтъ никакой надобности ни умиляться, ни присѣдать, ни впадать въ меланхолію. Надо смотрѣть на это почтенное сословіе какъ можно проще, и въ настоящее время, думается мнѣ, достаточно будетъ съ тебя, читатель, если ты доподлинно будешь знать, что дѣлаетъ русскій мужикъ, и во что ему это дѣло обходится. Никогда не мѣшаетъ имѣть правильныя и непреувеличенныя свѣдѣнія о предметѣ, о которомъ имѣть таковыя желаешь. Это отсутствіе преувеличеній, быть можетъ, огорчитъ нѣсколько любознательнаго изыскателя, лишитъ его удовольствія рисовать картинки на розовомъ маслѣ и вообще идеальничать и поэтизировать, но взамѣнъ того оно положитъ начало чувству болѣе прочному и плодотворному, чувству справедливости. Если идеализація, всегда основанная на поверхностномъ или неполномъ знаніи вещей, помогаетъ намъ распускаться въ умиленіяхъ и мечтахъ о сближеніяхъ, то не надо забывать, что нерѣдко та же самая идеализація ведетъ насъ и къ мордобитію. Напротивъ того, знаніе вещи необходимо отразится и на отношеніяхъ человѣка къ ней, и эти отношенія будутъ именно такими, какими они быть должны. Не будетъ поцѣлуевъ, но не будетъ и оплеухъ, не будетъ любви всепрощающей, но не будетъ и поученій тѣлесныхъ. Будетъ справедливость, а покамѣстъ она только и требуется.

Не правда ли, читатель,—„веселенькій пейзажикъ“? Г. Невѣдомскій „старому народнику“ черезъ тридцать пять лѣтъ его же добромъ ему же челомъ бьетъ, имѣя при томъ чрезвычайно великолѣпную наружность: онъ снисходитъ, онъ понимаетъ, что „старый народникъ“ былъ по своему, можетъ быть, и правъ, весь уйдя въ „жалѣніе“ и идеализацію мужика и недостаточно цѣня „справедливость“; но голенькій мальчикъ съ узенькой повязкой на головѣ въ

то же время оскорбленъ въ своихъ лучшихъ, благороднѣйшихъ чувствахъ...

Я буду имѣть скоро случай нѣсколько подробнѣе говорить о Салтыковѣ. Здѣсь же отмѣчу только, что Щедринское слово „жалѣніе“ есть дѣйствительно и крестьянское слово, но оно не содержитъ въ себѣ ничего оскорбительнаго. Жалѣть и по щедрински, и по крестьянски значитъ—любить, беречь, оберегать, дѣйственно любить, помогать жить. Ну, а что касается утвержденія г. Невѣдомскаго, будто въ крестьянской и щедринской (и вообще „народнической“) этикѣ нѣтъ ничего „лучшаго“, чѣмъ „жалѣніе“ юродивыхъ, *уваженіе* къ страданію „несчастненькихъ“,—то пусть это остается на совѣсти почтеннаго критика...

Г. Невѣдомскій! Снимите еще разъ шапку...

Ключъ къ жизни былъ, ключъ къ жизни будетъ, сейчасъ ключа къ жизни нѣтъ. Въ частности у художниковъ „идей въ головахъ нѣтъ“, а потому они, пока что, обречены на „совершенствованіе въ своей спеціальности“, иначе говоря, на „красивые мазки и пятна“. Нѣтъ, разумѣется, резона предполагать, что въ такомъ положеніи находятся только художники, какъ нѣтъ резона и для другого предположенія, будто художники, въ противоположность художественнымъ критикамъ, непремѣнно умны, — не особенная же это какая-нибудь порода людей. Но ключъ къ жизни дается, повидимому, не только идеями, а и „надеждами“. „Надежды“ тоже были, „великія надежды“.

Г. Невѣдомскому нравятся картины Ярошенка „Курсистка“, „Студентъ“, „Старое и молодое“. Въ глаза „Курсистки“ художнику „удалось вложить столько вѣры во все „хорошее“ и въ близость его торжества, что этихъ глазъ долго не забудешь. Теперь, хоть и найдутся еще „дамы“, которыя съ враждебнымъ любопытствомъ косятся на „бѣгающихъ съ книжками“ и, при удобномъ случаѣ, готовы пустить про „стриженыхъ“ всякій пошлый вздоръ; но въ общемъ это явленіе уже старое, примелькавшееся, вошедшее въ обиходъ жизни. Конечно, отъ этого оно не утратило своего значенія. Одно только: глазъ съ такимъ выраженіемъ — содержащихъ столько *надеждъ*, онъ въ наши дни у „бѣгающихъ съ книжками“ не увидитъ... Дни теперь другіе“.—„Студентъ“—„это несомнѣнный „нигилистъ“, дерзновенный отрицатель съ богатымъ запасомъ *на-*

дождь, какъ бы говорящій зрителю: а вотъ погодите, разберемъ и— не сомнѣвайтесь! nous changerons tout cela!"—Въ „Старомъ и молодомъ" „юноша, пріѣхавшій изъ столицы въ знакомую семью или къ роднымъ, съ увлеченіемъ излагаетъ свой „символъ вѣры". Онъ разгоряченъ, готовъ „сломать стулъ", на который опирается колѣнкомъ, стоя передъ противникомъ „отцомъ". Правой рукой онъ нѣсколько комично тычетъ въ воздухъ. Можетъ быть, его горячность поддерживается присутствіемъ совсѣмъ юной дѣвицы, которая сидитъ за спиной у отца, прислонясь подбородкомъ къ спинкѣ кресла; она подалась всѣмъ корпусомъ впередъ, впилась глазами въ оратора и жадно ловитъ „новыя рѣчи". Картинка задумана съ любовнымъ юморомъ и опять исполнена очень правдиво и съ чувствомъ мѣры. А сценка для того времени какъ нельзя болѣе характерна".

„Для того времени", теперь ужъ ничего этого нѣтъ: „дни теперь другіе"... Ни „идей", ни „надеждъ" нѣтъ, только голенькіе мальчики бѣгаютъ, да „совершенствуютъ спеціальности въ самихъ себѣ"...

Я думаю, что это слишкомъ ужъ мрачная картина, или ужъ слишкомъ веселая. Мнѣ не трудно себѣ представить даже самого г. Невѣдомскаго въ положеніи юноши на картинѣ „Старое и молодое": „поддерживаемый присутствіемъ совсѣмъ юной дѣвицы, жадно ловящей „новыя рѣчи",—онъ „нѣсколько комично тычетъ" въ „отцовъ" то щедринскимъ „жалѣніемъ", то моей „милостыней вниманія", то не знаю чьей (кажется, Гл. Успенскаго) „красотой ржаного поля"... Или вотъ хоть эта „красота ржаного поля". Повторяю, не знаю, чье это выраженіе, и по аналогіи могу допустить, что г. Невѣдомскій ѣздитъ на немъ столь же извращенно, какъ и на „жалѣніи" и „милостынѣ вниманія". Во всякомъ случаѣ онъ ѣздитъ на немъ до надоѣдливости много, какъ на одномъ изъ элементовъ отринутаго имъ комплекса идей и надеждъ. Но не угодно-ли прочитать, напримѣръ, слѣдующую страницу изъ статьи человѣка, по образу мыслей, кажется, очень близкаго г. Невѣдомскому:

Передъ моими глазами встаетъ, какъ живая, картина жатвы на поляхъ Дакоты и тѣ впечатлѣнія, которыя меня охватили при видѣ тянущихся безъ конца полей золотистой пшеницы, окруженныхъ баттареей въ нѣсколько десятковъ косилокъ. Равномѣрное движеніе машинъ, идущихъ другъ за другомъ зигзагомъ и выбрасывающихъ въ правильныхъ промежуткахъ времени по нѣскольку связанныхъ сноповъ, сотни рядовыхъ, укладывающихъ ихъ-

въ копны, механики верхомъ, исполняющіе роль офицеровъ въ промышленной арміи, повсюду на горизонтѣ столбы дыма,—все это особеннымъ образомъ дѣйствуетъ на наше воображеніе, которое привыкло къ пространству, раздѣленному, какъ шахматная доска, на поля различныхъ цвѣтовъ, къ согнутымъ спинамъ людей, изнуренныхъ надъ серпомъ. Только поэтъ могъ бы точно выразить полученныя впечатлѣнія и передать во всей полнотѣ читателю. Было что-то прекрасное въ этомъ образѣ, предвѣщающемъ наступленіе новой эры въ земледѣліи. И если согбенная надъ серпомъ спина женщины или потъ, обильно текущій съ чела косаря, нашли своихъ поэтовъ, то современная жатва, исполняемая при помощи желѣзныхъ рукъ, и желѣзныя чудовища, молотящія зерно,—ждетъ еще своихъ пѣвцовъ, которые съумѣли бы передать очарованіе образа неизмѣримыхъ пространствъ желтаго моря, окружающихъ его драконовъ и человѣческаго муравейника, движущагося въ полѣ. (Л. Крживицкій „Капитализація земледѣльческой промышленности". „Міръ Божій" 1898, № 6).

Что тутъ рѣчь идетъ о красотѣ пшеничнаго, а не ржаного поля, это, конечно, не важно. Дѣло въ „надеждахъ", которыми проникнута вся тирада, и въ поэтическомъ освѣщеніи картины поля. Правда, эти надежды и эта поэзія повторяются изъ вѣка въ вѣкъ. Марксъ упоминаетъ о восторженныхъ стихахъ древне-греческаго поэта Антипароса, въ которыхъ привѣтствовалось изобрѣтеніе водяной мельницы: она должна была упразднить „согбенныя спины" и „обильно льющійся потъ" рабовъ, изнывающихъ надъ ручными мельницами. Рабамъ осталось, однако, надъ чѣмъ изнывать. Какъ бы то ни было, г. Крживицкій преисполненъ надеждъ, да и самъ г. Невѣдомскій говоритъ въ одномъ мѣстѣ: „мы перенесли свои надежды въ другое мѣсто изъ того, куда помѣщали свои надежды народники". Значитъ, есть же надежды. . ну, хоть на „усовершенствованіе спеціальности земледѣлія самой въ себѣ", а я думаю и на нѣчто гораздо болѣе значительное и при томъ во многихъ отношеніяхъ далеко не столь отличное отъ „народническихъ" надеждъ, какъ это кажется или хочется думать г. Невѣдомскому.

Не стану объ этомъ распространяться. Это слишкомъ сложная и щекотливая матерія, а читатель, можетъ быть, и безъ того уже недоволенъ продолжительностью бесѣды о такомъ неважномъ явленіи, какъ одна или двѣ статьи г. Невѣдомскаго. Я думаю, однако, что сюжетъ этотъ заслуживаетъ большого вниманія съ отрицательной стороны. Отнюдь не буду утверждать, что наши шестидесятые-семидесятые годы неуязвимы. Напротивъ, если бы понадобилось, ярче г. Невѣдомскаго отмѣтилъ бы ошибки, увлеченія и всякіе другіе изъяны того времени, но это не мѣшаетъ считать

непозволительнымъ—я почти готовъ сказать: преступнымъ—столь легкомысленно огульное отношеніе къ цѣлому двадцатилѣтію, звенящему—пусть далеко не всегда гармонично и мелодично—всѣми струнами мысли, страсти и жизни, полному многосложныхъ явленій огромной исторической важности. Для оцѣнки, хотя бы самой строгой, этой группы явленій слишкомъ мало—раздѣться и повязать голову узенькимъ ремешкомъ, изъ подъ котораго ничего не видно, кромѣ „народничества", съ одной стороны, и чего то столь же неопредѣленнаго, но даже не называемаго—съ другой. Даже увлеченія знаніемъ вообще и естествознаніемъ въ частности не видно. Базаровъ, признанный Тургеневымъ и Писаревымъ за центральнаго человѣка своего времени, Базаровъ, утверждавшій, что „русскій мужикъ Бога слопаетъ",—это „народникъ" и „жалѣтель" или „жалѣльщикъ". Гремѣвшій на всю Россію вульгарный либерализмъ (о теченіяхъ консервативныхъ и ретроградныхъ не говорю, ихъ и г. Невѣдомскій оставляетъ въ сторонѣ) съ его программой, между прочимъ, „свободы мужика отъ земли",—можетъ быть тоже „народничество"? Почему нѣтъ, если и эпоха французской революціи оказывается „эпохой народничества", хотя въ ней и нѣтъ основного элемента народничества—жалѣнія?

На этомъ я кончу. Въ майской книжкѣ „Начала", возражая мнѣ, г. Невѣдомскій не только, какъ мы видѣли, снимаетъ, хотя и запоздало, шапку передъ прошедшимъ, а и заглядываетъ въ „дальнее" будущее. Онъ оговаривается, однако, что „здѣсь не мѣсто развивать эту тему". Слѣдовательно, изложеніе и аргументація его, по необходимости, бѣглы и недостаточны. Подождемъ болѣе обстоятельныхъ. Я въ ожиданіи отвѣчу только на одинъ вопросъ г. Невѣдомскаго. Онъ говоритъ: „Если *жальніе* въ прежнее время и являлось лучшей основой самыхъ лучшихъ чувствъ и побужденій („барскихъ" и „рабьихъ"? или въ родѣ, напримѣръ, исключительно жалѣнія юродивыхъ?), то вѣдь позволительно все же думать, что эта основа современемъ можетъ оказаться неудовлетворительной, требовать обновленія. Или въ области этики все обречено на неподвижность, все давно и навсегда установлено и никакого развитія, никакихъ горизонтовъ не полагается? Или ничего лучшаго, болѣе высокаго уже нельзя себѣ и представить? Мы полагаемъ, что можно".

И я полагаю, что можно, и я думаю, что въ этикѣ „полагаются" „развитіе", „горизонты", но я не рѣшился бы утверждать, что вся-

кій новый этическій горизонтъ есть непремѣнно шагъ къ *лучшему*. Въ той же майской книжкѣ „Начала“ есть статья г. С. Г—шана „Голодъ въ поселкѣ“, которую г. Невѣдомскій долженъ глубоко презирать за содержащіеся въ ней призывы къ „милостынѣ вниманія“ и просто къ милостынѣ и „жалѣніе“. Между прочимъ, авторъ говоритъ: „При такомъ-то всеобъемлющемъ господствѣ нужды общество поражаетъ своимъ равнодушіемъ. Иное дѣло—*почему* такое равнодушіе? *Какіе* мотивы лежатъ въ его основаніи? внутренніе, внѣшніе, или вмѣстѣ тѣ и другіе? Тѣмъ не менѣе фактъ все же остается фактомъ и фактомъ постыднымъ“. Далѣе авторъ сочувственно цитируетъ замѣчаніе или наблюденіе одной провинціальной газеты („Прибалтійскаго Листка“), каковое замѣчаніе или наблюденіе сдѣлано, впрочемъ, очень многими. Вспоминая голодную годину 1891—92 гг., „Прибалтійскій Листокъ“ пишетъ: „Какой-то священный ужасъ охватилъ тогда все живое, честное, мыслящее; всѣхъ захватила и объединила одна мысль, одно чувство страстнаго желанія помочь голодающимъ. Нынѣ совсѣмъ не то: не чувствуется усиленнаго біенія пульса общественной жизни. Голодающіе почти дни... Вотъ въ этомъ-то одиночествѣ и таится весь ужасъп, весь трагизмъ нынѣшняго народнаго бѣдствія“.

Я думаю, что *одна* изъ причинъ этой „постыдной“ перемѣны (подчеркиваю, во избѣжаніе недоразумѣній, слово *одна*) лежитъ именно въ успѣхахъ защищаемой г. Невѣдомскимъ этики.

Еще только два слова: Г. Невѣдомскій говоритъ: „Г. Михайловскій... краситъ краской „любви къ дальнему“ (подразумѣвая подъ ней злобу къ ближнему) сплошь всѣхъ сотрудниковъ „Жизни“ и „Начала“.—Осмѣливаюсь сказать г. Невѣдомскому: это *фактическая неправда*.

IV *).

Памяти Салтыкова. — О лживыхъ словахъ, ихъ многообразіи и разнообразіи.—Г. Величко и „гражданскіе мотивы“.

28 апрѣля минуло десять лѣтъ со смерти Щедрина. Мы не могли своевременно помянуть покойника, но и вообще литература не расщедрилась на поминки. То ли ея вниманіе сосредоточивали на себѣ текущія дѣла, —хотя въ нашей современной жизни едва ли найдется хотя бы одно текущее дѣло, которое не давало бы повода для воспоминаній о Щедринѣ,—то ли у насъ вообще коротка память. Послѣднее вѣрнѣе. Какъ бы то ни было, но единственное, на чемъ стоитъ остановиться изъ всего, связаннаго съ десятой годовщиной смерти сатирика, есть книжка г. Пыпина „М. Е. Салтыковъ“.

Ничего новаго, оригинальнаго, яркаго въ характеристикѣ покойнаго сатирика, даваемой г. Пыпинымъ, нѣтъ, но не въ ней и дѣло. Г. Пыпину пришла счастливая мысль стряхнуть пыль забвенія со старыхъ публицистическихъ статей Салтыкова (1863—1864 гг.), неподписанныхъ или подписанныхъ псевдонимомъ, не вошедшихъ въ собраніе его сочиненій, изданное имъ самимъ. Г. Пыпинъ выражаетъ желаніе, чтобы статьи эти были, наконецъ, включены въ собраніе сочиненій, а пока дѣлаетъ изъ нихъ обширныя выписки.

Я слышалъ, что желаніе г. Пыпина скоро осуществится, что въ новое изданіе сочиненій Салтыкова войдутъ и анонимныя и псевдонимныя статьи, печатавшіяся какъ въ „Современникѣ“ 60-хъ, такъ и въ „Отечественныхъ Запискахъ“ 70-хъ годовъ. Этому нельзя не порадоваться, какъ бы ни относился самъ Салтыковъ къ своимъ произведеніямъ, которыя онъ, по тѣмъ или другимъ соображеніямъ, не желалъ перепечатывать. Съ легкой руки Гончарова, у насъ часто говорятъ о „нарушеніи воли“ того или другого писателя, выражаю-

*) Сентябрь 1899 г.

щаго желаніе, чтобы иныя изъ его произведеній не перепечатывались. Я думаю, что это желаніе не заслуживаетъ уваженія. При жизни писатель воленъ дѣлать съ своими произведеніями—что онъ хочетъ, но послѣ смерти онъ становится достояніемъ исторіи. Мало ли историческихъ дѣятелей, которые имѣли бы всѣ основанія желать, чтобы то или другое ихъ дѣло,—ошибка, слабость, преступленіе,—или черта характера, или даже цѣлая сторона жизни оставались навсегда подъ спудомъ. Исторія не справляется, однако, съ ихъ желаніями и, когда ей нужно, беретъ изъ ихъ біографій все, что ей нужно. Почему же мы должны дѣлать исключеніе для писателя, слово котораго есть такое же дѣло и относительно котораго существуетъ даже поговорка: „что написано перомъ, того не вырубишь топоромъ"? Тѣмъ болѣе, если дѣло идетъ о писателѣ большомъ, оставившемъ значительный слѣдъ въ литературѣ. Въ его литературномъ наслѣдствѣ даже слабыя произведенія или слишкомъ отзывающіяся давно забытой злобой дня могутъ представлять высокій интересъ въ смыслѣ исторіи его личнаго развитія или для характеристики того историческаго момента, въ который ему довелось работать. Я не говорю, конечно, что каждая строчка такого писателя должна перепечатываться, но это уже дѣло разумѣнія и такта издателей или редакторовъ посмертныхъ изданій.

Щедринъ начала шестидесятыхъ годовъ — конечно, не то, что Щедринъ семидесятыхъ, когда развернулись всѣ стороны его изумительнаго таланта. Однако и тогда уже онъ по праву занималъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ литературѣ своимъ яснымъ умомъ, сверкающимъ остроуміемъ и отзывчивостью къ явленіямъ текущей жизни, изъ которой онъ умѣлъ извлекать черты настолько типическія, что вотъ и теперь, черезъ тридцать слишкомъ лѣтъ, онѣ имѣютъ не только историческое значеніе. Арсеналъ формъ еще не блисталъ тою роскошью, которая обнаружилась впослѣдствіи, но уже и тогда имѣлись на лицо оригинальнѣйшія сочетанія фантастики и дѣйствительности, художественныхъ образовъ и строгой логики, смѣха и слезъ. Что же касается содержанія, идей, то въ этомъ отношеніи едва ли найдется хоть одно существенное уклоненіе на всемъ длинномъ литературномъ пути Щедрина: въ началѣ шестидесятыхъ годовъ онъ тотъ же, что и наканунѣ девятидесятыхъ. Иному—въ особенности нынѣ, когда шустрые люди довели быстроту передвиженій, „эволюцій" (множественное число) до послѣдней степени легкости и граціи,—иному, говорю, это можетъ показаться мертвенною неподвиж-

ностью. Въ самомъ дѣлѣ, времена мѣняются, „все течетъ“, какъ сказалъ еще древній философъ, „волна на волну набѣгаетъ, волна погоняетъ волну“, какъ выразился новый поэтъ, — какъ же не мѣняться и людямъ, и особенно людямъ чуткимъ, отзывчивымъ? И не есть ли эта неподвижность свидѣтельство именно недостаточной чуткости, слабой отзывчивости на запросы времени?

Но уже просто самое слово „неподвижность“ какъ то не идетъ къ нервной, энергичной, неустанно дѣятельной фигурѣ Щедрина, и, очевидно, тутъ что нибудь да не такъ. И, конечно, не такъ. Съ двухъ сторонъ не такъ,—и со стороны времени, и со стороны человѣка. За тридцать пять лѣтъ, протекшихъ съ того времени, когда Щедринъ писалъ статьи, о которыхъ у насъ пойдетъ рѣчь, конечно, очень многое и очень сильно измѣнилось въ русской жизни. Временами темпъ этихъ измѣненій такъ, повидимому, ускорялся, что люди трусливые (не говоря о корыстно заинтересованныхъ) даже приходили въ нѣкоторый ужасъ, а люди наивные и прирожденные оптимисты ликовали сверхъ всякой мѣры. Проницательный умъ Салтыкова и его рѣдкое знаніе русской жизни во всѣхъ ея проявленіяхъ, во всѣхъ слояхъ общества отъ верхняго края до нижняго— не давали ему мѣста ни среди трусливыхъ, ни среди наивныхъ. Онъ слишкомъ хорошо зналъ наше прошлое, чтобы не желать или бояться быстраго удаленія отъ него, но зналъ также и его цѣпкость и силу; зналъ, что даже та его доля, которая формально лежитъ въ исторической могилѣ, время отъ времени встаетъ и будетъ вставать въ видѣ противоестественныхъ живыхъ призраковъ, налагающихъ свою печать на подлинную дѣйствительность. Отсюда не только вообще его скептицизмъ по отношенію къ нашему прогрессу, но и въ частности тѣ поразительныя сатирико-фантастическія видѣнія, которыя такъ часто оказывались предвидѣніями. Это были продукты не мистическаго вдохновенія, передъ которымъ внезапно разверзается занавѣсъ будущаго, а вполнѣ сознательнаго пріема наблюденія и вывода. Въ „Помпадурахъ и помпадуршахъ“ онъ самъ сообщаетъ этотъ свой секретъ и оканчиваетъ такъ: „Говорятъ о каррикатурѣ и преувеличеніяхъ, но нужно только осмотрѣться кругомъ, чтобы обвиненіе это пало само собой. Не останавливайтесь на настоящей минутѣ, но прозрѣвайте въ будущее. Тогда вы получите цѣлую картину волшебствъ, которыхъ, быть можетъ, еще нѣтъ въ дѣйствительности, но которыя несомнѣнно придутъ“.

Вѣра въ свѣтлое будущее никогда не покидала Салтыкова *), но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ думалъ, что у насъ „тѣ же самыя основы жизни, которыя существовали въ XVIII вѣкѣ, существуютъ и теперь". Такъ выразился онъ въ одномъ частномъ письмѣ въ 1871 г., напечатанномъ въ 1889 г., послѣ его смерти. Но и раньше, и позже 1871 г. онъ держался того же мнѣнія, и смотрѣлъ на русскую жизнь именно съ этой точки зрѣнія. Лучше, чѣмъ кто-нибудь, понималъ онъ великое значеніе освобожденія и послѣдующихъ реформъ, но его сатирическое вниманіе сосредоточивалось на тѣхъ юридически оформленныхъ или не оформленныхъ „основахъ жизни", которыя грозили задержать движеніе, или дѣйствительно его задерживали, или же выдвигали на аванъ-сцену „гробы повапленные" — новыя формы старой сущности. При этомъ жизнь не предъявляла ничего такого, что могло бы измѣняющимъ образомъ повліять на его коренныя убѣжденія, но кругъ явленій, ими освѣщаемыхъ, все расширялся и углублялся. Такимъ образомъ, если tempora и mutantur, то не очень уже быстротечно, по крайней мѣрѣ, съ точки зрѣнія Салтыкова, каковую точку зрѣнія онъ, впрочемъ, достаточно оправдалъ и доселѣ, посмертно продолжаетъ оправдывать своими предвидѣніями. И недаромъ онъ въ найденномъ въ его бумагахъ началѣ „оправдательной записки" говоритъ о „мучительной воспріимчивости, съ которой онъ всегда относился къ современности". Что касается неподвижности его основныхъ принциповъ, то что же вы подѣлаете съ такимъ упрямымъ человѣкомъ, который (въ 1881 г., въ частномъ письмѣ) пишетъ: „Мнѣ кажется, что писатель, имѣющій въ виду не одни интересы минуты, не обязывается выставлять иныхъ идеаловъ, кромѣ тѣхъ, которые изстари волнуютъ человѣчество. А именно: свобода, равноправность и справедливость". Онъ не мечталъ быть новаторомъ, онъ примыкалъ къ тому, что „изстари волнуетъ человѣчество"; онъ, эта краса и гордость русской литературы, этотъ слонъ... И когда посмотришь на множество нынѣшнихъ проповѣдниковъ „новыхъ словъ", поневолѣ подумаешь:

*) Этому *какъ будто* противорѣчатъ послѣднія написанныя и не дописанныя Салтыковымъ мрачныя строки въ „Забытыхъ словахъ". Я не буду останавливаться на этомъ „какъ будто". да и не упомянулъ бы объ немъ, если бы не прочиталъ въ іюньской книжкѣ журнала „Жизнь" статьи г. Е. Соловьева. Авторъ —изъ „голенькихъ мальчиковъ съ узенькой повязкой на головѣ"—видитъ въ упомянутыхъ мрачныхъ строкахъ выраженіе сословнаго дворянскаго духа, однимъ изъ представителей котораго былъ Салтыковъ... Объ этомъ, если ужъ говорить, такъ лучше особо.

Какія крохотны коровки!
Есть, право, менѣе булавочной головки!..

Лично для себя Салтыковъ выбралъ задачу — „спасти идеалъ свободнаго изслѣдованія, какъ неотъемлемаго права всякаго человѣка, и обратиться къ тѣмъ современнымъ основамъ, во имя которыхъ эта свобода изслѣдованія попирается“. — Можетъ показаться, что, какъ ни велика эта задача сама по себѣ, она слишкомъ мала или узка, одностороння, чтобы ею одною исчерпывалась столь блестящая и долголѣтняя литературная дѣятельность, какова дѣятельность Салтыкова. И, конечно, не одинъ этотъ мотивъ говорилъ въ немъ. Но если мы примемъ во вниманіе то, какъ понималъ онъ эту какъ будто спеціальную задачу, въ какомъ объемѣ и въ какихъ развѣтвленіяхъ,—то увидимъ, что она, во-первыхъ, далеко не такъ спеціальна, и что, во-вторыхъ, принявъ ее за исходную точку, мы выяснимъ себѣ очень и очень значительную долю духовнаго наслѣдства Салтыкова.

Когда я, тотчасъ послѣ смерти Щедрина, писалъ объ немъ въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ“, то вслѣдъ за общимъ наброскомъ, вызваннымъ непосредственнымъ впечатлѣніемъ утраты, первую же главу детальной оцѣнки его дѣятельности посвятилъ его „отношенію къ литературѣ“. Это было естественно. За тѣ почти сорокъ лѣтъ, что я вращаюсь въ литературной средѣ, я не встрѣчалъ человѣка, который былъ бы, такъ сказать, болѣе, чѣмъ Салтыковъ, литераторъ, въ лучшемъ, идеальнѣйшемъ смыслѣ этого слова. Это былъ какой-то монахъ отъ литературы, сознательно весь цѣликомъ ей отдавшійся, благоговѣйно относившійся къ ея общественной роли и съ тѣмъ большею скорбью или негодованіемъ отмѣчавшій ея вольныя или невольныя уклоненія отъ этой высокой и отвѣтственной роли. Сидя въ своей писательской кельѣ, не отрываясь отъ письменнаго стола, онъ могъ сказать вмѣстѣ съ своимъ Крамольниковымъ, что у него „не было никакой иной привязанности, кромѣ читателя, никакой иной радости, кромѣ общенія съ читателемъ“. И онъ не тяготился этимъ своего рода аскетическимъ житіемъ, ибо сознавалъ себя причастникомъ великаго дѣла. „Scripta manent“,—часто напоминалъ онъ, а однажды съ рѣдкою въ немъ восторженностью прибавилъ: „Semper manent, in saecula saeculorum!“ и выразилъ мнѣніе, что „ничто такъ не поясняетъ идею вѣчности, какъ представленіе о литературѣ“.

Изъ этого благоговѣйнаго отношенія къ литературѣ въ принципѣ

въ ея задачахъ и цѣляхъ, отнюдь не слѣдуетъ, что литературное дѣло есть дѣло „совершенствованія спеціальности въ самой себѣ". Даже совсѣмъ напротивъ. Въ 1864 г., въ рецензіи на вышедшія тогда въ приложеніи къ „Русскому Вѣстнику" „Новыя стихотворенія" А. Н. Майкова, Салтыковъ писалъ:

„Для всѣхъ очевидно, что искусство мало по малу начинаетъ расширять свои предѣлы и допускать въ свою область такіе элементы, которые долгое время считались ему чуждыми. Искусство жило отдѣльною отъ дѣлъ сего міра жизнью; оно направлено было къ тому, чтобы украшать и утѣшать, и, надо сказать правду, исполняло свою задачу очень исправно, то есть обманывало и обольщало, насколько хватало у него силъ. Будучи плодомъ досужества, оно обращалось исключительно къ досужеству же; услаждало досуги досужихъ людей, и это сообщало ему тотъ чистенькій, аристократическій характеръ, который составляетъ необходимую принадлежность всякаго рода успокоительныхъ вѣяній и усладительныхъ сновъ".

Признавая за поэзіей „досужихъ" людей извѣстныя, правда, очень малыя заслуги, Салтыковъ отмѣчаетъ затѣмъ приливъ новыхъ силъ— людей изъ „темнаго царства" и продолжаетъ; „По мѣрѣ вторженія въ сферу досужества новыхъ силъ, прежнія отношенія искусства къ жизни дѣлаются все болѣе и болѣе невозможными. Жизнь заявляетъ претензію стать исключительно предметомъ для искусства, и при томъ не праздничными, безмятежно идилическими и сладостными, но и будничными, горькими, рѣжущими глаза сторонами. Мало того: она претендуетъ, что въ этихъ послѣднихъ сторонахъ и заключается самая „суть" человѣческой поэзіи, что игривые ландшафты и надзвѣздныя пространства, хотя и могутъ еще, по нуждѣ, оставаться болѣе или менѣе пріятными аксессуарами, но дѣйствительнаго истинно-человѣческаго содержанія искусству ни подъ какимъ видомъ дать не могутъ. Искусство, слѣдуя этой теоріи, принимаетъ характеръ преимущественно человѣческій или, лучше сказать, общественный (такъ какъ человѣкъ, изолированный отъ общества, не мыслимъ), и чѣмъ ближе вглядывается въ жизнь, чѣмъ глубже захватываетъ вопросы, ею выдвигаемые, тѣмъ достойнѣе носитъ свое имя".

Эта страничка изъ исторіи русской литературы, въ этомъ именно освѣщеніи, не разъ и впослѣдствіи занимала Салтыкова (въ „Кругломъ годѣ", въ „Похоронахъ", въ „Письмахъ къ тетенькѣ", въ „Пестрыхъ письмахъ"; подробнѣе см. объ этомъ въ моихъ „Сочи-

неніяхъ", т. V, стр. 146—148). Только въ этихъ позднѣйшихъ изложеніяхъ дѣло идетъ уже не о лирикѣ, какъ въ рецензіи на стихотворенія Майкова, а о литературѣ вообще, въ самомъ широкомъ смыслѣ, и авторъ беретъ нѣсколько иные оттѣнки красокъ для характеристики литературы „досужества", съ одной стороны, и позднѣйшей литературы—съ другой. Къ первой, то есть къ литературѣ сороковыхъ годовъ, Салтыковъ относится уже гораздо мягче; она рисуется ему иногда въ видѣ сказочной царевны, запертой въ неприступномъ чертогѣ, чуждой жизни; она „не принимала дѣятельнаго участія въ негодованіяхъ и протестахъ жизни, но не участвовала и въ ея торжествахъ". И это дѣлаетъ сатирика снисходительнымъ къ ея „малокровію", какъ онъ выражался. Что же касается позднѣйшей литературы, на которую Салтыковъ возлагалъ въ 60-хъ годахъ столько надеждъ именно потому, что она вступила въ общеніе съ жизнью и, слѣдовательно, становилась на пути къ тому, чтобы „достойно носить свое имя", то въ семидесятыхъ годахъ онъ пришелъ относительно ея къ такому неутѣшительному итогу: „литература искала общенія съ жизнью, а обрѣла общеніе съ пустяками,—какая неожиданность можетъ быть горше и чувствительнѣе этой?"

Это сопоставленіе мнѣній Салтыкова, выраженныхъ имъ объ одномъ и томъ же предметѣ въ разное время, поучительно. Оно даетъ образчикъ того, какъ вообще „эволюціонировалъ" Салтыковъ. Его основная точка зрѣнія остается непоколебимою, „неподвижною", но она захватываетъ новыя явленія жизни.

Въ той же рецензіи стихотвореній Майкова находимъ слѣдующія любопытныя строки: „Вторженіе новой жизни собственно въ нашу литературу выразилось или въ формѣ сатиры, которая провожаетъ въ царство тѣней все отживающее, или же въ формѣ не всегда ясныхъ и опредѣленныхъ привѣтствій тѣмъ темнымъ, еще не узнаннымъ силамъ, которыхъ наплывъ такъ ясно всѣми чувствуется. Это и понятно. Новая жизнь еще слагается; она не можетъ и выразиться иначе, какъ отрицательно, въ формѣ сатиры, или въ формѣ предчувствія и предвѣдѣнія". Салтыковъ ждалъ многого отъ новой жизни, отъ „новыхъ силъ" изъ „темнаго царства" и привѣтствовалъ ихъ наплывъ, но онъ и тогда уже былъ достаточно остороженъ, чтобы признавать ихъ пока еще темными, еще не узнанными. Впослѣдствіи, когда новая жизнь выдвинула „столповъ" въ родѣ Дерунова, Антошки Стрѣлова, Хрисашки Полушкина, Разуваева и вообще „чумазыхъ", а также Балалайкиныхъ и писателей въ родѣ Подхалимова или Ивана

Непомнящаго, — Салтыковъ уже совсѣмъ иначе „привѣтствовалъ“ ихъ. Но это отнюдь не была перемѣна убѣжденій въ направленіи вражды къ „новой жизни“ или любовнаго обращенія къ старой, къ той, которую онъ съ самаго начала своей дѣятельности такъ охотно „провожалъ въ царство тѣней“. Эту послѣднюю онъ провожалъ все туда же до конца дней своихъ, и въ этомъ отношеніи нѣтъ разницы, напримѣръ, между „Мишей и Ваней“ 1863 г. и предсмертной „Пошехонской стариной“: та же негодующая яркость красокъ, то же клеймо позора. Но, продолжая гнѣвно оглядываться на прошлое и съ надеждою смотрѣть въ будущее, Салтыковъ видѣлъ во всѣхъ этихъ Деруновыхъ, Балалайкиныхъ, Подхалимовыхъ, конечно, порожденія новаго времени, новыхъ условій жизни, но вмѣстѣ съ тѣмъ такъ или иначе поддерживающія основы прошлаго. Въ частности дорогой для него „идеалъ свободнаго изслѣдованія“ мало выигрывалъ отъ вторженія въ жизнь этихъ новыхъ силъ.

Въ книжкѣ г. Пыпина читатель найдетъ нѣкоторыя любопытныя соображенія Салтыкова о проектѣ (1862 г.) новаго закона о печати, разрѣшившемся въ уставъ 1865 г., о замѣчаніяхъ на этотъ проектъ „Русскаго Вѣстника“ и вообще объ отношеніяхъ печати и цензуры. Этотъ послѣдній, общій вопросъ еще недавно, можно сказать на дняхъ, горячо дебатировался въ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ“, главнымъ образомъ кн. Трубецкимъ, съ одной стороны, и кн. Цертелевымъ—съ другой; и самая горячность этихъ дебатовъ теперь, спустя тридцать пять лѣтъ послѣ того, какъ на ту же тему горячился Салтыковъ,—свидѣтельствуетъ, я думаю, о проницательности сатирика, когда онъ не весьма вѣрилъ, что tempora mutantur. Я не могу касаться этого вопроса въ мѣру его значительности и предпочитаю не касаться совсѣмъ.

Кромѣ границъ, полагаемыхъ свободному изслѣдованію извнѣ, въ виду государственныхъ или иныхъ соображеній, есть еще внутреннія, въ самихъ изслѣдователяхъ и ихъ взаимныхъ отношеніяхъ лежащіе факторы, препятствующіе свободѣ изслѣдованія, ограничивающіе или извращающіе ее. Къ нимъ то мы и обратимся.

Читатель благоволитъ припомнить интересную статью А. Г. Горнфельда „Муки слова“, напечатанную сборникѣ „Русскаго Богатства“ 1899 г. Въ самомъ орудіи выраженія нашихъ впечатлѣній, чувствъ, мыслей, сужденій,—въ словѣ, есть нѣкоторое препятствіе, если не для

„свободнаго изслѣдованія“, какъ таковаго (а иногда и для него), то для сообщенія его процесса и результатовъ другимъ; препятствіе, доставляющее въ иныхъ случаяхъ людямъ настоящія „муки“. Отсылая читателей для этой стороны дѣла къ статьѣ г. Горнфельда, я остановлюсь на оборотной сторонѣ, на которую въ упомянутой статьѣ имѣются только намеки.

Авторъ цитируетъ „Подростка“ Достоевскаго: „Можетъ быть, я очень худо сдѣлалъ, что сѣлъ писать: внутри безмѣрно больше остается, чѣмъ то, что выходитъ въ словахъ. Ваша мысль, хотя бы и дурная, пока при васъ, всегда глубже, а на словахъ смѣшнѣе и безчестнѣе. Версиловъ мнѣ сказалъ, что обратно тому бываетъ у скверныхъ людей. Тѣ лгутъ, имъ легко, а я стараюсь писать всю правду,— это ужасно трудно“. Г. Горнфельдъ припоминаетъ еще великолѣпную фигуру Нумы Руместана, этого человѣка необыкновенно легкаго слова и вмѣстѣ съ тѣмъ лжеца изъ лжецовъ, виртуоза словесности и лжи, хотя, пожалуй, и не „сквернаго“, потому что онъ, въ сущности, человѣкъ добродушный и пакоститъ ближнимъ часто совершенно безсознательно.

У Салтыкова есть цѣлая коллекція этихъ людей, которымъ не только не знакомы „муки слова“, но въ распоряженіи которыхъ въ каждую данную минуту въ изобиліи имѣются слова для сокрытія, замаскированія или извращенія правды. Тутъ и просто болтуны необузданные, и „торговцы паѳосомъ“, и лицемѣры словоточивые, и предатели, и клеветники, и ловкачи, умѣющіе однимъ словомъ повернуть бесѣду или „изслѣдованіе“, такъ сказать, на фиктивные рельсы, на ложный путь. Ложь во всѣхъ ея многоразличныхъ видахъ и разновидностяхъ неутомимо преслѣдовалась сатирикомъ, и даже тамъ, гдѣ въ его картинахъ, повидимому, все заслоняютъ другіе его враги,—произволъ, жестокость,—лжи неизмѣнно отводится свое мѣсто. Такъ, напримѣръ, въ страшной исторіи капитана Савельцева и тетеньки Анфисы Порфирьевны, Анфиса прежде, чѣмъ заглотать мужа своимъ волчьимъ ртомъ, виляетъ лисьимъ хвостомъ, надуваетъ его обманными словами смиренія и примиренія. Въ сказкѣ „Добродѣтели и пороки“ во главѣ послѣднихъ стоитъ „самъ Отецъ Лжи“. Правда, и онъ однажды спасовалъ передъ новымъ лицомъ, призналъ за нимъ пальму первенства въ дѣлѣ зла. Сатирикъ разсказываетъ: „Даже Отецъ Лжи, который думалъ, что нѣтъ въ мірѣ той подлости, которой бы онъ не произошелъ,—и тотъ глаза вытаращилъ“. Но это новое лицо было Лицемѣріе, то есть тоже ложь.

Въ писателѣ, такъ высоко ставившемъ задачи своей профессіи и такъ цѣликомъ ей отдавшемся, естественна эта ненависть къ обманному, лживому слову,—ложь вѣдь во всякомъ случаѣ стоитъ поперекъ дороги къ идеалу свободнаго изслѣдованія, а при случаѣ и активно возстаетъ противъ него. Но не слишкомъ ли ужъ большое значеніе придаетъ ей нашъ сатирикъ? не слишкомъ ли много зарядовъ гнѣва и остроумія на нее тратитъ? Вонъ благодушный дѣдушка Крыловъ отдѣлался отъ нея „римскимъ огурцомъ"...

Послушаемъ другого, иностраннаго и гораздо болѣе стараго писателя, котораго кто то не безъ основанія назвалъ первымъ французомъ, осмѣливавшимся мыслить.

Старикъ Монтень называетъ лживость „проклятымъ порокомъ" и говоритъ, что если бы мы понимали все ея ужасное значеніе, то преслѣдовали бы ее сильнѣе, чѣмъ какія бы то ни было преступленія. „Только благодаря слову (или рѣчи—parole), разсуждаетъ онъ, мы—люди и общаемся съ другими людьми"; обманное, лживое слово нарушаетъ взаимныя человѣческія отношенія, въ корнѣ подрываетъ общеніе. Если бы, подобно истинѣ, ложь „имѣла только одно лицо",—мы были бы въ лучшемъ положеніи, потому что всегда понимали бы слова лжеца наоборотъ: но оборотная сторона истины многообразна и поле ея дѣйствія безгранично. Лгущій человѣкъ и тотъ, кому онъ лжетъ—даже не люди другъ для друга. И Монтень приводитъ чье-то изреченіе, что мы чувствуемъ себя лучше въ обществѣ извѣстной намъ собаки, чѣмъ въ обществѣ неизвѣстнаго намъ человѣка. Цитируетъ онъ и Плинія, выразившаго мысль, что люди разныхъ націй говорящіе на разныхъ, взаимно незнакомыхъ языкахъ, — собственно не люди другъ для друга. Монтень понимаетъ, что возможны „крайнія и очевидныя опасности", въ виду которыхъ неправда дозволительна. И всетаки, заключаетъ онъ, „насколько лживое слово менѣе соціально (moins sociable), чѣмъ молчаніе!"

Не помню, какой юмористъ заставилъ героя своего разсказа говорить въ теченіе трехъ дней всѣмъ правду, то есть все, что онъ знаетъ или думаетъ. Изъ этого произошелъ цѣлый рядъ то комическихъ, то трагическихъ столкновеній, и въ концѣ концовъ герой долженъ былъ отказаться отъ своей задачи. При сложности нашихъ житейскихъ отношеній, при множествѣ облегающихъ насъ со всѣхъ сторонъ условностей, разумѣется, немыслима полная правдивость во всѣ стороны; иначе любая сплетница, любой предатель и доносчикъ могли бы претендовать на титулъ соли земли, а лучшіе люди сплошь

и рядомъ сѣяли бы вокругъ себя горе, не говоря уже объ томъ что и сами сидѣли бы, можетъ быть, по кутузкамъ. Есть чистѣйшіе, благороднѣйшіе поступки, чувства, отношенія, которымъ нечего стыдиться, но которые по обстоятельствамъ должны скрываться за завѣсой лжи или молчанія; и есть мерзости, которыя по самому существу своему должны прятаться въ темнотѣ. Смѣшивать эти двѣ категоріи въ одномъ понятіи „проклятаго порока“ было бы, конечно, большою ошибкою. На практикѣ различеніе ихъ есть дѣло добросовѣстности и такта. Но въ принципѣ Монтень совершенно правъ, поднимая ложь на градусникѣ зла далеко выше уровня морали римскаго огурца и комизма хлестаковщины. Въ принципѣ лживое слово есть несомнѣнно явленіе противообщественное по преимуществу, именно потому, что слово есть орудіе общенія. И замѣчаніе Монтеня объ томъ, что молчаніе всетаки „общественнѣе“ обманнаго слова, чрезвычайно тонко и вѣрно. Даже въ тѣхъ случаяхъ, когда ложь является по обстоятельствамъ необходимостью, это не говоритъ противъ Монтеневскаго принципа, а лишь свидѣтельствуетъ о ненормальности условій, въ которыхъ намъ приходится жить. Въ виду же всѣхъ этихъ осложненій нельзя лучше выразить мысль Монтеня, какъ знаменитыми словами знаменитаго русскаго писателя: „обращаться со словомъ нужно честно“. Эта формула обнимаетъ и случаи вынужденной лжи, и случаи обязательнаго молчанія. Выше, въ составѣ Щедринской коллекціи лжецовъ, я помянулъ, между прочимъ, предателя. Но вѣдь устами предателя, равно какъ и какой нибудь сплетницы, можетъ говорить сама истина. Да, но въ самомъ основаніи предательства и злостной сплетни лежитъ, если не прямо ложь, то безчестное отношеніе къ слову.

Это то не честное отношеніе къ слову въ самомъ широкомъ смыслѣ и во всемъ многообразіи и разнообразіи его и составляло всегда предметъ сатирическаго вниманія Салтыкова. Припомнимъ нѣсколько типическихъ образчиковъ изъ его коллекціи.

Балалайкинъ разсказываетъ, что поставлялъ невѣстъ коканскому хану Насръ-Эддину, и за это ханъ отблагодарилъ его балыкомъ и кувшиномъ воды. Одинъ изъ собесѣдниковъ замѣчаетъ, что ханъ не очень то расщедрился. „Que voulez-vous, mon cher!—отвѣчаетъ Балалайкинъ: эти ханы... нѣтъ въ мірѣ существъ неблагодарнѣе ихъ. Впрочемъ, онъ мнѣ еще пару шакаловъ прислалъ, да чорта ли въ нихъ! Позабавился нѣсколько дней, поѣздилъ по Невскому, да и отдалъ Росту въ зоологическій садъ. Главное дѣло, завываютъ

какъ то, ну и кучера искусали. И представьте себѣ, кромѣ бифштексовъ ничего не ѣдятъ канальи! И непремѣнно, чтобъ изъ кухмистерской Завитаева—извольте-ка отсюда да на Пески три раза въ день посылать!"

Вотъ образчикъ необузданно лживой словесности, лганья въ самой элементарной формѣ, на первый взглядъ не далеко ушедшей отъ хлестаковщины. Однако это только на первый взглядъ. Хлестаковъ вретъ, такъ сказать, прямолинейно, въ томъ смыслѣ, что въ средне-общественномъ мнѣніи всѣ его фантазіи вмѣняются въ честь или заслугу: лестно, когда ты имѣешь такую импонирующую внѣшность, что тебя принимаютъ за главнокомандующаго; лестно быть авторомъ „Женитьбы Фигаро", „Роберта Дьявола" и проч.; лестно, когда тридцать пять тысячъ курьеровъ скачутъ съ приглашеніемъ управлять департаментомъ, и т. д., и т. д. Не таково лганье Балалайкина. Уже роль поставщика невѣстъ коканскому хану не принадлежитъ къ числу одобряемыхъ средне-общественнымъ мнѣніемъ, а Балалайкинъ, разсказывая объ этомъ своемъ занятіи, ни мало не запинаясь, прибавляетъ еще, что кандидатокъ въ невѣсты у него много: „каждое утро весь Фонарный переулокъ такъ и ломится въ дверь; даже молодые люди приходятъ, право! звонокъ за звонкомъ". Затѣмъ Балалайкинъ вретъ еще и еще и, между прочимъ, потчуетъ гостей фигами, присланными ему въ подарокъ Эюбъ-ханомъ, и поясняетъ:

— „Я ему тутъ одно свѣдѣньице въ дипломатическихъ сферахъ вывѣдалъ... такъ, пустячки!

— „Балалайкинъ! пощадите! вѣдь вы себя въ измѣнѣ отечеству обличаете!—воскликнули мы въ ужасѣ.

— „Ah, mais entendons-nous! Я, дѣйствительно, свѣдѣньице для него вывѣдалъ, но онъ черезъ это самое свѣдѣньице сраженіе потерялъ—помните, въ томъ ущельи, какъ бишь его?.. Нѣтъ, господа, я въ этихъ дѣлахъ остороженъ! А онъ мнѣ, между прочимъ, презентъ!"

У Балалайкина нѣтъ и тѣхъ скудныхъ понятій о нравственномъ, приличномъ или хвалы достойномъ, какія есть у Хлестакова, которому никогда, даже въ самомъ зенитѣ его вранья, не пришло бы въ голову хвастаться паскудною ролью поставщика невѣстъ коканскому хану или двойнымъ предательствомъ „дипломатическихъ сферъ" и Эюбъ-хана. Въ Балалайкинѣ интересны именно эти вполнѣ беззастѣнчивые, изворотливые словесные узоры на „нѣтовомъ полѣ„

нравственныхъ принциповъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ Балалайкинъ, хотя и готовъ на всякую, самую отчаянную подлость и мерзость, сплошь и рядомъ злоупотребляетъ словомъ вполнѣ безкорыстно, изъ любви къ искусству, по пылкости фантазіи, и даже не гонится за тѣмъ, чтобы ему повѣрили. Это—артистъ въ душѣ, жрецъ чистаго искусства.

Въ другомъ родѣ артистъ, производящій уже не комическое, а трагическое впечатлѣніе,- Іудушка Головлевъ, это высшее изъ созданій Салтыкова, которое одно доставило бы ему вѣковѣчную славу. Приводить образчики словесности этого гнуснаго архилицемѣра я не буду, слишкомъ былъ бы труденъ выборъ, ибо здѣсь каждая строчка образцовая.

Обратимся къ „Благонамѣреннымъ рѣчамъ". И эта частная коллекція лжецовъ и словесниковъ слишкомъ богата, чтобы мнѣ пришла въ голову мысль ее исчерпать, да и не въ этомъ моя задача. Нѣсколькихъ штриховъ для насъ достаточно.

Сынъ Дерунова докладываетъ отцу о ходѣ операціи скупки у крестьянъ хлѣба. Онъ давалъ мужикамъ по шести гривенъ за пудъ, они не согласились и повезли было хлѣбъ въ другое мѣсто, но тамъ ихъ прижалъ Деруновскій же приказчикъ, и имъ пришлось отдать по полтиннику. Хотя такимъ образомъ операція окончена блистательно, старикъ Деруновъ всетаки сердито волнуется и называетъ мужиковъ, просившихъ шесть гривенъ, „бунтовщиками" и „стачечниками". Авторъ, присутствующій при этомъ разговорѣ, недоумѣваетъ, — какой же это бунтъ? Деруновъ разъясняетъ: „А по твоему, баринъ, не бунтъ? Мнѣ для чего хлѣбъ то нуженъ? самъ что ли экую махину съѣмъ? въ амбарѣ что ли его гноить буду? Въ казну, сударь, въ казну я его ставлю! Армію, сударь, хлѣбомъ продовольствую! А ну, какъ у меня изъ-за нихъ, курициныхъ сыновъ, хлѣба то не будетъ? Помирать что ли арміи то? По твоему это не бунтъ?"

Не лишеннымъ остроумія словеснымъ оборотомъ, представляющимъ, однако, въ сущности настоящее пустословіе, Деруновъ переводитъ разговоръ о своемъ карманѣ на нѣкоторые фиктивные рельсы, на которыхъ и въѣзжаетъ благополучно въ область любви къ отечеству и народной гордости. Наѣзды лживой фразы, пустозвонной словесности въ эту область особенно возмущали Салтыкова. Вспомните патріотическія рѣчи казнокрада Удодова въ „Страшномъ годѣ", безпардонное лганье на тему „l'ordre, la patrie et notre

sainte religion" въ „Ташкентцахъ приготовительнаго класса" и проч., и проч., и проч.

И вотъ, эта лживая словесность, эта пустозвонная фраза, это не честное отношеніе къ слову переносится въ литературу, то есть въ сферу, въ глазахъ Салтыкова исключительно высокую и даже нѣсколько мистически сопоставляемую съ идеей вѣчности. Чѣмъ бы ни вызывалось это явленіе,—прямою ли продажностью, какъ въ редакціяхъ „Красы Демидрона" и „Словеснаго Удобренія", простою ли пустопорожностью, какъ въ „пѣнкоснимателяхъ", этихъ „василискахъ празднословія", сочетаніемъ ли этихъ элементовъ, какъ въ Иванѣ Непомнящемъ и Подхалимовѣ,—негодованію Салтыкова не было предѣловъ. Именно не было предѣловъ. Тутъ столь свойственное нашему сатирику, не смотря на роскошь его фантазіи, чувство художественной мѣры иногда измѣняло ему. Такъ, вольнонаемный редакторъ „Красы Демидрона" Очищенный несомнѣнно слишкомъ карикатуренъ. Такъ, великолѣпный въ своемъ негодующемъ кипѣніи лирическій отрывокъ „Властитель думъ" несомнѣнно ничѣмъ не оправданъ подъ перомъ „нашего собственнаго корреспондента".

„Негодяй—властитель думъ современности... Смотрите, какъ твердо ступаетъ онъ по негодяйской стезѣ и какими неизреченно-безстыжими глазами взираетъ на все живущее! Прислушайтесь, какою увѣренностью звучитъ его голосъ, когда онъ говоритъ: да, я негодяй! Ограниченность мысли породила въ немъ наглость; наглость, въ свою очередь, застраховала его отъ возможности какихъ-либо потрясеній. Взглянувши на него, вы не запутаетесь въ опредѣленіяхъ; вы скажете прямо: это негодяй!—и все для васъ будетъ ясно. Никогда не было ничего столь простого, выяснившагося, цѣльнаго. Онъ какъ-то сразу просіялъ изъ тьмы и самъ о себѣ засвидѣтельствовалъ. И проникъ всюду, во всѣ слои такъ называемаго общества, во всѣ профессіи, во всѣ мѣста. Вездѣ онъ является съ открытымъ лицомъ, вездѣ возвѣщаетъ о себѣ: вы меня знаете?—я негодяй! Я—ярмо, призванное раздавить жизнь. Я—позоръ, призванный упразднить убѣжденіе, честность, правду, самоотверженіе. Я — распутство, поставившее себѣ задачей наполнить вселенную гноемъ измѣны, подкупа, вѣроломства, предательства". И т. д.

Можно ли себѣ хоть съ какою-нибудь отдаленною тѣнью вѣроятности представить, что это — отрывокъ изъ фельетона, написаннаго „нашимъ собственнымъ корреспондентомъ" для „Красы Демидрона"? Вѣдь этотъ корреспондентъ все равно что Подхали-

мовъ, а Подхалимовъ хотя и можетъ писать въ любомъ вкусѣ, стилѣ и направленіи по заказу, но откуда же ему взять этотъ кипящій гнѣвомъ тонъ по адресу „властителя думъ – негодяя“, образъ и подобіе котораго онъ на себѣ носитъ?

Къ Подхалимову, впрочемъ, сатирикъ относится сравнительно благодушно. Онъ признаетъ за нимъ талантливость и воспріимчивость и склоненъ смотрѣть на него, какъ на „жертву общественнаго темперамента“. У него и наружность „не самостоятельная: сейчасъ брюнетъ, сейчасъ – блондинъ; отсвѣчиваетъ“. Честнаго отношенія къ слову съ него, конечно, спрашивать нечего. „Писалъ онъ всяко: и забористо, и благодушно, и хлестко, и съ „прохвалою“—какъ для хозяйскаго интереса пригоднѣе. Умиленіе по обстоятельствамъ потребуется—онъ умилится; ликованіе — онъ возликуетъ; вѣра въ славное будущее—онъ и отъ вѣры не прочь. Только унывать не любилъ, а по части „прострацiи“ даже смѣшные каламбуры отпускалъ. Но ежели потребуется серьезно уронить слезу—онъ слова не скажетъ, уронитъ. „Нельзя, скажетъ, безъ сердечной боли видѣть, какъ многіе, вмѣсто того, чтобы уповать“... И пойдетъ, и пойдетъ. А потомъ утретъ слезу—смотришь, и опять всѣмъ весело. Словомъ сказать, на всѣ руки парень: колесомъ вертится, на канатѣ пляшетъ, сядетъ задомъ напередъ на лошадь и за хвостъ держится“.

Но сатирикъ задается вопросомъ: „понимаетъ ли Подхалимовъ, что онъ лжетъ, или не понимаетъ? Участвуетъ ли хоть капля сознательности въ той фальши, которую онъ распространяетъ вокругъ себя, или эта фальшь льется изъ него сама собой, какъ льется вода изъ незапертаго крана?“

Вопросъ, оставляемый Салтыковымъ безъ отвѣта и въ высшей степени для него характерный. Онъ задаетъ его себѣ по поводу не только безпардоннаго вранья Подхалимова, а и патріотическаго словоизверженія казнокрада Удодова, и жестоко лицемѣрной словоточивости Іудушки Головлева. Онъ напрягаетъ мысль, чтобы объяснить себѣ это ненавистное ему, но и загадочное для него явленіе, и далеко не всегда находитъ объясненіе. Слишкомъ онъ цѣнилъ естественное назначеніе слова,—орудія общенія, —чтобы не изумляться лживой словесности, какъ явленію не только противообщественному, но и противоестественному, почти невозможному. И онъ во всякомъ случаѣ съ трудомъ или, по крайней мѣрѣ, неохотно допускалъ сознательность этого оскорбленія слова. Однако сознательная или безсознательная ложь,—отъ этого не измѣняется ея общественное зна-

ченіе въ тѣхъ случаяхъ, когда она таковое вообще получаетъ. И когда такой представитель этой лжи, какъ Подхалимовъ, хвастаетъ: „печать то вѣдь сила“,—сатирика одолѣваютъ мрачныя, скорбныя и гнѣвныя думы. Да, печать сила. Когда то это было главнымъ образомъ только упованіе, только принципъ, едва-едва начинавшій осуществляться, но уже наполнявшій сердца писателей гордостью и надеждой, даже до чрезмѣрности въ виду общихъ условій нашей жизни. Теперь это фактъ. Но какой это жалкій, мелкій, унизительный фактъ! Сила—Подхалимовъ, сила – Иванъ Непомнящій, сила—„Краса Демидрона“ и „Словесное Удобреніе“. Какая же это сила? гдѣ объекты и районъ ея вліянія? О Подхалимовѣ говоритъ нечего. Этотъ многаго отъ жизни не требуетъ и, съ зажмуренными глазами беззаботно пройдя свое жизненное поприще, умретъ, можетъ быть, гдѣ нибудь подъ заборомъ во славу „міроѣдовъ“, какъ онъ, впрочемъ, беззлобно, называетъ своихъ патроновъ. Но при удачѣ изъ Подхалимовыхъ и выходятъ патроны. Таковъ, напримѣръ, Иванъ Непомнящій. Это, впрочемъ, имя собирательное.

Прошедшее его имѣло слегка либеральный характеръ. Одинъ Непомнящій (имя собирательное) дразнился въ фельетонцахъ, другой — въ статьяхъ публицистическаго характера, третій—тиснулъ какую то брошюрку, и самъ не помнитъ о чемъ. Словомъ сказать, и тотъ, и другой, и третій наслѣдили таки слѣдовъ, покуда балагурили за чужой счетъ. Теперь, сдѣлавшись обладателями сокровища (газеты), они понимаютъ, что надо эти слѣды замести хвостомъ. И вотъ одинъ Непомнящій объявляетъ, что въ сущности онъ никогда не дразнился, а просто балагурилъ, другой, что если онъ язвилъ въ одну сторону, то можетъ, по требованію, язвить и въ другую; третій, что онъ самъ не зналъ, что дѣлалъ, но впередъ „не будетъ“. И тутъ же представляютъ образцы будущаго хорошаго поведенія. Вѣроломство и подвохи украшаютъ столбцы въ перемежку съ лестью и куреніемъ ѳиміамовъ. Одинъ Непомнящій науськиваетъ весело и бойко; другой производитъ то же самое съ шипѣніемъ и пѣною у рта; третій не знаетъ, какъ ему поспѣть за двумя первыми... Въ виду упроченія ея (газеты) будущаго, не должно быть рѣчи ни объ идеяхъ, ни о цѣляхъ, ни объ убѣжденіяхъ, ни о чемъ, кромѣ наивѣрнѣйшихъ способовъ удержать за собой сокровище. Непомнящій употребляетъ всѣ усилія, чтобы проникнуть въ мысль и вкусы вліятельной среды, справляется у приспѣшниковъ, угадываетъ смыслъ улыбокъ и тѣлодвиженій, напоминаетъ о своей неизмѣнной готовности, а иногда даже удостоивается собесѣдованій. Язвитъ онъ исключительно безоружныхъ, тѣхъ, которые на его науськиванье не могутъ дать прямого отпора. Такой образъ дѣйствія и до сихъ поръ извѣстенъ у насъ подъ именемъ полемики. Изречетъ ликующій доброволецъ какую нибудь безспорную „истину“ въ родѣ, напримѣръ, обвиненія въ неблагонадежности и торжествуетъ, зная заранѣе, что отвѣтъ на такое обвиненіе немыслимъ.

Газета Непомнящаго пользуется большимъ успѣхомъ, такъ какъ ежедневно снабжаетъ читателей множествомъ новостей и слуховъ, поданныхъ бойко, весело, подъ пикантнымъ соусомъ. Завтра большая часть этого багажа окажется вздоромъ, но въ запасѣ имѣется новый вздоръ. „Запасшись этимъ ворохомъ, читатель на цѣлый день обезпеченъ. Онъ ходитъ по улицѣ, навѣщаетъ знакомыхъ и цѣлый день лжетъ на основаніи данныхъ, почерпнутыхъ имъ изъ газеты Непомнящаго 1-го. Знакомые его, получающіе газету Непомнящаго 2-го, въ свою очередь лгутъ. Происходитъ обмѣнъ сумбурныхъ мыслей, которыя, впрочемъ, имѣютъ за собою то преимущество, что не даютъ жизни окончательно замереть. Ибо этотъ то именно сумбуръ и называется жизнью“.

Болѣе спеціально направленную силу представляетъ „Словесное Удобреніе“, газета, издаваемая мануфактуръ-совѣтникомъ Кубышкинымъ и имѣющая задачей отождествленіе интересовъ производства и распространенія Кубышкинскихъ ситцевъ и миткалей съ интересами „благочинія“ и „государства“. Въ остальныхъ своихъ частяхъ, впрочемъ, „Словесное Удобреніе“ являетъ большое сходство съ газетой Непомнящаго, только что развѣ злобы въ немъ больше. „Словесное Удобреніе“ шло хорошо, и сотрудники его „были сыты“. „И чѣмъ больше были сыты, тѣмъ больше ярились. Наконецъ, до того разъярились, что стали выбѣгать на улицу и суконными языками, облитыми змѣинымъ ядомъ, изрыгали хулу и клевету. Проклинали человѣческій разумъ и указывали на него, какъ на корень гнетущихъ насъ золъ; предвѣщали всевозможныя бѣдствія; поселяли въ сердцахъ трепетъ; сѣяли ненависть, раздоръ и междоусобіе и проповѣдывали всеобщее упраздненіе“.

Вотъ нѣкоторые образцы того не честнаго отношенія къ слову, которое и изумляло, и возмущало Салтыкова въ „новой жизни“ и заставляло его мягче относиться къ старой, „досужей“ литературѣ, чѣмъ онъ относился къ послѣдней въ шестидесятыхъ годахъ. Конечно, и въ той литературѣ существовали Булгарины и Гречи, обладавшіе „суконными языками, облитыми змѣинымъ ядомъ“, и прочими атрибутами лживой словесности. Но это было пятно, грязное, позорное, временами, пожалуй, даже страшное, и всетаки только пятно, а не фонъ. Фонъ составляли оторванность отъ жизни и сравнительно невинная ложь „надзвѣздныхъ пространствъ, успокоительныхъ вѣяній и усладительныхъ сновъ“. Та литература была плодомъ „досужести“ и къ досужимъ же людямъ обращалась. Теперь не то.

Всколыхнутая событіями конца пятидесятыхъ и начала шестидесятыхъ годовъ, жизнь предъявила новыя требованія, и „литература искала общенія съ жизнью“, но волей судебъ „обрѣла общеніе съ пустяками“. Общеніе съ пустяками—таковъ теперь общій фонъ, но въ то время, какъ Ахбѣдные, Крамольниковы и прочіе, „сохранившіе за собой нравственную опрятность“, изнываютъ въ тоскѣ среди этой сѣти пустяковъ и ни въ какомъ случаѣ не могутъ назвать себя силой,—Непомнящіе, Подхалимовы, Очищенные живутъ, какъ рыба въ водѣ, и безпрепятственно предаются „проклятому пороку“. И если лживое слово, сказанное какимъ нибудь Иваномъ какому нибудь Сидору, есть въ принципѣ, по существу, явленіе противообщественное, то тѣмъ паче таковымъ надо признать цѣлую струю лживой словесности, изо дня въ день направляемую на многое множество Ивановъ и Сидоровъ, которые впитываютъ въ себя эти плоды не честнаго обращенія со словомъ и, въ свою очередь, распространяютъ ихъ. И вѣдь не одно ужъ поколѣніе воспиталось на этой противообщественной духовной пищѣ...

Я нѣсколько дольше, чѣмъ предполагалъ, задержался на всѣмъ извѣстномъ Щедринѣ семидесятыхъ годовъ, а насъ ждетъ книжка г. Пыпина и мало кому нынѣ извѣстный Щедринъ шестидесятыхъ годовъ. Но это одинъ изъ тѣхъ писателей, относительно которыхъ трудно встать въ опредѣленныя рамки: слишкомъ онъ для этого самъ изъ всѣхъ условныхъ рамокъ выпираетъ своею грандіозною дѣятельностью. Мы и въ шестидесятыхъ годахъ возьмемъ его съ той же точки зрѣнія вражды къ обманному слову, къ лживой словесности.

Достойно вниманія, что загадка „благонамѣренныхъ рѣчей“, на постановку и рѣшеніе которой Салтыковъ потратилъ столько силъ, занимала его еще въ 1863 г. Уже тогда, въ первомъ же номерѣ „Современника“, вышедшемъ послѣ временнаго запрещенія журнала, онъ въ статьѣ „Наша общественная жизнь“ старался „опредѣлить, что такое благонамѣренность“. Опредѣленіе это оказывалось чрезвычайно труднымъ, по новости самого слова. Это не мѣшаетъ, однако, сатирику хорошо знать, какъ „благонамѣренный“ проводитъ свой день. Утромъ отъ читаетъ „Сѣверную Почту“: насладившись ея чтеніемъ и узнавъ сверхъ того, „въ чемъ заключается сегодняшняя благонамѣренность“, онъ бесѣдуетъ съ г. Старчевскимъ (тогдашнимъ

издателемъ „Сына Отечества“), затѣмъ, „подъ вліяніемъ этой бѣсѣды благонамѣренный заходитъ къ Доминику, гдѣ съѣдаетъ три пирожка, а буфетчику сказываетъ, что съѣлъ одинъ. Затѣмъ до обѣда онъ гуляетъ по Невскому, обѣдаетъ въ долгъ у Дюссо, а вечеромъ отправляется въ Михайловскій, и день оканчивается блистательнымъ образомъ на балѣ у безземельныхъ, но гостепріимныхъ принцессъ вольнаго города Гамбурга“. Но при этомъ благонамѣренный долженъ имѣть „хорошій образъ мыслей“. Что это собственно значитъ,—объяснить трудно, „потому что выраженіе это скорѣе чувствуется, чѣмъ понимается“. Повидимому, отличительный признакъ хорошаго образа мыслей есть невинность. „Невинность же, съ своей стороны, есть отчасти отсутствіе всякаго образа мыслей, отчасти же отсутствіе того смысла, который даетъ возможность различить добро отъ зла“.

Таковъ зародышъ всей великолѣпной портретной галлереи „Благонамѣренныхъ рѣчей“. Зародышъ росъ и развивался и въ ширь, и въ высь, и въ глубь. Онъ охватилъ не только людей „хорошаго образа мыслей“, утаивающихъ два пирожка у Доминика, обѣдающихъ въ долгъ у Дюссо и веселящихся на балахъ гостепріимныхъ принцессъ вольнаго города Гамбурга. Да и смыслъ этихъ утаенныхъ пирожковъ и этого веселья углубился. Интересъ „благонамѣренныхъ рѣчей“ поднялся до общаго противорѣчія между тѣмъ „образомъ мыслей“, который признается ими „хорошимъ“, и образомъ дѣйствій говорящихъ эти рѣчи; противорѣчія, достигающаго послѣднихъ степеней наглости или наивности, при томъ въ области высшихъ нравственно-политическихъ вопросовъ. Слабъ человѣкъ, и несоотвѣтствіе между словомъ и дѣломъ—слишкомъ обыкновенное явленіе, чтобы резонно было расходовать на него удары сатирическаго бича въ такомъ количествѣ и съ такой силой, какъ это дѣлалъ Салтыковъ. Но въ данномъ случаѣ мы имѣемъ дѣло съ совсѣмъ особеннымъ видомъ противорѣчія. Деруновъ не воруетъ пирожковъ у Доминика и не обѣдаетъ въ долгъ у Дюссо; не дѣлаютъ этого, понятно, и Антошка Стрѣловъ, Хрисашка Полушкинъ и проч. Ни Деруновъ, ни Іудушка не балуются на балахъ гамбургскихъ принцессъ, а m-mes Персіянова, Проказнина и проч. и соотвѣтственнаго учрежденія не имѣютъ въ своемъ распоряженіи Но всѣ эти, болѣе или менѣе пламенные, ораторы благонамѣренныхъ рѣчей, стоя на стражѣ признаваемыхъ ими основъ современнаго общественнаго строя, каждымъ своимъ шагомъ, всею своею жизнью ихъ нарушаютъ, ухитряясь въ то же

время укрываться подъ ихъ защитою. Распутничая безъ зазрѣнія совѣсти, они не только твердятъ о святости семейнаго права, но во имя его грозятъ непокорнымъ дѣтямъ смирительнымъ домомъ или же прямо губятъ ихъ. Обдирая всѣхъ, кого ободрать можно, то есть посягая на чужую собственность, они не только разглагольствуютъ на тему о священномъ правѣ собственности, но и объявляютъ, напримѣръ, бунтовщиками крестьянъ, желающихъ продать свой хлѣбъ по шести гривенъ за пудъ. Грабя казну безъ мѣры и пощады, они въ то же время не только произносятъ пламенныя рѣчи во славу отечества, но и призываютъ къ отвѣту тѣхъ, кто, по ихъ мнѣнію, имѣетъ объ отечествѣ неправильныя понятія...

Но этотъ грандіозный обзоръ не честнаго отношенія къ слову, иллюстрированный картинами и портретами высокой художественной цѣнности, былъ еще впереди, когда Салтыковъ впервые задумался надъ загадочнымъ смысломъ слова: „благонамѣренность". Тогда, кромѣ вышеупомянутаго зародыша въ видѣ утаенныхъ у Доминика пирожковъ и проч., онъ ставилъ въ связь съ этимъ словомъ другое, столь же, по его мнѣнію, загадочное слово—„нигилизмъ". Извѣстно, какую сложную и разнообразную сенсацію произвели „Отцы и дѣти" Тургенева. Старая это исторія, давно быльемъ поросла, и самая кличка „нигилистъ" не разъ уступала свое мѣсто другимъ. Нынѣшнему свѣжему читателю, обыкновенно очень мало свѣдущему въ нашихъ прошлыхъ, даже недавнихъ дѣлахъ или, — что еще хуже, — имѣющему объ нихъ извращенное понятіе, трудно представить себѣ всю бурность волненія изъ за „Отцовъ и дѣтей". Салтыковъ ставитъ въ вину Тургеневу самое слово „нигилистъ", по слѣдующимъ соображеніямъ:

„Благонамѣренные" накинулись на слово „нигилистъ" съ ожесточеніемъ; точь въ точь какъ благонамѣренные прежнихъ временъ накидывались на слова фармазонъ и вольтерьянецъ. Слово „нигилистъ" вывело ихъ изъ величайшаго затрудненія. Были понятія, были явленія, которыя они до тѣхъ поръ затруднялись какъ назвать, теперь этихъ затрудненій не существуетъ: все это нигилисты; были люди, физіономія которыхъ имъ не нравилась, которыхъ рѣчи производили въ нихъ нервное раздраженіе, но они не могли дать себѣ отчета, почему именно эти люди, эти рѣчи производятъ на нихъ именно такое дѣйствіе; теперь все сдѣлалось ясно: да потому просто, что эти люди нигилисты! Такимъ образомъ нигилистъ, не обозначая собственно ничего, прикрываетъ собою всякую обвинитель-

ную чепуху, какая взбредетъ въ голову благонамѣренному, и если бъ Иванъ Никифоровичъ Довгочхунъ зналъ, что существуетъ на свѣтѣ такое слово, то онъ навѣрно назвалъ бы Ивана Иваныча Перерепенко не дурнемъ съ писаной торбой, а нигилистомъ. Человѣкъ, который ходитъ по улицѣ безъ перчатокъ, — нигилистъ, и человѣкъ, который заявитъ сомнѣніе насчетъ либерализма Василія Александровича Кокорева,—тоже нигилистъ. Онъ нигилистъ! онъ не вѣритъ ни во что святое! вопятъ благонамѣренные, и само собою разумѣется, что Василію Александровичу это нравится. Однимъ словомъ, нигилистъ есть человѣкъ, безпрерывно испускающій изъ себя какой то тонкій ядъ, отъ котораго мгновенно дурѣютъ слабыя головы мальчишекъ... Нигилисты обязаны выносить на себѣ всѣ грѣхи міра сего. Тявкнетъ ли на улицѣ шавка—благонамѣренные кричатъ: это нигилисты ее подучили; пойдетъ ли безъ времени дождь, благонамѣренные кричатъ: это нигилисты заговариваютъ стихіи! Этого мало: лѣтомъ 1862 года по случаю частыхъ пожаровъ въ Петербургѣ ходили слухи о поджогахъ—благонамѣренные воспользовались этимъ, чтобы обвинить нигилистовъ".

И не разъ еще возвращался Салтыковъ къ кличкѣ „нигилистъ", негодуя на безсмысленность и неопредѣленность этого слова, дающую всѣмъ охочимъ людямъ возможность обращаться съ нимъ нечестно. Но нѣкоторые представители печати не замедлили присоединить къ нему, какъ термину укоризненному или прямо ругательному, и другія слова, имѣющія вполнѣ опредѣленное значеніе, но придали имъ „смыслъ нарочито порочный" и стали разсыпать ихъ направо и налѣво, „не принимая въ соображеніе ни то, къ кому эти эпитеты относятся, ни то, по какому случаю они прилагаются, ни то, что они дѣйствительно означаютъ. Таковы „космополитизмъ", „сепаратизмъ", „демократизмъ", „матеріализмъ". Относительно этихъ терминовъ „дѣло заранѣе полагается для всѣхъ яснымъ". Въ дѣйствительности же при помощи ихъ напускается вящшій туманъ, и „потому то именно и пріятно положеніе мысли нападающей, что она, благодаря туману, можетъ посылать свои удары, не подвергаясь опасности быть сбитой съ выгодной позиціи". Туманъ нуженъ для всѣхъ, страдающихъ „мыслебоязнью", каковы бы ни были источники этой болѣзни—природное-ли тупоуміе, или корыстныя соображенія. И если теоретическаго тумана мало, пускается въ ходъ интрига. „Интригуетъ такой человѣкъ не очень хитро, но за то усердно, безъ отдыху... И велика бываетъ его радость, когда онъ убѣж-

дается, что врагъ, наконецъ, сваленъ,—и при томъ сваленъ средствами самыми незамысловатыми—почти что съ помощью одного лганья! Гвалтъ, безтолковое карканье стономъ стоитъ надъ болотомъ, и долго потомъ дрянное болотное населеніе будетъ передавать изъ рода въ родъ трогательную повѣсть о томъ, какъ нашимъ чибисамъ удалось взять въ полонъ коршуна".

Обладатели „привилегированныхъ идеаловъ", какъ выражался Салтыковъ, которые нынѣ плодятся, какъ самыя плодущія бактеріи, появились на горизонтѣ русской литературы очень скоро послѣ того, какъ литература эта окрылилась было „идеаломъ свободнаго изслѣдованія". Во главѣ ихъ стоялъ Катковъ, самъ начавшій съ горячаго поклоненія идеалу свободнаго изслѣдованія. Но уже въ 1863 г. Салтыковъ имѣлъ основаніе обратиться къ „Русскому Вѣстнику" и его приспѣшникамъ съ такою отповѣдью: „Вѣдь притязанія ваши клонятся, ни много, ни мало, къ тому, чтобы сдѣлать изъ всѣхъ дѣятелей литературы чистописцевъ, смиренно заносящихъ на бумагу изреченія М. Н. Каткова; ну, нѣтъ, на это мы не согласны! И совсѣмъ не потому мы не согласны, чтобы считали для себя унизительнымъ писать подъ диктантъ М. Н. Каткова, а просто потому, что имѣемъ свой собственный образъ мыслей". И далѣе: „Милостивые государи! Конечно, справедливость сама по себѣ великое слово, но потому то именно и слѣдуетъ пользоваться этимъ словомъ съ осторожностью. По поводу чего вы требуете справедливости? по поводу вашей же собственной несправедливости. Къ кому требуете справедливости? къ самимъ себѣ!.. Вы требуете справедливости, вы, которые сами насквозь проникнуты ненавистями и неправосудіемъ всякаго рода, вы, которые шагу не можете ступить безъ того, чтобы не допросить съ пристрастіемъ, чтобы не кинуть тѣни язвительнаго подозрѣнія, чтобы не уськнуть и не кивнуть головой на тѣхъ, которыхъ вы, правильно или неправильно, считаете врагами своего спокойствія! Сердца ваши преисполнены желчью и оцтомъ, языкъ вашъ источаетъ ядъ клеветы, руки ваши сводятся судорогою, и вы хотите, чтобы къ этому позорному зрѣлищу, къ этой хладной ненависти, сдѣлавшейся почти ремесломъ, оставались равнодушными и даже оказывали дань уваженія и снисходительности!"

Претензія на „привилегированные идеалы" или на „единоторжіе мысли", которая уже сама по себѣ составляетъ не честное отношеніе къ слову, не говоря о пріемахъ, которыми она осуществляется, и впослѣдствіи вызывала не разъ гнѣвныя отповѣди Салтыкова. Но

въ области обманныхъ словъ, лживой словесности, у него были и другіе враги. „Фраза“ въ техническомъ смыслѣ фразерства была вообще предметомъ его ненависти, заключала-ли она въ себѣ просто празднословіе, хотя бы и невинное, или была пущена ради преслѣдованія какихъ нибудь темныхъ цѣлей. „Фраза“ есть во всякомъ случаѣ или субъективно-лживое слово, то есть не соотвѣтствующее подлиннымъ мыслямъ и чувствамъ говорящаго, или объективно-лживое, то есть не соотвѣтствующее подлиннымъ фактамъ жизни, или, наконецъ, сочетаніе той или другой лжи. Затѣмъ возможны, конечно, варьянты. Иной фразеръ лжетъ безъ особенной задней мысли, а просто безсознательно, увлекаясь музыкой своей рѣчи, а иной съ холоднымъ разсчетомъ нанизываетъ слово на слово, но обманный и, слѣдовательно, противообщественный характеръ остается за фразой всегда.

Вотъ образчикъ отношенія Салтыкова къ фразерству Аксаковскаго „Дня“:

„Предположимъ, что я начинаю свое обозрѣніе такимъ образомъ: „Милостивые государи! Русляндія заслоняетъ отъ нашихъ глазъ истинную, православную, святую нашу Русь“. Я знаю, что это я выдумалъ, что Русляндіи никакой нѣтъ, что и Русь была да сплыла, а есть Россія, которую никто и ничто, по причинѣ обширности сюжета, заслонить не можетъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ я знаю также, что такое начало навѣрное дастъ мнѣ возможность со всею безопасностью помѣстить въ моемъ обозрѣніи и фигуру взволнованной души, и фигуру патріотическаго уязвленія,—именно тѣ двѣ ужасныя фигуры, которыя преимущественно точатъ мое реторическое существованіе. И вотъ я начинаю пространно объяснять, что такое Русляндія и что такое Русь; изъ объясненій моихъ выходитъ, что Русляндія есть нѣчто такое, что заслоняетъ Русь, а Русь есть нѣчто такое, что заслоняется Русляндіей,—больше, клянусь, ничего не выходитъ. Но это ни мало меня не смущаетъ, ибо въ сущности я не о томъ и забочусь, чтобы изъ моего краснорѣчія что нибудь выходило, а о томъ только, чтобы сказать нѣсколько „жалкихъ словъ“, и чтобы при этомъ состояло на лицо самое краснорѣчіе. Я знаю, что всегда найдутся люди, которые ни одного жалкаго слова безъ умиленія проглотить не могутъ,—на нихъ-то я и разсчитываю“.

Излюбленныя Аксаковымъ метафоры и „фигуры“ Салтыковъ дискредитировалъ, просто вскрывая ихъ содержаніе, которое оказывалось безсодержательностью. Надо, однако, замѣтить, что вражда

къ „фразѣ“ заводила иногда Салтыкова слишкомъ далеко, и, напримѣръ, его критическій разборъ поэмы Альфреда Мюссе „Ролла“, изъ котораго г. Пыпинъ дѣлаетъ нѣсколько выписокъ, страдаетъ чрезмѣрною прямолинейностью. Надо, впрочемъ, замѣтить, что вообще критическія замѣтки Салтыкова о беллетристическихъ произведеніяхъ (въ „Современникѣ“ онъ ихъ помѣщалъ довольно много), хотя, по справедливому замѣчанію г. Пыпина, и „заключаютъ обыкновенно мѣткія и остроумныя сужденія“, но въ цѣломъ составляютъ наименѣе цѣнную часть его наслѣдства. Онъ былъ слишкомъ публицистъ и сатирикъ для того, чтобы быть литературнымъ критикомъ.

Въ прошлый разъ, въ замѣткѣ о нѣкоторыхъ мнѣніяхъ г. Невѣдомскаго, я цитировалъ одно мѣсто изъ хроники Салтыкова „Общественная жизнь“, напечатанной въ февральской книжкѣ „Современника“ за 1864 годъ. Въ этой цитатѣ „старый народникъ“, какъ называетъ Салтыкова г. Невѣдомскій, обличающій сатирика въ оскорбительномъ, барскомъ отношеніи къ мужику, въ „жалѣніи“, замѣняющемъ, дескать, „справедливость“, — „старый народникъ“ требуетъ именно справедливости и отвергаетъ „жалѣніе“. Въ этомъ смыслѣ, пожалуй, еще характернѣе слѣдующія его слова: „Жизнь русскаго мужика тяжела, но не вызываетъ ни чувства безплодной и всегда оскорбительной жалостливости, ни тѣмъ менѣе идиллическихъ присѣданій“. Съ этой точки зрѣнія написана вся хроника, равно какъ и статья „Лѣто въ деревнѣ“ въ августовской книжкѣ „Современника“ за 1863 годъ. Здѣсь Салтыковъ опять таки воюетъ съ лживой словесностью, рисующей „картинки на розовомъ маслѣ“, „сочиняющей мадригалы и конфетные билетики“. И онъ тѣмъ болѣе имѣетъ на это право, что самъ хорошо знаетъ деревенскую жизнь во всѣхъ ея деталяхъ. Передъ нами встаетъ рядъ тяжелыхъ, мрачныхъ картинъ, освѣщенныхъ, однако, не высокомѣрнымъ презрѣніемъ къ „деревенскому идіотизму“, а именно чувствомъ справедливости, побудившимъ и впослѣдствіи Салтыкова поставить „проблему о мужикѣ“ или о „человѣкѣ, питающемся лебедой“.

Мнѣ остается извлечь изъ матеріаловъ, даваемыхъ книжкою г. Пыпина, еще только одинъ эпизодъ, стоящій во всей литературной дѣятельности Салтыкова совершенно одиноко.

Къ молодежи сатирикъ всегда относился съ вѣрою, надеждою и любовью (понятное дѣло, не къ той, которую онъ заклеймилъ названіемъ „ташкентцевъ приготовительнаго класса“), и въ шестиде-

сятыхъ годахъ не мало копій сломалъ за нее. Но послѣ „Отцовъ и дѣтей“ Тургенева, съ одной стороны, и „Что дѣлать“? Чернышевскаго—съ другой, въ средѣ тогдашняго молодого поколѣнія сложились явленія, къ которымъ Салтыковъ отнесся съ величайшею суровостью. Великъ—разсуждаетъ онъ—грѣхъ лживой словесности, напускающей туману, злоупотребляя безсмысленными или неосмысленными кличками, которыми она надѣляетъ молодое поколѣніе. Но заблужденію публики содѣйствуютъ и „нѣкоторые вислоухіе и юродствующіе, которые съ ухарскою развязностью прикомандировываютъ себя къ дѣлу, дѣлаемому молодымъ поколѣніемъ, и, схвативъ одни наружные признаки этого дѣла, совершенно искренно исповѣдуютъ, что въ нихъ то вся и сила. Эти люди считаютъ себя какими то сугубыми представителями молодого поколѣнія, забывая, что дрянь есть явленіе общее всѣмъ вѣкамъ и странамъ, и что совершенно несправедливо и даже непозволительно навязывать ее исключительно современному русскому молодому поколѣнію“. Во всякомъ дѣлѣ, во всякой партіи возможны свои enfants terribles, утрирующіе или извращающіе извѣстные принципы вслѣдствіе легкомысленнаго и поверхностнаго къ нимъ отношенія. До поры до времени они большой бѣды не представляютъ. Но вотъ изъ ихъ среды возникаютъ „горлопаны, юродствующіе и вислоухіе“. Они „проповѣдуютъ громко, самодовольно и съ ожесточеніемъ“. И „нѣтъ мысли, которой наши вислоухіе не обезславили бы, нѣтъ дѣла, котораго они не засидѣли бы“. „Объ enfants terribles можно бы еще объясниться, что это просто милые люди, на невинную переимчивость которыхъ стоитъ только не обращать вниманія, чтобъ она упала сама собой; объ вислоухихъ же этого сказать нельзя, потому что они лѣзутъ впередъ, входятъ въ азартъ, выдаютъ себя за людей серьезныхъ и убѣжденныхъ и подбираютъ себѣ поклонниковъ. Посторонній зритель, непосвященный, смотритъ на вислоухаго уже съ нѣкоторымъ трепетнымъ смиреніемъ, какъ на сосудъ нѣкій, въ которомъ заключена мудрость будущаго, и если ему порой кажется, что эта мудрость смахиваетъ на ерунду, то онъ тутъ же спѣшитъ поправиться и увѣрить себя, что это оттого ему такъ кажется, что онъ самъ преисполненъ ерунды, а что ерунда вислоухаго есть дѣйствительно мудрость, но только мудрость не настоящаго, а будущаго“.

Повторяю, это единственный въ своемъ родѣ эпизодъ во всей литературной дѣятельности Салтыкова. Больше ему не приходилось вступать въ такого рода конфликты съ горлопанами, юродствую-

щими и вислоухими. И вотъ развѣ теперь, если бы онъ былъ живъ, онъ вспомнилъ бы эти эпитеты: теперь, когда изъ него самого дѣлаютъ то такого то спеціалиста „жалѣнія", то представителя сословнаго дворянскаго духа, а „мудрость будущаго" видятъ въ томъ, что его Деруновы, Колупаевы, Разуваевы и проч. „превратятся въ свою противоположность"...

Въ напечатанной въ сборникѣ „Русскаго Богатства" статьѣ А. В. Пѣшехонова „Неудавшійся праздникъ" собранъ цѣлый букетъ нелѣпостей и безобразій, связанныхъ съ пушкинскимъ юбилеемъ. Но, какъ ни бьетъ въ носъ своеобразный ароматъ этого букета, онъ всетаки не полонъ. Еще и еще прибавляются къ нему яркіе и ароматные цвѣты, и одинъ изъ нихъ, быть можетъ, наиболѣе яркій, я хочу рекомендовать вниманію читателей, „дабы всѣмъ видѣнъ былъ, что городъ на горѣ". Но сначала, въ видѣ введенія, еще одна выписка изъ Щедрина шестидесятыхъ годовъ.

Какъ то по поводу одной изъ статей Щедрина издававшаяся при „Московскихъ Вѣдомостяхъ" „Современная Лѣтопись" выразила слѣдующія мысли: „Современникъ" пользуется успѣхомъ или даже существуетъ, исключительно благодаря цензурѣ, „принимающей на себя грѣхи авторовъ"; не будь ея, „Московскія Вѣдомости" безъ труда показали бы все ничтожество „Современника".—Салтыковъ отвѣчалъ, между прочимъ, такъ: „Что за странная путаница понятій! Съ одной стороны, вліяніе цензуры на печать представляется не полезнымъ, и, слѣдовательно, всякое въ этомъ смыслѣ послабленіе предполагается желательнымъ, а съ другой—чуть только проходитъ въ печать что нибудь такое, что вамъ не нравится, вы первые кричите: „смотрите! смотрите! вотъ что печатается у насъ съ дозволенія цензуры!" Воля ваша, а для меня ясно въ вашихъ дѣйствіяхъ одно изъ двухъ: или вы не понимаете сами, о чемъ говорите, или вы слишкомъ хорошо понимаете, чего вамъ надобно. Я, конечно, скорѣе склоняюсь въ пользу послѣдняго предположенія и сверхъ того убѣждаюсь окончательно въ томъ, что для печатнаго русскаго слова грозитъ въ будущемъ неудобство гораздо горшее, нежели оффиціальная цензура, нынѣ существующая: ему грозитъ цензура аматерская".

Извѣстно, какъ блистательно оправдалось это пророчество Салтыкова, какъ пышно разрослась „аматерская цензура" еще при его жизни и какихъ чудовищныхъ размѣровъ достигла она нынѣ. При-

помнимъ хоть имена гг. Грингмута, Медвѣдскаго, Комарова, кн. Мещерскаго, да и мало ли ихъ! Конечно, ихъ аматерская дѣятельность хватала иногда черезъ край. Если, напримѣръ, кн. Мещерскій рекомендовалъ однажды „заставить“ печать быть „благонамѣренною“, а въ случаѣ упорства просто уничтожить (буквально!) ея представителей,—такъ вѣдь ужъ это была утопія. Если г. Грингмутъ сталъ было, въ энтузіазмѣ своего аматерства, требовать отъ мимоходящихъ вторичной присяги,—такъ вѣдь это уже значило, что онъ готовъ возложить на главу свою колпакъ съ бубенчиками. Если г. Медвѣдскій, въ укоръ и поученіе оффиціальной цензурѣ, бросилъ тѣнь неблагонамѣренности не только на „Русское Богатство“, но и на „Исторію государства россійскаго“ Карамзина и „Князя Серебрянаго“ гр. А. Толстого,—то послѣ этой побѣдоносной операціи ему только и оставалось, что удалиться куда нибудь за предѣлы литературы. Но въ цѣломъ неудобство аматерской цензуры, пожалуй, и въ самомъ дѣлѣ горше цензуры оффиціальной.

Достойно вниманія, что пушкинскій юбилей, страннымъ образомъ насытившій нашу общественную атмосферу такимъ огромнымъ количествомъ разныхъ міазмовъ, вызвалъ и г. Медвѣдскаго изъ какой то норы: онъ объявился въ „Новомъ Времени“ съ проектомъ памятника Пушкину. Да и какъ же ему было не объявиться, – безъ него была бы не полна коллекція...

Была бы она не полна и безъ г. Величко, не безъизвѣстнаго поэта и редактора издающейся въ Тифлисѣ газеты „Кавказъ“. Какъ поэтъ, г. Величко есть птичка-невеличка, но какъ своего рода литературный проконсулъ Кавказа заслуживаетъ вниманія, и я надѣюсь еще вернуться къ его литературно-проконсульской дѣятельности въ цѣломъ. Теперь же только отмѣчу его прикосновенность къ пушкинскимъ торжествамъ, за что, я увѣренъ, читатель на меня не посѣтуетъ.

Редакція „Кавказа“ издала сборникъ подъ заглавіемъ „Кавказская поминка о Пушкинѣ“, а въ сборникѣ этомъ есть статья г. Величко „Судьбы поэзіи Пушкина“. „Самое драгоцѣнное въ Пушкинѣ,—по словамъ г. Величко, -это глубоко государственное и глубоко человѣчное примиреніе фактовъ и запросовъ исторической и органической жизни съ требованіями христіанства, повышающими эту жизнь у Пушкина, отрицающими ее у Толстого и отрицаемыми у слѣпыхъ матеріалистовъ и позитивистовъ“. — Уже по этой тирадѣ видно, что отъ статьи г. Величко слѣдуетъ ожидать больше аматер-

скаго усердія, чѣмъ смысла. И дѣйствительно. Воздавъ, въ весьма смутныхъ выраженіяхъ, хвалу Пушкину, г. Величко осыпаетъ укоризнами его преемниковъ, начиная съ Лермонтова.

„Трудно—говоритъ онъ—исчислить вредъ, нанесенный Лермонтовымъ твореніямъ Пушкина и его созидательнымъ идеаламъ. Сколько дурныхъ страстей и даже мелкихъ пороковъ по какому то роковому совпаденію нашло себѣ откликъ и какъ будто оправданіе въ художественныхъ твореніяхъ этого соблазнительнаго автора!.. Скучно ли гимназисту сидѣть надъ латынью,—онъ находитъ, что

... жизнь, какъ посмотришь съ холоднымъ вниманьемъ вокругъ,
Такая пустая и глупая шутка.

„Полѣзетъ ли какой нибудь супругѣ коллежскаго ассесора въ голову всякая суетная дрянь, и хотя у нея имѣется непоказной, но добрый и трудолюбивый мужъ, при помощи котораго она произвела на свѣтъ полдесятка дѣтей,—то и дѣло звучатъ въ головѣ ея стихи:

И скучно, и грустно, и некому руку подать
Въ минуту душевной невзгоды.

„Да, то ли дѣло поѣхать на маскарадъ въ благородное или неблагородное собраніе, а тамъ

Изъ подъ таинственной холодной полумаски
И т. д., и т. д.

„А тамъ, глядишь, она уже въ Тамары записалась и на лицо уже есть демонъ, кавалерійскій, пѣхотный, смотря по обстоятельствамъ, а то и просто штатскій „по особымъ порученіямъ“...

Читатель, конечно, ошеломленъ такимъ оригинальнымъ критическимъ пріемомъ: за гимназиста, скучающаго надъ латынью, и одурѣлую супругу коллежскаго ассесора отвѣчаетъ Лермонтовъ! Пріемъ, безспорно, оригинальный. Бѣда только въ томъ, что онъ можетъ быть приложенъ къ любому поэту отъ Пушкина до послѣдней птички-невелички включительно. Было бы не трудно доказать это примѣрами, но, полагаю, и безъ нихъ дѣло ясно. И хорошо еще, что г. Величко взялъ скучающаго надъ латынью гимназиста и одурѣлую коллежскую ассесоршу, а если бы онъ приспособилъ къ своей цѣли, напримѣръ, глупаго критика?

Но это еще только цвѣтки—цвѣтки безсмыслія, а впереди насъ ждутъ ягодки—ягодки аматерскаго усердія. Мимоходомъ сказать, не знаю, какъ вы, читатель, а я всегда радуюсь, когда вижу эти цвѣтки

и ягодки произростающими на одномъ и томъ же кустѣ. Пусть ужъ умъ г. Величко находитъ себѣ полное соотвѣтствіе въ благородствѣ г. Величко; пусть они вмѣстѣ мрачатъ своимъ существованіемъ бѣлый свѣтъ: такъ выходитъ цѣльнѣе, законченнѣе.

Г. Величко, конечно, преклоняется передъ „святыней искусства". Лермонтова онъ обвиняетъ не только въ томъ, что гимназистъ скучаетъ за латынью, а коллежская ассесорша одурѣла. Этого мало. Лермонтовъ „одинъ изъ первыхъ сталъ служить политическимъ и инымъ страстямъ своего времени", а искусство, какъ нынѣ говорятъ, должно „совершенствоваться въ своей спеціальности", хотя едва ли кто нибудь можетъ вразумительно сказать, что это собственно значитъ. Какъ бы то ни было, послѣ Лермонтова дѣла пошли еще хуже. И, жестоко расправившись съ Некрасовымъ, Надсономъ, г. Величко приходитъ къ тому заключенію, что извѣстное событіе 1-го марта указало на необходимость относиться къ „гражданскимъ мотивамъ" поосторожнѣе...

Вотъ! Если читатель не вѣритъ, пусть заглянетъ на стр. 147—149 „Кавказской поминки о Пушкинѣ". Сколь это указаніе умно и сколь оно бла ородно,—объ этомъ я разсуждать не буду. Но мнѣ припоминается одно стихотвореніе на сугубо „гражданскій мотивъ"; потому сугубо, что оно не только само преисполнено гражданскою скорбью, но и посвящено поэту „забытыхъ словъ" (А. М. Жемчужникову), который восхваляется въ стихотвореніи именно за „гражданскіе мотивы" его поэзіи. Стихотвореніе это начинается такъ:

Пришли глухія времена,
Все захлестнуло съ дикимъ ревомъ,
Все смыла въ натискѣ суровомъ
Разврата мутная волна...
И правда трепетомъ объята,
Наглѣе роскошь, ярче ложь!
Вездѣ, у всѣхъ—одно и то-жъ
Лицо Понтійскаго Пилата...
Какъ тѣ состарилися вдругъ,
Что были юны такъ недавно!
Что ихъ низвергло такъ безславно?!
Какой разсчетъ? Какой испугъ?
Что совершило перемѣну?
Тотъ рабъ, кто былъ богатыремъ!
Вновь человѣка съ фонаремъ
Искать пришлось бы Діогену.

И т. д. Но, дескать, есть у насъ одинъ поэтъ-хранитель „забытыхъ словъ“ и хвалу ему!

Я не знаю, когда написано это стихотвореніе и когда оно впервые появилось въ печати, но извлекаю я его изъ изданнаго въ 1894 г. „второго сборника стихотвореній“... г. Величко, котораго, конечно, никто не заподозритъ хотя бы въ отдаленнѣйшемъ вліяніи на кровавое событіе 1-го марта 1881 г. Почему же самъ онъ нынѣ такъ аматерски усерденъ въ подозрительномъ освѣщеніи „гражданскихъ мотивовъ“? Что его „низвергло такъ безславно? какой разсчетъ? какой испугъ? что совершило перемѣну?“ Неужели положеніе литературнаго проконсула? Не дорого же. Но напрасно онъ съ укоризною поминаетъ въ приведенномъ стихотвореніи проконсула Іудеи. Тотъ, какъ извѣстно, умылъ руки, а г. Величко едва ли продѣлалъ эту операцію передъ тѣмъ, какъ сѣлъ писать о „судьбахъ поэзіи Пушкина“.

V *).

О г. Соловьевѣ, какъ „моменталистѣ-трансформистѣ“ и развязномъ человѣкѣ вообще.

Въ прошлый разъ я причислилъ г. Евгенія Соловьева къ лику „голенькихъ мальчиковъ съ узенькой повязкой на головѣ“. Таковъ онъ и есть въ настоящую минуту, но останется ли онъ въ этомъ немножко черезчуръ легкомъ костюмѣ къ тому времени, когда читатель будетъ пробѣгать настоящія строки, или съ быстротою и ловкостью „трансформиста-моменталиста“ преобразится въ нѣчто совсѣмъ иное,—за это я не поручусь. „Трансформистами-моменталистами“ или еще „престидижитаторами-физіономистами“ называютъ себя особаго рода артисты, иногда, говорятъ, очень талантливые: съ помощью самыхъ элементарныхъ приспособленій въ родѣ накладныхъ бородъ и париковъ, которые они то мѣняютъ, то совсѣмъ сбрасываютъ, то опять надѣваютъ, они на глазахъ у публики съ чрезвычайною быстротою, „моментально“ „трансформируютъ“ весь свой обликъ.

„Сейчасъ брюнетъ, сейчасъ—блондинъ“. Такъ, между прочимъ, Щедринъ характеризовалъ литератора Подхалимова. Сатирикъ относился къ этому литератору презрительно, но вмѣстѣ съ тѣмъ и снисходительно, почти благосклонно и во всякомъ случаѣ участливо. Онъ считалъ его „жертвой общественнаго темперамента“ и думалъ, что при другихъ условіяхъ его талантливость и воспріимчивость могли бы расходоваться лучше, съ большимъ достоинствомъ для него самого, съ большею пользою для другихъ.

И я жалѣю г. Евгенія Соловьева. Онъ несомнѣнно человѣкъ талантливый. Но сама по себѣ талантливость не представляетъ ника-

*) Октябрь 1899 г.

кихъ гарантій въ томъ, что она будетъ использована въ надлежащей мѣрѣ. Для этого нужны еще кое какія другія личныя качества, во-первыхъ, и благопріятныя условія, во-вторыхъ. Личныя качества оставимъ въ сторонѣ, потому что это почва скользкая и щекотливая, когда рѣчь идетъ о живомъ человѣкѣ. Что же касается условій нашей жизни, то, кажется, нечего особенно распространяться о томъ, что они далеко не вполнѣ благопріятны для правильнаго развитія и примѣненія талантовъ. Въ частности у г. Евгенія Соловьева въ одномъ мѣстѣ его книги „В. Г. Бѣлинскій въ его письмахъ и сочиненіяхъ" вырывается горькій намекъ на нѣкоторыя печальныя условія его развитія; намекъ, по обыкновенной манерѣ г. Соловьева, черезчуръ развязно выраженный, но отъ этого не измѣняется его горькій смыслъ. По поводу отношенія Некрасова къ Бѣлинскому, какъ къ другу и руководителю юности, г. Соловьевъ замѣчаетъ: „Безконечно важно запасаться на всю жизнь такими „святыми воспоминаніями"; это вѣрные и неизмѣнные друзья!" И вслѣдъ затѣмъ меланхолически прибавляетъ: „А вотъ когда только о прохвостахъ вспоминать приходится, ну..." (стр. 154).

И мнѣ жаль г. Соловьева.

Но мнѣ жаль также и читателей г. Соловьева, которыхъ у него, благодаря его бойкому перу, вѣроятно, не мало. Думается, что пожалѣть ихъ слѣдовало бы и гг. редакторамъ и издателямъ произведеній г. Соловьева, а для этого имъ слѣдуетъ нѣсколько внимательнѣе читать эти произведенія и вносить въ нихъ нѣкоторыя необходимыя поправки. Я говорю пока не объ образѣ мыслей г. Соловьева, который гг редакторы и издатели вольны пускать и не пускать въ оборотъ, а лишь о фактической части его работъ. Вотъ, напримѣръ, въ біографіи Ивана Грознаго, вошедшей въ составъ „біографической библіотеки Ф. Павленкова", г. Соловьевъ указываетъ, между прочимъ, на сочиненія Бѣлова „Дворянство на Руси" и Бѣляева „Исторія крестьянъ". Читатель, обратившись въ книжный магазинъ за этими книгами, получитъ отвѣтъ, что такихъ книгъ нѣтъ. И хорошо, если книгопродавецъ догадается, что рѣчь идетъ о „Крестьянахъ на Руси" Бѣляева и „Объ историческомъ значеніи русскаго боярства" Бѣлова. Но мнѣ кажется, что въ подобныхъ случаяхъ едва ли резонно разсчитывать на догадливость книгопродавца, а затѣмъ всякому предоставляется догадываться—видѣлъ ли самъ г. Соловьевъ книги, на которыя онъ ссылается... Или вотъ еще примѣры. Въ книгѣ „В. Г. Бѣлинскій въ его письмахъ и сочиненіяхъ" г. Соловьевъ со-

общаетъ, что содержаніе трагедіи Бѣлинскаго „Дмитрій Калининъ“ „извѣстно намъ не въ полномъ видѣ“ и что трагедія эта написана „отчасти въ стихахъ“ (Стр. 30). Въ дѣйствительности трагедія съ 1891 г. извѣстна вполнѣ, цѣликомъ, и никакихъ стиховъ въ ней нѣтъ. Въ мартовской книжкѣ журнала „Жизнь“ г. Соловьевъ говоритъ объ „извѣстной картинѣ Наумова, изображающей Щедрина на опушкѣ лѣса передъ поляной“ и т. д. (стр. 269). Такой картины *Наумова*—нѣтъ. Въ той же статьѣ читаемъ: „Эти (70-е) годы были рѣшающими въ работѣ Щедрина. Раньше онъ многихъ приводилъ въ недоумѣніе. Однихъ—напр., Писарева, своимъ будто-бы безцѣльнымъ смѣхомъ въ геніальной „Исторіи города Глупова“, другихъ—своимъ пренебреженіемъ къ народу. Эти жалостливые люди разсуждали такъ: „если „Исторія города Глупова“ есть въ маломъ видѣ исторія Россіи, то какъ можно осмѣивать русскаго мужика и выставлять его въ такомъ непригляднымъ и даже позорномъ образѣ? Неужели русскій мужикъ только и знаетъ, что потѣть въ отвѣтъ на премудрыя рѣчи Минервы и спускать съ раската Ивашекъ въ минуты высшаго напряженія общественныхъ чувствъ“. Жалостливые люди говорили и еще многое, одинаково къ дѣлу не идущее, совершенно забывая, что Щедринъ органически не могъ кощунствовать надъ народомъ и его страданіями, и что народа, мужика, совершенно нѣтъ въ „Исторіи города Глупова“ (стр. 280).—Здѣсь, что ни слово, то ошибка, неправда, извращеніе факта. Во-первыхъ, сочиненія подъ заглавіемъ „Исторія города Глупова“ у Щедрина нѣтъ, а есть „Исторія одного города“. Во-вторыхъ, „Исторія одного города“ напечатана въ 1869—70 гг., слѣдовательно, объ ней не могъ писать Писаревъ, умершій въ 1868 г. Въ-третьихъ, въ „Исторіи одного города“ „народъ, мужикъ“ несомнѣнно фигурируетъ. Это и само по себѣ ясно, и находитъ себѣ подтвержденіе въ собственномъ показаніи Щедрина въ письмѣ его къ г. Пыпину, напечатанномъ десять лѣтъ тому назадъ. Мимоходомъ сказать, письмо это, въ высшей степени характерное для Щедрина, очень полезно припомнить всѣмъ, нынѣ такъ усердно толкующимъ о „народничествѣ“. Въ свое время я комментировалъ его („Сочиненія“, V, 189) и теперь не буду отвлекаться въ эту сторону.

Я могъ бы привести еще много образчиковъ такого безцеремоннаго обращенія г. Евгенія Соловьева съ фактами, а слѣдовательно, и той путаницы, которую онъ внѣдряетъ въ умы своихъ читателей, и безъ того въ большинствѣ случаевъ мало свѣдущихъ. Но ограни-

чусь еще только однимъ примѣромъ, при чемъ сошлюсь на отзывъ спеціалиста.

Г. Соловьевъ написалъ для „біографической библіотеки Ф. Павленкова" біографію Гегеля, и вотъ что читаемъ объ этой его работѣ въ апрѣльской книжкѣ „Журнала министерства народнаго просвѣщенія" за прошлый годъ (стр. 499—501):

„Черезъ всю книгу г. Соловьева проходитъ двойственный взглядъ на Гегеля: съ одной стороны, Гегель—геніальный человѣкъ, съ другой (venia sit dicto)—Гегель автору кажется совершенно глупымъ. Это противорѣчивое воззрѣніе автора явствуетъ изъ многихъ мѣстъ его книги... (слѣдуютъ примѣры)... Читатель, по всей вѣроятности, будетъ тщетно искать ключа къ истинному мнѣнію автора о Гегелѣ; дѣло въ томъ, что ни то, ни другое воззрѣніе на Гегеля не составляетъ истиннаго мнѣнія автора, а таковаго, по всей вѣроятности, у него вовсе и нѣтъ. Авторъ прочелъ двѣ біографіи Гегеля: Розенкранца—біографію, имѣющую апологетическій характеръ, и Гайма, относящагося, какъ извѣстно, весьма сурово къ Гегелю, и по этимъ книжкамъ составилъ біографію Гегеля. Самого же Гегеля авторъ не читалъ и въ перечнѣ пособій даже не дѣлаетъ ссылки на сочиненія Гегеля; за то есть ссылка, какъ на „главнѣйшее пособіе", на книгу Beaussire'a Antécédents de l'hègélianisme, которую авторъ, конечно, тоже не видѣлъ, ибо если бы онъ привелъ и вторую половину заглавія книги, то догадался бы, что въ ней не можетъ быть ничего, относящагося до біографіи Гегеля („dans la philosophie française. Dom Desschamps, son systeme et son école d'après un manuscrit et des correspondances inédites du XVII siècle)" И т. д.

Въ заключеніе рецензентъ отмѣчаетъ нѣкоторыя другія черты писательства г. Соловьева. Онъ говоритъ: „Главный недостатокъ книги г. Соловьева заключается, однако, не въ томъ, что авторъ не знакомъ съ предметомъ, о коемъ пишетъ, и не въ томъ, что онъ пишетъ, не обдумывая того, что онъ написалъ, а въ томъ вульгарномъ тонѣ, коимъ г. Соловьевъ говоритъ о лицахъ, которыя такого отношенія вовсе не заслуживаютъ".—Вѣрно, что манера писанія г. Соловьева отличается чрезмѣрною развязностью, что его тонъ часто вульгаренъ до пошлости, и Щедринъ не затруднился бы примѣнить къ нему слова, сказанныя имъ о Подхалимовѣ: „на всѣ руки парень, — колесомъ вертится, на канатѣ пляшетъ, сядетъ задомъ на передъ на лошадь и за хвостъ держится". Но всетаки, я думаю, отнюдь не въ томъ состоитъ „главный недостатокъ" его

писаній. О вкусахъ не спорятъ, и клоунская развязность, можетъ быть, кому нибудь и нравится, но кому можетъ нравиться перевираніе фактовъ? Отъ чего бы оно ни зависѣло,—отъ небрежности ли, незнанія или злонамѣренности,—читателямъ во всякомъ случаѣ наносится ущербъ, и, повторяю, г.г. редакторамъ и издателямъ произведеній г. Соловьева слѣдовало бы пожалѣть читателей.

Къ этому надо еще прибавить отношеніе г. Соловьева къ цитатамъ и кавычкамъ („—"). Мы видѣли, что въ книжкѣ, спеціально посвященной Ивану Грозному, г. Соловьевъ ссылается на несуществующія книги, какъ на источникъ, изъ котораго онъ будто бы что-то почерпнулъ для своей работы. Какъ уже сказано, въ этомъ случаѣ заинтересовавшагося читателя могла бы, можетъ быть, выручить догадливость книгопродавца. Но иногда и на это пособіе трудно разсчитывать. Иногда г. Соловьевъ ставитъ въ „кавычки" чьи-то слова, не сообщая, однако, кому именно они принадлежатъ, и не давая такимъ образомъ читателю возможности провѣрить цитату. Иногда, напротивъ, безъ всякихъ кавычекъ переписываетъ чужія слова, какъ свои собственныя. Послѣднее я испыталъ на себѣ. Въ біографіи гр. Л. Толстого (1897 г., все въ той же біографической серіи Ф Павленкова) г. Соловьевъ объясняетъ: „Для меня теперь важна не мысль Толстого, а его настроеніе, его писательская драма, по поводу которой, *между прочимъ*, считаю нужнымъ напомнить, что *впервые* она была подвергнута блестящему анализу въ сочиненіяхъ Н. К. Михайловскаго въ 1875 году" (Стр. 86). Г. Соловьевъ напоминаетъ о моихъ статьяхъ „между прочимъ" и въ томъ смыслѣ, что я въ нихъ высказалъ извѣстный взглядъ „впервые", слѣдовательно, такъ сказать, въ зародышевомъ видѣ, ну, а онъ, г. Соловьевъ, черезъ двадцать два года, конечно, пошелъ дальше въ развитіи этого взгляда. И, однако, непосредственно вслѣдъ за приведенными словами онъ цѣликомъ и, надо ему отдать справедливость, безъ ошибки переписываетъ мои слова, не отмѣчая ихъ ни кавычками, ни петитомъ, ни ссылкой на страницу,—словомъ, ни однимъ изъ общепринятыхъ въ такихъ случаяхъ способовъ: онъ говоритъ отъ себя. Я ни мало не претендую на г. Соловьева за этотъ маленькій плагіатъ, но въ той же біографіи Толстого я натолкнулся на нѣсколько болѣе сложный и болѣе любопытный образчикъ манеры г. Соловьева цитировать. Какъ „источники" біографіи, указаны нѣсколько книгъ и затѣмъ „статьи: Н. К. Михайловскаго, А. М. Скабичевскаго, Д. И. Писарева, Н. М. Страхова, С. А. Андреев-

скаго, Вогюэ, Брандеса, Ціона". Прочитавъ этотъ списокъ, я заинтересовался неизвѣстными мнѣ статьями г. Ціона, но нигдѣ во всей работѣ г. Соловьева не нашелъ ни заглавія этихъ статей, ни указанія, гдѣ и когда онѣ были напечатаны. Въ нѣсколькихъ мѣстахъ приводятся въ кавычкахъ слова г. Ціона, но они такъ расположены среди собственныхъ словъ г. Соловьева, что не всегда можно разобрать, гдѣ кончается одинъ и гдѣ начинается другой. И вотъ что, напримѣръ, изъ этого выходитъ. На стр. 114 читаемъ:

Итакъ, по мнѣнію Ціона, становясь на точку зрѣнія своей націи, Толстой совершенно правъ, придавая мало значенія усиліямъ индивидуальной воли и, напротивъ, считая коллективную волю главнымъ двигателемъ.

Гдѣ же источники пессимистической окраски этой системы и этого міросозерцанія?... Если физіологъ можетъ объяснять источникъ пессимистическаго настроенія нѣкоторыхъ философовъ условіями ихъ личной жизни (наприм., слѣпота Дюринга, параличъ Гартмана и т. д.), то въ отношеніи Толстого сдѣлать это не легко.

Жизнь Дюринга представляетъ большой психологическій интересъ именно въ томъ отношеніи, что онъ, страдая слѣпотой, не только не пессимистъ, а, напротивъ, ярый врагъ пессимизма. Что же касается Гартмана, то хотя его философская *система* дѣйствительно проникнута пессимизмомъ, но пессимитическимъ *настроеніемъ* онъ отнюдь не страдаетъ, что самъ печатно разъяснялъ. Спрашивается, кто же такъ рѣзко на выворотъ извратилъ факты,—г. Ціонъ или г. Соловьевъ? А факты сами по себѣ въ высокой степени цѣнны и потому въ особенности не заслуживали бы извращенія. За пренебреженіемъ г. Соловьева къ точнымъ ссылкамъ и кавычкамъ, могу только сказать, что онъ, по малой мѣрѣ, повторилъ, если не самъ учинилъ это извращеніе.

Всѣмъ приведеннымъ, однако, далеко еще не исчерпаны характерныя черты литературной физіономіи г. Евгенія Соловьева. Насъ ждетъ еще, быть можетъ, наиболѣе любопытная черта, та именно, которую Щедринъ опредѣлилъ бы словами: „сейчасъ—брюнетъ, сейчасъ—блондинъ".

Въ біографіи Писарева (опять же въ біографической библіотекѣ Павленкова), изданной въ 1893 г., г. Соловьевъ дѣлаетъ мнѣ честь признаніемъ моихъ заслугъ въ соціологіи, именно: „Русской публицисткѣ удавалось не разъ дѣлать серьезныя научныя открытія, предугадывать, хотя способъ доказательства и методъ изслѣдованія смѣло могутъ отшатнуть отъ себя всякаго научнаго педанта. Укажу

на ограниченія теоріи Маркса, сдѣланныя Н. К. Михайловскимъ, а также на соціологическія работы послѣдняго" (стр. 45). Я играю здѣсь роль лишь иллюстраціи къ нѣкоторымъ общимъ размышленіямъ о публицистикѣ и наукѣ. Но здѣсь для насъ достаточно того, что г. Соловьевъ относитъ нѣкоторыя мои работы, и въ томъ числѣ „ограниченія теоріи Маркса", къ „серьезнымъ научнымъ открытіямъ", хотя способъ полученія этихъ „открытій" и можетъ смутить какого-нибудь „научнаго педанта". Такъ дѣло стояло въ 1893 г. Но вотъ, должно быть, года два тому назадъ г. Соловьевъ усердно занимался въ „Новостяхъ" разоблаченіемъ моихъ литературныхъ грѣховъ и преимущественно въ той области, гдѣ я, по недавнему мнѣнію критика, совершалъ „научныя открытія". Не имѣя подъ руками старыхъ „Новостей", не могу возстановить разоблаченія г. Соловьева текстуально, но смѣю увѣрить читателя, что они были достаточно жестоки и, по обыкновенію, развязны.

Скажутъ, можетъ быть,—это еще не значитъ, что г. Соловьевъ „*сейчасъ* брюнетъ, *сейчасъ* блондинъ". Не сейчасъ, а черезъ нѣсколько лѣтъ перемѣнилъ онъ свой взглядъ и, можетъ быть, посвятилъ всѣ эти нѣсколько лѣтъ глубокимъ размышленіямъ и испыталъ много душевныхъ страданій, переходя отъ однихъ воззрѣній къ другимъ, прямо противоположнымъ. Это возможно, потому что дѣло шло не лично о Н. К. Михайловскомъ, а объ „ограниченіяхъ теоріи Маркса" и другихъ „серьезныхъ научныхъ открытіяхъ", то есть, о сюжетахъ, дѣйствительно способныхъ наводить на глубокія размышленія и причинять большія духовныя страданія, какъ и давать большія радости. Изъ переписки Бѣлинскаго мы знаемъ, какъ велики могутъ быть эти страданія и радости при переломѣ міросозерцанія. Мнѣ кажется, однако, что человѣкъ, пережившій нѣчто подобное, не станетъ ужъ „колесомъ вертѣться, на канатѣ плясать, садиться задомъ напередъ на лошадь и за хвостъ держаться"... Но пусть. Пусть въ этомъ случаѣ г. Соловьевъ не „сейчасъ брюнетъ". Я напомню читателю другой эпизодъ изъ его литературной дѣятельности, уже приведенный однажды въ „Русскомъ Богатствѣ" по поводу юбилея Бѣлинскаго.

Юбилей Бѣлинскаго происходилъ, какъ извѣстно, въ маѣ прошлаго года. И вотъ, въ мартовской и майской книжкахъ „Научнаго Обозрѣнія" 1898 г. г. Соловьевъ печатаетъ юбилейную статью „Бѣлинскій въ потомствѣ". Принимается онъ за это дѣло съ полнымъ сознаніемъ его важности и плодотворности. „Я лично—говоритъ онъ—не знаю,

что могло бы быть интереснѣе темы, какъ „Бѣлинскій въ потомствѣ“, и, на самомъ дѣлѣ, удивительно, что она не только не разработана, но почти и не затронута. А между тѣмъ, кто знаетъ, *сколько „интеллигентныхъ“ недоразумѣній разрѣшилось бы, отнесись мы къ ней внимательнѣе*“. Послѣднія слова подчернуты мною, и я прошу читателя на нихъ остановиться: г. Соловьевъ „не яко же сей мытарь“, онъ внимательно отнесется къ своей задачѣ и разъяснитъ нѣкоторыя „интеллигентныя (?) недоразумѣнія“, а ихъ вѣдь такъ много и такъ важно было бы свалить съ литературы хоть часть этого надоѣвшаго груза...

Я не буду слѣдить за статьей г. Соловьева въ цѣломъ и во всѣхъ ея подробностяхъ, остановлюсь только на одномъ пунктѣ.

Переходъ отъ 60-хъ годовъ къ 70-мъ въ нашей литературѣ и жизни представляется г. Соловьеву „въ высшей степени загадочнымъ“. „Будущему историку—прибавляетъ онъ—придется, кажется, въ значительной степени поломать себѣ голову надъ этимъ вопросомъ“. За то отношеніе 70-хъ годовъ, съ ихъ „субъективнымъ методомъ“, „народническими утопіями“ и проч., къ Бѣлинскому—для г. Соловьева вполнѣ ясно: оно чисто отрицательное. Между „субъективнымъ методомъ“, „народническими утопіями“ и пр., съ одной стороны, и Бѣлинскимъ, съ другой—нѣтъ ничего общаго („Научное Обозрѣніе“ 1898, май, стр. 873). Поэтому „отъ послѣднихъ статей Бѣлинскаго можно,—минуя народничество (подъ этимъ терминомъ г. Соловьевъ разумѣетъ всѣ 70-е годы), перекинуть прямой мостъ къ нашему міросозерцанію, смѣло и энергично провозглашенному лишь въ первой половинѣ текущаго десятилѣтія“ (стр. 862). „Мы присутствуемъ на самомъ дѣлѣ при его (Бѣлинскаго) возрожденіи, и если онъ открылъ эпоху 60-хъ годовъ, то, кто знаетъ, какую. быть можетъ не менѣе плодотворную, эпоху открываетъ онъ теперь“... (877).—Въ чемъ состоитъ *наше*, соловьевское міросозерцаніе, смѣло и энергично провозглашенное лишь въ первой половинѣ текущаго десятилѣтія, и въ чемъ величіе переживаемой нами „эпохи“, — это мы оставимъ въ сторонѣ. Обратимся къ книгѣ г. Соловьева „В. Г. Бѣлинскій въ его письмахъ и сочиненіяхъ“, изданной къ тому же юбилею, къ которому написана и статья въ „Научномъ Обозрѣніи“. Въ книгѣ этой есть глава, озаглавленная такъ же, какъ и та статья: „Бѣлинскій въ потомствѣ“. Глава эта представляетъ собою частію буквальную перепечатку статьи, но есть въ ней и значительныя измѣненія. Изъ нихъ любопытно слѣдующее. Вышеприведенныхъ изъ статьи „Бѣ-

линскій въ потомствѣ“ соображеній о противорѣчіи между Бѣлинскимъ и „субъективнымъ методомъ“ и проч.—нѣтъ въ главѣ „Бѣлинскій въ потомствѣ“. За то, взамѣнъ ихъ, есть такія строки. Отказываясь отъ обсужденія нѣкоторыхъ „общеизвѣстныхъ“ вещей, г. Соловьевъ продолжаетъ: „Гораздо менѣе общеизвѣстно, какимъ образомъ основной философскій принципъ Бѣлинскаго и его идеалъ самостоятельной и гармонически цѣльной личности, творящей въ жизнь (?) перешелъ въ потомство. Я скажу пока, что здѣсь онъ нашелъ себѣ самый радушный пріемъ. Бѣлинскій не только глава русской критики, онъ нѣчто больше—онъ глава всей субъективной школы въ соціологіи, которая до самаго послѣдняго времени господствовала у насъ и на самомъ дѣлѣ оказала не малыя услуги нашему самосознанію, и личность, какъ верховный судья жизни, превратилась даже въ законодателя для науки“ (стр. 242).

Итакъ, читатель, заинтересовавшійся въ маѣ прошлаго года, по случаю юбилея Бѣлинскаго, литературою о великомъ критикѣ, могъ получить, подъ однимъ и тѣмъ же заглавіемъ „Бѣлинскій въ потомствѣ“, за подписью одного и того же г. Евгенія Соловьева, два мнѣнія: 1) между „субъективной школой“ и Бѣлинскимъ нѣтъ ничего общаго. 2) Бѣлинскій есть глава „субъективной школы“... Таковъ одинъ изъ результатовъ „внимательнаго“ отношенія къ задачѣ, рѣшеніе которой можетъ упразднить многія „интеллигентныя недоразумѣнія“...

„Сейчасъ—брюнетъ, сейчасъ—блондинъ“...

И вотъ человѣкъ, такъ изумительно развязно относящійся къ вещамъ и идеямъ, чужимъ и собственнымъ, не говоря уже о мелочахъ въ родѣ цитатъ, кавычекъ, заглавій книгъ и статей и проч.,—печатаетъ въ журналѣ „Жизнь“ цѣлый рядъ статей, озаглавленныхъ „Семидесятые годы“... Тема въ высшей степени скользкая, трудная уже и сама по себѣ въ виду чрезвычайной сложности явленій, обнимаемыхъ этимъ заглавіемъ. А кромѣ того, хотя мы и находимся наканунѣ XX вѣка и, слѣдовательно, семидесятые годы XIX вѣка отошли уже, казалось бы, въ историческую перспективу, но, по обстоятельствамъ времени и мѣста, они далеко еще не могутъ быть предметомъ всесторонняго обсужденія. И мнѣ кажется, что по отношенію къ нимъ задача добросовѣстнаго изслѣдователя можетъ пока состоять только въ точномъ константированіи фактовъ и час-

тичныхъ выводахъ, отнюдь не подлежащихъ распространенію на такую огромность и сложность, какъ „семидесятые годы". Въ 1886 г., въ „Дневникѣ читателя", полемизируя съ однимъ писателемъ, я привелъ, между прочимъ, не какъ аргументъ, конечно, а какъ иллюстрацію, конецъ видѣнія Іезекіиля. Въ августовской книжкѣ журнала „Жизнь" г. Соловьевъ объясняетъ, что это былъ съ моей стороны изворотъ, чтобы „кое-какъ на бумагѣ выбраться изъ затрудненій". Нѣтъ, это не былъ изворотъ, и я и теперь повторю, для иллюстраціи своей мысли, тотъ же конецъ іезекіилевой картины поля, усѣяннаго мертвыми костями: „Произошелъ шумъ и движеніе, и стали сближаться кости, кость съ костью своей. И видѣлъ я, и вотъ жилы были на нихъ, и плоть выросла, и кожа покрыла ихъ сверху... и вошелъ въ нихъ духъ, и они ожили, и стали на ноги свои". — Въ настоящее время сюжетъ, избранный г. Соловьевымъ для изслѣдованія, представляетъ собою поле, усѣянное мертвыми костями. Не наступилъ еще моментъ для того, чтобы эти кости обросли необходимою для историческаго изслѣдованія плотью и оживились духомъ, который когда-то проникалъ ихъ. Въ ожиданіи такого момента, повторяю, добросовѣстному изслѣдователю предстоитъ задача констатированія фактовъ и частичныхъ выводовъ. Всякая же попытка освѣтить „семидесятые годы" при наличныхъ матеріалахъ въ цѣломъ по необходимости приведетъ къ результатамъ, болѣе чѣмъ неполнымъ, одностороннимъ, не соотвѣтствующимъ дѣйствительности. И тѣмъ болѣе, если исправляющимъ должность изслѣдователя является человѣкъ, ухарски джигитующій по усѣянному мертвыми костями полю, — „колесомъ вертится, на канатѣ пляшетъ, сядетъ задомъ напередъ на лошадь и за хвостъ держится"...

Глава „Дневника читателя", въ которой г. Соловьевъ усмотрѣлъ изворотъ ради того, чтобы „кое-какъ на бумагѣ выбраться изъ затрудненій", называется „Pro domo sua". Къ сожалѣнію, мнѣ и теперь придется говорить, хотя и не исключительно, но всетаки не мало, pro domo sua. Читатель повѣритъ, что я это дѣлаю безъ удовольствія. Читатель *долженъ* этому повѣрить. Если я никогда не могъ пожаловаться на невниманіе и на равнодушіе моихъ собратьевъ по перу, то за послѣдніе годы я стою, можно сказать, подъ цѣлымъ ливнемъ вниманія. Не далеко ходить, — въ августовской книжкѣ журнала „Жизнь", кромѣ статьи г. Соловьева, посвященной мнѣ, какъ участнику 70-хъ годовъ, есть еще статья г. Андреевича (тоже необычайно развязнаго писателя) о г. Чеховѣ,

но значительная ея часть занята опять же мною. Мнѣ уже случилось какъ-то упоминать о нѣкоторыхъ писателяхъ, которые, подобно тому танцору, что не могъ иначе начать танцовать, какъ отъ печки,—начинаютъ свои статьи непремѣнно съ меня: щипнетъ, лягнетъ, а потомъ уже прослѣдуетъ куда ему нужно. Такое ужъ мнѣ счастье. Въ большинствѣ случаевъ я не откликаюсь, а нѣкоторые изъ разражавшихся надо мною громовъ такъ и остались мнѣ неизвѣстными: слышалъ отъ людей, что былъ громъ, и зналъ, что онъ не изъ тучи... Что касается г. Евгенія Соловьева, то я не утруждалъ читателя ни восторгомъ своимъ по случаю выдачи мнѣ диплома за „серьезныя научныя открытія", ни скорбью по случаю отобранія этого диплома: и восторгъ, и скорбь пережилъ въ тиши одиночества. Но теперь дѣло иное. Теперь г. Соловьевъ вдвигаетъ меня въ нѣкоторое безконечно дорогое мнѣ цѣлое, изъ котораго я запасся „святыми воспоминаніями" на всю свою остальную жизнь. И—одинъ изъ немногихъ, оставшихся въ живыхъ отъ того времени—я счелъ бы для себя позоромъ молча присутствовать при представленіяхъ г. Евгенія Соловьева изъ ложнаго стыда передъ какой-нибудь Марьей Алексѣевной, которая скажетъ... да не все ли равно, что она скажетъ?

Въ силу того, что г. Соловьевъ—„сейчасъ брюнетъ, сейчасъ блондинъ", говорить о его произведеніяхъ чрезвычайно трудно, ежели не ограничиваться указаніями на его „моментализмъ—трансформизмъ". Самыя основныя понятія, которыми онъ орудуетъ чуть не на каждой страницѣ, скользятъ, какъ угри, или мѣняютъ цвѣта, какъ хамелеонъ, оставаясь словами безъ опредѣленнаго значенія. Таково, напримѣръ, слово „народничество" *). Подобно многимъ и многимъ, пишущимъ нынѣ на эту тему, г. Соловьевъ нигдѣ не даетъ опредѣленія народничества, произвольно то съуживая, то расширяя его границы. Онъ, напримѣръ, рѣзко—какъ оно и естественно—противопоставляя славянофиловъ и западниковъ, говоритъ, что „народники — духовныя дѣти славянофиловъ и даже въ гораздо большей степени, чѣмъ пресловутые почвенники" („Жизнь", іюнь, 271). Мысль эта развивается и далѣе, а кромѣ того, высказывается и въ статьяхъ „Научнаго Обозрѣнія", и въ книгѣ о Бѣлинскомъ. Если же искать настоящаго представителя народничества, то надо обра-

*) Во избѣжаніе недоразумѣній напомню, что самъ я никогда не причислялъ себя къ „народникамъ" и не разъ полемизировалъ съ тѣми, кто такъ себя называетъ,—еще недавно, напримѣръ, съ Юзовымъ и г. В. В.

титься къ г. Михайловскому: „въ его соціологическихъ статьяхъ, а никакъ не въ трудахъ Щапова, Воронцова, Даніельсона и т. д., всякій можетъ найти философію нашего народничества“ („Жизнь“, сентябрь, 279). Значитъ, г. Михайловскій есть по преимуществу „духовный сынъ славянофильства“. Но на стр. 277 той же книжки „Жизни“ г. Михайловскій оказывается въ числѣ „нашихъ западниковъ“, правда, „готовыхъ отказаться отъ своего западничества“ при извѣстныхъ условіяхъ, но всетаки „западниковъ“. При этомъ г. Соловьевъ не потрудился сообщить своимъ читателямъ, какъ же я самъ-то смотрѣлъ и смотрю на славянофильство и западничество.

Такъ что же такое „народничество“?

Единственное, за что можно ухватиться, это—хронологія: „семидесятые годы“ рѣзко выдѣляются, какъ сплошь народническіе, среди 60-хъ годовъ, переходъ отъ которыхъ къ 70-мъ кажется г. Соловьеву неразрѣшимой загадкой, и послѣдующимъ временемъ. Иногда, какъ мы видѣли, г. Соловьевъ готовъ вычеркнуть изъ русской исторіи и 60-е годы и строитъ отъ Бѣлинскаго „прямой мостъ къ нашему міросозерцанію, смѣло и энергично провозглашенному лишь въ первой половинѣ текущаго десятилѣтія“: отъ Бѣлинскаго къ г. Соловьеву, а въ промежуткѣ „ни воздуха, ни климата, а одинъ лишь палящій зной“... Это, конечно, очень удивительно, но еще удивительнѣе прочитать такія, напр., строки: „Лучшія изъ художественныхъ произведеній народнической литературы, какъ „Записки охотника“, „Севастопольскіе разсказы“, „Сорока-воровка“, „Губернскіе очерки“ и пр. и пр., создавались „раскаявшимися боярами“ („Жизнь“, мартъ, 275). Такимъ образомъ, народничество, столь строго обрамленное 70-ми годами, можетъ при случаѣ восходить къ первымъ произведеніямъ Тургенева и даже къ Герцену. Но и это еще не конецъ удивительностямъ. Оказывается, что „народники“—не какая-нибудь литературная или иная партія, а какая-то сословная единица. Говоря о неизбѣжно „сословномъ духѣ“ каждой „проповѣди“, г. Соловьевъ, между прочимъ, замѣчаетъ: „*Буржуазія*“, напр., возлюбила расчетъ и юридическія нормы, все равно, какъ *дворянство*—честь и гордость, а наши *народники*—любовь и единеніе“ („Жизнь“, іюнь, 266).

Въ цѣломъ, это такіе сапоги въ смятку, въ которыхъ разобраться невозможно.

Возьмемъ другое очень занимающее г. Соловьева понятіе и очень часто повторяемое имъ слово — „личность“. На стр. 232 книги

„В. Г. Бѣлинскій въ его письмахъ и сочиненіяхъ“ читаемъ: „Само по себѣ слово—личность, конечно, ничего не обозначаетъ. Это простой терминъ, которымъ мы пользуемся въ нашихъ философскихъ разсужденіяхъ, такъ какъ съ полнымъ основаніемъ можно оспаривать существованіе не только личностей, но и вообще чего-нибудь личнаго въ природѣ“. Кажется, достаточно рѣшительно сказано. Но не менѣе рѣшительное слово находимъ на стр. IX предисловія къ той же книгѣ: „Какъ бы вы ни смотрѣли на исторію, кромѣ пробужденія личности, кромѣ того, что сознаніе своего собственнаго человѣческаго достоинства, которое на самомъ дѣлѣ имѣетъ право на все—нѣтъ ничего“. Въ послѣдней фразѣ какъ будто недостаетъ сказуемаго, но это не бѣда, съ г. Соловьевымъ это часто случается, смыслъ всетаки ясенъ: кромѣ пробужденія личности, въ исторіи нѣтъ *ничего*. Съ другой стороны, однако, не только личностей *нѣтъ*, но нѣтъ и вообще въ природѣ ничего личнаго...

„Сейчасъ брюнетъ, сейчасъ блондинъ“... Читатель скажетъ, пожалуй, что „моментализмъ“ г. Соловьева уже достаточно выясненъ, документально доказанъ, и нѣтъ надобности еще и еще возвращаться къ этому пункту. Совершенно вѣрно. Но надо же выбрать въ писаніяхъ г. Соловьева что нибудь такое, за что можно ухватиться, какъ за исходную точку для уразумѣнія его оцѣнки „семидесятыхъ годовъ“. И такую исходную точку мы, наконецъ, нашли. Это именно отрицаніе не только историческаго значенія личности, но и самого ея существованія. Конечно, слѣдя за развитіемъ этой мысли, мы должны забыть ту другую мысль г. Соловьева, что, кромѣ пробужденія личности, въ исторіи нѣтъ ничего. Но такою цѣною мы купимъ болѣе или менѣе цѣльный и въ своемъ родѣ очень интересный взглядъ на наше недавнее — и увы! сколь уже дальнее—прошлое.

Я долженъ оговориться, что не читалъ всѣхъ статей г. Соловьева въ „Жизни“: не имѣлъ терпѣнія читать всѣ эти „слова, слова, слова“, рѣкой льющіяся черезъ разнообразныя логическія, фактическія и нравственныя препятствія. Но читатель убѣдится, надѣюсь, что мой матеріалъ совершенно достаточенъ для моихъ выводовъ.

„Съ полнымъ основаніемъ можно оспаривать существованіе не только личностей, но и вообще чего нибудь личнаго въ природѣ“... Что же существуетъ?—Группа,—отвѣчаетъ г. Соловьевъ,—видовое.

родовое, групповое, классовое. Если провести послѣдовательно точку зрѣнія г. Соловьева до ея логическаго конца и примѣнить ее къ какому нибудь конкретному явленію, то найдемъ, напримѣръ, слѣдующее: Лермонтова никогда не было, а была группа или классъ военно-служащихъ помѣщиковъ. Въ такомъ видѣ тезизъ г. Соловьева слишкомъ явный вздоръ, ибо не классъ военно-служащихъ написалъ „Демона", не онъ дрался на дуэли съ Барантомъ, не онъ былъ убитъ Мартыновымъ и т. д. Все это случилось не съ „классомъ" или „группою", а лично съ Лермонтовымъ, человѣкомъ ярко опредѣленной индивидуальности, много воспринявшимъ отъ своей среды, но и рѣзко изъ нея выдѣлившимся. Въ приведенномъ отрицаніи самаго существованія личностей г. Соловьевъ, съ свойственною ему задорною игривостью нрава, хватилъ черезъ край. Но въ болѣе смягченномъ видѣ мысль эта проводится людьми посерьезнѣе и покрупнѣе г. Соловьева, а для него составляетъ въ настоящую минуту ту именно узенькую повязку на головѣ, которая замѣняетъ всякій костюмъ. Но, конечно, онъ долженъ сказать „новое слово" По нынѣшнему времени безъ этого нельзя.

„Сословный характеръ разныхъ эпохъ нашей литературы", — вотъ то новое слово, которымъ г. Соловьевъ намѣренъ обогатить сокровищницу русской критики и исторіи литературы. „Съ этой точки зрѣнія — говоритъ онъ — въ исторіи русской литературы не сдѣлано почти ничего, а пожалуй что и ровно ничего не сдѣлано". Онъ въ этомъ смыслѣ знаетъ только „презрительную кличку семинаристовъ", да еще „прозвище" „разночинецъ", но—прибавляетъ онъ—„содержаніе его настолько неопредѣленно, а самый терминъ такъ внутренне противорѣчивъ, что пользоваться имъ иначе, какъ въ газетныхъ статьяхъ, невозможно" („Жизнь", іюнь, 261). Вы понимаете это великолѣпіе: въ газетныхъ статьяхъ, какихъ г. Соловьевъ написалъ не мало, можно довольствоваться терминами безъ опредѣленнаго содержанія и внутренно противорѣчивыми,—газета на то и газета, чтобы быть завтра же забытой, такъ что-жь тутъ церемониться! Теперь иное дѣло. Теперь г. Соловьевъ предпринимаетъ трудъ, можетъ быть, и не безсмертный, но во всякомъ случаѣ солидный, серьезно обдуманный... Однако, всего черезъ нѣсколько страницъ (269) г. Соловьевъ преспокойно орудуетъ терминомъ „разночинецъ", примѣняя его къ Бѣлинскому и дѣлая отсюда извѣстные выводы. Можетъ быть, онъ уже успѣлъ забыть, что пишетъ не газетную статью, а, можетъ быть, вошедшій давно въ оби-

ходъ терминъ „разночинецъ“ совсѣмъ ужъ не такъ плохъ. Конечно, кто хочетъ искать въ литературѣ строго „сословнаго характера“, для того разночинецъ представляетъ непріятное препятствіе, непріятное уже какъ терминъ, но что же дѣлать, если этому термину соотвѣтствуетъ живое явленіе и если Бѣлинскаго, напримѣръ, дѣйствительно ни къ какому опредѣленному „чину“, сословію приписать нельзя: дѣдъ—сельскій попъ (прадѣдъ, можетъ быть, мужикъ; помните Базарова: „мой дѣдъ землю пахалъ“), отецъ—военный лѣкарь, мать — мелкая дворянка, владѣлица одной крѣпостной семьи, безъ земли.

Надо замѣтить, что предпріятіе г. Соловьева не въ томъ состоитъ, чтобы прослѣдить вліяніе происхожденія и среды на литературную дѣятельность того или другого писателя. Сказать, что по этой части „не сдѣлано почти ничего, а пожалуй что и ровно ничего не сдѣлано“,—было бы даже для г. Соловьева слишкомъ смѣло. Такія литературныя явленія, какъ поэзія Кольцова, поэзія Никитина, уже по своей исключительности для своего времени, не могли не привлекать вниманія критиковъ и историковъ литературы именно съ точки зрѣнія „сословнаго характера“. Все, что сказалъ въ этомъ отношеніи г. Соловьевъ о Бѣлинскомъ — и даже гораздо ярче — было сказано задолго до него. О значеніи происхожденія и среды въ поэзіи и жизни Пушкина г. Анучинъ еще недавно напечаталъ въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ“ обширный научный трактатъ. Это же значеніе для Лермонтова или гр. Толстого можно считать давно и вполнѣ выясненнымъ. И т. д. Но во всѣхъ этихъ случаяхъ мы имѣемъ дѣло съ отдѣльными, крупными и яркими индивидуальностями, въ которыхъ „сословный характеръ“ своеобразно преломляется, переплетаясь съ многоразличными другими вліяніями. Г. же Соловьевъ имѣетъ въ виду освѣтить съ точки зрѣнія „сословнаго характера“ цѣлыя литературныя теченія и даже „эпохи“, при чемъ индивидуальность, личность должны оказаться элементомъ, не только не стоющимъ вниманія, но и не существующимъ, ибо „съ полнымъ основаніемъ можно оспаривать существованіе не только личностей, но и вообще чего-нибудь личнаго въ природѣ“.

Г. Соловьевъ охотно ссылается на Гумпловича въ подтвержденіе того минуса, который онъ ставитъ значенію личности. Гумпловичъ, въ свою очередь, ведетъ эту линію отъ Бастіана, для котораго, какъ для этнолога, всякія индивидуальныя особенности, разумѣется, ничто въ сравненіи съ расовыми, групповыми. Гумпловичъ, какъ соціо-

логъ или, точнѣе, какъ правовѣдъ, исходя изъ того же пункта, видитъ содержаніе исторіи въ борьбѣ группъ, расовыхъ или классовыхъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, утверждаетъ, что мыслитъ не человѣкъ, а группа, въ составъ которой онъ входитъ. Г. Соловьевъ, какъ легкомысленный сочинитель, идетъ, конечно, дальше и заявляетъ, что личность просто таки не существуетъ, а существуютъ „сословія".

Оставимъ въ сторонѣ борьбу расовую и борьбу классовую и тѣ ихъ поразительныя взаимныя осложненія, которыми посрамляется въ настоящее время вся Европа. Но что значитъ: мыслитъ не человѣкъ, а группа? Гумпловичъ понимаетъ, конечно, что собственно мыслительнымъ аппаратомъ, тою лабораторіей, въ которой непосредственно происходитъ процессъ воспріятія впечатлѣній, ихъ комбинацій и дальнѣйшей переработки, — обладаетъ не группа, а индивидъ. Но путемъ физіологической наслѣдственности, воспитанія, ежедневнаго общенія съ извѣстной средой, общности интересовъ этой среды — данная группа накладываетъ на входящую въ ея составъ личность свою неизгладимую печать; и тотъ ничтожный остатокъ индивидуальныхъ варьяцій, который не вмѣщается въ предѣлы этой печати, есть величина, не стоющая вниманія науки. Такова точка зрѣнія Гумпловича. Она совершенно достаточна для этнолога, но уже для юриста, а тѣмъ паче для соціолога, она неизбѣжно окажется слишкомъ узкой.

Позволю себѣ сослаться на такой авторитетъ, какъ г. Евгеній Соловьевъ, высказывающійся, впрочемъ, на этотъ разъ съ необыкновенною для него робостью. „Боюсь высказать эту мысль,—говоритъ онъ,—но мнѣ кажется, что въ жизни человѣка ничего никогда не пропадаетъ. Всякій опытъ, всякая удача и неудача, всякое ощущеніе и чувство оставляютъ въ характерѣ свой слѣдъ, совершенно стереть который нѣтъ никакой возможности. Поэтому я думаю, что и годы нищеты и униженій не могли не испортить Некрасова и слишкомъ даже развили практическую сторону его натуры" („В. Г. Бѣлинскій въ его письмахъ и сочиненіяхъ", 153). Робость г. Соловьева въ данномъ случаѣ тѣмъ изумительнѣе, что о Некрасовѣ онъ лишь повторяетъ то, что давнымъ давно и много разъ сказано. Но сказать, что *всякій* опытъ и т. д. оставляетъ свой слѣдъ, стереть который нѣтъ никакой возможности,—это, пожалуй, дѣйствительно, слишкомъ сильно. Тѣмъ не менѣе въ не столь категорической формѣ мысль г. Соловьева заключаетъ въ себѣ долю истины, и даже общеизвѣстной. Но спрашивается, всегда ли „опыты, удачи и неудачи,

ощущенія, чувства", оставляющія въ насъ неизгладимый слѣдъ, ограничиваются кругомъ той группы, въ составъ которой мы входимъ? Это можно съ большею достовѣрностью утверждать относительно какого-нибудь первобытнаго племени или замкнутой касты. Но современный цивилизованный человѣкъ входитъ въ составъ заразъ нѣсколькихъ группъ, и уже по одному этому не можетъ на немъ лежать цѣльная печать которой нибудь одной изъ нихъ. Возьмемъ какую-нибудь достаточно всѣмъ извѣстную личность, напримѣръ, Дрейфуса. Онъ—французъ, и всѣ „опыты, удачи и неудачи, ощущенія и чувства", въ теченіе всей его жизни полученные на общефранцузской почвѣ, наложили на него свою печать. Но онъ не только французъ; по происхожденію, а можетъ быть, и по вѣроисповѣданію, онъ еврей, и эта принадлежность къ еврейской расѣ, къ группѣ, имѣющей свою длинную исторію и волею этой исторіи поставленной въ особое положеніе, опять таки оставляетъ на его индивидуальности свой слѣдъ. Затѣмъ онъ принадлежитъ къ среднему классу общества, къ буржуазіи. Далѣе онъ офицеръ, то есть входитъ въ составъ еще одной группы со своими традиціями, привычками, понятіями о чести и т. д. Можно бы было указать еще и на то, что онъ именно артиллеристъ, — давно замѣчено, что носители разныхъ родовъ оружія образуютъ группы съ своею особою психологіей, вслѣдствіе чего, напримѣръ, артиллеристы и инженеры смотрятъ иногда свысока на скромную пѣхоту и щеголеватую кавалерію. Наконецъ, сила судьбы включила Дрейфуса въ составъ группы лицъ, объединенныхъ жаждою торжества правды наперекоръ колоссальнымъ препятствіямъ матеріальнымъ и духовнымъ. Онъ далъ даже свое имя этой группѣ „дрейфусаровъ", границы которой трудно указать, но которая несомнѣнно существуетъ, имѣя своихъ представителей во всѣхъ слояхъ общества всѣхъ странъ цивилизованнаго міра. Такимъ образомъ, неизгладимые слѣды „опытовъ, удачъ, неудачъ, ощущеній, чувствъ" Дрейфуса получены имъ отнюдь не въ *средѣ* одной какой-нибудь группы, а въ *средахъ* многихъ то концентрическихъ, то въ разныхъ направленіяхъ пересѣкающихъ другъ друга круговъ. Совокупность всѣхъ этихъ „слѣдовъ" и „отпечатковъ" плюсъ совершенно отъ нихъ независимыя, случайныя индивидуальныя варьяціи, происхожденіе которыхъ, вѣроятно, всегда останется для насъ тайной,—и составляетъ личность, въ данномъ случаѣ личность Дрейфуса со всей его трагической судьбой. Вопреки легкомысленному увѣренію г. Соловьева, эта личность существуетъ,—и ѣстъ, и пьетъ,

и любитъ, и ненавидитъ, и сидѣлъ на Чортовомъ островѣ, переходя отъ молчаливаго отчаянія къ бурнымъ взрывамъ гнѣва и обратно. Но этого мало. Вопреки гораздо болѣе серьезному положенію Гумпловича, эта личность *мыслитъ*, ибо, оставляя даже въ сторонѣ индивидуальныя варьяціи, своеобразная комбинація слѣдовъ и отпечатковъ, полученныхъ отъ многихъ и различныхъ группъ, не даетъ возможности пріурочить ей „мысль" къ которой нибудь одной изъ нихъ; эти слѣды и отпечатки то сливаются, то нейтрализуютъ другъ друга, то другъ другу противорѣчатъ, и въ этой пестротѣ пропадаетъ одноцвѣтная групповая мысль. Въ извѣстныхъ предѣлахъ положеніе Гумпловича вѣрно,—не говоря о первобытныхъ племенахъ и замкнутыхъ кастахъ или сословіяхъ, можно и нынѣ видѣть болѣе или менѣе чистыхъ представителей групповой мысли,—но до какой степени въ своемъ категорическомъ видѣ это положеніе теоретически ненаучно и практически опасно, наглядно выясняется тѣмъ же дѣломъ Дрейфуса.

Одинъ русскій юристъ (г. Сергѣевскій) пытался возвеличить древне-русскій „институтъ групповой отвѣтственности" и предсказывалъ ему возрожденіе и безсмертіе. „Институтъ" этотъ состоялъ въ томъ, что наказанію подвергался не только виновникъ преступленія, но и группа, къ которой онъ принадлежалъ, то есть и завѣдомо невинные люди. Этотъ фактъ старорусскаго отношенія къ личности г. Сергѣевскій возводилъ въ принципъ, стараясь подвести подъ него научный фундаментъ. Это ему не удалось, конечно, но такъ, безъ какихъ бы то ни было научныхъ украшеній, идея групповой отвѣтственности еще крѣпко сидитъ въ сознаніи не только русскихъ людей, представляя собой пережитокъ отдаленной поры родовой или кровной мести. Въ дѣлѣ Дрейфуса это сказалось съ жестокою наглядностью.—„Вотъ каковы французы!"—„вотъ каковы французскіе офицеры!"—„вотъ они жиды-то!"—Этими и подобными возгласами хорошо формулировалось отношеніе къ дѣлу многихъ и многихъ, искренно или лицемѣрно считавшихъ Дрейфуса виновнымъ въ измѣнѣ: не къ уголовной, конечно, а только къ моральной отвѣтственности призывались тѣ группы, къ которымъ онъ принадлежитъ. Это вполнѣ гармонируетъ съ убѣжденіемъ г. Соловьева, что личность не существуетъ, но насколько это теоретически научно и практически полезно—пусть судитъ самъ читатель.

Читатель видитъ, что я не только не отрицаю вліянія среды на личность, но, напротивъ, утверждаю его самымъ рѣшительнымъ образомъ. Я говорю лишь, что вліяніе это далеко не всегда можетъ быть пріурочено къ одной какой нибудь группѣ.

Временами г. Соловьевъ какъ будто понимаетъ всю трудность своей задачи. Такъ, онъ указываетъ на нашу подражательность, на вліяніе западной Европы, которое „очень и очень стушевывало сословный характеръ пропагандируемыхъ (у насъ) идей". Это ограниченіе, конечно, очень важно, однако лишь въ томъ общемъ смыслѣ, что „всякій опытъ, всякая удача и неудача, всякое ощущеніе и чувство", въ томъ числѣ и ощущенія и чувства, возбужденныя знакомствомъ съ европейскими событіями и европейской литературой,— оставляютъ въ насъ свой слѣдъ. Въ частности же, съ точки зрѣнія г. Соловьева, слѣдовало бы ожидать ассимиляціи нашею литературою именно сословныхъ же элементовъ европейскихъ литературъ, что онъ, однако, даже не пытается утверждать. Въ другомъ мѣстѣ г. Соловьевъ прямо говоритъ: „Изучать и опредѣлять сословный характеръ того или другого теченія мысли надо, конечно, съ большою осторожностью, и не только по новизнѣ предмета, и не потому также, что волки часто наряжаются въ овечью шкуру, но и потому, что вопросъ этотъ, вообще говоря, чрезвычайно сложный". Тѣмъ не менѣе г. Соловьевъ рѣшительно заявляетъ, что „сословный духъ нѣчто органическое, нѣчто впитываемое съ молокомъ матери, съ первыми всегда самыми могущественными впечатлѣніями дѣтства, съ самыми свѣжими и свѣтлыми грезами юности; онъ необходимо присущъ каждому изъ насъ и *отъ него нѣтъ полной свободы*" („Жизнь", іюнь, 279). Въ мысли г. Соловьева это не значитъ, чтобы представитель извѣстнаго сословія отстаивалъ въ литературѣ непремѣнно *интересы* своего сословія. Это, конечно, очень обыкновенное явленіе, но возможно и вполнѣ безкорыстное, даже и самоотверженное, рѣшительно отрицательное отношеніе къ своимъ сословнымъ интересамъ, но и въ такомъ случаѣ печать происхожденія писателя сказывается „сословнымъ духомъ", нѣкоторою неистребимою закваскою. И вотъ „семидесятые годы" рисуются г. Соловьеву въ видѣ господства или преобладанія сословнаго дворянскаго, барскаго, боярскаго духа или закваски...

На первый взглядъ это такой вздоръ, который не возьмется поддерживать самый кляузный умъ и самый развязный языкъ. Было время, когда русская литература воздѣлывалась почти исключительно

дворянами или, если угодно, барами, хоть и не „боярами“, какъ единственнымъ сословіемъ, обладавшимъ достаточнымъ просвѣщеніемъ и досугомъ. Но къ семидесятымъ годамъ это время уже, надо полагать, прошло, тѣмъ болѣе, что и гораздо раньше въ литературѣ, *почти* исключительно дворянской, возникали такія вліятельныя силы (чтобы не восходить къ Ломоносову и др.), какъ Кольцовъ, Никитинъ, Бѣлинскій, Полевой, а въ эпоху реформъ, уже съ конца пятидесятыхъ годовъ, „разночинцы“ влились въ такомъ изобиліи и съ такимъ шумомъ, что опредѣлили собою главное русло литературы, внеся въ нее новые интересы, новые сюжеты, новые пріемы и формы. Хорошо ли это или дурно—вопросъ особый, мы говоримъ только о фактѣ сословнаго состава представителей литературы. Мы видѣли, что г. Соловьеву не нравится слово „разночинецъ“,—слово, конечно, неудобное для изслѣдователя съ узенькой повязкой „сословнаго характера“ на головѣ; но мы видѣли также, что онъ вынужденъ употреблять это слово, потому что ему соотвѣтствуетъ несомнѣнный житейскій фактъ. Безъ сомнѣнія, и въ семидесятыхъ годахъ литература имѣла въ своемъ составѣ представителей дворянства, отстаивавшихъ интересы дворянства. Это вполнѣ естественно, но г. Соловьева совсѣмъ не занимаетъ это теченіе, онъ даже не упоминаетъ о немъ. Онъ имѣетъ, напротивъ, въ виду теченіе демократическое, „народническое“. Оно-то, по его мнѣнію, и было проникнуто сословнымъ дворянскимъ „духомъ“, и именно потому, что его представители были дворяне по происхожденію. Казалось бы, г. Соловьеву надлежало прежде всего фактически установить именно послѣднее, то есть доказать дворянское, барское, „боярское“ происхожденіе этихъ представителей. Изъ тѣхъ, которымъ особенное вниманіе удѣляетъ г. Соловьевъ, нѣтъ, пожалуй, надобности производить генеалогическое изслѣдованіе о завѣдомо древнемъ боярскомъ родѣ Салтыковыхъ, но велики ли бояре были предки, напримѣръ, Г. И. Успенскаго, одного изъ самыхъ яркихъ представителей семидесятыхъ годовъ,—въ этомъ я сомнѣваюсь и сомнѣнія эти имѣю основанія распространять на многихъ и многихъ другихъ.

Мимоходомъ: г. Соловьевъ съ гордостью говоритъ о „нашемъ міросозерцаніи, смѣло и энергично провозглашенномъ лишь въ первой половинѣ текущаго десятилѣтія“,—міросозерцаніи, рѣзко противоположномъ міросозерцанію семидесятыхъ годовъ: то было дворянское, а „наше“—какое? Мнѣ неизвѣстно происхожденіе г. Соловьева, но судя по фамиліямъ нѣкоторыхъ представителей міросо-

зерцанія, о которомъ онъ говоритъ (напримѣръ, г. Струве, подписывающагося подъ своими нѣмецкими статьями фонъ-Струве, г. Туганъ-Барановскаго и др.), они принадлежатъ къ дворянству и, можетъ быть, очень родовитому. А такъ какъ „сословный духъ нѣчто органическое“ „и отъ него нѣтъ полной свободы“, то... то предоставляю г. Соловьеву сдѣлать надлежащіе логическіе выводы.

Однако что-нибудь да говоритъ же г. Соловьевъ въ цѣломъ рядѣ статей, какъ-нибудь да доказываетъ свою мысль о сословно-дворянскомъ характерѣ семидесятыхъ годовъ?

Не рѣшаюсь утверждать, но думаю, что все предпріятіе внушено г. Соловьеву однимъ или, точнѣе, двумя моими словами: „кающійся дворянинъ“. Такъ назвалъ я типъ, къ которому принадлежитъ лицо, отъ имени котораго ведутся мои полубеллетристическіе наброски „Въ перемежку“.—Григорій Темкинъ. Но дѣло, можетъ быть, не только въ упомянутыхъ двухъ словахъ.

О напечатанной въ „Сборникѣ Русскаго Богатства“ части моего романа „Карьера Оладушкина“ мнѣ случилось прочитать нѣсколько отзывовъ, благосклонныхъ и неблагосклонныхъ, но въ большинствѣ случаевъ отмѣчающихъ изъяны по художественной части. Одинъ изъ критиковъ даже рѣшительно заявилъ, что мнѣ далеко до Тургенева... Увы! это глубокая правда, глубокая и для меня, конечно, прискорбная, потому что я ничего не имѣлъ бы противъ того, чтобы, наоборотъ, Тургеневу было далеко до меня. Но, къ сожалѣнію, а можетъ быть и къ счастью моему, я уже тридцать лѣтъ тому назадъ разстался съ иллюзіями на счетъ своихъ художественныхъ силъ, объ чемъ откровенно разсказалъ въ своихъ литературныхъ воспоминаніяхъ. Съ тѣми же оговорками относительно своего художественнаго дарованія я еще не такъ давно разсказалъ, по нѣкоторому особенному случаю, въ „Русскомъ Богатствѣ“ о томъ, какъ зарождался и писался романъ „Карьера Оладушкина“, изъ котораго тогда было напечатано два-три отрывка. Но, неоднократно, такимъ образомъ, предвосхитивъ неблагосклонные отзывы критики, я могу, однако, гордиться нѣкоторыми поразительными успѣхами, какимъ могли бы позавидовать и великіе художники. Объ одномъ изъ этихъ успѣховъ см. мое „Письмо къ неучамъ“ (Сочиненія, IV, 205 и сл.). Теперь вотъ г. Соловьевъ... Надо сказать, что г. Соловьевъ чрезвычайно лестно отзывается о моемъ художественномъ дарованіи, но собственно не этимъ отзывомъ особенно польщенъ я, а явными признаками необыкновенно сильнаго впечатлѣнія, которое произвелъ на

г. Соловьева образъ „кающагося дворянина“ Григорія Темкина. Этотъ образъ до такой степени поразилъ г. Соловьева, что окрасилъ собой для него всѣ семидесятые годы, прихвативъ и дѣятелей гораздо болѣе ранняго времени,—Тургенева, Герцена и др. Такова сила моего художественнаго таланта!.. а можетъ быть, и сила того руководящаго значенія, которое получило для г. Соловьева существительное „дворянинъ“ съ присоединеніемъ прилагательнаго „кающійся“. Но никакое величіе не дается даромъ, а потому естественно, что мое поэтическое дѣтище, кающійся дворянинъ Григорій Темкинъ, подвергается жестокому преслѣдованію со стороны г. Соловьева: и такой онъ, и сякой, и мытьемъ его, и катаньемъ, и убійственной ироніей, и всякаго рода издѣвательствами. Бѣдный Григорій Темкинъ! Я не стану, однако, защищать его отъ мощныхъ ударовъ г. Соловьева. Не столь, конечно, рѣзко и не съ той точки зрѣнія, на которой стоитъ критикъ, мнѣ уже слишкомъ двадцать лѣтъ тому назадъ, въ вышеупомянутомъ „Письмѣ къ неучамъ“, пришлось говорить и объ „ошибкахъ и некрасивыхъ поступкахъ“ Темкина, и объ его „слабой“, хотя и благородной натурѣ. Пусть же г. Соловьевъ его добиваетъ! Но я не могу не протестовать противъ того, почти всеисчерпывающаго для семидесятыхъ годовъ, значенія, которое г. Соловьевъ придаетъ Григорію Темкину. Это было бы уже слишкомъ лестно для меня, какъ художника...

Трудно разобраться въ статьѣ г. Соловьева, посвященной разбору набросковъ „Въ перемежку“ (какъ, впрочемъ, и въ другихъ его статьяхъ). Это какая-то умственная чехарда: утопія, „духъ Рахметова“, старое барство, „народничество“, Темкинъ, „субъективный методъ“, сословный характеръ и еще многіе другіе предметы и понятія, не получая никакого опредѣленія, скачутъ другъ черезъ друга въ неудержимомъ потокѣ словоизверженія. Прежде, чѣмъ придти къ нѣкоторому возможно общему выводу относительно этой чехарды, остановлюсь хоть на одномъ частномъ примѣрѣ.

„Любопытно отмѣтить, — говоритъ г. Соловьевъ,—какъ настойчиво повторяется слово „уплата“ въ проповѣдяхъ того времени (семидесятыхъ годовъ) и какъ охотно даже серьезные люди принимаютъ тонъ моралиста и проповѣдника. Создаются формулы прогресса, сочиняются философско-историческіе труды и все это имѣетъ единственною, главнѣйшею цѣлью воздѣйствовать на совѣсть слушателя, пробудить уснувшую или непросыпавшуюся еще, поддержать колеблющуюся. Атмосфера была насыщена нравственною от-

вѣтственностью и считалось чѣмъ то пошлымъ и буржуазнымъ говорить о правѣ каждаго на личное счастье. *Суровый духъ Рахметова точно носился надъ эпохой,—этотъ духъ, ненаходившій себѣ ни достаточнаго простора, ни достаточнаго примѣненія за десять лѣтъ назадъ*". („Жизнь", августъ, 314). Можно было бы спросить: что удивительнаго въ томъ, что *даже* серьезные люди старались будить уснувшую совѣсть или поддержать колеблющуюся? развѣ это приличествуетъ именно несерьезнымъ людямъ? Но я обращаю вниманіе читателей на подчеркнутыя строки. Итакъ, „суровый духъ Рахметова" былъ родственъ семидесятымъ годамъ, даже родственнѣе, чѣмъ своему времени, и именно на почвѣ идей „уплаты", совѣсти, нравственной отвѣтственности. Кажется, ясно? Но, перевернувъ нѣсколько страницъ той же августовской книжки и дойдя всего до 322-ой, читаемъ: „Если вы хорошо помните Рахметова, то хорошо помните и то, что этотъ суровый человѣкъ, дѣйствительно весь отдавшій себя своей задачѣ, никакихъ покаянныхъ чувствъ въ себѣ не ощущалъ. Видалъ же онъ виды, надо думать, побольше и почище, чѣмъ Темкины и присные имъ". Хорошо ли помнитъ „аскета-реалиста" Рахметова самъ г. Соловьевъ,—этого мы касаться не будемъ. Но если „Темкины и присные имъ" характерны для семидесятыхъ годовъ (а, по мнѣнію г. Соловьева, они въ высшей степени характерны), то, казалось бы, „суровый духъ Рахметова" долженъ былъ „носиться" надъ ними, а не противополагаться. Но за такими мелочами не угоняться у г. Соловьева. Посмотримъ на итоги.

„70-е года отличались и темпераментомъ, и характеромъ. Эту справедливость имъ надо отдать въ полной мѣрѣ. Припомните журналистику того времени, ея ожесточенныя полемики, быстрое рѣшеніе, которое получали въ ней самые серьезные вопросы, рѣзкость и опредѣленность ея точекъ зрѣнія, и вы увидите, что люди жили или, по крайней мѣрѣ, имъ казалось, что они живутъ полною жизнью. И было несомнѣнно больше опредѣленныхъ физіономій, чѣмъ потомъ. И въ общественной жизни чувствовался тотъ же темпераментъ, та же напряженность ожиданія, тотъ же своего рода фанатизмъ и сектантство. Чувствовалась, словомъ, извѣстная вдохновенность общественностью". (Стр. 309). Не входя въ детальную оцѣнку этого набора словъ, вы видите во всякомъ случаѣ, что рѣчь идетъ о времени горячемъ, яркомъ, дѣйственномъ. Поигравъ затѣмъ въ умственную чехарду, образчики которой мы частію уже видѣли, а частію, можетъ быть, и еще увидимъ, г. Соловьевъ переходитъ

къ фактамъ, при чемъ „не касаясь тайнаго dossier 70-хъ годовъ, ограничивается характернымъ и общеизвѣстнымъ документомъ“, а именно очерками „Въ перемежку“. Затѣмъ идетъ отдѣлка Григорія Темкина за разныя его слабости, но въ особенности за его „дряблую, больную, никому не нужную совѣсть“, за чрезмѣрно преувеличенное „чувство личной отвѣтственности за свое общественное положеніе“. И „это не было его личное чувство,—пишетъ г. Соловьевъ,—а чувство и настроеніе цѣлой эпохи, по крайней мѣрѣ цѣлой общественной группы, часть которой ушла въ карьеру, а другая часть въ себя, чтобы копаться въ душѣ своей, копаться въ ней вплоть до дѣтскихъ воспоминаній и даже дальше того—до лѣтописи и поколѣній, копаться тамъ и мучить себя, переходя отъ рыданій къ восторгамъ передъ дивной красотой новаго чувства“... Такова была „насыщенная нравственною отвѣтственностью атмосфера“ семидесятыхъ годовъ, и это было результатомъ „сословнаго характера“ ихъ представителей.

Прежде всего васъ поражаетъ здѣсь какое-то странное несоотвѣтствіе между началомъ и концомъ картины: въ началѣ что-то бодрое, сильное, яркое, „вдохновенность общественностью“, а въ концѣ — что-то дряблое, бѣдное и чисто личное. И это, очевидно, не только потому, что авторъ „сейчасъ брюнетъ, сейчасъ блондинъ“. Это самой собой, но, кромѣ того, очевидно, что изъ яркаго начала авторъ сдѣлалъ какое-то очень большое вычитаніе, чтобы получить скудный конецъ. Одно изъ вычтенныхъ слагаемыхъ указываетъ самъ г. Соловьевъ, говоря о неполнотѣ, какъ онъ выражается „dossier 70-хъ годовъ“. Казалось бы, уже одно это обстоятельство должно было воздержать добросовѣстнаго изслѣдователя отъ сужденій о нравственной атмосферѣ семидесятыхъ годовъ. Но „тщетны россамъ всѣ препоны“. Г. Соловьевъ не въ атмосферѣ чрезмѣрно чуткой совѣсти воспитался, а потому можетъ смѣло утверждать, что „Темкины и присные имъ“ „ушли въ карьеру“ или „въ себя“. Онъ идетъ дальше и, чтобы получить свой скудный итогъ, устраняетъ и тѣ матеріалы, какіе имѣются въ очеркахъ „Въ перемежку“, и всѣ семидесятые годы сводитъ къ Григорію Темкину, къ его личнымъ свойствамъ и темпераменту. Между тѣмъ и въ запискахъ Темкина фигурируютъ и другіе люди, близкіе ему по образу мыслей, но съ иными личными свойствами и иными темпераментами. Г. Соловьевъ самъ указываетъ на нѣкоторыхъ изъ нихъ, замѣчая, что „по условіямъ журнальной работы они какъ то скомканы, но

все же любопытныя фигуры". Отмѣтивъ ихъ мимоходомъ, г. Соловьевъ не вводитъ, однако, ихъ въ свой итогъ „нравственной атмосферы 70-хъ годовъ". Я знаю, что онъ возразитъ на это. Онъ скажетъ, что эти „любопытныя фигуры" все изъ „разночинцевъ", а онъ имѣлъ въ виду прослѣдить только сословный дворянскій или, какъ онъ часто выражается, „старобарскій" элементъ въ литературѣ и жизни 70-хъ годовъ. Въ такомъ случаѣ не слѣдовало говорить о „нравственной атмосферѣ" вообще, а объ ней именно трактуетъ г. Соловьевъ и въ другихъ статьяхъ. Къ этому надо еще прибавить, что въ числѣ „кающихся дворянъ" въ запискахъ Темкина есть его сестра Соня (отличіе характера которой отъ характера брата отмѣчаетъ самъ г. Соловьевъ), есть Сицкій, Бухарцевъ, Далматовъ. И если бы даже только на нихъ г. Соловьевъ остановилъ свое вниманіе, такъ и то его итогъ отличался бы отъ того, который онъ теперь дѣлаетъ: ни „въ карьеру", ни „въ себя" эти люди не ушли, а очутились въ сонномъ видѣніи Григорія Темкина на правой сторонѣ картины Семирадскаго вмѣстѣ съ разночинцами Нибушемъ, Апостоловымъ и др.

Мнѣ неловко ссылаться на скромныя записки Темкина, какъ на нѣчто, по словамъ г. Соловьева, „характерное и общеизвѣстное", и я не буду подтверждать сказанное цитатами, тѣмъ болѣе, что ниже мнѣ придется таки цитировать самого себя, - слишкомъ уже развязенъ г. Соловьевъ.

Пока рѣчь идетъ о „личной отвѣтственности за свое общественное положеніе", г. Соловьевъ можетъ противополагать Темкина Нибушамъ и Апостоловымъ въ жизни и Салтыкова Рѣшетникову, Щапову и проч.—въ литературѣ: Темкинъ и Салтыковъ дѣйствительно родовитые люди, Рѣшетниковъ, Щаповъ, Апостоловъ, Нибушъ—дѣйствительно разночинцы. Но это различіе г. Соловьевъ заимствовалъ у Темкина и его же добромъ ему же челомъ бьетъ. Онъ только меньше останавливается на томъ обстоятельствѣ, что различіе происхожденія не мѣшало людямъ идти рука объ руку, что не препятствуетъ ему, однако, красить всѣ семидесятые годы „сословнымъ" и даже „старо-барскимъ характеромъ". Если вы спросите, что именно носило этотъ характеръ, то, кромѣ „покаяннаго" чувства въ смыслѣ „чувства личной отвѣтственности за свое общественное положеніе", каковое чувство, конечно, могло одушевлять только людей этого именно положенія; кромѣ, говорю, этого чувства, весьма, однако, старому барству чуждаго, г. Соловьевъ пере-

числитъ: „утопизмъ", „народничество", „вѣру въ силу критически мыслящей личности" и т. д. Но ни одинъ изъ этихъ пунктовъ не получаетъ сколько нибудь удовлетворительнаго объясненія. Почему, напримѣръ, утопизмъ или вѣра въ силу критически мыслящей личности отнесены къ старо-барскому духовному багажу? Сколько мы знаемъ старо-барскую жизнь,—а мы вѣдь ее хорошо знаемъ,—въ ней не было никакихъ задатковъ ни того, ни другой. А г. Соловьевъ не поддерживаетъ своихъ положеній ни индуктивнымъ путемъ изслѣдованія происхожденія нашихъ „утопистовъ",—съ него достаточно того факта, что гр. Л. Толстой „утопистъ",—ни путемъ вывода изъ какихъ нибудь общихъ положеній, логически связывающихъ „старое барство" съ „утопизмомъ". Онъ просто съ чрезвычайною быстротою нанизываетъ слово на слово, не озабочиваясь ни фактическою достовѣрностью, ни логическимъ смысломъ. Понятно, какое фальшивое освѣщеніе должны получить подъ такимъ бойкимъ подхалимовскимъ перомъ семидесятые годы. Будущій историкъ этихъ годовъ, которому не придется жаловаться на неполноту ихъ „dossier", можетъ быть, сурово осудитъ ихъ ошибки и увлеченія, но, наткнувшись на работу (?!) г. Соловьева, придетъ въ изумленіе; въ изумленіе и негодованіе и по всей справедливости обзоветъ автора очень нехорошимъ именемъ.

Тѣ „неучи", къ которымъ мнѣ пришлось когда-то обратиться съ открытымъ письмомъ въ печати, желали видѣть въ запискахъ Темкина мою автобіографію, прихвативъ по этому поводу и родственниковъ моихъ. Г. Соловьевъ, должно быть, человѣкъ ученый, а потому ограничивается отождествленіемъ идей и чувствъ Григорія Темкина и тѣхъ, которыя мнѣ случалось излагать отъ своего собственнаго имени. Выходитъ, напримѣръ, слѣдующее:

„Если сѣкутъ мужика—пусть сѣкутъ и меня". Какая это маленькая, короткая и удивительная формула, настолько характерная, что ее вспоминаютъ и теперь. Въ свое время она очевидно отвѣчала настроенію и явилась, если можно такъ выразиться, выжимкой, самымъ густымъ сокомъ сотни подобныхъ же формулъ, дающихъ такую особенную и странную окраску семидесятымъ годамъ. Или вотъ еще формула, принадлежащая одному изъ несомнѣнныхъ властителей думъ своего поколѣнія (1873 г.): „Да будутъ они (права и свобода) прокляты, если они не только не дадутъ намъ возможности разсчитаться съ долгами (передъ народомъ), но еще и увеличатъ ихъ".

Вы, конечно, сразу видите, кому принадлежатъ въ дѣйствительности и кому только могутъ принадлежать такія страшныя слова, отъ которыхъ, впрочемъ, западный человѣкъ вѣроятно только бы поморщился, какъ отъ

какого-нибудь слишкомъ уже специфическаго запаха и ничего болѣе. А все же слова не лишены остроумія. Поражаетъ въ нихъ прежде всего поразительная щедрость: копѣйка правъ и грошъ свободы ставятся ребромъ и человѣкъ доходитъ до такой степени просіянія и благородства, что кутитъ на послѣднія. *Ему даже и въ голову не приходитъ спросить себя, а какой собственно можетъ произойти прокъ отъ проклятія правамъ и свободѣ, даже отъ того, что меня, кающагося дворянина, будутъ сѣчь? поможетъ ли экзекуція уплатѣ долговъ и не увеличитъ ли въ концѣ концовъ она ихъ? Вѣдь въ такой экзекуціи ничего особеннаго нѣтъ и были времена, когда ее примѣняли къ каждому, но не въ нѣ ли времена и накопилась наибольшая сумма долга. Но кающійся дворянинъ ни о чемъ себя и спрашивать не хочетъ*: ему бы только угомонить свою не въ мѣру разошедшуюся совѣсть, а какимъ образомъ это можетъ быть достигнуто—расширеніемъ ли подлежащихъ проклятію правъ и свободы, или экзекуціей—ему безразлично. Могъ бы онъ продолжить нѣсколько далѣе свою мысль и за-одно ужъ—(„жизнь—копѣйка“)—предать проклятію и образованіе, напр., потому, что въ концѣ концовъ, en masse взятое, оно, разумѣется, только увеличиваетъ долги и лишь случайно, въ видѣ рѣдкостнаго исключенія, уменьшаетъ его. Многое вообще можно тутъ проклясть, была бы охота и крайняя *невоздержанность языка*, и прежде всего полное и плачевное отсутствіе всякаго политическаго смысла, съ точки зрѣнія котораго и права, и свобода—вещи слишкомъ драгоцѣнныя, чтобы всуе даже упоминать ихъ имя („Жизнь“, іюнь, 272).

Я на своемъ вѣку видалъ виды, но что-то не припомню полемическихъ пріемовъ, болѣе развязныхъ въ смыслѣ недобросовѣстности, чѣмъ эта тирада. И я, конечно, прошелъ-бы мимо нея съ презрѣніемъ, если-бы рѣчь шла лично обо мнѣ, а не обо мнѣ, какъ „несомнѣнномъ властителѣ думъ своего поколѣнія“. Прежде всего о фразѣ: „если сѣкутъ мужика, пусть сѣкутъ и меня“. Г. Соловьевъ и въ другихъ статьяхъ упоминаетъ эту фразу, и хотя не приписываетъ ее прямо мнѣ, но такъ располагаетъ ее среди другихъ, что у читателя должно остаться впечатлѣніе принадлежности ея именно мнѣ. Штуку эту пустилъ въ ходъ предшественникъ г. Соловьева, г. Буренинъ, и до такой степени назойливо приставалъ ко мнѣ съ ней, что я вынужденъ былъ, наконецъ, разъяснить, въ чемъ тутъ дѣло (См. Сочиненія, VI, 433—434). Что-же касается приводимыхъ г. Соловьевымъ подлинныхъ моихъ словъ, то они взяты изъ той части литературныхъ замѣтокъ 1873 г., въ которыхъ трактуется о мучительскихъ издѣвательствахъ Достоевскаго надъ 70-ми годами въ романѣ „Бѣсы“. Г. Соловьевъ цитируетъ мои слова вѣрно, но если-бы онъ продолжилъ цитату, то долженъ былъ-бы прибавить, напримѣръ, еще слѣдующія слова: „На извѣстной ступени развитія человѣкъ не можетъ не содрогаться при мысли о томъ количествѣ

жизней, которое оплатило собою его личное развитіе. Если онъ и не въ состояніи представить себѣ съ достаточною ясностью всю эту необъятную перспективу невольныхъ жертвъ его невольной высоты, то его всетаки смутно тянетъ къ уплатѣ долга. Для насъ этимъ стремленіемъ даже измѣряется высота развитія человѣка. И замѣтьте, что несчастный citoyen (такъ иронически называлъ Достоевскій нѣкоторыхъ изъ героевъ „Бѣсовъ"), находящійся въ такомъ положеніи, не можетъ отказаться отъ дальнѣйшаго движенія цивилизаціи. Онъ не можетъ сказать: довольно науки, не надо искусства, не надо богатства, развитія, свободы; подѣлимся всѣмъ, что мы имѣемъ и знаемъ, съ народомъ и конецъ дѣлу. Это простое рѣшеніе, предлагаемое, кажется, нѣкоторыми изъ полоумныхъ citoyen'овъ г. Достоевскаго, только полоумныхъ и можетъ удовлетворить. Нашъ долгъ народу неисчислимъ, и того, что мы въ настоящую минуту имѣемъ и знаемъ, не хватитъ и на уплату процентовъ, если-бы даже предполагаемая полоумными citoyen'ами ликвидація и была возможна... Если-бы вы знали, г. Достоевскій, какъ мучительно напрягается иной разъ ихъ (citoyen'овъ) мысль, взвѣшивая способы погашенія долга". (Сочиненія, I, 870—872).

Ахъ, это очень молодо и тѣ же семидесятые годы научили меня многому (см. напримѣръ, замѣтки 1880 г. Сочиненія VI, 952). Но вѣдь это написано четверть вѣка тому назадъ, напечатано сначала въ журналѣ и перепечатано четыре раза въ изданіяхъ сочиненій. Какой-же конструкціи лобъ надо имѣть, чтобы по поводу именно этой статьи утверждать: *„ему даже и въ голову не приходитъ спросить себя... онъ ни о чемъ себя и спрашивать не хочетъ"*...

Я хотѣлъ говорить о тѣхъ сложныхъ комбинаціяхъ, въ которыя входили въ разные моменты 70-хъ годовъ элементы совѣсти и чести. Но, во-первыхъ, вижу, что для этого еще не пришло время, а во-вторыхъ... во-вторыхъ, не съ г. Соловьевымъ и не по поводу его статей приличествуетъ говорить о чести и совѣсти.

VI *).

О „повѣстяхъ и разсказахъ“ г-жи Лѣтковой.—О двойственныхъ чувствахъ и одиночествѣ.—О рабствѣ и условіяхъ, при которыхъ „стыдно жить“.

За послѣдніе годы, какъ въ Европѣ, такъ и у насъ, форма романа, съ его широкими картинами политической, общественной или интимной жизни, если и не вытѣсняется формою „очерковъ и разсказовъ“, то во всякомъ случаѣ предоставляетъ ей рядомъ съ собой очень видное мѣсто. Трудно сказать, до какихъ предѣловъ дойдетъ „эволюція“,—трудно пока указать и причины ея. Жизнь ли становится слишкомъ сложна для того, чтобы художникъ отваживался охватить ея общія и широкія теченія въ одномъ цѣльномъ произведеніи; самъ ли художникъ становится слишкомъ нервенъ и нетерпѣливъ, чтобы сдерживать свое творчество въ ожиданіи возможности крупныхъ итоговъ; читатель ли, поглощенный обостренной борьбой за существованіе, можетъ удѣлять беллетристикѣ свое вниманіе лишь урывками и на короткіе сроки, и беллетристы отвѣчаютъ на невыраженный спросъ читателя; или все это вмѣстѣ; или еще что нибудь тутъ вліяетъ,—это дѣло будущаго историка литературы. Намъ, современникамъ, пока еще не все здѣсь достаточно ясно видно. Можно, однако, съ увѣренностью сказать, что не оскудѣніемъ талантовъ объяснитъ дѣло будущій историкъ литературы, по крайней мѣрѣ не имъ однимъ. Оскудѣніе талантовъ, конечно, временное, не подлежитъ, я думаю, сомнѣнію, но достаточно вспомнить повѣсти и разсказы Мопассана, чтобы не валить все дѣло на неурожай. Да и помимо фактическихъ иллюстрацій не видно, почему бы маленькій очеркъ требовалъ отъ художника меньшей творческой силы, чѣмъ романъ. Скорѣе напротивъ. Въ большомъ романѣ художника можетъ

---

*) Ноябрь 1899 г.

выручить общій замыселъ, удачный выборъ котораго доступенъ всякому умному и наблюдательному человѣку, хотя бы и лишенному большой творческой силы; художественные промахи и слабыя части могутъ быть искуплены отдѣльными удачными подробностями. Въ маленькомъ „очеркѣ", „этюдѣ", „разсказѣ" требуется, напротивъ, такая сжатость и равномѣрность частей, среди которой рѣжетъ ухо всякая фальшивая нота, и уже самыя условія времени и мѣста не даютъ автору возможности загладить впечатлѣніе этой фальшивой ноты.

Изъ этого не слѣдуетъ, разумѣется, чтобы авторы наводняющихъ нынѣ нашъ книжный рынокъ сборниковъ „разсказовъ и очерковъ", „очерковъ и картинокъ", „этюдовъ и очерковъ" и т. п. были все Мопассаны. Есть и у насъ крупные художники, пользующіеся этой формой, но въ огромной массѣ авторы „очерковъ и картинокъ"—будемъ вѣжливы—большими дарованіями не блещутъ. Есть, конечно, между ними и болѣе талантливые, и менѣе талантливые, но въ огромномъ большинствѣ ихъ васъ поражаетъ одна черта: отсутствіе физіономіи, какая-то безличность, въ которой тонутъ всякія особенности г. А и г-жи Z, г-жи В и г. Х. Какъ бы ни были, повидимому, разнообразны сюжеты ихъ произведеній и пріемы изложенія, вы всякій разъ точно встрѣчаетесь съ какимъ-то знакомымъ лицомъ, которое, однако, благодаря расплывчатости и неопредѣленности его чертъ, не фиксировалось въ вашей памяти, какъ особь, какъ единица, какъ индивидъ. Вы знаете всѣхъ этихъ авторовъ и не знаете ни одного изъ нихъ. И зависитъ это не только отъ того, что уровень ихъ талантливости приблизительно одинаковъ, а и отъ общей имъ черты, которую я сейчасъ не могу назвать лучше, какъ безпорядочностью вниманія.

Безконечно сложна и пестра жизнь. Какъ оріентируется въ ней художникъ? какъ выбираетъ изъ нея явленія или группы явленій для художественнаго возсозданія?—потому что выбирать приходится: ковшомъ моря не вычерпаешь. А между тѣмъ именно нѣчто въ родѣ вычерпыванія моря ковшомъ продѣлываютъ въ большинствѣ авторы „очерковъ и разсказовъ". Они не выбираютъ, а изображаютъ все, что случайно почему нибудь поразитъ ихъ зрѣніе и слухъ: сегодня одно, завтра другое, или совсѣмъ ничего общаго съ первымъ не имѣющее, или же связанное съ нимъ лишь матеріально,—мѣстомъ дѣйствія, извѣстнымъ слоемъ общества,—а не въ собственной душѣ автора, не въ его личности. Явленій жизни болѣе или менѣе важныхъ, болѣе или менѣе его волнующихъ для него не существуетъ.

Иные называютъ это „пантеизмомъ“: все равноцѣнно, и нѣтъ резона останавливать вниманіе на А или В предпочтительно передъ С. или Д. Слово „атеизмъ“ было бы, я думаю, въ этомъ случаѣ умѣстнѣе, ибо, если А, В, С, D и т. д. равноцѣнны, то лишь потому, что въ самомъ оцѣнщикѣ нѣтъ собственнаго, лично имъ добытаго мѣрила вещей, нѣтъ „живого Бога“, какъ выражается одинъ изъ героевъ г. Чехова. Но дѣло не въ словахъ,—пусть „пантеизмъ“. Безличность творчества—естественный результатъ такого положенія, и выдѣлить художника, зараженнаго этимъ пантеизмомъ, въ особую единицу съ опредѣленною физіономіей, можетъ только очень большой талантъ. Таковъ, напримѣръ, талантъ г. Чехова, давно уже, впрочемъ, кажется, разставшагося съ безпечальнымъ и безрадостнымъ, безвыборнымъ „пантеизмомъ“. Но не нужно быть красавцемъ, чтобы имѣть опредѣленную, оригинальную, легко различаемую среди другихъ физіономію,—для этого достаточно того, что называется выраженіемъ лица, свидѣтельствующимъ о нѣкоторой внутренней, духовной работѣ; выраженіе это можетъ быть привлекательно или отталкивающе,—это другой вопросъ, но его присутствіе во всякомъ случаѣ индивидуализируетъ лицо помимо его красоты или безобразія. Точно такъ же не нужно обладать Чеховскимъ талантомъ, чтобы стать опредѣленною „особью“ въ „разсыпанной храминѣ“ очерковъ и разсказовъ: нужно только имѣть „Бога живого“ въ душѣ, чѣмъ нибудь очень интересоваться, что нибудь очень любить или ненавидѣть, чего нибудь очень бояться или жалѣть. Эта-то внутренняя работа и дастъ автору очерковъ и разсказовъ опредѣленную физіономію, руководя его вниманіемъ среди многоцвѣтныхъ, многогранныхъ, многошумныхъ явленій жизни. Удачно ли будетъ направлено вниманіе, дѣйствительно ли заслуживаютъ интереса, любви, ненависти, страха, желанія захваченныя явленія,—это опять таки другой вопросъ.

Не касаясь беллетристовъ старшаго возраста, которые, хотя и пользуются формой очерковъ и разсказовъ, но не разстаются и съ формой романа, можно указать нѣкоторыхъ авторовъ очерковъ и разсказовъ, соединяющихъ талантливость съ извѣстною опредѣленностью физіономіи. Назовемъ, напримѣръ, г-жу Гиппіусъ, съ одной стороны, и г. Вересаева съ другой. И тотъ, и другая не звѣзды какія нибудь художественныя, но несомнѣнно талантливы и несомнѣнно выдѣляются изъ массы. Чѣмъ именно, однако? Это станетъ намъ особенно ясно, если мы сопоставимъ ихъ съ третьимъ и уже

гораздо болѣе талантливымъ авторомъ очерковъ и разсказовъ, — г. Максимомъ Горькимъ. Г. Горькій открылъ, можно сказать, новый рудникъ наблюденій и, разрабатывая его своимъ яркимъ дарованіемъ, показалъ намъ много сложныхъ и тонкихъ движеній человѣческой души, характерныхъ для данной среды, но не ей одной свойственныхъ. Такъ было когда-то съ Островскимъ, который, рисуя купечество, показалъ этимъ цѣлое „темное царство" и тѣ свѣтильники, которые тамъ подъ столомъ стоятъ, и все, что загорается, свѣтится и гаснетъ въ этой тьмѣ. Герои г. Горькаго босяки, но они не только босяки, они живые люди, чьи радости и горести намъ близки, хотя мы и въ сапогахъ ходимъ. Многое для насъ здѣсь ново, но вмѣстѣ съ тѣмъ многое и знакомо по собственному опыту, въ иныхъ, конечно, комбинаціяхъ. Дѣло въ томъ, что было бы что комбинировать. Большинство авторовъ очерковъ и разсказовъ орудуютъ топоромъ, а не скальпелемъ. Оно и понятно: плотниковъ на свѣтѣ больше, чѣмъ анатомовъ. Но понятно также, что результаты топорной работы слишкомъ грубы и однородны, чтобы образовать сложныя комбинаціи, а душа человѣческая слишкомъ сложная, тонкая и часто исполненная внутреннихъ противорѣчій вещь, чтобы поддаваться топорной работѣ. Если мнѣ дана картина человѣческой души во всей ея сложности, то я навѣрное найду въ ней хоть нѣкоторые элементы, которые такъ или иначе, въ положительномъ или отрицательномъ смыслѣ, встрѣтятъ отзвукъ въ моихъ собственныхъ душевныхъ движеніяхъ. Великіе мастера тѣмъ и приковываютъ насъ къ себѣ и къ изображаемому ими міру. Бѣда только въ томъ, что психологія о двухъ концахъ, и погоня за оригинальными, тонкими и сложными душевными движеніями часто разрѣшается вычурностью. Къ сожалѣнію, въ творчествѣ г. Горькаго замѣчается уклонъ въ эту сторону, а творчество г-жи Гиппіусъ и совсѣмъ въ этой вычурности погрязло. Другое дѣло г. Вересаевъ. Началъ онъ съ тонкаго анализа человѣческой души въ извѣстныхъ особенныхъ положеніяхъ, и это были прекрасныя страницы, доставившія много хорошаго волненія читателямъ. Но молодой авторъ быстро оставилъ эту благодарную почву и далъ намъ въ „Повѣтріи" словесную дуэль между марксистами и народниками. Это уже не живые люди, которымъ мы можемъ сорадоваться и сострадать, это схемы, ходячія теоріи, съ которыми можно только спорить, какъ спорятъ они между собою. Но гораздо цѣлесообразнѣе взять соотвѣтственныя книжки и статьи и изъ нихъ узнать, въ чемъ дѣло.

Мимоходомъ сказать, наши споры о марксизмѣ и народничествѣ, совершенно независимо отъ того, выяснили-ли они что-нибудь или нѣтъ, и если выяснили, то что именно, имѣли, между прочимъ, далеко не полезное вліяніе на нашу беллетристику и литературную критику. Припомнимъ хоть тотъ совершенно незаслуженный шумъ, который вызвали „Мужики“ г. Чехова, собственно потому, что въ нихъ усмотрѣно было свидѣтельство „деревенскаго идіотизма“ и превосходство городской культуры въ лицѣ трактирнаго полового. Или вотъ, напримѣръ, одинъ журналъ обѣщаетъ на будущій годъ, между прочимъ, статью подъ заглавіемъ: „Капиталистическій процессъ въ изображеніи Мамина-Сибиряка“. Тема, конечно, интересная, и нѣкоторые романы и разсказы г. Мамина могутъ дать для нея богатый матеріалъ. Но не значитъ-ли это подходить къ художнику съ боку, настигать его не въ живомъ центрѣ его творчества, а на одной изъ окраинъ? И не столь-ли же это односторонне, какъ цѣнить писателя исключительно съ эстетической точки зрѣнія? Или еще примѣръ. Гл. Успенскій очень часто поминается современною критикою, при чемъ критикою, настаивающею на необходимости для искусства „совершенствоваться въ своей спеціальности“; но поминается исключительно подъ угломъ „земледѣльческихъ идеаловъ“, „красоты ржаного поля“, „власти земли“ и проч. Все это, конечно, очень интересно и важно, и самого Успенскаго очень занимало. Но въ его-же сочиненіяхъ есть цѣлая сокровищница тончайшихъ психологическихъ наблюденій гораздо болѣе общаго характера; въ томъ смыслѣ болѣе общаго, что если вопросами объ экономикѣ, какъ фундаментѣ, и т. п. волнуются, скажемъ, даже тьмы, то упомянутыми движеніями живутъ тьмы темъ.

На эти (и на многія другія, какъ увидитъ читатель) мысли навели меня недавно вышедшіе два томика „повѣстей и разсказовъ“ г-жи Лѣтковой. Всѣ эти повѣсти и разсказы были уже раньше напечатаны въ журналахъ (преимущественно, кажется, въ „Русской Мысли“), но въ отдѣльности они проходили мало замѣченными, и объ нихъ только и можно было сказать: всегда умно и тонко задумано и почти всегда талантливо, хотя и не ровно исполнено. Теперь другое дѣло. Теперь сами собою бросаются въ глаза нити, руководящія вниманіемъ автора, вслѣдствіе чего его литературная физіономія получаетъ интересъ, какой рѣдко вызываютъ авторы

„повѣстей и разсказовъ“, „разсказовъ и очерковъ“ и т. п. Вниманіе г-жи Лѣтковой не разбѣгается по безбрежному морю жизни, волны котораго могутъ, сами по себѣ, безцѣльно и безсмысленно носить мысль писателя, какъ щепку, лишенную собственной воли и свободнаго выбора. Она вноситъ въ это море нѣчто личное, около чего и соображаясь съ чѣмъ кристаллизуются явленія жизни въ литературную форму; и это личное, во первыхъ, такъ значительно, а во вторыхъ, такъ ясно, такъ прозрачно ясно, что не только не боится встрѣчъ съ сложнѣйшими и на первый взглядъ загадочными явленіями, а даже ищетъ ихъ.

Героиня самаго большого и самаго значительнаго по содержанію, а можетъ быть и по исполненію, разсказа г-жи Лѣтковой („Мертвая зыбь“ онъ называется) пишетъ въ своемъ дневникѣ: „Меня всегда тянуло въ двѣ стороны: самоотреченіе, гуманность, самопожертвованіе на пользу обездоленныхъ и страдающихъ, радость чужому счастью, состраданіе чужимъ слезамъ... Съ другой стороны: безсознательная, но мучительная жажда личнаго счастья, жажда ласкъ, красоты, нѣги... Я пыталась оправдать себя наслѣдственностью. Моя мать—олицотворенный принципъ альтруизма, отецъ—добрый, симпатичный кутила, рабъ своихъ страстей“. „Какая это все натяжка!“—заключаетъ въ порывѣ самообличенія Елена Борисовна Бармина (такъ зовутъ героиню „Мертвой зыби“). Однако, и въ самомъ концѣ разсказа, въ письмѣ, въ которомъ она прощается съ своимъ возлюбленнымъ, оставляя ему свой дневникъ, она пишетъ: „Я оставляю тебѣ эту тетрадь... Я завела ее для того, чтобы имѣть возможность разбираться въ себѣ, постоянно слѣдить за борьбой разума съ чувствомъ, постоянно ловить себя на *двойственности моей несчастной природы*“.

Объ этомъ рѣшительномъ и непримиримомъ, какъ думаетъ Елена Борисовна, внутреннемъ противорѣчіи, пронизывающемъ всю ея жизнь, рѣчь у насъ пойдетъ ниже по существу. Здѣсь пока оно интересуетъ меня только, какъ явленіе, остановившее на себѣ вниманіе автора. Надо замѣтить, что героиня „Мертвой зыби“ и отдѣльные моменты своей жизни характеризуетъ противорѣчивыми терминами. Она записываетъ въ своемъ дневникѣ: „Какъ хорошо жить, какъ страшно жить!“ „Я еще никогда въ жизни такъ не мучилась... и никогда въ жизни не была такъ счастлива“. „Стыдно, но хорошо жить на свѣтѣ“. И т. п. Не безъинтересно также отмѣтить обращенный къ Еленѣ Борисовнѣ ея возлюбленнымъ злой, но фактически

не очень преувеличенный упрекъ: „Ты всегда была такая: дѣвушкой, окруженная шестидесятниками, ты думала объ офицерахъ; теперь, среди роскошнѣйшей въ мірѣ природы (въ Сициліи), болѣешь о нищихъ и голодныхъ“.

Въ разсказѣ „Лушка“ три дѣйствующихъ лица: девятилѣтняя дѣвочка Лушка, ея семимѣсячный братъ Ѳедька и ихъ мать, пьяная и распутная солдатка Авдотья. Лушка съ пяти лѣтъ няньчитъ своихъ „братцевъ“, которые одинъ за другимъ быстро умираютъ, — вотъ только Ѳедька до семи мѣсяцевъ дожилъ. Дѣвочка хочетъ жить такою же жизнью, какъ ея сверстницы и сверстники, но Ѳедька связываетъ ее по рукамъ и по ногамъ, не даетъ жить, но вмѣстѣ съ тѣмъ она сердцемъ привязалась къ мальчишкѣ. „Она постоянно жалѣла Ѳедьку, хотя постоянно злилась на него. Злилась за то, что должна была весь день носить его на рукахъ, что ее звали „кривая нянька“, что не могла ни бѣгать, ни играть съ дѣтьми, что не имѣла ни минуты свободной“. Безпутная мать утѣшаетъ ее: „вотъ Господь приберетъ, тогда и гуляй себѣ на здоровье“. Лушка и сама молилась о томъ, чтобы Богъ „прибралъ“ Ѳедьку, а тотчасъ послѣ молитвы „ласково и любовно няньчила брата, съ жалостью глядѣла на его пухлое личико съ беззубымъ ртомъ, цѣловала его, зная, что скоро придется разстаться съ нимъ“. Кончается дѣло тѣмъ, что Лушка, оскорбленная насмѣшками ребятишекъ, не помня себя, въ безумномъ гнѣвѣ начинаетъ колотить Ѳедьку и заколачиваетъ до смерти. Увидя это, „дѣвочка поблѣднѣла, какъ полотно, и припала губами къ открытому рту ребенка“... Такія же противорѣчивыя, двойственныя, любовно-враждебныя отношенія связываютъ Лушку съ матерью.

Этотъ мотивъ противоестественнаго, казалось бы, сочетанія любви и вражды и соотносительной комбинаціи наслажденія и страданія проходитъ едва ли не черезъ всѣ повѣсти и разсказы г-жи Лѣтковой. Кромѣ „Мертвой зыби“ и „Лушки“, онъ мелькаетъ въ воспоминаніяхъ героини „Отдыха“, играетъ существенную роль и въ „Счастьи“, и въ „Горѣ“, и въ „Лишней“, и въ „Чудачкѣ“, и въ „Бабьихъ слезахъ“. Особенно часто возвращается г-жа Лѣткова къ любовно-враждебнымъ отношеніямъ между матерями и дочерьми. Любопытенъ въ этомъ отношеніи разсказъ „Горе“, слабѣйшій изъ всѣхъ, да и прямо неудачный. Онъ цѣликомъ, безъ тѣней, безъ единаго вводнаго лица или сколько нибудь посторонняго обстоятельства, посвященъ изображенію любовно-враждебныхъ отношеній

между видавшей когда то лучшіе дни пьяницей-матерью и двумя ея дочерьми. Выходитъ слишкомъ элементарно, схематично и грубо. Разсказъ интересенъ только какъ черезчуръ подчеркнутое указаніе на точки и линіи жизни, привлекающія къ себѣ вниманіе автора.

Сочетаніе любви и ненависти, равно какъ страданія и наслажденія—явленія слишкомъ сложныя для обработки ихъ топоромъ и даже не замѣчаемыя мастерами топорной работы, и слишкомъ деликатныя, чтобы по отношенію къ нимъ была позволительна вычурность. Люди узкіе и прямолинейные ихъ не знаютъ, или знаютъ только въ грубыхъ формахъ, напримѣръ, ревности, которая обыкновенно представляетъ собою нѣкоторый переплетъ любовныхъ и враждебныхъ чувствъ, а для художниковъ низшихъ сортовъ соблазнительна эффектами возможнаго уголовнаго разрѣшенія. Я не говорю, разумѣется, чтобы эта тема была недостойна и великихъ художниковъ. Достаточно вспомнить шекспировскаго Отелло. Изъ нашихъ большихъ художниковъ ревность особенно интересуетъ гр. Толстого (въ „Казакахъ", въ „Семейномъ счастьи", во многихъ мѣстахъ „Войны и мира" и „Анны Карениной", наконецъ, въ „Крейцеровой сонатѣ",—все crescendo, все ярче и больнѣе). Но вопросъ въ томъ, какъ трактовать это „чудовище съ зелеными глазами", способное „само себя питать",—брать ли его въ элементарной животной формѣ или въ той сложной и мучительной сѣти, которая составляется изъ воображаемыхъ или дѣйствительныхъ обидъ высшаго порядка, изъ подозрѣній или увѣренности въ предательствѣ, изъ надламывающейся вѣры въ человѣческое достоинство, изъ остатковъ поруганной любви и возникающаго броженія ненависти или презрѣнія и проч. Все это, конечно, недоступно прямолинейнымъ и узкимъ мастерамъ топорной работы.

Это, впрочемъ, мимоходомъ, такъ какъ собственно ревность мало занимаетъ г-жу Лѣткову. Она ея касается мимоходомъ въ „Лишней" да въ „Мертвой зыби", и это, кажется, все. Ея вниманіе поглощено совсѣмъ другими двойственными, противорѣчивыми, любовно-враждебными чувствами, далеко выходящими изъ круга спеціально-любовныхъ отношеній между мужчинами и женщинами. Это, если хотите, отчасти темы Достоевскаго. Но у г-жи Лѣтковой нѣтъ ни силы Достоевскаго, ни жестокости этой силы, ни мистической вѣры въ стихійную непреоборимость двухъ противорѣчивыхъ положеній: „человѣкъ любитъ мучить другихъ людей"—„человѣкъ любитъ терпѣть мученія отъ другихъ людей". На этихъ двухъ нотахъ, вмѣстѣ и по-

рознь взятыхъ, могучій талантъ разыгрывалъ удивительнѣйшія пьесы, въ которыхъ было много не только увлекательно-мучительнаго или мучительно-увлекательнаго, но и много вѣрнаго дѣйствительности, хотя это вѣрное было почти всегда воспроизведеніемъ и обобщеніемъ уродства Во всякомъ случаѣ психологическія фантазіи Достоевскаго имѣютъ ту отрицательную цѣну, что колеблятъ вульгарныя положенія: „человѣкъ ищетъ наслажденія“ и „человѣкъ бѣжитъ страданія“, положенія, будто бы равняющіяся другому: „человѣкъ хочетъ счастья“. Да, конечно, человѣкъ хочетъ счастья, но счастье и наслажденіе не синонимы, по крайней мѣрѣ, для людей, стоящихъ на извѣстной ступени развитія.

Недавно одинъ начинающій поэтъ принесъ мнѣ тетрадь своихъ стихотвореній, изъ которыхъ меня особенно заинтересовало одно, написанное „на аджарскій мотивъ“. Человѣкъ умеръ, и душа его отлетѣла въ горнія селенія на райское блаженство, но вотъ наступилъ ея чередъ возвращаться на землю, и мысль о предстоящихъ земныхъ дѣлахъ, скорбяхъ и радостяхъ была ей „пріятна“. Я замѣтилъ молодому стихотворцу, что это слово „пріятна“, вполнѣ умѣстное въ смыслѣ ритма и риѳмы, тѣмъ не менѣе рѣжетъ ухо: пріятно выкурить папиросу, пріятно съѣсть кусокъ кулебяки, но, чтобы характеризовать напряженность тяготѣнія человѣка къ земнымъ дѣламъ даже послѣ райскаго блаженства,—слово „пріятно“ слишкомъ бѣдно, блѣдно. И это портитъ оригинальную мысль и поэтическій колоритъ стихотворенія. Поэтъ отвѣтилъ, что это точный переводъ съ аджарскаго. Очень вѣрю. Полудикій аджарецъ можетъ располагать всѣ явленія жизни въ полярности пріятнаго и непріятнаго, и, можетъ быть, для него весь смыслъ пѣсни, переложенной молодымъ поэтомъ, исчерпывается тѣмъ, что въ раю хорошо, пріятно, да шашлыка не даютъ, а шашлыкъ ѣсть пріятно. Однако, и въ жизни аджарца могутъ быть моменты, когда онъ затруднился бы квалифицировать свое душевное состояніе столь бѣдно и одноцвѣтно. Если онъ, самъ смертельно раненый, во исполненіе священнаго для него закона кровавой мести убилъ врага, двухъ, десять враговъ, весь вражескій родъ истребилъ,—страдаетъ онъ или наслаждается? „Пріятно“ или „непріятно“ было христіанскому мученику, когда онъ, терзаемый львами и пантерами, твердо вѣрилъ, что душа его сейчасъ, сію минуту послѣ того, какъ покинетъ истерзанное тѣло, вкусить райское блаженство и вѣчную жизнь? Есть высшіе моменты счастья, столь высокіе, что къ нимъ даже не идетъ опошленное слово счастье;

опошленное, потому что вѣдь и „дуракамъ счастье“, и есть счастливые игроки въ карты и на конскихъ скачкахъ. Въ эти высшіе моменты исчезаетъ самый вопросъ о пріятномъ и непріятномъ, страданіи и наслажденіи, хотя бѣдность языка и заставляетъ насъ все-таки употреблять эти слова. Въ объятіяхъ сфинкса Гейне чувствовалъ и Schmerz, и Lust, и страданіе, и наслажденіе, но и то, и другое было unermässlich—неизмѣримо, и, слѣдовательно, не было между ними границы, они сливались въ одно цѣлое. Это высшій, напряженнѣйшій моментъ счастья любви, но подобные моменты есть и въ религіозной жизни, и въ политической, и въ процессахъ художественнаго творчества, и научнаго познаванія. Ихъ не поймешь и не оцѣнишь вершковой мѣркой „пріятнаго“ и „непріятнаго“. Г-жа Лѣткова знаетъ иную мѣрку...

Но я боюсь, что сопоставленіемъ г-жи Лѣтковой съ Достоевскимъ я даю читателю преувеличенное понятіе о ея художественныхъ силахъ. Тутъ и сравненія никакого не можетъ быть. Но каковъ бы ни былъ стаканъ, изъ котораго пьетъ г-жа Лѣткова, она пьетъ изъ *своего* стакана. Ея повѣсти и разсказы—плодъ самостоятельнаго, серьезнаго наблюденія и размышленія, вдумчиваго отношенія къ жизни и къ задачамъ ея художественнаго воспроизведенія. И я мало знаю за послѣднее время въ литературѣ явленій, которыя, при такой скромной, сдержанной формѣ, были бы столь значительны по содержанію.

Сдержанность,—а еще бы лучше по французски: sobriété—составляетъ отличительную черту писательской манеры г-жи Лѣтковой. Она не любитъ ни длинныхъ описаній, ни кричащихъ эффектовъ, ни рѣзкаго обнаруженія ея собственныхъ, авторскихъ чувствъ. Временами ея сдержанность во всѣ эти стороны способна вызвать даже досадное чувство въ читателѣ. Вотъ, напримѣръ, первыя строки разсказа „Отдыхъ“:

„Солнце горѣло и яркими искрами обсыпало мелкую рябь Волги. Громадное синее небо сіяло спокойной, радостною красотой. Двухъэтажный пароходъ плавно и быстро катился внизъ по рѣкѣ, оставляя за собою крупныя, лѣнивыя волны. На одномъ изъ береговъ раскинулась березовая роща съ ярко-зелеными полянками, на другомъ величаво вытянулся старый лѣсъ. Ели тѣснились и ползли другъ на друга. Между прямыми, темными стволами было прохладно и жутко. Изрѣдка бѣлѣла и блестѣла серебристая кора березы. Пахло смолой и разогрѣтой хвоей“.

Вотъ и весь волжскій пейзажъ, лишь изрѣдка напоминаемый той или другой подробностью въ дальнѣйшемъ теченіи разсказа. Онъ очень красивъ и вѣренъ, этотъ пейзажъ, и, можетъ быть, совершенно достаточенъ для введенія въ драму одинокой души, совершающуюся на пароходѣ. Но читателю хотѣлось бы, можетъ быть, подольше посмотрѣть на „обсыпанную яркими искрами горящаго солнца мелкую рябь Волги“, на эти остающіяся за пароходомъ „крупныя, лѣнивыя волны“, на эти „прямые, темные стволы, между которыми прохладно и жутко“...

Г-жа Лѣткова, какъ увидимъ, придаетъ большое и едва ли преувеличенное отрицательное значеніе мелкой и пустой, никому собственно ненужной сутолокѣ, обязывающей людей жить „какъ всѣ“ въ данномъ кругѣ общества. Но, напримѣръ, въ „Праздникахъ“ или въ „Чудачкѣ“ она ограничивается въ этомъ направленіи спокойной сдержанной ироніей, когда по ходу дѣла законны были бы гнѣвъ и скорбь. Только въ „Мертвой зыби“ даетъ она себѣ въ этомъ отношеніи нѣкоторую волю, да и то не себѣ, а героинѣ повѣсти, ведущей дневникъ.

Быть можетъ, тѣмъ же излишествомъ сдержанности слѣдуетъ объяснять и ту нехудожественную торопливость, съ которою авторъ сводитъ къ тому или другому концу нѣкоторыя драматическія коллизіи: отнюдь нельзя сказать, чтобы эти концы были незаконны, чтобы они не вытекали изъ всего хода дѣла, но они были бы болѣе оправданы, если бы авторъ подольше остановился на промежуточныхъ звеньяхъ.

Съ другой стороны, вотъ конецъ „Отдыха“:

„Безстрастный глубокій куполъ неба низко прикрылъ землю. Хмурый лѣсъ на берегахъ Волги почернѣлъ. Откуда то неслась протяжная пѣсня, безконечная, заунывная. Пароходъ съ шумомъ дѣлалъ поворотъ, чтобы подойти къ пристани противъ теченія.

„Марья Ниловна пролѣзла подъ перила, подошла къ борту и, не оглядываясь, шагнула впередъ. Никто и не услыхалъ ея паденія. Она исчезла такъ же незамѣтно, какъ и жила“.

Таковъ финалъ драмы, на этотъ разъ вполнѣ подготовленный („Отдыхъ“ вообще одинъ изъ лучшихъ разсказовъ). И нельзя не оцѣнить сдержанность, съ которою авторъ оставилъ въ сторонѣ отъ читателя предсмертныя муки Марьи Ниловны, возню на пароходѣ, когда узнали объ ея исчезновеніи и пр. т. п. Все это могло бы быть обработано очень эффектно, но совершенно не нужно, такъ

какъ весь смыслъ разсказа сводится въ итогѣ къ послѣднимъ строкамъ.

Незамѣтной жизни естественно оборваться незамѣтной смертью, и, можетъ быть, и всякій другой писатель, въ виду этой мрачной, но естественной гармоніи, воздержался бы отъ длиннотъ и кричащихъ эффектовъ. Не то въ „Лушкѣ". Тутъ въ самой фабулѣ разсказа, какъ можно судить уже по вышеприведенному голому остову его, заключаются элементы, очень въ этомъ смыслѣ соблазнительные. Но, благодаря своей сдержанности, авторъ счастливо обошелъ всѣ эти подводные камни. Вообще въ чисто эстетическомъ отношеніи „Лушка" и „Отдыхъ" безупречны, благодаря, между прочимъ, тому изяществу, съ которымъ свѣтлыя группы пароходныхъ спутниковъ Марьи Ниловны въ „Отдыхѣ" и пріѣзжихъ веселыхъ гостей въ „Лушкѣ" оттѣняютъ мрачный фонъ жизни одинокой сироты старой дѣвы и одинокой деревенской дѣвочки.

Онѣ обѣ одиноки, эта старая дѣва и эта несчастная дѣвочка, какъ одиноки почти всѣ главныя дѣйствующія лица г-жи Лѣтковой. И если основной мотивъ ея твочества—противорѣчивыя, двойственныя любовно-враждебныя чувства, то рядомъ съ нимъ стоитъ другой—одиночество. Они находятся въ какой-то связи между собой.

Въ извѣстномъ смыслѣ человѣкъ никогда не бываетъ одинокъ. Имъ не былъ и Робинзонъ на своемъ необитаемомъ островѣ, имъ не бываетъ и узникъ, приговоренный къ одиночному заключенію. Въ наивозможно полномъ физическомъ одиночествѣ воспоминанія всетаки связываютъ насъ безчисленными нитями съ живыми людьми, съ авторами книгъ, съ творцами художественныхъ произведеній, чьи мысли и чувства мы восприняли когда-то, отмѣтивъ ихъ для себя положительнымъ или отрицательнымъ знакомъ, съ длиннымъ рядомъ историческихъ, легендарныхъ и фантастическихъ личностей, которыя когда-то такъ или иначе насъ заинтересовали. „Память, демонъ-властелинъ, все будитъ старину", и счастливъ узникъ, если память воскрешаетъ передъ нимъ только то, что онъ хотѣлъ бы воскресить. Но онъ, одинокій, не только находится въ общеніи съ огромнымъ міромъ своего непосредственнаго и посредственнаго опыта, а общеніе это, кромѣ того, принудительно, по крайней мѣрѣ, можетъ оказаться принудительнымъ: не легко, даже при страстномъ желаніи, выгнать изъ памяти иную обиду, иной собственный свой промахъ. И отнюдь

нельзя сказать, чтобы духовное общеніе съ многолюднымъ міромъ, разстилающимся за предѣлами резиденціи одинокаго человѣка, не было настоящимъ общеніемъ по своей односторонности, потому, дескать, что молча стоятъ передъ Робинзономъ или узникомъ вызванные памятью дорогіе или ненавистные образы, и нѣтъ ему отъ нихъ ни привѣта, ни отвѣта. Это невѣрно или, по крайней мѣрѣ, не совсѣмъ вѣрно. Нельзя съ рѣшительностью утверждать, что Робинзонъ „въ прошломъ отвѣта искалъ невозможнаго". Именно физическое одиночество можетъ поспособствовать, въ томъ или другомъ случаѣ, такой комбинаціи элементовъ прошлаго, которая даетъ отвѣтъ на неразгаданные на людяхъ вопросы, загадки, сомнѣнія.

Возможна, однако, и совершенно другая точка зрѣнія.

Въ очеркѣ „Solitude" Мопассанъ влагаетъ въ уста своего безъимяннаго пріятеля очень оригинальную философію одиночества. Изъ всѣхъ тайнъ человѣческой жизни—говоритъ онъ—я постигъ одну: великая мука нашего существованія состоитъ въ томъ, что мы вѣчно одиноки, и всѣ наши усилія, всѣ наши дѣйствія направлены къ тому, чтобы избѣжать этого одиночества... Весь очеркъ состоитъ изъ варьяцій на эту тему:

„Съ нѣкоторыхъ поръ я терплю отвратительную муку сознанія ужаснаго одиночества, въ которомъ я живу, и знаю, что ничто не можетъ его прекратить, понимаешь? ничто. Что бы мы ни придумывали, что бы мы ни дѣлали, каковы бы ни были порывы нашихъ сердецъ, призывы нашихъ губъ, объятія нашихъ рукъ, мы всегда одиноки. Я вотъ пригласилъ тебя прогуляться, чтобы не идти домой, гдѣ меня свирѣпо терзаетъ одиночество. А поможетъ ли это? Я тебѣ говорю, ты меня слушаешь, и мы оба одиноки, бокъ о бокъ и всетаки одиноки. Ты меня понимаешь?... Я никогда не чувствую себя до такой степени одинокимъ, какъ въ тѣ минуты, когда хочу раскрыть душу какому нибудь другу, потому что яснѣе вижу тогда непреодолимость препятствія. Вотъ онъ, этотъ человѣкъ, я вижу его глаза, устремленные на меня, но скрывающаяся за ними душа мнѣ неизвѣстна... Я и самъ напрасно хочу отдаться весь, открыть всѣ двери души. Въ глубинѣ, въ самой глубинѣ остается тайное мѣсто пребыванія моего *я*, куда никто не проникаетъ. Найти его, войти въ него никто не можетъ, потому что никто не похожъ на меня, потому что никто никого не понимаетъ... Женщины особенно заставляютъ меня чувствовать мое одиночество. Сколько я страдалъ черезъ нихъ, потому что онѣ часто давали мнѣ, больше

чѣмъ мужчины, иллюзію, будто я не одинокъ. Вступая въ сферу любви, какъ будто расширяешься. Тебя охватываетъ сверхчеловѣческое блаженство. Знаешь почему? Знаешь откуда это ощущеніе огромнаго счастья? Единственно потому, что воображаешь себя болѣе не одинокимъ. Сиротство человѣческаго существованія кажется прекращеннымъ. Какое заблужденіе!.. Даже въ тѣ часы, когда казалось, что въ таинственномъ аккордѣ двухъ существъ, въ полномъ сліяніи желаній и стремленій, вы проникали въ самую глубину ея души, какое нибудь слово, одно слово открывало вамъ ошибку и, какъ молнія ночью, озаряло раздѣляющую васъ пропасть... Что касается меня, я теперь заперъ свою душу. Я никому не говорю, во что я вѣрю, о чемъ думаю, что люблю. Зная, что осужденъ на ужасное одиночество, я смотрю на вещи, никогда не высказывая своего мнѣнія. Какое мнѣ дѣло до мнѣній, споровъ, удовольствій, вѣрованій! Не имѣя возможности ничѣмъ ни съ кѣмъ подѣлиться, я отъ всего отвернулся. Для отвѣтовъ на обыденные вопросы у меня есть банальныя фразы и улыбка, говорящая: „да“, когда мнѣ даже говорить не хочется. Понимаешь ты меня?“

Приведя этотъ (въ подлинникѣ гораздо болѣе длинный) монологъ своего пріятеля, авторъ раздумываетъ: „Былъ ли онъ пьянъ? или онъ сумасшедшій? или мудрецъ? Я еще не знаю. Иногда мнѣ кажется, что онъ правъ; иногда мнѣ кажется, что онъ сошелъ съ ума“.

Возможны, я думаю, рѣшенія и внѣ этой дилеммы. Очевидно во всякомъ случаѣ, что этотъ пріятель автора есть человѣкъ, много разъ ошибавшійся въ людяхъ, много разъ обидно и больно натыкавшійся на непроницаемость чужой души, разсыпавшій бисеръ передъ свиньями, а затѣмъ убѣдившійся, что не только „чужая душа потемки“, но и собственная его душа не настолько ясна ему самому, чтобы, при полномъ и страстномъ желаніи, развернуть ее передъ другими. Словомъ, это человѣкъ несчастный, чего онъ и не скрываетъ ни отъ себя, ни отъ другихъ. Съ другой стороны, однако, это человѣкъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ избалованный. Простому смертному, въ потѣ лица снискивающему хлѣбъ свой, нельзя „отъ всего отвернуться“. Онъ всѣмъ строемъ жизни вынужденъ такъ или иначе интересоваться людьми, „мнѣніями, спорами, удовольствіями, вѣрованіями“, да и досуга у него нѣтъ, чтобы такъ неустанно мучиться сознаніемъ своего одиночества. Онъ поневолѣ долженъ питать иллюзію взаимнаго пониманія и пи-

таться ею, если это въ самомъ дѣлѣ иллюзія. „Ибо, какъ говоритъ Мармеладовъ, бываетъ такое время, когда непремѣнно надо хоть куда нибудь да пойти... вѣдь надо же, чтобъ у всякаго человѣка было хоть одно такое мѣсто, гдѣ бы и его пожалѣли“. Getheilter Schmerz ist halber Schmerz, getheilte Freude ist doppelt Freude. Это фактъ слишкомъ общеизвѣстный, и потому, кромѣ того, такъ сказать, метафизическаго одиночества, которымъ мучится упомянутый мудрецъ или сумасшедшій, несчастный человѣкъ или баловень, есть одиночество реальное, житейское: когда некому раскрыть душу, не съ кѣмъ подѣлиться радостью или горемъ по условіямъ времени, мѣста, окружающей среды, съ одной стороны, личныхъ свойствъ— съ другой, а не въ силу какого-то всеобщаго мірового закона. Пусть мопассановскій герой есть мудрецъ, проникшій въ одну изъ тайнъ бытія, съ ужасомъ отступавшій передъ ея мрачной глубиной и сообразующій съ ней все свое поведеніе: ни съ кѣмъ ничѣмъ не дѣлится. Это положеніе до такой степени исключительное, что его и въ соображеніе принимать нельзя: мы не можемъ не дѣлиться— возьмемъ самый мрачный случай—хотя бы не только скорбью объ одиночествѣ (этимъ и мопассановскій герой дѣлится съ пріятелемъ), но и проклятіями, презрѣніемъ, вообще отрицательными чувствами по адресу тѣхъ или того, что дѣлаетъ насъ одинокими.

Мопассановскій пессимистъ и самъ признаетъ себя явленіемъ исключительнымъ. Люди, проникшіе въ тайну фатальнаго взаимнаго непониманія,—очень рѣдки, говоритъ онъ. Мюссе писалъ:

Qui vient? Qui m'appelle? Pesonne.
Je suis seul.—C'est 1 heure qui sonne.
O solitude! O pauvreté!

Но, замѣчаетъ нашъ пессимистъ, у Мюссе это было только преходящее сомнѣніе, а не окончательная увѣренность. „Онъ былъ поэтъ, онъ населялъ жизнь призраками, мечтами, онъ никогда не былъ одинокъ“. Другое дѣло Флоберъ, который такъ ясно понималъ и выразилъ свое великое несчастье: „Мы всѣ живемъ въ пустынѣ, никто никого не понимаетъ“.

Можно, однако, возразить, что вѣдь и Флоберъ былъ поэтъ, да и каждый изъ насъ, и не будучи поэтомъ, можетъ населять свою пустыню созданіями воображенія. И мы, такимъ образомъ, возвращаемся къ своему исходному пункту: человѣкъ никогда не бываетъ одинокъ. Но этимъ не кончаются недоразумѣнія. До сихъ поръ мы говорили объ одиночествѣ, какъ о горѣ, несчастіи, страданіи.

Но многимъ знакома просыпающаяся временами потребность хоть на короткій срокъ уйти изъ привычной сутолоки жизни и остаться наединѣ съ самимъ собой. Полное отсутствіе этой потребности замѣчается только у очень пустыхъ людей, не имѣющихъ въ собственной душѣ достаточныхъ рессурсовъ и потому одолѣваемыхъ скукой, какъ только прекращается притокъ внѣшнихъ возбужденій. Ничше, самъ часто искавшій уединенія, если не одиночества, утверждаетъ, что потребность одиночества составляетъ одинъ изъ признаковъ сильныхъ людей, прирожденныхъ „господъ", тогда какъ слабые, прирожденные „рабы" стадообразно жмутся другъ къ другу. И въ этомъ есть извѣстная доля истины, только требующая иного освѣщенія. По крайней мѣрѣ всякій, если не изъ жизни, то изъ литературы знакомъ съ образомъ сильнаго человѣка, гордо замыкающагося въ свое одиночество.

Попробуемъ разобраться во всемъ этомъ на основаніи художественныхъ матеріаловъ, представляемыхъ повѣстями и разсказами г-жи Лѣтковой. Начнемъ съ разсказа „Счастье", въ которомъ одиночество является какъ будто не только не источникомъ скорби, а, напротивъ, даже чѣмъ-то желаннымъ.

Иванъ Александровичъ Марковъ, профессоръ, „полвѣка прожилъ въ неустанной борьбѣ" и не успѣлъ свить себѣ гнѣздо. Его начинаетъ точить горечь одиночества. Въ особенности присосалась она къ его сердцу во время опасной болѣзни, когда онъ, лежа въ своей холостой квартирѣ, готовился къ смерти и мысленно подводилъ итоги своей жизни. Да и послѣ болѣзни, „въ длинныя безсонныя ночи къ нему подползала и становилась у изголовья горькая жалость къ себѣ, къ прожитымъ годамъ". Сегодня онъ былъ на литературно-артистическомъ обѣдѣ, гдѣ, между прочимъ, пили за счастіе и чокались съ молодымъ художникомъ Трубчинскимъ. Трубчинскаго этого Марковъ зналъ давно, когда-то они были близки. Молодой художникъ подавалъ блестящія надежды, частію осуществилъ ихъ, и Марковъ любитъ бесѣдовать съ нимъ о сюжетахъ его картинъ, о задачахъ искусства, и тотъ былъ многимъ обязанъ ему за эти бесѣды и сознавалъ это. Потомъ они потеряли другъ друга изъ виду. Трубчинскій пересталъ являться на выставкахъ, и слышно было только, что онъ женился по любви на какой-то богатой княжнѣ и счастливъ. Сегодня, возвращаясь съ обѣда, Марковъ припомнилъ эти слухи и горько сопоставилъ ихъ съ своими думами о собствен-

номъ одиночествѣ. Но на улицѣ его нагналъ Трубчинскій и между ними произошелъ разговоръ, давшій мыслямъ Маркова другое направленіе. Трубчинскій, возбужденный виномъ и встрѣчей съ человѣкомъ, когда-то игравшимъ большую роль въ его артистической жизни, раскрылъ передъ нимъ душу. Онъ вовсе не „счастливъ“ и съ злобной ироніей говоритъ о провозглашенномъ на обѣдѣ по его адресу тостѣ за счастіе. Онъ страстно любитъ жену, такъ же страстно любимъ ею, у нихъ есть прелестная дочка, матеріально онъ обставленъ какъ нельзя лучше,—и... и съ завистью разсказываетъ: „Вонъ у Свищова жена ушла... Горевалъ, головой объ стѣну бился, никого видѣть не хотѣлъ, уѣхалъ... Два мѣсяца просидѣлъ въ Финляндіи и какой „водопадъ“-то привезъ? Видѣли на выставкѣ? Вѣдь волна такъ и хлещетъ изъ рамы“... А онъ, Трубчинскій, совсѣмъ обезсилѣлъ. „Я знаю, что не сумѣю объяснить вамъ,—говоритъ онъ: я счастливъ и безумно мучаюсь, я обожаю жену и ненавижу ее. Мы цѣлыми часами говоримъ съ ней о коврахъ, о подушкахъ на диваны, о какихъ-то ненужныхъ и антихудожественныхъ фигуркахъ, и я не замѣчаю этого. А потомъ вдругъ мнѣ сдѣлается невыносимо, что она, моя Мери, какъ очень многія женщины, только и говоритъ, только и думаетъ, что о вещахъ“... „Образы расплываются, мысль не можетъ и не хочетъ сосредоточиться“. Вспомнивъ содержаніе картины на сюжетъ изъ „Фауста“, давно задуманной подъ вліяніемъ Маркова, именно Мефистофеля, являющагося передъ Фаустомъ въ видѣ схоластика, съ лицомъ самого Фауста,—Трубчинскій жалуется: „Не могу я схватить эту отвлеченную идею, не могу проникнуться ею... Мучаюсь, злюсь и ничего не выходитъ... Выходитъ одинъ и тотъ же натурщикъ въ двухъ разныхъ костюмахъ. А костюмы Мери сама мнѣ заказывала! Прекрасные!“ Тысячи мелочей въ родѣ семейнаго торжества у tante Sophie, костюмированнаго бала у себя дома и т. п. поглощаютъ время и силы бѣднаго художника, и суетится онъ во всемъ этомъ безъ всякаго аппетита, а только потому, что это нравится женѣ. „Я ея рабъ, понимаете: рабъ! Она сгубила меня, какъ художника, она съѣла мой талантъ. И чѣмъ съѣла? Лаской, любовью, заботами, нѣжностью“.—На вопросъ Маркова, что же мѣшаетъ ему бросить эту „суету“? Трубчинскій отвѣчаетъ: „Что? Любовь. Да, любовь... Иногда я рѣшаю бросить все, уйти опять въ бѣдность, въ одиночество, и работать. Ничего мнѣ не надо, кромѣ возможности создать то, что я задумалъ, чѣмъ жилъ такъ много лѣтъ... Придетъ Мери, красивая, милая, веселая, звать меня

купать нашу дѣвочку, и я бѣгу, какъ мальчишка, какъ счастливецъ, и все забываю передъ довѣрчивой улыбкой беззубаго ротика Бэби"...

Когда, кончивъ свою исповѣдь, Трубчинскій удалился, „Марковъ посмотрѣлъ ему вслѣдъ и бодро зашагалъ къ своему одинокому жилищу"... Еще бы! Его одиночество много выше, чѣмъ „счастье" Трубчинскаго, который и самъ промѣнялъ бы это счастье на одиночество, если бы не какая-то таинственная и позорная цѣпь, держащая его, какъ раба, въ составѣ ненавистной „суеты". Но былъ ли бы онъ одинокъ, если бы, порвавъ эту увитую розами, надушенную, позолоченную цѣпь, „ушелъ опять въ бѣдность", чтобы „создать то, что задумалъ, чѣмъ жилъ много лѣтъ"? Онъ бы вѣдь жилъ въ обществѣ возсозданныхъ имъ Фауста и Мефистофеля, а черезъ нихъ со всею міровою мыслью въ одну сторону и съ зрителями его картинъ, друзьями, въ родѣ того-же Маркова—въ другую. Въ этомъ смыслѣ не одинокъ и Марковъ. Незначительными, повидимому, но очень характерными чертами рисуетъ авторъ отношенія послѣдняго къ окружающимъ его людямъ. Онъ—профессоръ, много работаетъ и любитъ свое дѣло. „Очень многіе цѣнили его, нѣкоторые даже любили, ему завидовали, его лекціи собирали громадную аудиторію, и молодежь шла къ нему съ довѣріемъ и съ нѣжнымъ почтеніемъ". „И въ молодости, да и позже—до самаго послѣдняго времени—у него были самыя разнообразныя и искреннія отношенія съ женщинами". Казалось бы, чего еще человѣку нужно? Это ли одиночество? Но мы тутъ же узнаемъ, что жениться Маркову не пришлось, потому что „у него всегда были слишкомъ серьезныя требованія къ браку", жениться ему „мѣшала совѣсть". Иначе говоря, ему не встрѣчалась женщина, настолько близкая и близостью этой дорогая, чтобы прочно связать съ ней свою судьбу; отношенія были, по крайней мѣрѣ съ его стороны, сравнительно холодныя, блѣдныя. Но тѣми же холодноватыми и блѣдноватыми красками рисуются и отношенія къ нему другихъ людей: его „цѣнятъ", его „нѣкоторые даже любятъ", ему „завидуютъ", къ нему идутъ „съ довѣріемъ и нѣжнымъ почтеніемъ". Отъ всего этого холодкомъ вѣетъ, и Марковъ могъ бы по совѣсти повторить лермонтовскій стихъ: „некому руку подать въ минуту душевной невзгоды". Отъ чего это зависитъ? Марковъ играетъ въ разсказѣ совсѣмъ побочную роль, и мы объ немъ очень мало знаемъ. Можетъ быть, окружающая его холодноватая атмосфера установилась послѣ цѣлаго ряда разочарованій, а можетъ быть, онъ такъ преданъ своему дѣлу,

что никогда и не пытался сливаться съ кѣмъ нибудь душой. Очевидно, во всякомъ случаѣ, что онъ не ниже окружающей среды, въ которой не нашлось ему совсѣмъ близкаго человѣка, но насколько и въ какомъ именно отношеніи онъ ея выше, — этого авторъ намъ не показалъ. Ясно только, что свое одиночество онъ не можетъ промѣнять на счастье Трубчинскаго съ надушенной птицей. Его одинокое одиночество менѣе тяжко, чѣмъ то одиночечство вдвоемъ съ Мери или втроемъ съ нею и tante Sophie, или вдвадцатеромъ на костюмированномъ балѣ, въ которомъ задыхается Трубчинскій; ибо поистинѣ онъ одинокъ и вдвоемъ, и втроемъ, и вдвадцатеромъ: святѣйшее, лучшее, что въ немъ есть, и самое дорогое не находитъ отклика. Марковъ, по крайней мѣрѣ, не страдаетъ отъ того любовно-враждебнаго чувства, которое связываетъ Трубчинскаго съ женой.

Что же это, однако, за странное чувство? что это за противоестественное, казалось бы, сочетаніе „обожанія“ и „ненависти“? Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, мы забѣжимъ нѣсколько впередъ и остановимся на одномъ эпизодѣ изъ главнаго произведенія г-жи Лѣтковой—„Мертвой зыби“.

Елена Борисовна Бармина разошлась съ мужемъ, полюбивъ нѣкоего Львова. Но послѣ первыхъ восторговъ новой любви она начинаетъ ощущать въ ней какую-то трещину, сначала маленькую и постепенно расширяющуюся до полнаго раскола. Любовныя рѣчи и ласки все чаще перемежаются все болѣе острыми недоразумѣніями, размолвками, взаимнымъ раздраженіемъ. Въ одну изъ такихъ острыхъ минутъ Елена Борисовна спросила: „за что-же ты полюбилъ меня?“ Львовъ отвѣчалъ: „Неужели ты думаешь, что женщину любятъ за высокія идеи, за ученость или гражданскія доблести? Нисколько. Любовь является неизвѣстно какъ, но, несомнѣнно, на физіологической почвѣ... И дѣло не въ красотѣ... А такъ, въ чемъ-то неуловимомъ. Температура рукъ, запахъ волосъ, звукъ голоса... Все это физіологія“.

Елена Борисовна оскорбилась, но, очевидно, признала, если не общую и принципіальную, то фактическую и частную вѣрность мнѣнія Львова. Записавъ въ своемъ дневникѣ 9 ноября приведенный разговоръ, она 12 ноября пишетъ: „Вотъ уже четыре дня, какъ Д. (Дмитрій Львовъ) уѣхалъ, а я не скучаю... Нѣтъ, можетъ быть, и скучаю, но не страдаю. Напротивъ, чувствую какое-то освобожденіе. Любовь всегда рабство, но любовь, основанная на физіологіи, на одной только физіологіи,—самое голое, самое постыдное рабство.

И все: долгъ, убѣжденія, симпатіи - все приносится ему въ жертву. Все въ жизни забывается ради него, все заслоняется имъ... Теперь, когда я одна, я сознаю весь стыдъ моего существованія, весь ужасъ моего нравственнаго одиночества. Теперь, когда Д. уѣхалъ, я точно освободилась отъ гипнотическаго состоянія и почувствовала себя человѣкомъ. Какъ странно: я съ самаго начала нашего знакомства съ Д. испытала это присутствіе гипнотической силы: когда я не видала его, я освобождалась. Когда онъ бывалъ со мной, я становилась его рабой, его вещью". И еще черезъ три дня: „уѣду и освобожусь отъ моего душевнаго одиночества. Когда человѣкъ одинъ, онъ не чувствуетъ того ужаса одиночества, какъ когда онъ вдвоемъ, когда онъ всю душу готовъ отдать, все сердце свое вынуть и положить къ ногамъ и чувствуетъ, что совсѣмъ этого не надо, что каждый живетъ самъ по себѣ, а до того, что дѣлается въ вашей душѣ, никому нѣтъ дѣла". И еще позже: „Господи! Да если бъ это дало намъ счастье, я, можетъ быть, и смирилась бы. Но ни я, ни онъ не можемъ быть счастливы. Наши души — чужія одна другой. Пока ему милы мои глаза или, какъ онъ говоритъ, „температура рукъ", „запахъ волосъ", онъ, можетъ быть, будетъ счастливъ, не смотря на всю разницу нашихъ взглядовъ и убѣжденій. Пройдетъ это,—кромѣ тоски и раздраженія не останется ничего. Не лучше ли разорвать во время... Рабство страсти, физіологіи— самое постыдное изъ рабствъ, и разъ сознаешь его въ себѣ, надо какой бы то ни было цѣной побороть его, добиться полной независимости и стать человѣкомъ".

Принявъ такое рѣшеніе, Елена Борисовна была, разумѣется, права, но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы былъ неправъ Львовъ, когда говоритъ „о чемъ то неуловимомъ", о „температурѣ рукъ, запахѣ волосъ, звукѣ голоса", какъ источникѣ любви. Любовь — уваженіе, любовь—привязанность, любовь—привычка, любовь – служба (ибо и такая есть) могутъ обходиться безъ всего этого, но любовь—страсть непремѣнно коренится въ „физіологіи". И это не только, какъ говоритъ Львовъ, „законъ природы, съ которымъ надо считаться", но въ этомъ нѣтъ ничего худого или унизительнаго для человѣческаго достоинства. Худо и унизительно, когда, при наличности неуловимыхъ, но могучихъ физіологическихъ условій, у людей оказываются „чужія души"; когда (какъ это было съ Еленой Борисовной и Львовымъ) для одной стороны оказывается ничтожными, нестоющими волненія пустяками то, что больно бередитъ душу другой стороны.

Тогда естественно возникаютъ мучительныя любовно-враждебныя чувства, „безпредѣльная близость“ сочетается съ „полною отчужденностью“, людей настигаетъ тяжкое „одиночество вдвоемъ“, и притягательная сила „температуры рукъ, запаха волосъ, звука голоса“ становится унизительною рабскою цѣпью.

Какъ уже сказано, г-жу Лѣткову сравнительно мало занимаютъ собственно любовныя, супружескія отношенія. Въ „Мертвой зыби“, гдѣ этимъ отношеніямъ удѣлено мѣста больше, чѣмъ во всѣхъ остальныхъ произведеніяхъ, даже вмѣстѣ взятыхъ, параллельно съ двумя „романами“ героини развертывается драма ея отношеній къ матери. Варьяціи на этотъ мотивъ мы имѣемъ и въ „Лушкѣ“, и въ „Горѣ“, и въ „Отдыхѣ“, и въ „Чудачкѣ“, и въ „Лишней“, отчасти, пожалуй, и въ „Бабьихъ слезахъ“. И любопытно,—къ отношеніямъ мужа и жены, любовника и любовницы, нашъ авторъ относится очень пессимистически: это или разрываемыя цѣпи (въ „Мертвой зыби“), или неразрывныя (въ „Счастьи“), тогда какъ разладъ матери съ дочерью авторъ устраиваетъ, за однимъ исключеніемъ (въ „Лишней“), къ благополучному концу. И еще любопытно: матери, дѣйствующія въ произведеніяхъ г-жи Лѣтковой, все вдовы, отцовъ дочери только вспоминаютъ, а въ „Бабьихъ слезахъ“ отцы и совсѣмъ отсутствуютъ, за исключеніемъ одного, который является въ воспитательный домъ за своимъ ребенкомъ, но ему его не выдаютъ, къ злобному удовольствію присутствующихъ бабъ матерей. Столь часто повторяющаяся подробность не можетъ быть случайна, и я думаю, что она находится въ тѣсной связи съ самыми глубокими и задушевными мыслями г-жи Лѣтковой. Въ основѣ отношеній между родителями и дѣтьми тоже лежитъ физіологія, и этой физіологіи больше на сторонѣ матери, чѣмъ на сторонѣ отца. Мать „со скрежетомъ сына носила и со стономъ его родила“; мать въ теченіе всего родового періода составляла съ ребенкомъ одно цѣлое, затѣмъ она кормила его, и это тоже физіологическій актъ. На этой физіологической основѣ естественно возникнуть и духовной связи, но разница лѣтъ, воспитанія, обстановки часто устанавливаетъ болѣе или менѣе рѣзкій разладъ между родителями и дѣтьми, и тогда мы опять таки имѣемъ любовно-враждебныя чувства, и „одиночество вдвоемъ“, и рабскія цѣпи. Марья Ниловна („Отдыхъ“) мысленно переживаетъ свое печальное, сѣрое прошлое и, между прочимъ, свои отношенія къ матери: „Въ сущности смерть матери принесла ей освобожденіе. Да, но за то принесла и одиночество. А развѣ при матери она не была

одинока? Развѣ не одиноко перенесла она горе разлуки съ Петровскимъ? Онъ нравился ей и, кажется, очень любилъ ее, а мать перестала принимать его, потому что онъ былъ „поднадзорный“. Развѣ не одиноко задавила она въ себѣ чувство къ Рукину, не одиноко перестрадала свою любовь къ нему только изъ-за того, что онъ былъ женатый, а мать была „строгихъ правилъ“ и для нея была бы ударомъ любовь дочери къ женатому человѣку. И не доброе, мучительное чувство сжало сердце Марьи Ниловны“.

Не Елена Борисовна связала себя съ Барминымъ, а потомъ съ Львовымъ, а какая-то посторонняя, стихійная сила, подкравшаяся къ ней, среди милліона случайностей, въ видѣ „температуры рукъ, запаха волосъ, звука голоса“; и это было рабство. Не Марья Ниловна отказалась отъ счастья съ Петровскимъ или Рукинымъ, а посторонняя, стихійная сила отраженной физіологической связи съ матерью; и это было рабство. Драмъ, разыгрывающихся въ этомъ послѣднемъ мотивѣ, г-жа Лѣткова не любитъ, я бы сказалъ—боится, и часто искусственно, а потому не художественно завершаетъ ихъ сліяніемъ и душъ матери и дочери. Но тѣмъ безпощаднѣе она еще къ одной посторонней силѣ, способной держать человѣка въ позорномъ рабствѣ. Это—сила житейской тины, сила тѣхъ мелочей и условностей, которыя подчиняютъ себѣ людей, обязывая ихъ жить, „какъ всѣ“, обезличивая ихъ, при чемъ сами они не умѣютъ сказать, зачѣмъ все это нужно. Вотъ три положенія, къ которымъ г-жа Лѣткова пріурочиваетъ рабство, одиночество и любовно-враждебныя отношенія. Я не буду слѣдить за разными ихъ комбинаціями во всѣхъ ея произведеніяхъ и остановлюсь только на повѣсти „Мертвая зыбь“, въ которой всѣ три упомянутыя положенія изображены наиболѣе полно и цѣльно.

— — — —

У Елены Борисовны Барминой есть мать, типичная „шестидесятница“, подъ руководствомъ которой она и начала жить. Елена Борисовна пишетъ:

Я окончила гимназію и стала серьезно заниматься; ходила на лекціи, училась добросовѣстно, читала усердно. Мамà руководила моими занятіями и давала мнѣ темы для моихъ работъ. Я и теперь глубоко сочувствую преданности мамà идеѣ нравственной и физической гигіены среди крестьянскихъ дѣтей. Она вся отдалась этому вопросу, много пишетъ для школьныхъ библіотекъ, издала множество книгъ для бабъ и для дѣтскаго чтенія... Въ первый же годъ по окончаніи мною гимназіи она издала мой разсказъ о вредѣ лжи. Разсказъ назывался „Врунья“ и въ немъ, въ доступной для ребятъ

формѣ, доказывалась безнравственность лжи... Мама была довольна мною, но я нѣтъ. Мнѣ хотѣлось чего-то добиться, хотѣлось вѣрить, что я дѣлаю хорошее, полезное дѣло. И никогда я не могла достичь этого. Я писала по маминой программѣ, помогала ей въ издательствѣ, была постоянно занята и все-таки тосковала. Какое-то неясное сомнѣніе не давало мнѣ покоя, убивало энергію... Мать, съ непоколебимой вѣрой въ свое дѣло, или не замѣчала моихъ сомнѣній, или не находила нужнымъ считаться съ моими взглядами. Помню, иногда хотѣлось бѣжать куда-нибудь отъ грустныхъ разговоровъ, отъ мрачныхъ картинъ, отъ возмущающихъ душу фактовъ. Къ намъ приходили друзья мамà, и я постоянно жила въ воздухѣ благороднаго возмущенія и безсильнаго негодованія. Я сочувствовала всѣмъ имъ и возмущалась и негодовала вмѣстѣ съ ними, а все-таки тосковала и безсознательно ждала чего-то другого. Я усердно работала, искренно собиралась идти въ сельскія учительницы, рѣшила - какъ мать—посвятить себя пользѣ и благу темнаго ближняго и тосковала и чего-то ждала. Когда я говорила объ этомъ матери или ея друзьямъ, они не понимали меня, иногда смѣялись надо мною, и я мало-по-малу ушла отъ нихъ, ушла въ себя. Мамà не выносила противорѣчій, не допускала непониманія ея взглядовъ. Я не могла безусловно подчиняться ея требованіямъ, не могла думать, говорить и жить по ея шаблону, и страстно желала свободы, радости, счастья.

Разъ въ такомъ настроеніи (ей шелъ уже двадцать второй годъ) Елена Борисовна встрѣтилась съ молодымъ офицеромъ Барминымъ, котораго знала еще юнкеромъ, но потомъ потеряла изъ виду. Это былъ красивый, веселый, здоровый, добродушный человѣкъ, и Елена Борисовна полюбила его, къ ужасу и негодованію матери. Та и юнкеромъ Бармина не любила, считая его „фанфарономъ“ и „ничтожествомъ“, а теперь это былъ въ ея глазахъ просто „красивое животное“, и не того она ждала для дочери. Елена Борисовна пишетъ: „Мамà и слышать не хотѣла, чтобъ я вышла за него замужъ. Она не могла „не отдать“ меня: это было противъ ея принциповъ, но она считала своимъ долгомъ постоянно говорить, что Барминъ ничтожество, что онъ невѣжда. Даже его здоровье, его красоту, его хорошій аппетитъ мама ставила ему въ упрекъ“. Но это, конечно, ничему не помогло и не помѣшало, и Елена Борисовна вышла за Бармина. Но вотъ, черезъ пять лѣтъ она заводитъ дневникъ, въ которомъ, между прочимъ, читаемъ: „Я или не умѣю, или мнѣ не съ кѣмъ быть откровенной. Я люблю мужа, но мнѣ и въ голову не придетъ разсказывать ему, что проходитъ у меня въ головѣ. Я обожаю мать и не могу съ ней говорить о себѣ. Почему это? Почему я, не живя ни одного дня одна, вѣчно одинока? Я не могу жить безъ нихъ обоихъ и постоянно разрываюсь. Владиміръ, добрый и милый со всѣми, не можетъ скрывать своего раздраженія противъ мамà, а она до

сихъ поръ, т. е. черезъ пять лѣтъ, не вѣритъ, что я люблю мужа. А я искренно люблю его, только... мнѣ скучно съ нимъ". И это началось не черезъ пять лѣтъ, когда, наконецъ, понадобился дневникъ, а чуть не съ первыхъ дней замужества. Елена Борисовна съ ироніей вспоминаетъ: „Мужъ баловалъ меня; у него оказался прекрасный характеръ, прекрасный аппетитъ и прекрасное здоровье. А для семейной жизни это громадное удобство!" И далѣе:

Я занималась хозяйствомъ, увлекалась обстановкой, туалетами, пріемами и, кажется, была совершенно счастлива. Отчего же мнѣ съ первыхъ же недѣль жизни въ казармахъ было такъ тяжело? Я была счастлива и томилась какой-то непонятной для меня тоской и невозможностью признаться кому-нибудь въ этой тоскѣ. И мама, должно быть, замѣчала мою тоску, и меня это раздражало. Она приносила мнѣ книги, журналы, передавала, что дѣлается въ ихъ кружкѣ, куда стремятся ея „хорошіе люди", старалась не замѣчать, что мужъ подтруниваетъ надъ ея дѣломъ, что я охладѣла къ ея стремленіямъ. Она объясняла мое равнодушіе къ общественнымъ вопросамъ тѣмъ, что я начала жить сознательно въ „антрактъ общественной жизни Россіи". Я каждый разъ безпощадно говорила ей, что люблю мужа и хочу быть только хорошей женой. Я не знаю, вѣрила ли я этимъ словамъ. Кажется, вѣрила. Я въ одинъ годъ какъ-то завяла нравственно, какъ-то ничто меня не радовало. Почему? Владиміръ былъ по-прежнему ласковъ со мной, но его ласки утомляли меня. Безконечные поцѣлуи, все одни и тѣ же слова казались мнѣ скучными, и я украдкой зѣвала, сидя долгими часами въ объятіяхъ мужа. Не знаю, о чемъ думалъ онъ въ эти часы. Я же часто думала совсѣмъ не о немъ, не о поцѣлуяхъ, не объ объятіяхъ. И мнѣ хотѣлось бѣжать къ мамà, разсказать ей все, умолить ее научить меня быть счастливой. Но я не шла: я не могла бывать тамъ, гдѣ не любили Владиміра, гдѣ не одобряли моего брака съ нимъ, гдѣ смотрѣли на меня съ сожалѣніемъ.

Утренній кофе, завтракъ, заказываніе обѣда, визиты, пріемы, все, „какъ у всѣхъ", скука, одиночество вдвоемъ или въ обществѣ, мрачные приступы сознанія безцѣльности жизни,—„зачѣмъ" все это? Но вся эта сѣрая, томительная канитель оборвалась, когда Елена Борисовна забеременѣла: жизнь освѣтилась и освятилась смысломъ, цѣлью. Но черезъ годъ ребенокъ умеръ, и Елена Борисовна пишетъ:

Вотъ три года, какъ я совсѣмъ одинока. Мы по-прежнему дружны съ мужемъ, т. е. не ссоримся, но у каждаго изъ насъ своя особая душевная жизнь. Онъ всецѣло отданъ службѣ, своимъ полковымъ интересамъ и отношеніямъ. Меня онъ любитъ, цѣнитъ, даже точно гордится мною. Но долгіе мѣсяцы беременности, затѣмъ кормленіе ребенка, наконецъ, цѣлый годъ слезъ и горя послѣ смерти дочери отдалили насъ другъ отъ друга: пропала потребность ежеминутнаго участія и сознанія, что есть кто-то, кому дорого знать отъ чего грустно, о чемъ плачешь. Но было ли это когда нибудь?

Вдругъ сейчасъ мнѣ показалось, что этого, въ сущности, никогда не было Были поцѣлуи, были ласковыя слова, но рядомъ съ этимъ было полное душевное одиночество. И вотъ откуда эта постоянная тоска, точившая меня. Но до сихъ поръ я не отдавала себѣ отчета въ этомъ.

Въ это время появляется на сценѣ нѣкій Львовъ, сорокалѣтній, много пожившій, умный, остроумный, блестящій человѣкъ. Онъ вводитъ Елену Борисовну въ совершенно новый для нея духовный міръ, новый не только содержаніемъ своимъ, но и всѣмъ своимъ строемъ. Все, что Львовъ говоритъ и дѣлаетъ (хотя онъ, собственно говоря, ничего не дѣлаетъ и гордится этимъ), совершенно не похоже ни на то, что Елена Борисовна слышала и слышитъ отъ своей матери и ея кружка, ни на то, чѣмъ живетъ ея мужъ. И она, сначала только заинтересованная этою новизною, находитъ затѣмъ въ своей душѣ отклики на мысли и рѣчи Львова, наконецъ, сходится къ нимъ и уѣзжаетъ отъ мужа. Но не такъ, конечно, скоро и просто все это устраивается. Прежде всего надо отмѣтить тѣ непріязненныя, враждебныя чувства, которыми осложняется любовь Елены Борисовны къ мужу и матери уже въ самомъ началѣ эпизода со Львовымъ.

Заходитъ рѣчь объ одной общей знакомой легкомысленнаго поведенія, и Барминъ обязываетъ ее Мессалиной. Львовъ возражаетъ: „Она смѣла и въ этомъ ея большая заслуга. Мы, русскіе, вообще не умѣемъ „смѣть“. А женщины и подавно. Онѣ всегда рабы; рабы родителей, рабы мужа, рабы дѣтей, а больше всего рабы общества, условностей, рукавовъ пузырями, того, что „принято“ и „не принято“ и тому подобныхъ глупостей“.—Барминъ, въ своей простодушной честности и ограниченности, даже понять не можетъ такихъ рѣчей, это для него просто слова безъ смысла. Любящій мужъ, хорошій служака, сжившійся съ извѣстной обстановкой „какъ у всѣхъ“, онъ эти и тому подобные протесты Львова противъ „условностей и мелочей“ считаетъ просто болтовней и съ снисходительнымъ презрѣніемъ относится къ „болтуну“ и „шалопаю“ Львову. Мать Елены Борисовны, старая шестидесятница, въ извѣстномъ смыслѣ согласилась бы съ Львовымъ насчетъ условностей и мелочей, но уже не съ снисходительнымъ презрѣніемъ, а съ яростною ненавистью относится она къ другимъ его идеямъ. Напримѣръ, онъ говоритъ: „Для развитія человѣка гораздо важнѣе быть воспріимчивымъ къ краскамъ и цвѣтамъ, чѣмъ имѣть понятіе о правѣ и безправіи“. Или: „служить ближнему? Отречься отъ себя во имя меньшей братіи? На какомъ основаніи? Люди, какъ и все въ природѣ не равны. И низ-

шіе организмы должны служить высшимъ". Понятно, что если матери Елены Борисовны былъ ненавистенъ Барминъ, то сближеніе дочери съ его антиподомъ Львовымъ возбуждало въ ней еще болѣе злобныя чувства. А дочь продолжала увлекаться бесѣдами съ Львовымъ, съ наслажденіемъ слушать, какъ онъ хорошо читаетъ стихи Бодлера, прозу Гюаиты и проч. Сначала мысли Львова даже пугали ее, но постепенно она привыкала къ нимъ и находила въ нихъ нѣчто не только интересное, а и родное ей. Вмѣстѣ съ тѣмъ поднимались враждебныя чувства къ мужу и матери, хотя она и продолжала ихъ любить; враждебныя сначала только потому, что мужъ и мать не умѣютъ цѣнить Львова, а затѣмъ и по гораздо болѣе глубокимъ причинамъ. Постепенно все жестче и непріязненнѣе становятся ея отзывы о мужѣ и матери, пока, наконецъ, наступаетъ полный разрывъ.

Въ моемъ бѣгломъ пересказѣ, конечно, совершенно исчезаетъ выпуклость, съ которою изъ неблагодарной формы дневника выступаютъ фигуры Бармина, Львова, матери (о побочныхъ дѣйствующихъ лицахъ я даже не упомянулъ). Конецъ повѣсти я передамъ еще короче.

Послѣ долгихъ колебаній, угрызеній совѣсти, волненій Елена Борисовна рѣзко обрываетъ съ мужемъ и матерью и уѣзжаетъ съ Львовымъ въ Италію. Тамъ они, кромѣ угара свободной, ничѣмъ не стѣсненной любви, наслаждаются природой и въ особенности искусствомъ. Львовъ, самъ немножко художникъ, большой любитель и цѣнитель, кажется, всѣхъ видовъ искусства. Онъ вообще поклонникъ красоты и изящества. Въ Петербургѣ онъ смѣшилъ Бармина старательностью ухода за своей внѣшностью, а Елену Борисовну поразила изысканная художественность его домашней обстановки. Въ Италіи его эстетическія наклонности получили полный просторъ, такъ что Елена Борисовна даже не поспѣвала за его восторгами. И уже на второмъ мѣсяцѣ понадобилось возобновленіе дневника, а ее, по собственному ея наблюденію, „тянетъ писать, только когда грустно; если очень счастливъ или веселъ, писать не хочется". Первое время Елена Борисовна старается объяснить себѣ дѣло посторонними обстоятельствами, но постепенно цѣльность ея экстатически любовнаго настроенія даетъ трещину, и изъ этой трещины поднимается, все наростая, враждебная нота; на встрѣчу ей идетъ такая-же злобная нота изъ сердца Львова. Продолжая любить другъ друга, они на каждомъ шагу взаимно раздражаются,

и въ дневникѣ опять появляются мрачныя слова: „одиночество“, „безпредѣльная близость при польной отчужденности“, „рабство“, „любовь-ненависть“, „стыдно жить“. Дѣло въ томъ, что Елена Борисовна не увѣровала въ идеи Львова, а „ухватилась“ за нихъ для оправданія своего тяготѣнія къ „личному счастью“ въ формахъ, не одобряемыхъ идеями матери и ея кружка. И, можетъ быть, старая шестидесятница не совсѣмъ неправа, когда говоритъ дочери: „Ты застала насъ въ періодъ банкротства, когда наши идеи, наши стремленія разбивались о равнодушіе или холопство, съ одной стороны, и о насиліе—съ другой. Тебя и потянуло въ другую сторону. Подвернулся Барминъ“... Потомъ подвернулся Львовъ, и между нимъ и Еленой Борисовной сложилась общая почва, во-первыхъ, изъ презрѣнія къ рабству жизни „какъ всѣ“, во-вторыхъ, изъ того стихійнаго физіологическаго, не пропущеннаго сквозь сознаніе и волю элемента, который выражается „температурой рукъ, запахомъ волосъ, звукомъ голоса“. Но старыя дрожжи, заложенныя матерью, а отчасти лежащія въ самой природѣ дочери, не изсякли и забродили, какъ только, съ одной стороны, достигнута была свобода отъ рабства условныхъ мелочей, „какъ у всѣхъ“, а съ другой—выяснилось значеніе „температуры рукъ“ и проч., какъ новаго вида рабства. Жить губы въ губы не значитъ жить душа въ душу, а души у Львова и Елены Борисовны оказались чужія. Львовъ считаетъ себя однимъ изъ „избранныхъ“, призванныхъ наслаждаться—любовью, природой, искусствомъ, красотой вообще, не оглядываясь на окружающія нищету, невѣжество, злодѣйства, а если и оглядывается, то только затѣмъ, чтобы оцѣнить „интересное пятно“. „Нужно,—говоритъ онъ,—прежде всего, чтобы въ человѣкѣ было развито художественное чутье. Эстетикъ—врагъ зла оттого, что оно не художественно, буржуазно и нечистоплотно“. Но „врагъ“ отнюдь не въ дѣйственномъ смыслѣ, потому .что „причинная связь явленій“ непреоборима, и какъ для Бармина были смѣшны порыванія и „мудрствованія“ Елены Борисовны, такъ для Львова смѣшно ея „морализированіе“. Обмѣнъ острыхъ, колючихъ словъ все усиливается, и Елена Борисовна, наконецъ, уѣзжаетъ, оставляя Львову свой дневникъ при письмѣ, изъ котораго я приводилъ уже кое-что, а теперь приведу конецъ.

Ты былъ правъ, говоря, что я смѣшна съ моими противорѣчіями. Я дошла до того, что искренно стремилась выработать въ себѣ полное равнодушіе къ вопросамъ нравственнымъ и политическимъ; я, чтобы быть пріятной

тебѣ, стала говорить, что все совершается по естественнымъ законамъ причинной связи, и надо смиряться... И вмѣстѣ съ тѣмъ я чувствовала, что стыдно смиряться, больно смиряться... Я чувствовала, что надо фактически участвовать въ торжествѣ добра, способствовать ему... Жить день за днемъ для себя и оправдываться, что законъ причинной связи измѣнить нельзя—постыдно. Много разъ говорила я съ тобой объ этомъ и ты всегда смѣялся... Въ послѣдній разъ ты объяснилъ мнѣ причину твоего смѣха. „Если бъ я видѣлъ это не на словахъ, а на дѣлѣ"... Ты правъ. И послѣ этого я уже не могу оставаться здѣсь .. Я уѣзжаю домой, на родину. Не знаю, что я буду тамъ дѣлать, но знаю, что жить такъ, какъ я жила до сихъ поръ, я уже не могу... Все это очень сложно, и я слишкомъ волнуюсь, чтобъ ясно изложить все... Хочу думать, что ты поймешь... и хоть на этотъ разъ не засмѣешься надо мной.

Но что же заманчиваго, близкаго, родного находитъ Елена Борисовна въ идеяхъ и чувствахъ Львова? Прежде всего—его презрѣніе къ мелочамъ и условностямъ. Это дѣлаетъ его фигуру оригинальною, смѣлою, свободною среди окружающей тусклости, тѣмъ болѣе, что Елена Борисовна и сама тяготится безмысленною жизнью „какъ всѣ". Мужъ хочетъ, чтобы она ѣхала съ нимъ на какой-то вечеръ. „Нельзя не ѣхать", говоритъ онъ. Она записываетъ: „Нельзя не ѣхать! Какъ люди добровольно спутываютъ себя безконечными общественными путами, съ какой радостью отдаются всѣмъ условнымъ мелочамъ! Владиміру даже и въ голову не придетъ подумать, почему „нельзя" то или другое. У него совершенно опредѣленныя правила жизни и ему кажется просто немыслимымъ бороться съ ними. Такая покорность условности—рабская черта. Неужели мы всѣ такіе рабы?" И въ другой разъ: „Мѣщанство! Онъ (Львовъ) часто повторяетъ это слово. Какъ въ жизни много этого мѣщанства... Благосостояніе, отношенія, волненія, все, чѣмъ мы наполняемъ нашъ день съ утра до вечера,—все это такъ мелко, такъ ничтожно. Я въ послѣднее время только поняла это, поняла, благодаря Львову. Онъ сумѣлъ показать мнѣ настоящую цѣну этой жизни, научить, что не стоитъ отдавать душу на то, на что я отдавала ее въ послѣднія пять лѣтъ". „Такъ стыдно жить",—рѣшаетъ Елена Борисовна. Стыдно подчиняться велѣніямъ какихъ-то условностей, дѣлать то, чего не хочешь дѣлать, только потому, что такъ дѣлаютъ „всѣ", покорно прислушиваться къ мнѣнію „общества", котораго не уважаешь, бывать тамъ, гдѣ не хочешь бывать, и лицемѣрить, и лгать изъ за вздорныхъ мелочей. „Такъ стыдно жить". Запомнимъ это.

Но это только одна сторона дѣла. Когда Елена Борисовна выслушала сужденіе Львова о томъ, что нѣтъ основанія „служить

ближнему“ и „отречься отъ себя во имя меньшей братіи“, ибо „низшіе организмы должны служить высшимъ“,—она „обрадовалась“. Она съ отличающею ее вообще искренностью пишетъ: „Это противорѣчило всему тому, во что я вѣрила, во что считала долгомъ вѣрить. Но я схватилась за эти слова. Меня всегда тянуло въ двѣ стороны: самоотреченіе, гуманность, самопожертвованіе на пользу обездоленныхъ и страдающихъ, радость чужому счастью, состраданіе чужимъ слезамъ... Съ другой стороны: безсознательная, но мучительная жажда личнаго счастья, жажда ласкъ, красоты, нѣги“. Такимъ образомъ Елена Борисовна „обрадовалась“ теоріи Львова и „ухватилась“ за нее, какъ за оправданіе своего тяготѣнія къ „личному счастью, ласкѣ, красотѣ, нѣгѣ“. Запомнимъ и это. Запомнимъ, наконецъ, еще слѣдующее размышленіе Елены Борисовны:

„Личность есть начало и конецъ человѣчества,—повторялъ онъ (Львовъ). Если это правда, то, конечно, всѣ цѣпи, наложенныя человѣкомъ на самого себя, безсмысленны. Къ чему ежеминутныя уступки, оглядки? Зачѣмъ дѣлаешь не то, что считаешь лучшимъ и желательнымъ, а то, что *нужно* дѣлать? И въ сущности вся жизнь уходитъ на какую-то мелкую, пошлую борьбу“. И еще: „Я не знаю, что та такое жизнь. Исполненіе какого-то долга? Кому нужнаго? Кѣмъ созданнаго? Какое счастье, что моя Ира умерла раньше, чѣмъ ей успѣли навязать этотъ долгъ“.

Да пошлетъ судьба Еленѣ Борисовнѣ удачу,—она ея заслуживаетъ, и, можетъ быть, авторъ поступилъ слишкомъ жестоко, озаглавивъ свою повѣсть „Мертвая зыбь“. Очевидно, во всякомъ случаѣ что Елена Борисовна не совсѣмъ „обыкновенная женщина“, хотя бы уже потому, что ей знакомъ „бѣсъ благородный скуки тайной“. Заурядныхъ людей не посѣщаетъ страшный вопросъ о цѣли жизни, а страшенъ онъ потому, что на него нѣтъ настоящаго, добросовѣстнаго отвѣта, ибо за каждымъ отвѣтомъ слѣдуетъ новое „зачѣмъ?“ Вопросъ погашается не теоретизированіемъ, не размышленіемъ а практикою, потокомъ жизни. Какъ только этотъ потокъ овладѣваетъ человѣкомъ, ставя передъ нимъ большое ли, малое ли, хорошее ли, дурное ли, но дорогое ему дѣло,—вопросъ „зачѣмъ жить?“ замираетъ самъ собой. Елена Борисовна была такъ несчастлива, что потокъ жизни захватывалъ ее лишь эпизодически и на короткое время; и тѣмъ болѣе несчастлива, что подхватъ потокомъ

обрывался уже не вопросомъ, а утвержденіемъ: „такъ стыдно жить“. И она не останавливается на этомъ мучительномъ сознаніи, а всякій разъ ищетъ выхода. Возможенъ ли этотъ выходъ?

„Стыдно жить“ у г-жи Лѣтковой не одной Еленѣ Борисовнѣ. Эти самыя слова повторяетъ героиня „Чудачки“, а мысленно ихъ говорятъ всѣ главныя дѣйствующія лица (даже Лушка). И вездѣ этотъ стыдъ жизни связанъ съ одиночествомъ и любовно-враждебными чувствами. Но нигдѣ эти трудности и скорбности не вытекаютъ изъ метафизической сущности самой природы вещей и, слѣдовательно, не фатальны. Одиночество Елены Борисовны не имѣетъ ничего общаго съ тѣмъ, такъ сказать, трансцендентнымъ одиночествомъ, отъ котораго приходитъ въ отчаяніе герой мопассановскаго очерка „Solitude“. Точно также ея любовно-враждебныя чувства къ матери, мужу, Львову не изъ коренныхъ свойствъ души человѣческой происходятъ, какъ у Достоевскаго, и, слѣдовательно, опять таки не фатальны. Конечно, къ своему одиночеству, мучительной двойственности чувствъ и стыду жизни Елена Борисовна была приведена извѣстными, вполнѣ опредѣленными условіями, совокупность которыхъ, какъ и все, что дѣлается на бѣломъ свѣтѣ и въ ночномъ мракѣ, въ надзвѣздныхъ пространствахъ и подземныхъ трущобахъ,—можетъ быть сведено къ цѣпи причинной связи. Но это именно опредѣленныя условія, а не безусловная, таинственная и потому неприкосновенная сущность вещей. Правда, сама Елена Борисовна говоритъ о двойственности свой „природы“, но, во-первыхъ, своей, а не человѣческой вообще, а во-вторыхъ, мы и ей не имѣемъ основаній вѣрить. Она не умѣетъ разобраться въ себѣ и говоритъ о двойственности своей натуры потому, что ей кажется непримиримымъ противорѣчіемъ тяготѣніе въ сторону любви къ ближнему, „служенія обездоленнымъ“, состраданія и сорадованія и вмѣстѣ съ тѣмъ къ личному счастію. И, конечно, это непримиримое противорѣчіе, если личное счастіе разумѣть къ смыслѣ „пріятностей“, только пріятностей, въ чемъ бы онѣ ни состояли,—въ поцѣлуяхъ или устрицахъ, или шашлыкѣ, котораго аджарцу не даютъ въ раю и который такъ пріятенъ въ земной юдоли. Но не только свѣта, что въ окошкѣ. Личное счастье, котораго такъ искала героиня „Мертвой зыби“, счастье любви, со всѣмъ подъемомъ жизненной энергіи, который она даетъ, отнюдь не противорѣчитъ идеаламъ матери Елены Борисовны. Героиня „Мертвый зыби“ не нашла этого счастія ни съ Барминымъ, ни съ Львовымъ, но отсюда не слѣдуетъ ни того, что

оно невозможно вообще, ни даже того, что оно было бы и при другихъ условіяхъ невоможно для самой Елены Борисовны.

„Личность есть начало и конецъ человѣчества“, — говоритъ Львовъ. Въ этой смутной фразѣ заключается живое зерно истины, и тѣ, кто нынѣ съ такимъ комически побѣдоноснымъ видомъ издѣвается надъ идеей личности, конечно, очень далеки отъ біенія пульса жизни, какими бы модными или якобы научными словами они ни облекали свое непониманіе. Но заключающаяся въ смутной фразѣ Львова истина представляетъ собою нѣчто въ родѣ точки водораздѣла, отъ которой идутъ два совершенно противоположныя теченія. Если личность есть начало и конецъ человѣчества,—разсуждаетъ Елена Борисовна,—то „всѣ цѣпи, наложенныя человѣкомъ на себя, безсмысленны“ и нѣтъ никакого „долга“ для людей. Это невѣрный или не точно выраженный выводъ. Рабскія цѣпи, на которыя жалуется Елена Борисовна, наложены на нее не ею, а внѣшними, посторонними силами. Ея heilig glühendest Herz, напротивъ, страдаетъ отъ нихъ и мучительно рвется. Ей „стыдно жить“, и стыдно по двумъ разнымъ, хотя и сливающимся часто мотивамъ Стыдно, во-первыхъ, жить рабой, рабой чего бы то ни было: физическихъ ощущеній, власти „температуры руки“ и т. п., или чужого мнѣнія, будь то мнѣніе обожаемой матери или презираемой толпы. Другое дѣло будетъ, если „губы въ губы“ осложнятся „душой въ душу“ или если мнѣнія матери станутъ ея собственными мнѣніями. Тогда „долгъ“ перестанетъ быть чѣмъ-то извнѣ навязаннымъ и сольется съ правомъ, о немъ и вопроса не будетъ, какъ въ высшіе моменты счастія нѣтъ вопроса о страданіи и наслажденіи. Затѣмъ Еленѣ Борисовнѣ „стыдно жить“ еще потому, что ей живется хоть не всегда „весело“, но „вольготно“, тогда какъ кругомъ нищета, мракъ, насиліе, злодѣйство. Львовъ устраивается среди всего этого прекрасно, но Елену Борисовну точитъ стыдъ; и въ ея хотя бы и колеблющемся стремленіи обнять своею мыслью, чувствомъ, жизнью, всѣхъ „обездоленныхъ“, конечно, гораздо болѣе задатковъ полноты, многосторонности даже личной ея жизни, чѣмъ узенькой, хотя бы и полной наслажденій дорожкѣ, по которой идетъ Львовъ.

Если первый мотивъ стыда жизни можетъ быть названъ голосомъ оскорбленной чести, то второй есть голосъ грызущей совѣсти...

Въ прошлый разъ, говоря о безпардонномъ издѣвательствѣ г. Евгенія Соловьева надъ мотивомъ совѣсти, какъ онъ сложился и

дѣйствовалъ у въ насъ семидесятыхъ годахъ, я хотѣлъ, кромѣ правильной постановки этого вопроса, указать на совершенно упущенное безпардоннымъ критикомъ изъ виду дѣйствіе въ тѣ же годы мотива чести. Но меня остановило чувство брезгливости. Повѣсти и разсказы г-жи Лѣтковой даютъ достаточный поводъ для бесѣды на эту тему.

VII *).

О г. Розановѣ.

Въ замѣткахъ „о писателяхъ и писательствѣ“ В. В. Розанова („Литературные очерки“, Спб. 1899) есть любопытныя странички объ издателѣ „Гражданина“ кн. Мещерскомъ. Я написалъ было „любопытная характеристика“ кн. Мещерскаго, но зачеркнулъ эти слова, потому что характеристики, собственно говоря, нѣтъ, а есть „взглядъ и нѣчто... о чемъ, бишь, нѣчто?“ Г. Розановъ начинаетъ съ указанія на тотъ фактъ, что „имя кн. Мещерскаго и его органъ „Гражданинъ“ окружены въ нашей литературѣ „зоной предубѣжденія“. Въ дальнѣйшемъ оказывается, впрочемъ, что зоной предубѣжденія князь Мещерскій и его органъ ограждены не только въ литературѣ,—его и въ публикѣ не читаютъ; но корень этого предубѣжденія лежитъ, повидимому, всетаки въ литературѣ, въ молчаливомъ соглашеніи собратовъ кн. Мещерскаго по профессіи: они какъ бы условились погубить его пренебреженіемъ. Но за что? почему? Г. Розановъ склоненъ думать, что ни за что, ни про что. Такъ вотъ и съ Булгаринымъ было. „Что такое сдѣлалъ Булгаринъ? сжегъ ли онъ новый храмъ Діаны Ефесской, какъ древній Геростратъ? Нѣтъ, но онъ сдѣлалъ хуже или, точнѣе, съ нимъ сдѣлалось худшее“: къ нему пренебрежительно относился Бѣлинскій, на него писалъ эпиграммы Пушкинъ. „И ничего больше, ничего еще, т. е. *опредѣленнаго, доказаннаго,* ставшаго *общеизвѣстнымъ* (курсивъ г. Розанова). Кн. Мещерскій находится въ такомъ же положеніи. Что онъ такое сдѣлалъ? Напримѣръ, онъ „требуетъ розги“,—недоумѣваетъ г. Розановъ,—„но вѣдь онъ же никого не сѣчетъ“. Вообще,—продолжаетъ г. Розановъ,—„прислушиваясь къ насмѣш-

*) Декабрь 1899 г.

камъ, ничего въ нихъ почти не понимая, по крайней мѣрѣ, не имѣя знанія, чтобы ихъ отвергнуть или чтобы принять ихъ, я въ умѣ своемъ невольно сравнивалъ судьбу нашего консервативнаго публициста съ судьбою знаменитаго—но только радикальнаго—агитатора Парнелля. Онъ *былъ*; но что-то случилось, о чемъ-то заговорили, и вотъ его *нѣтъ* болѣе. Почему нѣтъ? даже *что* именно заговорили,—никто этого не зналъ, никто объ этомъ настойчиво не спрашивалъ". А между тѣмъ, когда г. Розанову случайно попала въ руки пачка номеровъ „Гражданина", имъ „овладѣло сильное волненіе", онъ „увидѣлъ и почуствовалъ, до чего ярко дарованіе никѣмъ и никогда нечитаемаго публициста, какъ значительна похороненная заживо въ нихъ сила, сколько тонкости и остроты въ его *языкѣ* и *мысли* и, главное, какая удивительная и привлекательная конкретность въ первомъ и во второй". Это ли открытіе, или что другое подѣйствовало на г. Розанова, но „въ концѣ концовъ" ему „думается — не бываетъ дыма безъ всякаго подъ нимъ огня; и Булгаринъ не потому только погребенъ, отпѣтъ и, такъ сказать, имѣетъ фатальный „осиновый колъ" въ своей могилѣ, что онъ былъ „Ѳаддей Венедиктовичъ Булгаринъ" и что на него „наступилъ" Пушкинъ, но и, кромѣ того, еще почему нибудь, чего мы подлинно не знаемъ теперь". И въ заключеніи г. Розановъ пишетъ: „Слабый, какъ и всѣ, и я не читаю „Гражданина", по крайней мѣрѣ не выписываю. Просто—я не люблю смерти; не люблю того мѣста рѣки или озера гдѣ, по остроумному, хотя и жестокому выраженію простонародья, кто-то „испортилъ воду" (утопился). Почему? какъ „испортилъ?"—быть можетъ, это былъ глубоко несчастный и глубоко прекрасный человѣкъ—я не знаю, и прохожу мимо".

Походивъ, однако, нѣкоторое время „мимо", г. Розановъ всетаки зашелъ... Слабый, какъ и всѣ, я тоже не читаю „Гражданина", но изъ № 45 „Русскаго Труда" и № 303 „Сына Отечества" знаю, что г. Розановъ излагаетъ въ „Гражданинѣ", въ томъ мѣстѣ, гдѣ „кто-то испортилъ воду", свои „Мысли о бракѣ" и „О тѣлѣ и тайнахъ въ тѣлѣ".

Читатель видитъ, что я имѣлъ нѣкоторое основаніе назвать замѣтку г. Розанова любопытной „характеристикой" кн. Мещерскаго, но имѣлъ также основаніе зачеркнуть это слово и замѣнить его словами „взглядъ и нѣчто". Во всякомъ случаѣ, статья дѣйствительно любопытная и хотя и не исчерпывающая всѣхъ особенностей литературной физіономіи г. Розанова, но во многихъ отношеніяхъ

для нея характерная. Мы еще вернемся къ ней. Теперь мнѣ хочется разсказать, какъ я испыталъ по отношенію къ г. Розанову нѣчто подобное тому, что онъ испыталъ относительно кн. Мещерскаго.

Лѣтъ, должно быть, восемь тому назадъ меня заинтересовали двѣ-три статьи г. Розанова въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ". Я писалъ объ нихъ, г. Розановъ возражалъ; но убѣдившись въ безплодности этой полемики, я прекратилъ ее. Затѣмъ мнѣ лишь случайно попадались даже не статьи г. Розанова, а выдержки изъ нихъ въ разныхъ изданіяхъ, выдержки, не только не возбуждавшія желанія познакомиться съ подлинниками, но окружавшія автора „зоной предубѣжденія" для меня. Такова, напримѣръ, была одна, не знаю гдѣ напечатанная, статья, въ которой г. Розановъ, обращаясь къ гр. Л. Н. Толстому „на ты", съ изумительною наглостью призывалъ его покаяться, въ виду, дескать, близкой могилы, въ грѣхахъ и вторгался въ его интимную жизнь. Такова была еще одна статья, напечатанная въ „Русскомъ Обозрѣніи", въ своемъ родѣ еще болѣе возмутительная. Отсюда—зона брезгливаго предубѣжденія. Но вотъ одна статья г. Шарапова въ „Русскомъ Трудѣ" заставила меня подумать о г. Розановѣ, и я прочиталъ три недавно вышедшія его книжки, изданныя г. П. Перцовымъ: „Литературные очерки", „Религія и культура", „Сумерки просвѣщенія"... Не скажу, чтобы я при этомъ испыталъ такое же чрезвычайное волненіе, какое потрясло г. Розанова при чтеніи случайно попавшей ему въ руки пачки номеровъ „Гражданина", и чтобы такъ ужъ умилялся тонкостью, остротою, удивительностью и проч. Но передо мною появился писатель во всякомъ случаѣ чрезвычайно интересный. Боюсь, однако, что и въ немъ мы имѣемъ, какъ, по его мнѣнію, въ кн. Мещерскомъ, нѣкоторую заживо погребенную силу, что и онъ представляетъ собою мѣсто, гдѣ „кто-то испортилъ воду".

Статья г. Шарапова, возбудившая во мнѣ желаніе поближе познакомиться съ г. Розановымъ, начинается такъ:

Давно собирался я напечатать портретъ В. В. Розанова, котораго сердечно люблю и котораго такъ часто приходится бранить (до готовности иной разъ просто поколотить, до того бываетъ онъ нестерпимъ въ своихъ крайностяхъ и безпорядочности мышленія и писанія), но все откладывалось, пока не прочелъ о немъ статью г. Протопопова въ „Русской Мысли". Тогда рѣшилъ больше не откладывать. Еще раньше, въ одинъ изъ визитовъ ко мнѣ В. В—ча я поставилъ его къ стѣнѣ и снялъ, какъ умѣлъ, затѣмъ заставилъ его вытребовать на время отъ философа Я. Н. Колубовскаго написанную коротенькую автобіографію и, наконецъ, попросилъ моего друга написать „что нибудь

умное и глубокое", чтобы сдѣлать клише его почерка и помѣстить подъ его портретомъ. Словомъ, вывожу Василія Васильевича со всѣмъ церемоніаломъ, принятымъ для такихъ случаевъ въ „Русскомъ Трудѣ". Это ничуть не помѣшаетъ черезъ самое короткое время и, можетъ быть, даже начиная съ № 43-го, подвергнуть В. В. Розанова истинному тѣлесному наказанію (безъ поврежденія мягкихъ частей) руками другого моего почтеннаго друга Н. П. Аксакова, которое будетъ гораздо похуже издѣвательства г. Протопопова надъ совершенно нелѣпой и невозможной „часовенькой".

Г. Протопоповъ, положимъ, отшлепалъ В. В. Розанова подѣломъ. Неужели, въ самомъ дѣлѣ, можно надѣть, хотя-бы въ самое жаркое время, халатъ „сверхъ ничего", подпоясаться полотенцемъ и идти гулять по Невскому? Въ такомъ видѣ его захватилъ критикъ „Русской Мысли" и весьма отшлепалъ, приподнявъ халатъ...

Но, отшлепавъ, г. Протопопову, дабы не уподобиться непочтительному сыну праотца Ноя, слѣдовало-бы извиниться и поцѣловать полу этого-же самаго халата, ибо все-таки шлепать г. Розанова г. Протопоповъ можетъ, а тѣмъ не менѣе онъ недостоинъ серьезно даже развязать ремень у сапога его. Г. Розанову русская жизнь и русская литература, несмотря на всѣ его чудачества, *страшно многимъ обязана*, а г. Протопопову ровно ничѣмъ.

Согласитесь, что это заинтересовываетъ? Курсивъ въ этой выпискѣ *(страшно многимъ обязана)* принадлежитъ г. Шарапову. Я подчеркнулъ бы совсѣмъ другія мѣста, тѣ именно, гдѣ писателю, которому жизнь и русская литература страшно многимъ обязана, обѣщается отъ руки г. Аксакова „*истинное тѣлесное наказаніе (безъ поврежденія мягкихъ частей)*"; и далѣе, гдѣ сообщается, что г. Протопоповъ „*подѣломъ весьма отшлепалъ*" г. Розанова, „*приподнявъ халатъ*". Интересно и то, что г. Протопоповъ, „отшлепавъ", долженъ „поцѣловать полу халата". Очевидно, г. Протопоповъ, какъ человѣкъ посторонній, не знаетъ ритуала, а гг. Шараповъ и Аксаковъ всегда ужъ такъ: поднимутъ халатъ, отшлепаютъ, а потомъ поцѣлуютъ полу халата...

Не успѣлъ еще я вдуматься въ оригинальную картину отшлепываемаго великаго писателя (хотя бы и „безъ поврежденія мягкихъ частей"), нарисованную г. Шараповымъ въ № 42 „Русскаго Труда", какъ въ № 45 того же органа прочиталъ статью г. Петра Перцова подъ заглавіемъ: „Эквилибристика В. В. Розанова", а въ ней, между прочимъ, такія строки: „Бѣдняга Василій Васильевичъ, кажется, согласенъ былъ бы печатать свои „Мысли о бракѣ" хотя въ „Тургайскихъ Областныхъ Вѣдомостяхъ" или хоть въ преисподней, даже въ какой нибудь тамошней „Адской почтѣ", только бы печатать. Это грѣхъ, можетъ быть, еще не такъ большой руки: писательскій зудъ неутолимъ, но вотъ что гораздо хуже: увлекаясь

пыломъ своей проповѣди, В. В. все менѣе и менѣе сохраняетъ безпристрастіе и даже простую литературную добропорядочность, все болѣе и болѣе позволяетъ своей мысли и своему перу „вилять“ „вокругъ темы съ полной развязностью“. Чѣмъ именно такъ огорчилъ г. Розановъ г. Перцова,—это для насъ безразлично, но въ концѣ статьи читаемъ: „Все это отдаетъ уже не религіозною мыслью, даже не философской софистикой, а прямо чѣмъ то клиническимъ и психопатологическимъ (по отдѣлу эротоманіи). Право, тутъ можно испугаться не только за писателя, но и за человѣка“.

Замѣтьте, что г. Перцовъ есть издатель произведеній г. Розанова, человѣкъ, слѣдовательно, считающій нужнымъ, полезнымъ распространять его мысли. И очень поэтому вѣроятно, что, „отшлепавъ“ г. Розанова, онъ, подобно г. Шарапову, прикладывается къ полѣ его халата. Согласитесь, что это оригинально. Ничего подобнаго въ нашей, да, вѣроятно, и во всемірной литературѣ не бывало, а въ жизни есть только одинъ разрядъ людей, къ которымъ возможны подобныя отношенія: это—юродивые или юродствующіе. Тутъ мы видимъ то же странное сочетаніе глубокаго почтенія со всякаго рода оскорбленіями и издѣвательствами. И, вчитываясь въ произведенія г. Розанова поневолѣ, вспоминаешь этихъ частью не вполнѣ нормальныхъ людей, частью людей, что называется, себѣ на умѣ. Ихъ напоминаетъ уже самая форма его изложенія: обиліе неожиданныхъ сравненій, метафоръ, иногда совершенно безмысленныхъ, странные и внезапные выкрики, немотивированныя подчеркиванія отдѣльныхъ словъ, что-то очень цвѣтное, очень звонкое, иногда и очень сильное, а иногда просто бредоподобное. Этой формѣ изложенія соотвѣтствуютъ и безпорядочные скачки мысли. Онѣ скачутъ и другъ черезъ друга, и черезъ чужія мысли, и отъ одного произвольно выбраннаго факта къ другому, столь же произвольно выбранному, и черезъ факты.

Взять хоть бы эту самую „часовеньку“, за которую, по словамъ г. Шарапова, г. Протопоповъ правомѣрно г. Розанова „весьма отшлепалъ, приподнявъ халатъ“. Я не знаю, какъ произвелъ эту педагогическую операцію г. Протопоповъ, такъ какъ не читалъ его статьи, и отнюдь не намѣренъ повторять „сѣкуцію“, но „часовенька“ такъ характерна, что мнѣ хочется показать ее и своимъ читателямъ. Часовенька эта вставлена въ предисловіе къ книгѣ „Религія и культура“, а предисловіе начинается такъ: „По мѣрѣ того, какъ годъ за годомъ и пятилѣтіе за пятилѣтіемъ ложатся на усталыя вѣки

человѣка, глаза его опускаются долу и начинаютъ видѣть иное и иначе, чѣмъ нѣкогда, чѣмъ ранѣе. Укорачиваются горизонтальныя созерцанія, удлиняются вертикальныя. „Политика“, шумныя „партіи“— все становится глуше для слуха, скрывается „за гору Аменти“, какъ сказали бы египтяне. Вокругъ видится семья—„земля, на которой я стою“, священное „азъ есмь“ каждаго изъ насъ: то, что смиренно и безвидно несетъ около насъ трудъ, заботу, любовь, несетъ на плечахъ своихъ безустанныхъ „ковчегъ“ бытія нашего, суеты нашей, часто—„пустого“ „нашего“. —Читатель заинтересовывается въ началѣ этого отрывка красиво-печальнымъ образомъ старѣющаго человѣка, у котораго глаза опускаются „долу“ подъ бременемъ налегающихъ на усталыя вѣки годовъ, вслѣдствіе чего „укорачиваются горизонтальныя созерцанія“. И изъ за этой красоты вы не замѣчаете, можетъ быть, что дѣло идетъ просто о суженіи поля зрѣнія, объ очерствѣніи ума и сердца, теряющихъ способность обнимать мыслью и чувствомъ широкіе горизонты. „Въ пору „горизонтальныхъ созерцаній“—продолжаетъ г. Розановъ—мы склонны считать „отечествомъ“ то и иное, широкое или далекое, и вообще въ сущности нѣчто вовсе чуждое: пока, суживаясь во взорѣ, не открываемъ истинное свое отечество и такъ сказать „обитаемую имперію“, всѣ „45 томовъ Codex'а“ въ невинныхъ глазахъ дѣтей, въ супружеской вѣрности жены и вообще не далѣе порога своего „дома“. Отечество обширное и совершенно для каждаго достаточное“. И т. д. Вспоминается автору „Умирающій гладіаторъ“ Лермонтова, котораго дѣти дома „ждутъ назадъ съ добычей и славой; напрасно: жалкій рабъ, онъ палъ, какъ звѣрь лѣсной, безчувственной толпы“. И вмѣстѣ съ гладіаторомъ г. Розановъ восклицаетъ: „Прости, развратный Римъ“. А затѣмъ:

„*Итакъ*, сборникъ этихъ интимныхъ (по происхожденію) статей я посвящаю малому храму бытія своего, тѣсной своей часовенькѣ: памяти усопшихъ своихъ родителей—рабовъ Божіихъ Василія и Надежды, двѣ могилки и одна даже безвѣстная, даже безъ креста; памяти дочери, 9-ти-мѣсячной Надюши—этой поставленъ мраморный крестъ на Смоленскомъ; праведной труженицѣ, женѣ своей Варварѣ, урожденной Рудневой; и дѣтямъ-младенцамъ, которые всему то, всему меня научили именно въ „религіи“, именно въ „культурѣ“— Татьянѣ, Вѣрѣ, Варварѣ, Василію

... прости, о край родной!“

Вглядитесь не только въ эту „часовеньку“, за которую г. Розановъ уже былъ „весьма отшлепанъ“ и которую даже г. Шараповъ признаетъ „совершенно нелѣпой и невозможной“. Вглядитесь и вслу-

шайтесь во все это предисловіе. Старѣющій человѣкъ сознаетъ, что кругъ его сочувствія суживается,—фактъ, можетъ быть, и естественный (хотя, какъ видно изъ напечатанной въ „Русскомъ Трудѣ“ автобіографіи г. Розанова, ему 43 года,—немножко, какъ будто, рано хорониться въ часовенькѣ); путь естественный, но во всякомъ случаѣ идеализаціи не подлежащій. Что тутъ въ самомъ дѣлѣ хорошаго? Г. Розановъ считаетъ, однако, возможнымъ принарядить его въ красивый поэтическій образъ, который, впрочемъ, сейчасъ же уродуетъ разноцвѣтными словесными лоскутками и подчеркиваніями не только такихъ таинственныхъ выраженій, какъ „азъ есмь“ и т. п., но самыхъ обыкновенныхъ словъ, въ родѣ: „политика“, „партіи“, „ковчегъ“, „домъ“, „обитаемая имперія“, „45 томовъ Codex'а“. Все это имѣетъ для г. Розанова какое-то особенное, углубленное или иносказательное значеніе,—совершенно, однако, непонятно какое. Затѣмъ опять красивый образъ—на этотъ разъ чужой—умирающаго гладіатора. Чужой не только потому, что взятъ у Лермонтова, а и потому еще, что не имѣетъ никакого отношенія къ г. Розанову. Какой же онъ, въ самомъ дѣлѣ, умирающій гладіаторъ? И смерть отъ него, надо надѣяться, далеко, и настигнетъ она его, конечно, не такъ, какъ гладіатора. Во всякомъ случаѣ, сейчасъ мы не слышимъ, чтобы „торжественно гремѣла рукоплесканьями широкая арена“... дѣятельности г. Розанова. Правда, лермонтовскому умирающему гладіатору вспоминаются ожидающія его на родинѣ „съ добычею и славой“ „возлюбленныя дѣти“, а у г. Розанова тоже есть возлюбленныя дѣти. Но гладіаторъ не по своей волѣ умираетъ „безчувственной толпы минутною забавой“ и о возлюбленныхъ дѣтяхъ вспоминаетъ въ молчаливой тиши своего сердца,—эту мысль, это чувство онъ никому на потѣху не отдаетъ. Г. же Розановъ, во-первыхъ, слава Богу, живъ (и даже излѣчился недавно въ Пятигорскѣ отъ какой-то непріятной болѣзни, о чемъ самъ сообщаетъ въ „Литературныхъ очеркахъ“), а во-вторыхъ, вполнѣ добровольно отдаетъ своихъ родственниковъ въ восходящей и нисходящей линіи на потѣху всѣхъ, желающихъ потѣшаться. И послѣднее онъ исполняетъ блистательно: потѣшился надъ его часовенькой г. Протопоповъ, потѣшился г. Шараповъ, потѣшались, вѣроятно, еще многіе другіе...

Фактъ, положенный г. Розановымъ въ основаніе предисловія къ сборнику „Религія и культура“, есть фактъ несомнѣнно прискорбный, ни идеализаціи, ни похвальбы не заслуживающій, а г. Розановъ вонъ какъ его разукрасилъ! Но и вообще его отношеніе къ фактамъ чрезвы-

чайно оригинально. Его мысль часто устраивается совсѣмъ независимо отъ фактовъ, отъ которыхъ ему надлежало бы отправляться или къ объясненію, опроверженію или утвержденію которыхъ направляться. Ему ничего не стоитъ отрицать несомнѣнный фактъ, равно какъ сочинить фактъ небывалый и на немъ построить иногда красивое, иногда безобразное словесное зданіе, обвѣшать словесными погремушками ничтожный фактъ и перескочить черезъ цѣлый рядъ фактовъ огромной важности. И, пожалуй, это нельзя ему поставить въ большую вину: онъ не воленъ въ себѣ. Музыка собственной словесности, обильно уснащенной красивыми образами и выразительными реченіями, взятыми изъ библіи или у поэтовъ, неожиданными сравненіями, метафорами,— до такой степени оглушаетъ его, что ему не до фактической достовѣрности и обоснованности. Тѣмъ хуже для такого-то факта, котораго не было, и для такого-то, который, напротивъ, былъ, если они своимъ бытіемъ или небытіемъ становятся поперекъ пути звонкаго словеснаго потока! Формы безцеремоннаго обращенія г. Розанова очень разнообразны, я приведу нѣсколько примѣровъ въ разномъ родѣ.

Въ сборникѣ „Религія и культура“ есть маленькая статейка „Франко-русскія впечатлѣнія“. Написана она по поводу пріѣзда въ Петербургъ французскихъ моряковъ, и на тему, достаточно уже надоѣвшую, такъ сказать, потухшую или утонувшую въ общемъ празднословіи. Но у г. Розанова нашлось, среди словеснаго тряпья, нѣсколько счастливыхъ выраженій и цѣлыхъ реченій. Напримѣръ. „Звуки марсельезы—„такъ себѣ“ на всемъ протяженіи, въ одномъ мѣстѣ, въ серединѣ — мистически прекрасны: Руже де-Лиль, сочинившій слова ея и музыку, *ни ранѣе, ни потомъ не написалъ ни одной строчки, т. е. это было чистое вдохновеніе, „дыханіе“ исторіи*. Въ той части звуковъ, которую я назвалъ мистическою, проходитъ какая то невыразимая загадка, что то запутанное и неразрѣшимое, какъ въ геніальныхъ созданіяхъ, будетъ ли то слово, звукъ, краска“, и т. д. (стр. 111).—Не совсѣмъ ясно, но не правда ли красиво? Если, однако, читатель остановится на томъ, что въ этой тирадѣ вполнѣ ясно, а именно на подчеркнутомъ мною фактическомъ утвержденіи, то увидитъ, что хорошенькое словесное зданьице г. Розанова построено даже не на пескѣ. Дѣло въ томъ, что Руже де-Лиль, кромѣ марсельезы, написалъ Chant des vengeances, Chant du combat, „дифирамбическій гимнъ“ на 9 термидора, нѣсколько романсовъ, сочинялъ и оперныя либретто. Интересно, ко

нечно, что все музыкальное и поэтическое наслѣдство Руже де-Лиля пошло прахомъ, и въ памяти потомства сохранилась только вѣчно живая марсельеза; но изъ этого не слѣдуть, чтобы г. Розановъ имѣлъ право строить какіе бы то ни было выводы не небываломъ, хотя и съ безапелляціонною рѣшительностью утверждаемомъ имъ фактѣ.

Въ сборникѣ „Религія и культура" есть статья „Христіанство активно или пассивно?" Авторъ желаетъ, между прочимъ, указать существующія въ современной цивилизаціи противорѣчія. Вотъ нѣкоторыя изъ нихъ: „Евангеліе есть книга безплотныхъ отношеній—цѣломудрія, возведеннаго къ абсолюту; и между тѣмъ цивилизація, казалось бы, на немъ основанная, есть *первая въ исторіи*, гдѣ проституція регистрируется, регламентируется и имѣетъ свое законодательство, какъ есть законодательство фабричное..." „Не пецытеся на утро, утренній бо собою печется",—и *нѣтъ, не было еще міра*, который тревогу свою простиралъ бы такъ далеко, какъ нашъ: мы боимся и кометы, которая какъ бы не разбила землю, и пересыханія водъ на нашемъ шарѣ, и исчезновенія на немъ воздуха, и охлажденія солнца, и паденія земли на солнце, космическаго „пожара". Трусость и „попеченіе", которыя *рѣшительно не имѣютъ себѣ примѣровъ въ исторіи*" (156). Г. Розановъ категориченъ... И что ему за дѣло до такихъ фактовъ, какъ весьма регламентированная, такъ называемая „священная" проституція языческой древности или законодательство Солона? Что ему далѣе за дѣло до средневѣковой цивилизаціи, правда, „христіанской", но весьма несходной съ современною, которая, однако, испещрена взрывами всенароднаго трепета въ ожиданіи близкой кончины міра или пришествія Антихриста? Были эти факты, и всѣмъ они хорошо извѣстны, но такъ выходитъ ярче и звонче: „первая въ исторіи", „нѣтъ и не было еще міра", „рѣшительно не имѣютъ себѣ примѣровъ въ исторіи"...

Въ томъ же сборникѣ „Религія и культура" есть четыре-пять страничекъ, озаглавленныхъ „Теперь и прежде". Здѣсь сопоставлены два факта, отдѣленные одинъ отъ другого географически тысячами верстъ и хронологически—тысячелѣтіями. „Теперь" — это возмутительная исторія, случившаяся въ Парижѣ въ 1881 г., „прежде"—библейскій разсказъ о Сусаннѣ и двухъ сластолюбивыхъ старцахъ; и ничего, ровно ничего, кромѣ этихъ двухъ фактовъ... и основаннаго на нихъ сравненія двухъ цивилизацій, отдѣленныхъ одна отъ другой географически тысячами верстъ, хронологически—тысячелѣтіями...

Вернемся къ замѣткѣ о кн. Мещерскомъ, съ которой начали бесѣду о г. Розановѣ. Тамъ мы имѣемъ тоже очень своеобразное обращеніе съ фактами. Бѣлинскій насмѣшливо относился къ Булгарину, Пушкинъ писалъ на него эпиграммы, „и ничего больше мы о Булгаринѣ не знаемъ", —утверждаетъ г. Розановъ. Онъ пишетъ и *подчеркиваетъ*: „ничего больше, ничего еще, т. е. *опредѣленнаго, доказаннаго*, ставшаго *общеизвѣстнымъ*". Не считаю нужнымъ распространяться о томъ, что для всякаго, сколько нибудь знакомаго съ исторіей нашей литературы, дѣятельность Булгарина вполнѣ ясна. Но зачѣмъ понадобилось г. Розанову какъ будто притворяться, что онъ не знаетъ „опредѣленныхъ, доказанныхъ, общеизвѣстныхъ" фактовъ? потому что вѣдь не можетъ онъ ихъ не знать. Однако и притворяться ему нѣтъ резона. Я думаю, дѣло объясняется просто тѣмъ, что онъ въ себѣ не воленъ. Мелькнула у него мысль, что писатели могутъ ни съ того, ни съ сего по безмолвному соглашенію окружить одного изъ своихъ собратовъ „зоной предубѣжденія", да такъ окружить, что и читатель не переступитъ этой „зоны". Мысль совершенно фантастическая, и въ дальнѣйшемъ изложеніи самъ г. Розановъ признаетъ, что нѣтъ дыма безъ огня. Но, разъ возникнувъ, мысль немедленно облекается въ свойственную г. Розанову пеструю и звонкую словесную форму, и всѣ эти образы, уподобленія, метафоры своею фиктивною реальностью заслоняютъ отъ него факты подлинной дѣйствительности. Ему въ голову не приходитъ даже такое простое соображеніе, что если такіе люди, какъ Бѣлинскій (котораго онъ цѣнитъ высоко, хотя и съ ухищреніями) и Пушкинъ (котораго онъ цѣнитъ еще выше и уже безъ всякихъ ухищреній), относились къ Булгарину извѣстнымъ образомъ, такъ интересно было бы доискаться причинъ такого ихъ отношенія. Но здѣсь, кромѣ своеобразнаго отношенія къ фактамъ, мы имѣемъ еще и чрезвычайно характерную аргументацію. „Что такое сдѣлалъ Булгаринъ?" наивно спрашиваетъ г. Розановъ и, вмѣсто того, чтобы справиться въ источникахъ, всѣмъ доступныхъ, всѣмъ извѣстныхъ, задаетъ второй, ни съ чѣмъ несообразный вопросъ: „сжегъ ли онъ новый храмъ Діаны Ефесской, какъ древній Геростратъ? Нѣтъ, но онъ сдѣлалъ хуже или, *точнѣе*, съ нимъ сдѣлалось худшее": его презирали Бѣлинскій и Пушкинъ. Какая ужъ это „точность!" это просто неожиданный поворотъ налимьяго хвоста, обладатель котораго, почуявъ опасность, вильнулъ въ сторону. А между тѣмъ г. Розановъ, вполнѣ довольный своимъ выводомъ, прилагаетъ его къ

кн. Мещерскому, кстати (!) припоминая и Парнелля, о причинахъ политическаго краха котораго тоже будто бы никому ничего неизвѣстно...

Уподобивъ выше г. Розанова юродивымъ или юродствующимъ, я отнюдь не думалъ нанести ему обиду или вообще причинить какую нибудь непріятность. И даже совсѣмъ напротивъ, потому что г. Розановъ держится чрезвычайно высокаго мнѣнія о юродивыхъ. Въ маленькой, но въ высокой степени интересной статейкѣ „Катковъ, какъ государственный человѣкъ" онъ развиваетъ цѣлую теорію юродства и опредѣляетъ историческую роль юродивыхъ. Статейка эта, содержащая въ себѣ нѣкоторые основные элементы духа г. Розанова и до извѣстной степени центральная въ его литературномъ багажѣ, написана по поводу статьи г. Грингмута, напечатанной въ сборникѣ „Памяти М. Н. Каткова" (1897 г.). Г. Грингмутъ возвеличилъ Каткова на счетъ славянофиловъ и западниковъ, которыхъ, дескать, онъ затмилъ и сокрушилъ ясностью и трезвостью своего „государственнаго міросозерцанія". Не входя въ разборъ и различеніе славянофильства и западничества, г. Розановъ, между прочимъ, замѣчаетъ: „Оставимъ ихъ: и вотъ, однако же, общее у нихъ—алканіе; и вотъ общее же у Каткова, неизмѣнное на всемъ протяженіи его дѣятельности—сытость: сытость души эмпирическимъ содержаніемъ дѣйствительности. „Въ этомъ заключается великая государственная заслуга Каткова",—говоритъ г. Грингмутъ. О, нѣтъ, отмѣтимъ мы: въ этомъ его малость; въ этомъ и только въ этомъ лежитъ губительная для его памяти сторона его дѣятельности, тутъ—червь, точащій его пирамиду, и, наконецъ, мы рѣшаемся даже это сказать: тутъ, въ этомъ практицизмѣ его, лежитъ именно мечтательность его ума, неопытность сердца, незнаніе дѣйствительности. Тутъ онъ иллюзіонистъ, создатель самыхъ короткихъ и близко гибнущихъ видѣній". И далѣе: „Катковъ и его „десятилѣтняя" память; Катковъ, „какъ великій государственный человѣкъ". Нѣтъ—малый. Почему? Онъ—среди идущихъ, а не тѣхъ, которые ведутъ". „Мечтатель" же Катковъ „потому, что имъ не принята въ разсчетъ коренная дѣйствительность въ исторіи, самый главный ея нервъ... онъ не зналъ человѣческаго сердца въ древнѣйшихъ, исконнѣйшихъ его основаніяхъ". Истинный духъ исторіи „чуть-чуть брезжилъ у насъ въ почти политическихъ, т. е. узкихъ и сухихъ, слишкомъ „умныхъ" для настоящей значительности, партіяхъ славянофиловъ и западниковъ. Но и это ему (Кат-

кову) не понравилось: даже блѣдную зарю „взыскуемаго града“— какъ еще говоритъ и, говоря, конечно, освящаетъ Апостолъ—онъ хотѣлъ бы согнать съ сѣренькаго неба нашей исторіи. Онѣ еще „ищутъ“ эти партіи; онѣ „алчутъ“—когда онъ такъ „сытъ“. Въ самомъ дѣлѣ, какая бѣда и „мука“ для уравновѣшанности отъ этого! И вотъ „великій государственный человѣкъ“, взявъ въ руки „государственную клюку“, хотѣлъ бы вымести всю эту „мистику“ („Литературные очерки“, стр. 127—131).

Это противопоставленіе катковской „сытости души эмпирическимъ содержаніемъ дѣйствительности“—всякимъ „алканіямъ“, въ чемъ бы они ни состояли и на что бы ни направлялись, превосходно и по мысли, и по яркости выраженія. Правъ г. Розановъ, и говоря о мечтательности Каткова: холодная, жесткая, лишенная всякаго блеска и подъема, это была именно, однако, мечтательность; потому что вѣдь и щедринскій Угрюмъ-Бурчеевъ былъ своего рода мечтатель и, пожалуй, „неопытное сердце“. Правъ, наконецъ, г. Розановъ и въ томъ отношеніи, что Катковъ „шелъ“, но „не велъ“. Но кто же „ведущіе“, кто „создаетъ истинное, народами признанное, народами оплакиваемое и вспоминаемое величіе“? Кто „истинные зиждители узоровъ исторіи“? Читатель—и г. Розановъ знаетъ это, предвидитъ—будетъ пораженъ отвѣтомъ: „юродивые и полководцы“... Да, юродивые и полководцы,—и г. Розановъ выстрѣливаетъ въ читателя цѣлымъ залпомъ безпорядочно набранныхъ историческихъ именъ: Кромвель, Джонъ Ноксъ, Лойола, г-жа Крюднеръ, Густавъ Адольфъ, Тилли, Валенштейнъ, Лютеръ, блаженный Августинъ, Магометъ, Тамерланъ, библейскій Іаковъ, Руссо, Іоанна Даркъ. Чрезвычайно характерно для г. Розанова теченіе мысли, связавшее этотъ странный букетъ именъ. Въ основаніи его лежитъ теорія „маттоидовъ“ Ломброзо, по которой во главѣ всякаго общественнаго движенія, каковы бы ни были его цѣли, характеръ и результаты, стоятъ люди неуравновѣшаннаго духа, маттоиды, люди уже потому ненормальные, что стремятся нарушать нормальное для человѣчества тяготѣніе къ инертному покою; сплошь и рядомъ такой маттоидъ погибаетъ жертвою своего предпріятія, и тогда онъ или жалкая комическая фигура, безслѣдно исчезающая въ морѣ забвенія, или запоминается исторіей, какъ безумецъ, злодѣй, или безумный злодѣй; если же его дѣло удается,—исторія вѣнчаетъ его лаврами великаго человѣка и благодѣтеля человѣчества. Здѣсь не мѣсто обсуждать эту теорію (интересующіеся благоволятъ обратиться ко II-му тому мо-

ихъ „сочиненій"), тѣмъ болѣе, что г. Розановъ не упоминаетъ объ ней, равно какъ и о тѣхъ случаяхъ, когда дѣло маттоида не выгораетъ: его „юродивые" всегда велики, потому что всегда *ведутъ* за собой другихъ людей. Любопытно, между прочимъ, его мимоходомъ брошенное замѣчаніе, что теоріи славянофиловъ и западниковъ были „слишкомъ „умны" для настоящей значительности". Это совершенно въ духѣ Ломброзо и при томъ до извѣстной степени соотвѣтствуетъ истинѣ; въ томъ именно отношеніи что умъ самъ по себѣ слишкомъ склоненъ оглядываться во всѣ стороны, чтобы съ рѣшительностью встать на опредѣленную практическую дорогу, не говоря уже о тѣхъ случаяхъ, когда внѣшнія обстоятельства непреодолимо препятствуютъ ему разрѣшиться дѣйствіемъ, не даютъ „вести" людей за собой.

Итакъ, юродивые „ведутъ". Но, написавъ или сказавъ себѣ это слово, г. Розановъ отнюдь не по идейной, а по чисто словесной ассоціаціи вспоминаетъ „полко*водцевъ*",—они вѣдь тоже ведутъ. Далѣе встрѣчается новая словесная ассоціація: „Юродивые,—пишетъ г. Розановъ,—т. е. уродливые, и еще съ печатью какого-то космическаго (?) неприличія на себѣ, истинные „хромцы" духа. Это легенды передаютъ о Тамерланѣ, что когда онъ родился, то, сверхъ всякаго другого безобразія, оказался еще и „хромцомъ". Іаковъ тоже сталъ „хромать", поборовшись съ Богомъ „до утра". И всѣ они ясно, эти юродивые, гдѣ-то и какъ-то „поборолись съ Богомъ" и чувствуютъ Его: таинственное теистическое дуновеніе, при всей яркой и неукрытой отъ человѣчества „хромотѣ" ихъ, собственно у нихъ однихъ и замѣчается".

Вы видите, какъ безпомощно крутится мысль г. Розанова словеснымъ вихремъ: иносказаніе, реальный фактъ физическаго уродства, легенда, „хромота духа", полководцы, юродивые, цѣпляясь другъ за друга, исполняютъ какой-то фантастическій танецъ подъ музыку словесныхъ колокольцовъ и бубенцовъ. Но въ статейкѣ, о которой у насъ идетъ рѣчь, намѣчается еще одна особенность литературной физіономіи г. Розанова. Поболтавъ (сказать: „поговоривъ"—я не рѣшаюсь) о г-жѣ Крюднеръ и священномъ союзѣ, Густавѣ Адольфѣ, Тилли, Валенштейнѣ, Лютерѣ, г. Розановъ переходитъ къ блаженному Августину: „Его „Градъ Божій", Civitas Dei есть что-то въ родѣ Священнаго же союза, но только прочнѣе воздвигнувшееся и всемірнѣе раскинувшееся; за цѣлость этого-то Civitas Dei противъ сомнѣній Лютера и встали Тилли и Валенштейнъ. Тамъ и здѣсь

равно туманъ воображенія; какъ равно—если мы не хотимъ ограничиться христіанствомъ, такъ какъ имъ не ограничивается исторія—и у Магомета: „болѣе всего въ жизни любилъ я прекрасныхъ женщинъ и ароматы, но истинное наслажденіе находилъ только въ молитвѣ"; вѣхи бытія, категоріи желаемаго, которыя въ обратномъ порядкѣ могла-бы указать у себя Крюднеръ: „очень любила и молиться, еще болѣе—танцовать, но истинное наслажденіе находила только въ мужчинѣ" (Стр. 129).—Вы всматриваетесь, вслушиваетесь, перечитываете: что такое? Гдѣ логическія звенья между Civitas Dei, Священнымъ союзомъ, страстью Магомета къ молитвѣ и прекраснымъ женщинамъ, страстью г-жи Крюднеръ къ мужчинамъ и молитвѣ? Они, можетъ быть, были, эти логическія звенья, но читатель ихъ не видитъ, а, можетъ быть, ихъ и не было вовсе.

Въ разсказѣ г. Булыгина „Любочкино горе" *) юродивый Кириллушка изрекаетъ: „Пѣтухъ пѣлъ, не допѣлъ... Ку-ка-ре-ку, боярышня... Микита угодникъ палкой грозитъ, сѣчь велитъ... Батюшка, помилуй... Аллилуія!" Я не говорю, конечно, что г. Розановъ излагаетъ свои мысли именно такъ, но чуть не въ каждой его статьѣ можно встрѣтить цѣлыя страницы, переполненныя скачками, напоминающими выкрикиванія юродиваго Кириллушки. Въ особенности, когда рѣчь заходитъ „о тѣлѣ и о тайномъ въ тѣлѣ", какъ гласитъ заглавіе одной изъ статей г. Розанова въ „Гражданинѣ", или о „молитвѣ и прекрасныхъ женщинахъ",—этихъ „вѣхахъ бытія, категоріяхъ желаемаго". Тутъ г. Розановъ впадаетъ почти въ настоящій бредъ, какъ, напримѣръ, въ статьѣ „Нѣчто изъ сѣдой древности" (въ сборникѣ „Религія и культура"). Этого рода статьи, очевидно, и имѣетъ въ виду издатель сочиненій г. Розанова, г. П. Перцовъ, говоря, что отъ нихъ „отдаетъ уже не религіозною мыслью, даже не философской софистикой, а прямо чѣмъ-то клиническимъ и психопатологическимъ по отдѣлу эротоманіи".

Итакъ, я не наношу обиды г. Розанову, уподобляя его юродивымъ... Не всѣ же, однако, юродивые и не всѣ полководцы. Англійскіе генералы, *ведущіе* нынѣ цвѣтъ своего народа на убой, тоже вожди, но, до сихъ поръ по крайней мѣрѣ, исторія не имѣетъ основаній прибавить плюсъ величія къ ихъ именамъ. Что же касается юродивыхъ, то допустимъ даже, что всѣ вышеприведенныя историческія лица дѣйствительно юродивыя, и что, съ другой стороны, напримѣръ, г-жа Крюднеръ „создала истинное, народами оплакиваемое

*) № 9 „Русскаго Богатства" 1899 г.

и воспоминаемое величіе". Въ этомъ очень позволительно сомнѣваться, но допустимъ. Все же есть несомнѣнные юродивые, которые, однако, никого не ведутъ за собой, „народами не оплакиваются и не воспоминаются". Вотъ хоть бы тотъ же Кириллушка: правда, невѣжественные люди иногда прислушиваются къ его бормотанью, ища въ немъ таинственнаго смысла, но они же при случаѣ съ презрительною грубостью „отшлепываютъ" его.

Къ какому разряду юродивыхъ принадлежитъ г. Розановъ? Ведетъ ли онъ кого нибудь за собой, и если ведетъ, то кого именно?

Лѣтъ восемь тому назадъ г. Розановъ напечаталъ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ" статью подъ очень громкимъ и рѣшительнымъ заглавіемъ: „Почему мы отказываемся отъ наслѣдства 60—70-хъ годовъ?" Не смотря на столь рѣшительно и ясно поставленный вопросъ, позволявшій ожидать столь же рѣшительнаго, окончательнаго отвѣта, г. Розанову пришлось написать на эту тему еще цѣлый рядъ статей (онѣ перепечатаны въ сборникѣ „Литературные очерки" подъ общимъ заглавіемъ „Старое и новое"). Содержанія этихъ статей я касаться не буду. Меня интересуетъ здѣсь только вопросъ: кто эти „мы", отъ лица которыхъ говоритъ г. Розановъ, которыхъ онъ представительствуетъ? кого онъ *ведетъ* за собой?

Попробуемъ пересмотрѣть, кто еще заявлялъ или заявляетъ о своемъ отказѣ отъ наслѣдства и въ какихъ они отношеніяхъ находятся съ г. Розановымъ. Первое заявленіе было сдѣлано, кажется, „Недѣлей". Но вотъ что мы читаемъ въ статьѣ г. Розанова „Кроткій демонизмъ" („Литературные очерки", стр. 160):

> Нѣжнымъ блѣднорозовымъ задачамъ „Книжекъ Недѣли" удивительно отвѣчаетъ г. Меньшиковъ, писатель юной мысли и юнаго языка, а главное—который никогда не обѣщаетъ состариться. Это писатель-мелодистъ; не богата и проста его мелодія:
>
> Чижикъ, чижикъ, гдѣ ты былъ?—
>
> но она льется, не утомляя и убаюкивая слухъ читателя, изъ страницы въ страницу, изъ книжки въ книжку журнала, переливается съ одной темы на другую и, кажется, сгинь всѣ сотрудники „Книжекъ Недѣли", г. Меньшиковъ безъ всякаго напряженія ума и утомленія слова могъ бы замѣстить ихъ всѣхъ. Если вы не подвержены чувству умственной скуки, вы никогда не устанете его читать; равно какъ если въ васъ есть этотъ скверный червякъ, вы никогда его читать не начнете.

И т. д.—но уже не тономъ добродушной насмѣшки, а съ уличеніями въ „прямой и беззастѣнчивой лжи" и т. д. Принимая въ

соображеніе положеніе, занимаемое г. Меньшиковымъ въ „Недѣлѣ“, можно, кажется, заключить, что хотя „недѣльные“ люди такъ же, какъ и г. Розановъ, отрекаются отъ наслѣдства, но имъ съ нимъ не по дорогѣ.

Отказываются отъ наслѣдства еще такъ называемые „ученики“ (мнѣ кажется, однако, что наиболѣе умные и добросовѣстные изъ нихъ скоро вернутся къ 70-мъ годамъ, конечно, не для буквальнаго ихъ повторенія, какъ и 70-е годы не буквально повторяли своихъ предшественниковъ). Но г. Розановъ смотритъ на „учениковъ“ глазами г. Слонимскаго съ прибавленіемъ нѣкоторой собственной, не менѣе отрицательной отсебятины (См. статью „Литературно-общественный кризисъ“ въ „Литературныхъ очеркахъ“).

Отказываются декаденты и символисты, но „отрицательное отношеніе“ къ нимъ „безспорно“ для г. Розанова („Религія и культура“, 139). Правда, это, какъ я думаю, недоразумѣніе, и рано или поздно декаденты примутъ г. Розанова въ свои объятія. Кажется, это уже и произошло на страницахъ одного иллюстрированнаго журнала. Но, насколько мнѣ этотъ эпизодъ извѣстенъ, г. Розановъ просто примкнулъ къ декадентамъ, а не повелъ ихъ за собой. Да и куда ихъ вести, когда они уже давно до точки дошли?

Въ упомянутыхъ статьяхъ, объединенныхъ подъ рубрикою „Старое и новое“, г. Розановъ отказывался отъ наслѣдства во имя славянофильскаго ученія. Говорилъ онъ не только лично отъ себя,— въ его лицѣ „мы“ отказывались отъ наслѣдства. Значитъ, эти „мы“— славянофилы? Но гдѣ же они? Что то давно не слыхать о нихъ, какъ не слыхать и ихъ самихъ. А кромѣ того, вотъ что, между прочимъ, разсказываетъ г. Розановъ. Покойный Н. Н. Страховъ, который относился къ славянофиламъ съ величайшимъ почтеніемъ, говорилъ однажды ему, г. Розанову: „вы славянофилъ или, по крайней мѣрѣ, поднялись съ почвы славянофильской; вы приносите, поэтому, неизмѣримый вредъ школѣ, ибо ваши мнѣнія могутъ быть поставлены ей на счетъ“ („Литературные очерки“, 257. Мы сейчасъ увидимъ, какъ серьезны были основанія Страхова для такой суровой отповѣди непрошенному защитнику славянофильства и самозванному его представителю).

Такимъ образомъ, куда ни кинь,—все клинъ: „мы“ г. Розанова представляютъ собою плодъ его воображенія, и нѣтъ людей, которые могли-бы или захотѣли-бы идти даже рядомъ съ нимъ, а не только за нимъ. За нимъ идутъ, пожалуй, гг. Шараповъ и Перцовъ,

но больше для того, чтобы въ этой цѣлесообразной позиціи время отъ времени приподнимать полы его халата и „отшлепывать“ его, хотя и „безъ поврежденія мягкихъ частей“, какъ мило шутитъ г. Шараповъ.

Въ томъ, что г. Розановъ никого не ведетъ за собой, нѣтъ ничего удивительнаго. И не только потому, что его писанія слишкомъ часто напоминаютъ собою бормотаніе Кириллушки, или что онъ можетъ выскочить на площадь съ изувѣрски безстыдными и наглыми окриками на Л. Толстого. Это само собой. Но г. Розановъ не всегда-же говоритъ безсмысленныя рѣчи и не всегда совершаетъ неприличные поступки. У него есть страницы, блещущія и ясностью значительной мысли, и яркой силою ея выраженія. Такія страницы читатель найдетъ въ сборникѣ „Сумерки просвѣщенія“, въ статьяхъ „Психологія русскаго раскола“ („Религія и культура“), „Съ юга“ („Литературные очерки“) и еще кое-гдѣ. Любопытно сравнить двѣ рядомъ стоящія подъ общимъ заглавіемъ „Съ юга“ замѣтки: первая—„Около болящихъ“—есть настоящее Кириллушкино бормотанье; вторая—„Въ Кисловодскомъ паркѣ“—истинно разумное и истинно-человѣчное слово на тему о положеніи инородцевъ въ нашемъ отечествѣ; конечно, съ червоточиной, потому что совсѣмъ безъ червоточины г. Розановъ обойтись не можетъ.

Если бы можно было выбрать, выжать изъ произведеній г. Розанова то, что въ нихъ есть цѣннаго, то эту выборку или выжимку я озаглавилъ бы словами: „Не угашайте духа!“ Именно такъ и именно съ восклицательнымъ знакомъ, символизирующимъ приподнятый тонъ статей, ихъ—я готовъ сказать—вдохновенность. Образчикъ этой точки зрѣнія мы видѣли въ характеристикѣ Каткова, выдѣленной изъ фантастической рамки „юродивыхъ и полководцевъ“, „прекрасныхъ женщинъ, ароматовъ и молитвы“. Не угашайте духа ищущихъ, „грядущаго града взыскующихъ“, вы, „сытые эмпирическимъ содержаніемъ дѣйствительности“, не угашайте духа дѣтей, „малыхъ сихъ“, наваливая на нихъ ненужное и неудобное бремя, вы, неумѣлые спеціалисты по фабрикаціи педагогическихъ системъ; не угашайте животворящаго духа половой любви, вы, развратники, съ одной стороны, вы, духовные кастраты—съ другой; не угашайте духа народовъ, вы, неумѣлые или лицемѣрные „патріоты“. Такова свѣтлая искра, пробѣгающая по произведеніямъ г. Розанова, разгорающаяся иногда въ яркое пламя, но большею частью еле ви-

димая сквозь дымъ юродства; въ особенности, когда рѣчь заходитъ о половой любви, о „прекрасныхъ женщинахъ и молитвѣ“, о „тѣлѣ и о тайномъ въ тѣлѣ“. Тутъ г. Розановъ напоминаетъ гоголевскаго учителя исторіи, который „покамѣстъ говоритъ объ ассиріянахъ и вавилонянахъ—еще ничего, а какъ добрался до Александра Македонскаго... сбѣжалъ съ каѳедры и, что силы есть, хвать стуломъ объ полъ!“ Но съ этимъ Кириллушкинымъ бормотаньемъ еще можно бы было помириться, привыкнувъ къ нему и ставъ на точку зрѣнія соболѣзнованія, жалости. Въ ткани мышленія и писанія г. Розанова есть гораздо болѣе непріятныя нити.

Вышеупомянутая искра наиболѣе выдержана въ „Сумеркахъ просвѣщенія“. Это—горячій протестъ противъ казенщины, канцелярщины и придуманности нашихъ педагогическихъ системъ, и читатель найдетъ здѣсь истинно превосходныя страницы; въ особенности тамъ, гдѣ авторъ, какъ бывшій педагогъ, выступаетъ во всеоружіи личнаго опыта и наблюденія. Эта практическая почва личнаго опыта и наблюденія воздерживаетъ г. Розанова отъ паренія въ область Кириллушкина бормотанія (хотя есть и оно). Но въ положительной части работы эта же практическая почва подсказываетъ удивительно странныя вещи. Странныя уже своею мелкостью, своей—да простится мнѣ неуклюжее слово—terre-á-terre'ностью рядомъ съ широкими размахами словесной кисти, рисующей коренную фальшь и насиліе „эмпирической дѣйствительности“ и огромную отвѣтственность дѣятелей просвѣщенія. Напримѣръ: „это (все равно что) можетъ быть легко устроено черезъ простое перемѣщеніе суммъ, отпускаемыхъ на содержаніе учительскихъ семинарій и институтовъ, съ ихъ сборными программами de omne res cibili—въ семинаріи и академіи духовныя на учрежденіе въ нихъ каѳедръ педагогики—это, съ одной стороны, и на увеличеніе штатовъ при сельскихъ и городскихъ церквахъ—съ другой“ („Сумерки просвѣщенія“, 29). Видите, какъ просто „устраивается“ и перестраивается „эмпирическая дѣйствительность“, полная лжи и насилія.

Я не могу входить въ подробности положительной части „Сумерекъ просвѣщенія“, но если читатель сравнитъ то, что тамъ говорится о роли церкви въ дѣлѣ народнаго просвѣщенія, съ тѣмъ, что г. Розановъ говоритъ о церкви въ статьѣ „Психологія русскаго раскола“,—то безъ труда пойметъ, почему г. Розановъ не ведетъ и не можетъ никого вести за собой: просто потому, что физически невозможно идти заразъ и направо, и налѣво. А изъ „Сумерекъ

просвѣщенія“ я приведу еще только одну интересную мысль. На стр. 131 г. Розановъ съ какимъ-то страннымъ умиленіемъ вспоминаетъ, какъ его въ дѣтствѣ разъ больно высѣкли. Онъ разсказываетъ: „Уже очень рано я забылъ и кто, и какъ, и за что меня наказывали, и до сихъ поръ помню только, какъ тетка въ зеленомъ платьѣ пришла и сѣла около меня часа два спустя и, ощупывая наказанныя части, съ ужасомъ говорила: „что же они съ тобой сдѣлали!“ и утѣшала меня“. Затѣмъ г. Розановъ вспоминаетъ, что, въ бытность его учителемъ гимназіи и классным наставникомъ, къ нему „нерѣдко являлись матери учениковъ (всегда вдовы) съ просьбой наказать розгами (то есть, чтобы это было сдѣлано въ гимназіи) своего разбаловавшагося мальчугана“. Къ сожалѣнію, „это запрещено всѣми параграфами“,—съ скорбною ироніей замѣчаетъ г. Розановъ, и онъ долженъ былъ ограничиваться совѣтомъ—„обратиться къ кому нибудь по сосѣдству или изъ родственниковъ и больно-больно высѣчь“ гимназиста. „И теперь,—продолжаетъ г. Розановъ,—когда мнѣ приходится видѣть въ богатой и образованной семьѣ лимфатическихъ дѣтей, киснущихъ среди своихъ „глобусовъ“ и другихъ „пособій“, я всегда, вспоминая и свое дѣтство, думаю: какъ бы встряхнулись они, оживились, начали тотчасъ и размышлять, и чувствовать, если бы, взамѣнъ всѣхъ этихъ для ихъ любознательности расшпиленныхъ букашекъ и запыленныхъ минераловъ, разъ-другой ихъ самихъ вспрыснуть по старому. Все тотчасъ перемѣнилось бы въ „обстоятельствахъ“, и впечатлительность бы пробудилась, и сила сопротивленія требуемому,—имено *оживился бы* (курсивъ г. Розанова) духъ, который теперь только затягивается какою-то плѣсенью подъ музыку все поученій, поученій и поученій, все разъясненій, разъясненій и разъясненій“.

Замѣтьте, что тѣ гимназисты, на которыхъ матери жаловались г. Розанову, какъ классному наставнику, были „разбаловавшіеся мальчуганы“ („сестеръ колотитъ, меня не слушаетъ, ничего не могу сдѣлать“, жаловались матери), значитъ, даже слишкомъ живые и активные, и ихъ слѣдовало „больно-больно высѣчь“,—для укрощенія. „Лимфатическія дѣти“, о которыхъ дальше говоритъ г. Розановъ, смирно сидятъ за „глобусами“ и „пособіями“, „киснутъ“, но худого, повидимому, ничего не дѣлаютъ, по крайней мѣрѣ, ни о какихъ ихъ винахъ или проступкахъ и рѣчи нѣтъ, и ихъ слѣдуетъ, *взамѣнъ* „пособій“, „разъ-другой вспрыснуть по старому“—для оживленія... Такова магическая всеисцѣляющая сила розги.

Но насиліе и въ частности. если не розга, то „рожонъ“ или „бичъ тѣлесный“ годится и для взрослыхъ. Я приводилъ уже слова покойнаго Страхова, обвинявшаго г. Розанова въ томъ, что онъ компрометируетъ славянофильство своими мнѣніями. Укоры Страхова оканчивались такъ: „славянофильство всегда было терпимо, никогда оно силы не проповѣдывало“.—Это эпизодъ изъ споровъ Страхова и г. Розанова по поводу какихъ-то статей послѣдняго, которыхъ я не нашелъ въ лежащихъ передо мной трехъ сборникахъ. Надо замѣтить, что Страховъ былъ, по свидѣтельству г. Розанова, человѣкъ вообще религіозный и въ частности искренно вѣрующій христіанинъ. До такой степени, что сказалъ однажды г. Розанову: „душа безсмертна не отъ того, какъ вы говорите, что она есть одинъ изъ принциповъ бытія и что принципы неразрушаемы, но потому, что это твердо обѣщано намъ св. Писаніемъ“. Но и этого человѣка нетерпимость г. Розанова довела однажды до того, что „однажды, забывшись, онъ просто сталъ кричать на меня, чего съ нимъ никогда не было“,—разсказываетъ г. Розановъ. А объ упомянутыхъ статьяхъ послѣдняго Страховъ высказался такъ: „Вы не только темно и запутанно, сквернымъ синтаксисомъ написали эти статьи: это ваше дѣло; но вы совершили ими дурной поступокъ въ литературѣ“. Повторяю, я не нашелъ этихъ статей, но характеръ ихъ достаточно выясняется слѣдующимъ сообщеніемъ г. Розанова:

Съ какимъ то недоумѣніемъ, тоской, наконецъ, съ негодованіемъ и съ истиннымъ неуваженіемъ онъ (Страховъ) выслушивалъ мысль о возможномъ насиліи въ сферѣ религіозныхъ чувствъ; нельзя передать той красоты духовной, того ума и благородства, съ которымъ онъ указывалъ, что никогда и ни для какого случая Спаситель не разрѣшалъ насилія; что весь духъ Евангелія есть духъ убѣжденія и никогда принужденія. Повидимому, тутъ было недоразумѣніе: принудить *вѣрить*, *слиться* со мной въ вѣрѣ—никого нельзя; усвоеніе вѣры, какъ актъ чисто субъективный, внутренній, сердечный— eo ipso можетъ совершиться только усиліями вѣрующаго, т. е. только свободно. Но вѣрующіе не только не могутъ, но и не должны выносить присутствія отрицаній своей вѣры около себя: итакъ, не принужденіе къ вѣрѣ, но актъ сбрасыванія съ себя, физическій и территоріальный, всякаго легкомыслія въ вѣрѣ и ея искаженія—есть то, правоту и необходимость чего я всегда чувствовалъ. Это я говорилъ ему, т. е. въ формѣ отрицательной, не какъ принципъ *in*trare compelle, но—*ex*trare compelle. «Какъ сбрасывать? да если я *не могу* вѣрить, чистосердечно, искренно»... Въ смущеніи, я ничего не говорилъ... „Такъ рожномъ меня?“ и онъ сдѣлалъ жестъ.—„Для чего вамъ жить среди вѣрующихъ, уѣзжайте въ Германію“, сказалъ я („Литературные очерки“ 252—253).

Вы понимаете: или „рожномъ“, или убирайся въ Германію, гдѣ уже совсѣмъ вѣрующихъ нѣтъ, настоящихъ, какихъ г. Розанову требуется. Въ соотвѣтствіи съ этимъ находятся слѣдующія энергическія выраженія, подчеркивающія требованіе прямо физическаго насилія: „Настала нѣкоторая всемірная глухота къ истинѣ и въ наши дни; и нѣтъ средствъ преодолѣть ее иначе, какъ *жгущей* истиной—истиной, которая *кусала* бы ухо и *рвала* человѣка къ вниманію“ (254). Курсивы этихъ глаголовъ *жечь*, *кусать*, *рвать*—принадлежатъ г. Розанову, потому что—„не угашайте духа!..“ Или: „Слово есть бичъ духовный такъ же, какъ и питающая манна; бичъ тѣлесный поднимается, когда безуміе или порокъ не внимаютъ никакому слову“ (257), а впрочемъ, и тогда, когда „лимфатическія дѣти“ смирно сидятъ за глобусами и пособіями...

И вотъ, оглядываясь назадъ, г. Розановъ видитъ, что за нимъ идутъ... дѣйствительно идутъ, но все люди недостаточно вѣрующіе: не жгутъ, не кусаютъ, не рвутъ, а только, приподнявъ полу его халата, „отшлепываютъ“, и даже „безъ поврежденія мягкихъ частей“...

VIII *).

Памяти Д. В. Григоровича.

22-го декабря 1899 года скончался Дмитрій Васильевичъ Григоровичъ. Скончался онъ 77-ми лѣтъ, то-есть въ возрастѣ, какого рѣдко достигаютъ русскіе писатели. Но и въ другихъ отношеніяхъ судьба Григоровича была довольно исключительна.

Онъ началъ писать въ 1843—44 году. Послѣ нѣсколькихъ совершенно незначительныхъ разсказовъ, изъ которыхъ „Петербугскіе шарманщики" едва ли не лучшій, онъ въ 1847 году вдругъ поднялся до самой вершины литературы повѣстями изъ народнаго быта „Деревня" и въ особенности „Антонъ Горемыка". О впечатлѣніи, произведенномъ этими повѣстями на современниковъ, можно судить по слѣдующимъ словамъ Салтыкова: „Я помню „Деревню", помню „Антона Горемыку", помню такъ живо, какъ будто все это совершилось вчера. Это былъ первый благотворный весенній дождь, первыя хорошія, человѣчныя слезы, и съ легкой руки Григоровича мысль о томъ, что существуетъ мужикъ-человѣкъ, прочно залегла и въ русской литературѣ, и въ русскомъ обществѣ". Бѣлинскій очень одобрилъ „Деревню", хотя и отмѣтилъ въ ней нѣкоторые недостатки, а отъ „Антона Горемыки" пришелъ въ полный восторгъ. Свое мнѣніе онъ заключилъ такими словами: „Желаемъ отъ всей души, чтобы г. Григоровичъ продолжалъ идти по этой дорогѣ, на которой отъ его таланта можно ожидать такъ многаго". И, какъ бы слѣдуя завѣту великаго критика, Григоровичъ написалъ еще нѣсколько разсказовъ и два романа изъ народнаго быта, но все это не могло идти ни въ какое сравненіе съ „Антономъ Горемыкой" и едва обращало на себя вниманіе критики. Далеко не первоклассный талантъ обнаружилъ Григоровичъ и въ рядѣ юмористическихъ раз-

*) Январь 1900 г.

сказовъ, и въ романѣ изъ помѣщичьяго быта „Проселочныя дороги". Но „Антонъ Горемыка" ярко горѣлъ въ памяти читателей, и отъ Григоровича ждали произведенія такой же или еще большей силы и значенія. Къ удивленію, Григоровичъ совсѣмъ замолчалъ. Всѣ бурные 60-е и 70-е годы, когда его сверстники—Салтыковъ, Достоевскій, Толстой, Тургеневъ, Островскій, Писемскій—все развертывали свои силы и давали значительнѣйшія произведенія, Григоровичъ не писалъ ничего (по крайней мѣрѣ, не печаталъ). Все это время онъ посвятилъ дѣятельности въ обществѣ поощренія художествъ, которому усердно служилъ и до конца дней своихъ; и не даромъ кто-то предлагалъ назвать музей общества музеемъ Григоровича. Но въ послѣднее время онъ, не оставляя сложной и хлопотливой работы по обществу поощренія художествъ, вновь появился въ литературѣ съ „Сномъ Карелина", „Акробатами благотворительности", „Гуттаперчевымъ мальчикомъ", „Пикникомъ". Это были произведенія писателя, хорошо знающаго изображаемый имъ бытъ, талантливаго, опытнаго, гораздо болѣе искуснаго, чѣмъ въ своихъ первыхъ произведеніяхъ, но несравненно менѣе значительнаго, чѣмъ въ „Антонѣ Горемыкѣ". А объ Антонахъ Григоровичъ точно и думать забылъ.

Какъ это случилось? Почему авторъ „Антона Горемыки" совсѣмъ ушелъ изъ литературы, когда Антоны стали особенно занимать ее и когда мысль объ освобожденіи Антоновъ, а потомъ и фактъ освобожденія, и все огромное, что связывалось съ этимъ фактомъ, вызвали небывалое оживленіе въ русскомъ обществѣ? И почему, вернувшись къ литературѣ подъ конецъ своей жизни, Григоровичъ уже не оглядывался на „мужика-человѣка", котораго онъ такъ горячо воспѣлъ когда-то и который когда-то такъ прославилъ его? И почему вообще „Антонъ Горемыка" на всю жизнь Григоровича остался высшимъ пунктомъ его творчества, хотя внѣшнимъ образомъ, съ точки зрѣнія техники писанія, онъ и совершенствовался?

Вопросы интересные.

Литература похоронила въ Григоровичѣ не надежду, каковую она питаетъ, напримѣръ, по отношенію къ Льву Толстому, вѣчно такъ или иначе движущемуся, не смотря на его семьдесятъ слишкомъ лѣтъ, а заслугу, при томъ очень давнюю. Чтобы оцѣнить эту заслугу въ мѣру ея дѣйствительнаго достоинства, надо обратиться за полстолѣтіе слишкомъ назадъ, когда, по словамъ Бѣлинскаго, „маститые питомцы старой піитики" сѣтовали такъ:

„Бывало, поэзія поучала, забавляя, заставляла читателя забывать о тягостяхъ и страданіяхъ жизни, представляла ему только картины пріятныя и смѣющіяся. Прежніе поэты представляли и картины бѣдности, но бѣдности опрятной, умытой, выражающейся скромно и благородно; при томъ же къ концу повѣсти всегда являлась чувствительная молодая дама или дѣвица, дочь богатыхъ и благородныхъ родителей, а не то благодѣтельный молодой человѣкъ,—и во имя милаго или милой сердцу водворяли довольство и счастье тамъ, гдѣ была бѣдность и нищета, и благородныя слезы орошали благодѣтельную руку,—и читатель невольно подносилъ свой батистовый платокъ къ глазамъ и чувствовалъ, что онъ становится добрѣе и чувствительнѣе... А теперь! посмотрите, что пишутъ! Мужики въ лаптяхъ и сермягахъ, часто отъ нихъ несетъ сивухой, баба—родъ центавра,—по одеждѣ не вдругъ и узнаешь, какого это пола существо; углы—убѣжища нищеты, отчаянія и разврата, до которыхъ надо доходить по двору, грязному по колѣни; какой-нибудь пьянюшка, подъячій или учитель изъ семинаристовъ, выгнанный изъ службы,—все это списывается съ натуры, въ наготѣ страшной истины, такъ что, если прочтешь—жди ночью тяжелыхъ сновъ“...

Не разъ и позже, гораздо позже мы слышали эти сѣтованія, но тогда это было уже совершенно безсмысленная воркотня, почти не стоившая противоборства: „нагота страшной истины“ завоевала себѣ мѣсто въ литературѣ прочно и окончательно; мужикъ въ лаптяхъ и армякѣ, подъячій, учитель изъ семинаристовъ и многіе другіе мелкіе люди заняли въ самой жизни слишкомъ замѣтное мѣсто, чтобы не отражаться и въ литературѣ. Не то было въ 40-хъ годахъ. Горсть писателей, изображавшихъ тогда жизнь разной мелкой сошки, и въ особенности мужика, „въ наготѣ страшной истины“, совершала положительно подвигъ, все значеніе котораго намъ теперь трудно себѣ представить. И Григоровичъ занималъ среди этой горсти совершенно особенное мѣсто. Обыкновенно его „Антона Горемыку“ и „Деревню“ ставятъ рядомъ съ „Записками Охотника“ Тургенева, видя въ тѣхъ и другихъ первые художественные протесты противъ крѣпостного права. Это, конечно, неосновательно. Въ художественномъ отношеніи „Записки охотника“ настолько же выше „Антона Геремыки“, насколько слабѣе, блѣднѣе его въ смыслѣ „наготы страшной истины“. Въ особенности это слѣдуетъ сказать о первыхъ очеркахъ „Записокъ охотника“, этихъ тонкихъ, изящныхъ, акварельныхъ рисункахъ, въ которыхъ „истина“ или вовсе не страшна, а только красива, или

не имѣетъ никакого отношенія къ безправому положенію мужика. Григоровичъ, напротивъ, грубо и рѣзко ударилъ своимъ „Антономъ Горемыкой“ по больному мѣсту.

Грубость и рѣзкость вообще составляли особенность таланта Григоровича. Художникъ въ душѣ, человѣкъ искренно и глубоко, всѣмъ своимъ существомъ преданный искусству, онъ не обладалъ первымъ условіемъ, необходимымъ для крупнаго художника на дѣлѣ,—чувствомъ мѣры. Его юморъ, какъ и его сентиментализмъ, обыкновенно пересолены и впадаютъ въ шаржъ. Таковъ онъ былъ въ литературѣ, таковъ былъ и въ жизни, въ разговорахъ, на которые былъ великій мастеръ и охотникъ. Я мало зналъ покойника, но одно время встрѣчался съ нимъ у Некрасова и потомъ въ Литературномъ Фондѣ“, членами комитета котораго намъ довелось быть въ теченіе трехъ лѣтъ вмѣстѣ. Я изумлялся необузданности, безмѣрности воображенія Григоровича. Иногда это было забавно, а иногда, скажу прямо, непріятно...

Разъ зашла рѣчь о воспоминаніяхъ, запишу слѣдующій эпизодъ. Однажды Некрасовъ пригласилъ меня, въ числѣ прочихъ сотрудниковъ „Отечественныхъ Записокъ“, послушать новое произведеніе Григоровича въ чтеніи самого автора. Это былъ отрывокъ изъ романа „Петербургъ прошлаго времени“. Если не ошибаюсь, этотъ самый отрывокъ былъ гораздо позже, въ 1887 году, напечатанъ въ „Русской Мысли“ подъ заглавіемъ: „Сонъ Карелина“. Говорю, „если не ошибаюсь“, потому что плохо помню содержаніе отрывка. Помню только общее впечатлѣніе чего-то растянутаго, туманнаго, какого-то красиво написаннаго пустого мѣста въ цѣломъ, съ узорами внѣшней наблюдательности и остроумія въ отдѣльныхъ мѣстахъ. Это же самое я нашелъ въ 1887 г. въ отрывкѣ „Сонъ Карелина“, но не вполнѣ увѣренъ, что именно его читалъ тогда Григоровичъ у Некрасова. Чтеніе было обставлено съ нѣкоторой помпой. Кромѣ насъ, сотрудниковъ „Отечественныхъ Записокъ“, было нѣсколько постороннихъ приглашенныхъ, въ томъ числѣ Гончаровъ, который вошелъ, когда чтеніе уже началось, присѣлъ на стулъ у самой двери и, тотчасъ по окончаніи чтенія, ушелъ, не выразивъ своего мнѣнія. Некрасовъ со свойственною ему дипломатичностью очень хвалилъ отрывокъ, совѣтовалъ кончать романъ, но напечатать отрывокъ не предлагалъ. Мнѣ-же, не смотря на мою тогдашнюю молодость (дѣло было въ началѣ 70-хъ годовъ), ясно было, что и Григоровичъ, и Некрасовъ, вульгарно выражаясь, ломаютъ комедію: Григоровичъ не

просто для того читаетъ, чтобы подѣлиться съ слушателями своимъ произведеніемъ, а чтобы Некрасовъ взялъ его въ „Отечественныя Записки“, а Некрасовъ хвалитъ потому, что это отрывокъ и отъ напечатанія его можно уклониться, въ случаѣ надобности, подъ этимъ предлогомъ. Григоровичъ, конечно, понималъ это, но не показалъ и тѣни неудовольствія и, когда сѣли ужинать, сталъ душой общества, въ особенности же послѣ ужина, когда жена Некрасова ушла въ свои комнаты... Онъ сыпалъ остротами, анекдотами, разсказами и временами нельзя было не хохотать, слушая его чрезмѣрности. Но временами онъ впадалъ въ сентиментализмъ и говорилъ съ дрожью въ голосѣ, и всетаки ясно было, что это чрезмѣрность, что поводъ для этой дрожи слишкомъ мелокъ и ничтоженъ.

Пересоленности юмора и сентиментализма Григоровича способствовалъ и другой его недостатокъ: отмѣченное еще Бѣлинскимъ, по поводу героини „Деревни“, его неумѣніе проникать во „внутренній міръ“ своихъ созданій. Его необузданное воображеніе заваливало фигуры его дѣйствующихъ лицъ массой внѣшнихъ мелочей, и эти внѣшнія черты, какъ комическія, такъ и трагическія, такъ поглощали его вниманіе, что сквозь нихъ ему трудно бы было добраться до „внутренняго міра“. Поэтому ни одного сколько-нибудь крупнаго, яркаго типа Григоровичъ, не смотря на свою плодовитость въ былое время, не создалъ. Не типъ и Антонъ Горемыка. Типиченъ не онъ самъ, типична его судьба, безмѣрность несчастій, обрушивающихся одно за другимъ на этого психологически слишкомъ элементарнаго человѣка, чтобы онъ могъ быть типомъ. Бѣлинскій былъ совершенно правъ, говоря, что Антонъ—„лицо трагическое въ полномъ значеніи этого слова“, но эта трагичность вся относится къ внѣшнимъ событіямъ жизни Антона. И именно потому, что Антонъ такъ элементаренъ, а несчастія его такъ естественно безмѣрны,—онъ пришелся какъ разъ по плечу Григоровичу, и „Антонъ Горемыка“ навсегда остался лучшимъ произведеніемъ Григоровича, даже независимо отъ того, что онъ „наготою страшной истины“ „ударилъ по сердцамъ съ невѣдомою силой“.

„Антонъ Горемыка“ былъ счастливой случайностью, какъ для русской литературы, такъ и для самого автора, который, благодаря этой повѣсти, сразу занялъ мѣсто въ переднемъ углу литературы, рядомъ съ людьми гораздо болѣе яркаго таланта и значенія. Но случайностью былъ и весь циклъ разсказовъ и романовъ Григоровича изъ народнаго быта.

Какъ уже сказано, Григоровичъ былъ художникъ въ душѣ. Въ ранней молодости онъ пробовалъ себя въ живописи—и неудачно. Тогда онъ обратился къ литературѣ. Кругомъ шли горячіе философскіе и соціально-политическіе дебаты, складывался и погибалъ кружокъ петрашевцевъ, среди котораго были близкіе Григоровичу люди. Но его не тянуло въ эти стороны, его занимали искусство и—веселая жизнь. Онъ писалъ мелкіе разсказы и веселился. Въ своихъ „Литературныхъ воспоминаніяхъ“ онъ съ чрезвычайною искренностью и простотой разсказываетъ, какъ онъ очнулся подъ вліяніемъ братьевъ Бекетовыхъ и ихъ кружка. Онъ пишетъ:

„Кружку Бекетовыхъ я многимъ обязанъ. До того времени, какъ я сдѣлался постояннымъ его членомъ, мои мыслительныя способности облекались точно туманомъ. Бесѣды съ Достоевскимъ никогда не переходили предѣловъ литературы; весь интересъ жизни сосредоточивался на ней одной. Читалъ я, правда, много, но читалъ безъ всякаго разбора, все, что попадало подъ руку, читалъ исключительно романы, повѣсти, жизнеописанія художниковъ. Я ни надъ чѣмъ не задумывался сколько нибудь серьезно; общественные вопросы меня нисколько не интересовали. Впечатлительный и страстный, я, очертя голову, бросался въ жизнь, отдаваясь минутному увлеченію. Многое, о чемъ не приходило мнѣ въ голову, стало теперь занимать меня; живое слово, отрезвляющее умъ отъ легкомыслія, я впервые услышалъ только здѣсь, въ кружкѣ Бекетовыхъ. Успѣхъ моего умственнаго развитія выразился уже тѣмъ, что моему самолюбію было больно за мою отсталость противъ многихъ изъ бывшихъ товарищей; литературными моими попытками и тѣмъ, что онѣ печатались, нечѣмъ было гордиться; я вполнѣ уже сознавалъ ихъ незначительность и незрѣлость. Послѣднюю мою повѣсть „Сосѣдка“, написанную въ промежутокъ этого времени, я почти стыдился признать за свою. Я чувствовалъ, что дальше такъ идти нельзя, что каждый, пожалуй, опередитъ меня, и я останусь затеряннымъ. Внутренній голосъ подсказывалъ мнѣ, что во мнѣ что то есть, что могу что то сдѣлать, могу пойти впередъ, но для этого нужны другія условія, нужно, прежде всего, разстаться съ праздною жизнью и оставить Петербургъ“.

Григоровичъ такъ и сдѣлалъ: весной 1846 г. уѣхалъ въ родную деревню. Далѣе читаемъ: „Я сознавалъ, что пришелъ конецъ моимъ мытарствамъ, что пора одуматься, пора придти въ себя, приняться за настоящую работу и доказать, что мои порывы къ литературѣ

не были мимоходными капризами, но признакомъ врожденнаго призванія. Тишина, меня окружавшая, производила на меня обаятельное дѣйствіе; я къ ней прислушивался, какъ къ сладчайшей музыкѣ. Благословенная эта тишина нѣжила меня, но не давала, однако, подходящей темы для выдающейся повѣсти, которую во что бы то ни стало я хотѣлъ сочинить. Напрасно бродилъ я по цѣлымъ днямъ въ поляхъ и лѣсахъ, любовался картинами природы, напрасно цѣлыми ночами напрягалъ воображеніе, пріискивая интересный сюжетъ,— сюжетъ не вырисовывался, и если приходилъ, то непремѣнно напоминалъ „Хуторокъ" Кольцова или страданія маленькаго „Оливера Твиста"—двухъ любимыхъ моихъ авторовъ въ то время, сочиненія которыхъ я привезъ съ собой. Какъ всегда почти бываетъ въ человѣческой жизни, случай, — этотъ хозяинъ, надъ которымъ нѣтъ власти, выручилъ меня. Къ матушкѣ привезли больную молодую бабу. За обѣдомъ матушка разсказала ея исторію"...

Исторія эта и составила сюжетъ „Деревни". Полуфранцузъ, совершенно незнакомый съ простонароднымъ русскимъ языкомъ и даже съ литературнымъ языкомъ справлявшійся, по собственному признанію, плохо, Григоровичъ написалъ эту повѣсть съ большимъ трудомъ. Въ слѣдующее лѣто, опять уѣхавъ въ деревню, онъ написалъ уже „Антона Горемыку".

Читатель видитъ, что деревенскія темы подвернулись Григоровичу дѣйствительно совершенно случайно. Не за ними онъ поѣхалъ въ деревню, не ихъ искалъ тамъ, не ими интересовался, и если бы не разсказъ матери за обѣдомъ, онъ, можетъ быть, и все это лѣто только бы „любовался красотами природы", да цѣлыми ночами „пріискивалъ интересный сюжетъ" на тему въ родѣ „Хуторка" и „Оливера Твиста". Имъ двигало только сознаніе присутствія въ немъ дарованія и боязнь, что „каждый, пожалуй, опередитъ его, и онъ останется затеряннымъ". На чемъ выдвинуться, – ему было безразлично; онъ былъ пустой сосудъ, подставленный теченію обстоятельствъ: авось въ деревенской тиши, вдали отъ петербургской суеты, что нибудь зальется въ этотъ сосудъ и вызоветъ творческое броженіе... А написавъ „Антона Горемыку", онъ сталъ уже въ нѣкоторонъ родѣ спеціалистомъ по народному быту, хотя ни разу уже не поднимался до той силы, какая въ „Антонѣ Горемыкѣ" сказалась; ни разу больше не удавалось ему найти такое счастливое приложеніе не только положительнымъ, а и отрицательнымъ свойствамъ своего таланта.

Въ другой сферѣ, въ сферѣ чиновничьей, помѣщичьей, свѣтской, жаждущей попасть въ свѣтъ и т. п. Григоровичъ тоже никогда не поднимался до высоты, въ своемъ родѣ хотя бы приблизительно равной высотѣ „Антона Горемыки". Это все шаржи, имѣющіе цѣлью смѣшить и почти не вызывающіе улыбки, нагроможденія внѣшнихъ событій, въ которыхъ совсѣмъ не видишь человѣка. Позднѣйшія произведенія этого рода, появившіяся, послѣ слишкомъ двадцатилѣтняго промежутка, въ 80-хъ годахъ,—„Акробаты благотворительности", „Пикникъ" и проч.,—гораздо выше въ смыслѣ техники, но не представляютъ всетаки большого интереса.

Въ 60-хъ годахъ Григоровичъ замолчалъ. Онъ былъ слишкомъ уменъ, чтобы не понимать, что его пѣсенка спѣта, что ему нечего дѣлать въ шумную эпоху нашего „возрожденія".

Онъ отдался другимъ видамъ искусства не какъ художникъ на дѣлѣ, а какъ художникъ въ душѣ,—въ качествѣ организатора художественнаго предпріятія, знатока, коллекціонера. Не берусь судить о его дѣятельности въ этой области, но ушелъ онъ изъ литературы безъ злобы, безъ печали и гнѣва, а это хоть и отрицательная, но немаловажная заслуга, особенно если припомнить положеніе, занятое кое кѣмъ изъ его сверстниковъ въ 60-хъ и 70-хъ годахъ. Ушелъ съ такъ и приставшимъ къ нему высокимъ титуломъ автора „Антона Горемыки". Конечно, это былъ высокій титулъ, какъ бы случайно ни было происхожденіе знаменитой повѣсти...

IX *).

„Прогрессъ, какъ эволюція жестокости“ г. М. Энгельгардта. — „Накипь“ г. Боборыкина.—„Добро въ ученіи гр. Толстого и Ф. Ничше“ г. Л. Шестова.

Предлагаю вниманію читателей книгу М. А. Энгельгардта „Прогрессъ, какъ эволюція жестокости“.

М. А. Энгельгардтъ подвергаетъ пересмотру ходячее представленіе о прогрессѣ, какъ о процессѣ постепеннаго смягченія нравовъ, и приходитъ къ рѣшительно отрицательнымъ выводамъ. Руссо.— думаетъ онъ,—былъ правъ съ своей идеей „золотого вѣка“ въ далекую пору утренней зари человѣчества, но это была геніальная догадка, которую нельзя было тогда фактически обосновать и доказать за отсутствіемъ нужныхъ для этого научныхъ данныхъ. И теорія Руссо была отвергнута. Теперь иное дѣло. Теперь, по мнѣнію г. Энгельгардта, только сила затверженныхъ формулъ можетъ воздерживать людей отъ признанія той слишкомъ ясной истины, что, прогрессируя въ умственномъ отношеніи и въ отношеніи внѣшней культуры, человѣчество въ то же время систематически удалялось отъ первобытной мягкости нравовъ: прогрессъ есть „эволюція жестокости“. Путешественники сообщаютъ много фактовъ безчеловѣчной жестокости дикарей, но они же наблюдали и противоположные факты изумлявшей ихъ кротости, мягкости, гуманности иныхъ изъ этихъ обломковъ первобытнаго человѣчества. И факты этого послѣдняго рода столь обильны и значительны, что и обобщающіе теоретики не могутъ не принимать ихъ во вниманіе. Такъ, Спенсеръ замѣчаетъ: „Ненужная жестокость вовсе не составляетъ общей отличительной черты наименѣе цивилизованныхъ племенъ, между тѣмъ, какъ она оказывается обычною для расъ болѣе цивилизованныхъ“.

---

*) Февраль 1900 г.

Или въ другомъ мѣстѣ: „Высшіе атрибуты человѣчества гораздо болѣе свойственны дикимъ народамъ, живущимъ изолированными парами въ своихъ лѣсахъ, чѣмъ членамъ обширной, прекрасно организованной націи, имѣющей чудесно выработанныя искусства, обширныя и глубокія знанія и безчисленныя примѣненія ихъ къ благосостоянію". Летурно въ книгѣ объ „эволюціи собственности" приходитъ къ заключенію, что добрыя чувства современнаго человѣка суть остатокъ, пережитокъ первобытнаго альтруизма. Но эти частные выводы не мѣшаютъ и Спенсеру, и Летурно утверждать общую мысль о смягченіи нравовъ на пути исторіи человѣчества. Но вѣдь они не только утверждаютъ, а и подтверждаютъ эту общепринятую мысль фактами? Г. Энгельгардтъ и предлагаетъ пересмотрѣть эти факты.

Анатомическія данныя (устройство зубовъ и пищеварительнаго аппарата), а также данныя исторіи развитія убѣждаютъ г. Энгельгардта, что человѣкъ третичной эпохи, нашъ отдаленный предокъ, „питался почти исключительно растительной пищей (быть можетъ, и мелкими животными: червями, улитками, ракушками и проч.), онъ обладалъ кроткимъ, мягкимъ, незлобивымъ нравомъ; ему были чужды злость, коварство, жестокость. *Это выводъ изъ данныхъ анатоміи и исторіи развитія* (курсивъ г. Энгельгардта),—данныхъ нелицепріятныхъ и гораздо болѣе надежныхъ и точныхъ, чѣмъ сообщенія нашихъ хроникъ, родословныхъ списковъ и т. п."

Надо замѣтить, что „данныя анатоміи и исторіи развитія" изложены авторомъ на одной страничкѣ,—это немножко скупо для такого рѣшительнаго вывода. Не трудно доказать, что вегетаріанство само по себѣ еще отнюдь не гарантируетъ „кротости, мягкости, незлобиваго нрава". Не говоря о многихъ свирѣпыхъ крупныхъ травоядныхъ животныхъ, напомнимъ, что репутація даже зайца въ этомъ отношеніи очень сомнительна. Бремъ говоритъ объ этихъ вегетаріанцахъ: „Зайцы не соотвѣтствуютъ тому представленію, которое составляютъ себѣ о нихъ. Ихъ называютъ добродушными, миролюбивыми, беззащитными и трусливыми; но они доказываютъ также, что могутъ имѣть и противоположныя свойства; точные наблюдатели не хотятъ и слышать о добродушіи зайцевъ и называютъ ихъ положительно злыми и чрезвычайно задорными". Перелистывая Брема, мы найдемъ множество указаній этого рода (напримѣръ, дѣтоубійство у агути). А главное, г. Энгельгардтъ упустилъ изъ виду моментъ, всесильный во всемъ животномъ царствѣ,—мо-

ментъ полового возбужденія, когда и вегетаріанцы насилуютъ самокъ и свирѣпо, часто на смерть дерутся между собой рогами, когтями, зубами. Что же касается „данныхъ исторіи развитія“, то достаточно сказать, что, будучи изложены въ нѣсколькихъ строкахъ, они призваны подтвердить слѣдующее произвольное положеніе: „Современныя человѣкообразныя обезьяны отличаются огромными, сильными клыками, которые сближаютъ ихъ съ хищными и въ связи съ которыми находятся злость, свирѣпость и т. п. черты характера. Это — позднѣйшее пріобрѣтеніе, и его мы должны отбросить при сужденіи о характерѣ нашего предка. Хищныхъ клыковъ и всего, что связано съ клыками — свирѣпости, жестокости — у него не было. Словомъ, въ противоположность вульгарной (и невѣрной) формулѣ: „человѣкъ есть усовершенствованная обезьяна“, наука выдвигаетъ скорѣе обратное положеніе: современная обезьяна есть выродившееся человѣкообразное существо“.

Гораздо болѣе вниманія оказываетъ г. Энгельгардтъ даннымъ этнографіи и исторіи, и гораздо удачнѣе справляется съ ними, по крайней мѣрѣ, въ отрицательной части своей работы. И какъ бы кто ни относился къ его книжкѣ въ цѣломъ, его методологическія замѣчанія представляютъ собою нѣчто очень цѣнное.

Ходячая формула постепеннаго смягченія нравовъ въ исторіи человѣчества поддерживается обыкновенно противопоставленіемъ подробностей быта дикихъ и варварскихъ племенъ, съ одной стороны, и современныхъ европейцевъ—съ другой. При этомъ всѣ дикари и варвары валятся въ одну безпорядочную кучу, безъ соображенія о различіи тѣхъ степеней культуры, на которыхъ они стоятъ. Въ этомъ повиненъ, между прочимъ, и Летурно, трудолюбивый авторъ „Соціологіи, основанной на этнографіи“ и цѣлаго рода „Эволюцій“ — морали, брака, собственности, рабства, юридическихъ учрежденій, хотя ему, именно какъ автору разныхъ „Эволюцій“, надлежало бы быть въ этомъ отношеніи особенно внимательнымъ и осторожнымъ. „Ставить въ одну рубрику такія племена, какъ, напр., веддахи, бушмены, айны, съ одной, и фиджійцы, дагомейцы, зулусы—съ другой стороны—ошибка болѣе грубая, чѣмъ приводить въ примѣръ цивилизованныхъ націй современныхъ англичанъ и древнихъ англо-саксовъ. У англо-саксовъ, германцевъ, вандаловъ и проч. имѣлись зачатки всѣхъ учрежденій, развившихся въ современной Европѣ, тогда какъ у веддаховъ еще нѣтъ и зародыша тѣхъ учрежденій, понятій, обычаевъ, какіе мы находимъ у дагомейцевъ“. Нельзя ставить рядомъ,

въ качествѣ представителей первобытнаго человѣчества, напримѣръ, бушменовъ и дагомейцевъ. У бушменовъ нѣтъ „ни хижинъ, ни земледѣлія, ни скотоводства“, тогда какъ у дагомейцевъ и другихъ „высшихъ разновидностей черной природы“ мы встрѣчаемъ „и сложную общественную іерархію, и рабовъ, и крѣпостныхъ, и сословія, и законы, организованную полицію, армію, тюрьмы, города, дороги, мосты, заставы, каналы; земледѣліе (20 видовъ растеній въ Дагомэ), ремесла, искусства“. Цѣлая пропасть лежитъ между этими двумя группами „дикарей“, и въ представители первобытнаго, не тронутаго культурой человѣчества дагомейцы отнюдь не годятся. Многіе и многіе вѣка историческаго опыта и огромныхъ усилій понадобились человѣку, чтобы подняться со ступени культурнаго развитія бушменовъ или веддаховъ, до сихъ поръ стоящихъ, такъ сказать, на нулѣ градусника цивилизаціи, на ступень дагомейской, фиджійской или древней мексиканской и перуанской культуры: это уже не только не отсутствіе цивилизаціи и незародыши ея, а зрѣлый плодъ. Дѣлать поэтому какіе бы то ни было выводы о характерѣ первобытнаго человѣка на основаніи фактовъ дагомейской, фиджійской, мексиканской и т. п. цивилизацій—было бы грубою ошибкой. Отсюда, при обсужденіи занимающаго насъ вопроса о вліяніи культуры на смягченіе нравовъ, необходимость прежде всего классифицировать „дикія и варварскія“ племена по степени ихъ умственнаго и культурнаго развитія. Только тогда и можетъ выясниться вопросъ—насколько поднимается нравственный уровень, насколько смягчаются нравы вмѣстѣ съ поступательнымъ ходомъ культуры.

Оставляя пока въ сторонѣ собственные выводы и заключенія г. Энгельгардта, я отмѣчаю здѣсь лишь указаніе его на методологическую ошибку многихъ писателей по соціологіи „на основаніи этнографіи“, многихъ, но, конечно, не всѣхъ. Мы видѣли, напримѣръ, что Спенсеръ различаетъ вполнѣ некультурныя племена и племена, достигшія болѣе или менѣе высокой степени культуры, и сообразно этому приходитъ къ частному выводу о большей жестокости послѣднихъ. Но, во-первыхъ, это частный выводъ, не удовлетворяющій г. Энгельгардта, а во-вторыхъ, это не уменьшаетъ цѣнности методологическаго указанія нашего автора.

Не менѣе поучительно еще одно указаніе г. Энгельгардта. „Берутъ,—говоритъ онъ—книги, мнѣнія, идеи и идеалы, системы и теоріи, мечты и утопіи, вѣроученія и моральныя системы, созданныя тѣми единицами, которыя отрѣшились отъ человѣческихъ свойствъ

жестокости; и, замѣчая здѣсь несомнѣнный прогрессъ, переносятъ его безъ долгихъ разсужденій на самую жизнь, которая, однако, развивалась, вопреки этимъ ученіямъ, въ противоположномъ направленіи. На основаніи прогресса *идей* создаютъ искусственныя схемы, въ которыя пытаются втиснуть содержаніе *жизни*. Вотъ, напримѣръ, схема: сначала религіи соединялись съ человѣческими жертвами, потомъ съ животными и, наконецъ, стали безкровными. Постепенное смягченіе и облагораживаніе нравовъ очевидно. Да!---если мы будемъ имѣть въ виду религіи. Нѣтъ!—если мы будемъ имѣть въ виду людей Поставимъ книги на полку и обратимся къ жизни!!."

Сейчасъ мы увидимъ тѣ заключенія, которыя вытекаютъ изъ этого указанія, а теперь обратимся, вмѣстѣ съ г. Энгельгардтомъ, къ жизни. Тамъ, руководимые имъ, мы встрѣтимъ, вопреки ходячему мнѣнію, все болѣе и болѣе сгущающійся нравственный мракъ по мѣрѣ роста цивилизаціи; главнымъ образомъ прогрессируетъ жестокость, постепенно расширяя, углубляя и разнообразя сферу своихъ проявленій. Существующихъ понынѣ дѣйствительно первобытныхъ народовъ мы знаемъ очень мало, и это все люди кроткіе, благожелательные, не знающіе войны и насилія. Первыми „завоеваніями разума" были война, людоѣдство и дѣтоубійство. Къ нимъ прибавляются постепенно рабство, деспотизмъ, кровавыя религіи и проч. И въ цѣломъ исторія человѣчества можетъ быть раздѣлена на три періода: „1) Мирный періодъ третичнаго и древне-ледниковаго вегетаріанства; растительная пища, кроткіе нравы, отсутствіе войны, людоѣдства и дѣтоубійства; нашъ предокъ держится только сплоченностью, симпатіей, тѣснымъ союзомъ всѣхъ членовъ вида; онъ еще слишкомъ слабъ для внутренней войны и раздоровъ; 2) Переходный періодъ: переходъ къ плотоядной пищѣ, перемѣна фронта по отношенію къ животнымъ, война со звѣрями, миръ съ людьми, возникновеніе новыхъ инстинктовъ жестокости и коварства, обращенныхъ пока только на животный міръ; 3) Хищный или военный періодъ: плотоядная пища; война, людоѣдство, дѣтоубійство; человѣкъ обезпечилъ себѣ господство надъ животными своимъ умственнымъ превосходствомъ, такъ что внутренняя война не грозитъ болѣе гибелью виду, а, напротивъ, является факторомъ прогресса. Въ этомъ хищническомъ направленіи совершалось развитіе человѣчества почти до нашихъ дней и только теперь, *кажется* (курсивъ мой. Н. М.), поворачиваетъ на новый путь".

Остановимся на минуту на подчеркнутомъ мною словѣ: *кажется*,

на выражающемся въ немъ колебаніи или неувѣренности автора. Въ разныхъ мѣстахъ книги находимъ разныя на этотъ счетъ выраженія (См. стр. 3, 10, 15, 17, 19, 61, 134, 140, 155). Г. Энгельгардтъ то рѣшительно утверждаетъ, что примѣрно въ половинѣ XVIII вѣка произошелъ поворотъ къ лучшему въ человѣческой нравственности; то не исключаетъ и нашего „хваленаго и хвастливаго вѣка“ изъ картины наростающей въ теченіи всей исторіи жестокости; то выражаетъ „сомнѣніе и опасеніе“ въ виду краткости періода улучшенія и рѣшаетъ остановиться въ своемъ изслѣдованіи на XVI—XVII вѣкѣ; то беретъ фактическія иллюстраціи изъ дѣлъ вчерашняго дня; то выражаетъ увѣренность въ лучшемъ будущемъ; то горестно восклицаетъ: „не такъ-то легко сбросить грузъ, накопившійся вѣками, и мало надежды, чтобы это удалось!“ Въ тѣхъ случаяхъ, когда нашъ авторъ объявляетъ примѣрно половину XVIII вѣка поворотнымъ пунктомъ исторіи въ сторону гуманности, онъ указываетъ на отмѣну рабства и пытокъ, какъ на свидѣтельство поворота, а причину его видитъ въ наукѣ въ „широкомъ смыслѣ“, показавшей „ненужность жестокости для личнаго благополучія и для цѣлости государства“. Но имъ тотчасъ же овладѣваютъ колебанія и сомнѣнія, и онъ громитъ истекающій или уже истекшій XIX вѣкъ за его жестокость, развращенность и проч. Сюда относятся указанія на факты звѣрства въ колоніальной политикѣ и т. п., а также вышеприведенное указаніе на необходимость различать прогрессъ *идей*, несомнѣнно существующій, и содержаніе самой *жизни*. Параллельно развитію культуры расцвѣтало лицемѣріе. Этотъ расцвѣтъ „былъ неизбѣжнымъ послѣдствіемъ разлада между интеллектуальной сферой морали, областью теорій, принциповъ, отвлеченныхъ ученій и сферой эмоціональной, областью инстинктовъ, чувствъ, стремленій. По мѣрѣ успѣховъ умственнаго развитія преуспѣвала и отвлеченная мораль. Совершалась эволюція возвышенныхъ принциповъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ совершалась эволюція низменныхъ чувствъ. Люди становились грубѣе, свирѣпѣе, хищнѣе, злѣе, эгоистичнѣе, бездушнѣе, корыстолюбивѣе. Теорія преуспѣвала въ одномъ направленіи, практика въ другомъ, діаметрально противоположномъ. Какъ же могли ужиться рядомъ эти двѣ противоположныя, другъ друга исключающія эволюціи? Связующимъ звеномъ явилось лицемѣріе. Надо было воспитать въ себѣ способность уважать отвлеченную мораль,— и не только уважать, умѣть расчувствоваться, точить слезы, такъ чтобы глаза наливались кровью и лицо горѣло.

Это и удалось вполнѣ тароватой на выдумки и гибкой натурѣ европейца".

Такимъ образомъ, „смягченіе нравовъ", какъ результатъ или спутникъ умственнаго прогресса, есть миѳъ; напротивъ, умственный прогрессъ сопровождается усиленіемъ жестокости. Таковъ общій тезисъ г. Энгельгардта, изъ котораго вытекаютъ нѣкоторые достойные вниманія частные выводы. Я не буду приводить факты, на которыхъ г. Энгельгартдъ основываетъ свой тезисъ, —за ними заинтересованный читатель пусть обратится къ самой книгѣ. Какъ и всякій парадоксъ, сколько нибудь умно поставленный и сколько нибудь фактически обставленный, книга эта можетъ оказать хорошее дѣйствіе. Пересмотрѣть утвердившіяся мнѣнія, принимаемыя на вѣру, всегда не мѣшаетъ, а огромное большинство читающей публики, конечно, никогда не задумывалось надъ вопросомъ, занимающимъ г. Энгельгардта. Несомнѣнность умственнаго и техническаго, въ обширномъ смыслѣ слова, прогресса ослѣпляетъ насъ и мы безъ раздумья распространяемъ это радужное освѣщеніе на всѣ стороны человѣческаго бытія. Ео временамъ тотъ или другой мыслитель приковываетъ наше вниманіе къ оборотной сторонѣ медали, пессимистически окрашивая настоящее и будущее человѣчества, но проходитъ увлеченіе, и несомнѣнный умственный и техническій прогрессъ опять заслоняетъ для насъ изъяны цивилизаціи.

Г. Энгельгартдъ не изъ тѣхъ мыслителей, которые логическою стройностью своей системы, или паѳосомъ своего краснорѣчія, или вообще красотою изложенія увлекаютъ людей. Напротивъ, изложеніе его сбивчиво, факты и лирическія отступленія стасованы какъ попало, мотивы, по которымъ авторъ пріостанавливаетъ „эволюцію жестокости" примѣрно на половинѣ XVIII вѣка, неясны, да и самая эта пріостановка, какъ мы видѣли, двусмысленна. Но, можетъ быть, тѣмъ лучше, потому что заставить читателей призадуматься книжка г. Энгельгартда можетъ, увлекаться же односторонними историческими теоріями нѣтъ никакой надобности. А что теорія г. Энгельгардта одностороння и слишкомъ прямолинейна, въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія.

Мы видѣли, что и по мнѣнію Спенсера первые шаги цивилизаціи сопровождались усиленіемъ жестокости. Что же касается настоящаго времени, когда умственный и техническій прогрессъ не только достигъ небывалой высоты, но и открылъ необозримыя перспективы въ будущее, —то не одинъ г. Энгельгардтъ видитъ рядомъ съ этимъ

прогрессомъ старую жестокость, прикрытую лицемѣріемъ. Напомню только, для примѣра, энергическія слова Маудсли: „Страсть сдѣлаться богатымъ, честнымъ-ли путемъ или нѣтъ, часто несовмѣстима съ духомъ исповѣдуемаго евангелія. Весьма частымъ послѣдствіемъ этого бываетъ то, что жизнь становится систематическою несовмѣстимостью и организованнымъ лицемѣріемъ. Съ исповѣданіемъ вѣры, которую могли бы принять ангелы, весьма часто существуютъ практическія правила, которыми не погнушался бы и дьяволъ" („Физіологія и паталогія души", 249—50). Въ своемъ двусмысленномъ, колебательномъ отношеніи къ послѣднимъ $1^1/_2$ столѣтіямъ г. Энгельгардтъ, пожалуй, еще недостаточно ясно подчеркнулъ нѣкоторые факты, которые могли бы, повидимому, подтвердить его общую мысль. Онъ говоритъ о свирѣпости генерала Вейлера и другихъ европейцевъ, съ чудовищною жестокостью и по нынѣ расправляющихся съ разными цвѣтными людьми въ колоніяхъ. Но это все отдѣльные эпизоды, которые можно бы было, пожалуй, поставить на счетъ единичныхъ личностей, какія всегда возможны, какъ случайныя явленія, еще ничего не говорящія противъ общаго порядка вещей. Мы знаемъ, однако, какъ рухнули недавнія надежды благомыслящихъ людей на совершенное упраздненіе войнъ, благодаря цивилизаціи вообще, развитію мирной по самому существу своему промышленной дѣятельности въ частности. Мы знаемъ, что именно промышленное развитіе вызвало поиски новыхъ рынковъ, колонизацію и дѣлежъ заморскихъ странъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и разгулъ той свирѣпой жестокости, которую проявляютъ цивилизаторы и колонизаторы по отношенію къ цвѣтнымъ людямъ и которая естественно должна была бы замирать подъ спудомъ въ средѣ своего европейскаго общества. Тамъ, въ заморскихъ странахъ, другое дѣло; тамъ законъ, общественное мнѣніе, возможность отпора и прочіе сдерживающіе стимулы далеко, а кругомъ какіе-то совсѣмъ чужіе черные, коричневые, желтые, красные мужчины, которыхъ можно безнаказанно убивать и звѣрски истязать, черныя и другихъ цвѣтовъ женщины, которыхъ можно насиловать и убивать,—и вся сдерживаемая на родинѣ жестокость рвется наружу. Тѣмъ болѣе, что этотъ человѣкъ, которому за его подлость и варварство имени нѣтъ, можетъ быть, вполнѣ искренно считаетъ себя делегатомъ цивилизаціи. Но этого мало. Тотчасъ послѣ гаагской конференціи императоръ Вильгельмъ съ особенною выразительностью потрясаетъ мечемъ, его министръ фонъ-Бюловъ объявляетъ, что родинѣ Канта,

Гете, Шиллера предстоитъ быть въ XX вѣкѣ либо молотомъ, либо наковальней, а англичане затѣваютъ позорную войну съ Трансваалемъ, въ твердой увѣренности, что съ блескомъ сыграютъ роль молота. Все это отчасти результаты того же переливающагося черезъ край промышленнаго развитія, а отчасти продолженіе франко-прусской войны, возбудившей столько ненависти между двумя цивилизованными народами, а затѣмъ вооружившей и всю Европу. Вся эта картина, въ цѣломъ и въ подробностяхъ, какъ нельзя болѣе на руку г. Энгельгардту.

Но если государственный человѣкъ Германіи urbi et orbi заявляетъ, что его отечеству предстоитъ выборъ между двумя рогами дилеммы—или молотъ, или наковальня; если только временно затихающіе порывы свирѣпой ненависти французовъ къ нѣмцамъ и воспѣваемая англійскими поэтами и прозаиками яростная ненависть къ бурамъ не свидѣтельствуютъ о смягченіи нравовъ; если англійскіе солдаты, добивающіе раненыхъ на сѣверѣ и югѣ Африки, становятся національными героями; если, послѣ сравнительно долгаго промежутка, преслѣдованіе евреевъ принимаетъ новую форму антисемитизма; если славяне и нѣмцы Австріи бьютъ другъ друга кулаками въ ожиданіи возможности рѣзать, колоть и стрѣлять, и проч., и проч., и проч.;—то тутъ нѣтъ, по крайней мѣрѣ, лицемѣрія, подъ маской котораго, по мнѣнію г. Энгельгардта, прячется въ наше время прогрессирующая жестокость. И эту убыль лицемѣрія можно указать не только въ международныхъ и междуплеменныхъ отношеніяхъ.

Г. Энгельгардтъ лишь въ одномъ мѣстѣ мимоходомъ говоритъ о нѣкоторыхъ ученіяхъ, нашумѣвшихъ въ послѣднее время. А именно: „Во всякомъ случаѣ возможность или невозможность лучшаго будущаго опредѣляется не только матеріальными условіями, но и тѣмъ, насколько еще уцѣлѣли въ народныхъ массахъ инстинкты первобытной солидарности. Гніеніе можетъ зайти такъ далеко, что и измѣнившіяся условія не въ силахъ оздоровить организмъ. Отъ буржуазіи, создающей философію Ничше, искусство декадентовъ, общественныя ученія вродѣ нашего „неомарксизма“—ничего хорошаго ждать не приходится. Тутъ разложеніе полное и безнадежное“ (155—56). Слова эти вставлены въ одно изъ мѣстъ колебательнаго отношенія автора къ значенію послѣднихъ $1^1/_2$—2 столѣтій. Къ этому времени „индивидуализмъ вытравляетъ мало-по-малу остатки общинной солидарности; но въ послѣднія столѣтія выступаетъ на

сцену новый факторъ—наука (въ широкомъ смыслѣ), показавшая *ненужность* (курсивъ г. Энгельгардта) жестокости для личнаго благополучія и для цѣлости государства. Подъ вліяніемъ этого фактора начинается поворотъ къ человѣчности, такъ что въ Европѣ расцвѣтъ индивидуализма не совпадаетъ съ расцвѣтомъ жестокости, какъ это было въ античномъ мірѣ, въ Карѳагенѣ и пр.". Но затѣмъ, выразивъ приведенное мнѣніе о философіи Ничше, искусствѣ декадентовъ и нашемъ „нео-марксизмѣ", г. Энгельгардтъ пишетъ: „Что бы ни предстояло намъ въ будущемъ, но въ прошломъ мы видимъ вѣчно одинъ и тотъ же процессъ эволюціи эгоизма. Исторія всѣхъ прошлыхъ цивилизацій формулируется такъ: параллельно развитію различныхъ формъ жестокости развивается индивидуализмъ".—Изъ этого слѣдуетъ, повидимому, заключить, что индивидуализмъ и эгоизмъ тождественны, а жестокость, по крайней мѣрѣ, очень близка къ нимъ и постоянно имъ сопутствуетъ.

Достойно вниманія, что какъ разъ около половины XVIII вѣка, когда, по мнѣнію г. Энгельгардта, „наука" опредѣлила собою „поворотъ къ человѣчности", какъ разъ около этого времени зародилось теоретическое оправданіе и обоснованіе эгоизма, впослѣдствіи широко развѣтвившееся. Началось дѣло съ того, что политическая экономія условно, для удобства изслѣдованія, признала человѣка имъ эгоистомъ, никакихъ иныхъ цѣлей, кромѣ корыстныхъ, не преслѣдующимъ. Постепенно эта условность обратилась въ догму, осложнившуюся теоріей „гармоніи интересовъ", въ силу которой эгоистическіе интересы сливались въ благополучіе всѣхъ. Философы и моралисты съ своей стороны ставили эгоизмъ основнымъ принципомъ человѣческой дѣятельности. Индивидуалистическими всѣ эти ученія было бы несправедливо называть, именно потому, что они имѣли въ виду благо цѣлаго, „гармонію интересовъ", „наибольшее счастіе наибольшаго числа людей" и т. п. Но это была, тѣмъ не менѣе, проповѣдь эгоизма, такъ какъ общее благо достигалось въ нихъ свободною, ничѣмъ не стѣсненною игрою личныхъ интересовъ, и старая мораль „любви къ ближнему" объявлялась тѣмъ же эгоизмомъ, только замаскированнымъ. Въ XIX вѣкѣ движеніе мысли въ этомъ направленіи было позатихло, но наука, въ лицѣ если не самого Дарвина, то многихъ его учениковъ и послѣдователей, влила сюда свѣжую струю ученіемъ о правомѣрности гибели неприспособленныхъ ради торжества высшихъ формъ жизни. Опять таки здѣсь нѣтъ ничего индивидуалистическаго. Дарвинъ предлагалъ,

„хотя это и трудно“, „восхищаться жестокостью“ пчелиной матки, потому что эта жестокость полезна цѣлому. И точно такъ же мы должны восхищаться общею картиною развитія органическаго міра, въ которой изъ „вѣчной борьбы, голода и смерти“ выростаютъ все высшія и высшія формы жизни. Приложеніе этихъ принциповъ къ человѣческому обществу у самого Дарвина очень колебательно, но немедленно же нашлись ученики, которые сдѣлали это за учителя, быть можетъ, совсѣмъ не въ томъ духѣ, какъ сдѣлалъ бы онъ самъ. Какъ бы то ни было, правомѣрность гибели неприспособленныхъ, отъ чего бы ихъ неприспособленность ни зависѣла, была введена наукою въ общее сознаніе. Вмѣстѣ съ этимъ сочувствіе, симпатія, состраданіе, милосердіе, вообще всѣ альтруистическія (терминъ начала XIX вѣка) чувства естественно теряли кредитъ. Это—вода на мельницу эгоизма, но не индивидуализма, такъ какъ индивидъ, если онъ не приспособленъ, обрекается здѣсь на голодъ и смерть, ради высшаго блага или торжества того цѣлаго, въ составъ котораго онъ входитъ,—общества или вида. Наконецъ, въ ученіи Ничше мы имѣемъ очень яркіе элементы индивидуализма, такъ какъ Ничше провозглашаетъ верховенство индивида, отрицаетъ право какого бы то ни было общественнаго цѣлаго налагать на него свою руку и поетъ хвалебные гимны всѣмъ возстающимъ противъ общества. Однако, это есть лишь часть ученія Ничше, главнымъ образомъ отрицательная, и когда анархисты попытались за нее ухватиться, онъ грубо и рѣзко оттолкнулъ ихъ. Его положительный идеалъ есть строго аристократическое общество, въ которомъ всею полнотою жизни пользуется лишь кучка „вверху стоящихъ“, полныхъ „паѳоса разстоянія“, отдѣляющаго ихъ отъ презрѣннаго плебса. Грезящаяся ему аристократія не есть существующая и нынѣ родовая аристократія и не аристократія капитала. Верхній слой его идеальнаго общества состоитъ изъ смѣлыхъ, сильныхъ, рѣшительныхъ людей, презрѣвшихъ „мораль рабовъ“, основанную на состраданіи и любви къ ближнему. Онъ „любовь къ дальнему“ рекомендуетъ къ „сверхъчеловѣку“, могучему и прекрасному, выработкѣ котораго „рабское“ состраданіе къ слабымъ можетъ только мѣшать. „Добрые“ люди, сострадательно отзывающіеся на всякую слабость, уродство, убожество и поддерживающіе ихъ, тѣмъ самымъ наносятъ ущербъ нѣкоторому высшему цѣлому, которое Ничше называетъ Gesammtleben, совокупность жизни. Такимъ образомъ, начавъ съ индивидуализма, Ничше кончаетъ отдачей индивида во власть своеобразнаго аристо-

кратическаго общества. И, какъ и всегда въ подобныхъ случаяхъ, интересы этого общества персонифицируются, воплощаются въ его верхнемъ слоѣ. Съ этой стороны, къ ничшіанству примыкаютъ и даже сливаются съ нимъ декаденты. Они считаютъ себя той естественной аристократіей, тою солью земли, тѣми „сверхъ-человѣками", которые имѣютъ право и основаніе руководствоваться въ жизни исключительно собственными аппетитами. Разница только въ томъ, что, съ одной стороны, восхищаясь необузданностью жестокихъ и мощныхъ людей въ прошломъ, Ничше совсѣмъ уже не такъ распускалъ „сверхъ-человѣковъ" будущаго; а съ другой стороны, изо всѣхъ элементовъ силы, ради которой Ничше выдѣлилъ своихъ „сверхъ-человѣковъ", декаденты напираютъ преимущественно, если не исключительно, на силу красоты, какъ они ее понимаютъ, конечно. Что же касается нашихъ „нео-марксистовъ", то едва ли есть даже надобность упоминать, что они отнюдь не индивидуалисты и не эгоисты, хотя эгоизму очень легко пристроиться къ ихъ ученію; что, наконецъ, жестокость нѣкоторыхъ ихъ выводовъ вытекаетъ изъ вѣры въ грядущую солидарность. .

Позвольте маленькое отступленіе въ сторону пьесы г. Боборыкина „Накипь". Я называю ее пьесой, потому что затрудняюсь отнести ее къ какому нибудь опредѣленному роду драматическихъ произведеній. Въ афишахъ она называется комедіей, но для комедіи въ ней слишкомъ много водевильнаго элемента и каррикатуры. Но это и не водевиль, и не только потому, что пьеса слишкомъ длинна для водевиля (четыре дѣйствія), а и потому, что въ ней есть роли и положенія, отнюдь не водевильныя, а, напротивъ, глубоко драматическія. Въ публикѣ я слышалъ мнѣніе, что „Накипь" есть нѣчто въ родѣ „обозрѣній Петербурга", въ которыхъ изображаются, въ шаржированно-комическомъ видѣ, разныя злобы дня. Это справедливо только относительно перваго дѣйствія, гдѣ фигурируютъ и декадентская живость, и декадентская поэзія и декламація, и юркій репортеръ-интервьюеръ, и ничшіанскія словечки, и декадентскій костюмъ героини, и балалаечники, и марксисты, и модный танецъ, словомъ— все, что въ данную минуту имѣетъ характеръ „моды" въ извѣстныхъ слояхъ русскаго общества. Здѣсь сказалось столь характерное для г. Боборыкина (и столь противорѣчащее его эстетическимъ теоріямъ) стремленіе „уловить моментъ", откликнуться, такъ или иначе, на послѣднюю моду. На этотъ разъ онъ пожелалъ откликнуться са-

тирически. Къ сожалѣнію, вышла не сатира, а поверхностный шаржъ. Этотъ характеръ пьеса сохраняетъ отчасти и до конца, но, начиная со второго дѣйствія, она утрачиваетъ видъ „обозрѣнія“ и сосредоточивается на одномъ интересномъ положеніи. Нельзя, однако, сказать, чтобы положеніе это было удовлетворительно разработано.

Княжна Ольга Горбатова, молодая дѣвушка, увлекается молодымъ человѣкомъ Переверзевымъ и выходитъ за него замужъ. Переверзевъ— художникъ, живописецъ-декадентъ и ничшіанецъ. Это человѣкъ сверхъ всякой мѣры самоувѣренный и развязный до наглости. Черезъ годъ послѣ свадьбы мы застаемъ его подъ покровительствомъ представительницы „капитализма“, несмѣтно богатой женщины Воробьиной, раздѣляющей его образъ мыслей и восхищающейся его талантомъ. Жена же его питаетъ дружескія чувства къ мужу этой Воробьиной, прямодушному и благородному человѣку, который тяготится женой и всей ея декадентской „бандой“, тяготится ея богатствомъ и безпутной жизнью. Нелады между нимъ и женой все растутъ, растетъ и его сближеніе съ Ольгой, и сближеніе его жены съ Переверзевымъ. Воробьинъ уѣзжаетъ помогать голодающимъ, а по возращеніи объясняется Ольгѣ въ любви и узнаетъ, что и она его любитъ. Но на первомъ же поцѣлуѣ, которымъ они обмѣниваются, ихъ застаютъ Переверзевъ и Воробьина и съ циническимъ хохотомъ предлагаютъ имъ полную свободу: Переверзевъ предоставляетъ Ольгу Воробьину, жена Воробьина предоставляетъ мужа Ольгѣ. Но Ольга, къ удивленію зрителей, отказывается отъ своего счастія и уѣзжаетъ, чтобы „найти себя“ или „искать себя“...

Таковъ остовъ пьесы,—я не касаюсь побочныхъ дѣйствующихъ лицъ, вводящихъ въ нее нѣкоторыя неважныя осложненія. Я упомянулъ объ изумленіи зрителей при рѣшеніи Ольги Переверзевой „искать себя“ вмѣсто того, чтобы взять, какъ она выражается, свой „кусочекъ счастья“, когда двѣ супружескія драмы разрѣшаются такъ исключительно счастливо и для всѣхъ четырехъ участниковъ безболѣзненно. Ольга не Татьяна, которая, хотя и любитъ Онѣгина, но „другому отдана и будетъ вѣкъ ему вѣрна“: Ольгинъ „другой“ совсѣмъ не требуетъ отъ нея вѣрности и самъ съ весельемъ отдаетъ ее Воробьину. Ольга не Нора, у которой никакого „другого“ и нѣтъ и которая уходитъ „искать себя“ по соображеніямъ, не имѣющимъ отношенія къ супружеской вѣрности или невѣрности. Ольга просто не умная и блѣдная, какъ характеръ, женщина, хотя и выдвигаемая на сценѣ превосходной игрой г-жи Комисаржевской. И, къ

сожалѣнію, таковы и остальные положительные типы „Накипи“— оба дяди Ольги, Мосеевъ и князь Горбатовъ, Воробьинъ. Гораздо ярче типы отрицательные—Переверзевъ, Воробьина, дѣлецъ Бузулуевъ и проч., но они шаржированы и часто впадаютъ прямо въ каррикатуру.

Я слышалъ, что наши декаденты, ничшіанцы и нео-марксисты оскорбились пьесой г. Боборыкина. Въ театрѣ этого незамѣтно,— взрывы смѣха и аплодисменты говорятъ лишь объ удовольствіи публики. Въ литературѣ же я знаю только одного оскорбившагося,— г. Волынскаго. Да и то онъ оскорбился не за русскихъ представителей осмѣиваемыхъ авторомъ „Накипи“ ученій. Г. Волынскій пишетъ: „Дѣло въ данномъ случаѣ не въ русскихъ декадентахъ, которыхъ г. Боборыкинъ могъ бы хлестать въ три кнута, если бы у него былъ на это надлежащій даръ—сила ума идейнаго и безпощадно проницательнаго. Дѣло именно въ томъ могучемъ умственномъ повѣтріи, которое несется изъ Европы и съ которымъ нужно и можно считаться только въ серьезъ, только на почвѣ глубокихъ психологическихъ броженій. Въ этихъ броженіяхъ зарождается то или другое будущее. Публика Александринскаго театра радостно загоготала, когда одно изъ дѣйствующихъ лицъ произнесло незнакомую для нея комбинацію словъ: „По ту сторону добра и зла“. Ей показалось, что это какая-то страшно смѣшная острота! А вѣдь это заглавіе геніальнаго сочиненія современнаго Макіавелли, писателя великаго, не смотря на всѣ его парадоксы, на всю безплодность его титанической борьбы съ идеализмомъ человѣческаго сердца, писателя, который возбудилъ въ цѣломъ мірѣ огромное умственное движеніе“.

Г. Волынскій составилъ себѣ извѣстность, между прочимъ, ненужною и потому часто комическою велерѣчивостью. Онъ любитъ громозвучныя слова, эпитеты въ превосходной степени и т. п Такъ и тутъ. Въ дѣйствительности, чтобы „хлестать въ три кнута“ тѣхъ убогихъ мозгляковъ, которые у насъ считаютъ себя „сверхъ-человѣками“, совсѣмъ не нужно „силы ума идейнаго и безпощадно проницательнаго“; и самъ г. Волынскій это очень хорошо знаетъ, а это ужъ онъ такъ, отъ чрезвычайной своей словесности. Позволю себѣ также замѣтить, что если какому нибудь Переверзеву или Воробьиной позволительно переводить заглавіе книги Ничше „Jenseits von Gut und Böse“ словами: „По ту сторону добра и зла“,—то это совершенно непозволительно человѣку, добросовѣстно вдумывавшемуся въ идеи Ничше. Объ этомъ, впрочемъ, ниже. Теперь я хочу только сказать, что, не смотря на непріятную напыщенность и

дѣланный паѳосъ рѣчи г. Волынскаго, въ его упрекахъ г. Боборыкину есть доля истины. Дѣло въ томъ, что тѣ новѣйшія ученія, которыя повѣтріемъ занесло въ послѣднее время и къ намъ, дѣйствительно, возникли на почвѣ „глубокихъ психологическихъ броженій". Какъ бы ни были безобразны, возмутительны и глупы тѣ или другія отдѣльныя ихъ проявленія, тѣ или другіе люди, объявляющіе себя ихъ сторонниками или провозвѣстниками,—г. Волынскій правъ, говоря, что „въ этихъ броженіяхъ зарождается то или другое будущее". Старая Европа переживаетъ давно подготовлявшійся нравственный кризисъ, даже въ его русскомъ отраженіи заслуживающій болѣе серьезнаго отношенія, чѣмъ то, какое ему удѣлилъ г. Боборыкинъ въ „Накипи". Въ самомъ дѣлѣ, мы имѣемъ здѣсь столкновеніе альтруизма съ доселѣ не бывало откровеннымъ эгоизмомъ или „эготизмомъ", какъ, помнится, поправляетъ Переверзевъ Ольгу Горбатову. Конечно, всегда были откровенные эгоисты, не стѣснявшіеся излагать свою profession de foi, но это были отдѣльные люди, на свой личный страхъ откровенничавшіе. Въ огромномъ большинствѣ случаевъ эгоизмъ носилъ маску даже нарочитой любви къ ближнему, лилъ слезы объ униженныхъ и оскорбленныхъ, говорилъ „благонамѣренныя рѣчи", вообще лицемѣрилъ. Правда, рядомъ съ оффиціальною моралью существовала мораль кружковая или профессіональная, дозволявшая купцу не только торговать гнилымъ товаромъ, обмѣривать и обвѣшивать, но и хвалиться своею ловкостью; чиновнику добраго стараго времени или инженеру не только брать взятки, а и вызывать удивленіе, восторгъ, зависть товарищей по профессіи; мужчинѣ извѣстнаго круга не только надругаться надъ опозоренной имъ женщиной, но и заслужить именно за такіе подвиги прозвище „молодца" и т. п. Но все это въ ограниченныхъ предѣлахъ кружка товарищей единомышленниковъ. И какими бы, по выраженію Маудсли, „дьявольскими" практическими правилами человѣкъ ни руководствовался въ жизни, онъ при случаѣ являлся передъ общественнымъ мнѣніемъ съ печатью „ангельской" вѣры на лицѣ. Эгоизмъ разнуздывался хотя и при свидѣтеляхъ, но всетаки, такъ сказать, при закрытыхъ дверяхъ. Нынѣ мы видимъ иное. Эгоизмъ не нуждается ни въ какой маскѣ, утѣхи и капризы своего *я* люди открыто и смѣло противопоставляютъ чужимъ страданіямъ, какъ бы ни были они велики въ количественномъ и качественномъ отношеніи, съ одной стороны, всякимъ правиламъ, преданіямъ, требованіямъ общественнаго мнѣнія, законамъ, обычаямъ—съ другой. „Что мнѣ за дѣло до-

голодныхъ, когда есть на свѣтѣ красота!?“ — говоритъ одно изъ дѣйствующихъ лицъ „Накипи“. Это очень скромно сравнительно съ рѣчами и поступками европейскихъ декадентовъ и ничшіанцевъ, а главное—само по себѣ это вовсе не ново; нова тутъ только откровенность. Но эта-то откровенность, эта-то обнаженность эгоизма и достойна вниманія. Наша русская мысль родится и развивается очень часто, съ одной стороны, заднимъ числомъ, слѣпо повторяя европейскіе зады, а съ другой—по отношенію собственно къ русской жизни забѣгаетъ впередъ, такъ какъ въ этой жизни нѣтъ подходящихъ для нея условій. И то, и другое обрекаетъ русскую мысль на мертвенную отвлеченность. Въ частности условія русской жизни не даютъ достаточнаго простора нашимъ декадентамъ и ничшіанцамъ, и въ огромномъ большинствѣ случаевъ они просто смѣшны: напыщенныя рѣчи, глупые стихи, чисто словесная жестокость, мелкій и тоже больше словесный развратъ, грошъ амуниціи при рублевой амбиціи, да и откровенность-то собственно вполголоса или въ интимномъ кругу единомышленниковъ. Совсѣмъ не то въ Европѣ. Одинъ изъ поэтовъ „Сѣвернаго Курьера“, г. Осипъ Яковлевъ, восклицаетъ: „Я хочу, я хочу быть порочнымъ!“ потому что, продолжаетъ онъ,

Вѣрь: и совѣсть и долгъ—только дымъ,
Рабской цѣпи ничтожныя звенья...
Годы, годы служенія имъ
Всѣ не стоятъ минуты паденья!

Дѣло идетъ объ „обьятьи полночномъ“, котораго поэтъ жаждетъ не потому, что онъ любитъ женщину какою бы то ни было настоящею, цѣльною или только физическою любовью, а потому, что онъ „хочетъ“, непремѣнно „хочетъ быть порочнымъ“, хочетъ „пасть“. Эта наивность очень характерна для русскаго декадента. Какой нибудь Поль Верленъ или Оскаръ Уайльдъ дѣйствительно „порочны“, а нашъ Осипъ Яковлевъ только еще собирается: „Я хочу, я хочу быть порочнымъ“... Я отнюдь не отрицаю существованія порочныхъ людей среди русскихъ декадентовъ, но для европейски-откровеннаго порока они слишкомъ слабы, блѣдны и трусливы. Поэтому г. Боборыкинъ правъ, заставляя публику смѣяться надъ Ольгой Горбатовой (въ первомъ дѣйствіи), Переверзевымъ, Воробьиной. Но можно бы было пожелать противопоставленія имъ не такихъ блѣдныхъ фигуръ, какъ положительные типы „Накипи“, и затѣмъ хоть намека на то, что если не въ личностяхъ Переверзева, Воробьиной и т. п., то въ ихъ рѣчахъ съ чужого голоса есть нѣчто серьезное—и грозное...

Вернемся къ г. Энгельгардту. Мы видѣли, что, по его мнѣнію, примѣрно до половины XVIII вѣка, „прогрессъ“ былъ „эволюціей жестокости“ и эгоизма; съ этого же момента наступаетъ, повидимому, нѣкоторая перемѣна: индивидуализмъ растетъ, но жестокость, подъ вліяніемъ главнымъ образомъ науки, убываетъ, а если не убываетъ, то прячется подъ мантіей лицемѣрія („Прогрессъ, какъ эволюція лицемѣрія“ — такъ называется XIV глава книги г. Энгельгардта), торжествуютъ „возвышенные принципы и низменные инстинкты“. Мы видѣли, однако, также, что дѣйствительность во многихъ отношеніяхъ рѣшительно не согласуется съ этой картиной. Какъ разъ съ половины XVIII вѣка эгоизмъ получаетъ научное обоснованіе, а вмѣстѣ съ тѣмъ становится все откровеннѣе, нелицемѣрнѣе, не превращаясь, однако, въ индивидуализмъ, ибо болѣе или менѣе жестокіе приговоры теоретиковъ эгоизма произносятся во имя не личнаго блага, а блага нѣкотораго цѣлаго—общества, государства, „системы наибольшаго производства“, вида homo sapiens, „совокупности жизни“ и т. п. Правда, въ философіи Ничше мы имѣемъ индивидуалистическую струю, но она расплывается въ требованіи служенія своеобразному аристократическому обществу; декаденты же себя именно признаютъ представителями этой аристократіи, имѣющими право топтать всѣхъ и все ради собственнаго удовольствія, что и заявляется ими съ полною откровенностью. Г. Энгельгардтъ гнѣвно говоритъ о торжествѣ „возвышенныхъ принциповъ и низменныхъ инстинктовъ“. Но дѣло въ томъ, что принципы, возвышенные съ точки зрѣнія г. Энгельгардта, прямо низменны („рабская мораль“) съ точки зрѣнія ничшіанцевъ и декадентовъ, а инстинкты, считаемые имъ низменными—для нихъ возвышенны. Рѣчь идетъ о пересмотрѣ самыхъ основъ морали, о „переоцѣнкѣ всѣхъ цѣнностей“.

Само собою разумѣется, что всѣмъ этимъ далеко не исчерпывается содержаніе европейской мысли и жизни, но я и не имѣю въ виду представить здѣсь что нибудь исчерпывающее. Укажу еще лишь на анархизмъ и соціализмъ, о которыхъ г. Энгельгардтъ совсѣмъ не упоминаетъ. Соціализмъ, занимающій нынѣ во всѣхъ европейскихъ государствахъ, и какъ ученіе, и какъ политическая партія, общепризнанное и, можно сказать, оффиціальное положеніе, отнюдь не колеблетъ основъ морали любви къ ближнему, солидарности, долга и проч. и не хуже г. Энгельгардта громитъ лицемѣріе буржуазнаго общества на этомъ пунктѣ. Что же касается анархизма, ученія чисто индивуалистическаго, одинаково ненавистнаго и буржу-

азіи, и соціализму, то, не смотря на ужасы „пропаганды дѣломъ", его теоретики также стоятъ за основы морали „возвышенныхъ принциповъ". Такъ пестра современная европейская жизнь, такъ богата она многочисленными и многосложными узорами.

Но если мы обратимся и къ прошлому, то найдемъ тамъ нѣчто гораздо болѣе разноцвѣтное, чѣмъ это кажется г. Энгельгардту. Начать съ того, что въ наукѣ до сихъ поръ остается нерѣшеннымъ споръ о моногенетической и полигенетической гипотезахъ происхожденія человѣка. Въ послѣднее время торжествуетъ, повидимому, вторая; а если такъ, то нельзя говорить, какъ говоритъ г. Энгельгардтъ, о „стадіи, предшествовавшей обособленію племенъ и началу войнъ между этими послѣдними", какъ о „наиболѣе первобытной стадіи развитія человѣчества". Согласно теоріи полигенезиса въ „наиболѣе первобытную стадію человѣчества" существовало нѣсколько расъ, возникшихъ и продолжавшихъ свою исторію при очень различныхъ условіяхъ и, по всей вѣроятности, имѣвшихъ очень различный нравственный обликъ. Естественно, что и дальнѣйшее теченіе исторіи человѣчества шло очень разными путями, представляя собою всякаго рода зигзаги. Г. Энгельгартъ самъ останавливается, даже съ восторгомъ, на нѣкоторыхъ позднѣйшихъ цивилизаціяхъ. Такъ, на стр. 148 читатель найдетъ слѣдующія пламенныя строки: „Міръ не видалъ болѣе печальной и страшной катастрофы! Пусть бы лучше персы, завоевавъ Элладу, остановили развитіе европейской культуры, пусть бы лучше дикія орды азіатовъ-кочевниковъ, разлившись до крайныхъ предѣловъ запада, замедлили ростъ нашей цивилизаціи и отсрочили на два, на три столѣтія наступленіе нашего хваленаго и хвастливаго вѣка пара, электричества и босяковъ, — только бы уцѣлѣло царство инковъ!" И т. д. Такъ прельщаютъ г. Энгельгардта нѣкоторыя стороны перуанской цивилизаціи, хотя онъ знаетъ, что цивилизація эта забрызгана пятнами войнъ, человѣческихъ жертвоприношеній, жестокихъ наказаній. Такимъ образомъ, крайняя жестокость можетъ, повидимому, съ точки зрѣнія г. Энгельгардта, сочетаться съ „возвышенными принципами", ради которыхъ можно и ей пѣть „многая лѣта". Въ заключеніи же книги, на ея послѣдней страницѣ, г. Энгельгардъ, послѣ многихъ колебаній, которыя мы отчасти видѣли, пишетъ: „Какъ бы то ни было, фактическаго поворота къ лучшему нельзя отрицать. Но исчезаютъ понемногу лишь грубыя формы жестокости, а индивидуализмъ,—эгоизмъ, какъ наиболѣе приличествующая человѣку мораль; нажива

какъ похвальнѣйшій стимулъ дѣятельности; накопленіе и пріумноженіе, какъ высшее назначеніе человѣка,— индивидуализмъ расцвѣтаетъ все пышнѣе и пышнѣе. Получаются такимъ образомъ два взаимно исключающихся движенія, двѣ эволюціи".

Оставляя въ сторонѣ выше отмѣченную неясность отношеній между индивидуализмомъ и эгоизмомъ, можно согласиться съ г. Энгельгардтомъ относительно двухъ взаимно исключающихся движеній, двухъ борящихся „эволюцій". Но, во-первыхъ, борьба эта составляетъ принадлежность не только современной цивилизаціи, а ведется съ незапамятныхъ временъ, а во-вторыхъ, ее очевидно нельзя замкнуть въ рамки жестокости, съ одной стороны, и смягченія нравовъ—съ другой...

Рекомендую вниманію читателя другую книгу—„Добро въ ученіи гр. Толстого и Ф. Ничше (Философія и проповѣдь)" Л. Шестова. Странная эта книга. Интересная и красиво написанная, она написана точно гдѣ-то на облакахъ, и красивые контуры этихъ облаковъ мѣстами заволакиваютъ мысль автора, и съ той высоты, на которой они плывутъ надъ землей, многое на этой землѣ - въ томъ числѣ въ сочиненіяхъ Толстого и Ничше и во всемъ, что къ нимъ относится – представляется автору въ совершенно невѣрномъ освѣщеніи; фактически невѣрномъ. Такъ, напримѣръ, г. Шестовъ утверждаетъ, что „*многіе* читатели готовы отрицать художественный геній за гр. Толстымъ. Имъ представляется, что назвать гр. Толстого геніемъ значитъ оскорбить нравственность, ставящую впереди всѣхъ своихъ требованій умѣнье сочувствовать несчастію ближняго. Они считаютъ своей *важнѣйшей* обязанностью переводить гр. Толстого въ разрядъ *второклассныхъ* писателей, не могущихъ сравниться съ Диккенсомъ или Тургеневымъ" (16). Въ числѣ личныхъ знакомыхъ г. Шестова, можетъ быть, такіе читатели и есть, но чтобы „многіе считали своею „важнѣйшею" обязанностью переводить Толстого въ разрядъ „второстепенныхъ" художниковъ,—это можетъ показаться только съ заоблачной высоты, откуда не все ясно видно. Впрочемъ, на этотъ разъ мы не коснемся гр. Толстого и ограничимся второй частью книги г. Шестова, трактующей о Ничше.

„Для огромнаго большинства людей книги Ничше не нужны, даже вредны,—говоритъ г. Шестовъ,—такъ что приходится только жалѣть, что журналы и газеты такъ хлопочутъ ознакомить большую

публику „въ общихъ чертахъ“, т. е. въ доступномъ, иначе говоря, въ совершенно искаженномъ видѣ съ физіономіей новаго философа. Все почти, о чемъ писалъ Ничше, слишкомъ далеко отъ обычныхъ предметовъ человѣческихъ размышленій и отъ переживаній большинства людей, и поверхностное знакомство съ его сочиненіями ничего, кромѣ ложныхъ и неправильныхъ сужденій о немъ, дать не можетъ“ (177—78). И вотъ почему г. Шестовъ издаетъ книгу въ 200 страницъ, изъ которыхъ половина посвящена гр. Толстому, а другая—знакомитъ публику „въ общихъ чертахъ“ съ философіей Ничше; въ общихъ чертахъ, значитъ, по толкованію самого г. Шестова, въ искаженномъ видѣ, съ „ложными и неправильными сужденіями“... Не думаю, чтобы такое искаженіе было обязательно для всякаго изложенія взглядовъ Ничше, но въ изложеніи г. Шестова, не смотря на его глубокое уваженіе къ несчастному нѣмецкому мыслителю, дѣйствительно есть много ложнаго и неправильнаго. Зависитъ это отнюдь не отъ того, что будто бы невозможно обойтись въ данномъ случаѣ безъ искаженій. Невозможно передачей „въ общихъ чертахъ“ замѣнить подлинникъ, но это относится не только къ Ничше; невозможно съ полной ясностью изложить нѣкоторые взгляды Ничше, но это зависитъ отъ условій нашей печати; невозможно, наконецъ, на 100 страницахъ равномѣрно изложить всѣ стороны философіи Ничше, но и это не аргументъ въ пользу неизбѣжности искаженій. У г. Шестова искаженія объясняются, мнѣ кажется, тѣмъ, что, при всемъ его глубокомъ уваженіи къ Ничше, онъ желаетъ внушить читателю еще болѣе уважительное отношеніе, чѣмъ какое питаетъ самъ. Поэтому онъ затушевываетъ мало симпатичные или совсѣмъ не симпатичные ему взгляды Ничше и выдвигаетъ впередъ тѣ, которые ему, г. Шестову лично, особенно дороги. Онъ не останавливается передъ средствами, довольно таки рискованными, хотя я, разумѣется, не думаю заподозрѣвать его въ умышленномъ извращеніи; нѣтъ, это дѣлается само собой, въ силу увлеченія, закрывающаго глаза на одно, широко раскрывающаго ихъ на другое.

Г. Шестовъ пишетъ: „Ничто не льститъ больше его (Ничше) измученной душѣ, какъ надежда остаться неразгаданнымъ. Когда Брандесъ назвалъ его ученье „аристократическимъ радикализмомъ“, т. е. примѣнилъ къ Ничше два пошлыхъ или опошленныхъ слова (у датскаго критика непочатый уголъ такихъ словъ), даже съ внѣшней стороны не характеризующихъ философіи Ничше, этотъ по-

слѣдній былъ въ восторгѣ и утверждалъ, что это самое умное, что онъ слышалъ о себѣ. Вѣрнѣе, въ словахъ Брандеса Ничше видѣлъ лишь доказательство, что его цѣль достигнута, что люди настолько ослѣплены его литературой, что не думаютъ о немъ самомъ. А это именно ему и нужно было. Онъ всего болѣе боялся быть разгаданнымъ и потому придавалъ своимъ признаніямъ такую форму, будто они никакого отношенія къ нему не имѣли. Брандесъ, самъ всегда пишущій о томъ, что къ нему никакого отношенія не имѣетъ, спокойно повѣрилъ, „что аристократическій радикализмъ"—это все, что можно найти у Ничше" (163—164).

Что писатель можетъ писать о своихъ мукахъ и радостяхъ для себя, чтобы излить переполненную душу, замаскировывая это переполняющее для посторонняго глаза,—это знаетъ, вѣроятно, каждый писатель,—разумѣю, конечно, настоящаго, „кровнаго", какъ говорилъ Салтыковъ, писателя, который живетъ въ литературѣ. Но въ писателѣ плодовитомъ это частный случай, а чтобы вообще онъ желалъ „остаться неразгаданнымъ" и чтобы онъ былъ въ восторгѣ отъ того, что его кто нибудь перевралъ, чтобы въ этомъ онъ видѣлъ „достиженіе своей цѣли",—этому, конечно, повѣрить нельзя Этого не бываетъ и быть не можетъ. Есть, конечно, лжецы и лицемѣры, которые не хотятъ быть разгаданными, потому что они гробы повапленные, потому что подъ яркими „вапами" въ нихъ скрывается тлѣнъ и смрадъ, но Ничше не лжецъ и не лицемѣръ. И почему онъ достигъ цѣли, когда его Брандесъ перевралъ (если перевралъ)? Брандесъ перевралъ, а вотъ г. Шестовъ разгадалъ, значитъ цѣль всетаки не достигнута. И почему Ничше призналъ именно опредѣленіе Брандеса вѣрнымъ, тогда какъ другія отгадыванія сурово отталкивалъ? Казалось бы, если онъ желалъ вообще оставаться неразгаданнымъ, такъ ему безразлично было, кто и въ какую сторону невѣрно его толкуетъ. Однако этого не было...

Я не знаю книги или статьи Брандеса о Ничше, но осмѣливаюсь думать, что г. Шестовъ нѣсколько преувеличиваетъ (или преуменьшаетъ), говоря, что, по мнѣнію датскаго критика, „аристократическій радикализмъ—это все, что можно найти у Ничше". Сомнѣваюсь, чтобы таково дѣйствительно было мнѣніе Брандеса. А затѣмъ рѣшительно, уже безъ всякихъ сомнѣній утверждаю, что—пошлыя ли это слова: „аристократическій радикализмъ" или только опошленныя,—а ими вѣрно характеризуется значительная часть духовнаго багажа Ничше. И отнюдь не потому обрадовался онъ имъ, что уви-

дѣлъ въ нихъ свидѣтельство своей неразгаданности. Напомню г. Шестову его собственныя слова: Ничше былъ „слишкомъ принцателенъ и честенъ по натурѣ своей, чтобы обманывать себя и другихъ“ (179).

Чрезвычайно интересно и для всей книги г. Шестова характерно то обстоятельство, что въ ней *ни разу* не поминается терминъ „Wille zur Macht“, жажда власти, столь часто встрѣчающійся въ сочиненіяхъ Ничше. А между тѣмъ эту жажду власти Ничше считалъ кореннымъ свойствомъ человѣческой природы, — правда, такимъ, которому только въ избранныхъ, въ Uebermensch'ахъ долженъ быть предоставленъ просторъ. Есть извѣстіе, что Ничше когда-то мечталъ быть основателемъ гдѣ нибудь за моремъ колоніи, въ которой онъ былъ бы полновластнымъ владыкой на благо покорному населенію. И это вполнѣ соотвѣтствуетъ его философіи. Онъ такъ настойчиво и краснорѣчиво говорилъ о безсиліи мысли, какъ таковой, о необходимости претворенія ее въ дѣло, и именно въ общественное дѣло, а г. Шестовъ, поставивъ въ подзаглавіи своей книги слова „философія и проповѣдь“, преклоняется передъ Ничше-философомъ и отметаетъ почти презрительно Ничше-проповѣдника, считая вообще „проповѣдь“ дѣломъ вздорнымъ и ненужнымъ. Но у Ничше труднѣе, чѣмъ у кого нибудь, отдѣлить философію отъ проповѣди, и какъ бы ни старался г. Шестовъ выкинуть изъ философіи Ничше его „аристократизмъ“, „паѳосъ разстоянія“, „сверхъ-человѣка“, какъ вещи, вниманія не стоящія, они составляютъ необходимый элементъ этой философіи. Г. Шестовъ съ величайшею увѣренностью говоритъ, напримѣръ: „Ничше ставитъ въ вину христіанству широкое распространеніе современной идеи о равенствѣ людей и объ этомъ говоритъ часто, много и *какъ будто* бы страстно, хотя *въ сущности* онъ къ общественнымъ вопросамъ былъ равнодушенъ до наивности“ (115). Обратите вниманіе на подчеркнутыя мною слова: человѣкъ говоритъ часто, много и, конечно, неподдѣльно страстно, а г. Шестовъ утверждаетъ: „какъ будто“ страстно; на какомъ основаніи — неизвѣстно. И какъ проникъ г. Шестовъ въ „сущность“ этого упорно желавшаго оставаться неразгаданнымъ человѣка, опять-таки неизвѣстно. Очевидно, г. Шестовъ распоряжается въ душѣ Ничше, какъ хозяинъ въ собственномъ домѣ: по своему личному вкусу измѣняетъ назначеніе комнатъ, заколачиваетъ двери и пробиваетъ новыя, переставляетъ мебель и проч.

Возражая Рилю, г. Шестовъ пишетъ: „Ничше говорилъ объ ос-

новной, наиболѣе занимавшей его проблемѣ—проблемѣ нравственности, что она была его личнымъ вопросомъ, что съ ней была связана его судьба. Очевидно, не о „мысляхъ, какъ переживаніяхъ“ шла у него рѣчь, хотя онъ и былъ философомъ, т. е. человѣкомъ, умѣющимъ отдавать себѣ отчетъ въ своихъ мысляхъ и чувствахъ. Его „переживанія“ связаны не съ отвлеченными, лежащими внѣ интересовъ другихъ людей, вопросами, а съ тѣмъ, изъ чего слагается вся ваша жизнь“ (102—3). Именно. Но поэтому то Ничше никоимъ образомъ не могъ быть равнодушенъ къ общественнымъ вопросамъ.

Біографія Ничше не богата какими нибудь яркими событіями; кромѣ болѣзни, изъ нея даже нечего разсказать. Но г. Шестовъ разсказываетъ. Онъ говоритъ: „Когда Ничше поразилъ громъ (т. е. болѣзнь)—небо было надъ нимъ ясно и чисто; онъ не ждалъ ни откуда опасности, былъ довѣрчивъ и спокоенъ, какъ малое дитя. Онъ служилъ „добру“, онъ велъ чистую и честную жизнь нѣмецкаго профессора, искалъ идеаловъ у греческихъ философовъ и новѣйшихъ музыкантовъ, изучалъ Шопенгауера, велъ дружбу съ Вагнеромъ и во имя всего этого,—что почиталось имъ тогда самымъ важнымъ и нужнымъ—отказывался отъ дѣйствительной жизни... Но въ то же время, какъ онъ ради этихъ добродѣтелей, ради „добраго имени“ утелъ отъ жизни, чтобы въ тиши своего кабинета создавать новыя теоріи (такъ понималъ онъ тогда служеніе добру), онъ не зналъ, не подозрѣвалъ даже, что придется такъ неслыханно расплачиваться за свою добросовѣстность... Онъ все задушилъ въ себѣ, природные инстинкты и запросы, которые обыкновенно умѣютъ заставить подчиниться себѣ и самыя добродѣтельныя души... Онъ учился и училъ—всему, что считалъ важнымъ, нужнымъ, серьезнымъ и за этимъ дѣломъ совсѣмъ позабылъ о жизни. Даже при появленіи первыхъ грозныхъ признаковъ болѣзни Ничше не обезпокоился. Онъ на скоро глоталъ разнаго рода лѣкарства, чтобы не возиться съ сложнымъ лѣченіемъ, и не отрывался отъ своего служенія, и продолжалъ свои философскія и профессорскія занятія до тѣхъ поръ, пока недугъ не свалилъ его окончательно. Только тогда понялъ, наконецъ, Ничше, что добродѣтель не защититъ его отъ всего. Но уже было слишкомъ поздно“ (21—23). „Ничше былъ и остался до конца своей жизни нравственнымъ человѣкомъ въ полномъ смыслѣ—самомъ обыденномъ—этого слова“ (111). „Ни пьянства, ни разврата, ни дуэлей, ни всего прочаго, чѣмъ была наполнена жизнь

гр. Толстого, у него не было. Онъ служилъ „добру“. И добро сыграло надъ нимъ коварную шутку. Пока онъ былъ молодъ, силенъ, здоровъ, пока онъ могъ обойтись и безъ утѣшенія добра, т. е. пока онъ имѣлъ въ своемъ распоряженіи все, чему обыкновенно радуются и чѣмъ живутъ люди, и добро приносило ему свои дары. Когда же все у него было отнято, когда онъ остался одинъ,—и добро, какъ невѣрный другъ, покинуло его“ (113—114). На стр. 162 г. Шестовъ говоритъ о „праведной жизни“ Ничше, на стр. 163 о его „безысходномъ отчаяніи, что нельзя смыть съ себя позоръ прошлой добродѣтельности“...

Вы видите, какъ быстро растетъ, подъ перомъ г. Шестова, „добродѣтельность“ Ничше. Сперва мы имѣемъ нравственнаго человѣка „въ самомъ обыденномъ смыслѣ этого слова“, характеризующагося преимущественно отрицательными чертами: ни пьянства, ни разврата, ни дуэлей. Но затѣмъ эта обыденно-нравственная жизнь превращается въ жизнь праведника... Въ дѣйствительности, никакихъ подвиговъ добродѣтели Ничше не совершалъ и отъ жизни не сторонился: онъ любилъ общество, любилъ музыку, былъ санитаромъ-добровольцемъ во франко-прусскую войну. Но онъ много работалъ, и это - хотя тутъ были, можетъ быть, и другія причины—повело къ переутомленію, окончившемуся страшною болѣзнью. Что при этомъ „добро“ покинуло его, это не вѣрно, потому что при немъ неотлучно оставалась его мать, а потомъ сестра, самоотверженно приковавшія себя къ одру болѣзни Ничше. Вообще личная исторія Ничше такъ глубоко печальна, что нѣтъ никакой надобности сгущать ея краски. Какъ бы то ни было, именно ею г. Шестовъ объясняетъ возстаніе Ничше противъ Бога „добра“, науки, за которыхъ онъ поочередно хватался, какъ за опору жизни. Въ этомъ мнѣніи есть извѣстная доля правды, но это далеко не вся правда. Хотя бы уже потому, что въ его первомъ произведеніи, Geburt der Tragödie,—значеніе котораго, мимоходомъ сказать, г. Шестовъ напрасно умаляетъ, считая его лишь „типическимъ образцомъ талантливой ученой causerie въ пессимистическомъ стилѣ“,—содержатся зародыши его позднѣйшаго міросозерцанія, насколько его можно освободить отъ противорѣчій. Но главная бѣда г. Шестова состоитъ въ томъ равнодушіи къ общественнымъ вопросамъ, которое онъ напрасно усвоиваетъ Ничше. Благодаря этому равнодушію, онъ склоненъ объяснять возникновеніе философіи Ничше, такъ сказать, путемъ самозарожденія: точно у него не было предшественниковъ

не было и нѣтъ людей (кромѣ г. Шестова), сочувственно воспринимающихъ и понимающихъ тѣ или другія стороны его ученія; не было и нѣтъ, наконецъ, общественныхъ условій, подготовлявшихъ, вскормившихъ и вспоившихъ это ученіе. А все дѣло будто бы въ личной исторіи Ничше: высоко даровитый человѣкъ служилъ „добру", на этомъ служеніи свихнулся, возсталъ и сказалъ нѣчто совершенно чужое всѣмъ современникамъ: до такой степени чужое, что его и понять никто не можетъ, да и самъ онъ не хотѣлъ быть понятымъ, и очень это хорошо, что его не понимаютъ, что онъ всѣмъ чужой... Это, конечно, невѣрно. Какъ ни экстравагантны нѣкоторые взгляды Ничше, но онъ вполнѣ сынъ своего времени.

Историческіе взгляды Ничше какъ разъ прямо противоположны тѣмъ, какіе мы видѣли у г. Энгельгардта. Гдѣ-то, когда-то сильные, смѣлые, жестокіе, жизнерадостные, „злые" люди, люди-„господа" столкнулись съ слабыми, смирными, трусливыми, „добрыми" людьми, людьми-„рабами", и покорили ихъ. Но съ теченіемъ времени покоренные сами одержали надъ покорителями побѣду, заразивъ ихъ своею „рабскою" моралью. „Рабы", въ виду своей слабости и трусливости, естественно жались другъ къ другу, дѣйствовали скопомъ, и потому выработали принципы солидарности, любви къ ближнему, состраданія, милосердія, смиренія, уступчивости, „доброты" и т. п., совершенно чуждые „господамъ". Однако, послѣдніе заразились этою альтруистическою моралью, осложнившеюся съ теченіемъ времени соображеніями пользы и разумности въ теоріи и подавленіемъ жизненной энергіи на практикѣ. Такимъ образомъ, и Ничше скорбитъ о нравственномъ упадкѣ человѣчества, но онъ ставитъ плюсы тамъ, гдѣ у г. Энгельгардта стоятъ минусы, и наоборотъ, и самый ходъ исторіи представляется ему въ обратномъ порядкѣ: не отъ солидарности и взаимной любви къ эгоизму и жестокости, а, напротивъ, отъ эгоизма и жестокости къ прискорбному, по его мнѣнію, смягченію нравовъ. О фактическомъ обоснованіи своей теоріи Ничше не очень заботится. Что касается настоящаго и будущаго, то, по мнѣнію г. Энгельгардта, задача современной цивилизаціи состоитъ въ томъ, чтобы, „сохранивъ интеллектъ европейца, вернуться къ нравственному типу первобытнаго человѣка". Ничше не пожелалъ бы съ такою рѣшительностью сохраненія интеллекта современнаго европейца, ибо видитъ въ немъ очень существенные изъяны, но согласился бы на возвращеніе къ нравственному *типу* первобытнаго

человѣка.—только подъ типомъ-то этимъ онъ разумѣетъ нѣчто противоположное идеалу г. Энгельгардта.

У г. Энгельгардта есть любопытное разсужденіе объ Эмилѣ Зола. Онъ громитъ „пошлость", лицемѣріе", „негуманность" критиковъ этого талантливаго писателя. „Читать Зола тяжело,—пишетъ г. Энгельгардтъ.—Онъ не успокаиваетъ. Онъ не возбуждаетъ ни къ чему не обязывающихъ и никому ненужныхъ „добрыхъ" чувствъ, пріятныхъ слезъ, сладкой горести... Это не любезно, это обидно, это дерзко, наконецъ! То ли дѣло Диккенсъ, напр... Понятно, что такой писатель, какъ Зола, не могъ не вызвать ожесточенной брани" (191). Въ этомъ разсужденіи (я его сильно сократилъ) хорошо отражаются пріемы мысли г. Энгельгардта. Онъ закрываетъ глаза на тотъ потокъ хвалы, который выпалъ на долю Зола, и видитъ только *ожесточенную* брань, которой, пожалуй, и совсѣмъ не было Затѣмъ „лицемѣрно", „пошло". „негуманно", какъ доказываетъ г. Энгельгардтъ, все современное общество, а не только литература, и тѣмъ паче не только литература о Зола. А между тѣмъ, едва ли есть или, по крайней мѣрѣ, очень недавно былъ писатель, который читался бы такъ на расхватъ, какъ Зола. А изъ этого слѣдуетъ, кажется, заключить, что читать Зола не такъ ужъ тяжело, какъ думаетъ г. Энгельгардтъ Въ чемъ тутъ дѣло,—это другой вопросъ, но ясно, что какими-то своими сторонами Зола совпалъ съ какими-то, можетъ быть, неслышными, можетъ быть, очень разнородными, но широко распространенными теченіями.

То же самое слѣдуетъ сказать о Ничше. Огромный успѣхъ его сочиненій, широко распространенная слава его имени свидѣтельствуютъ о томъ, что онъ отнюдь не такой всѣмъ чужой человѣкъ, какъ думаетъ г. Шестовъ Одно изъ теченій, къ которымъ примыкаетъ философія Ничше, я уже указалъ,—это дарвинизмъ. Авторъ предисловія къ Also sprach Zarathustra, нѣкій Гастъ, утверждаетъ, что Ничше первый отнесся извѣстнымъ образомъ къ христіанской этикѣ и демократизму, показавъ, дескать, ихъ внутреннюю связь и вредоносность Это, конечно, невѣрно, и гораздо правильнѣе поставилъ дѣло другой послѣдователь Ничше, Тилле, озаглавившій свою книгу словами „Von Darwin bis Nietzsche", хотя и онъ не упоминаетъ о наиболѣе характерныхъ для его темы дарвинистахъ. Сюда примыкаетъ „аристократическій радикализмъ" Ничше, который онъ самъ призналъ и, не въ обиду г. Шестову будь сказано, призналъ совершенно вѣрно. Чтобы понять то оригинальное, что

внесъ въ этотъ аристократическій радикализмъ Ничше, надо остановиться на знаменитомъ заглавіи его книги „Jenseits von Gut und Böse“, которое и г. Шестовъ, подобно г. Волынскому и дѣйствующимъ лицамъ „Накипи“ г. Боборыкина, переводитъ словами „по ту сторону добра и зла“. Мнѣ уже неоднократно случалось указывать на неправильность этого перевода, и теперь я остановлюсь на немъ нѣсколько дольше.

„По ту сторону добра и зла“ значитъ по ту сторону нравственно хорошаго, одобрительнаго и нравственно дурного, неодобрительнаго. А такъ какъ Ничше и самъ любилъ называть себя „имморалистомъ“, то разные мозгляки и пакостники сочли себя вправѣ его именемъ совершенно разстегнуться: нѣтъ, дескать, никакихъ нравственныхъ нормъ; избраннымъ кандидатамъ въ сверхъ-человѣки нечего стѣсняться, и даже „пороки“ предпочтительнѣе „добродѣтели“ (и вотъ почему нашъ Осипъ Яковлевъ восклицаетъ: „я хочу, я хочу быть порочнымъ“, хотя въ желаемомъ имъ „полночномъ объятьи“ ничего порочнаго, можетъ быть, нѣтъ). Слышалъ ли Ничше о происходящихъ во имя его мерзостяхъ или нѣтъ, но въ книгѣ „Zur Genealogie der Moral“ онъ пожелалъ объясниться. Первый отдѣлъ этой книги озаглавленъ: „Gut und Böse, Gut und Schlecht“, а на страницѣ 17 читаемъ: „Jenseits von Gut und Böse“... Dies heisst zum Mindesten nicht „Jenseits von Gut und Schlecht“. Какъ бы ни относились мы къ взглядамъ Ничше, но нельзя же клеветать на него: не упразднить нравственность считалъ онъ себя призваннымъ, а реформовать, поставить на новыя, болѣе прочныя основанія. Г. Шестовъ цитируетъ изъ „Genealogie der Moral“ одно выразительное мѣсто; цитируетъ онъ его въ нѣмецкомъ подлинникѣ, справедливо опасаясь испортить переводомъ энергію и страстность оригинала. Не рискну и я переводить и приведу лишь сущность. Ничше предлагаетъ нѣкоторому любопытствующему смѣльчаку послушать, какъ „фабрикуются на землѣ идеалы“. Тотъ слышитъ „осторожный лукавый шопотъ“, и по чрезвычайной слащавости этого шопота заключаетъ, что въ немъ ложь. Затѣмъ различаетъ: „слабость“ обращается въ „заслугу“, неспособное безсиліе—въ доброту, преклоненіе передъ чѣмъ то ненавистнымъ—въ послушаніе, низость—въ смиреніе, дряблость—въ терпѣніе, неумѣніе мстить—въ нежеланіе мстить или даже въ прощеніе, даже въ любовь къ врагу. А между тѣмъ всѣ эти лгущіе люди полны мести и ненависти (voll Rache und Hass). Какъ бы ни мотивировалъ Ничше эту „месть и ненависть“ „доб-

рыхъ“ людей, ясно, что онъ не имморалистъ въ смыслѣ отрицанія какой бы то ни было морали. Прежде всего мы видимъ тутъ отвращеніе къ лицемѣрію, къ мести и ненависти, прикрытой „добротой“, а затѣмъ желаніе найти основаніе для морали не „по ту сторону добра и зла“,—тамъ никакой морали нѣтъ и быть не можетъ, а „по ту сторону доброты и злобы“, внѣ ихъ.

Въ чемъ же нашелъ Ничше основаніе для новой морали? Я приведу нѣсколько афоризмовъ изъ его послѣдняго сочиненія, „Der Antichrist“: „Что хорошо (gut)? Все, что поднимаетъ чувство мощи въ человѣкѣ, жажду мощи (или „волю къ мощи“), самую мощь“. „Что дурно (schlecht)? Все, истекающее изъ слабости“. „Что такое счастье? Чувство, что мощь растетъ, что преодолѣно препятствіе“. „Не довольство, а усиленіе мощи; не миръ вообще, а война; не добродѣтель, а сила“. „Слабые и неудачники должны гибнуть: первое положеніе нашей любви къ человѣчеству; и имъ слѣдуетъ въ этомъ помогать“. „Что вреднѣе какого бы то ни было порока? Дѣйственное состраданіе всѣмъ неудачникамъ и слабымъ“.

Мощь, сила ума и характера, сила духа и тѣла,—вотъ та точка въ пространствѣ по ту сторону доброты и злобы, внѣ ихъ, опираясь на которую, Ничше критиковалъ и разсчитывалъ преобразить современную мораль. „Порочность“ онъ отнюдь не проповѣдывалъ, и, не смотря на нѣкоторыя чрезмѣрности его страстной, мѣстами полубезумной рѣчи, развинченные декадентики, восхваляющіе или и практикующіе „пороки“, не имѣютъ никакого права на него ссылаться. Не отрицаетъ онъ и „любви къ человѣчеству“, но разумѣетъ ее не въ формѣ любви къ „ближнему“, каковъ бы ни былъ этотъ ближній, а въ формѣ любви къ „дальнему“, къ грядущему воплощенію все большей и большей мощи, ради котораго онъ и осуждаетъ на гибель всѣхъ слабыхъ и неудачниковъ. Изъ этой чисто дарвинистской идеи проистекаетъ весь „аристократическій радикализмъ“ Ничше. Онъ презрительно относится къ массамъ, къ „народу“, который есть, по его мнѣнію, не болѣе, какъ „удобреніе“, нужное для произрастанія нѣсколькихъ великихъ людей; о рабочихъ онъ говоритъ: „побралъ бы ихъ чортъ и статистика!“ Женщинъ, какъ существа слабыя, онъ осуждаетъ навѣки играть подчиненную роль и чуть не съ пѣной у рта говоритъ о такъ называемой „женской эмансипаціи“ и т. д.

Обличая современное буржуазное общество въ лицемѣріи г. Энгельгардтъ не дѣлаетъ какого-нибудь открытія: лицемѣріе это обще-

извѣстно. Принципы любви, долга, самоотверженія, состраданія и проч., исповѣдуемые вслухъ, для огромнаго, подавляющаго большинства, отнюдь не служатъ практическою руководящею нитью въ жизни. И въ верхнихъ, и въ среднихъ, и въ нижнихъ слояхъ европейскаго общества есть множество людей, тяготящихся тѣми узами, которыя ихъ связываютъ въ разнообразныя цѣлыя, тѣми правилами жизни, которыя налагаются фактомъ принадлежности къ семьѣ, извѣстному кругу, національности, государству и проч.; а всѣ эти правила имѣютъ въ своемъ основаніи любовь, долгъ, самоотверженіе Въ сущности все это давно изъѣдено молью исторіи и держится только круговою порукою лицемѣрія. Но не все же лицемѣры. Есть и такіе, что несутъ выпавшее на ихъ долю бремя со смиреніемъ воловъ, добросовѣстно исполняющихъ свою работу за пропитаніе, пока силъ хватаетъ; а есть и такіе, что не выносятъ лицемѣрія и открыто, дерзко, словомъ или дѣломъ, нарушаютъ правила общежитія въ широкомъ смыслѣ этого слова. Но это только одна сторона дѣла. Читатель благоволитъ обратить вниманіе на странно враждебныя отношенія разнаго рода рабочихъ на страницахъ романа Грушецкаго „Углекопы" („Русское Богатство", февраль 1900 г.). Литейщики и углекопы, углекопы и шлепры, поляки и силезцы (собственно поляки же, только изъ Силезіи) точно только и ждутъ случая, чтобы сцѣпиться группами, именно какъ углекопы и литейщики, какъ поляки и силезцы. Въ принадлежности къ какой бы то ни было общественной группѣ, большой или маленькой, есть какая то магическая сила, стирающая личное сознаніе и навязывающая личности групповые нравы, обычаи, групповую ненависть, часто совершенно безсмысленную. Лондонская уличная толпа, въ составѣ которой навѣрное есть люди, жестоко обиженные родиной, при извѣстіяхъ съ театра южно-африканской войны, вдругъ чувствуетъ себя англичанами, какъ англичанами, въ унисонъ реветъ отъ воинственнаго восторга или злобы противъ буровъ и вѣнчаетъ лаврами виновника войны, Чемберлэна, хотя война ляжетъ на нее тяжкимъ бременемъ. Но чтобы наблюдать эту магическую силу коллективнаго сознанія, поддерживаемаго нравственной заразой, нѣтъ надобности останавливаться на крупныхъ историческихъ событіяхъ— мы ее ежедневно во всѣхъ мелочахъ нашей жизни кругомъ себя видимъ. И только сильное личное сознаніе можетъ ей противодѣйствовать, поднимаясь въ ту высшую сферу, гдѣ нѣтъ эллина и іудея, литейщика и углекопа, нѣтъ и нравственныхъ обязанностей, налагае-

мыхъ исключительно принадлежностью къ эллинамъ или іудеямъ, литейщикамъ или углекопамъ; гдѣ человѣческая личность простора требуетъ, гдѣ она, внѣ принадлежности къ какой бы то ни было группѣ, опирается на одно, что ей дѣйствительно принадлежитъ: творчество, трудъ вообще, ибо все остальное есть дѣло случайностей рожденія или капризовъ судьбы.

Такимъ образомъ, мы имѣемъ въ современномъ европейскомъ обществѣ два противоположныхъ теченія: общество налагаетъ на личность извѣстныя обязанности, личность частію подчиняется имъ, частію обходитъ путемъ лицемѣрія, частію же открыто протестуетъ. Но эта борьба личности и общества, „борьба за индивидуальность", не есть особенность нашего времени, она ведется съ незапамятныхъ временъ. Въ ней, а не въ смѣнѣ жестокости и смягченія нравовъ, какъ думаютъ съ разныхъ точекъ зрѣнія Ничше и г. Энгельгардтъ, заключается весь смыслъ исторіи. Надо только имѣть въ виду, что „общество" состоитъ изъ цѣлаго ряда концентрическихъ круговъ, въ свою очередь борющихся между собою; и это тоже не со вчерашняго дня. Когда семья выдѣлялась изъ болѣе обширной и болѣе древней группы рода, это былъ одинъ изъ труднѣйшихъ и мучительнѣйшихъ историческихъ процессовъ: родъ и семья долго и страстно боролись за верховенство надъ личностью. Въ настоящее время „общество" настолько осложнилось, надъ личностью наросло столько концентрическихъ круговъ, узоры жизни стали до такой степени пестры, что это маскируетъ основной фонъ борьбы за индивидуальность. Но борьба эта идетъ, какъ шла и прежде, съ перемѣннымъ успѣхомъ: то въ одномъ отношеніи, то въ другомъ, то одинъ изъ концентрическихъ круговъ, одна изъ группъ одерживаетъ побѣду надъ личностью, то другая, то терпятъ отъ нея пораженіе. Быть можетъ, борьба эта никогда не кончится, быть можетъ, не увидитъ ея конца и застывшая или сожженная земля. Но человѣку, въ которомъ мысль, чувство и воля достаточно дѣятельны, нельзя въ ней не участвовать, и надо выбирать. Задача не въ томъ, чтобы соединить интеллектъ современнаго европейца съ нравственнымъ типомъ первобытнаго человѣка, и не въ томъ, чтобы цѣною жизни и достоинства милліоновъ человѣческихъ существъ выработать „сверхъчеловѣка". Задача въ томъ, чтобы найти и осуществить такую форму общежитія, которая не налагала бы на личность цѣпей, которыя она сама признаетъ цѣпями. Повторяю: можетъ быть, эта задача неосуществима даже на протяженіи тѣхъ сотенъ тысячъ или милліо-

новъ лѣтъ, которыя еще остается жить человѣчеству, но отказаться отъ нея нельзя, нельзя, по крайней мѣрѣ, не участвовать въ ея разрѣшеніи активно или пассивно.

Логическій, если не фактическій, источникъ философіи Ничше побудилъ его принять въ этой борьбѣ сторону личности, при томъ съ намекомъ на возможность безнадежной борьбы, на трагическій исходъ ея. Такой именно смыслъ имѣютъ многія страницы еще Geburt der Tragödie. И позже Ничше выражалъ согласіе „погибнуть на великомъ невозможномъ", лишь бы душа вся жила, всею роскошью своихъ силъ и способностей, всею доступною человѣку полнотой жизни. Главнаго и, пожалуй, единственнаго, хотя и многообразнаго въ своихъ развѣтвленіяхъ, врага этой полноты жизни Ничше видѣлъ въ узахъ, налагаемыхъ на личность обществомъ, по крайней мѣрѣ, существующими общественными формами, равно какъ и тѣми идеальными формами, которыя рисуются умамъ соціалистовъ и коммунистовъ. Тѣ высшія, метафизическія фикціи, на которыя, по мнѣнію г. Шестова, были направлены единственно стоющіе вниманія удары Ничше, — въ совершенно вѣрной мысли самого Ничше суть продукты главнымъ образомъ все тѣхъ же общественныхъ узъ. Этотъ-то индивидуализмъ, эти то странные выпады въ защиту верховенства личности, не признающей надъ собой никого и ничего, никакой власти, ни земной, ни небесной, и притянули къ Ничше анархистовъ Но какъ уже сказано, онъ сурово оттолкнулъ ихъ, обозвалъ „собаками" и „тарантулами". Дальнѣйше теченіе мысли привело его къ предоставленію полноты жизни не всѣмъ и каждому, а лишь избраннымъ, „господамъ" „сверхъ-человѣкамъ" или кандидатамъ въ сверхъ-человѣки, а всѣ остальные должны довольствоваться ролью „удобренія". Эта была измѣна индивидуализму, такъ какъ личность приносилась въ жертву „совокупности жизни", нѣкоторому высшему цѣлому, въ дѣйствительности принявшему форму аристократическаго общества. Кто же рѣшитъ, кому быть на верху, кому въ низу въ этомъ идеальномъ общественномъ строѣ? Рѣшитъ судьба или естественный ходъ вещей. Надо лишь не только не препятствовать свободному теченію дѣлъ, а и помогать ему. А для этого прежде всего надо покончить съ состраданіемъ и съ такъ называемыми альтруистическими чувствами вообще.

Въ книгѣ г. Шестова находимъ слѣдующій любопытный комментарій къ этимъ идеямъ Ничше: „Если сама природа такъ мало заботится о томъ, чтобы охранить отъ гибели и крушенія свои тво-

ренія, если смерть, разрушеніе, уничтоженіе оказываются безразличными явленіями въ массѣ другихъ безразличныхъ явленій, если — болѣе того — сама природа пользуется для своихъ цѣлей убійствомъ и разрушеніемъ, то что даетъ намъ право возводить въ законъ „добро“, т. е. отрицаніе насилія? Громъ убиваетъ человѣка, болѣзни измучиваютъ его, другія животныя отнимаютъ у него пищу, — все это естественно, все это въ порядкѣ вещей, все это законъ природы. И какъ неумолима, какъ безпощадна эта природа, Ничше, къ сожалѣнію, слишкомъ хорошо зналъ изъ своего опыта. Въ то время, какъ онъ, обезсиленный, опозоренный, разбитый, съ безумнымъ ужасомъ глядѣлъ въ свое неизвѣстное будущее, ни одинъ добрый геній, ни одинъ голосъ во всей вселеннной не отозвался на его несчастье. И вдругъ мы рѣшаемся называть такъ систематически практикуемую природой жестокость противоестественной незаконной, коль скоро она получаетъ свое проявленіе въ дѣйствіяхъ человѣка. Грому можно убивать, а человѣку — нельзя. Засухѣ можно обрекать на голодъ огромный край, а человѣка мы называемъ безбожнымъ, если онъ не подаетъ хлѣба голодному! Должно ли быть такое противорѣчіе? Не является ли оно доказательствомъ, что мы, поклоняясь противному природѣ закону, идемъ по ложному пути, и что въ этомъ тайна безсилія „добра“, что добродѣтелямъ такъ и полагается ходить въ лохмотьяхъ, ибо онѣ служатъ жалкому и безполезному дѣлу“ (190—191).

Здѣсь мы подходимъ къ ученію о „добрѣ“ гр. Толстого, какъ его понимаетъ г. Шестовъ. Объ этомъ въ другой разъ. По поводу же приведенныхъ словъ г. Шестова замѣчу здѣсь одно: неправда, что „ни одинъ добрый геній, ни одинъ голосъ во всей вселеннной не отозвался на несчастье“ Ничше. Это звучитъ трагически красиво, но это неправда...

X *).

Нѣсколько словъ по поводу двухъ писемъ. — Г. Шестовъ о гр. Л. Н. Толстомъ.—„Воскресеніе".

Нашему брату журналисту приходится получать много писемъ, касающихся той или при другой нашей статьи или всей литературной дѣятельности. Есть тутъ письма читателей-друзей и читателей-враговъ, порицающія и одобряющія, съ подписью и анонимныя, смѣшныя и трогательныя, дѣльныя и бездѣльныя, умныя и глупыя,— всякія. И *въ общемъ*, не малую отраду доставляютъ эти письма среди утомительной и иной разъ почти до непереносности тяжелой работы русскаго журналиста. Я подчеркиваю слова: *въ общемъ*, потому что письма далеко не всегда пріятны. Однако, очень ошибаются тѣ наивно-ядовитые авторы писемъ, которые думаютъ, что, написавъ непріятное посланіе, они уже тѣмъ самымъ достигли своей цѣли, то есть причинили дѣйствительно непріятность. Мы, старые журналисты—народъ обстрѣленный, и если, напримѣръ, меня не трогаютъ печатные укусы гг. Абрамова, Буренина, Филиппова и разныхъ еще другихъ, то что уже говорить объ какомъ-нибудь анонимномъ письмѣ! Я не говорю, разумѣется, о тѣхъ, содержащихъ въ себѣ непріятности письмахъ, въ которыхъ есть нѣчто и кромѣ непріятностей, въ которыхъ сквозитъ искреннее желаніе направить меня, заблуждающагося, на путь истины. Это часто бываетъ наивно, но такого рода письма, вмѣстѣ съ ободряющими и одобряющими письмами читателей-друзей, именно и вносятъ отраду въ тусклую жизнь русскаго журналиста. Они свидѣтельствуютъ, что ваши мысли и чувства такъ или иначе находятъ откликъ, что они волнуютъ не только васъ, что вы не Сизифъ, обреченный за свои грѣхи (за

*) Мартъ 1900 г.

свои ли?) на завѣдомо безплодную работу — а вѣдь эта послѣдняя скорбная мысль поневолѣ часто посѣщаетъ русскаго журналиста. И вотъ, когда какое нибудь письмо бередитъ это больное мѣсто, напоминаетъ вамъ, что ваша доля есть тяжелая и никчемная доля Сизифа,—это выходитъ уже не только непріятно, а глубоко оскорбительно...

Недавно, среди „голосовъ изъ читающей публики", мое вниманіе обратили на себя два письма: одно — пріятное и подписанное именемъ, мнѣ хорошо по наслышкѣ извѣстнымъ; другое—непріятное и подписанное: „вашъ бывшій почитатель и подписчикъ". Мнѣ хочется подѣлиться съ читателями нѣкоторыми мыслями по поводу этихъ двухъ писемъ.

Въ первомъ читаю: „Я—человѣкъ, девятнадцать лѣтъ тому назадъ оторванный отъ русской дѣйствительности. Первое время я думалъ, что разлука эта можетъ имѣть только одинъ смыслъ: жизнь осталась, какъ была, и лишь я волею судебъ удаленъ изъ нея, удаленъ, но не умеръ. Но вотъ лѣтъ черезъ пять, черезъ шесть и до меня начали доходить вѣсти печальныя для меня, смыслъ которыхъ былъ тотъ, что я (имя собирательное) умеръ, что мѣсто для меня только въ царствѣ тѣней. Скоро увидѣлъ я и живьемъ провозглашавшихъ это вѣстовщиковъ. Это были „вѣрные ученики"... Я то и дѣло слышалъ: не ты удаленъ изъ жизни, а жизнь ушла отъ тебя. Оказалось, что Сизифовъ камень россійскаго прогресса катили до сихъ поръ не такъ и не туда, какъ и куда слѣдовало. Только „мы", вылупившіеся вчера изъ яйца, немедленно смекнули, въ чемъ дѣло... А жизнь между тѣмъ замерла. Конечно, не совсѣмъ. Осталась маленькая струйка, и въ наше время никѣмъ не отрицавшаяся. Думали только мы, что не это главное. Теперь же полоскавшіеся въ этой струйкѣ пискари громогласно утверждали, что она—настоящая, большая рѣка, въ океанъ-море текущая, все же остальное признавалось утопизмомъ и чуть не реакціей. Вы своевременно уже отмѣтили нѣкоторый поворотъ или „бифуркацію". И голоса, доходившіе сюда отъ ученическихъ патріарховъ, стали звучать уже нѣсколько двусмысленно: нѣтъ—нѣтъ, да и прорвутся старыя, забытыя нотки. Иной разъ даже совсѣмъ хорошо у нихъ выходитъ, и жупелы разные воочію бѣлыми нитками пришиты. И вотъ теоретическій миражъ все болѣе разсѣивается... Представьте себѣ чувства человѣка, который готовъ былъ уже считать себя обитателемъ царства тѣней и вдругъ видитъ что живая жизнь опять поворачиваетъ къ

нему и несетъ ему навстрѣчу звуки родныхъ, звучавшихъ у него, какъ эхо, въ душѣ пѣсенъ. Одна изъ статей г. Струве въ глазахъ нашихъ, по моему, должна быть вѣщимъ, благимъ признакомъ... Она знаменуетъ рѣшительный поворотъ, вѣрнѣе, возвратъ къ 70-мъ годамъ... Конечно, самъ Струве мнѣ не важенъ. Дѣло въ цѣломъ теченіи. Вотъ ужъ по истинѣ: „rira bien, qui rira le dernier".

Мой уважаемый корреспондентъ предлагаетъ мнѣ обратить вниманіе читателей на упомянутую статью, при чемъ совѣтуетъ „не гладить" автора ея „противъ шерсти"... Зачѣмъ противъ шерсти! Не знаю, удастся ли мнѣ въ скоромъ времени бесѣдовать о литературныхъ явленіяхъ, къ числу которыхъ принадлежитъ упомянутая статья, равно какъ и нѣкоторыя другія работы г. Струве. Теперь я могу сказать на эту тему лишь нѣсколько словъ.

Г. Струве, между прочимъ, пишетъ: „Одно время въ нашей печати безраздѣльно господствовала чисто генетическая точка зрѣнія на общественныя и въ томъ числѣ на нравственныя явленія, разсматривающая ихъ исключительно подъ угломъ необходимости или причиной обусловленности. Въ 70-хъ годахъ г. Михайловскій явился своеобразнымъ выразителемъ реакціи противъ такого крайняго позитивизма. Эта реакція, въ научно-философскомъ отношеніи обставленная очень слабо, тѣмъ не менѣе заключала въ себѣ здоровое идеалистическое зерно, не замѣченное или, по крайней мѣрѣ, не отмѣченное позднѣйшею критикой. Этическая проблема о должномъ не тождественна съ генетической проблемой о существующемъ и необходимомъ, и потому первая не рѣшается вмѣстѣ со второй. Изъ того, что что-нибудь существуетъ или необходимо должно наступить, не слѣдуетъ, что оно должно быть, т. е. что оно является нравственно необходимымъ для моего моральнаго сознанія. Выражаясь кратко: историческая необходимость не создаетъ никакого нравственнаго права. Несовпаденіе этической и генетической точки зрѣнія, ихъ взаимная самостоятельность безусловно требуютъ того, чтобы общественныя проблемы выяснялись не только какъ генетическія, но и какъ этическія... Важно сознавать въ себѣ и сознательно питать живой субъективный источникъ этическаго идеализма— нравственно общественный идеалъ самоопредѣляющейся личности. Всѣ общественныя проблемы—повторяю—суть въ то же время этическія проблемы личности, и научное (генетическое) рѣшеніе общественныхъ проблемъ относится къ ихъ этическому рѣшенію, какъ средство къ цѣли. Первенство же цѣли надъ средствомъ неоспоримо".

Позволяю себѣ отмѣтить нѣсколько неясностей и неточностей въ этой любопытной цитатѣ. Я не знаю такого времени, когда въ нашей печати „безраздѣльно господствовала чисто генетическая точка зрѣнія на общественныя и въ томъ числѣ на нравственныя явленія, разсматривающая ихъ исключительно подъ угломъ необходимости при причинной обусловленности“. Рѣшаюсь даже утвердить, что такого времени не было. Г. Струве дѣлаетъ мнѣ великую честь, приписывая мнѣ починъ реакціи противъ такого крайняго позитивизма, но, къ несчастію для моего самолюбія и къ счастію для русской литературы и русскаго общества, у меня были и есть длинный рядъ единомышленниковъ въ прошедшемъ и въ настоящемъ, и безраздѣльно исключительно генетическая точка зрѣнія не господствовала даже тогда, когда ее отстаивали гг. Струве, Туганъ-Барановскій и проч. Единственно, что я могу безъ ложной скромности принять въ комплиментѣ г-на Струве, это нѣкоторое „своебразіе“, прибавивъ къ нему, пожалуй, упорство, съ которымъ я ограждалъ въ теченіе многихъ и многихъ лѣтъ свою точку зрѣнія отъ наскоковъ разныхъ противниковъ, которые, однако, повторяю, никогда безраздѣльно не господствовали.

Далѣе, г. Струве говоритъ, что заключающееся въ моихъ писаніяхъ „здоровое идеалистическое зерно“ было „не замѣчено или, по крайней мѣрѣ, не отмѣчено позднѣйшей критикой“. Это не вѣрно. Позднѣйшая критика, въ лицѣ самого г. Струве и многихъ другихъ, очень замѣтила это зерно и не разъ отмѣчала его — рѣзкимъ отрицательнымъ знакомъ. И не только потому, что, какъ теперь говоритъ г. Струве, „зерно было у меня въ научно-философскомъ отношеніи обставлено очень слабо“. Напротивъ, въ этомъ смыслѣ мнѣ случалось слышать большія любезности. Но, дескать, самое то дѣло безнадежно: субъективная этическая точка зрѣнія на общественныя явленія есть незащитимый вздоръ, и слѣдуетъ къ ней относиться единственно „подъ угломъ необходимости или причинной обусловленности“; личность есть quantité négligeable и т. п. И не разъ во время этой полемики мнѣ вспоминалась проклятая доля Сизифа. (Кстати. По поводу моихъ литературныхъ воспоминаній „Сѣверный Курьеръ“ недавно говорилъ о томъ времени, когда Лавровъ и Зиберъ начали у насъ проповѣдь марксизма. Относительно Лаврова это одна изъ многочисленныхъ прискорбныхъ ошибокъ почтенной газеты: стоитъ только вспомнить издѣвательство нашихъ марксистовъ, въ особенности г. Тугана-Барановскаго, надъ

теоріей „критически мыслящей личности“). Теперь я могъ бы повторить приводимую моимъ корреспондентомъ французскую поговорку: rira bien. qui rira le dernier. Но я не хочу смѣяться, не хочу и колоть г. Струве глаза его бывшими литературными грѣхами. Напротивъ, я высоко цѣню мужество, съ которымъ онъ публично отъ нихъ отрекается, и съ нетерпѣніемъ жду, чтобы онъ „въ научно-философскомъ отношеніи“ удовлетворительно „обставилъ“ то, что я три десятка лѣтъ тому назадъ обставилъ слабо...

Перехожу ко второму письму. Какъ уже сказано, оно подписано „вашъ бывшій почитатель и подписчикъ“... Подписчиковъ у меня нѣтъ (подписчики у журнала, а не у меня), а почитатель... едва-ли авторъ письма имѣетъ основаніе такъ называть себя, даже если производить это слово не отъ почтенія, а нѣсколько каламбурно — отъ почитыванія. Онъ пишетъ: „Съ чувствомъ глубокаго негодованія прочелъ я на дняхъ въ „Новомъ Времени“ о тѣхъ недостойныхъ выходкахъ, которыя вы дозволили себѣ относительно Л. Н. Толстого въ своихъ „Литературныхъ воспоминаніяхъ“. Какъ это у васъ, м. г., поднялась рука не только на этого великаго учителя земли русской, на это яркое солнце нашего отечества,—но и на *самого себя?!* Ибо вы съ нескрываемымъ цинизмомъ описываете исторію своего посѣщенія Л. Н. Толстого—съ цѣлью выпросить у него какую-то повѣсть для „Отечественныхъ Записокъ“—и какъ онъ не пожелалъ дать вамъ эту повѣсть и вообще сотрудничать въ названномъ журналѣ. И вотъ, за этотъ-то—и только за этотъ!—отказъ вы накидываетесь на геніальнаго писателя, залѣзаете къ нему въ душу, въ его прошлое—въ его грѣшныя времена—и навязываете ему измышленныя *вами*, м. г., декораціи“... И т. д.

Нѣтъ, авторъ этого письма никогда не почиталъ меня и развѣ—развѣ что почитывалъ. Столь возмутившая его статья перепечатана въ книгѣ „Литературныя воспоминанія и современная смута“ изъ „Русской Мысли“, гдѣ она была напечатана въ 1892 году. Авторъ письма узнаѐтъ объ ней черезъ восемь лѣтъ и узнаѐтъ не непосредственно изъ книги, а изъ какой-то рецензіи или замѣтки „Новаго Времени“... Мнѣ кажется, ему такъ и слѣдовало-бы подписаться: „почитатель Новаго Времени“. Этимъ бы мотивировалось и его безусловное довѣріе къ этой газетѣ (я, впрочемъ, не читаю ея и не знаю—вѣрно-ли передаетъ авторъ письма содержаніе рецензіи или замѣтки, о которой идетъ рѣчь). Письмо оскорбительно, но не тѣмъ, что авторъ „негодуетъ“, „презираетъ“ и ругательныя слова пишетъ. Ахъ, ка-

кое мнѣ дѣло до негодованія, презрѣнія и ругани человѣка, о которомъ я не знаю, въ какой мѣрѣ самъ онъ достоинъ уваженія или хвалы! Оскорбительно то, что человѣкъ, называющій себя моимъ почитателемъ, хотя бы и бывшимъ, могъ хоть на одну минуту повѣрить, что я, за отказъ въ сотрудничествѣ —*„и только за этотъ отказъ“*—способенъ „накидываться“, „залѣзать въ душу“ и т. п. Вотъ она проклятая Сизифова доля русскаго журналиста. Чуть не полвѣка работы не гарантируетъ васъ отъ совершенно безсмысленной клеветы. И поднесутъ вамъ этотъ вздоръ съ „негодованіемъ“, съ „презрѣніемъ“, а въ сущности съ совершенно легкимъ сердцемъ, не потрудившись даже провѣрить фактъ. Впрочемъ, изъ того обстоятельства, что „писатель пописываетъ“, а читатель не всегда даже и почитываетъ, проистекаютъ еще и гораздо горшія послѣдствія, не личнаго, а общественнаго характера...

Двадцать пять лѣтъ тому назадъ я писалъ о „десницѣ и шуйцѣ гр. Л. Толстого“ и съ тѣхъ поръ не разъ имѣлъ случай подтвердить на новыхъ произведеніяхъ великаго писателя свой взглядъ на него. Никому не уступлю я въ глубокомъ уваженіи къ его десницѣ, но у него есть и шуйца, преклоненіе передъ которой, даже умолчаніе о которой я считалъ бы недостойнымъ какъ его самого, такъ и меня холопствомъ.

Въ „Воскресеніи“ есть такое разсужденіе: „Одно изъ самыхъ обычныхъ и распространенныхъ суевѣрій то, что каждый человѣкъ имѣетъ одни свои опредѣленныя свойства, что бываетъ человѣкъ добрый, злой, умный, глупый, энергичный, апатичный и т. д. Люди не бываютъ такими. Мы можемъ сказать про человѣка, что онъ чаще бываетъ добръ, чѣмъ золъ, чаще уменъ, чѣмъ глупъ, чаще энергиченъ, чѣмъ апатиченъ, и наоборотъ; но будетъ неправда, если мы скажемъ про одного человѣка, что онъ всегда добрый или умный, а про другого, что онъ всегда злой или глупый... Каждый человѣкъ носитъ въ себѣ всѣ задатки всѣхъ свойствъ людскихъ, и иногда проявляетъ одни, иногда другія, и бываетъ часто совсѣмъ не похожъ на себя, оставаясь все однимъ и самимъ собой. У нѣкоторыхъ людей эти перемѣны бываютъ особенно рѣзки. И къ такимъ людямъ принадлежалъ Нехлюдовъ“.

И къ такимъ людямъ принадлежитъ гр. Толстой. Не то, что-бы онъ бывалъ то уменъ, то глупъ, то добръ, то золъ,—это слишкомъ

грубое дѣленіе, не говоря о грубости словъ,—но его настроеніе и связанные съ нимъ взгляды на все, что на бѣломъ свѣтѣ дѣлается, мѣняются необыкновенно быстро. Въ книгѣ „Литературныя воспоминанія и современная смута“, такъ возмутившей моего корреспондента, приведены обильныя фактическія тому доказательства. Но въ этомъ вихрѣ смѣняющихся настроеній и взглядовъ Толстой остается всетаки Толстымъ: всѣ происходящія въ немъ быстрыя перемѣны представляютъ собою вращеніе около одной и той же оси, противоположные концы которой я пытался найти въ его десницѣ и шуйцѣ. Въ виду вышеприведеннаго нагляднаго свидѣтельства того, что у насъ даже „почитатели“ развѣ только почитываютъ, мнѣ слѣдовало бы, можетъ быть, во избѣжаніе недоразумѣній, съ подробностію выяснить, что я разумѣю подъ десницей и шуйцей Толстого. Но это скучно, и я предпочитаю привести краткое резюме, уже сдѣланное въ книгѣ „Литературныя воспоминанія и современная смута“.

„Въ общихъ чертахъ дѣло состоитъ въ томъ, что въ гр. Толстомъ сидятъ два разные человѣка, имѣющіе очень мало общаго между собою. Одинъ („десница“)—смѣлъ, рѣшителенъ, жаждетъ дѣятельности, не принимаетъ ничего на вѣру, и всякій фактъ, какъ бы онъ ни былъ освященъ преданіемъ или другимъ какимъ авторитетомъ, готовъ подвергнуть самому безпощадному допросу: не выдержалъ фактъ допроса разума и совѣсти, и гр. Толстой отметаетъ его, какъ никуда негодную ветошь, хотя бы за него горы горой стояли. Другой („шуйца“)—робокъ, боится отвѣтственности или, по крайней мѣрѣ, сильно не любитъ тѣхъ, кто рѣшается дѣйствовать на свой страхъ, видитъ въ фактахъ какую то таинственную и непреодолимую мощь и силу, которымъ нельзя и не слѣдуетъ противиться ни словомъ, ни дѣломъ, ни помышленіемъ“.

Къ этому надо прибавить еще исключительно богатую натуру гр. Толстого; богатую не только художественнымъ талантомъ. Переваливъ за семьдесятъ лѣтъ, онъ оказывается дѣятельнѣе, энергичнѣе, моложе многихъ двадцатипятилѣтнихъ. Онъ и землю пашетъ, и верхомъ ѣздитъ, и музицируетъ, и выпускаетъ одно за другимъ произведенія, такъ или иначе волнующія весь цивилизованный міръ. И эту разностороннюю энергію онъ обнаруживалъ всегда, таково стихійное требованіе его натуры. Это очень важно замѣтить. Г. Шестовъ полагаетъ, что гр. Толстой обратился къ „мужицкому труду“ послѣ того, какъ повидалъ московскую голытьбу, изображенную въ „Мы-

сляхъ, вызванныхъ переписью“ *). Это одна изъ многихъ хронологическихъ неточностей или неясностей г. Шестова. Гр. Толстой пахалъ землю еще въ концѣ пятидесятыхъ годовъ, безъ малаго лѣтъ за тридцать до „Мыслей, вызванныхъ переписью“ и, что особенно любопытно замѣтить, усиленно занимался въ то же время гимнастикой: его мускулы всегда требовали большой тяжелой работы, такъ сказать, жаждали напряженія. И точно такъ же его нервы и мозгъ. Отсюда и тѣ эксцессы молодости, которыхъ прахъ онъ отрясаетъ отъ ногъ своихъ въ „Исповѣди“; отсюда и гигантская умственная работа, какъ художественная, такъ и публицистическая, непрерывно продолжающаяся почти полвѣка и, можно сказать, до сего дня каждый разъ вызывающая всеобщее вниманіе (Отмѣтимъ кстати еще одну хронологическую неточность г. Шестова. Онъ называетъ „Мысли, вызванныя переписью въ Москвѣ“ „*первымъ* значительнымъ публицистическимъ произведеніемъ гр. Толстого“. Странная ошибка: первыя, въ высокой степени замѣчательныя и для всей дѣятельности Толстого чрезвычайно характерныя публицистическія статьи относятся къ 60-мъ годамъ).

Эта изумительная сила, эта необычайная жизнеспособность и разносторонняя полнота жизни внушаютъ гр. Толстому столь-же необычайную самоувѣренность. Но, къ сожалѣнію, самоувѣренность эта переходитъ за предѣлы силъ гр. Толстого, какъ бы ни были онѣ огромны. Онъ слишкомъ „самъ“, слишкомъ полонъ собой, и потому не терпитъ предшественниковъ, собственноручно то и дѣло открывая или давно открытыя, или несуществующія Америки, всѣхъ и все властно мѣряетъ на свой личный аршинъ и рѣшаетъ вопросы міровой важности исключительно для своего личнаго обихода; его огромное *я* слишкомъ заслоняетъ для него собою весь бѣлый свѣтъ. Это, повидимому, противорѣчитъ его столь часто и краснорѣчиво заявляемой имъ любви къ человѣчеству и характернымъ для него взрывамъ смиренія, самоуничиженія, покаянія. Однако это такъ. За фактическими доказательствами отсылаю читателя опять таки къ первому тому книги „Литературныя воспоминанія и современная смута“ и здѣсь приведу лишь одинъ примѣръ.

Статья „О переписи въ Москвѣ“ оканчивается чрезвычайно энер-

---

*) Статья эта въ собраніи сочиненій гр. Толстого (т. XII) озаглавлена „Такъ что же намъ дѣлать?“ Ей предшествуетъ статья „О переписи въ Москвѣ“.

гичнымъ призывомъ. Выразивъ надежду, что переписчики своимъ любовнымъ отношеніемъ къ московской голытьбѣ „сдѣлаютъ то, что въ Москвѣ не будетъ ни одного раздѣтаго, ни одного голоднаго, ни одного проданнаго за деньги человѣческаго существа, ни одного несчастнаго, задавленнаго судьбой человѣка, который бы не зналъ, что у него есть братская помощь“,—гр. Толстой заключаетъ: „Пускай механики придумываютъ машину, какъ приподнять тяжесть, давящую насъ — это хорошее дѣло; но пока они не выдумали, давайте мы по-дурацки, по-мужицки, по крестьянски, по христіански наляжемъ народомъ, не поднимемъ-ли. Дружнѣй, братцы, разомъ!“ Статья эта написана въ 1882 г., гр. Толстому было 55 лѣтъ. А между тѣмъ, съ какою до наивности юношеской отвагой и энергіей берется онъ за дѣло! Ему говорятъ о непреодолимой трудности предпріятія,—онъ не хочетъ слышать этихъ предупреждающихъ голосовъ. Онъ знаетъ, что „въ большихъ городахъ и въ Лондонѣ есть пролетаріатъ“, но онъ предлагаетъ: „забудемте про это... и не будемте говорить, что это такъ надо; этого не надо и не должно, потому что это противно и нашему разуму, и сердцу; и не можетъ быть, если мы живые люди“. Такова по существу всегда (къ счастію, не всегда она такъ наивна) десница гр. Толстого: чьи бы то ни были совѣты, какіе бы то ни были авторитеты, какой бы то ни былъ историческій опытъ,—все блѣднѣетъ передъ судомъ его разума и сердца; на все дерзаетъ онъ, имѣя при этомъ двусмысленно смиренный видъ; *двусмысленно* смиренный, потому что прислушайтесь къ этому призыву: „по дурацки, по мужицки, по христіански“,—развѣ это, въ самомъ дѣлѣ, похоже на смиреніе? Но вотъ, затѣя не удалась, гр. Толстой видѣлъ много ужасовъ въ московскихъ ночлежныхъ домахъ и трущобахъ и убѣдился, что эти ужасы не такъ то легко прикончить „по дурацки“. Но, ужаснувшись, онъ очень быстро нашелъ новый способъ покончить съ нищетой, людскимъ униженіемъ и горемъ. Рѣшивъ, что „такъ жить нельзя“, то есть жить въ оправѣ изъ ляпинскихъ нищихъ, голодныхъ, пропащихъ пьяницъ, проститутокъ,—гр. Толстой уѣхалъ въ деревню и, по его собственнымъ словамъ, „*для себя* разрѣшилъ страшный вопросъ, стоящій передъ *всѣмъ міромъ*“. Онъ сталъ работать мужицкую работу, не покидая и умственной дѣятельности, и въ этой полнотѣ жизни, въ этомъ удовлетвореніи всегдашнихъ алканій своихъ мускуловъ и мозга нашелъ и спокойную совѣсть, взбудораженную было зрѣлищемъ московскихъ трущобъ, нравственное удовлетво-

реніе вообще, съ придачей физическаго здоровья. Онъ самъ разсказалъ намъ о *своемъ* великомъ счастьи. Правда, онъ прибавляетъ, что его примѣру „очень скоро“ послѣдуютъ многіе, очень многіе, наконецъ, всѣ, и такимъ образомъ всѣ будутъ такъ же счастливы, какъ и онъ... Вы видите, что это та же самоувѣренность, съ которою онъ приглашалъ людей приняться за дѣло „по дурацки“.

Въ книгѣ г. Шестова читатель найдетъ много любопытныхъ указаній въ этомъ направленіи, именно по поводу душевныхъ движеній у гр. Толстого, вызванныхъ московской переписью. Приведя слова гр. Толстого: „я былъ вознагражденъ вполнѣ за то, что не заробѣлъ передъ выводами разума и пошелъ туда, куда они вели меня“,—приведя эти слова, г. Шестовъ спрашиваетъ: „Въ чемъ-же оказалась награда? Въ томъ, что ляпинскіе жители стали иными, что ихъ судьба стала менѣе ужасной? Нѣтъ, само собою разумѣется, ляпинцы забыты: лучше сталъ самъ гр. Толстой“. И далѣе: „Оказывается, что не только не „нельзя жить“ намъ въ виду ляпинской нужды, но можно жить отлично—радостно, весело, бодро, совсѣмъ такъ, какъ въ свое время жилъ Левинъ или Пьеръ Безухій послѣ женитьбы“. Все это и многое другое въ этомъ родѣ очень вѣрно, но г. Шестовъ упускаетъ изъ виду, что обращеніе къ мужицкому труду послѣ московской переписи не свидѣтельствуетъ о какомъ-нибудь очень крутомъ переворотѣ въ гр. Толстомъ: его мускулы всегда и прежде стихійно требовали работы, которую и получали то въ видѣ гимнастическихъ упражненій, то въ видѣ мужицкаго же труда. Мѣнялись только, смотря по обстоятельствамъ, тѣ теоретическіе взгляды, которые освѣщали это алканіе мускуловъ для самого гр. Толстого. И эти перемѣны сводятся въ общемъ къ усиленію дѣятельности то десницы, то шуйцы графа, хотя обѣ онѣ дѣйствуютъ, по крайней мѣрѣ иногда, и единовременно.

Въ книгѣ г. Шестова есть одно въ высшей степени интересное указаніе. Интересно не только указаніе на фактъ, но и его истолкованіе г. Шестовымъ. Дѣло идетъ о Сонѣ въ „Войнѣ и мирѣ“. Вы помните эту хорошенькую, неглупую, добродѣтельную, самоотверженную и, однако, жестоко обдѣленную судьбой дѣвушку; помните ея трогательную дѣтскую любовь къ Николаю Ростову, который впослѣдствіи дрался изъ-за нея съ Долоховымъ, ея самоотверженный отказъ отъ брака съ Николаемъ и, наконецъ, ея блѣдную, тусклую роль приживалки въ семьѣ Ростовыхъ и Безухихъ

въ концѣ романа. Г. Шестовъ приводитъ слѣдующій разговоръ Наташи и графини Марьи:

„—Знаешь что, —сказала Наташа, - вѣдь ты такъ много читала евангеліе: тамъ есть одно мѣсто прямо о Сонѣ.

„—Что?—съ удивленіемъ спросила графиня Марья.

„—Имущему дастся, а у неимущаго отнимется, помнишь? Она—неимущій: за что? не знаю; въ ней нѣтъ, можетъ быть, эгоизма,—я не знаю, но у нея отнимается и все отнялось. Мнѣ ее ужасно жалко иногда; я ужасно желала прежде, чтобы Nicolas женился на ней; но я какъ-то всегда какъ-бы предчувствовала, что этого не будетъ. Она *пустоцвѣтъ* (курсивъ гр. Толстого), какъ на клубникѣ".

Г. Шестовъ замѣчаетъ по этому поводу: „Соня пустоцвѣтъ; ей ставится въ вину отсутствіе эгоизма, не смотря на то, что она вся преданность, вся самоотверженіе. Эти качества, въ глазахъ гр. Толстого, не качества, ради нихъ не стоитъ жить; кто только ими обладаетъ, тотъ лишь похожъ на человѣка, но не человѣкъ... Кто, соблазнившись ученіемъ о долгѣ и добродѣтели, проглядитъ жизнь, не отстоитъ во время своихъ правъ, тотъ пустоцвѣтъ". Таковъ выводъ, сдѣланный гр. Толстымъ изъ того опыта, который былъ у него въ эпоху созиданія „Войны и мира". Въ этомъ произведеніи, въ которомъ авторъ подводитъ итогъ своей 40-лѣтней жизни, добродѣтель an sich, чистое служеніе долгу, покорность судьбѣ, неумѣнье постоять за себя—прямо вмѣняются въ вину человѣку".

Повторяю, указаніе интересно, но не слишкомъ ли обширенъ выводъ изъ указаннаго факта? Видя въ подчеркнутомъ названіи „пустоцвѣтъ" и во всей печальной судьбѣ Сони отрицательное отношеніе къ ней автора, г. Шестовъ находитъ въ „Войнѣ и мирѣ" еще только одно лицо, къ которому г. Толстой относится явно отрицательно: это—Наполеонъ. Внѣ этихъ двухъ исключеній, „всякій, кто жилъ, какъ бы онъ ни жилъ, даже безнравственно, пошло, грубо, не вызывалъ негодованія гр. Толстого". Къ однимъ онъ относился съ добродушной и веселой насмѣшкой, къ другимъ (даже къ „злодѣю Долохову") съ уваженіемъ и т. д. „*Спорить* нужно только съ Наполеонами, желающими отнять у насъ человѣческое достоинство, да съ Сонями, такъ неудачно втирающимися своими безрезультатными добродѣтелями въ богатую и полную жизнь". Я подчернулъ слово „спорить", потому что споритъ ли Толстой съ Соней, по крайней мѣрѣ, такъ, какъ онъ споритъ съ Наполеономъ? Относительно Сони

онъ просто констатируетъ фактъ, который, мимоходомъ сказать, г. Шестовъ совершенно напрасно противопоставляетъ факту благополучія графини Марьи: въ дѣвушкахъ послѣдняя претерпѣваетъ даже гораздо болѣе ярко унизительныя положенія изъ за „добродѣтели an sich, чистаго служенія долгу, покорности судьбѣ, неумѣнья постоять за себя“, и это не помѣшало ей кончить благополучіемъ. Въ Сонѣ же, какъ говоритъ гр. Толстой, „было все, за что цѣнятъ людей, но было мало того, что могло бы заставить Ростова любить ее“. Съ чѣмъ же тутъ „спорить“? Другое дѣло Наполеонъ. Но онъ далеко не единственное лицо, къ которому авторъ относится явно враждебно. Оставимъ въ сторонѣ семью Курагиныхъ (хитраго и неразборчиваго въ средствахъ князя Василія, распутную, глупую и жестокую красавицу Эленъ, такого же распутнаго красавца Анатоля, идіота Ипполита), жестокаго и грубаго Аракчеева, злобную Вѣру Ростову и т. п. дѣйствующихъ лицъ, которыхъ авторъ то и дѣло ставитъ въ унизительно смѣшныя или позорныя положенія. Остановимся только на Сперанскомъ, Растопчинѣ, Милорадовичѣ, Толѣ и другихъ генералахъ—составителяхъ „диспозицій“. Все это—явно нелюбимые Толстымъ люди. И не любитъ онъ ихъ именно за то же самое, за что казнитъ Наполеона, хотя они и не такъ замѣтны на міровой сценѣ. Вотъ что онъ говоритъ въ одномъ мѣстѣ объ этихъ сравнительно маленькихъ людяхъ: „Люди эти, увлекаемые своими страстями, были слѣпыми исполнителями только самаго печальнаго *закона необходимости*; но они считали себя героями и воображали, что то, что они дѣлали, было самое достойное и благородное дѣло“. Переходя затѣмъ къ нареканіямъ на Кутузова, гр. Толстой пишетъ: „Такова судьба не великихъ людей, не grand-homme, которыхъ не признаетъ русскій умъ, а судьба тѣхъ рѣдкихъ, всегда одинокихъ людей, которые, постигая *волю Провидѣнія*, подчиняютъ ей свою личную волю... Для русскихъ историковъ—странно и страшно сказать—Наполеонъ, это ничтожнѣйшее *орудіе исторіи*... есть предметъ восхищенія и восторга, онъ grand. Кутузовъ же, тотъ человѣкъ, который... являетъ необычайный въ исторіи примѣръ самоотверженія и сознанія въ настоящемъ будущаго значенія событія, Кутузовъ представляется имъ чѣмъ то неопредѣленнымъ и жалкимъ... А между тѣмъ трудно представить себѣ историческое лицо, дѣятельность котораго такъ неизмѣнно постоянно была бы направлена къ одной и той же цѣли. Трудно вообразить себѣ цѣль болѣе достойную и болѣе совпадающую съ *волею всего народа*“.

Обращаю вниманіе читателей на подчеркнутыя мною слова: „законъ необходимости“, „воля Провидѣнія“, „орудіе исторіи“, „воля всего народа“. Это все разныя названія для одной и той же высшей инстанціи, въ которую гр. Толстой апеллируетъ всякій разъ, какъ получаетъ преобладаніе его шуйца,—въ противоположность суду собственнаго разума и сердца во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда преобладаетъ десница. Не слѣдуетъ, однако, думать, чтобы графъ Толстой не только на всемъ протяженіи своей дѣятельности, но и въ каждый данный моментъ былъ свободенъ отъ противорѣчій, то есть выдвигалъ только свою шуйцу или десницу. Въ общемъ „Война и миръ“ написана шуйцей (и это очень радуетъ г. Шестова), но даже въ незаслоненномъ великолѣпными художественными образами и картинами философско-историческимъ послѣсловіи къ этому перлу русской литературы есть мѣста отъ десницы. Напримѣръ: „Благо тому народу, который въ минуту испытанія, не спрашивая о томъ, какъ по правиламъ поступали другіе въ подобныхъ случаяхъ, съ простотою и легкостью поднимаетъ первую попавшуюся дубину и гвоздитъ ею до тѣхъ поръ, пока въ душѣ его чувство оскорбленія и мести не замѣнится презрѣніемъ и жалостью“. Чтобы оцѣнить все значеніе этихъ строкъ, надо припомнить сказку гр. Толстого „Объ Иванѣ дуракѣ и его двухъ братьяхъ“. Тамъ подданные Ивана дурака заслуживаютъ благоволеніе автора тѣмъ, что встрѣчаютъ солдатъ тараканскаго царя не дубиной, а, напротивъ, тѣмъ, что предоставляютъ имъ грабить и убивать себя—и „благо“ имъ, потому что въ концѣ концовъ тараканскимъ солдатамъ „гнусно стало“, и они „не пошли дальше, и все войско разбѣжалось“. Покорись теченію обстоятельствъ, судьбѣ, волѣ Провидѣнія, закону необходимости,—и какъ бы еще ни переодѣвалась эта высшая инстанція—и благо тебѣ будетъ:—таково требованіе шуйцы гр. Толстого. Не покоряйся ничему, кромѣ голоса своего разума и сердца,—пишетъ, напротивъ, его десница. Но въ обоихъ случаяхъ онъ остается все тѣмъ же властнымъ и самоувѣреннымъ гр. Толстымъ.

Еще одно любопытное замѣчаніе г. Шестова, касающееся эпиграфа къ „Аннѣ Карениной“: „Мнѣ отмщеніе и Азъ воздамъ“. „Мы привыкли—говоритъ г. Шестовъ—истолковывать (его эпиграфъ) въ томъ смыслѣ, что окончательный судъ надъ людьми можетъ и долженъ быть произнесенъ не человѣкомъ, и что удача или неудача нашей земной жизни не служитъ доказательствомъ правоты или неправоты нашей. Но въ „Аннѣ Карениной“ чувствуется совершенно

иное пониманіе евангельскаго текста. *Уже* въ этомъ романѣ гр. Толстой не только изображаетъ человѣческую жизнь, но судитъ людей. И судитъ не такъ, какъ долженъ судить безпристрастный, спокойный судья, не вѣдающій жалости но не знающій и гнѣва, а какъ человѣкъ, глубоко и страстно заинтересованный въ исходѣ разбираемаго имъ процесса. Каждая строчка этого замѣчательнаго произведенія направлена противъ невѣдомаго, но опредѣленнаго врага или въ защиту невѣдомаго же, но вполнѣ опредѣленнаго союзника".

„*Уже* въ этомъ романѣ"... Но когда же гр. Толстой творилъ иначе? Припомните старыя произведенія, хоть, напримѣръ, „Люцернъ" или „Казаки", или „Два гусара". Вездѣ онъ тотъ же властный художникъ, которому принадлежитъ „отмщеніе", который „воздаетъ". Таковъ, я думаю, всякій художникъ, ибо всякому художнику дана страшная власть въ мѣру его силъ вязать и рѣшить, казнить и миловать свои созданія. Только одни слишкомъ уже подчеркиваютъ свои казни и милости, а другіе не пользуются данною имъ властью, ограничиваясь фотографіями. Гр. же Толстой никогда отъ своей власти не отказывался (разница была только въ степени страстности суда, да въ его объектахъ), хотя это и прикрывалось для посторонняго глаза художественнымъ мастерствомъ. Ну, а въ публицистическихъ статьяхъ или въ такихъ экскурсахъ, какъ философско-историческое послѣсловіе къ „Войнѣ и миру"... Здѣсь уже, разумѣется, съ окончательною ясностью выступаютъ его симпатіи и антипатіи, а вмѣстѣ съ тѣмъ и его полнота собою, его самоувѣренность. Особенно бросается въ глаза это послѣднее свойство, когда на гр. Толстого нападаетъ стихъ смиренія и покаянія. Въ каждомъ своемъ произведеніи онъ выступаетъ носителемъ полной и несомнѣнной истины; нужды нѣтъ, что истина эта замѣнится, можетъ быть, завтра-же другою, даже противоположною,—довлѣетъ дневи злоба его, завтра графъ всетаки окажется обладателемъ полной и несомнѣнной истины. И когда онъ, напримѣръ, въ одинъ прекрасный день „вмѣсто своего образованія призналъ свое невѣжество",—онъ тутъ же отнюдь не со смиреніемъ рѣшалъ весьма сложные и трудные вопросы, рѣшеніе которыхъ мало совмѣстимо съ „невѣжествомъ". Когда онъ въ „Войнѣ и мирѣ" приглашалъ всѣхъ смиренно признать себя равно необходимыми „орудіями исторіи", онъ жестоко казнилъ Наполеона, Растопчина и другихъ, имѣвшихъ дерзость считать себя не только орудіями, а и дѣятелями исторіи, хотя они, по его собственному мнѣнію, иначе и не могли исполнить свою роль орудія.

Но возвратимся къ „Аннѣ Карениной“, въ которой, по словамъ г. Шестова, „каждая строчка направлена противъ невидимаго, но опредѣленнаго врага или въ защиту невидимаго же, но тоже вполнѣ опредѣленнаго союзника“. Кто же этотъ врагъ и кто этотъ союзникъ? Союзникъ—„правило“. отвѣчаетъ г. Шестовъ, врагъ—нарушеніе правила. Анна, какъ самая крупная фигура изъ нарушителей правила терпитъ и самую ужасную казнь: гр. Толстой смертью „отмщаетъ“, „воздаетъ“ ей за нарушеніе правила супружеской вѣрности; онъ еще подчеркиваетъ непреложность этого правила тѣмъ, что сухой автоматъ Каренинъ не пара Аннѣ, и всетаки Анна должна понести казнь. Затѣмъ, чѣмъ мельче нарушители, тѣмъ меньше имъ и „воздается“. „Всѣ дѣйствующія лица „Анны Карениной“ раздѣляются на двѣ категоріи. Одни слѣдуютъ правилу, правиламъ и вмѣстѣ съ Левинымъ идутъ къ благу, къ спасенію; другіе слѣдуютъ своимъ желаніямъ, нарушаютъ правила и, по мѣрѣ смѣлости и рѣшительности своихъ дѣйствій, подпадаютъ болѣе или менѣе жестокому наказанію“.

Мнѣ кажется, это, — какъ и многое другое въ книгѣ г. Шестова,—слишкомъ прямолинейно и слишкомъ произвольно. Вспомнимъ хоть Долли, которая ужъ, кажется, никакихъ „правилъ“ не нарушаетъ, а терпитъ муку мученическую, въ то время, какъ ея мужъ съ чрезвычайнымъ весельемъ нарушаетъ ихъ на каждомъ шагу, никакой казни за это не получая. Да и въ чемъ состоятъ эти „правила“, за нарушеніе которыхъ гр. Толстой „отмщаетъ“ и „воздаетъ“? Въ числѣ казнимыхъ г. Шестовъ отмѣчаетъ Вронскаго, а между тѣмъ у этого центавра есть цѣлый кодексъ совершенно точно опредѣленныхъ „правилъ“, который (кодексъ) г. Шестовъ самъ цитируетъ: „Жизнь Вронскаго,—говоритъ гр. Толстой,—тѣмъ была особенно счастлива, что у него былъ сводъ правилъ, несомнѣнно опредѣляющихъ все, что должно и не должно дѣлать... Правила эти несомнѣнно опредѣляли, что нужно заплатить шулеру, а портному не нужно, что лгать не надо мужчинамъ, а женщинамъ можно, что обманывать нельзя никого, а мужа можно, что нельзя прощать оскорбленій, но оскорблять можно“. Изъ самой формулировки этихъ „правилъ“ видно, что гр. Толстой ихъ отнюдь не одобряетъ, напротивъ, за нихъ то и казнитъ Вронскаго; значитъ, есть правила, нарушеніе которыхъ даже желательно или обязательно съ точки зрѣнія гр. Толстого. Съ другой стороны, жить безъ всякихъ правилъ, слѣдуя только своимъ „желаніямъ“, немножко мудрено, по самому существу

дѣла. Напримѣръ, г. Шестовъ очень цѣнитъ изреченія Ничше: „что слабо, то нужно толкнуть“, „не желай быть врачемъ у безнадежно больного“. Но развѣ это не „правила“? И нуждаются въ этихъ правилахъ, очевидно, тѣ, кто *не желаетъ* толкать слабаго и желаетъ быть врачемъ у безнадежнаго больного, чтобы облегчить ему послѣднія минуты жизни. Изъ всего этого видно, что г. Шестовъ говоритъ не о правилахъ вообще, а только объ извѣстныхъ правилахъ, которыхъ, однако, ближайшимъ образомъ не опредѣляетъ.

Въ числѣ благополучныхъ дѣйствующихъ лицъ „Анны Карениной“, пользующихся явнымъ расположеніемъ Толстого и неповинныхъ въ нарушеніи правилъ, г. Шестовъ ставитъ на первомъ мѣстѣ Левина. Для характеристики же Левина онъ приводитъ слѣдующія слова гр. Толстого: „Прежде (это началось почти съ дѣтства и все росло до полной возмужалости), когда онъ (Левинъ) старался сдѣлать что нибудь такое, что сдѣлало бы *добро* для всѣхъ, для человѣчества, для Россіи, для всей деревни, онъ замѣчалъ, что мысли объ этомъ были пріятны, но самая дѣятельность всегда была нескладная и сходила на нѣтъ; теперь же, когда онъ, послѣ женитьбы, *сталъ болѣе и болѣе ограничиваться жизнью для себя*, онъ, хотя и не испытывалъ болѣе никакой радости при мысли о своей дѣятельности, чувствовалъ увѣренность, что она спорится гораздо лучше, чѣмъ прежде, и что она становится все больше и больше. Теперь онъ, точно *противъ воли*, все глубже и глубже, врѣзывался въ землю, какъ плугъ, такъ что ужъ и не могъ выбраться, не отвернувъ борозды“. И его жизнь „не только не безсмысленна, какъ была прежде, но имѣетъ *несомнѣнный смыслъ добра*“.

Какъ видите, это исторія, весьма похожая на ту, которую пережилъ самъ гр. Толстой во время московской переписи и послѣ нея: подобно Левину, онъ старался сдѣлать что нибудь такое, что было бы „добромъ“ для всѣхъ, но когда это вышло нескладно и сошло на нѣтъ, сталъ жить *для себя*, и это, какъ и съ Левинымъ было, имѣло „несомнѣнный смыслъ добра“. Но Левинъ живетъ всетаки не такъ, какъ живетъ гр. Толстой. Въ чемъ же состоитъ то „добро“, о которомъ такъ много говорятъ и гр. Толстой, и г. Шестовъ, въ самомъ заглавіи своей книги поставившій „добро въ ученіи гр. Толстого и Ничше“? Г. Шестовъ оперируетъ этимъ словомъ на всемъ протяженіи своей книги, но опредѣленіе „добра“ даетъ лишь въ концѣ ея (стр 190): „добро, т. е. отрицаніе насилія“. Очевидно, однако, что и это опредѣленіе не годится, оно слишкомъ узко для

уразумѣнія хотя бы того добра, которое гр. Толстой и Левинъ собирались дѣлать, и того, которое дѣлали или дѣлаютъ. Выходитъ что то очень смутное, и смутность эта находится, я думаю, въ прямой связи съ указаннымъ мною въ прошлый разъ недоразумѣніемъ, которое хорошо выражается переводомъ словъ „Jenseits von Gut und Böse“ словами: „по ту сторону добра и зла“. Поэтому повторяю: никогда Ничше не думалъ становиться по ту сторону добра и зла, онъ предлагалъ для познанія истиннаго добра и истиннаго зла стать по ту сторону доброты и злости; никогда не отрицалъ онъ „правила“ вообще, онъ предполагалъ упразднить старыя, ходячія правила и дать новыя.

На этомъ я кончу съ г. Шестовымъ и перейду къ „Воскресенію“.

Новый романъ гр. Толстого былъ по слухамъ извѣстенъ уже давно,—года, пожалуй, за два, если не больше, до его появленія: то есть извѣстно было, что гр. Толстой пишетъ романъ, извѣстна была и фабула романа, взятая, какъ говорили, изъ дѣйствительной жизни. Новое произведеніе графа ожидалось съ нетерпѣніемъ и тотчасъ по своемъ появленіи вызвало восторги критики. Нѣкоторые находили, что это геніальное, лучшее изъ произведеній Толстого. Къ сожалѣнію, это совсѣмъ не вѣрно; къ сожалѣнію,—потому что русская литература могла бы справедливо гордиться, если бы новый романъ гр. Толстого затмилъ собою „Казаковъ“, „Войну и миръ“ и проч. А это уже такъ повелось относительно знаменитаго автора: такъ и про „Смерть Ивана Ильича“ говорили. Въ „Воскресеніи“ есть истинно превосходныя страницы, въ большинствѣ случаевъ, впрочемъ, неимѣющія прямого отношенія къ ядру романа, но въ цѣломъ это, конечно, далеко не лучшая изъ работъ гр. Толстого. Я не буду останавливаться на красотахъ „Воскресенія“, не буду разсказывать и его содержаніе,—все это извѣстно моимъ читателямъ, конечно, давно уже познакомившимся съ романомъ. Я хочу лишь подѣлиться съ читателемъ нѣкоторыми мыслями, вызванными во мнѣ чтеніемъ новаго произведенія гр. Толстого.

Въ „Воскресеніи“ передъ нами проходитъ длинный рядъ представителей самыхъ разнообразныхъ слоевъ общества отъ министровъ и „начальниковъ края“ до мужиковъ и каторжниковъ, отъ свѣтскихъ дамъ до публичныхъ женщинъ, съ прибавкой заѣзжаго англичанина проповѣдника и англичанина же, путешествующаго по

Сибири. По замыслу романа вся эта огромная и пестрая масса дѣйствующихъ лицъ можетъ быть распредѣлена въ такой переспективѣ: на первомъ мѣстѣ князь Нехлюдовъ и Катя Маслова; затѣмъ члены суда, прокуроры, адвокаты, сенаторы и разные власть имущіе люди, такъ или иначе вліяющіе на судьбу Кати, а черезъ нее и на судьбу Нехлюдова; далѣе политическіе преступники, въ особенности Симонсонъ; еще далѣе разнообразная группа лицъ, съ которыми Нехлюдовъ и Катя сталкиваются, такъ сказать, въ одиночку, безъ непосредственнаго отношенія къ драмѣ, составляющей ядро романа; тутъ и уголовные преступники, и смотритель тюрьмы, и его дочь, и свѣтскія дамы, и конвойный офицеръ, и сестра Нехлюдова съ мужемъ и дѣтьми, и мужики, съ которыми Нехлюдовъ бесѣдуетъ о земельной собственности, и путешествующіе англичане. Всѣ эти разнообразные люди, начиная со второй категоріи, составляютъ, собственно говоря, фонъ, оттѣняющій положенія героя и героини романа. Исключеніе составляетъ Симонсонъ, но онъ является въ самомъ концѣ романа, какъ Deus ex machina, и какъ то уже слишкомъ наскоро сдѣланъ, скомканъ, какъ, впрочемъ, и весь конецъ романа. Кое кто изъ людей фона, благодаря безсознательному мастерству художника или сознательной тщательности отдѣлки, по временамъ выдвигается за предѣлы своей роли по замыслу романа, отвлекаетъ на минуту вниманіе читателя, но вслѣдъ за тѣмъ авторъ круто поворачиваетъ это вниманіе къ Нехлюдову и Катѣ.

Люди фона „Воскресенія“ очень разнообразны по своему общественному положенію, по своему образованію, уму, взглядамъ, характерамъ, личнымъ свойствамъ и т. д., но у всѣхъ у нихъ или, по крайней мѣрѣ, у огромнаго большинства ихъ есть одна общая черта: внутренній душевный миръ. Не то, чтобы они были сплошь счастливы и вседовольны; ихъ посѣщаетъ и скука, и большія и малыя неудачи, и злобныя чувства, но они всетаки живутъ безъ внутренняго разлада подъ сѣнію „правилъ“, въ которыхъ не сомнѣваются, которыя точно и опредѣленно указуютъ имъ путь жизни. Вотъ, напримѣръ, генералъ Кригсмутъ,—одна изъ лучшихъ фигуръ романа. Это „былъ увѣшанный орденами,—которые онъ не носилъ, за исключеніемъ бѣлаго креста въ петличкѣ,—заслуженный, но выжившій изъ ума, какъ говорили про него, старый генералъ изъ нѣмецкихъ бароновъ. Онъ служилъ на Кавказѣ, гдѣ онъ получилъ этотъ крестъ, потомъ—въ Польшѣ и еще гдѣ-то и теперь получилъ то, дававшее ему хорошее помѣщеніе, содержаніе и почетъ, мѣсто,

на которомъ находился въ настоящую минуту. Онъ строго исполнялъ предписанія высшаго начальства и особенно дорожилъ этимъ исполненіемъ. Приписывая этимъ предписаніямъ особенное значеніе, онъ считалъ, что все на свѣтѣ можно измѣнить, но только не эти предписанія".

Или вотъ графъ Чарскій, „отставной министръ и человѣкъ твердыхъ убѣжденій". „Убѣжденія графа Ивана Михайловича съ молодыхъ лѣтъ состояли въ томъ, что, какъ птицѣ свойственно питаться червяками, быть одѣтой перьями и пухомъ и летать по воздуху, такъ и ему свойственно питаться дорогими кушаньями, приготовленными дорогими поварами, быть одѣтымъ въ самую покойную и дорогую одежду и ѣздить на самыхъ покойныхъ и быстрыхъ лошадяхъ, и что, поэтому, это все должно быть для него готово. Кромѣ того, графъ Иванъ Михайловичъ считалъ, что чѣмъ больше у него будетъ полученія всякаго рода денегъ изъ казны, чѣмъ больше будетъ орденовъ, и чѣмъ чаще онъ будетъ видѣться и говорить съ высокопоставленными особами обоихъ половъ, тѣмъ будетъ лучше".

Эта черта непоколебимости „правилъ" свойственна далеко не однимъ столь высокопоставленнымъ лицамъ, какъ генералъ Кригсмутъ и графъ Чарскій, и гр. Толстой не всегда подчеркиваетъ ее иронически. Въ Симонсонѣ, напримѣръ, онъ очень высоко ее цѣнитъ, и вотъ на какомъ основаніи: „Всѣ люди живутъ и дѣйствуютъ отчасти по своимъ мыслямъ, отчасти по мыслямъ другихъ людей. Въ томъ, насколько люди живутъ по своимъ мыслямъ и насколько по мыслямъ другихъ людей, состоитъ одно изъ главныхъ различій людей между собою. Одни люди, въ большинствѣ случаевъ, пользуются своими мыслями, какъ умственной игрой, обращаются со своимъ разумомъ, какъ съ маховымъ колесомъ, съ котораго снятъ передаточный ремень, а въ поступкахъ своихъ подчиняются чужимъ мыслямъ—обычаю, преданію, закону; другіе же, считая свои мысли главными двигателями всей своей дѣятельности, почти всегда прислушиваются къ требованіямъ своего разума и подчиняются ему, только изрѣдка и то послѣ критической оцѣнки слѣдуя тому, что рѣшено другими. Такой человѣкъ былъ Симонсонъ. Онъ все повѣрялъ, рѣшалъ разумомъ, а что рѣшалъ, то и дѣлалъ".

Люди фона „Воскресенія" непоколебимы въ своихъ правилахъ и спокойны душой именно потому, что они живутъ „по мыслямъ другихъ людей", „подчиняются чужимъ мыслямъ—закону, обычаю, пре-

данію". Разъ усвоивъ себѣ изъ чужихъ рукъ извѣстныя правила, они уже надъ ними не задумываются и шествуютъ по пути жизни безъ колебаній, безъ сомнѣній, безъ упрековъ совѣсти, безъ оглядки. Въ общемъ они представляютъ собою очень сѣрый и плоскій фонъ для узоровъ душевной жизни Нехлюдова и Кати. Въ печати раздавались голоса, упрекавшіе гр. Толстого въ намѣренно неблагопріятномъ освѣщеніи суда присяжныхъ и опороченіи всего судейскаго персонала, слышались голоса и въ защиту графа: онъ, дескать, основалъ свой разсказъ на всегда возможной судебной ошибкѣ и ничего противъ суда присяжныхъ не имѣетъ. Я думаю, что обѣ стороны неправы. Что гр. Толстой имѣетъ нѣчто противъ всякаго суда, въ томъ числѣ и противъ суда присяжныхъ, это давно извѣстно, и изъ „Воскресенія" ясно, и демонстративно засвидѣтельствовано лично граф. Толстымъ отказомъ отъ обязанностей присяжнаго засѣдателя. Но въ опороченіи судебнаго персонала авторъ „Воскресенія" отнюдь не повиненъ. Такъ-ли бы онъ его опорочилъ, если бы захотѣлъ! Онъ только изображаетъ его съ сѣрой, будничной стороны со свойственными не однимъ судьямъ, прокурорамъ и сенаторамъ слабостями, лѣнцой, механическимъ отношеніемъ къ дѣлу и т. п. Все это составляетъ только часть того обширнаго и пестраго фона, на которомъ рисуется исторія Нехлюдова и Кати.

Не чужды подчиненія чужимъ мыслямъ и эти главные герои „Воскресенія", но они имѣютъ и свои мысли, и главный психологическій интересъ романа сводится къ происходящей въ нихъ борьбѣ чужихъ мыслей съ голосомъ ихъ собственнаго разума и сердца. Переворотъ, вызванный въ душѣ Нехлюдова случайной встрѣчей съ Катей на судѣ, гдѣ она является обвиняемой, а онъ—однимъ изъ рѣшающихъ ея судьбу; переворотъ, опредѣлившій собою всю его дальнѣйшую жизнь, совсѣмъ не такъ неожиданъ и крутъ, какъ можетъ показаться на первый взглядъ. Голосъ разума и сердца, подъ вліяніемъ котораго онъ совершаетъ рядъ, съ точки зрѣнія окружающей его среды, странныхъ, не то смѣшныхъ, не то глупыхъ или чудаческихъ поступковъ, былъ присущъ ему съ ранней молодости. Такъ, въ то лѣто, когда онъ впервые увидалъ Катю въ деревнѣ у тетушекъ, онъ „переживалъ то восторженное состояніе, когда въ первый разъ юноша *не по чужимъ указаніямъ, а самъ по себѣ познаетъ всю красоту и важность жизни и всю значительность дѣла, предоставленнаго въ ней человѣку*, видитъ возможность безконечнаго совершенствованія и своего, и всего міра и отдается этому со-

вершенствованію не только съ надеждой, но съ полной увѣренностью достиженія всего того совершенства, которое онъ воображаетъ себѣ. Въ этотъ годъ еще въ университетѣ онъ прочелъ „Соціальную Статику“ Спенсера, и разсужденія Спенсера о земельной собственности произвели на него сильное впечатлѣніе, въ особенности потому, что онъ самъ былъ сынъ крупной землевладѣлицы. Отецъ его былъ не богатъ, но мать получила въ приданое около 10 тысячъ десятинъ земли. Онъ въ первый разъ понялъ тогда всю несправедливость частнаго землевладѣнія и, будучи одинъ изъ тѣхъ людей, *для которыхъ жертва во имя нравственныхъ требованій составляетъ высшее духовное наслажденіе*, рѣшилъ не пользоваться правомъ собственности на землю и тогда же отдалъ доставшуюся ему по наслѣдству отъ отца землю крестьянамъ. Онъ на эту же тему и писалъ свое сочиненіе“.

Могу замѣтить, что въ этомъ случаѣ Нехлюдовъ поступилъ не „самъ по себѣ“, а „по чужимъ указаніямъ“, а именно по указаніямъ Спенсера. Но это будетъ неосновательное замѣчаніе. Безъ чужихъ мыслей прожить нельзя, дѣло только въ томъ,—провѣряетъ ли ихъ человѣкъ „самъ по себѣ“, мѣркою собственнаго разума и сердца, и готовъ ли онъ противопоставить принятое рѣшеніе враждебнымъ чужимъ мыслямъ. Авторъ разсказываетъ, какъ отнеслись окружающіе къ отдачѣ Нехлюдовымъ отцовскаго наслѣдства крестьянамъ; этотъ поступокъ привелъ его мать и родныхъ „въ ужасъ“ и „былъ постояннымъ предметомъ укора и насмѣшекъ надъ нимъ всѣхъ его родственниковъ“. Въ это же лѣто Нехлюдовъ полюбилъ Катю нѣжною, робкою, чистою любовью. Черезъ три года онъ опять пріѣхалъ въ деревню къ теткамъ, но уже совсѣмъ другимъ человѣкомъ. Онъ развратился... „Эта страшная перемѣна,—разсказываетъ авторъ,—произошла въ немъ отъ того, что онъ пересталъ вѣрить себѣ, а сталъ вѣрить другимъ. Пересталъ же онъ вѣрить себѣ, а сталъ вѣрить другимъ потому, что жить, вѣря себѣ, было слишкомъ трудно; вѣря себѣ, всякій вопросъ надо было рѣшать всегда не въ пользу своего животнаго *я*, ищущаго легкихъ радостей, а почти всегда противъ него; вѣря же другимъ, рѣшать нечего было, все уже было рѣшено и рѣшено было всегда противъ духовнаго и въ пользу животнаго *я*. Мало того, вѣря себѣ, онъ всегда подвергался осужденію людей,—вѣря другимъ, онъ получалъ одобреніе людей, окружающихъ его“.

Однако при второй встрѣчѣ съ Катей Нехлюдовъ не сразу далъ

волю этому новому въ себѣ человѣку. И еще при первомъ поцѣлуѣ, „ему стало на мгновеніе не только неловко и стыдно, но гадко на себя: ему бы надо было повѣрить себѣ, но онъ не понялъ, что эта неловкость и стыдъ были самыя добрыя чувства его души, просившіяся наружу, а, напротивъ, ему показалось, что это говоритъ въ немъ его глупость, что надо дѣлать, какъ всѣ дѣлаютъ". Онъ и сдѣлалъ *какъ всѣ*, то есть всѣ люди его общества: далъ волю своему животному чувству, сунулъ Катѣ сторублевую бумажку и скоро совсѣмъ забылъ весь этотъ эпизодъ. Нельзя, однако, сказать, чтобы онъ совершенно погрязъ душой въ жизни „какъ всѣ". Въ самомъ началѣ романа онъ тяготится связью съ предводительшей Марьей Васильевной и двусмысленными отношеніями съ Мисси Карчагиной, и раздумываетъ, какъ бы по совѣсти покончить со всѣмъ этимъ. Судъ надъ Катей окончательно разрываетъ его со средой, развратившей его.. Не совсѣмъ, впрочемъ, окончательно. Онъ совершаетъ рядъ поступковъ, ни съ чѣмъ несообразныхъ съ точки зрѣнія „всѣхъ", во всеуслышаніе объявляетъ, что чувствуетъ свою вину передъ Катей, что хочетъ жениться на этой проституткѣ, осужденной на каторгу, хочетъ отдать крестьянамъ землю, полученную по наслѣдству отъ матери, ѣдетъ въ Сибирь, заводитъ близкія отношенія съ каторжниками. Но во время этихъ приключеній въ немъ не разъ просыпается ветхій человѣкъ, человѣкъ „какъ всѣ". Напомню одинъ такой случай. Въ хлопотахъ о Катѣ и другихъ заключенныхъ онъ наталкивается на Mariette Червянскую, умѣющую разбудить въ немъ чувственность. „Они говорили о несправедливости сильныхъ, о страданіяхъ несчастныхъ, о бѣдности народа, но въ сущности глаза ихъ, смотрѣвшіе другъ на друга, подъ шумокъ разговора, не переставая, спрашивали: „можешь полюбить меня"?— и отвѣчали: „могу", и физическое чувство, принимая самыя неожиданныя и радужныя формы, влекло ихъ другъ къ другу". Про дамъ, подобныхъ Mariette Червянской, одинъ мой остроумный пріятель говоритъ, что онѣ очень любятъ разговаривать съ молодыми людьми о „принципахъ", въ сущности имѣя въ виду только послѣдній слогъ этого слова: „принципъ... ципъ, ципъ, ципъ". Нехлюдовъ откликнулся на „ципъ, ципъ" Червянской и сталъ раздумывать: хорошо ли онъ сдѣлаетъ, уѣхавъ въ Сибирь и отдавъ мужикамъ землю? И отвѣты получались „неопредѣленные". Но въ слѣдующую встрѣчу съ Mariette въ театрѣ, смотрѣть на нее „ему было и пріятно, и гадко въ одно и то же время". „Глядя на Mariette, онъ любовался

ею, но зналъ, что она—лгунья". Уйдя изъ театра, онъ обогналъ на улицѣ публичную женщину, которая улыбнулась ему совсѣмъ такъ же, какъ та, въ театрѣ, и онъ „испыталъ то же чувство влеченія и отвращенія".

Не по поводу одного только Нехлюдова гр. Толстой говоритъ о пагубномъ вліяніи „всѣхъ", то есть даннаго общества. Въ ту сессію суда, въ которую онъ попалъ присяжнымъ заѣдателемъ, судился 20-лѣтній мальчикъ, обвиняемый въ воровствѣ. Разсказавъ его исторію, авторъ размышляетъ: „Вѣдь, очевидно, что мальчикъ этотъ не какой-то особенный злодѣй, а самый обыкновенный—это видятъ всѣ—человѣкъ, и что сталъ онъ тѣмъ, что есть, только потому, что находится въ такихъ условіяхъ, которыя порождаютъ такихъ людей... Все, что онъ слышалъ отъ мастеровъ и товарищей съ тѣхъ поръ, какъ онъ живетъ въ городѣ, было то, что молодецъ тотъ, кто обманетъ, кто выпьетъ, кто обругаетъ, кто прибьетъ, кто развратничаетъ".

Въ сущности это разсужденіе примѣнимо ко всѣмъ людямъ сѣраго фона „Воскресенія", взятымъ въ отдѣльности, но гр. Толстой машетъ на нихъ рукой и оставляетъ въ сѣромъ положеніи людей, живущихъ „какъ всѣ". Иное дѣло Катя.

„Обыкновенно думаютъ,—говоритъ гр. Толстой,—что воръ или убійца, признавая свою профессію дурною, долженъ стыдиться ея. Происходитъ же совершенно обратное. Люди судьбою и своими грѣхами—ошибками поставленные въ извѣстное положеніе, какъ бы оно ни было неправильно, составляютъ себѣ такой взглядъ на жизнь вообще, при которомъ ихъ положеніе представляется имъ хорошимъ и уважительнымъ". Такъ было и съ Катей. Она сильно и много терзалась горемъ послѣ приключенія съ Нехлюдовымъ и потомъ, когда родила ребенка, когда ребенокъ умеръ, когда ей пришлось мыкаться по разнымъ мѣстамъ прислугой и лишаться этихъ мѣстъ вслѣдствіе мужскихъ приставаній и когда, наконецъ, попала въ публичный домъ. Но затѣмъ она свыклась съ своимъ положеніемъ и у нея постепенно сложилось особое міровоззрѣніе, которое дозволяло ей одобрять себя и даже гордиться передъ людьми своимъ положеніемъ. „Міровоззрѣніе это состояло въ томъ, что главное благо всѣхъ мужчинъ безъ исключенія,—старыхъ, молодыхъ, гимназистовъ, генераловъ, образованныхъ, необразованныхъ—состоитъ въ общеніи съ привлекательными женщинами, и потому всѣ мужчины, хотя и притворяются, что заняты другими дѣлами, въ сущности желаютъ

только одного этого. Она же—привлекательная женщина, можетъ удовлетворять или не удовлетворять это ихъ желаніе, и потому она важный и нужный человѣкъ". И Катя, даже собираясь на каторгу, не забывала, что и тамъ она будетъ важнымъ и нужнымъ человѣкомъ, потому что вѣдь вотъ и острожные надзиратели къ ней „лѣзутъ", и арестанты, и товарищъ прокурора такъ особенно поглядываетъ на нее. Это одинъ изъ мотивовъ, по которымъ Катя отказывается отъ предложенія Нехлюдова выдти за него замужъ. Казалось бы, неожиданно блестящее для нея положеніе жены Нехлюдова должно было льстить ей, да оно, пожалуй, и льстило. Но тамъ, въ этомъ новомъ мірѣ отношеній, она утратила бы привычное уже ей положеніе всѣми желанной и всѣмъ доступной, сознаніе же позорности этого положенія давно заглохло, и ей страшно было разстаться съ міровоззрѣніемъ привычныхъ ей „всѣхъ". Поэтому и къ Нехлюдову она относится нѣкоторое время, какъ „всѣ" женщины ея профессіи ко „всѣмъ" мужчинамъ: заигрывающе улыбается ему, выпрашиваетъ деньги.

Я сказалъ, что таковъ одинъ изъ мотивовъ отказа Кати отъ предложенія Нехлюдова. Ихъ нѣсколько, этихъ мотивовъ. Они постоянно смѣняютъ другъ друга, временно сливаясь въ такой противорѣчивый клубокъ, въ которомъ и сама Катя не можетъ разобраться. Обращаю особенное вниманіе читателей на чувства обиды, на злобное сознаніе вины передъ ней Нехлюдова. Она уже было совсѣмъ забыла эпизодъ изъ своей молодости, положившій начало ея печальной карьерѣ, смыла его въ своей памяти виномъ и quasi веселымъ разгуломъ. И вдругъ появленіе Нехлюдова въ тюрьмѣ поднимаетъ въ ней далекое воспоминаніе о первой, чистой, тогда же поруганной любви... Ея бесѣды съ Нехлюдовымъ, грубыя, колкія, язвительныя, тѣмъ ярче выдѣляются въ „Воскресеніи", что гр. Толстой крайне рѣдко затрогивалъ до сихъ поръ соотвѣтственныя душевныя движенія. Мы много разъ читали у него изображеніе гнетущей работы взволнованной совѣсти, онъ и прямо о себѣ многое сообщилъ намъ на эту тему, и собственно въ Нехлюдовѣ мы не получаемъ въ психологическомъ отношеніи ничего новаго. Но мотивы *законнаго* чувства полученной обиды, *праведнаго* гнѣва, *праведнаго* мстительнаго чувства имъ до сихъ поръ почти не эксплуатировались. А тутъ, благодаря самой грубости формы, въ которой эти чувства выражаются у осужденной на каторгу проститутки, да еще (при одной изъ бесѣдъ) полупьяной, эти мотивы выступаютъ особенно рѣзко,

не отталкивая, однако, читателя отъ Кати: да, она права, эта пьяная публичная женщина, права въ своемъ гнѣвѣ...

Говоря словами г. Шестова, въ „Воскресеніи“ гр. Толстой воюетъ съ невидимымъ, но совершенно опредѣленнымъ врагомъ. Это не выжившій изъ ума генералъ Кригсмутъ, не сибирскій конвойный офицеръ, вспоминающій какую то венгерку съ персидскими глазами, не деревянный мужъ сестры Нехлюдова, не пошлая лгунья Mariette, не судья съ катарромъ желудка и не тотъ судья, который передъ засѣданіемъ гимнастикой занимается; вообще не какое нибудь отдѣльное лицо. Умныя и глупыя, больныя и здоровыя, смѣшныя и скверныя, эти дѣйствующія лица разсказа сливаются для автора въ одинъ сѣрый фонъ, и каждое изъ нихъ въ отдѣльности не претерпѣваютъ какихъ нибудь очень сильныхъ ударовъ отъ него: онъ спокойно записываетъ ихъ глупости, скверности и пошлости. Его врагъ—„всѣ“, та страшная сила „всѣхъ“ даннаго общества, которая глушитъ лучшія движенія души личности, подсовывая ей свои, готовыя рѣшенія вопросовъ жизни...

Но, къ сожалѣнію, это не единственный врагъ гр. Толстого въ „Воскресеніи“.

Не добро быти человѣку едину, да и немыслимъ человѣкъ внѣ общества, и не всегда общество оказываетъ на личность пагубное вліяніе, какъ на всѣхъ людей фона „Воскресенія“ и на Нехлюдова и Катю до момента ихъ возрожденія, „воскресенія“, когда властно заговорилъ голосъ ихъ собственнаго разума и сердца. Возрожденіе Кати произошло отчасти подъ вліяніемъ любви къ Нехлюдову, постепенно пробившейся наружу изъ подъ коры гнѣва, мести и обиды, съ одной стороны, привычекъ quasi-веселой жизни—съ другой. Но это было только начало, первый ростокъ, да и онъ, можетъ быть, отцвѣлъ бы, не успѣвши расцвѣсть, если-бы не общество, своего рода „всѣ“. Правда, этихъ всѣхъ очень не много: небольшая кучка политическихъ преступниковъ, съ которыми судьба столкнула Катю въ тюрьмѣ, потомъ по дорогѣ въ Сибирь и, наконецъ, на каторгѣ.

Достойно вниманія, что тѣ двое изъ политическихъ преступниковъ, которые особенно сильно способствовали возрожденію Кати,—Марья Павловна и Симонсонъ,—существа, можно сказать, безполыя: оба они относятся къ плотской, физической любви съ отвращеніемъ; съ такимъ же точно отвращеніемъ, съ какимъ относится къ ней самъ гр. Толстой въ „Крейцеровой сонатѣ“, да и въ самомъ „Воскресеніи“. Чистую отъ физическаго общенія любовь первыхъ встрѣчъ Кати и

Нехлюдова онъ описываетъ самыми свѣтлыми красками, какія только есть на его богатой палитрѣ, и, наоборотъ, столь же мрачными красками рисуетъ любовь физическую, для чего достаточно поводовъ даетъ уже самая фабула „Воскресенія". Это свое личное отвращеніе онъ внушаетъ Марьѣ Павловнѣ и Симонсону, а черезъ нихъ и Катѣ, да, кромѣ того, и Нехлюдову. Марья Павловна, будучи красивой дѣвушкой, привлекала вниманіе мужчинъ, но всякая мысль о физической любви была ей глубоко противна, и она добилась таки того, что товарищи относились къ ней, только какъ къ товарищу. А товарищъ она была хорошій, объ ней шутили, что она занимается „спортомъ" спасенія людей и помощи имъ. Таковъ же былъ и Симонсонъ. Онъ, какъ уже сказано, живетъ и думаетъ не по „чужимъ мыслямъ", а по своимъ собственнымъ, повинуясь лишь голосу своего разума и сердца. Марья Павловна руководилась въ дѣлѣ служенія нуждающемуся въ помощи ближнему непосредственнымъ чувствомъ. Симонсонъ же облекалъ его въ теоретическія формы. Онъ имѣлъ свою религію, въ силу которой, между прочимъ, „холостые люди были тѣ фагоциты, назначеніе которыхъ состояло въ помощи слабымъ, больнымъ частямъ (мірового) организма. Онъ такъ и жилъ съ тѣхъ поръ, какъ рѣшилъ это, хотя прежде, юношей, жилъ иначе. Онъ признавалъ себя, такъ же, какъ и Марью Павловну, міровыми фагоцитами. Любовь его къ Катюшѣ не нарушала этой теоріи, такъ какъ онъ любилъ платонически, полагая, что такая любовь не только не препятствуетъ фагоцитной дѣятельности служенія слабымъ, но еще больше воодушевляетъ къ ней".

Общеніе съ этими двумя безусловно цѣломудренными людьми окончательно перевоспитало Катю, бывшую проститутку, гордившуюся своимъ положеніемъ, хотя начало этому перевороту положилъ Нехлюдовъ искренностью своего покаянія и готовностью загладить свою вину какою бы то ни было цѣною. Катя въ концѣ концовъ опять любитъ Нехлюдова, но боится быть ему въ тягость и выходитъ за Симонсона, потому что, какъ она говоритъ,—„что любить, не любить? Я ужъ это оставила, и Владиміръ Ивановичъ (Симонсонъ) вѣдь совсѣмъ особенный". Надо, однако, замѣтить, что и Нехлюдовъ, послѣ эпизода съ Mariette и т. п., сталъ, кажется тоже „совсѣмъ особенный", по крайней мѣрѣ, въ мысляхъ своихъ, если не на дѣлѣ. Намеки на это есть не только въ томъ „отвращеніи", которое замѣшивается въ его „влеченіе" къ Mariette въ театрѣ и къ публичной женщинѣ на улицѣ. Уѣзжая въ Сибирь, онъ

говоритъ сестрѣ: „едва ли я женюсь, а если женюсь, то не будетъ дѣтей“. Изъ этого слѣдуетъ, повидимому, заключить, что онъ думаетъ жениться на Катѣ à la Симонсонъ...

Итакъ, въ „Воскресеніи“ есть два невидимые, но совершенно опредѣленные врага, съ которыми борется знаменитый авторъ. Это, во первыхъ, „всѣ“, точнѣе говоря, тѣ общія условія, которыя заглушаютъ въ отдѣльномъ человѣкѣ естественно благородный голосъ разума и сердца. Это, во-вторыхъ, физическая половая любовь; именно физическое общеніе съ лицомъ другого пола, такъ какъ недоведенное до конца взаимное влеченіе мужчины и женщины, и въ собственномъ изложеніи гр. Толстого, и въ теоріи Симонсона, можетъ только украшать жизнь, придавать силу и энергію. Можно сомнѣваться, чтобы человѣкъ, помимо вліянія „всѣхъ“, былъ непремѣнно благороденъ сердцемъ и здоровъ умомъ, хотя безспорно, что „всѣ“ слишкомъ часто извращаютъ благородныя сердца и здоровые умы. Еще больше можно сомнѣваться въ томъ, что физическая любовь вліяетъ на людей столь пагубно, какъ это изображено въ „Воскресеніи“, хотя несомнѣнно, что она слишкомъ часто принимаетъ низкія и грязныя формы...

XI *).

Кое-что о г. Чеховѣ.

Ходятъ слухи о предстоящемъ въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ изданіи г. Марксомъ полнаго собранія сочиненій А. П. Чехова. Въ ожиданіи г. Марксъ издалъ чрезвычайно интересный сборникъ подъ заглавіемъ „Антонъ Чеховъ. Разсказы". Книга интересна не сама по себѣ: г. Чеховъ не новичекъ въ литературѣ и и не одинъ разъ давалъ сборники разсказовъ гораздо болѣе значительныхъ и яркихъ въ смыслѣ талантливости („Юмористическіе разсказы", „Въ сумеркахъ", „Пестрые разсказы", „Хмурые люди"). Новый сборникъ интересенъ именно тѣмъ, что вошедшіе въ него разсказы не только не новы, а, по всѣмъ видимостямъ, относятся къ самымъ раннимъ произведеніямъ г. Чехова. Книга появилась безъ всякихъ объясненій, безъ предисловія, безъ хронологическихъ датъ, но на ней лежитъ несомнѣнная печать того, что можно назвать „первой манерой" г. Чехова. Это даетъ возможность возстановить не Богъ знаетъ какое далекое,—лѣтъ, примѣрно, за пятнадцать,—но всетаки прошлое даровитаго и плодовитаго писателя, которое такъ и заглохло бы, погребенное въ разныхъ мелкихъ періодическихъ изданіяхъ, гдѣ г. Чеховъ началъ свою дѣятельность подъ псевдонимомъ „Чехонтэ". А первые шаги писателя, занявшаго впослѣдствіи одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ въ литературѣ, представляютъ, конечно, большой интересъ. Отсутствіе хронологическихъ датъ не представляетъ въ данномъ случаѣ большой бѣды. Можетъ быть, кое-что въ послѣдующихъ сборникахъ разсказовъ г. Чехова

*) Апрѣль 1900 г.

относится къ тому же времени, что и разсказы, вошедшіе въ книгу, изданную нынѣ г. Марксомъ; но это значитъ только, что авторъ самъ ихъ выдѣлилъ, какъ болѣе удовлетворяющіе его позднѣйшимъ требованіямъ, и только теперь, задумавъ полное собраніе своихъ сочиненій, рѣшился переиздать всѣ свои раннія произведенія. Во всякомъ случаѣ, тѣ слишкомъ семьдесятъ разсказовъ, которые изданы нынѣ, почти всѣ написаны однимъ и тѣмъ же стилемъ и, не смотря на чрезвычайное разнообразіе сюжетовъ,—въ сущности на одну и ту же тему. Не то, чтобы молодой авторъ задалъ себѣ эту тему и упорно искалъ ея проявленій въ жизни. Нѣтъ,—авторъ, напротивъ, очень неразборчивъ и торопливо набрасываетъ на бумагу рѣшительно все, что ему подскажутъ наблюденіе, память и воображеніе. Но общая тема сама постоянно подвертывается ему, сама, если такъ можно выразиться, лѣзетъ на удочку его темперамента и таланта, а онъ безпечно сидитъ на берегу житейскаго моря, вытаскивая изъ него штуку за штукой, одна другой забавнѣе. Забавность эту, однако, очень трудно передать своими словами,—въ переизложеніи она теряетъ весь свой ароматъ, потому что въ самыхъ фактахъ, разсказываемыхъ г. Чеховымъ, обыкновенно нѣтъ ничего забавнаго, и только именно особенности таланта и темперамента автора заставляютъ васъ то улыбнуться, то разсмѣяться. Г. Чеховъ „первой манеры“ отнюдь не могъ бы сказать о себѣ: „мерещится мнѣ всюду драма“, хотя сюжеты его сплошь и рядомъ глубоко драматичны.

Возьмемъ нѣсколько разсказовъ изъ супружеской жизни.

„Длинный языкъ“. Молодая дама, вернувшись изъ Ялты, разсказываетъ о своихъ тамошнихъ впечатлѣніяхъ,—о дороговизнѣ, о красотѣ горъ и проч. Мужъ спрашиваетъ о проводникахъ-татарахъ: недавно онъ читалъ гдѣ-то про нихъ какія-то „мерзости“, говорятъ они большіе „донъ-жуаны“. Жена съ презрѣніемъ отзывается о проводникахъ, говоря, что видѣла ихъ „издалека мелькомъ“: „указывали мнѣ на нихъ, но я не обратила вниманія“. Но, благодаря своему „длинному языку“, она въ увлеченіи сообщаетъ такія подробности, изъ которыхъ ясно видно, что она отнюдь не мелькомъ и не издали видѣла и Маметкула, и Сулеймана. Это не мѣшаетъ ей сердиться, когда мужъ указываетъ на противорѣчія и высказываетъ подозрѣнія. „Всегда у тебя такія гадкія мысли!—заключаетъ она.—Не стану же я тебѣ ничего разсказывать. Не стану!“

„Месть“. Нѣкоторый обыватель Турмановъ случайно подслушиваетъ разговоръ своей жены съ другимъ обывателемъ Дегтеревымъ.

Оказывается, что Турмановъ обманутъ (и не впервый разъ уже): его жена и Дегтяревъ находятся въ амурной связи, его, Турманова, величаютъ индюкомъ, Собакевичемъ и пузаномъ и изобрѣтаютъ новый способъ переписки: завтра, къ шести часамъ вечера, госпожа Турманова положитъ въ мраморную вазу, возлѣ виноградной бесѣдки, въ городскомъ саду записку, а Дегтяревъ, проходя черезъ городской садъ, вынетъ ее. Оскорбленный супругъ придумываетъ планъ мести и послѣ разныхъ предположеній останавливается на слѣдующемъ: онъ пишетъ богатому купцу Дулинову анонимное письмо, въ которомъ предлагаетъ ему положить въ мраморную вазу къ шести часамъ двѣсти рублей; въ противномъ случаѣ онъ будетъ убитъ. На слѣдующій день онъ въ шесть часовъ садится въ городскомъ саду за кустъ и съ злораднымъ нетерпѣніемъ ждетъ послѣдствій своей выдумки. Конечно, Дулиновъ далъ знать полиціи, и Дегтяревъ, засовывая руку въ мраморную вазу, будетъ накрытъ... Оказывается, однако, что Дулиновъ испугался угрозы и положилъ въ вазу двѣсти рублей, которые Дегтяревъ и взялъ.

„Въ почтовомъ отдѣленіи". Умерла двадцатилѣтняя жена шестидесятилѣтняго почтмейстера Сладкоперцева. На поминкахъ вдовецъ разсказываетъ, какимъ образомъ онъ оградилъ супружескую вѣрность покойницы. Онъ распространилъ по городу „нехорошій слухъ", будто жена его живетъ съ полицмейстеромъ Залихватскимъ. „Ни одинъ человѣкъ не осмѣливался ухаживать за Аленой, ибо боялся полицмейстерскаго гнѣва. Какъ, бывало, увидятъ ее, такъ и бѣгутъ прочь, чтобы Залихватскій чего не подумалъ". Слушатели изумлены и обижены,— они въ самомъ дѣлѣ вѣрили слуху...

„Мужъ". Въ уѣздномъ городишкѣ остановился на ночевку кавалерійскій полкъ. По этому случаю мѣстныя дамы потребовали бала, и балъ состоялся. Дамы, увлеченныя мимолетнымъ знакомствомъ съ офицерами, весело танцовали, совершенно забывая о „своихъ штатскихъ". Въ числѣ послѣднихъ находился акцизный Шаликовъ, „существо пьяное, узкое и злое, съ большой стриженой головой и съ жирными, отвислыми губами. Когда-то онъ былъ въ университетѣ, читалъ Писарева и Добролюбова, пѣлъ пѣсни, а теперь онъ говорилъ про себя, что онъ коллежскій ассесоръ и больше ничего". Шаликовъ стоялъ, прислонившись къ косяку, и не спускалъ глазъ съ жены, Анны Павловны, немолодой, некрасивой, но затянутой, напудренной и танцовавшей съ увлеченіемъ. Онъ смотрѣлъ на блаженство, разлитое по лицу и по всей фигурѣ жены; смотрѣлъ и злился. Нако-

нецъ, „ему захотѣлось насмѣяться надъ этимъ блаженствомъ, дать почувствовать Аннѣ Павловнѣ, что она забылась, что жизнь вовсе не такъ прекрасна, какъ ей теперь кажется въ упоеніи... Мелкія чувства зависти, досады, оскорбленнаго самолюбія, маленькаго уѣзднаго человѣконенавистничества, того самаго, которое заводится въ маленькихъ чиновникахъ отъ водки и отъ сидячей жизни, закопошились въ немъ, какъ мыши". Анна Павловна весело разговаривала послѣ мазурки съ своимъ кавалеромъ („губы у нея были сложены сердечкомъ, и произносила она такъ: „у насъ въ Пютюрбюргѣ"), обмахивалась вѣеромъ и кокетливо щурила глаза. Шаликовъ подошелъ къ ней и вслухъ, грубо и рѣшительно потребовалъ, чтобы она шла съ нимъ домой, иначе—прибавилъ онъ въ отвѣтъ на протесты и просьбы жены – онъ „сдѣлаетъ скандалъ"... „Выйдя изъ клуба, супруги до самаго дома шли молча. Акцизный шелъ сзади жены и, глядя на ея согнувшуюся, убитую горемъ и униженную фигурку, припоминалъ блаженство, которое такъ раздражало его въ клубѣ, и сознаніе, что блаженства уже нѣтъ, наполняло его душу побѣднымъ чувствомъ. Онъ былъ радъ и доволенъ, и въ то же время ему не доставало чего-то и хотѣлось вернуться въ клубъ и сдѣлать такъ, чтобы всѣмъ стало скучно и горько, и чтобы всѣ почувствовали, какъ ничтожна, плоска эта жизнь, когда вотъ идешь въ потемкахъ по улицѣ и слышишь, какъ подъ ногами всхлипываетъ грязь, и когда знаешь, что проснешься завтра утромъ—и опять ничего, кромѣ водки и кромѣ картъ! О, какъ это ужасно! А Анна Павловна едва шла... Она была все еще подъ впечатлѣніемъ танцевъ, музыки, разговоровъ, блеска, шума; она шла и спрашивала себя: за что ее покаралъ такъ Господь Богъ? Было ей горько, обидно и душно отъ ненависти, съ которой она прислушивалась къ тяжелымъ шагамъ мужа. Она молчала и старалась придумать какое-нибудь самое бранное, ѣдкое и ядовитое слово, чтобы пустить его мужу, и въ то же время сознавала, что ея акцизнаго не проймешь никакими словами. Что ему слова? Безпомощнѣе состоянія не могъ бы придумать и злѣйшій врагъ"...

Не довольно ли сценъ изъ супружеской жизни. Остановимся на минутку.

Послѣдній изъ переданныхъ нами разсказовъ представляетъ собою нѣчто довольно исключительное въ сборникѣ г. Чехова,—исключительное не по сюжету, а по тону, какимъ говоритъ авторъ. Про ялтинскую даму, только издали видѣвшую проводниковъ-татаръ,

про неудачную месть Турманова, про удачную хитрость почтмейстера г. Чеховъ разсказываетъ весело, заражая своимъ весельемъ и читателя, который смѣется или, по крайней мѣрѣ, улыбается, не останавливаясь на кое-какихъ несообразностяхъ въ деталяхъ. И такихъ разсказовъ огромное большинство. Иное дѣло „Мужъ". Тутъ авторъ и самъ не смѣется, и не желаетъ возбуждать смѣхъ въ читателѣ. Вамъ даже жутко становится, когда вы съ ясностью представляете себѣ эту шлепающую по грязи изъ клуба домой супружескую пару, до краевъ переполненную злобными чувствами. Сколько, въ самомъ дѣлѣ, дрянной, мелкой злобы! И эти люди вѣдь связаны на всю жизнь, вѣдь это настоящій адъ, на мгновеніе раскрывшійся передъ нами по случаю прибытія въ городъ кавалерійскаго полка... И какая гнусная скотина этотъ Шаликовъ... Однако, таково мастерство художника, набросившаго ровную тѣнь на все видимое пространство, что, дочитавъ разсказъ до конца (а въ немъ и всего-то пять страничекъ), вы ясно понимаете, что дѣло не въ этомъ грубомъ и злобномъ животномъ, а въ чемъ-то гораздо болѣе общемъ и важномъ. Не говоря о томъ, что и „пютюрбюргская" дама не вызываетъ сама по себѣ большого сочувствія, читатель узнаетъ, что Шаликовъ не всегда былъ гнусной скотиной, что и сейчасъ онъ, обросшій мохомъ и плѣсенью, можетъ быть, выше многихъ и многихъ изъ окружающихъ. Онъ золъ, грубъ и вообще скверенъ, но вѣдь онъ правъ, когда думаетъ, что „жизнь вовсе не такъ прекрасна, какъ Аннѣ Павловнѣ кажется теперь въ упоеніи", что „ничтожна, плоска эта жизнь". Онъ, этотъ злодѣй,—потому что его поступокъ хоть и мелкій, но дѣйствительно злодѣйскій,—есть жертва... чего?

Безпробудная пошлость жизни, всѣхъ и все покрывающая плѣсенью, такова общая тема старыхъ разсказовъ г. Чехова, вошедшихъ въ составъ новаго сборника. И эта ялтинская дама съ своимъ „длиннымъ языкомъ", и „мститель" Турмановъ, и купецъ Дулиновъ, и счастливый любовникъ Дегтяревъ, и остроумный почтмейстеръ Сладкоперцевъ, и всѣ слушатели его разсказа,—все это продукты той же житейской пошлости, которая выработала грубое животное Шаликова. Но разница въ отношеніяхъ къ нимъ автора. Къ Шаликову онъ относится съ очень сложнымъ чувствомъ, беретъ его со всѣми корнями и вѣтвями, тогда какъ дѣйствующія лица первыхъ трехъ разсказовъ ему просто смѣшны, и разсказываетъ онъ про нихъ

именно на смѣхъ. Эта разница и на художественной сторонѣ разсказовъ отражается.

Разсказъ „Мужъ“, не смотря на свой крошечный размѣръ, есть настоящій перлъ въ художественномъ отношеніи. Вотъ, напримѣръ, описаніе кавалера Анны Павловны въ мазуркѣ. Это былъ „черный офицеръ съ выпученными глазами и съ татарскими скулами. Онъ работалъ ногами серьезно и съ чувствомъ, дѣлая строгое лицо, и такъ выворачивалъ колѣни, что походилъ на игрушечнаго паяца, котораго дергаютъ за ниточку“. Всего четыре, пять строкъ, а между тѣмъ это законченный портретъ. Такія же нѣсколько строкъ понадобились автору, чтобы изобразить, какъ Анна Павловна умаливала мужа шепотомъ „съ улыбкой, чтобы публика не подумала, что у нея съ мужемъ недоразумѣніе“. Эти маленькія подробности,—этотъ робкій шепотъ, эта напряженная, фальшивая улыбка,—мастерски оттѣняютъ душевное состояніе Анны Павловны... Этой тонкости отдѣлки нѣтъ и въ поминѣ въ трехъ другихъ вышеупомянутыхъ разсказахъ. Талантъ, конечно, сказывается и здѣсь, но это какой-то уже очень юный талантъ, брызжущій слишкомъ безпечно и небрежно, слишкомъ, я сказалъ бы, веселый, ничего, кромѣ смѣха, не имѣющій въ виду и не заботящійся даже о правдоподобіи, лишь бы смѣшно вышло. Я думаю, что это видно уже по моему изложенію тѣхъ трехъ разсказовъ. Но, для разнообразія, возьмемъ нѣсколько другихъ.

„Въ банѣ“. Соль разсказа въ томъ, что цирульникъ Михайло принялъ въ банѣ дьякона за человѣка вреднаго образа мыслей,—длинные волосы у него и разговариваетъ о литературѣ. Михайло вознегодовалъ и уже послалъ было за какимъ-то Назаромъ Захарычемъ—„протоколъ составить“, но недоразумѣніе разъяснилось во время, и Михайло сталъ просить у дьякона прощенія, кланяясь ему въ ноги. „За что такое?“ спрашиваетъ удивленный дьяконъ. —„За то, что я подумалъ, что у васъ въ головѣ есть идеи!“ Это такъ грубо и явно на смѣхъ выдумано, что „комментаріи излишни“, какъ пишутъ въ газетахъ.

Но всего въ этомъ родѣ смѣшного не переберешь въ сборникѣ г. Чехова, и я приведу еще только одинъ разсказъ, но за то цѣликомъ. Выбираю одинъ изъ лучшихъ въ этомъ родѣ, то есть дѣйствительно очень забавныхъ. Называется онъ „Неудача“.

Илья Сергѣевичъ Пепловъ и жена его Клеопатра Петровна стояли у двери и жадно подслушивали. За дверью, въ маленькой залѣ, происходило,

повидимому, объясненіе въ любви, объяснялись ихъ дочь Наташенька и учитель уѣзднаго училища Щупкинъ.

— Клюетъ!—шепталъ Пепловъ, дрожа отъ нетерпѣнія и потирая руки.— Смотри-же, Петровна, какъ только заговорятъ о чувствахъ, тотчасъ-же снимай со стѣны образъ и идемъ благословлять... Накроемъ... Благословеніе образомъ свято и нерушимо... Не отвертится тогда, пусть хоть въ судъ подаетъ.

А за дверью происходилъ такой разговоръ:

— Оставьте вашъ характеръ!—говорилъ Щупкинъ, зажигая спичку о свои клѣтчатыя брюки.—Вовсе я не писалъ вамъ писемъ!

— Ну, да! Будто я не знаю вашего почерка!—хохотала дѣвица, манерно взвизгивая и то и дѣло поглядывая на себя въ зеркало.—Я сразу узнала! И какіе вы странные! Учитель чистописанія, а почеркъ, какъ у курицы! Какъ-же вы учите писать, если сами плохо пишете?

— Гм!.. Это ничего не значитъ-съ. Въ чистописаніи главное не почеркъ, главное, чтобъ ученики не забывались. Кого линейкой по головѣ ударишь, кого на колѣни... Да что почеркъ! Пустое дѣло! Некрасовъ писатель былъ, а совѣстно глядѣть, какъ онъ писалъ. Въ собраніи сочиненій показанъ его почеркъ.

— То Некрасовъ, а то вы... (вздохъ). Я за писателя съ удовольствіемъ-бы пошла. Онъ постоянно-бы мнѣ стихи на память писалъ!

— Стихи и я могу написать вамъ, ежели желаете.

— О чемъ-же вы писать можете?

— О любви... о чувствахъ... о вашихъ глазахъ... Прочтете—очумѣете. Слеза прошибетъ! А ежели я напишу вамъ поэтическіе стихи, то дадите тогда ручку поцѣловать?

— Велика важность! Да хоть сейчасъ цѣлуйте!

Щупкинъ вскочилъ и, выпучивъ глаза, припалъ къ пухлой, пахнувшей яичнымъ мыломъ ручкѣ.

— Снимай образъ!—заторопился Пепловъ, толкнувъ локтемъ свою жену, блѣднѣя и застегиваясь.—Идемъ! Ну!

И, не медля ни секунды, Пепловъ распахнулъ дверь.

— Дѣти...—забормоталъ онъ, воздѣвая руки и слезливо мигая глазами.— Господь васъ благословитъ, дѣти мои... Живите... плодитесь... размножайтесь...

— И... и я благословляю...—проговорила мамаша, плача отъ счастья.— Будьте счастливы, дорогіе! О, вы отнимаете у меня единственное сокровище!— обратилась она къ Щупкину.—Любите-же мою дочь, жалѣйте ее...

Щупкинъ разинулъ ротъ отъ изумленія и испуга. Приступъ родителей былъ такъ внезапенъ и смѣлъ, что онъ не могъ выговорить ни одного слова.

„Попался! Окрутили!—подумалъ онъ, млѣя отъ ужаса.—Крышка тебѣ теперь, братъ! Не выскочишь!“

И онъ покорно подставилъ свою голову, какъ-бы желая сказать: „берите, я побѣжденъ!“

— Бла... благословляю...—продолжалъ папаша и тоже заплакалъ.—Настенька, дочь моя, становись рядомъ... Петровна, давай образъ...

Но тутъ родитель вдругъ пересталъ плакать и лицо у него перекосило отъ гнѣва.

— Тумба!—сердито сказалъ онъ женѣ.—Голова твоя глупая! Да нешто это образъ?

— Ахъ, батюшки-свѣты!

Что случилось? Учитель чистописанія несмѣло поднялъ глаза и увидѣлъ, что онъ спасенъ: мамаша впопыхахъ сняла со стѣны вмѣсто образа портретъ писателя Лажечникова. Старикъ Пепловъ и его супруга Клеопатра Петровна, съ портретомъ въ рукахъ, стояли сконфуженные, не зная, что имъ дѣлать и что говорить. Учитель чистописанія воспользовался смятеніемъ и бѣжалъ.

Сотни разъ въ нашихъ юмористическихъ газетахъ фигурировали родители, „накрывающіе“ такимъ способомъ жениха (способъ этотъ эксплуатировался отчасти и гр. Толстымъ въ „Войнѣ и мирѣ“: этимъ способомъ князь Василій Курагинъ преодолѣваетъ нерѣшительность Пьера Безухова). Но г. Чеховъ ввелъ въ эту избитую тему новый, оригинальный смѣхотворный эффектъ: портретъ Лажечникова вмѣсто образа. Эффектъ совершенно неправдоподобный, хотя бы уже потому, что образа у насъ вѣшаются совсѣмъ не тамъ, гдѣ можетъ висѣть портретъ Лажечникова; но эта маленькая несообразность не только не мѣшаетъ читателю смѣяться, а еще подбавляетъ веселаго настроенія...

Въ подзаголовкѣ предполагаемой статьи написано „*кое-что* о г. Чеховѣ“. Я не думаю исчерпать всего г. Чехова,—для этого подождемъ полнаго собранія его сочиненій. Мнѣ хочется лишь напомнить нѣкоторые моменты его развитія.

Прежде всего любопытно замѣтить, что у г. Чехова нѣтъ сколько-нибудь яркихъ литературныхъ ровесниковъ: все сколько-нибудь цѣнное въ литературѣ или гораздо старше его, или развернулось значительно позже. Порывшись въ юмористическихъ листкахъ 80-хъ годовъ, мы нашли бы, можетъ быть, не одного писателя, начинавшаго такими же талантливыми забавностями, какъ г. Чеховъ, да и въ серьезной литературѣ того времени найдется, можетъ быть, не мало равноцѣнныхъ задатковъ. Но всѣ эти задатки или навсегда заглохли, не успѣвши расцвѣсть, или, если расцвѣли, то много позже. Дѣло въ томъ, что г. Чеховъ началъ свою литературную дѣятельность въ необыкновенно трудное для начинающаго писателя время. Разумѣю не внѣшнія, а внутреннія затрудненія, ту надломленность недавнихъ идеаловъ и вѣрованій, которая овладѣла обще-

ствомъ безъ замѣны ихъ какими-бы то ни было иными идеалами и вѣрованіями, ту странную и страшную сѣрость и плоскость которая такъ или иначе должна была отразиться на литературѣ вообще, на начинающемъ писателѣ въ особенности. Таланты, вѣроятно, рождались,—почему бы имъ не рождаться?—Но они быстро глохли, затеривались, задыхались въ этой сѣрой плоскости, какъ чахнутъ и сохнутъ растенія при недостаткѣ свѣта и влаги. Г. Чеховъ уцѣлѣлъ, хотя долго расплачивался за грѣхи общества. Человѣкъ высокодаровитый, съ огромнымъ запасомъ свѣжаго молодого юмора, онъ началъ съ того, что именно сѣлъ у житейскаго моря и... не ждалъ погоды, даже не думалъ о ней, а беззаботно выуживалъ изъ моря, что попадется, разцвѣчая выуженное блестками веселой фантазіи. И что ни выудитъ,—то пошлость. Цѣльнаго, большого зеркала, въ которомъ отразилась бы вся жизнь цѣликомъ или хоть значительная доля ея,—въ его распоряженіи не было; но у него были безчисленные зеркальные осколки, комически отражающіе столь-же безчисленное множество отдѣльныхъ эпизодовъ житейской пошлости. И то хорошо, конечно, и то свидѣтельствуетъ, кромѣ таланта, о здоровомъ инстинктѣ, по крайней мѣрѣ, не возводящемъ пошлость въ перлъ созданія,—потому что вѣдь и такое бывало. Но, во-первыхъ, обратите вниманіе на предѣлы кругозора молодого Чехова: цирульникъ, мелкій чиновникъ, сапожникъ, заскорузлый провинціальный купецъ, учитель уѣзднаго училища и т. д.,—вотъ герои его смѣшныхъ разсказовъ. И невольно приходитъ въ голову вопросъ: да неужели же мракъ пошлости клиномъ сошелся на этомъ мелкомъ людѣ? А во-вторыхъ, прислушайтесь къ этому смѣху. Какой это беззаботно веселый, благодушный, поверхностный и, если угодно, примирительный смѣхъ... Временами, очень рѣдко, на автора находитъ болѣе глубокое настроеніе, и онъ пишетъ что-нибудь въ родѣ „Мужа“, достигая вмѣстѣ съ тѣмъ и высокой степени истинно-художественнаго творчества. Но это настроеніе быстро проходитъ, и онъ опять съ беззаботнымъ весельемъ обзираетъ окружающую его пошлость. Ахъ, отчего не посмѣяться, и въ особенности молодому-то человѣку! Но, быть можетъ, нотка—не скажу гнѣва, а какой-нибудь изъ многочисленныхъ формъ недовольства не помѣшала-бы дѣлу художественнаго изображенія пошлости, какъ не только не помѣшала, а еще помогла она въ „Мужѣ“. Можно вѣдь и не исключительно съ смѣшной стороны посмотрѣть, напримѣръ, на этого цирульника, приглашающаго компетентное лицо для составленія про-

токола по случаю разговора длинноволосаго человѣка о литературѣ. Фраза цирюльника: „виноватъ, о. дьяконъ, я думалъ, что у васъ въ головѣ есть идеи“ – рѣжетъ ухо своею выдуманностью, но она содержитъ въ себѣ намекъ на цѣлое теченіе въ русской жизни, теченіе слишкомъ мрачное, чтобы быть только смѣшнымъ.

Время шло. Г. Чеховъ продолжалъ предъявлять изумительную изобрѣтательность по части смѣхотворныхъ эффектовъ (трудно даже вспомнить безъ улыбки, напримѣръ, „Винтъ“ или „Драму“), но съ теченіемъ времени рядомъ съ ними становились и отнюдь не комическіе сюжеты. Смѣхъ г. Чехова, не смотря на яркость отдѣльныхъ проявленій, въ общемъ мало по-малу затихалъ. Читатель знаетъ, что онъ, наконецъ, и совсѣмъ затихъ: прежній, веселый, смѣшливый и смѣшащій Чеховъ исчезъ, за послѣднее время изъ подъ его пера выходятъ картины одна другой мрачнѣе. И не по существу своему только онѣ мрачны,—прежній Чеховъ съумѣлъ бы и ихъ передать смѣшно и весело, быть можетъ, даже затруднился бы передать ихъ иначе,—а по настроенію автора. Перемѣна состоитъ не только въ этомъ и не вдругъ она совершилась. Началось съ того, что на удочку г. Чехова стала попадаться не одна пошлость, и первое время онъ не зналъ, какъ отнестись къ этому новому непривычному матеріалу: смѣяться не позывало, а сочувствовать, сожалѣть, восторгаться, скорбѣть, грустить, негодовать... для всего этого еще не пришло время г. Чехову, еще не звенѣли соотвѣтственныя струны въ его душѣ, да и въ окружающей сѣрой атмосферѣ не вѣяло вѣтра, который заставлялъ бы эти струны звенѣть. И, продолжая вытаскивать изъ безграничнаго житейскаго моря, что попадется, г. Чеховъ безучастно, „объективно“ описывалъ свою добычу, не различая ее по степени важности съ какой-бы то ни было точки зрѣнія У него не было такой общей, руководящей, расцѣнивающей явленія жизни точки зрѣнія; и въ числѣ странностей того страннаго времени, къ которому относится этотъ моментъ развитія г. Чехова, была и такая, что это отсутствіе руководящей точки зрѣнія ставились ему въ заслугу. Праздноболтающіе литературные гамены, вытягивающіе изъ себя слова, слова, слова безъ всякаго смысла и связи, и доселѣ стоятъ въ этой позиціи, хотя самъ г. Чеховъ уже давно совсѣмъ не тотъ. Подъ какимъ соусомъ нынѣ подается это оправданіе или даже возвеличеніе безразличнаго отношенія къ темнымъ и свѣтлымъ явленіямъ жизни,—это даже неинтересно. А въ свое время дѣло было поставлено такъ: „Для новаго поколѣнія осталась только дѣйствительность, въ которой ему суж-

дено жить и которую оно потому и признало. Оно приняло свою судьбу спокойно и безропотно, оно прониклось сознаніемъ, что все въ жизни вытекаетъ изъ одного и того же источника—природы, все являетъ собою одну и ту-же тайну бытія, и возвращается къ пантеистическому міросозерцанію".

Это, конечно, очень спокойно. Но талантъ рѣдко уживается со спокойствіемъ, въ большинствѣ случаевъ онъ есть нѣчто безпокойное, требовательное. А г. Чеховъ настоящій, большой талантъ, и неудивительно поэтому, что онъ не остался при безразличномъ отношеніи къ свѣту и мраку, хотя они и „являютъ собою одну и ту же тайну бытія", и „вытекаютъ изъ одного и того-же источника—природы". „Идеалы отцовъ и дѣдовъ надъ нами безсильны",—говорили теоретики „пантеистическаго" міросозерцанія. Пусть такъ,—наживайте свои, новые... Нажилъ-ли ихъ г. Чеховъ, я не знаю, но онъ затосковалъ; понялъ, что „пантеизмъ", которому онъ послужилъ „безъ борьбы, безъ думы роковой", есть, собственно говоря, атеизмъ, и затосковалъ, или, по крайней мѣрѣ, превосходно изобразилъ эту тоску. Всякій разъ, какъ мнѣ приходится писать или думать о г. Чеховѣ, я вспоминаю слова, вложенныя имъ въ уста Николая Степановича въ „Скучной исторіи": „Сколько-бы я ни думалъ и кудабы ни разбрасывались мои мысли, для меня ясно, что въ моихъ желаніяхъ нѣтъ чего-то главнаго, чего-то очень важнаго... Каждое чувство и каждая мысль живутъ во мнѣ особнякомъ, и во всѣхъ моихъ сужденіяхъ о наукѣ, театрѣ, литературѣ, ученикахъ, и во всѣхъ картинахъ, которыя рисуетъ мое воображеніе, даже самый искусный аналитикъ не найдетъ того, что называется общей идеей или богомъ живого человѣка. А коли нѣтъ этого, то, значитъ, нѣтъ и ничего"...

Когда мнѣ пришлось въ первый разъ цитировать эти проникнутыя грустью строки, я выразилъ пожеланіе, чтобы г. Чеховъ, если ужъ для него безсильны идеалы отцовъ и дѣдовъ, а своей собственной „общей идеи или бога живого человѣка" онъ выработать не можетъ,—сталъ пѣвцомъ тоски по этомъ богѣ... Мое пожеланіе исполнилось, по крайней мѣрѣ, въ томъ смыслѣ, что дѣйствительность, когда-то настраивавшая г. Чехова на благодушно веселый ладъ, а потомъ ставшая предметомъ безразличнаго воспроизведенія въ безчисленныхъ зеркальныхъ осколкахъ, вызываетъ въ немъ нынѣ несравненно болѣе сложныя и несравненно болѣе опредѣленныя чувства.

Чрезвычайно любопытны двѣ художественныя экскурсіи г. Че-

хова въ область психіатріи: „Палата № 6“ (1892 г.) и „Черный монахъ“ (1894 г.), хотя собственно психіатрія тутъ, съ позволенія сказать, съ боку припека или, пожалуй, рамка, въ которую авторъ вставилъ нѣчто, не имѣющее никакого отношенія къ психіатріи. Въ „Палатѣ № 6“ мы имѣемъ превосходное описаніе больничныхъ порядковъ, въ „Черномъ монахѣ“—картинное изображеніе галлюцинаціи героя разсказа, но и эти больничные порядки, и эта галлюцинація представляютъ собою не болѣе, какъ обстановку, которая могла-бы быть и иною, и дѣло, очевидно, не въ нихъ.

Въ „Палатѣ № 6“ рѣшается вопросъ о томъ, какъ слѣдуетъ (или какъ не слѣдуетъ) относиться въ дѣйствительности. Представителями двухъ рѣзко различныхъ на этотъ счетъ мнѣній г. Чеховъ выбираетъ психически больного, содержащагося въ лѣчебницѣ Ивана Дмитрича Громова, съ одной стороны, а съ другой—доктора Андрея Ефимовича Рагина, который, однако, тоже кончаетъ сумасшествіемъ. Они, впрочемъ, могли бы съ самого начала помѣняться мѣстами, эти два главныя дѣйствующія лица разсказа... Рагинъ, какъ это ни странно въ устахъ практикующаго врача, исповѣдуетъ и проповѣдуетъ полное невмѣшательство въ ходъ событій. Онъ находитъ, что „не слѣдуетъ мѣшать людямъ сходить съ ума“. Онъ спрашиваетъ: „къ чему мѣшать людямъ умирать, если смерть есть законный и нормальный конецъ каждаго?“ и „зачѣмъ облегчать страданія?“ Онъ, пожалуй, „пантеистъ“, если позволительно разумѣть подъ пантеизмомъ примиреніе съ дѣйствительностью, какова-бы она ни была, только потому, что она—дѣйствительность. Для него все въ жизни, подлежащее сравненію, безразлично и равноцѣнно. Онъ, напримѣръ, говоритъ: „все вздоръ и суета, и разницы между лучшею вѣнской клиникой и моей больницей, въ сущности, нѣтъ никакой“, хотя очень хорошо знаетъ, что его больница есть просто скверность. И точно также „между теплымъ, уютнымъ кабинетомъ и этой палатой нѣтъ никакой разницы,—покой и довольство человѣка не внѣ его, а въ немъ самомъ“. Такъ разсуждаетъ докторъ Рагинъ. Сумасшедшій Громовъ не согласенъ въ такой „реабилитаціей дѣйствительности“. Онъ горячо возражаетъ: „Я знаю только, что Богъ создалъ меня изъ теплой крови и нервовъ, да-съ! А органическая ткань, если она жизнеспособна, должна реагировать на всякое раздраженіе. И я реагирую! На боль я отвѣчаю крикомъ и слезами, на подлость—негодованіемъ, на мерзость—отвращеніемъ. По моему это собственно и называется жизнью. Чѣмъ ниже организмъ, тѣмъ

онъ менѣе чувствителенъ и слабѣе отвѣчаетъ на раздраженіе, и чѣмъ выше, тѣмъ онъ воспріимчивѣе и энергичнѣе реагируетъ на дѣйствительность".

Трудно сказать, почему разсуждающій такъ Громовъ есть сумасшедшій и почему докторъ Рагинъ призванъ его лѣчить. Послѣдній объясняетъ дѣло такъ: „Кого посадили, тотъ сидитъ, а кого не посадили, тотъ гуляетъ, —вотъ и все. Въ томъ, что я докторъ, а вы душевный больной, нѣтъ ни нравственности, ни логики, а одна только пустая случайность". Это, конечно, мало объясняетъ дѣло, и рѣшеніе становится еще болѣе затруднительнымъ, когда самого доктора сажаютъ въ палату № 6, и онъ отказывается отъ своей теоріи безразличія и реабилитаціи дѣйствительности. Попавъ въ больницу, уже въ качествѣ больного, а не врача, Рагинъ сначала пробуетъ философствовать на свой старый образецъ. Но когда сторожъ Никита, согласно принятымъ въ больницѣ порядкамъ, прибилъ его, — „отъ боли онъ укусилъ подушку и стиснулъ зубы, и вдругъ въ головѣ его среди хаоса ясно мелькнула страшная, невыносимая мысль, что такую-же точно боль должны были испытывать годами, изо дня въ день, эти люди, казавшіеся теперь при лунномъ свѣтѣ черными тѣнями. Какъ могло случиться, что въ продолженіе больше чѣмъ двадцати лѣтъ онъ не зналъ и не хотѣлъ знать этого? Онъ не зналъ, не имѣлъ понятія о боли, значитъ онъ не виноватъ, но совѣсть, такая-же несговорчивая и грубая, какъ Никита, заставила его похолодѣть отъ затылка до пятъ". На другой день докторъ Рагинъ умеръ отъ апоплексическаго удара...

Ясно, кажется, что психіатрія не при чемъ во всей этой исторіи: Громовъ слишкомъ здравомыслящій человѣкъ для сумасшедшаго, и если Рагинъ склоняется къ его образу мыслей и отказывается отъ реабилитаціи дѣйствительности, только уже самъ сидя въ сумасшедшемъ домѣ, такъ вѣдь это просіяніе онъ могъ бы получить и внѣ его, и гораздо раньше, — стоило ему только испытать какую-нибудь серьезную „боль". И, однако, г. Чеховъ счелъ почему-то нужнымъ вручить защиту мысли о естественной реакціи „органической ткани на всякое раздраженіе" двумъ сумасшедшимъ... а можетъ быть, и не сумасшедшимъ, а только по какой-то „случайности" сидящимъ въ домѣ умалишенныхъ...

Перейдемъ къ „Черному монаху".

Молодой ученый Ковринъ переутомился на работѣ и, по совѣту врача, уѣхалъ на весну и лѣто въ деревню. Но и въ деревнѣ онъ

продолжалъ вести „такую же нервную и безпокойную жизнь, какъ въ городѣ“: много читалъ, мало спалъ, много говорилъ, пилъ вино, временами до изнеможенія слушалъ музыку. Между прочимъ, ему вспомнилась гдѣ то, когда то слышанная или читанная имъ легенда о черномъ монахѣ. Монахъ этотъ есть миражъ или даже миражъ миража, который черезъ тысячу лѣтъ послѣ перваго своего появленія на землѣ, постранствовавъ въ междупланетномъ пространствѣ, долженъ вновь попасть въ земную атмосферу и показаться людямъ. Ковринъ жилъ у своего бывшаго опекуна и воспитателя Высоцкаго, у котораго была дочь, Таня. Ковринъ разсказалъ ей какъ-то занимавшую его легенду о черномъ монахѣ и въ тотъ же вечеръ, гуляя въ полѣ, увидѣлъ монаха. „Не стараясь объяснить себѣ странное явленіе, довольный однимъ тѣмъ, что ему удалось такъ близко и такъ ясно видѣть не только черную одежду, но даже лицо и глаза, пріятно взволнованный, онъ вернулся домой. Въ паркѣ и въ саду покойно ходили люди, въ домѣ играли,—значитъ, только онъ одинъ видѣлъ монаха. Ему сильно хотѣлось разсказать обо всемъ Танѣ и Егору Семеновичу (Высоцкому), но онъ сообразилъ, что они навѣрное сочтутъ его слова за бредъ и это испугаетъ ихъ; лучше промолчать. Онъ громко смѣялся, пѣлъ, плясалъ мазурку, ему было весело и всѣ—часто и Таня, находили, что сегодня у него лицо какое то особенное, лучезарное, вдохновенное, и что онъ очень интересенъ“. Ложась въ этотъ день спать, Ковринъ было омрачился на нѣкоторое время, сообразивъ, что онъ должно быть боленъ и дошелъ уже до галлюцинацій, но скоро утѣшился: „вѣдь мнѣ хорошо и я никому не дѣлаю зла; значитъ, въ моихъ галлюцинаціяхъ нѣтъ ничего дурного“. И, успокоившись на этой мысли, онъ почувствовалъ „непонятную радость, наполнявшую все его существо“. Принялся было за работу, но она не удовлетворяла его: „ему хотѣлось чего то гигантскаго, необъятнаго, поражающаго“. Онъ заснулъ только послѣ нѣсколькихъ рюмокъ вина. Скоро онъ опять увидѣлъ чернаго монаха, который съ нимъ даже въ разговоръ вступилъ. Онъ сказалъ Коврину много лестнаго и пріятнаго: что онъ „одинъ изъ тѣхъ немногихъ, которые по справедливости называются избранниками божіими“; что его мысли, намѣренія, его „удивительная наука“ и вся его жизнь „носятъ на себѣ божественную, небесную печать, такъ какъ посвящены они разумному и прекрасному, то есть тому, что вѣчно“; что человѣчеству предстоитъ блестящая будущность, приближеніе которой на тысячи лѣтъ уско-

ряется такими людьми, какъ Ковринъ, и т. д. Все это было очень пріятно слушать, но Коврина брало сомнѣніе: вѣдь монахъ—призракъ, галлюцинація, значитъ онъ, Ковринъ, психически боленъ, ненормаленъ? На это черный монахъ возразилъ: „Ты боленъ, потому что работалъ черезъ силу и утомился, а это значитъ, что свое здоровье ты принесъ въ жертву идеѣ, и близко время, когда ты отдашь ей самую жизнь. Чего лучше? Это то, къ чему стремятся всѣ вообще одаренныя свыше, благородныя натуры... Почему ты знаешь, что геніальные люди, которымъ вѣритъ весь свѣтъ, тоже не видѣли призраковъ? Говорятъ же теперь ученые, что геній сродни умопомѣшательству. Другъ мой, здоровы и нормальны только заурядные, стадные люди... Повышенное настроеніе, возбужденіе, экстазъ, все то, что отличаетъ пророковъ, поэтовъ, мучениковъ за идею отъ обыкновенныхъ людей, противно животной сторонѣ человѣка, то есть его физическому здоровью... если хочешь быть здоровъ и нормаленъ, иди въ стадо“. Эти рѣчи чернаго монаха привели Коврина въ восторженное и умиленное состояніе, и онъ, тотчасъ послѣ приведенной бесѣды, объяснился Танѣ въ любви и сдѣлалъ ей предложеніе. И Таня, и ея отецъ, давно ждавшіе этого, были въ восторгѣ.

Ковринъ женился. Переѣхали въ городъ. Однажды ночью Коврину не спалось, и вдругъ онъ увидѣлъ на креслѣ возлѣ постели чернаго монаха. Они стали бесѣдовать о славѣ, о счастьи, о радости. Таня проснулась и съ ужасомъ увидѣла, что мужъ, жестикулируя и смѣясь, разговариваетъ съ пустымъ кресломъ. Рѣшено было лѣчить Коврина, чему онъ и не противился. „Ковринъ отъ волненія не могъ говорить. Онъ хотѣлъ сказать тестю шутливымъ тономъ:—„поздравьте, я, кажется, схожу съ ума“,—но пошевелилъ только губами и горько улыбнулся“.

Опять наступило лѣто, и опять докторъ отправилъ Коврина въ деревню. Онъ уже выздоровѣлъ, черный монахъ ему больше не являлся, и дѣло шло только объ укрѣпленіи физическихъ силъ. Жена и тесть заботливо держали его на строгомъ гигіеническомъ режимѣ: онъ мало работалъ, совсѣмъ не пилъ вина, не курилъ, пилъ много молока. Но, поправляясь физически, онъ затосковалъ и сталъ раздражителенъ. Однажды послѣ прогулки по тѣмъ мѣстамъ, гдѣ онъ въ первый разъ видѣлъ чернаго монаха, онъ наговорилъ Танѣ и тестю непріятностей за ихъ заботы о немъ. „Зачѣмъ, зачѣмъ вы меня лѣчили?—говорилъ онъ.—Бромистые препараты,

праздность, теплыя ванны, надзоръ, малодушный страхъ за каждый глотокъ, за каждый шагъ, все это въ концѣ концовъ доведетъ меня до идіотизма. Я сходилъ съ ума, у меня была манія величія, но за то я былъ всегда бодръ и даже счастливъ, я былъ интересенъ и оригиналенъ. Теперь я сталъ разсудительнѣе и солиднѣе, но за то я такой, какъ всѣ, я – посредственность, мнѣ скучно жить... О, какъ вы жестоко поступили со мной!" И еще: „Какъ счастливы Будда и Магометъ или Шекспиръ, что добрые родственники и доктора не лѣчили ихъ отъ экстаза и вдохновенія! Если-бы Магометъ принималъ отъ нервовъ бромистый калій, работалъ только два часа въ сутки и пилъ молоко, то послѣ этого замѣчательнаго человѣка осталось бы такъ же мало, какъ послѣ его собаки. Доктора и добрые родственники въ концѣ концовъ сдѣлаютъ то, что человѣчество отупѣетъ, посредственность будетъ считаться геніемъ и цивилизація погибнетъ".

Семейная жизнь стала невозможною, и черезъ два года мы видимъ Коврина уже съ другой женщиной, въ Севастополѣ, по дорогѣ въ Ялту. Онъ боленъ физически: слабъ, кровь горломъ идетъ, но психически, повидимому, здоровъ. Онъ „теперь ясно сознавалъ, что онъ посредственность, и охотно мирился съ этимъ, такъ какъ, по его мнѣнію, каждый человѣкъ долженъ быть доволенъ тѣмъ, что онъ есть". Но вотъ подъ вліяніемъ злого, раздраженнаго письма Тани, съ проклятіемъ извѣщающей о смерти отца, Ковринъ горько задумывается, и черный монахъ является ему опять со словами: „Отчего ты не повѣрилъ мнѣ? Если бы ты тогда повѣрилъ мнѣ, что ты геній, то эти два года ты провелъ бы не такъ печально и скудно". Ковринъ тотчасъ же повѣрилъ, но кровь хлынула у него горломъ, и онъ умеръ подъ нашептываніе чернаго монаха, „что онъ геній и что онъ умираетъ только потому, что его слабое человѣческое тѣло уже утеряло равновѣсіе и не можетъ больше служить оболочкой для генія".

Я съ подробностью передалъ содержаніе разсказа, поскольку оно касается „чернаго монаха" и Коврина, оставивъ совсѣмъ въ сторонѣ прекрасно нарисованныя фигуры жены и тестя героя. Это вполнѣ обыкновенные люди съ своими слабостями и достоинствами. На Коврина они смотрятъ какъ на генія, человѣка необыкновеннаго, и въ этомъ собственно и состоитъ ихъ главная роль въ разсказѣ. Но что значитъ самый разсказъ? Каковъ его смыслъ? Есть ли это

иллюстрація къ поговоркѣ: „чѣмъ бы дитя ни тѣшилось, лишь бы не плакало“, и не слѣдуетъ мѣшать людямъ съ ума сходить, какъ говоритъ докторъ Рагинъ въ „Палатѣ № 6“? Пусть, дескать, по крайней мѣрѣ, тѣ больные, которые страдаютъ маніей величія, продолжаютъ величаться,—въ этомъ счастье, вѣдь они собой довольны и не знаютъ скорбей и уколовъ жизни... Или это указаніе на фатальную мелкость, сѣрость, скудость дѣйствительности, которую надо брать такъ, какъ она есть, и приспособляться къ ней, ибо всякая попытка подняться надъ нею грозитъ сумасшествіемъ? Есть ли „черный монахъ“ добрый геній, успокаивающій утомленныхъ людей мечтами и грезами о роли „избранниковъ божіихъ“, благодѣтелей человѣчества, или, напротивъ, злой геній, коварной лестью увлекающій людей въ міръ болѣзни, несчастія и горя для окружающихъ близкихъ и, наконецъ, смерти? Я не знаю. Но думаю, что какъ „Палата № 6“, такъ и „Черный монахъ“ знаменуютъ собою моментъ нѣкотораго перелома въ г. Чеховѣ, какъ писателѣ; перелома въ его отношеніяхъ къ дѣйствительности...

Тѣмъ временемъ теорія „реабилитаціи дѣйствительности,“ въ своемъ простѣйшемъ первоначальномъ видѣ—выдохлась. Случилось это чрезвычайно быстро (разумѣю, конечно, литературу). И это не удивительно. Потребность идеала, мечты, чего нибудь отличающагося отъ дѣйствительности и возвышающагося надъ ней, слишкомъ сильна въ людяхъ, чтобы, по крайней мѣрѣ, тѣ, кто призванъ поучать другихъ, могли долго оставаться въ предѣлахъ двухъ измѣреній, то есть на плоскости. Нужно, необходимо нужно и третье измѣреніе, нужна линія вверхъ, къ небесамъ, какъ бы кто эти небеса ни понималъ и ни представлялъ себѣ. Нужна эта линія вверхъ хотя бы уже для того, чтобы можно было видѣть что нибудь дальше своего носа, окинуть глазомъ съ нѣкоторой высоты сколько нибудь значительную часть дѣйствительности. Нужна она не только для руководства въ практической жизни, а и для теоретическаго пониманія дѣйствительности и даже для реабилитаціи ея. И вотъ началась работа. Но строители новаго зданія о трехъ измѣреніяхъ, всѣ эти открыватели „новыхъ мозговыхъ линій“, творцы „новыхъ словъ“, созидатели „ступеней новой красоты“—разбрелись розно. Единодушны они были только въ отрицаніи идеаловъ отцовъ и дѣдовъ. А затѣмъ, не говоря о юродствующихъ въ родѣ г. Розанова, пляшущихъ въ словесную присядку въ родѣ г. Евгенія Соловьева и т. п., изъ которыхъ каждый самъ по себѣ и никакого теченія не

знаменуетъ, мы видимъ, во-первыхъ, людей, взобравшихся по ступенямъ новой красоты, можетъ быть, и очень высоко, но въ такомъ случаѣ столь высоко, что оттуда дѣйствительности совсѣмъ не видно. Да они и не хотятъ ее знать: „люблю я себя какъ Бога“, пишу глупые стихи, поклоняюсь мэонамъ, то есть не существующимъ, „хочу быть развратнымъ“, созерцаю „тѣнь несозданныхъ созданій“, прислушиваюсь къ „громкозвучной тишинѣ“, пишу „то мягкимъ гусинымъ перомъ, то развязнымъ, размашистымъ языкомъ“ взвинченную прозу и проч., и проч.,—а на то, что дѣлается на землѣ, въ дѣйствительности, мнѣ „вполнѣ и исключительно наплевать“, какъ говоритъ одно изъ дѣйствующихъ лицъ Гл. Успенскаго. Отдѣльные ручейки, образовавшіе это теченіе, иногда очень противорѣчили другъ другу, такъ что, напримѣръ, гг. Мережковскій и Волынскій принуждены были весьма непочтительно отзываться одинъ о другомъ; но въ общемъ теченіе можетъ быть названо эстетическимъ, что ясно отпечаталось не только на художественныхъ произведеніяхъ, а и на философіи г. Минскаго, и на критикѣ гг. Волынскаго и Мережковскаго. Свое отношеніе къ дѣйствительности гг. Минскій и Волынскій очень опредѣленно выразили въ 1893 г. во французскомъ журнальчикѣ „l'Ermitage“. „Грязь и кровь годятся для публицистовъ и политиковъ, а поэту тутъ не мѣсто“,—гордо писалъ одинъ изъ нихъ; и не менѣе гордо другой: „художникъ живетъ внутреннею творческою жизнью, которая выше всѣхъ формъ жизни внѣшней, общественной“. До какой безсмыслицы по содержанію и безобразія по формѣ можетъ доходить это ломанье,—свидѣтельствомъ тому могутъ служить двѣ литературныя новинки, только что вышедшія: сборникъ стихотвореній гг. Бальмонта, Брюсова, Дурнова и Коневскаго подъ заглавіемъ „Книга (! 82 странички маленькаго формата!) раздумій“ и „трагедія“ въ прозѣ г. Минскаго „Альма“...

Г. Чеховъ—художникъ, слишкомъ умный и по самой натурѣ своей несклонный къ ломанью, чтобы хотя на одну минуту увлечься всѣмъ этимъ взвинченнымъ вздоромъ. Это теченіе миновало его.

Другое теченіе было соблазнительнѣе. Оно, если угодно, было своего рода реабилитаціей дѣйствительности, но не въ той простодушной формѣ, въ какой эта реабилитація явилась впервые. Оно не отрицало наличности тяжелыхъ и мрачныхъ сторонъ жизни, но оно напирало на то, что эти стороны съ такою же небходимостью выступаютъ изъ нѣдръ исторіи, какъ и добро и свѣтъ, и вѣрило, что

они опять же необходимо превратятся въ процессѣ исторіи въ свою противоположность, и даже очень скоро. Между прочимъ, въ составъ этого ученія входило убѣжденіе въ „идіотизмѣ деревенской жизни“ и въ превосходствѣ „городской культуры“ надъ деревенскою. Г. Чеховъ нечаянно угодилъ этому теченію разсказомъ „Мужики“. Разсказъ этотъ, далеко не изъ лучшихъ, былъ сверхъ всякой мѣры расхваленъ, именно за тенденцію, которую въ ней увидѣли. Г. Чеховъ очень оригинально отвѣтилъ на эти похвалы: онъ издалъ „Мужиковъ“ отдѣльной книжкой вмѣстѣ съ другимъ разсказомъ „Моя жизнь“, въ которомъ „городская культура“ изображалась въ своемъ родѣ еще болѣе мрачными красками, чѣмъ деревенская (или, вѣрнѣе, отсутствіе культуры) въ „Мужикахъ“...

Такимъ образомъ, ни одно изъ современныхъ нашихъ модныхъ теченій не захватило г. Чехова. Онъ остался самъ по себѣ. Но онъ далеко еще не сказалъ своего окончательнаго слова, далеко не вполнѣ выяснился ни въ смыслѣ силы таланта, все еще развертывающагося, ни въ смыслѣ отношеній къ дѣйствительности. Иногда она ему представляется въ видѣ ряда разрозненныхъ анекдотовъ, надъ которыми докторъ Рагинъ поставилъ бы эпиграфомъ слова: „здѣсь нѣтъ ни нравственности, ни логики, а одна случайность“. Такіе же анекдоты писалъ г. Чеховъ въ первую пору своей дѣятельности, но какая разница и въ выборѣ темъ, и въ ихъ обработкѣ, и въ томъ тонѣ, который дѣлаетъ музыку! Теперь уже далеко не одна пошлость занимаетъ г. Чехова, а и истинно трудныя, драматическія положенія, истинное горе и страданіе. Анекдоты уже не разрѣшаются такими эффектами, какъ портретъ Лажечникова вмѣсто иконы или 200 р., вынутые изъ мраморной вазы вмѣсто любовной записки. И уже не возбуждаютъ они добродушнаго веселаго смѣха, напротивъ, возбуждаютъ грустное раздумье или чувство досады на нескладицу жизни, въ которой нѣтъ „ни нравственности, ни логики“. Нѣтъ прежняго беззаботно-веселаго Чехова, но едва-ли кто-нибудь пожалѣетъ объ этой перемѣнѣ, потому что и какъ художникъ г. Чеховъ выросъ почти до неузнаваемости. И перемѣна произошла, можно сказать, на нашихъ глазахъ, въ какихъ-нибудь нѣсколько лѣтъ...

Очень характеренъ разсказъ „О любви“ (1898 г.). Нѣкій Алехинъ разсказываетъ въ собравшемся у него въ деревнѣ маленькомъ обществѣ одинъ эпизодъ изъ своей жизни. Характеренъ уже самый приступъ Алехина къ разсказу: „До сихъ поръ о любви была сказана только одна неоспоримая правда, а именно, что „тайна сія ве-

лика есть", все-же остальное, что писали и говорили о любви, было не рѣшеніемъ, а только постановкой вопросовъ, которые такъ и оставались неразрѣшенными. То объясненіе, которое, казалось бы, годится для одного случая, уже не годится для десяти другихъ, а самое лучшее, по моему,— это объяснять каждый случай въ отдѣльности, не пытаясь обобщать. Надо, какъ говорятъ доктора, индивидуализировать каждый отдѣльный случай".

Въ послѣднихъ словахъ слышится какъ бы теоретическое оправданіе или обоснованіе всей литературной дѣятельности г. Чехова,— этой разсыпанной храмины безчисленныхъ житейскихъ явленій, въ которой, какъ говоритъ Николай Степановичъ въ „Скучной исторіи", „даже самый искусный аналитикъ не найдетъ того, что называется общей идеей или богомъ живого человѣка". Но это уже почти пройденная ступень для автора разсказовъ „Въ банѣ" на одномъ концѣ лѣстницы и „Въ оврагѣ"—на другомъ. Алехинъ тутъ же, еще во вступленіи, предъявляетъ своимъ слушателямъ нѣкоторую общую идею, обнимающую далеко не одинъ только тотъ случай, который онъ собирается разсказать. Онъ говоритъ: „Мы, русскіе порядочные люди... когда любимъ, то не перестаемъ задавать себѣ вопросы: честно это или нечестно, умно или глупо, къ чему поведетъ эта любовь и такъ далѣе... Хорошо это или нѣтъ, я не знаю, но что это мѣшаетъ, не удовлетворяетъ, раздражаетъ—это я знаю". Какъ видите, Алехинъ высказывается съ колебаніемъ. Оно и не удивительно, потому что общей формулы для всѣхъ безчисленныхъ комбинацій и варьяцій любовныхъ отношеній, конечно, быть не можетъ. И тѣмъ болѣе понятна осторожность Алехина, что, можетъ быть, ни подъ какимъ флагомъ не совершается столько грязныхъ подлостей, какъ подъ флагомъ любви. Однако, не такъ-же ужъ торчкомъ стоятъ отдѣльные относящіеся сюда случаи, чтобы было невозможно хоть какое нибудь частичное обобщеніе. И Алехинъ даетъ его.

Алехинъ любилъ нѣкую Анну Алексѣевну Лугановичъ, молодую, умную, красивую, обаятельную женщину. У нея былъ мужъ, почти старикъ, „неинтересный человѣкъ, добрякъ, простякъ, который разсуждалъ съ такимъ скучнымъ здравомысліемъ, на балахъ и вечеринкахъ держался около солидныхъ людей, вялый, ненужный, съ покорнымъ, безучастнымъ выраженіемъ, точно его привели сюда продавать, который вѣрилъ, однако, въ свое право быть счастливымъ, имѣть отъ нея дѣтей". И Алехинъ „все старался понять, почему она встрѣтилась именно ему, а не мнѣ, и для чего это нужно было, чтобы въ

нашей жизни произошла такая ужасная ошибка". Докторъ Рагинъ изъ „Палаты № 6" объяснилъ бы дѣло очень просто: тутъ нѣтъ ни нравственности, ни логики, а только одна случайность. И онъ былъ бы правъ, но отъ этого не легче тѣмъ, кого случайность бьетъ по сердцу. Анна Алексѣевна съ своей стороны тоже любила Алехина. И онъ это зналъ, вѣрнѣе, чувствовалъ, потому что они не обмѣнялись даже ни однимъ словомъ на эту страшную для нихъ тему. А страшна она для нихъ была вотъ почему. „Я любилъ нѣжно, глубоко, — разсказываетъ Алехинъ, — но я разсуждалъ, я спрашивалъ себя, къ чему можетъ повести наша любовь, если у насъ не хватитъ силъ бороться съ нею; мнѣ казалось невѣроятнымъ, что эта моя тихая, грустная любовь вдругъ грубо оборветъ счастливое теченіе жизни ея мужа, дѣтей, всего этого дома, гдѣ меня такъ любили и гдѣ мнѣ такъ вѣрили. Честно ли это? Она бы пошла за мной, но куда? Куда бы я могъ увести ее? Другое дѣло, если-бы у меня была красивая, интересная жизнь, если-бъ я, напримѣръ, боролся за освобожденіе родины или былъ знаменитымъ ученымъ, артистомъ, художникомъ, а то вѣдь изъ одной обычной, будничной обстановки пришлось бы увлечь ее въ такую же или еще болѣе будничную. И какъ бы долго продолжалось наше счастье?" Подобныя же сомнѣнія и колебанія одолѣвали и Анну Алексѣевну. Они молча любили другъ друга, отъ самихъ себя пряча свою тайну. И тяжело имъ было. „Минутами мнѣ становилась тяжела до слезъ эта роль благороднаго существа", — говоритъ Алехинъ. Тяжело было и ей. Она стала чаще уѣзжать то къ матери, то къ сестрѣ; на нее часто находило дурное настроеніе, она лѣчилась отъ разстройства нервовъ. Кончилось тѣмъ, что Лугановича перевели на службу въ другой городъ, а передъ тѣмъ Анна Алексѣевна уѣхала, по совѣту врачей, въ Крымъ. Провожая ее, Алехинъ уже незадолго до третьяго звонка вбѣжалъ къ ней въ купе, чтобы положить на полку одну забытую ею корзинку. „Когда тутъ, въ купе, взгляды наши встрѣтились, — разсказываетъ Алехинъ, — душевныя силы оставили насъ обоихъ, я обнялъ ее, она прижалась лицомъ къ моей груди, и слезы потекли изъ глазъ; цѣлуя ея лицо, плечи, руки, мокрыя отъ слезъ, — о, какъ мы были съ ней несчастны! — я признался ей въ своей любви, и со жгучей болью въ сердцѣ я понялъ, какъ ненужно, мелко и обманчиво было все то, что мѣшало намъ любить. Я понялъ, что когда любишь, то въ своихъ разсужденіяхъ объ этой любви нужно исходить съ высшаго и болѣе важнаго, чѣмъ счастье

и несчастье, грѣхъ или добродѣтель въ ихъ ходячемъ смыслѣ, или не нужно разсуждать вовсе"...

О, конечно, это рецептъ не для всѣхъ, но Алехинъ и указываетъ, для кого онъ годится и для кого не годится: нужно, чтобы на лицо было то „высшее". то „болѣе важное", съ высоты котораго равно пріемлемы счастье и несчастье. Алехинъ первый осудилъ бы примѣненіе своего рецепта безъ этого условія. Въ дѣйствительности бываетъ обыкновенно какъ разъ наоборотъ: Алехины и Анны Алексѣевны ломаютъ свою жизнь, а люди, за душой у которыхъ ничего „высшаго" нѣтъ, которые съ наслажденіемъ купаются въ грязи, свободно примѣняютъ Алехинскій рецептъ. Такова дѣйствительность, и ясно кажется, какъ дорога стала г. Чехову вертикальная линія къ небесамъ, то третье измѣреніе, которое поднимаетъ людей надъ плоской дѣйствительностью; какъ далеко ушелъ онъ отъ „пантеистическаго" (читай: атеистическаго) міросозерцанія. все принимающаго, какъ должное и развѣ только какъ смѣшное...

А бываютъ и такіе случаи („Дама съ собачкой" 1899 г.). Господинъ Гуровъ и госпожа фонъ-Дидерицъ (она и есть „дама съ собачкой") случайно встрѣтились въ Ялтѣ. Онъ женатъ, но жены не любитъ, да она и не стоитъ любви; она замужемъ, но по ея словамъ ея мужъ, „быть можетъ честный, хорошій человѣкъ, но вѣдь онъ лакей!" Гуровъ уже давно и постоянно измѣнялъ женѣ и о женщинахъ отзывается презрительно: „низшая раса". Но жить безъ этой низшей расы не могъ. „Въ его наружности, въ характерѣ, во всей его натурѣ было что-то привлекательное, неуловимое, что располагало къ нему женщинъ, манило ихъ; онъ зналъ объ этомъ, и самого его тоже какая-то сила влекла къ нимъ". Къ Аннѣ Сергѣевнѣ (такъ звали даму съ собачкой) онъ отнесся такъ же, какъ и къ другимъ женщинамъ: сошелся съ ней безъ настоящей любви, а такъ, по привычкѣ брать женщинъ. Она, молодая, легкомысленная, наивная, не знавшая жизни, отдалась тоже такъ, но потомъ полюбила его, не настолько однако, чтобы захотѣть соединить съ нимъ свою судьбу, хотя и называла его „необыкновеннымъ, возвышеннымъ" и горько плакала при разставаньи. Разъѣхались въ разныя стороны,— онъ въ Москву, она въ С. Такъ какъ въ дѣйствительности въ Гуровѣ не было ничего, „необыкновеннаго и возвышеннаго", то онъ зажилъ въ Москвѣ своею обычною пустою жизнью и думалъ, что черезъ какой-нибудь мѣсяцъ Анна Сергѣевна уйдетъ изъ его памяти, не оставивъ по себѣ никакого слѣда. Случилось, однако, иначе:

Анна Сергѣевна все назойливѣе и назойливѣе поднималась въ его памяти, и онъ, наконецъ, не выдержалъ, уѣхалъ въ С., а потомъ она, тоже не забывшая его, стала пріѣзжать къ нему въ Москву. Они видѣлись тайно и сравнительно рѣдко. Это ихъ мучило. „Только теперь, когда голова у него стала сѣдой, онъ полюбилъ по настоящему, какъ слѣдуетъ—первый разъ въ жизни. Они любили другъ друга, какъ очень близкіе люди, какъ мужъ и жена, какъ нѣжные друзья; имъ казалось, что сама судьба предназначила ихъ другъ для друга, и было непонятно, для чего онъ женатъ, а она замужемъ,—это было чудовищно; и точно это были двѣ перелетныя птицы, самецъ и самка, которыхъ поймали и заставили жить въ отдѣльныхъ клѣткахъ! Они простили другъ другу то, чего стыдились въ своемъ прошломъ, прощали все въ настоящемъ и чувствовали, что эта ихъ любовь измѣнила ихъ обоихъ“...

Въ обширномъ житейскомъ морѣ судьба столкнула Алехина и Анну Алексѣевну, Гурова и Анну Сергѣевну. Вотъ двѣ случайности, которыя могли-бы дать людямъ счастіе и полноту жизни. Но въ случайностяхъ нѣтъ ни нравственности, ни логики: обѣ пары встрѣтились слишкомъ поздно. Авторъ и они сами горько задумываются надъ этой безсмыслицей дѣйствительности, „реабилитировать“ которую, конечно, мудрено. Но безполезно также и задумываться надъ вопросомъ: зачѣмъ это такъ оскорбительно и мучительно все вышло? Слѣпая судьба—или какъ-бы мы ее ни называли: необходимая причинная связь всѣхъ явленій, естественный ходъ вещей—не знаетъ этого вопроса. Она даетъ отвѣтъ только на вопросъ: почему? Судьба не другъ и не врагъ людей, не злодѣйка и не благодѣтельница и ни за что не отвѣтственна. И только сами люди, вторгаясь въ причинную связь явленій со своими цѣлями, берутъ на себя отвѣтственность, связанную съ вопросомъ: „зачѣмъ?“ Страшная это бываетъ отвѣтственность, и все здѣсь зависитъ отъ достоинства цѣлей, ради которыхъ дѣлается тотъ или другой шагъ. Одно дѣло ялтинская дама, пріятно проводившая время съ Маметкуломъ и Сулейманомъ, и другое дѣло—Алехинъ и Анна Алексѣевна; одно дѣло Гуровъ въ началѣ знакомства съ Анной Сергѣевной и другое дѣло—онъ же въ концѣ разсказа. Имѣютъ ли онъ и Анна Сергѣевна право пользоваться Алехинскимъ рецептомъ, есть ли у нихъ такое „высшее“, во имя котораго можно и должно принять счастіе и несчастіе, свое и чужое,—это дѣло ихъ совѣсти. Насъ занимаетъ здѣсь г. Чеховъ, и, я думаю, нѣтъ надобности распространяться о томъ,

какая произошла въ немъ перемѣна и какія новыя стороны жизни ему открылись, какъ расширилось его пониманіе дѣйствительности и какъ усложнилось его отношеніе къ ней.

Старая тема г. Чехова—житейская пошлость продолжаетъ и теперь интересовать его. Но она уже не смѣшна для него, по крайней мѣрѣ, не только смѣшна, а и страшна, и ненавистна. „Человѣкъ въ футлярѣ" (1898 г.), учитель греческаго языка Бѣликовъ—ходячая, воплощенная пошлость. И, однако, это ничтожнѣйшее существо, безсознательно наглое и вмѣстѣ трусливое, пятнадцать лѣтъ держало гимназію и весь городъ въ страхѣ. „Мыслящіе, порядочные читаютъ и Щедрина, и Тургенева, разныхъ тамъ Боклей и прочее, а вотъ подчинились же, терпѣли... То-то вотъ оно и есть". Это „то-то вотъ оно и есть" символически выражаетъ недоумѣніе передъ силой пошлости: никакого объясненія люди не находятъ и только руками разводятъ. Когда почтмейстеръ Сладкоперцевъ распустилъ ложный слухъ, что его жена состоитъ въ любовной связи съ полицмейстеромъ Залихватскимъ, онъ зналъ, что дѣлалъ, зналъ нравы своего города: полицмейстера побоятся, онъ—власть. Но Бѣликовъ даже и не власть, онъ просто мрачный и тупой пошлякъ. И достаточно было одного смѣлаго человѣка, который грубо обругалъ его и буквально спустилъ съ лѣстницы, чтобы Бѣликовъ просто на просто заболѣлъ отъ огорченія и умеръ. Но этотъ смѣлый человѣкъ явился въ городъ только послѣ пятнадцати лѣтъ тиранического господства Бѣликова. Его „съ большимъ удовольствіемъ" похоронили, радуясь „свободѣ". „Но прошло не больше недѣли, и жизнь потекла по прежнему, такая же суровая, утомительная, безтолковая жизнь, не запрещенная циркулярно, но и не разрѣшенная вполнѣ; не стало лучше. И въ самомъ дѣлѣ, Бѣликова похоронили, а сколько еще такихъ человѣковъ въ футлярѣ осталось, сколько ихъ еще будетъ!—То-то вотъ оно и есть,—сказалъ Иванъ Иванычъ и закурилъ трубку. – Сколько ихъ еще будетъ! – повторилъ Буркинъ".

Такъ кончаетъ писатель, начавшій свою дѣятельность съ того, что каждымъ своимъ разсказцемъ говорилъ: весело жить на свѣтѣ, господа! Какое ужъ тутъ веселье, когда смѣлый человѣкъ, готовый спустить съ лѣстницы ничтожнаго пошляка, является въ пятнадцать лѣтъ разъ! Да и то еще остаются „человѣки въ футлярахъ" и люди только руками разводятъ: то-то вотъ оно и есть!

Я сказалъ: „такъ кончаетъ" г. Чеховъ. Слѣдовало-бы сказать: такъ продолжаетъ. Конца г. Чехову еще далеко не видно. За раз-

сказами „О любви“, „Крыжовникъ“, „Человѣкъ въ футлярѣ“, „Случай изъ практики“ онъ далъ широко задуманный и превосходно выполненный разсказъ „Въ оврагѣ“. И это новый шагъ впередъ. Я не буду передавать содержаніе „Въ оврагѣ“, потому что эта вещь еще у всѣхъ въ памяти. Не буду теперь вообще говорить о ней, какъ ничего не говорилъ о драматическихъ произведеніяхъ г. Чехова. Я пока хотѣлъ сказать лишь „кое-что“ о немъ.

XII *).

Объ „Альмѣ“, „трагедіи изъ современной жизни“ г. Минскаго.

„Нѣтъ необходимости, мой другъ, столь вящше изломиться“...

Рѣшительно не могу припомнить, гдѣ, кто и по какому случаю говоритъ эти слова у Щедрина, но они неотступно преслѣдовали меня при чтеніи „трагедіи изъ современной жизни“ г. Минскаго— „Альма“. Зачѣмъ, въ самомъ дѣлѣ, столь вящше изломились и самъ авторъ, и почти всѣ дѣйствующія лица трагедіи? Это ихъ дѣлаетъ только смѣшными (въ трагедіи-то!) и непонятными... Не рѣшилъ я этого вопроса, и познакомившись съ посвященной „Альмѣ“ статьей г. Батюшкова въ „Новостяхъ“, озаглавленной „Комедія и трагедія индивидуализма“. Г. Батюшкову очень нравятся нѣкоторые афоризмы, вложенные авторомъ въ уста различнымъ дѣйствующимъ лицамъ трагедіи, и, между прочимъ, такой: „Кто понялъ истину, тотъ понялъ ее для всѣхъ“. Долженъ признаться,—я не понимаю этого афоризма. Думаю, что есть много истинъ, которыя сквозь вѣка и вѣка остаются не всѣми поняты. Да и по мнѣнію г. Батюшкова, какъ будто не такъ ужъ просто распространяются истины. Сужу такъ потому, что въ концѣ своей статьи г. Батюшковъ выражаетъ еще только пожеланіе, „чтобы та истина, которую авторъ (г. Минскій) понялъ, стала бы истиной для всѣхъ“. Желаютъ люди часто недостижимаго, невозможнаго и во всякомъ случаѣ того, чего у нихъ въ данную минуту нѣтъ. И, значитъ, истина, понятая г. Минскимъ, не есть еще „истина для всѣхъ“. Я лично очень радъ этому обстоятельству, потому что не понимаю истины, понятой г. Минскимъ, а, согласитесь, обидно и непріятно не понимать того, что понимаютъ всѣ, что ясно, какъ „дважды два—четыре“ и другія всѣмъ

*) Май 1900 г.

понятныя истины. Но если бы г. Батюшковъ и не выразилъ своего, ограничивающаго истину г. Минскаго пожеланія, я бы всетаки твердо зналъ, что есть и кромѣ меня, по крайней мѣрѣ, еще одинъ человѣкъ, не понявшій этой истины. Этотъ одинъ — г. Батюшковъ. По мнѣнію почтеннаго критика, авторъ „Альмы“ „глубоко проникъ въ сущность міросозерцанія, которое основывается на *непомѣрномъ* возвеличеніи своего „я“, и указалъ намъ его крайнія проявленія“. Я думаю, что авторъ „Альмы“ считаетъ міросозерцаніе своей героини основаннымъ отнюдь не на „непомѣрномъ“, а, напротивъ того, на совершенно правомѣрномъ возвеличеніи своего „я“.

Вотъ стихотвореніе, которое г. Минскій предпослалъ, вмѣсто предисловія, своей трагедіи.

Нѣтъ двухъ путей добра и зла,
  Есть два пути добра.
Меня свобода привела
  Къ распутью въ часъ утра
И такъ сказала: двѣ тропы,
  Двѣ правды, два добра—
Раздоръ и мука для толпы,
  Для мудреца—игра.
То, что донынѣ средь людей
  Грѣхомъ и зломъ слыветъ,
Есть лишь начало двухъ путей,
  Ихъ первый поворотъ.
Сулитъ единство бытія
  Путь шумной суеты.
Другой безмолвенъ путь - суля
  Единство пустоты.
Сулятъ и лгутъ—и къ той же мглѣ
  Приводятъ гробовой.
Ты—призракъ Бога на землѣ,
  Богъ—призракъ въ небѣ твой.
Проклятье въ томъ, что не дано
  Единаго пути.
Блаженство въ томъ, что все равно,
  Какимъ путемъ идти.
Безпечно, какъ въ прогулки часъ,
  Ступай тѣмъ иль другимъ,
Съ людьми волнуясь и трудясь,
  Въ душѣ невозмутимъ.
Ихъ правду правдой отрицай,
  Любовью жги любовь.
Въ душѣ меня лишь созерцай,
  Лишь мнѣ дары готовь.

Моей улыбкой міръ согрѣй,
  Повѣдай всѣмъ, о чемъ
Съ тобою первымъ изъ людей
  Теперь шепчусь вдвоемъ.
Скажи, я свѣточъ имъ зажгла
  Невѣдомый вчера.
Нѣтъ двухъ путей добра и зла,
Есть два пути добра.

Г. Батюшковъ называетъ это стихотвореніе „нѣсколько туманнымъ по меньшей мѣрѣ". Да, нѣсколько по меньшей мѣрѣ... Но сквозь этотъ туманъ ясно видно, по крайней мѣрѣ, одно: „въ часъ утра" (?) свобода шептала г. Минскому „первому изъ людей" истину. Ну, а что „непомѣрное" возвеличеніе своего „я" ведетъ къ дурнымъ послѣдствіямъ, это и мы съ г. Батюшковымъ давно знаемъ, не будучи первыми изъ собесѣдниковъ свободы въ часъ утра. Стало быть, что-то иное хотѣлъ сказать г. Минскій...

Г. Минскій есть первый человѣкъ, съ которымъ бесѣдовала свобода, но не въ первый разъ бесѣдуютъ съ нимъ воплощенныя отвлеченія высокаго ранга. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ съ нимъ говорила совѣсть. Наслушавшись частью „при свѣтѣ совѣсти", частью непосредственно отъ нея разной премудрости о томъ, какъ существовало абсолютно несуществующее и затѣмъ перестало существовать, г. Минскій пришелъ къ такому заключенію: „Да будутъ благословенны страданія несовершеннаго міра! Да будетъ благословенно отсутствіе любви, истины, свободы! Да будутъ благословенны достовѣрныя знанія науки, хрупкіе образы искусства, безцѣльныя дѣла самолюбія и столь же безцѣльные подвиги самоотреченія,—эти четыре рода орудій, которыми человѣкъ высѣкаетъ изъ своей души спящій въ ней мистическій пламень!" „Свобода", отсутствіе которой было нѣсколько лѣтъ тому назадъ благословенно, менѣе щедра, чѣмъ „совѣсть": она рекомендуетъ не четыре противорѣчивыхъ, но равно цѣнныхъ пути, а только два, при томъ не столь опредѣленныхъ. Но это и не важно: „блаженство въ томъ, что все равно, какимъ путемъ идти; безпечно, какъ въ прогулки часъ, или тѣмъ иль другимъ... Нѣтъ двухъ путей добра и зла, есть два пути добра".

Г. Батюшковъ счастливѣе меня, онъ эту истину понялъ. Очень боюсь, однако, что его пожеланіе, чтобы эта истина стала истиной для всѣхъ, не исполнится...

Я не могу отойти отъ статьи г. Батюшкова, не сдѣлавъ еще одного замѣчанія по ея адресу. Статья, какъ уже сказано, назы-

вается „Комедія и трагедія индивидуализма“. Рѣчь въ ней идетъ о двухъ произведеніяхъ: комедіи г. Боборыкина „Накипь“ и трагедіи г. Минскаго „Альма“. И почтенный критикъ начинаетъ свою статью ссылкой на нѣсколько словъ, сказанныхъ мною о „Накипи“, а именно на мое сѣтованіе, что г. Боборыкинъ не бросилъ „хоть намека на то, что если не въ личностяхъ Переверзева, Воробьиной и т. п., то въ ихъ рѣчахъ съ чужого голоса есть нѣчто серьезное и грозное“. И вотъ, „какъ бы въ доказательство“ этого моего положенія о существованіи чего-то серьезнаго и грознаго тамъ, гдѣ г. Боборыкинъ увидѣлъ только комическое, „является новое произведеніе г. Минскаго“...—Не могу согласиться съ г. Батюшковымъ: въ трагедіи г. Минскаго нѣтъ рѣшительно ничего серьезнаго и грознаго, да и не можетъ этого быть тамъ, гдѣ и авторъ, и дѣйствующія лица столь вящше изломились. Не вижу также, почему это „трагедія индивидуализма“. „Какое хочешь имя дай“ произведенію г. Минскаго,—чепухизмъ, ерундизмъ, но только не индивидуализмъ. Это послѣднее слово, пущенное когда-то въ ходъ Луи Бланомъ для характеристики историческаго періода, отдѣляющаго періодъ „авторитета“ отъ грядущаго періода „братства“, требуетъ нынѣ особенно осмотрительнаго къ себѣ отношенія, а съ ерундизмомъ смѣшивать его ужъ ни въ какомъ случаѣ не полагается. Кстати же оно только одинъ разъ и поминается въ трагедіи. А именно нѣкій докторъ Стрижъ (мы сейчасъ съ нимъ познакомимся) утверждаетъ: „Будущее принадлежитъ силѣ отталкиванія, одиночеству, *индивидуализму*, жестокости“. Но въ какомъ смыслѣ это понимать надо,—не разъясняется.

За то въ трагедіи часто поминаютъ другое слово — „свобода“. Если г. Минскій говоритъ, что свобода ему первому изъ людей сообщила истину, то Альма въ свою очередь сообщаетъ, что она „первая затѣяла борьбу за свободу“. Свобода, свободы, свободѣ, свободу, свободою, о, свобода!—во всѣхъ падежахъ. Но въ одномъ изъ слышанныхъ мною разговоровъ объ „Альмѣ“ одна умная женщина замѣтила: что же это за свобода, когда героиня трагедіи боится отдаться какому-бы то ни было своему чувству и на каждомъ шагу вяжетъ себя по рукамъ и по ногамъ!—Ниже читатель убѣдится, насколько цѣнно это замѣчаніе.

Настоящее имя Альмы—Александра Васильевна Лунина, въ замужествѣ Сухонина. Когда она полюбила своего будущаго мужа, то, по словамъ ея дяди, „много она съ нимъ чудила: письма, цвѣты, разговоры; даже имя себѣ перемѣнила; вмѣсто Али стала по ино-

странному Альмой называться". Положимъ, что Александра Васильевна и раньше много чудила, но трагедія застаетъ ее въ моментъ любви къ Сухонину, и одинъ изъ первыхъ шаговъ на этомъ пути есть превращеніе Александры въ Альму. Еще бы! столь вящше изломившаяся дѣвица, и вдругъ Александра, просто Александра, а уменьшительно или ласкательно Саша, Саня, да и Аля... какой моветонъ и даже фидонкъ! Это чрезвычайно характерная подробность, которая дѣлала бы честь художественному чутью г. Минскаго, если бы онъ писалъ сатиру; но „Альма" есть апоѳеозъ женщины, которая первая затѣяла борьбу за свободу, за ту самую свободу, которая г. Минскому, первому изъ людей, прошептала истину. Во всякомъ случаѣ къ Александрѣ Васильевнѣ очень идетъ это переименованіе въ Альму, но этотъ невольный, безсознательный даръ правдѣ есть едва ли не единственный истинно художественный штрихъ во всей трагедіи. Она не художественна уже потому, что лишена не только всякой оригинальности,—а и это уже убійственно для „перваго изъ людей",—но и цѣльности. Это рядъ подражаній—то Метерлинку, то Ибсену, Ничше, наконецъ, Л. Толстому („блаженненькій старичокъ" Тихонъ Іонычъ). Если, погнавшись за двумя зайцами, не поймаешь ни одного, если „въ одну телѣгу впрячь не можно коня и трепетную лань", то, конечно, лишь цѣною уродства можно склеить до прозрачности ясную реальность образовъ Толстого съ неопредѣленными, туманными, внѣ времени и пространства движущимися фигурами Метерлинка, съ полубезумными рѣчами Заратустры, съ наркотиками Гюисманса и проч. И г. Минскій полностью внесъ эту цѣну безобразія въ прямомъ и переносномъ смыслѣ этого слова. Во-первыхъ, хотя его дѣйствующія лица почти всѣ курятъ словесные фиміамы передъ красотой, но въ самой трагедіи нѣтъ никакой красоты. Во-вторыхъ, въ ней нѣтъ живыхъ образовъ, а есть только ходячія отвлеченія, сухія теоріи, а то такъ просто слова, лишенныя всякаго смысла; до такой степени лишенныя смысла, что иной разъ поневолѣ думаешь: нѣтъ, это не серьезно, это пародія на что-то, злая насмѣшка надъ чѣмъ-то. Не угодно-ли понять, напримѣръ, такой афоризмъ Альмы: „Все живое безмолвствуетъ, а говорить можно только о томъ, что умерло. Жизнь молчитъ и только смерть болтлива, хотя люди думаютъ противное". Допустимъ, что второе предложеніе заключаетъ въ себѣ какой-то глубокій смыслъ, неуловимый для простыхъ смертныхъ, съ которыми еще не шепталась свобода. Но грамматику-то вѣдь и мы знаемъ, такъ вотъ доберитесь только до грамматическаго смысла перваго

предложенія. „Все живое безмолвствуетъ, а говорить можно только о томъ, что умерло“... Что же „можетъ говорить о томъ, что умерло“? Ясно,—то, что еще не умерло, то есть живое, но вѣдь все живое безмолвствуетъ... Такіе логическіе и грамматическіе перлы въ изобиліи разсыпаны по трагедіи г. Минскаго. А вотъ образчикъ пародіи на Метерлинка. Три человѣка, стоя у окна, бесѣдуютъ:

Вета. Какой густой снѣгъ.

Альма. И чуть коснувшись земли, хлопья исчезаютъ, превращаются въ грязь.

Будаевскій. Вдали они образуютъ сплошную дрожащую сѣть. И на сѣромъ мелькающемъ фонѣ отдѣльные хлопья, большіе и бѣлые, летятъ во всѣ стороны.

Вета. Многіе летятъ къ верху, какъ будто хотятъ вернуться на небо.

Альма. Но ихъ собственная тяжесть увлечетъ ихъ на землю.

Вета. На мокрую черную землю.

Будаевскій. Идетъ война между небомъ и землей.

Вета. Всѣ облака превратились въ снѣгъ.

Будаевскій. Всѣ звѣзды превратились въ снѣжинки и упали съ неба.

Альма. И земля побѣждаетъ, земля сильнѣе неба.

Будаевскій. Но гдѣ-то горныя вершины покрыты нетающимъ снѣгомъ.

Альма. Горныя вершины далеки отъ земли.

Вета. На горныхъ вершинахъ не течетъ вода.

Альма. Лучи солнца скользятъ мимо горныхъ вершинъ.

Вета. До горныхъ вершинъ не доходитъ вѣтеръ съ моря.

Альма. Горныя вершины купаются въ эфирѣ.

Какъ пародія, эта было бы довольно удачно, но г. Минскій и не думаетъ о пародіи, онъ пишетъ съ мрачною серьезностью перваго изъ людей, съ кѣмъ говорила свобода...

Оставимъ, однако, творческіе пріемы г. Минскаго. Ниже намъ, вѣроятно, придется еще встрѣтиться съ ними по пути, а теперь обратимся къ содержанію трагедіи и къ характеристикѣ дѣйствующихъ лицъ, главнымъ образомъ, конечно, Альмы.

Альма, перлъ созданія, гордящаяся, какъ она сама говоритъ, „красотою тѣла и чистотой души“, — отравилась. Отравилась потому, что осталась при одной красотѣ тѣла, а чистоту души утратила,— полюбила мужчину, и одна мысль объ этомъ униженіи повергаетъ ее въ такой ужасъ, что она рѣшается умереть. Но вы понимаете, что если героиня трагедіи въ трехъ дѣйствіяхъ отравляется въ самомъ началѣ перваго дѣйствія, то умретъ она никакъ не раньше, какъ въ концѣ третьяго. Такъ и вышло: поэтическую Альму, при помощи совершенно не поэтическаго рвотнаго, спасъ докторъ Стрижъ; спасъ и

тотчасъ же въ нее влюбился, не смотря на свою непоэтическую фамилію и не смотря на то, что, по справедливому и горестному замѣчанію Альмы, „долженъ былъ видѣть много некрасиваго". Оно естественно послѣ рвотнаго-то, но докторъ Стрижъ галантно возражаетъ: „Все, что я здѣсь видѣлъ, было красиво". Докторъ Стрижъ морфиноманъ, а Альма, по его опредѣленію, эротоманка. Но это особенная, „самая новѣйшая" эротоманія, „недугъ завтрашняго дня", а пока—„изъ десяти современныхъ женщинъ одна эротоманка". Это — „культъ любви, которая пуще всего боится удовлетворенія, счастья, ласки... эротоманки вѣчно бродятъ вокругъ да около чувственности, всѣми силами возбуждаютъ чувственность, а потомъ вдругъ отъѣзжаютъ на платонизмѣ. Развратное цѣломудріе или цѣломудренный развратъ". Это—опредѣленіе доктора Стрижа, а самой Альмѣ онъ въ лицо говоритъ: „Передъ вашей чистотой развратъ Мессалины кажется невинностью". Это не мѣшаетъ доктору Стрижу любить Альму, и не только не мѣшаетъ: ему, морфиноману, именно и нужно такое постоянное возбужденіе безъ удовлетворенія. Она „желаетъ, чтобы всѣ ее напрасно желали", а онъ желаетъ напрасно желать, но, къ несчастію, Альма ужъ любитъ и желаетъ Сухонина, а этотъ послѣдній не желаетъ напрасно желать. Оттого-то Альма, унизившаяся до любви-желанія, и отравилась...

Докторъ Стрижъ имѣетъ и нѣкоторую философско-историческую идею въ объясненіе характера и поведенія Альмы: она—мстительница за гаремное положеніе женщины, ея историческая миссія—мучить былыхъ владыкъ. Сама Альма смотритъ на дѣло нѣсколько иначе. Она видитъ историческую миссію женщины въ томъ, чтобы „зажигать любовь, освѣщать, очищать жизнь любовью". Но не всѣ женщины способны выполнить эту миссію. Для этого нужно обладать нѣкоторыми особенными качествами. Нужна, во-первыхъ, „красота тѣла",—это понятно и безъ поясненій. Нужна, во-вторыхъ, „чистота души". Это уже помудренѣе. Чистота души Альмы столь велика, что даже слово „ласка" ей „ненавистно"! Она, какъ говоритъ докторъ Стрижъ, „изъ святости, изъ цѣломудрія сдѣлала орудіе пытки", а сама она „рѣшила быть солнцемъ, чтобы души людей недосягаемо къ ней стремились и расцвѣтали любовью". Ей приходилось (опять таки ея собственное показаніе) „быть жестокой, разбивать семьи, видѣть много слезъ, но оправданіе ея было въ ней самой—ея чистота". Она „та, кто любитъ слова любви": душа и словесное выраженіе ея движеній,—ей больше ничего не нужно, ибо все остальное грязь

и „некрасиво“. Она и съ влюбленныхъ въ нее мужчинъ беретъ „обѣщаніе чистоты“. Наконецъ, третье условіе исполненія исторической миссіи женщины есть умѣнье лгать. „Въ любви, — говоритъ Альма,—кромѣ внѣшней лжи, можетъ быть, ненужной, есть еще необходимая ложь. Чтобы стать для кого нибудь желанной, надо двигаться, говорить, думать, какъ это дѣлалъ бы его идеалъ“. И въ дѣлѣ лживости Альма никому не уступитъ. Въ дневникѣ ея, между прочимъ, написано: „Всѣхъ, кого судьба приведетъ ко мнѣ, я хочу любовью исцѣлить отъ уродства жизни. Но каждый изъ нихъ хочетъ, чтобы его любовь стала единственной. И я лгу и притворяюсь, но развѣ жрецы всѣхъ временъ не лгали? Ложь, это — калоши, въ которыхъ я перехожу въ бродъ черезъ ихъ безсиліе“. Этими поэтическими калошами Альма владѣетъ въ совершенствѣ. Такъ, передъ своимъ неудавшимся самоубійствомъ она разослала своему будущему мужу Сухонину, влюбленному въ нее художнику Будаевскому, по прозванію Ландышъ, „и другимъ“ письма, начинавшіяся одними и тѣми же словами: „умираю, потому что люблю васъ“...

Это наводитъ на слѣдующую мысль: не была ли и попытка самоубійства Альмы лишь одною изъ „калошъ“? Провести такого полоумнаго морфиномана, какъ докторъ Стрижъ, не трудно, а драматизированіе своего положенія, безъ поврежденій себѣ, очень идетъ къ Альмѣ. Чего не налжетъ такая столь вящше изломившаяся и столь изолгавшаяся дѣвица для трагической красоты положенія! Во всякомъ случаѣ эта трагическая калоша свободно входитъ, какъ одна изъ подробностей, въ составъ образа Альмы. Что же касается двухъ другихъ условій, необходимыхъ для осуществленія исторической миссіи женщины, то въ одномъ изъ нихъ, въ „красотѣ тѣла“ Альмы, мы не имѣемъ права сомнѣваться или, по крайней мѣрѣ, должны вѣрить автору на слово, полагаясь на его вкусъ. Иное дѣло „чистота души“. Уже сами по себѣ калоши лжи бросаютъ сюда нѣкоторый лучъ сомнѣнія. Всѣмъ намъ приходится, если не лгать, то, по малой мѣрѣ, не говорить правды—такъ ужь дѣла на нашей грѣшной землѣ устроились. Но возводить ложь, какъ одинъ изъ существенныхъ элементовъ, въ жизненный принципъ, въ систему,—это едва-ли примиримо съ „чистотой души“. А если разумѣть подъ этой чистотой тотъ спеціальный ея видъ, который разумѣетъ сама Альма, не видящая во лжи никакого ущерба своей чистотѣ, то окажется слѣдующее. Альма отбираетъ у влюбленныхъ въ нее женатыхъ мужчинъ обручальныя кольца и дѣлаетъ себѣ изъ нихъ цѣпочку для медаль-

она, какъ „знакъ своей власти". Женѣ доктора Стрижа, кольцо котораго какъ разъ закончило цѣпочку, Альма говоритъ въ отвѣтъ на ея упреки: „каждое изъ этихъ колецъ я добыла чистотою души и красотою тѣла, и по царски расплачивалась за нихъ". Въ чемъ же состояла эта царски щедрая расплата? Отъ самой Альмы мы узнаемъ, что художникъ Будаевскій, по прозванію Ландышъ, „сажалъ ее къ себѣ на колѣни" и дѣлалъ съ ней еще что-то, объ чемъ она „не въ силахъ вспомнить". Къ Сухонину она сама сдѣлала „первый шагъ". „Вотъ здѣсь въ этой комнатѣ,—разсказываетъ она,—я стала цѣловать его, прижимать его руки къ своей груди, чувствовала ихъ робкую неподвижность и еще сильнѣе прижимала... Я первая предложила ему говорить мнѣ: ты. Я доводила его своими ласками до безчувствія, и онъ тихо спрашивалъ: кто научилъ тебя такъ цѣловать?" Принимая въ соображеніе, что, готовясь къ самоубійству, Альма не только Сухонину и Будаевскому написала: „умираю, потому что люблю васъ", а „и другимъ"; принимая это въ соображеніе, надо признать, что и по части „тѣла" она была дѣвица опытная уже до перваго дѣйствія трагедіи. Но и во второмъ дѣйствіи, черезъ три слишкомъ года, она „не уклонялась отъ ласкъ" Будаевскаго. Можетъ быть, это и очень щедрая расплата, но едва ли вполнѣ приличествуетъ „святости", „цѣломудрію", солнцеподобію, „недосягаемости", „чистотѣ"... Альма боялась „уродства беременности", но внѣ этого была, повидимому, дѣйствительно очень щедра...

Еще одна черта характера Альмы. Въ дневникѣ ея записано: „Довольствоваться любовью одного человѣка такъ же странно, какъ довольствоваться исцѣленіемъ одного больного". Поэтому-то она и устраиваетъ себѣ цѣлую цѣпочку изъ обручальныхъ колецъ и пишетъ Сухонину, Будаевскому „и другимъ": „умираю, потому что люблю васъ". Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы „странное" для ея солнцеподобія было и для прочихъ смертныхъ странно, чтобы правило ея жизни было обязательно или даже только дозволительно для людей вообще. Она „не можетъ допустить, чтобы ей говорилъ о любви тотъ, кто отъ нея уйдетъ къ другой женщинѣ". Сажай ее къ себѣ на колѣни и вообще пользуйся ея щедротами, но отнюдь не думай, что странно довольствоваться любовью одного человѣка. „Отъ всѣхъ, кто меня любилъ,—говоритъ она, — я требовала новой жизни и, конечно, разрыва съ прежней семьей". И вообще она столь строга къ другимъ, что спрашиваетъ Сухонина: „Зачѣмъ ты остригъ волосы, не спросясь?" Въ разговорѣ

съ женой доктора Стрижа она въ двухъ сосѣднихъ репликахъ, отдѣляемыхъ, буквально, десятью словами собесѣдницы, высказываетъ слѣдующее: „Я не привыкла, чтобы другіе распоряжались моей волей“, и: „Еще никто не уходилъ отъ меня по доброй волѣ“.

Это — не индивидуализмъ, г. Батюшковъ! Индивидуализмъ ставитъ въ центрѣ міропониманія личность, какъ таковую, а не г-жу солнцеподобную Альму; онъ требуетъ уваженія къ личности, своей и чужой. Это деспотизмъ, аристократизмъ, эгоизмъ, „эготизмъ“, „ячество“ (терминъ покойнаго Шелгунова), все, что хотите, но ни въ какомъ случаѣ не индивидуализмъ.

По французской поговоркѣ, всякій дуракъ находитъ еще большаго дурака, который имъ восхищается. Это относится не только къ глупости, а и къ дрянности, и къ изломанности, которая, впрочемъ, всегда граничитъ если не съ прирожденной, хронической глупостью, то съ острой одурѣлостью. Я не удивляюсь поэтому, что Альма окружена поклонниками и поклонницами, видящими въ ней и въ самомъ дѣлѣ чуть не божество; тогда какъ на самомъ-то дѣлѣ она даже до невѣроятности пустая, дрянная и безъ всякаго основанія самовлюбленная дѣвченка, обращающаяся со второго дѣйствія въ пустую, дрянную и безъ всякаго основанія самовлюбленную бабенку. Не удивляетъ меня и то, что г. Минскій создалъ эту комбинацію: для него „нѣтъ двухъ путей добра и зла, есть два пути добра“. Но какъ бы ни относился онъ къ солнцеподобію Альмы вообще, позволительно спросить: почему предоставилъ онъ ей роль перваго борца за свободу? Оставимъ въ покоѣ тѣни тѣхъ тысячъ и тысячъ людей, которые раньше боролись за свободу и усѣяли поле жизни своими костями. Пусть вся сумма напряженности ихъ мысли и вся пролитая ими кровь ничего не стоитъ въ сравненіи съ единымъ какимъ нибудь вздоромъ, слетѣвшимъ съ устъ божественной Альмы. Пусть. Но, согласитесь—какой же это борецъ за свободу, который дѣлаетъ выговоръ другому человѣку: „зачѣмъ ты остригся, не спросясь?“ Какихъ хитросплетенныхъ понятій ни вставляй въ слово „свобода“, а изъ обязанности спрашивать позволенія остричься элемента свободы не сдѣлаешь. Скажутъ: это внѣшность, а дѣло идетъ о внутренней свободѣ, которую, по выраженію г. Батюшкова, можно усмотрѣть только при помощи своего рода Рентгеновыхъ лучей. Если, однако, отъ Альмы никто „по своей волѣ не уходилъ“,

то и Рентгеновы лучи тутъ свободы не откроютъ. Да вѣдь Альма и не скрываетъ, что ей нужны не свободные люди, а рабы: не даромъ она сдѣлала себѣ цѣпочку изъ колецъ, какъ „знакъ власти“ своей. Но эта курьезная цѣпочка имѣетъ двоякое значеніе: она есть символъ не только власти Альмы, а, пожалуй, еще въ большой степени ея рабства. Какъ она добываетъ кольца—звенья этой цѣпочки? Вы помните,—она должна была надѣвать „калоши“ лжи, по просту лгать, „двигаться, говорить, думать, какъ это дѣлалъ бы идеалъ“ того, чье кольцо она хочетъ получить. Если лживость вообще есть одинъ изъ характернѣйшихъ признаковъ рабской натуры, то подумайте, какой рабой въ частности должна быть Альма, никогда не будучи сама собой и постоянно поддѣлываясь подъ чужія требованія. Какая ужъ это свобода!

И я возвращаюсь къ вопросу: почему же г. Минскій возложилъ на Альму столь спеціально неподходящую для нея роль борца за свободу? Можно бы еще спросить: какой она борецъ вообще, за что бы то ни было, когда она сама говоритъ: „бороться уродливо и побѣждать уродливо, потому что побѣда—то же насиліе и поврежденіе“; и еще: „я боюсь поступковъ; въ каждомъ изъ нихъ, въ добромъ и зломъ, есть что-то дешевое, механическое, размахъ и навыкъ машины“. Но это мы лучше оставимъ, потому что въ дѣйствительности Альма совершаетъ цѣлый рядъ поступковъ, при томъ чрезвычайно рѣшительныхъ: мы видѣли, что при добываніи колецъ для цѣпочки ей „приходилось быть жестокой, разбивать семьи, видѣть много слезъ“, затѣмъ она отравилась (или продѣлала комедію самоотравленія), а далѣе насъ ждетъ еще цѣлый рядъ ея поступковъ, изумительныхъ по своей смѣлости и рѣшительности. Итакъ, оставимъ это странное недоразумѣніе—ихъ не оберешься въ трагедіи г. Минскаго—и сосредоточимся на причинахъ выбора г. Минскимъ Альмы въ представительницы свободы.

Я думаю, дѣло происходило такъ. Г. Минскій давно уже обуреваемъ нѣкоторымъ сумбуромъ мысли, сказавшимся, какъ въ его зигзагообразной литературной дѣятельности вообще, такъ въ особенности въ книжкѣ „При свѣтѣ совѣсти“. Поэтъ онъ былъ когда-то яркій, ясный и многообѣщающій. Но обѣщанія эти лопнули, какъ лопается пузырь, проколотый иголкой; роль иголки выполнилъ въ данномъ случаѣ сумбуръ мысли и, какъ результатъ этого сумбура, пламенное желаніе сказать нѣчто новое, совершенно оригинальное, отъ сотворенія міра неслыханное,—это общая болѣзнь нашего бѣд-

наго настоящею оригинальностью времени. Въ книжкѣ „При свѣтѣ совѣсти“ онъ и попытался дать такое неслыханное. Попытка вышла неудачною, частью потому, что, помимо сумбура мысли, въ книжкѣ философія подмѣнена поэзіей, да еще поэзіей дурного, напыщеннаго тона. Теперь съ г. Минскимъ, „съ первымъ изъ людей“, пошепталась свобода, проще говоря, онъ составилъ себѣ извѣстное понятіе объ истинной свободѣ, которое кажется ему неслыханно новымъ и оригинальнымъ. Но, наученный опытомъ, онъ уже не пытается изложить свои мысли въ философскомъ трактатѣ, а прибѣгаетъ къ болѣе привычной и болѣе свойственной ему художественной формѣ. Къ сожалѣнію, онъ попадаетъ при этомъ изъ огня въ полымя. Если въ книжкѣ „При свѣтѣ совѣсти“ философія подмѣнялась поэзіей въ видѣ слишкомъ громкихъ метафоръ, крикливыхъ до невозможности образовъ, цвѣтистыхъ, напыщенныхъ до безсодержательности фразъ, то въ „Альмѣ“—произведеніи художественномъ—мы имѣемъ явно намѣренную сухость, схематичность, безцвѣтность, безжизненность образовъ; не говоря уже о разныхъ весьма не поэтическихъ „калошахъ“ и т. п. и о мозаично-подражательномъ характерѣ всей трагедіи. Но этого мало. Въ чемъ состоитъ неслыханно новое понятіе объ истинной свободѣ, это мы сейчасъ увидимъ (оно столь же мало оригинально, какъ и самая форма трагедіи, если не считать нѣкоторыхъ завитушекъ). Какъ бы то ни было, но въ тотъ „часъ утра“, когда свобода шепталась съ г. Минскимъ, передъ нимъ мелькалъ совершенно посторонній этой свободѣ женскій образъ. Увлекшись этимъ образомъ до того, что ему стали милы даже всѣ его очевидныя дрянности и утратилось всякое различіе между добромъ и зломъ, онъ чисто механически вдвинулъ его въ свою трагедію, имѣвшую цѣлью поэтическое воспроизведеніе новаго понятія о свободѣ, сдѣлалъ изъ въ конецъ изломанной и изолгавшейся Альмы носительницу совершенно чужого ей принципа.

Посмотримъ же на этотъ принципъ по возможности независимо отъ Альмы, а остальныхъ дѣйствующихъ лицъ трагедіи и совсѣмъ обойдемъ. Всѣ они тонутъ въ лучахъ солнцеподобной героини, а мнѣ кажется, я и безъ того слишкомъ долго занимаю вниманіе читателей трагедіей г. Минскаго. Можно бы было очень позабавиться, напримѣръ, сестрой Альмы, Ветой (Елизавета), которая время отъ времени ни къ селу, ни къ городу выпаливаетъ два слова: „нѣтъ страданій“, „страданій нѣтъ“; и никто не догадается спросить—что это значитъ? и къ чему это она? и почему, утверждая на стр. 55,

85, 137, 200: „нѣтъ страданій“, она на стр. 64—65 говоритъ: „Я такъ боюсь страданій, что одна мысль о нихъ внушаетъ мнѣ гадливость. Прежде, когда Ландышъ плакалъ, я его жалѣла, а жалѣть значитъ уже страдать. Страданія кажутся мнѣ чѣмъ-то въ родѣ клоповъ (?!) За всѣми подобными „серьезными и грозными“, трагическими забавностями въ „Альмѣ“ не угоняешься. Можетъ быть, впрочемъ, кое-что изъ нихъ и придется помянуть.

Альма „пала“, то есть полюбила обыкновенною человѣческою любовью, вышла замужъ, а вслѣдъ затѣмъ испытала „уродство беременности“ и родила дѣвочку. Отъ всего этого она чувствуетъ ущербъ не только своей небесной красотѣ (личная черта самой Альмы), но и свободѣ (черта философіи г. Минскаго). Ее мучитъ сознаніе опредѣленной привязанности къ мужу и дочери. „Принудительная, навязанная судьбой любовь къ опредѣленному существу“ кажется ей „унизительнымъ рабствомъ“. Поэтому, когда она забеременѣла, она рѣшила, что они будутъ жить съ мужемъ, „какъ братъ съ сестрой“ (что, впрочемъ, не мѣшаетъ ей „не уклоняться отъ ласкъ“ Будаевскаго); а родивъ дѣвочку и сама выкормивъ ее, она предприняла чрезвычайно сложное и смѣлое дѣло. Она устроила пріютъ для дѣтей, первое условіе пріема которыхъ состоитъ въ отказѣ родителей отъ какихъ бы то ни было правъ на нихъ. Родителямъ не выдаются никакія квитанціи, и они, если бы администрація пріюта съ Альмой во главѣ даже пожелала возвратить имъ ребенка, не могутъ его получить обратно, потому что не могутъ его узнать. Администрація сдѣлала все, чтобы даже отъ самой себя скрыть происхожденіе дѣтей: сидѣлки мѣнялись, дѣтей ночью, въ темнотѣ, переносили изъ кровати въ кровать, изъ комнаты въ комнату. Дочь Альмы содержалась отдѣльно, но это не была ея дочь, потому что она тоже вошла въ общую перетасовку, и это знала толька она, да ея помощница, но не знали ни ея сестра, ни мужъ, ни мать мужа. Все это Альма продѣлываетъ во имя свободы отъ материнскаго инстинкта. Въ сценахъ, представляющихъ очень плохое подражаніе нѣкоторымъ моментамъ изъ Ибсеновыхъ „Эллиды“ и „Маленькаго Эйольфа“, Альму какая-то магнетическая сила тянетъ къ ея настоящей дочери, изображается борьба свободы съ инстинктомъ, „свободной Альмы“ съ „первобытной самкой“. Подложная дочь Альмы умерла, и только тогда тайна открылась для мужа Альмы и его матери, которые пришли въ ужасъ отъ жестокости опыта (насколько способны выразить ужасъ такія деревянныя фигуры), но

очень быстро перемѣнили это настроеніе на восторгъ передъ величіемъ души Альмы. Они остались блюсти за пріютомъ, а Альма, вмѣстѣ съ своей помощницей, устроила больницу для прокаженныхъ, въ которой и поселилась. Ушла она въ этотъ міръ болѣзни, скорби и безобразія, ради все той же свободы. „Мнѣ казалось,—говоритъ она,—что я не смогу свободно любить красоту, если не примирюсь съ безобразіемъ". „Чтобы стать свободной, нужно было переломить себя, вырвать съ корнемъ всѣ инстинкты и привязанности, совершить нѣчто ужасное, мучительное, можетъ быть и безцѣльное". Ради опять таки свободы Альма, рискуя заразиться, христосуется съ прокаженными. Она хочетъ этимъ актомъ „убить привязанность къ себѣ самой, сдѣлать то, противъ чего возмущается вся ея природа, обнять безобразіе". А когда она заразилась, ея сестра и помощница рѣшаютъ отравить ее, потому что – „Альма и безобразіе, этотъ союзъ долженъ быть порванъ какъ можно скорѣе". Альму отравляютъ, но сообщаютъ ей объ этомъ уже post factum; однако, она умираетъ спокойно, завѣщая своей помощницѣ: „Соня, молю тебя, не унижайся до любви къ человѣку, кто бы онъ ни былъ. Люби безличное, безсодержательное, нечеловѣческое".

Эта проповѣдь любви къ безличному, безсодержательному, нечеловѣческому очень сближаетъ Альму съ окружающими, благоговѣйно и молитвенно предъ ней преклоняющимися. Такъ. художникъ Будаевскій объявляетъ, что „въ живописи содержаніе ничего не значитъ" и что онъ „рѣшилъ писать картины безъ всякаго содержанія". Вета заявляетъ, что на лицахъ его картинъ и „не должно быть никакого выраженія; есть-же такая глубина, куда выраженіе уже не доходитъ". Когда Альма похристосовалась съ прокаженными, то, по словамъ ея помощницы, на лицѣ ея „была полнота выраженія и потому отсутствіе всякаго опредѣленнаго выраженія". За итогъ всѣхъ этихъ слагаемыхъ можно принять слова Альмы, обращенныя къ прокаженнымъ: „Когда вы оглядываетесь вокругъ себя, на судьбу, на прошлое, на будущее,—не правда ли, вы видите священную пустоту, и вы свободны"...

„Священная пустота"... Это напоминаетъ мнѣ буддійское требованіе: стараться „уразумѣть смыслъ основныхъ свойствъ пустоты", то есть того, что не имѣетъ никакихъ свойствъ и опредѣляется только отрицательными чертами, — „бездна пустоты безъ протяженья и границъ, безъ неба, свѣта и свѣтилъ, безъ времени, безъ дней и лѣтъ, безъ благъ и бѣдъ, ни жизнь ни смерть". Но и вообще тен-

денція трагедіи г. Минскаго, насколько ее понимать можно, совпадаетъ съ буддійскимъ аскетизмомъ. И недаромъ Альма убѣждаетъ нѣкую Верейкину, мать одной изъ перетасованныхъ въ пріютѣ дѣвочекъ, тщетно желающую получить свою дочь обратно (тщетно, потому что дѣти перетасованы, и узнать дочь Верейкиной нельзя), чтобы она радовалась своимъ мученіямъ, „какъ въ монастыряхъ: когда больно, радуются; тамъ борьба за святость, тутъ за свободу". Недаромъ Альма говоритъ, что ушла къ прокаженнымъ, „какъ уходятъ въ пустыню, чтобы закалить свои силы". Что это есть тяготѣніе именно къ подобію буддійскаго монастыря, буддійской пустыни, видно изъ слѣдующаго. Въ одинъ прекрасный или, вѣрнѣе, напротивъ, въ одинъ прескверный день Альма дѣлаетъ открытіе, что „красоты нѣтъ". И, конечно, это прескверный день, какъ для самой Альмы, блещущей „красотою тѣла", такъ и для ея многочисленныхъ поклонниковъ. Но интересны мотивы отрицанія Альмы: „Все хорошо, что хорошо кончается,—говоритъ она,—и все дурно, что кончается дурно. А въ жизни все кончается дурно, и вся жизнь сплошное зло. Молодость ведетъ къ старости, здоровье къ болѣзнямъ, радость къ страданіямъ, жизнь къ смерти и красота къ уродству". Это чуть не буквальный сколокъ съ основныхъ истинъ буддійской мудрости о перевѣсѣ страданій надъ наслажденіями въ общемъ итогѣ жизни и тщетѣ всѣхъ нашихъ радостей, наслажденій, желаній. Отсюда выводъ: надо *освободить* сознаніе отъ соприкосновенія со всѣмъ внѣшнимъ міромъ до возможно полной безсодержательности и прежде всего *освободиться* отъ всякихъ желаній. Въ менѣе яркихъ формахъ такая „свобода" практиковалась и практикуется подвижниками всѣхъ временъ и народовъ. Такова-же она и въ трагедіи г. Минскаго, который, очевидно, не первый изъ людей услышалъ ея голосъ. Но, не говоря о томъ, что въ той „священной пустотѣ", въ которую стремится Альма, нѣтъ ничего, а слѣдовательно, и свободы, для достиженія этой пустоты необходимо отреченіе отъ свободы. Нужно воздерживаться отъ того, что хочешь дѣлать, и дѣлать то, чего не хочешь. Такъ и поступали аскеты всѣхъ временъ и народовъ. Такъ поступаетъ и Альма, насколько въ ея поведеніи есть какой нибудь смыслъ. Стремясь порвать со всѣми привязанностями, потребностями и инстинктами, она надѣваетъ на себя тяжелыя вериги и кается, если вериги эти оказываются для нея неудобоносимыми или она для нихъ слишкомъ слабою. Она настояще любитъ Сухонина и въ этомъ видитъ свое паденіе, а затѣмъ поднимается, живя съ мужемъ,

какъ сестра съ братомъ. Она любитъ свою дочь, ее тянетъ къ ней, но она не отдается свободно этому чувству и устраиваетъ между собою и дочерью хитросплетенную преграду. Она любитъ красоту и не даетъ свободы этому чувству, принудительно загоняя себя къ прокаженнымъ. Словомъ, она совершаетъ цѣлый рядъ аскетическихъ подвиговъ, и если въ примѣненіи къ нимъ умѣстно слово „свобода", такъ развѣ въ смыслѣ свободы отъ свободы. Послѣдовательности ради, Альмѣ надлежало бы бороться и съ чувствомъ голода, и съ потребностью дыханія, или же прямо кончить тѣмъ, съ чего она начала въ первомъ дѣйствіи, то есть самоубійствомъ.

Смерть есть „великое освобожденіе", говоритъ Альма, готовясь умереть. Если не смерть, то единственное въ своемъ родѣ изобрѣтеніе фантастическаго индусскаго ума, нирвана,—ни жизнь, ни смерть, ни сонъ, ни бдѣніе,—таковъ идейный итогъ „Альмы". И хотя идея эта была провозглашена уже тысячи лѣтъ тому назадъ, героиня трагедіи, съ разрѣшенія автора, гордо заявляетъ: „Я первая затѣяла борьбу за свободу: на смѣну мнѣ придутъ болѣе сильные". Значитъ, Альма есть первая ласточка, провозвѣстница грядущаго, а не повтореніе стародавняго. Но, завѣщая, далѣе, своей помощницѣ „не унижаться до любви къ человѣку" и „любить безличное, безсодержательное, нечеловѣческое", Альма прибавляетъ: „Пойми, *когда-то* любили, потому что считалось нужнымъ ненавидѣть. *Теперь* не стало враговъ, некого больше ненавидѣть, и любовь должна умереть, любовь къ тому, что умираетъ". Изъ этого слѣдуетъ, кажется, заключить, что дѣло идетъ не о стародавнемъ и не о грядущемъ, а о настоящемъ, ибо уже *теперь* не считается нужнымъ ненавидѣть кого бы то ни было, уже теперь „не стало враговъ", левъ мирно спитъ рядомъ съ агнцемъ, убаюкиваемый соловьиной пѣсней, клопы, въ изящномъ образѣ которыхъ сестра Альмы представляетъ себѣ страданія, разгуливаютъ въ долинѣ розъ, питаясь единственно ихъ ароматомъ и т. д. Нѣтъ враговъ, какъ „нѣтъ страданій", по увѣренію Веты, и „нѣтъ красоты", по увѣренію Альмы; да и вообще ничего нѣтъ, кромѣ основныхъ свойствъ пустоты и—простите меня—ерунды...

Если, однако, по мнѣнію Альмы, грядущее уже слилось съ настоящимъ, то докторъ Стрижъ иначе смотритъ на дѣло. Мы видѣли, что Альмина эротоманія есть „недугъ завтрашняго дня", хотя уже сегодня „изъ десяти современныхъ женщинъ одна эротоманка". Но докторъ Стрижъ констатируетъ наличность еще одной грядущей бо-

лѣзни, по отношенію къ которой онъ является первой ласточкой. Болѣзнь эта называется аэтіей и состоитъ въ „неспособности образовать привычки". „Я ни къ кому и ни къ чему не привязанъ,— говоритъ онъ.—Потеряй я человѣка, съ которымъ прожилъ десять, двадцать лѣтъ, и я завтра не вспомню о немъ. Мое сердце лишилось памяти. Это и есть нравственное помѣшательство. Будущее принадлежитъ силѣ отталкиванія, одиночеству, индивидуализму, „жестокости". Отсутствіе привязанностей, повидимому, уравниваетъ болѣзнь доктора Стрижа съ идеаломъ Альмы, которая смотритъ на каждую привязанность, какъ на рабство. Но обратите вниманіе на разницу въ окончательныхъ выводахъ: Альма провидитъ исчезновеніе любви собственно потому, что враговъ не будетъ или даже сейчасъ нѣтъ, а Стрижъ ждетъ въ будущемъ торжества жестокости въ связи съ „индивидуализмомъ", который, повидимому, долженъ сдѣлать всѣхъ и каждаго врагами всѣхъ и каждаго...

Читатель спроситъ, можетъ быть, что заставляетъ меня такъ долго возиться съ трагедіей г. Минскаго, разъ я считаю ее явно нелѣпою по формѣ и содержанію? Не имя же автора, когда-то почтенное, но уже давно скомпрометтированное? Конечно, нѣтъ. Мало ли мы такихъ метаморфозъ видали! Но дѣло въ томъ, что произведеніе г. Минскаго чрезвычайно типично для нашего декадентства. Трудолюбивая пчелка извѣстнаго нѣмецкаго дѣтскаго стихотворенія „flog emsig hin und her und sog Süssigkeit aus allen Blumen", а на замѣчаніе, что есть и ядовитые цвѣты, возразила: „das Gift lass ich darin". Г. Минскій поступаетъ какъ разъ наоборотъ: порхая по цвѣтамъ европейской литературы, онъ именно ядъ-то и извлекаетъ изъ нихъ, не заботясь о томъ, что вѣдь это яды съ совершенно разныхъ цвѣтовъ. Между прочимъ, изъ за приведенной фразы доктора Стрижа на читателя явственно смотрятъ глаза Ничше. Но въ то время, какъ Ничше ждетъ отъ своего „индивидуализма" и жестокости— здороваго, могучаго человѣчества, докторъ Стрижъ видитъ тутъ „нравственное помѣшательство". И онъ правъ, пожалуй, отчасти, потому что въ ученіи Ничше, дѣйствительно, есть эта струя, но почему именно ее извлекаетъ г. Минскій, оставляя нетронутою здоровую часть ученія? Извлекаетъ и преклоняется передъ ней. И точно такъ же его прельщаетъ все нелѣпое или натянутое, фальшивое или больное, полумертвое и въ Метерлинкѣ, и въ Ибсенѣ, и въ буддизмѣ.

Можетъ быть, въ будущемъ человѣчеству предстоитъ именно то, что ему предрекаютъ, а отчасти и въ себѣ лично осуществляютъ, съ одной стороны, Альма, а съ другой – докторъ Стрижъ. Будущее темно, и сколько нибудь точное предвидѣніе простирается въ эту темноту не далѣе историческаго дня, а еще далѣе все есть дѣло вѣроятностей и возможностей, надеждъ и опасеній, вѣрованій и стремленій. Можетъ быть, поэтому, повторяю, человѣчеству предстоитъ пережить періодъ „нравственнаго помѣшательства", эротоманіи и аэтіи, періодъ картинъ (и, вѣроятно, книгъ) безъ содержанія и лицъ безъ выраженія, періодъ жестокости или полнаго безразличія. Все это въ отдѣльныхъ экземплярахъ и сейчасъ есть, но, какъ всеопредѣляющее и единогосподствующее, есть, допустимъ, дѣло будущаго. Истинное декадентство состоитъ не въ предвидѣніи всего этого уродства въ будущемъ, а въ щегольствѣ имъ или въ благоговѣйномъ къ нему отношеніи въ отдѣльныхъ экземплярахъ настоящаго времени. Альма щеголяетъ своей эротоманіей, какъ Будаевскій—отсутствіемъ содержанія въ картинахъ и выраженія въ портретахъ, какъ Стрижъ—своей аэтіей, а г. Минскій любуется всѣмъ этимъ сумасшедшимъ домомъ, зная, что это сумасшедшій домъ, но видя въ его обитателяхъ провозвѣстниковъ свободы, которая и ему самому прошептала не мало вздора. Если эротоманія и аэтія – болѣзни, то Альму и Стрижа надо лѣчить; надо лѣчить и г. Минскаго, окружающаго этихъ больныхъ ореоломъ свободы. Но въ высшей степени вѣроятно, что и Альма, и Стрижъ, и ихъ творецъ просто ломаются, дабы исполнилось выраженное однажды г. Минскимъ желаніе: „Я желаю стоять на возвышенномъ средоточіи земли, чтобы всѣ люди, склоненные, толпились кругомъ и славили меня". Но чтобы занять такое положеніе, надо его заслужить чѣмъ нибудь, надо совершить что нибудь великое,—скажетъ читатель. Зачѣмъ непремѣнно великое? Достаточно чего нибудь замѣчательнаго въ какомъ бы то ни было смыслѣ или даже просто замѣтнаго. Мѣряя всѣхъ людей на свой аршинъ, г. Минскій утверждалъ „при свѣтѣ совѣсти", что „горбунъ шагаетъ по улицѣ съ сознаніемъ своей замѣчательности". И вотъ, за невозможностью совершить великое, г. Минскій пишетъ трагедію „Альма", дѣйствующія лица которой, по той-же причинѣ, щеголяютъ нравственнымъ помѣшательствомъ.

Героиня трагедіи г. Минскаго—эротоманка, самъ онъ этой болѣзни, въ качествѣ мужчины, не можетъ быть подверженъ. Тѣмъ не менѣе между ними много общаго, и именно больного, что можно

бы было дѣйствительно назвать особымъ видомъ нравственнаго помѣшательства. Это—болѣзнь fin de siècle, конца XIX вѣка, захватывающая уже и XX-й, и выражается она страстнымъ, непреодолимымъ желаніемъ выпятить на всеобщее удивленіе свое *я*, какъ бы оно ни было ничтожно и хотя бы для этого пришлось обнажить отвратительныя гнойныя язвы или какое бы то ни было другое, прирожденное или благопріобрѣтенное, безобразіе. „Я отвратителенъ, (а можетъ быть, и совсѣмъ не такъ ужъ, какъ хочу казаться), но горжусь этою отвратительностью, потому что именно ею разсчитываю привлечь къ себѣ общее вниманіе“,—таковъ внутренній, интимный характеръ этого рода явленій, несомнѣнно болѣзненныхъ, хотя, какъ говоритъ докторъ Стрижъ объ эротоманіи Альмы,—„не изъ клиническихъ“; людей, одержимыхъ болѣзнью конца вѣка, „нельзя ни посадить въ лѣчебницу, ни отдать подъ опеку“. Болѣзнь эта имѣетъ свои корни въ общественныхъ условіяхъ, главнымъ образомъ, старой Европы. Тамъ историческій процессъ въ значительной мѣрѣ подточилъ едва ли не всѣ узы,—религіозныя, семейныя, политическія, національныя, разнообразныя общественныя въ болѣе тѣсномъ смыслѣ,—сковывавшія когда-то личность. Время отъ времени эти узы какъ будто даже необыкновенно крѣпнутъ, когда, напримѣръ, оскорбленный мужъ считаетъ себя *въ правѣ* убить невѣрную жену во имя святости семейнаго очага, или когда вспыхиваетъ яростная національная вражда, объединяющая людей одной народности, и т. п. Но ослабленіе общественныхъ узъ, цѣлые вѣка нароставшихъ, въ теченіе вѣковъ же медленно, но неуклонно идетъ впередъ, и вылупляющаяся изъ нихъ личность требуетъ простора и воли. Куда приведетъ этотъ процессъ,—это, какъ уже сказано, есть дѣло вѣроятностей и возможностей, надеждъ и опасеній, а не достовѣрныхъ предвидѣній. Во всякомъ случаѣ, сейчасъ мы видимъ, что вылупляющаяся изъ вѣковыхъ общественныхъ узъ личность выбираетъ разные пути, изъ которыхъ насъ здѣсь интересуетъ только одинъ—путь нравственно-помѣшанныхъ на своемъ выпяченномъ *я*.

Что дѣйствующія лица трагедіи г. Минскаго страдаютъ эротоманіей и аэтіей, морфиноманіей, пишутъ портреты безъ выраженія, ни къ селу, ни къ городу говорятъ: „нѣтъ страданій“, а самъ творецъ ихъ утратилъ вкусъ плодовъ древа познанія добра и зла; что вообще вся трагедія напоминаетъ больницу для умалишенныхъ,—это, конечно, характерно. Но, можетъ быть, всѣ эти господа и просто лгутъ на себя, ломаются, „дабы всѣмъ виднымъ быть“. Вета

напримѣръ, отлично знаетъ, что страданія есть, знаетъ даже, что они похожи на клоповъ... Дѣйствительно ли Альма и компанія больны тѣми спеціальными видами душевнаго разстройства, которыми они щеголяютъ, или притворяются,—главная и общая ихъ болѣзнь состоитъ въ томъ, что они и въ томъ, и въ другомъ случаѣ именно щеголяютъ: на-те, смотрите, каковъ *я*! Но г. Батюшковъ (какъ и многіе другіе) совершенно напрасно называетъ это явленіе индувидуализмомъ. И точно такъ же докторъ Стрижъ совершенно напрасно считаетъ себя предтечей грядущаго торжества силы отталкиванія, индивидуализма и одиночества. Не касаясь, за недостаткомъ времени и мѣста, вопроса о томъ, насколько законно сопоставленіе индивидуализма, съ одной стороны, и одиночества и силы отталкиванія — съ другой, за одну скобку, спросимъ только: почему докторъ Стрижъ одинокъ и почему онъ индивидуалистъ? Онъ состоитъ въ числѣ поклонниковъ Альмы, а она стоитъ во главѣ нѣкотораго государства и, въ качествѣ таковой, носитъ даже установленный ею самой „знакъ власти"— цѣпь изъ обручальныхъ колецъ. Подданныхъ своихъ она держитъ въ такой строгости, что не позволяетъ имъ даже стричься безъ спросу, а когда докторъ Стрижъ отказывается прописать ей ядъ, она съ негодованіемъ восклицаетъ: „И вы, какъ всѣ, умѣете бороться и проявлять свою волю!" Столь велика сила дисциплины въ этомъ царствѣ Альмы, что никто „по своей волѣ" изъ него удалиться не можетъ. „Я считаю васъ началомъ безумнымъ и разрушительнымъ и поэтому подчиняюсь вамъ",—говоритъ докторъ Стрижъ. Ясно, что не сила отталкиванія, а, наоборотъ, сила притяженія вліяетъ на него. Ясно, что свободы онъ никакой не ищетъ и что его индивидуализмъ есть поистинѣ „пустая и глупая шутка". Но свое морфиноманство, свое „нравственное помѣшательство", „аэтію" и готовность подчиниться „безумному началу" онъ ни отъ кого не прячетъ, не стыдится ихъ, не скорбитъ и не ищетъ излѣченія, — напротивъ, онъ каждымъ своимъ словомъ гордо говоритъ: „вотъ онъ *я*!" Другое дѣло, повидимому, Альма. Она ничьей власти надъ собой не признаетъ, садится на колѣни къ кому хочетъ, презираетъ тѣхъ, кто „мечтаетъ о томъ, чтобы быть какъ всѣ", пуще всего избѣгаетъ рабства какъ передъ другими людьми, такъ и передъ собственными инстинктами и привязанностями. И ея выпяченное *я* имѣетъ, какъ будто, за себя нѣкоторыя логическія оправданія.

Не возвращаясь къ сказанному объ аскетической свободѣ отъ

свободы, къ которой, въ концѣ концовъ, приходитъ Альма, позволю себѣ для уясненія дѣла маленькую параллель.

Недавно, говоря о повѣстяхъ и разсказахъ г-жи Лѣтковой, я указалъ общую всѣмъ имъ черту протеста противъ рабства. Нѣкоторыя подробности, какъ будто, сближаютъ героинь г-жи Лѣтковой съ Альмой. Какъ и героиня „Мертвой зыби", Альма не хочетъ жить, „какъ всѣ", какъ и та, она видитъ рабство въ охватившей ее половой страсти. Но, присмотрѣвшись нѣсколько ближе, мы увидимъ огромную разницу. Альма хочетъ быть „лучше всѣхъ"; Елена Борисовна („Мертвая зыбь"), какъ и другія героини разсказовъ г-жи Лѣтковой, хочетъ быть просто сама собой. Чтобы быть „лучше всѣхъ", Альма систематически, сознательно лжетъ; для Елены Борисовны жить „какъ всѣ" тяжело именно потому, что при этомъ приходится лгать. Далѣе, Альма увидѣла рабство въ томъ, что привязалась къ человѣку душой и тѣломъ; Елена Борисовна пришла въ ужасъ, когда поняла, что ее связываетъ съ мужчиной *только* тѣло, а души у нихъ врозь глядятъ. И замѣтьте, что Елена Борисовна считаетъ себя „самою обыкновенною женщиной", тогда какъ Альма есть перлъ созданія и въ дневникѣ своемъ серьезно сравниваетъ себя ни болѣе ни менѣе, какъ съ „божествомъ"... Это несомнѣнно необыкновенно выпяченное *я*, но индивидуализмъ тутъ не причемъ: Альма испугалась, именно, своей индивидуальности, то есть недѣлимости души и тѣла...

Въ московской газетѣ „Новости Дня" напечатана статья кн. А. И. Урусова объ „Альмѣ". Статья эта, въ цѣломъ, мнѣ неизвѣстна, знаю только отрывокъ изъ нея, напечатанный въ петербургскихъ „Новостяхъ". Къ сожалѣнію, отрывокъ этотъ весь посвященъ общей характеристикѣ г. Минскаго, какъ писателя, и собственно объ „Альмѣ" въ немъ нѣтъ ни слова. Но отношеніе кн. Урусова къ трагедіи видно, между прочимъ, изъ слѣдующихъ его словъ: „Даже враги Минскаго не станутъ отрицать, что онъ, при всѣхъ своихъ недостаткахъ, несомнѣнно поэтъ, обладающій собственнымъ стихомъ, пишущій своимъ языкомъ, со своимъ темпераментомъ,—словомъ, какой ни на есть оригиналъ, а не копія съ копій. Эта оригинальность, какъ все, что въ области искусства ново—усвоивается не легко, разстраиваетъ складъ привычекъ и традицій и, конечно, вредитъ популярности. Перепѣвы симпатичной, т. е. популярной „идейности" всегда должны пользоваться большимъ успѣхомъ, чѣмъ новые мотивы. Банальность—общедоступна".

Совершено вѣрно: банальность общедоступна. Но не въ этомъ,

конечно, ея главный недостатокъ. И точно такъ же не главное достоинство оригинальности въ томъ, что она—„новое слово“: разныя бываютъ новыя слова, да и выбѣжать голышомъ на улицу тоже вѣдь оригинально. Но разсуждать объ оригинальности по поводу „Альмы“ не приходится. Состряпать окрошку изъ Ничше, Ибсена, Метерлинка, буддизма, Толстого,—еще не значитъ быть оригинальнымъ. По случаю этой же стряпни въ трагедіи г. Минскаго нѣтъ ничего серьезнаго и грознаго. И какъ ни нелѣпа она во всѣхъ отношеніяхъ, появленію ея можно радоваться, какъ свидѣтельству полнаго безсилія нашего декадентства.

XIII *)

Китайскія дѣла. — Предвидѣнія г. Мамина и Лапужа. — Повѣсть объ антихристѣ г. Вл. Соловьева. — „Будущность бѣлой расы“ г. Я. Новикова.

Въ эту минуту, когда я берусь за перо, едва ли кто-нибудь возьмется предсказать, какъ пойдутъ далѣе китайскія дѣла, кромѣ развѣ того, что отнынѣ прекращается изолированная жизнь Китая, что такъ или иначе, пассивно или активно, онъ становится элементомъ общей исторіи. Удивительно не то, что въ данный моментъ, когда каша уже заварилась, наше предвидѣніе не можетъ идти дальше этого. Удивительно то, что настоящія-то событія застали Европу до такой степени врасплохъ. Попадаются, правда, сообщенія, что тотъ или другой миссіонеръ, тотъ или другой дипломатическій чиновникъ зналъ о какомъ-то броженіи, подготовляющемъ событія большой важности, зналъ и сообщалъ кому слѣдуетъ. Но не говоря уже о томъ, что такіе прорицатели post factum всегда есть и всегда они нѣсколько подозрительны,—ихъ предваряющіе голоса, если таковые и были, не оказали никакого вліянія на руководящія сферы европейской политики и не дошли до насъ, простыхъ смертныхъ. А вѣдь и простые смертные имѣютъ къ Китаю не только то отношеніе, что китайскій чай пьютъ; въ особенности русскіе простые смертные,—сосѣди Китая на протяженіи тысячъ верстъ. Какъ бы то ни было, Европа была застигнута врасплохъ. Передъ самымъ носомъ ея дипломатовъ миссіонеровъ, военныхъ, торговыхъ людей, вообще людей практическаго дѣла готовилось страшное движеніе, а старая, огонь, воду и мѣдныя трубы прошедшая Европа, памятуя, что вѣдь это „недвижный“ Китай, еще недавно расколоченный Японіей, ничего не подозрѣвала, спокойно отрѣзывала у этого соннаго великана

*) Іюль 1900 г.

клочекъ за клочкомъ его огромнаго тѣла, мысленно окончательно расчленяла его, снабжая въ то же время своими военными инструкторами и послѣдними словами своей изобрѣтательности по части смертоноснаго оружія. И вотъ результаты. Почти такъ же неожиданъ для Европы былъ и подъемъ Японіи. Когда эта маленькая страна, населенная маленькими людьми, политически реформировалась, Европа насмѣшливо улыбалась, полагая, что это будетъ нѣчто въ родѣ знаменитой турецкой конституціи Митхада-паши, и никакъ не ожидала, что эти маленькіе желтолицые люди могутъ когда-нибудь получить голосъ въ великодержавномъ концертѣ, что придется не только считаться съ ними, а съ благодарностью принимать ихъ, конечно, не безкорыстныя услуги въ дѣлѣ водворенія „порядка“ и насажденія „цивилизаціи“.

Все это проглядѣли люди практическаго дѣла, гордые именно своею практичностью, своимъ спеціальнымъ знаніемъ, умѣньемъ оріентироваться въ житейскихъ фактахъ, и съ снисходительнымъ презрѣніемъ относящіеся къ теоретикамъ. Да хорошо еще, если только съ снисходительнымъ презрѣніемъ. Сплошь и рядомъ они склонны видѣть въ нихъ не просто людей, лишенныхъ практическаго смысла, а людей безпокойныхъ, праздно волнующихъ умы фантастическими надеждами и опасеніями, и потому крайне вредныхъ. А между тѣмъ въ данномъ случаѣ теоретики оказались гораздо проницательнѣе, такъ называемыхъ, практиковъ и уже давно со страхомъ и волненіемъ вглядываются въ Срединное царство и страну Восходящаго Солнца, ожидая оттуда какихъ-то важныхъ и грозныхъ вѣстей.

Года два тому назадъ мнѣ случилось обратить вниманіе читателей на рождественскую сказку русскаго беллетриста г. Мамина „Послѣдніе огоньки“ и книгу французскаго антрополога Лапужа „Les selections sociales“. Г. Маминъ назвалъ свое произведеніе „святочной фантазіей“ и относитъ разсказываемыя въ немъ событія къ очень отдаленному будущему,—слишкомъ двѣ тысячи лѣтъ пройдетъ до тѣхъ поръ. Эти широкія рамки представляютъ фантазіи художника полный просторъ. Лапужъ, напротивъ того, желаетъ держаться строго научной почвы и даже до каррикатурности утрируетъ нѣкоторые научные пріемы. Тѣмъ не менѣе въ его книгѣ много фантастическаго, а въ фантазіи г. Мамина много реальныхъ тревогъ сегодняшняго дня. Напомню изъ обоихъ этихъ произведеній, столь различныхъ и по пріемамъ, и по задачамъ, и по всему

проникающему ихъ духу, только то, что относится къ нашей сегодняшней темѣ.

Фантазія г. Мамина провидитъ въ далекомъ будущемъ крушеніе европейской цивилизаціи и вырожденіе европейскаго населенія. Этотъ печальный конецъ наступитъ, благодаря неустаннымъ войнамъ, которыя будутъ вести европейскіе народы между собою и на службу которымъ пойдетъ наука въ своихъ техническихъ приложеніяхъ. Но окончательный ударъ Европѣ будетъ нанесенъ „желтолицыми варварами". И этотъ ударъ „былъ (т. е. будетъ) только неизбѣжнымъ результатомъ всей европейской политики. Европа нѣсколько сотъ лѣтъ учила желтыя расы искусству истребленія, пока ученики не примѣнили свои знанія къ ней самой. Это былъ настоящій потокъ варварства, хлынувшій на Европу во всеоружіи послѣднихъ словъ науки". Опустошивъ Европу, желтолицые продали ее американскимъ милліардерамъ, которые обратили ее въ огромный охотничій паркъ, а жалкіе остатки выродившихся европейцевъ выселились на какой-то архипелагъ, гдѣ и оканчиваютъ въ моментъ разсказа свои печальные дни.

Лапужъ тоже говоритъ о вѣроятномъ вырожденіи европейскаго населенія, благодаря войнамъ и нѣкоторымъ другимъ явленіямъ жизни, а также о грядущемъ столкновеніи бѣлой расы съ цвѣтными, которыя легко могутъ, оставаясь варварами, усвоить себѣ европейскую технику. Лапужъ провидитъ рядъ истребительныхъ столкновеній съ такими варварами и гибель цивилизаціи въ этой грозѣ.

Все это, конечно, очень отдаленно и либо будетъ, либо нѣтъ. Но въ зародышѣ, которому, можетъ, и не суждено развиться, мы уже теперь видимъ нѣчто подобное. Мы видимъ именно, что, оставаясь глухъ къ европейскому „просвѣщенію" вообще, Китай отлично усвоиваетъ ту долю этого просвѣщенія, въ которую входятъ военное обученіе, новѣйшей конструкціи ружья, пушки Максима и какія еще тамъ есть орудія истребленія людей. Правда, до сихъ поръ китайцы берутъ преимущественно численностью, но, не говоря о томъ, что перевѣсъ численности останется и впредь за ними, надо имѣть въ виду, что они пока еще не окончательно разстались даже съ луками и стрѣлами. Еще нѣсколько европейскихъ, а теперь, пожалуй, и японскихъ уроковъ, и предвидѣнія г. Мамина и Лапужа приблизятся къ осуществленію.

Недавно надѣлало у насъ шуму—правда, по другому поводу—еще одно такое предвидѣніе. Разумѣю прочитанную г. Владиміромъ

Соловьевымъ въ видѣ публичной лекціи повѣсть объ антихристѣ. Собственно антихристъ меня не занимаетъ, да я и не сумѣлъ бы къ нему приступиться. Повѣсть о немъ вошла въ составъ небольшой книжки съ длиннымъ заглавіемъ: „Три разговора о войнѣ, прогрессѣ и концѣ всемірной исторіи, со включеніемъ краткой повѣсти объ антихристѣ и съ приложеніями". Въ предисловіи авторъ заявляетъ, что источники разныхъ недоумѣній, вызванныхъ его лекціей, лежатъ въ „недостаточномъ знакомствѣ у насъ съ показаніями слова Божія и церковнаго преданія объ антихристѣ". Я слишкомъ профанъ въ этой области, чтобы отважиться судить объ ней. „Три разговора" интересуютъ меня не съ этой стороны. Любопытно прежде всего, что въ этой книжкѣ ни разу не поминается гр. Л. Н. Толстой; потому любопытно, что книжка именно противъ гр. Толстого направлена, противъ его отношенія къ евангелію вообще и противъ ученія о непротивленіи злу въ частности. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи въ „Разговорахъ" есть очень хорошія и поучительныя страницы. Особенно хорошъ художественно-простой разсказъ одного изъ собесѣдниковъ („генерала") объ одномъ кровавомъ эпизодѣ изъ послѣдней русско-турецкой войны. Все это мы оставимъ, однако, въ сторонѣ и остановимся только на предвидѣніи событій, непосредственно предшествующихъ появленію антихриста.

Въ началѣ XX вѣка Европа будетъ вести послѣднюю рѣшительную борьбу съ сплотившимся мусульманствомъ. Пунктъ этотъ, лишь мимоходомъ отмѣченный въ повѣсти объ антихристѣ, получаетъ нѣкоторое развитіе въ предисловіи къ „Тремъ разговорамъ". Тамъ, уже не отъ имени какого-то монаха Пансофія, автора повѣсти объ антихристѣ, а отъ собственнаго своего имени, г. Вл. Соловьевъ говоритъ объ „упорной и изнурительной борьбѣ, которую нѣкоторымъ европейскимъ государствамъ придется выдержать противъ пробудившагося Ислама въ западной Азіи, сѣверной и средней Африкѣ". Г. Соловьевъ предвидитъ даже одну подробность этой борьбы, интересную въ томъ отношеніи, что она напоминаетъ о роли „Большого Кулака" или „боксеровъ" въ теперешней китайской смутѣ. Въ грядущемъ столкновеніи Европы съ мусульманствомъ, по его мнѣнію, „большую, чѣмъ обыкновенно думаютъ, роль играетъ тайная и неустанная дѣятельность религіозно-политическаго братства *Сануси*, имѣющаго для движеній современнаго мусульманства такое же руководящее значеніе, какое въ движеніяхъ буддійскаго міра принадлежитъ тибетскому братству *Келиновъ* въ Хлассѣ съ его индійскими, китайскими и

японскими развѣтвленіями". Итакъ, въ началѣ XX вѣка, т. е. въ очень недалекомъ будущемъ, Европа будетъ занята борьбой съ мусульманствомъ. Ея затруднительнымъ положеніемъ въ этотъ моментъ воспользуются сторонники идеи панмонголизма, возникшей въ Японіи еще въ концѣ XIX вѣка. Японцы, „съ удивительною быстротою и успѣшностью перенявши вещественныя формы европейской культуры, усвоили также и нѣкоторыя европейскія идеи низшаго порядка". Осуществленіе идеи панмонголизма они начали съ того, что заняли Корею, потомъ Пекинъ, гдѣ съ помощью прогрессивной китайской партіи низвергли манчжурскую династію и посадили японскую. Съ этимъ скоро примирились и китайскіе консерваторы, признавшіе, наконецъ, печальную необходимость внѣшней европеизаціи. Ихъ убѣдили такіе доводы японцевъ: „Поймите, упрямые братья, что мы беремъ у западныхъ собакъ ихъ оружіе не изъ пристрастія къ нимъ, а для того, чтобы бить ихъ этимъ же оружіемъ. Если вы соединитесь съ нами и примете наше практическое руководство, то мы скоро не только изгонимъ бѣлыхъ дьяволовъ изъ нашей Азіи, но завоюемъ и ихъ собственныя страны и оснуемъ настоящее срединное царство надо всей вселенной. Вы правы въ своей народной гордости и въ своемъ презрѣніи къ европейцамъ, но вы напрасно питаете эти чувства одними мечтаніями, а не разумною дѣятельностью. Въ ней мы васъ опередили и должны вамъ показывать пути общей пользы. А не то, смотрите сами, что вамъ дала ваша политика самоувѣренности и недовѣрія къ намъ—вашимъ естественнымъ друзьямъ и защитникамъ: Россія и Англія, Германія и Франція чуть не подѣлили васъ между собою безъ остатка, и всѣ ваши тигровыя затѣи показали только безсильный кончикъ змѣинаго хвоста". Очевидныя преимущества японской политики взяли верхъ надъ китайской косностью, и скоро создались могучія китайско-японскія сухопутныя и морскія военныя силы. Первый же богдыханъ изъ японской династіи вытѣснилъ французовъ изъ Тонкина и Сіама, англичанъ изъ Бирмы и включилъ въ срединное царство весь Индо-Китай. Второй богдыханъ, китаецъ по матери, обманувъ бдительность русскаго правительства, вторгся съ четырехмилліонною арміей въ наши средне-азіатскія владѣнія, поднялъ все ихъ населеніе, перевалилъ за Уралъ и т. д. Словомъ, страшный монгольскій потокъ затопилъ всю Европу, чему помогли распри французовъ съ нѣмцами, и остановился только передъ Англіей, которая откупилась деньгами. Всѣ европейскія государства стали вассалами богдыхана, и это продол-

жалось полвѣка. „Со стороны внутренней эта эпоха знаменуется повсюднымъ смѣшеніемъ и глубокимъ взаимнопроникновеніемъ европейскихъ и восточныхъ идей, повтореніемъ en grand древняго александрійскаго синкретизма; а въ практическихъ областяхъ жизни наиболѣе характерными становятся три явленія: широкій наплывъ въ Европу китайскихъ и японскихъ рабочихъ и сильное обостреніе, вслѣдствіе этого, соціально-экономическаго вопроса; продолжающійся со стороны правящихъ классовъ рядъ палліативныхъ опытовъ рѣшенія этого вопроса и усиленная международная дѣятельность тайныхъ общественныхъ организацій, образующихъ обширный всеевропейскій заговоръ съ цѣлью изгнанія монголовъ и возстановленія европейской независимости". Послѣдняя цѣль, наконецъ, достигается: въ назначенный срокъ монгольскіе солдаты избиваются, азіатскіе рабочіе изгоняются. Новый богдыханъ даетъ сраженіе, въ которомъ всеевропейская армія разбиваетъ его на голову, монголы удаляются въ Азію, Европа свободна... Тутъ-то и является антихристъ...

Мы сейчасъ увидимъ, что литература мрачныхъ ожиданій военнаго или мирнаго, но во всякомъ случаѣ грознаго для Европы монгольскаго потока далеко не исчерпывается тѣми тремя писателями, о которыхъ у насъ шла до сихъ поръ рѣчь. Что же касается приведенныхъ картинъ возможнаго будущаго, то, какъ бы ни казались онѣ намъ преувеличенными или даже необузданно фантастическими, достойно вниманія, что на нѣкоторыхъ пунктахъ всѣ онѣ совпадаютъ. И эти совпадающіе пункты уже никто не можетъ заподозрить въ фантастичности, такъ какъ они—сама дѣйствительность. Это, во-первыхъ, соперничество европейскихъ народовъ, десятки лѣтъ напряженно готовящихся къ войнѣ на сушѣ и на морѣ и съ ревнивою зоркостью слѣдящихъ за чужими успѣхами въ заморскихъ странахъ, въ томъ числѣ и въ Китаѣ. Это, во-вторыхъ, усиленныя заботы европейскихъ народовъ о вооруженіи Китая на европейскій ладъ все въ тѣхъ же видахъ взаимнаго соперничества, а также частно-коммерческихъ цѣлей.

Товарищъ англійскаго военнаго министра сообщилъ палатѣ депутатовъ, что съ 1895 года только двѣ англійскія фирмы продали китайцамъ 491 пушку разныхъ типовъ съ 4.289,540 зарядовъ, а были и другіе заказы. Не отставала въ этомъ отношеніи отъ Англіи и Германія, и, напримѣръ, въ одномъ 1899 году одна только германская фирма отпустила въ Китай 460,000 ружей Маузера. Цифры эти даютъ далеко не полное понятіе о той массѣ военнаго матеріала, которымъ Европа снабдила Китай на свою голову. И это при условіи

съ одной стороны, весьма слабой просвѣтительной работы, выражающейся лишь дѣятельностью миссіонеровъ, которые суть наполовину политическіе агенты; при условіи, съ другой стороны, отхватыванія европейскими народами то одной, то другой береговой полосы Китая. Такимъ образомъ, варвары остаются варварами, но получаютъ послѣднее слово европейскаго вооруженія и вдобавокъ озлобляются противъ „бѣлыхъ дьяволовъ". Если бы Европа представляла собою одно цѣлое, то все это было бы настоящимъ безуміемъ. Теперь же мы присутствуемъ при результатахъ цѣлаго ряда дѣйствій очень умныхъ и именно практически умныхъ людей, каждый шагъ которыхъ строго обдуманъ. Англійскіе государственные люди и теперь, въ минуту кровавой китайской смуты и страшной опасности для всѣхъ европейцевъ, взвѣшиваютъ, насколько выгодно или невыгодно будетъ для Англіи предоставить первенствующую роль въ умиротвореніи Китая Россіи или Японіи. Что они склоняются въ пользу Японіи и тѣмъ самымъ, если хотя бы отчасти суждено осуществиться пророчеству г. Соловьева, пускаютъ козла въ огородъ, это, можетъ быть, и ошибочный разсчетъ, но во всякомъ случаѣ разсчетъ людей, находящихся въ здравомъ умѣ и твердой памяти. Англійскіе и германскіе заводы и торговыя фирмы, завалившіе Китай всякаго рода оружіемъ, тоже руководствовались очень яснымъ практическимъ разсчетомъ. Равнымъ образомъ и правительства тѣхъ европейскихъ народовъ, которые отрѣзывали по клочку мяса изъ живого китайскаго тѣла. Словомъ, всѣ люди практическаго дѣла, такъ или иначе, прямо или косвенно, активно или пассивно подготовлявшіе настоящія китайскія событія, дѣйствовали, въ предѣлахъ своего кругозора, совершенно разумно. И только лишь теоретиковъ, имѣющихъ право видѣть нѣчто дальше своего носа, событія эти не застали врасплохъ. Они ихъ ожидали, и даже гораздо большаго, какъ мы видѣли.

Однако и теоретики бываютъ разные. Есть и между ними такіе, которые, осѣдлавъ какого нибудь конька съ наглазниками, гордо галопируютъ на немъ, ничего не видя по сторонамъ, и естественно сваливаются въ какую нибудь неожиданно для нихъ вырытую жизнью канаву. Интереснымъ для насъ сегодня образчикомъ этой породы можетъ служить русско-французскій писатель г. Я. Новиковъ, одно изъ произведеній котораго вышло недавно въ русскомъ переводѣ. Произведеніе это называется „Будущность бѣлой расы. Критика современнаго пессимизма".

Г. Новиковъ стоитъ на шаблонно-либеральной точкѣ зрѣнія. Какъ

извѣстно, съ этой точки зрѣнія умственному взору открываются нѣкоторыя элементарныя истины, которыя, не смотря на ихъ почтенный возрастъ, не мѣшаетъ иногда и теперь напомнить, но вмѣстѣ съ тѣмъ остается затѣненнымъ цѣлый рядъ житейскихъ явленій огромной важности. Г. Новиковъ совершенно правъ, громя тотъ унылый пессимизмъ, который побуждаетъ людей присутствовать при жизни въ красиво меланхолической позѣ; но изъ этого вѣдь не слѣдуетъ, что мы живемъ въ наилучшемъ изъ міровъ, въ которомъ „все гармонія, все диво", и даже маленькія непріятности влекутъ за собой большія удовольствія. Въ предѣлахъ спеціальной темы своей работы г. Новиковъ опять таки совершенно правъ, отрицая первенствующую и разъ навсегда опредѣленную роль расы въ исторіи человѣчества; но изъ этого не слѣдуетъ, что въ каждую данную историческую минуту безразлично, кто ведетъ за собой человѣчество,— англичане или китайцы, французы или негры. А именно такого рода мысли противопоставляетъ г. Новиковъ опасеніямъ многихъ европейскихъ писателей, ожидающихъ погрома съ дальняго востока. Я не буду перечислять этихъ писателей и излагать ихъ мнѣнія. Скажу только, что опасенія ихъ можно раздѣлить на двѣ группы: во первыхъ, опасенія собственно военнаго погрома, чего-то въ родѣ новаго монгольскаго нашествія, во вторыхъ, опасенія наплыва китайскихъ рабочихъ, которые своею выносливостью и дешевизною составятъ грозную конкурренцію европейскимъ рабочимъ. Замѣчу еще, что нѣкоторые изъ упомянутыхъ писателей, повидимому, за торжествомъ желтолицыхъ ожидаютъ еще новой исторической фазы—торжества чернокожихъ. Мы такъ далеко не пойдемъ и остановимся на желтолицыхъ, вопросъ о которыхъ составляетъ нынѣ злобу дня.

Г. Новиковъ отказывается заглядывать въ то практически безконечно отдаленное отъ насъ время, когда нашу планету или, по крайней мѣрѣ, всякую жизнь на ней постигнетъ предназначенный ей конецъ. Поэтому онъ не согласился бы встать на точку зрѣнія одного изъ собесѣдниковъ въ „Трехъ разговорахъ" г. Вл. Соловьева, утверждающаго, что прогрессъ есть „симптомъ конца". Живой о живомъ и думаетъ, разсуждаетъ г. Новиковъ. Каждый человѣкъ знаетъ, что онъ рано или поздно умретъ, но это не мѣшаетъ намъ воспринимать радости и тягости жизни, жить и работать по своему разумѣнію. Тѣмъ болѣе не резонъ готовиться, хотя бы только мыслью, къ концу всяческой жизни, до котораго вдобавокъ безконечно далеко. Пока что, нашъ прогрессъ есть не симптомъ конца, а залогъ роста. Че-

ловѣчество находится еще въ младенческомъ возрастѣ, и думать о его смерти до нелѣпости рано.

Что касается смерти человѣчества въ связи съ катастрофой, имѣющей постигнуть нашу планету, то г. Новиковъ, конечно, правъ. Будетъ ли эта кончина мирна и непостыдна или произойдетъ среди крови, грязи и слезъ,—все это слишкомъ непомѣрно далеко для нашего бѣднаго разума, неспособнаго разглядѣть даже, будетъ ли тогда считаться постыднымъ то, чего стыдимся мы, будетъ ли и самый стыдъ существовать, самое понятіе о немъ, или, напротивъ, разгорится новымъ и непонятно для насъ яркимъ свѣтомъ. Это такъ. Но не имѣть даже для завтрашняго дня иной мѣрки, кромѣ той, которою мы мѣряли вещи десятки лѣтъ тому назадъ, тоже не свидѣтельствуетъ о великой разумности.

Г. Новиковъ пишетъ: „Китайская имперія чрезвычайно слаба... Манчжуры ее завоевали и очень скромной арміей. Слабость Китая происходитъ отъ главной причины, господствующей надъ всѣми прочими; воинственный духъ погасъ въ китайцахъ. Подобное положеніе вещей должно рано или поздно имѣть мѣсто среди каждаго народа, имѣвшаго продолжительную цивилизацію. Китай опередилъ насъ въ этомъ отношеніи, какъ и въ нѣкоторыхъ другихъ. Затѣмъ ошибочно полагать, что Пекинъ пользуется большой властью; строго говоря, Китай составляетъ федераціи провинцій, группирующихся около центральнаго правительства, довольно слабаго". И далѣе: „Пять великихъ державъ могутъ выставить въ случаѣ войны около 15 милліоновъ солдатъ; мы уже не говоримъ о маленькихъ государствахъ Европы и объ Америкѣ. По Готскому альманаху „теоретическія" силы Китая едва достигаютъ 600,000 человѣкъ, включая провинціальные гарнизоны. Эти войска „почти безъ военнаго образованія, вооружены неудовлетворительно и неспособны вести войну. Собственно говоря, китайцы совсѣмъ не располагаютъ военными силами и, видимо, не дѣлаютъ никакихъ усилій, чтобы перемѣнить существующій порядокъ вещей. Когда мы замѣтимъ, что китайцы начинаютъ военныя приготовленія въ широкихъ размѣрахъ, имѣя въ виду завоеваніе нашего континента, мы можемъ наводнить ихъ территорію и, пользуясь преимуществомъ сравнительно высокой боевой готовности, разрушить ихъ проекты раньше, чѣмъ они ихъ начнутъ приводить въ исполненіе".

Я не знаю, когда написана книжка г. Новикова въ оригиналѣ; вѣроятно, до китайско-японской войны, потому что иначе онъ, ко-

нечно, не удовольствовался бы, въ качествѣ аргумента, указаніемъ на завоеваніе Китая манчжурами. Промышленный подъемъ Японіи, впрочемъ, онъ, хотя и мимоходомъ, отмѣчаетъ. Какъ бы то ни было, текущія событія опровергаютъ всѣ соображенія двухъ приведенныхъ цитатъ, за исключеніемъ развѣ одного: относительной слабости центральнаго правительства Срединной имперіи и въ сущности почти федеративнаго строя ея. Это, повидимому, настолько вѣрно, что въ данную минуту интересы европейскихъ государствъ требовали бы обращенія Китая въ формальную федерацію болѣе или менѣе самостоятельныхъ политическихъ единицъ и отнюдь не дальнѣйшаго расхватыванія китайской территоріи, которое можетъ только усугубить причины настоящей смуты: соперничества европейскихъ державъ и озлобленіе китайскаго населенія. Вывода этого, однако, г. Новиковъ не дѣлаетъ, а все остальное въ приведенныхъ его соображеніяхъ разсыпается прахомъ отъ дуновенія дѣйствительности, хотя, конечно, отъ настоящихъ событій до монгольскаго нашествія, съ пророками котораго полемизируетъ г. Новиковъ, еще очень далеко. 600-ли только тысячъ солдатъ можетъ выставить Китай или гораздо больше, — неизвѣстно, но горькій опытъ убѣждаетъ нынѣ Европу въ неосновательности мнѣнія, что они „безъ военнаго образованія, вооружены неудовлетворительно и неспособны къ войнѣ“; что китайцы „совсѣмъ не располагаютъ военными силами и не дѣлаютъ никакихъ усилій, чтобы перемѣнить существующій порядокъ вещей“. Нельзя ставить г. Новикову въ упрекъ, что онъ не предвидѣлъ всего этого, хотя вотъ тѣ писатели, съ которыми онъ съ такимъ побѣдоноснымъ видомъ полемизируетъ, предвидѣли же и даже нѣчто гораздо большее, чѣмъ пока случилось. Но есть въ этомъ дѣлѣ сторона, относительно которой мы вправѣ были бы ожидать отъ него большей проницательности. Спрашивается, кто эти „мы“, отъ лица которыхъ г. Новиковъ обѣщаетъ „замѣтить, что китайцы начинаютъ военныя приготовленія“, затѣмъ „наводнить ихъ территорію и разрушить ихъ проекты раньше, чѣмъ они ихъ начнутъ приводить въ исполненіе“? Надо сказать еще, что, по разсчету г. Новикова, китайцамъ, когда они „соберутся насъ покорять“, понадобится на первый случай 20 милліардовъ франковъ. А гдѣ они возьмутъ эти деньги? —спрашиваетъ г. Новиковъ. „Китай—бѣдная страна. Конечно, мы не одолжимъ этихъ 20 милліардовъ, зная, что этотъ заемъ дѣлается съ цѣлью нашего порабощенія“. Опять „мы“ не одолжимъ... Такъ кто же эти „мы“? Конечно, европейцы, Европа, какъ нѣчто

единое и цѣлокупное. Не надо было, однако, дожидаться нынѣшнихъ кровавыхъ событій въ Китаѣ, чтобы признать эту цѣлокупную Европу существомъ миѳическимъ. Въ дѣйствительности, Европа вся изрѣзана вертикальными и горизонтальными перегородками, разобщающими интересы отдѣльныхъ государствъ и отдѣльныхъ классовъ населенія. Китайскія событія являются только еще одною иллюстраціей къ этому общему положенію. Тѣ государства, которыя посылали своихъ военныхъ инструкторовъ въ Китай, равно какъ и тѣ заводы и торговыя фирмы, которыя снабжали китайцевъ усовершенствованнымъ оружіемъ, конечно, не могли не „замѣтить" военныхъ приготовленій Срединнаго царства. Но ни одна изъ европейскихъ націй, цивилизующихъ такимъ способомъ и въ такомъ направленіи Китай, не относитъ этихъ приготовленій на свой счетъ. Неожиданностью въ настоящихъ событіяхъ является, собственно говоря, только стихійность китайскаго движенія и его направленіе противъ „бѣлыхъ дьяволовъ" вообще, а не противъ Россіи или Англіи, или Германіи въ частности. Газеты сообщали, что, не задолго до этихъ событій, германскіе инструкторы выработали для китайцевъ планъ войны съ Россіей. Англичане и въ настоящую тревожную минуту отстаиваютъ свое право вывозить въ Китай оружіе, на томъ основаніи, что, дескать, правильной войны съ Китаемъ нѣтъ, хотя, по крайней мѣрѣ, нѣкоторая часть регулярныхъ китайскихъ войскъ не отстаетъ отъ „мятежниковъ" въ дѣлѣ рѣзни, поджоговъ и грабежа. Отсюда позволительно заключить, что въ составѣ тѣхъ кого г. Новиковъ объединяетъ мѣстоименіемъ перваго лица множественнаго числа, найдутся такіе, которые въ случаѣ надобности и военный заемъ китайцамъ устроятъ.

Что будетъ черезъ двѣ тысячи лѣтъ и даже въ тотъ гораздо болѣе короткій срокъ, который указывается г. Вл. Соловьевымъ,— дѣло темное. Во всякомъ случаѣ, нѣтъ основанія ожидать новаго монгольскаго нашествія въ ближайшемъ будущемъ, но есть всѣ основанія думать, что мы живемъ почти буквально наканунѣ міровыхъ событій огромной важности, центръ значенія которыхъ лежитъ на Дальнемъ Востокѣ. Не первую вспышку озлобленія туземцевъ переживаютъ европейцы въ Китаѣ, и всякій разъ умиротвореніе достигалось сравнительно легко и быстро, и дѣла шли затѣмъ такъ, какъ будто ничего не случилось. Нынѣ нельзя этого ожидать. Соперничество державъ, вспомоществуемое коммерческими выгодами частныхъ лицъ, обучало и вооружало китайцевъ; а, кромѣ того, на міровомъ политическомъ горизонтѣ появилась Японія, которой рано или поздно,

такъ или иначе предстоитъ оказать сильное давленіе на весь строй „недвижнаго“ Китая. И нѣтъ надобности гадать о нашествіи монголовъ, чтобы понимать, что „цивилизующая“ роль достанется странѣ Восходящаго Солнца не даромъ, не безъ долгой и упорной борьбы. Отнюдь не „миромъ всего міра“ завершится умиротвореніе Китая, какими бы путями оно ни было достигнуто.

Г. Новиковъ провидитъ „день, когда нельзя будетъ сказать, что цивилизація дана исключительно въ удѣлъ бѣлымъ, желтокожимъ или чернокожимъ; она будетъ составлять принадлежность всего человѣчества“. Отказываясь проникать въ то неизмѣримо отдаленное отъ насъ будущее, когда придетъ конецъ нашей планетѣ, г. Новиковъ заглядываетъ впередъ всетаки слишкомъ далеко для имѣющейся въ его распоряженіи мѣры вещей. Онъ такъ доволенъ европейской цивилизаціей въ современной фазѣ ея развитія, что считаетъ ее чѣмъ-то вѣчнымъ, единоспасающимъ и всемірно обязательнымъ: и желтокожіе, и чернокожіе, и всякіе другіе люди, какъ сейчасъ, такъ и черезъ сколько угодно лѣтъ, могутъ только примкнуть къ ней и продолжать ея дѣло въ разъ полученномъ ею направленіи. Дѣлая нѣсколько вѣрныхъ замѣчаній о крайностяхъ теоріи, видящей въ расѣ чуть не главный историческій факторъ, онъ упускаетъ изъ вида фактъ, слишкомъ несомнѣнный, — взаимнаго непониманія и ненависти не только различныхъ расъ, а различныхъ національностей, не только въ Азіи или Африкѣ, а и въ Европѣ и Америкѣ. Постыденъ европейскій антисемитизмъ, постыдно отношеніе американцевъ къ неграмъ и рано или поздно, къ чести человѣчества, кончатся эти отношенія, но въ данную минуту они существуютъ и нельзя съ ними не считаться. Сопутствуя европейской цивилизаціи, они распространяются и на цивилизуемые Европой народы. Фактъ этотъ, конечно, извѣстенъ г. Новикову. Онъ говоритъ, напримѣръ: „Подобно обезьянѣ, обнаруживающей комическій ужасъ при появленіи хамелеона, люди испытываютъ отвращеніе къ себѣ подобнымъ людямъ, которые слишкомъ чувствительно отличаются отъ нихъ наружнымъ видомъ, костюмами и нравами. Китайцы питаютъ отвращеніе къ иностранцамъ и періодически то здѣсь, то тамъ предательски убиваютъ европейцевъ, которые осмѣлились поселиться между ними. По этой причинѣ мы ихъ совершенно справедливо считаемъ варварами, а между тѣмъ и сами дѣлаемъ то же самое. Всѣ эти претензіи на опасность отъ желтыхъ похожи на чувство обезьянъ при видѣ хамелеона: китайцы иначе одѣваются, имѣютъ другой цвѣтъ кожи и

другой наружный видъ, поэтому бѣлые калифорнійцы боятся сыновъ Небесной имперіи, время отъ времени умерщвляютъ поселившихся между ними китайцевъ и препятствуютъ новымъ китайскимъ эмиграціямъ".

Здѣсь мы подходимъ къ другому, также многими съ опасеніемъ ожидаемому, мирному потоку монголовъ. Конечно, не потому только бѣлые въ Калифорніи враждебно относятся къ китайцамъ, что тѣ иначе одѣваются, имѣютъ другой цвѣтъ кожи и т. д., а главнымъ образомъ потому, что они, какъ рабочіе, своею нетребовательностью, выносливостью и дешевизною представляютъ опасныхъ конкуррентовъ бѣлымъ, ихъ чуждый внѣшній обликъ и чуждые нравы играютъ при этомъ вторую роль. Эта сторона китайскаго вопроса въ настоящую минуту отодвигается на задній планъ, и мы на ней останавливаться не будемъ. Замѣчу только, что она рѣшается г. Новиковымъ съ необыкновенною простотою и наивностью. Онъ пишетъ: „Говорятъ, что желтый рабочій, соглашаясь на низшую заработную плату, вредитъ бѣлому рабочему; то же самое говорятъ про женщинъ по отношенію къ мужчинамъ. Существуетъ самое простое, самое элементарное средство искоренить это зло: платите китайцамъ и женщинамъ, сколько бѣлымъ и мужчинамъ". Это, конечно, превосходное правило, только, къ сожалѣнію, никто ему не слѣдуетъ.

Итакъ, хотя китайцы „періодически то здѣсь, то тамъ предательски убиваютъ европейцевъ, которые осмѣлились поселиться между ними", но „всѣ претензіи на опасность отъ желтыхъ похожи на чувство обезьяны при видѣ хамелеона". Такова логика г. Новикова. Надо сказать, что, не смотря на свою увѣренность въ совершенномъ отсутствіи воинскаго духа у китайцевъ и въ ихъ способности мирно воспринять европейскую цивилизацію, г. Новиковъ въ одномъ мѣстѣ допускаетъ возможность рѣшительнаго столкновенія „на жизнь и на смерть" желтыхъ съ бѣлыми. Но если эта борьба и произойдетъ, то, во-первыхъ, она будетъ имѣть причиною не „естественное вліяніе экономическихъ силъ", въ благодѣтельное значеніе свободной игры которыхъ г. Новиковъ вѣритъ, какъ магометане въ Коранъ, а во-вторыхъ, „потребуются вѣка", чтобы въ китайцахъ наросли нужныя для такого столкновенія силы и чувства. „Вообразите себѣ, что такая нація, какъ китайская, начнетъ все болѣе и болѣе проникаться мыслью, что мы, запрещая ей заселять пустынныя земли въ другихъ частяхъ свѣта, лишаемъ ее куска хлѣба и заставляемъ ее умирать съ голоду. Потребуются вѣка, чтобы эта мысль вошла въ сознаніе

китайскаго народа, но въ тотъ день, когда это совершится, она повлечетъ за собой радикальныя измѣненія. Тогда всѣ китайцы почувствуютъ себя солидарными, потому что у нихъ будетъ одинъ и тотъ же непримиримый врагъ—бѣлый, который заставляетъ ихъ умирать съ голоду. Мало-по-малу они начнутъ организовать, заготовлять оружіе и скажутъ себѣ въ одинъ прекрасный день, что всетаки лучше вступить въ борьбу съ шансами на побѣду, чѣмъ умереть съ голоду за неимѣніемъ необходимой для землепашества почвы. Если бы между бѣлыми и желтокожими произошла подобная борьба, она была бы ужасна".

Не только вѣка, а, можетъ быть, и годы еще не прошли съ тѣхъ поръ, какъ г. Новиковъ написалъ эти краснорѣчивыя строки, а китайцы, по тѣмъ ли или другимъ причинамъ, „начали организоваться, заготовлять оружіе", и борьба загорѣлась. Чѣмъ она кончится—неизвѣстно. Но одно несомнѣнно: если Китай станетъ военной державой на европейскій или японскій манеръ, русско-китайская граница, протянувшаяся на десять тысячъ верстъ, потребуетъ такого же сосредоточенія военныхъ силъ, какъ и наша западная граница, а это вызоветъ такое напряженіе народныхъ силъ вообще, о которомъ стоитъ подумать.

XIV *).

Сверхъ-патріотъ.

Замѣтка.

(*Кн. Эсперъ Ухтомскій. Къ событіямъ въ Китаѣ.* Объ отношеніяхъ Запада и Россіи къ Востоку. Спб. 1900).

Въ виду кровавыхъ событій на дальнемъ востокѣ, кн. Ухтомскій счелъ своевременнымъ „связать въ одно цѣлое рядъ отдѣльныхъ набросковъ и размышленій, написанныхъ и напечатанныхъ имъ за послѣдніе годы, пока „на желтую опасность", на царство богдыхановъ почти не обращалось вниманія". Предпринявъ это объединеніе старыхъ „набросковъ и размышленій", кн. Ухтомскій прибавилъ къ нимъ и кое-что новое, навѣянное текущими событіями. Такимъ образомъ, передъ нами лежитъ плодъ долгихъ размышленій, провѣренныхъ опытомъ текущаго дня. Объ этомъ насъ предупреждаетъ самъ авторъ въ предисловіи. И хорошо дѣлаетъ, потому что иначе мы приняли бы его книжку за работу человѣка, совершенно неподготовленнаго съ обсужденію „отношеній Запада и Россіи къ Востоку", или же просто неспособнаго логически мыслить.

Въ брошюрѣ кн. Ухтомскаго есть одна безспорно вѣрная мысль, а именно указаніе на поведеніе европейскихъ колонизаторовъ и цивилизаторовъ, какъ на одну изъ причинъ нынѣшнихъ кровавыхъ событій. Но эта вѣрная мысль тонетъ въ цѣломъ морѣ мыслей, аргументовъ и фактическихъ иллюстрацій, по малой мѣрѣ странныхъ. Еще недавно подъ „восточнымъ" вопросомъ разумѣлся вопросъ объ отношеніи Европы, и въ частности Россіи, къ Турціи. Нынѣ событія

*) Сентябрь 1900 г.

заставили ввести терминъ „дальній Востокъ". Кн. же Ухтомскій идетъ дальше дальняго и подъ Востокомъ разумѣетъ ни больше, ни меньше, какъ весь азіатскій материкъ. Этотъ огромный „Востокъ" въ слишкомъ 40 милліоновъ квадратныхъ миль, съ разнообразнѣйшими климатическими и другими географическими условіями, съ почти мильярдомъ населенія, раздѣленнаго на часто враждовавшія и доселѣ враждующія между собою племена, народности, расы, исповѣдующія разныя вѣрованія, разно воспитанныя своими историческими судьбами и т. д., -этотъ огромный материкъ, присоединяя къ нему Японію, кн. Ухтомскій считаетъ чѣмъ-то единымъ, „цѣлокупнымъ", какъ выражались славянофилы. Къ этой пестрой громадѣ онъ присоединяетъ еще наше отечество, какъ нѣчто, естественно входящее въ цѣлокупность Азіи, и все это вмѣстѣ противопоставляетъ Западу, т. е. западной Европѣ. Кн. Ухтомскій знаетъ, что „пестротканная" Индія представляетъ собою „конгломератъ племенъ и вѣрованій" (стр. 46), что провинціи Китая „по колоссальности и разнородности довольно чужды другъ другу" (51), знаетъ, конечно, и то, что Азія въ цѣломъ еще болѣе пестротканна и разнородна. Россію онъ тоже называетъ „пестротканною" (77). И тѣмъ не менѣе „Востокъ и мы—одна безбрежная стихія, одно гармоничное въ своихъ духовныхъ основахъ цѣлое, по которому живописными токами мало-по-малу должна повсемѣстно взойти заря, возродившая при Ольгѣ и ея внукѣ Красномъ Солнышкѣ Кіевскую Русь" (70). Это не значитъ, что намъ предстоитъ распространить на азіатскомъ материкѣ и въ Японіи христіанство, воспринятое Русью при Красномъ Солнышкѣ. И это мечта довольно фантастическая, но кн. Ухтомскому этого мало. „Между нашимъ полнымъ творчества хаосомъ и Азіей нѣтъ препонъ, ибо ея предопредѣленный покровитель и главарь—пестротканная Россія" (77). „Неизбѣжный ростъ Мономахова наслѣдія, торжество надъ враждебными началами, грядущее главенство Россіи въ предѣлахъ обширнѣйшаго и многолюднѣйшаго изъ материковъ нашему духовному оку представляются вполнѣ очевидными" (85).

Итакъ, для „очей" кн. Ухтомскаго „очевидно", что Китай и Индія, Тибетъ и Японія, Аннамъ и Сіамъ войдутъ съ теченіемъ времени въ составъ Мономахова наслѣдія... Страшно было бы и подумать объ этой перспективѣ если бы можно было хоть на минуту серьезно остановиться на ея осуществленіи. Но такъ какъ это до комизма праздная фантазія, то остается только посмотрѣть, какимъ

путемъ авторъ пытается привести своихъ читателей къ этому выводу.

Кн. Ухтомскому рѣшительно не везетъ на аргументацію и фактическія иллюстраціи. Изъ множества курьезовъ по этой части приведемъ лишь нѣсколько.

Брошюра открывается соображеніями „о сродствѣ Индіи и Россіи". Авторъ сознаетъ, что „сближеніе туземцевъ Индіи съ русскимъ простонародьемъ многими должно быть сочтено тенденціознымъ, почти невѣроятнымъ или же просто-напросто фантастическимъ" (1); что „на первый взглядъ очень трудно уловить между Россіей и Индіей что нибудь общее въ историческомъ отношеніи, а тѣмъ болѣе представляется невозможнымъ проводить между столь далекими и, повидимому, столь неоднородными странами основанную лишь на нѣкоторыхъ любопытныхъ фактахъ параллель" (2); что „высказывать по этому поводу что-либо опредѣленное пока чрезвычайно трудно; всякая смѣлая гипотеза въ столь богатой неожиданными сближеніями области фактовъ отчасти преждевременна, отчасти безпочвенна" (6). Онъ даже рѣшаетъ „оставить совершенно въ сторонѣ вопросъ о степени и причинахъ нашего внутренняго сродства съ Индіей" (5). Тѣмъ не менѣе вопросъ оказывается рѣшеннымъ, степень сродства превосходною, а причины—чрезвычайно вѣскими. Надо замѣтить, что рѣчь при этомъ идетъ не о такихъ чертахъ, которыя свойственны каждому народу или каждой странѣ въ извѣстные періоды исторической жизни, и не о такихъ, которыя обусловливаются арійскимъ происхожденіемъ славянъ. Нѣтъ, кн. Ухтомскаго занимаетъ „внутренное сродство" именно Россіи съ Индіей и рѣзкое отличіе ихъ „духа" отъ всего остального міра, въ томъ числѣ и арійскаго въ западной Европѣ. Изъ фактовъ, на которыхъ кн. Ухтомскій основываетъ это обобщеніе, мы остановимся лишь на одномъ, едва ли не самомъ крупномъ.

Индія и Россія въ свое время отбивались отъ „варварски хищныхъ ордъ" „грознаго и трудно примиримаго степного Турана", „ненавистнаго Турана", высылавшаго свои свирѣпыя полчища, какъ на западъ, такъ и на востокъ. Такова общая черта исторіи Россіи и Индіи. Пусть такъ, но „варварски-хищный, грозный и трудно примиримый, ненавистный" Туранъ представляетъ собою коренной азіатскій элементъ, и это немножко нарушаетъ цѣлокупность „Востока", проникнутаго единымъ духомъ, а слѣдовательно, цѣлокупность эта, по крайней мѣрѣ, не исконная. Да, отвѣчаетъ кн. Ухтомскій, она

выработана исторіей: преодолѣвъ, наконецъ, Туранъ, и Россія и Индія восприняли нѣчто отъ Турана, и эта-то амальгама и составляетъ главную роднящую ихъ черту, въ ней-то и заложено величіе Востока. До такой степени, что мы должны высоко цѣнить „наслѣдіе отъ весьма намъ бывшихъ полезными Чингисовъ и Тамерлановъ" (9). А далѣе оказывается, что „Востокъ" есть „лоно зиждительнаго покоя, откуда на историческую арену искони выходятъ святить и озарять нашу юдоль *великіе миротворцы и монархи-подвижники*" (83). Это Чингисы-то, Тамерланы, Батыи...

Какъ бы то ни было, Китай, Японія оставлены исторіей безъ арійско-туранской амальгамы. Поэтому тутъ нужны другіе аргументы. Требованія кн. Ухтомскаго въ этомъ отношеніи весьма скромны, онъ довольствуется микроскопически малымъ. Для него, напримѣръ, имѣетъ большое значеніе тотъ фактъ, что „въ первой половинѣ вѣка" сингапурскій китаецъ Вампоа „*собирался* побывать въ Кяхтѣ, Иркутскѣ, въ Москвѣ" (52), или выраженная киргизомъ Валихановымъ въ нѣсколькихъ словахъ „философія исторіи" (64). Иногда же нашъ авторъ пускаетъ въ ходъ столь широкія общія положенія, что въ нихъ тонутъ факты огромной важности, даже безъ сравненія съ желаніемъ сингапурскаго китайца посѣтить Иркутскъ и словесной философіи исторіи киргиза. Таково утвержденіе кн. Ухтомскаго, что „наши восточно-русскіе піонеры" „на каждомъ шагу открывали не новый и по временамъ безусловно враждебный міръ, но зачастую съ дѣтства знакомый по облику и рѣчи, по обычаямъ и повадкѣ добродушный инородческій людъ, съ которымъ *вовсе не трудно было*,— смотря по обстоятельствамъ,—*сражаться или ладить*, по мѣрѣ похода въ глубь азіатскаго материка" (79—80). Это въ силу нашего духовнаго сродства съ Востокомъ и въ противоположность европейцамъ, которымъ сражаться и ладить на Востокѣ было всегда трудно...

Говоря входящимъ нынѣ въ моду карикатурно-ницшіанскимъ языкомъ, кн. Ухтомскій — сверхъ-патріотъ. Онъ не только любитъ свое отечество, какъ всѣ патріоты, но раздвигаетъ его предѣлы на Индію и Китай, Японію и Сіамъ и пламенѣетъ любовью къ этому грядущему, головокружительно огромному „наслѣдію Мономаха". И какъ Uebermensch Ницше требуетъ, для своего появленія и процвѣтанія, „удобренія" изъ цѣлыхъ поколѣній страдающихъ, униженныхъ, нищихъ, истекающихъ кровью, такъ и сверхъ-патріотизмъ кн. Ухтомскаго заставляетъ его съ легкимъ сердцемъ оглядываться на

самыя страшныя страницы прошлаго многострадальной Россіи. Поэтому-то и были намъ „весьма полезны“ Чингисханы и Батыи, да и всѣ безъ малаго два съ половиною вѣка монгольскаго ига. Всѣ тѣ униженія, которыя претерпѣла за эти два вѣка Русь, вся пролитая ея сынами кровь, вся отрава, оставленная въ насъ этимъ двухсотлѣтнимъ владычествомъ монголовъ,—все это было намъ „весьма полезно“, ибо роднило насъ съ „Востокомъ“...

Сверхъ-патріоту естественно, кажется, что съ азіатами намъ было „вовсе не трудно сражаться или ладить“. Трудно—легко, это вѣдь относительно. И если, напримѣръ, историкъ (Соловьевъ) говоритъ, что завоеваніе Казанскаго царства стоило намъ „необыкновенныхъ усилій“, то, съ высоты сверхъ-патріотическаго идеала, это было дѣломъ „вовсе не труднымъ“. Если изъ хивинскаго похода временъ Петра Великаго ни одинъ человѣкъ не вернулся на родину; если такія же неудачи постигали и послѣдующія экспедиціи въ Хиву и только въ 1872 г. было покончено съ этимъ ханствомъ; если башкиры цѣлые вѣка волновались и лишь одинъ мятежъ середины прошлаго вѣка стоилъ имъ 30,000 человѣкъ и т. д., и т. д., — то все это чистые пустяки для сверхъ-патріота, все это было „весьма не трудно“. Что стоятъ десятки, сотни тысячъ русскихъ жизней (не говоря объ азіатахъ, хотя, какъ гласитъ главный тезисъ кн. Ухтомскаго, они намъ и родственны по духу и даже по крови) въ сравненіи съ величіемъ все-азіатской державы! Простой патріотъ скажетъ, что наши окраины достались намъ очень трудно, и даже подчеркнетъ эту трудность, какъ свидѣтельство храбрости, выносливости, самоотверженной преданности отечеству и другихъ высокихъ качествъ русскаго солдата. Сверхъ-патріотъ смотритъ на дѣло иначе. Трупы убитыхъ, стоны раненыхъ, муки и униженія плѣнныхъ (извѣстно, что значитъ быть въ плѣну у азіатовъ), на конецъ, напряженіе экономическихъ силъ народа,—покрываются для него пустой фразой: „намъ вовсе не трудно было сражаться или ладить“...

Сверхъ-патріотизмъ кн. Ухтомскаго не ограничивается этимъ удивительнымъ пониманіемъ трудности и легкости.

Составляющая нашу суть арійско-туранская амальгама выражается, между прочимъ, въ слѣдующемъ: „Мы по мѣрѣ силъ всегда вносили и вносимъ въ хаосъ собственной и чужой жизни начала прямодушія и безыскусственной доброты, жажду настоящаго подвига во имя святости самаго подвига, взглядъ на человѣка всякаго племени и всякой вѣры, какъ на Божье созданіе, которое намъ не можетъ

ое быть близко и по плоти и по духу“ (31). Разумѣется, это общее положеніе подлежитъ нѣкоторымъ ограниченіямъ и даже требуетъ ахъ. Западные люди отнюдь не близки намъ, какъ и всему „Востоку“, близки только восточные люди со включеніемъ Тамерлановъ, Чингисовъ и Батыевъ. Западные люди не понимаютъ ни этихъ „великихъ миротворцевъ и монарховъ-подвижниковъ“ въ частности, ни Востока вообще. Въ развитіи этой темы кн. Ухтомскому, выражаясь его словами, „совсѣмъ не трудно, смотря по обстоятельствамъ, гражаться и ладить“... съ логикой и историческими фактами.

Когда, напримѣръ, кн. Ухтомскому нужно доказать, что великолѣпная обстановка высшихъ англійскихъ властей въ Индіи всетаки недостаточно великолѣпна для престижа въ глазахъ населенія, привыкшаго къ блеску властителей, онъ пишетъ объ обстановкѣ Великихъ Моголовъ: „Тогда принято было тратить ежегодно много десятковъ милліоновъ рублей на покрытіе расходовъ по содержанію однихъ только гаремовъ и штатовъ. Стоило, напр., такому властелину, какъ императоръ Акбаръ, отправиться на охоту — и за нимъ поднимался въ путь цѣлый городокъ палатокъ и шатровъ, при чемъ 100 слоновъ, 500 верблюдовъ и 4.000 телѣгъ требовалось только для подъема такого гигантскаго лагеря“ и т. д., и т. д. (19). А когда нужно окружить тѣхъ же Моголовъ ореоломъ преданности интересамъ отечества (хотя, мимоходомъ сказать, Моголы были чуждые завоеватели, пришельцы въ Индіи), то получается слѣдующее: „Гигантскія средства, которыми располагалъ Моголъ, текли обратно въ народную массу: ни копѣйки не шло на нужды, чуждыя прямымъ интересамъ Индостана“ (25). Понимаете, — *ни копѣйки*! Такъ что тѣ десятки милліоновъ, которые ежегодно тратились на гаремныя наслажденія Акбаровъ и Ауренгзебовъ, и тѣ сотни и тысячи слоновъ, верблюдовъ и телѣгъ, которыя нужны были только для ихъ охотничьяго багажа, — все это было „въ прямыхъ интересахъ Индостана“, а отнюдь не въ видахъ удовольствія Акбаровъ и Ауренгзебовъ. Кстати сказать, въ составъ подготовленія къ нашему единенію съ Востокомъ входитъ и такой радостный фактъ: „При дворѣ Моголовъ очень цѣнились русскія полонянки; сколько дѣтей въ Дэли и въ Агрѣ, можетъ быть, засыпали на рукахъ у нянекъ подъ грустный напѣвъ, дышавшій тоскою о далекой Руси!“ (22). И этотъ фактъ былъ для насъ не менѣе полезенъ, чѣмъ монгольское иго. Ницшіанское „сверхъ-человѣчество“ требуетъ „переоцѣнки

всѣхъ цѣнностей". Очевидно, того же требуетъ сверхъ-патріотическая точка зрѣнія...

Русскимъ воинамъ, какъ мы видѣли, было не трудно и сражаться и ладить съ азіатами, въ силу связывающаго ихъ съ ними духовнаго сродства и въ противоположность европейскимъ воинамъ. То же самое слѣдуетъ сказать и о русской дипломатіи,—конечно, о старой русской дипломатіи, еще не зараженной тлетворнымъ дыханіемъ чуждаго запада и потому не забывшей еще своего духовнаго родства съ Востокомъ.

Одинъ русскій криминалистъ, до странности склонный оправдывать ужасную систему наказаній, существовавшую у насъ въ XVII вѣкѣ, приводитъ изъ дѣятельности тогдашней русской дипломатіи слѣдующіе факты, которые даже онъ находитъ „возмутительными": „Въ наказѣ воеводѣ князю Петру Горчакову приказывается „промышлять, чтобы приманить Пелымскаго князя Аблегирима, да женъ его, да племянниковъ, да внучатъ и лучшихъ людей его и, переимавъ ихъ, извести". Указывается далѣе и способъ, которымъ воевода долженъ „приманить" этихъ несчастныхъ: „приказывать имъ, чтобы они пошли безъ боязни къ государевымъ воеводамъ, а государь ихъ пожалуетъ и Пелымскому князю ничего не будетъ. А будетъ Пелымскій князь и дѣти его придутъ къ воеводамъ, и ихъ обнадежить, чтобы ихъ всѣхъ приманить, а приманя, казнить". „Въ Телецкую землицу—пишутъ Кузнецкому воеводѣ изъ Москвы—послать по князца Айдарка служилыхъ людей, и, приговоря его Айдарка ласкою, а не жесточью, взять въ Кузнецкій острогъ, а взявъ, повѣсить". („Наказаніе въ русскомъ правѣ XVII вѣка. Изслѣдованіе Н. Д. Сергѣевскаго". Стр 68—69).

Слава Богу, далеки отъ насъ эти дипломатическіе пріемы XVI вѣка, но кн. Ухтомскій съ умиленіемъ говоритъ о томъ, какою „прелестью слога вѣетъ отъ наказовъ посламъ, отъ „статейныхъ списковъ" той дорогой намъ эпохи!" (21). Правда, онъ не упоминаетъ объ актахъ, въ родѣ только что приведенныхъ, предписывающихъ заманить и повѣсить князцовъ Аблегерима и Айдарку; вѣроятно, они сами собой разумѣются въ арійско-туранской амальгамѣ, надѣлившей старую русскую дипломатію „началами прямодушія и безыскусственной доброты". Конечно, и эти акты можно бы было подвести подъ общую формулу: „намъ было весьма не трудно" и доказать, что они были намъ столь же полезны, какъ Чингисы и Батыи или грустныя пѣсни русскихъ плѣнницъ въ гаремахъ Акбара

Но во всякомъ случаѣ кн. Ухтомскій объ нихъ умалчиваетъ. Онъ съ умиленіемъ говоритъ про „повѣствованія о „ссылкахъ“ съ разными ханами и шахами „съ поминки и великимъ челобитьемъ о любви“ (21), о посылкѣ астраханскаго татарина Касимова въ Индію, къ „Эвреинъ-Зенъ Шахову Величеству“ съ граматами „о дружбѣ и о любви и о иныхъ государскихъ добрыхъ дѣлахъ“, при чемъ Касимовъ везъ „соболей, зеркала подъ слюдою и т. п. „любительные легкіе поминки“ (22). Вотъ какъ умѣла обращаться старая русская дипломатія съ восточными владыками. Никогда чуждые Востоку западные народы не были такъ любезны и предупредительны... Однако, когда нужно показать былое могущество восточныхъ владыкъ, кн. Ухтомскій съ торжествомъ приводитъ формулу обращенія Людовика XIV къ властителю Сіама: „très haut, très excellent, très puissant et très magnanime prince, nôtre très cher et bon ami, Dieu veuille augmenter vôtre grandeur“ (31). А когда идетъ рѣчь о вѣротерпимости восточныхъ владыкъ, то оказывается, что католическіе монахи изъ Гоа послали Акбару не зеркала подъ слюдою и т. п „любительные легкіе поминки“, а „изображенія Спасителя и Непорочной Дѣвы, а также Библію“. И этотъ чужой Западу могущественный Акбаръ „приложился къ нимъ и поднялъ Св. Писаніе до чела, въ доказательство глубокаго благоговѣнія; католикамъ было разрѣшено построить отдѣльную часовню; Моголъ посѣтилъ ее и въ землю поклонился изваянію Богочеловѣка“ (24). Конечно, все это было, можетъ быть, лицемѣріемъ со стороны европейцевъ, лицемѣріемъ и „заманиваніемъ“. Но надо всетаки признаться, что европейцы и въ XVI вѣкѣ умѣли заманивать восточныхъ властителей не хуже (въ своемъ родѣ, разумѣется), чѣмъ русская дипломатія XVII вѣка князцовъ Аблегирима и Айдарку...

Довольно, кажется, образчиковъ, сверхъ-патріотической логики, и надо придти къ общему выводу—не о брошюрѣ кн. Ухтомскаго,—этотъ выводъ, полагаемъ, уже сдѣланъ читателями,—а по поводу ея.

„Въ Азіи—пишетъ кн. Ухтомскій—для насъ въ сущности нѣтъ и не можетъ быть границъ, кромѣ необузданнаго, какъ и духъ русскаго народа, свободно плещущаго у ея береговъ необъятнаго синяго моря. Когда высказываешь столь очевидную истину, то обыкновенно слышишь возраженія: „къ чему намъ это? у насъ и такъ земли много! мы и теперь уже расползлись и разрослись до чудовищныхъ размѣровъ въ ущербъ дѣлу управленія государствомъ и прямо во вредъ коренному населенію“. Но для всероссійской дер-

жавы нѣтъ другого исхода: или стать тѣмъ, чѣмъ она отъ вѣка призвана быть (міровою силою, сочетающею Западъ съ Востокомъ), или безславно и незамѣтно пойти по пути паденія, потому что Европа сама по себѣ насъ въ концѣ концовъ подавитъ внѣшнимъ превосходствомъ своимъ, а не нами пробужденные азіатскіе народы для русскихъ современемъ будутъ еще опаснѣе, чѣмъ западные иноплеменники" (85).

Да, возможно, что азіатскіе народы станутъ съ теченіемъ времени опасны для Россіи, и къ этому надо готовиться. Но не сверхъ-патріотическими мечтами о присоединеніи всей Азіи къ Мономахову наслѣдію и не сверхъ-патріотическимъ самохвальствомъ. Что касается Мономахова наслѣдія, то русское правительство неоднократно заявляло, что оно не имѣетъ въ виду территоріальныхъ пріобрѣтеній, и если обстоятельства вынудили его присоединить часть Манчжуріи къ россійской имперіи, то это отнюдь не резонъ для сверхъ-патріотическаго торжества. Это новое, хотя и давно предвидѣнное расширеніе нашихъ предѣловъ налагаетъ на насъ и новыя обязанности, не имѣющія ничего общаго съ мечтами о главенствѣ надъ всѣмъ азіатскимъ материкомъ съ придачей Японіи. Это, впрочемъ, мечты столь нелѣпыя, что серьезно разговаривать объ нихъ не приходится. Иное дѣло сверхъ-патріотическое самохвальство. Отчего не „пробуждать" азіатскіе народы, — это высокая и благородная миссія, но для этого надо и самимъ пробудиться и прежде всего раскрыть глаза на истину и смотрѣть на нее смѣло и добросовѣстно. Если школьная поговорка: „сознаніе — половина исправленія" грѣшитъ слащавостью и часто оказывается несправедливою, то отсутствіе сознанія есть вѣрный залогъ неисправимости. Безъ сомнѣнія, среди русскихъ людей, какъ и среди другихъ народовъ, есть люди „прямодушные и безыскусственно добрые", которымъ свойственъ „взглядъ на человѣка всякаго племени и всякой вѣры, какъ на Божье созданіе, которое намъ не можетъ не быть близко и по плоти и по духу". Но зачѣмъ обобщать этотъ отрадный фактъ, возводя его на степень черты національнаго характера, опредѣляющей наши отношенія къ инородцамъ, какъ въ прошломъ, такъ и въ настоящемъ, на всемъ протяженіи русской исторіи? Зачѣмъ это дѣлать, когда это завѣдомая неправда, когда въ нашемъ прошломъ есть Аблегеримы и Айдарки, а въ настоящемъ — и кн. Ухтомскому, какъ редактору газеты, это особенно хорошо извѣстно — есть столько людей, спеціально посвятившихъ себя травлѣ инородцевъ?..

Это далеко не все, что мы хотѣли бы сказать по поводу сверхъ-патріотической брошюры кн. Ухтомскаго, но мы напомнимъ еще только одинъ мелкій, но чрезвычайно характерный и, такъ сказать, символическій фактъ. Года два-три тому назадъ въ газетахъ сообщалось, что во Владивостокѣ или Хабаровскѣ, не помнимъ, живетъ китаецъ, пишущій для безграмотныхъ русскихъ рабочихъ прошенія и другія дѣловыя бумаги на русскомъ языкѣ. Повторяемъ, это мелочь, однако характерная. Кн. Ухтомскій справедливо говоритъ, что мы плохо знаемъ Востокъ и въ частности Китай, и что это печально. Но еще печальнѣе, что китаецъ пишетъ за русскихъ прошенія по-русски. „Пробужденію" не мѣшаетъ направиться и въ эту сторону, по крайней мѣрѣ, единовременно съ благородною миссіей пробужденія азіатскихъ народовъ...

Нѣтъ, разумѣется, возможности ожидать, чтобы каждый русскій рабочій въ скоромъ времени узналъ, напримѣръ, что такое „Божественная комедія", но отъ редактора русской газеты можно этого требовать теперь же. А между тѣмъ, въ брошюрѣ кн. Ухтомскаго читаемъ: „Философы въ Китаѣ учили приблизительно во времена Пиѳагора; завоеватели прославились при Александрѣ Македонскомъ и римлянахъ; варвары нападали тогда же, когда ими громилась кесарская цивилизація; императорская власть облекалась саномъ первосвященниковъ при папѣ Григоріѣ Великомъ; китайская ученость процвѣтала въ эпоху Абеляра и Ѳомы Аквинскаго; *театральное искусство достигло извѣстной степени совершенства, когда въ Италіи создалась Божественная комедія*" и т. д., и т. д. Словомъ, параллелизмъ—полный: что въ Европѣ, то и въ Китаѣ. Надо замѣтить, что это не собственное указаніе кн. Ухтомскаго, а заимствовано имъ изъ книги Феррари „La Chine et l'Europe". Намъ эта книга неизвѣстна; позволительно, однако, сомнѣваться, чтобы образованный европеецъ отнесъ „Божественную комедію" къ области театральнаго искусства, соблазнившись словомъ „комедія". И потому тутъ вкралась, можетъ быть, ошибка въ переводъ кн. Ухтомскаго. Но если этотъ Феррари и достигъ такой вершины невѣжества, то подозрительны и всѣ другія его свѣдѣнія, и его можно бы было и совсѣмъ не цитировать. Во всякомъ же случаѣ отъ редактора большой газеты, самымъ положеніемъ обязаннаго въ нѣкоторой энциклопедической образованности, можно бы было ожидать, по крайней мѣрѣ, хоть какой-нибудь оговорки, если ужъ непремѣнно нужно было ссылаться на книгу Феррари.

Въ заключеніе одно замѣчаніе. Кн. Ухтомскій очень скорбитъ о томъ, какъ грубо обращались и обращаются европейцы съ священными для азіатскихъ народовъ предметами ихъ религіознаго культа. „Тысячи кумировъ Будды изъ камня и бронзы низвергались (на Цейлонѣ) католиками на землю", пишетъ онъ съ справедливымъ негодованіемъ (26). И далѣе: „Идолы Будды, какъ нѣчто чудотворное, привозились съ юго-запада въ Небесную имперію... Если ужъ любить и признавать родной намъ сосѣдній материкъ за что-то близкое духомъ и органически съ нами единое, то любовь должна въ равной мѣрѣ переноситься на всякій уголочекъ земли, гдѣ убѣжденный монархистъ-азіатъ въ трудѣ и покаяніи находитъ задушевный отвѣтъ на самые жгучіе для человѣка вопросы: зачѣмъ мы собственно живемъ и какъ избѣгнуть страданія?" (42—43). Мы скажемъ больше: даже не признавая нашего органическаго единенія съ азіатами, слѣдуетъ всетаки почтительно относиться къ ихъ святынямъ. Позоръ тѣмъ европейцамъ, которые низвергали на землю изображенія Будды или инымъ образомъ лишали святынь тѣ „уголочки земли", гдѣ эти святыни чтятся. Въ этомъ отношеніи мы не только согласны съ кн. Ухтомскимъ, а идемъ дальше его, ибо требуемъ почтенія къ святынямъ азіатовъ, вовсе не чувствуя особеннаго, спеціальнаго родства съ ними по духу. Но вотъ что насъ смущаетъ. На теперешней выставкѣ имѣется принадлежащая кн. Ухтомскому огромная, какой, говорятъ нѣтъ ни въ одномъ европейскомъ музеѣ, коллекція идоловъ Будды и другихъ предметовъ буддійскаго культа. Какъ смотрѣть на эту коллекцію съ сверхъ-патріотической точки зрѣнія? Думаетъ ли кн. Ухтомскій, удовлетворивъ любознательность европейцевъ на парижской выставкѣ, вернуть эти священные предметы въ тѣ горячо любимые имъ „уголочки земли", откуда они взяты, и гдѣ сотни и тысячи вѣрующихъ по нимъ тоскуютъ? Или, такъ какъ Россія и Китай, Индія, Японія и проч. едино суть, то безразлично, гдѣ быть идоламъ Будды,—въ храмахъ-ли китайскихъ и индійскихъ, или въ квартирѣ кн. Ухтомскаго?

XV *).

«Знаменія времени», романъ г. Мордовцева.—«Критическія замѣтки» о немъ г-на А. Б. въ «Мірѣ Божіемъ».

Если бы г. Мордовцевъ предпринялъ издать полное собраніе своихъ сочиненій, то оно составило бы, вѣроятно, около сотни томовъ. Не смотря, однако, на извѣстную талантливость и нѣкоторую оригинальность мысли автора, едва ли многое изъ этой огромной массы писаній составляетъ сколько нибудь цѣнный и прочный вкладъ въ русскую литературу; едва-ли многое можетъ быть принято „въ серьезъ". Для этого есть, разумѣется, свои причины. Среди многочисленныхъ и разнообразныхъ темъ, занимающихъ г. Мордовцева въ теченіе многихъ и многихъ лѣтъ, центральную нить представляютъ темы историческія. Г Мордовцевъ—прежде всего историкъ, и даже когда онъ пишетъ о какихъ нибудь текущихъ дѣлахъ, онъ норовитъ освѣтить ихъ исторически. Собственно же историческія темы г. Мордовцевъ обработываетъ на три манера: во-первыхъ, чисто фактически („Самозванцы и понизовая вольница", „Гайдамаки" и проч.), во вторыхъ, философски (напримѣръ „Калѣки перехожіе"), въ третьихъ, беллетристически,—въ романахъ, повѣстяхъ, разсказахъ изъ разныхъ эпохъ исторіи человѣчества. Г. Мордовцевъ художникъ, и это отражается даже на фактическихъ его работахъ по исторіи, не говоря уже о трудахъ философско-историческихъ. Сочетаніе этихъ свойствъ и интересовъ—трудолюбіе и талантливость, историческіе, то есть подлинные житейскіе факты и художественная обработка—могло бы дать блестящіе результаты. Но въ эту счастливую комбинацію клиномъ врѣзалось еще одно свойство г. Мордовцева, о которомъ мнѣ уже случалось писать,—необычай-

*) Сентябрь 1900 г.

ная торопливость и какая-то странная юркость ума. Г. Мордовцевъ не успѣваетъ додумывать свои мысли и вынашивать свои образы. Первыя, какъ щепка въ быстромъ водоворотѣ, все вертятся около самихъ себя, не выясняясь ни читателю, ни самому автору; вторые выскакиваютъ на бумагу, а потомъ и въ печать, не успѣвъ справиться съ формами, красками и размѣрами дѣйствительности, которую должны воплощать. Рѣдкое трудолюбіе г. Мордовцева направлено гораздо больше на процессъ изложенія, чѣмъ на процессы выработки мысли и творчества. Онъ довольствуется еле мелькнувшими передъ его умственнымъ окомъ мыслями и образами и съ чрезвычайною торопливостью закрѣпляетъ ихъ на бумагѣ, не успѣвая привести въ ясность, гдѣ нужно урѣзать, гдѣ нужно развить, сообразить съ элементарными законами логики и съ дѣйствительностью, и замѣняя эти необходимыя поправки цвѣтистымъ многословіемъ, переходящимъ въ простую болтливость. Понятно, что количество его писаній несоразмѣрно съ ихъ качествомъ: никакая талантливость, даже гораздо болѣе яркая, чѣмъ та, которая находится въ распоряженіи г. Мордовцева, не выдержитъ этой торопливости и юркости.

Все это относится не только къ разнообразнымъ историческимъ трудамъ г. Мордовцева, составляющимъ его главный багажъ, а вообще ко всѣмъ его произведеніямъ. Между прочимъ, и къ роману „Знаменія времени", вышедшему недавно въ новомъ изданіи. Теперь это, пожалуй, тоже историческій романъ, такъ какъ въ немъ изображаются дѣла и люди конца шестидесятыхъ и самаго начала семидесятыхъ годовъ, а въ тридцать лѣтъ воды у насъ утекло необыкновенно, страшно много. Но авторъ имѣлъ въ виду не исторію, а самую злободневную дѣйствительность, и въ свое время романъ былъ принятъ, именно какъ нѣчто злободневное, даже слишкомъ въ серьезъ съ двухъ сторонъ. „Знаменія времени" печатались первоначально, если мнѣ не измѣняетъ память, въ журналѣ „Всемірный Трудъ", самое названіе котораго едва-ли многимъ изъ нынѣшнихъ читателей знакомо,—такъ давно онъ канулъ въ Лету. Затѣмъ романъ вышелъ отдѣльнымъ изданіемъ, которое было запрещено. Трудно теперь, перечитывая это произведеніе, сказать, что именно опаснаго нашло въ немъ тогдашнее цензурное вѣдомство. Во всякомъ случаѣ, оно отнеслось къ роману серьезно. Это, съ одной стороны. А, съ другой, его въ серьезъ же приняла нѣкоторая часть тогдашней зеленой молодежи, увидѣвшая въ немъ какое-то

откровеніе. Очень можетъ быть, что эти двѣ встрѣчи, уготованныя судьбою роману г. Мордовцева съ двухъ противоположныхъ сторонъ, находились въ самомъ тѣсномъ взаимодѣйствіи. Въ тѣ времена бывало, что книга считалась опасною потому, что ею зачитывалась пылкая молодежь, а пылкая молодежь зачитывалась ею потому, что она считалась опасною. Спрашивается, какъ теперь можно или должно относиться къ „Знаменіямъ времени"? Прежде всего, конечно, съ полнымъ спокойствіемъ, примѣръ чего дается цензурнымъ вѣдомствомъ, предоставившимъ этой когда-то запрещенной книгѣ свободное обращеніе. Это просто уже въ силу тридцатилѣтней давности. Но насъ, писателей, тридцатилѣтняя давность обязываетъ не къ этому спокойствію. И мы имѣемъ уже образчикъ и того спокойствія, которое приличествуетъ въ данномъ случаѣ писателю...

Я разумѣю „Критическія замѣтки" г. А. Б. въ августовской книжкѣ „Міра Божія". Признаюсь, я, можетъ быть, не сталъ бы не только писать о „Знаменіяхъ времени", а и перечитывать это произведеніе торопливаго пера г. Мордовцева, если-бы не нѣкоторое возбужденіе, полученное отъ статьи г. А. Б.

Въ романѣ г. Мордовцева дѣйствуетъ цѣлый рядъ „новыхъ людей" конца шестидесятыхъ и начала семидесятыхъ годовъ. Такъ они и сами себя зовутъ, такъ и другіе ихъ называютъ, а старое для нихъ столь быстро старится, что каждый „новый человѣкъ", являющійся на горизонтѣ романа, оказывается новѣе предыдущаго и отметаетъ его, какъ нѣчто успѣвшее уже устарѣть. Я прошу читателя запомнить эту, если не характернѣйшую, то во всякомъ случаѣ поучительнѣйшую черту романа г. Мордовцева, а почему она поучительна, это мы увидимъ ниже. Справедливо отмѣтивъ совершенно нехудожественную грубость красокъ романа, г. А. Б. объясняетъ его успѣхъ въ свое время тѣмъ, что онъ отражалъ „настроеніе передовой части тогдашняго общества", въ рѣчахъ и поступкахъ его героевъ „сохранились задушевныя мысли передовыхъ людей того времени". Нынѣ, черезъ тридцать лѣтъ, эти задушевныя мысли испарились и замѣнились новыми, это настроеніе прошло, и—„requiescat in pace", заключаетъ г. А. Б. „Да почіетъ въ мирѣ"—вотъ образчикъ истинно спокойнаго отношенія къ произведенію, насчитывающему тридцатилѣтнюю давность, и къ тому настроенію, которое въ немъ отразилось...

Но отчего же между изложенными мною началомъ и концомъ

статьи г. А. Б. слышится какое-то сдержанное волненіе довольно таки сердитое? Отчего это волненіе мѣстами доходитъ до того, что въ идеяхъ одного изъ героевъ „Знаменій времени“ авторъ видитъ „кончикъ ослинаго уха“, а „мы“, современные новые люди, съ г. А. Б. единомысленные, относимся къ прошлому „съ насмѣшкой горькою обманутаго сына надъ промотавшимся отцомъ“ (Г. А. Б., впрочемъ, упрощаетъ и потому калѣчитъ этотъ великолѣпный стихъ Лермонтова: онъ пишетъ: „съ горькой насмѣшкой сына надъ промотавшимся отцомъ“). Казалось бы, если „requiescat in pace“, горькая насмѣшка по малой мѣрѣ не нужна, если не безстыдна. „Мертвый въ гробѣ мирно спи, жизнью пользуйся живущій“. А между тѣмъ современные „новые люди“ еще недавно, можно сказать, на дняхъ, норовили, а отчасти и теперь, вотъ какъ г. А. Б., норовятъ при всякомъ удобномъ и даже неудобномъ случаѣ пнуть покойника ногой... Отчего это?

Г. А. Б. обнаруживаетъ въ одномъ мѣстѣ львиный коготь (въ противоположность ослиному уху). Онъ пишетъ: „Сколько бы ни увѣряли насъ современныя „точеныя головы“ и „хорошо подкованные мозги“, что сила въ личности, въ субъективномъ отношеніи къ дѣйствительности,—имъ не увлечь за собой никого. Сколько бы ни практиковали они Карамановскаго рецепта—„кто мимо, того въ зубы“—время ихъ прошло“.—Выраженія: „точеныя головы“ и „хорошо подкованные мозги“ взяты г-мъ А. Б. изъ романа г. Мордовцева. Карамановъ есть одно изъ дѣйствующихъ лицъ того же романа, но рецептъ „кто мимо, того въ зубы“ вложенъ въ его уста не г. Мордовцевымъ, а г-мъ А. Б. „Въ зубы“,—это, конечно, сильно сказано, но только кто же это „въ зубы“? Жаль, что г. А. Б. не иллюстрировалъ современнаго примѣненія Карамановскаго рецепта примѣрами, дѣло было бы яснѣе. Во всякомъ случаѣ, значитъ есть и „современныя“ „точеныя головы“ и „хорошо подкованные мозги“, какъ г-ну А. Б. угодно называть людей, вѣрующихъ „въ силу личности и субъективнаго отношенія къ дѣйствительности“. Значитъ, еще рано произносить имъ надгробное слово. И г. А. Б. сердито волнуется. Онъ, пожалуй, не прочь и „въ зубы“ этимъ мимоидущимъ...

Что касается собственно романа г. Мордовцева, то, конечно, requiescat in pace. Но въ какой мѣрѣ правъ г. А. Б., сливая, отожествляя его съ „настроеніемъ передовой части тогдашняго общества“ и видя въ немъ „задушевныя мысли передовыхъ людей того в

мени"? Разнести въ пухъ и прахъ „Знаменія времени" очень не трудно, но, можетъ быть, одержать эту легкую побѣду еще не значитъ разгромить „настроеніе" шестидесятыхъ-семидесятыхъ годовъ. Можетъ быть, придавать этой своей побѣдѣ такое значеніе все равно, что не чисто играть въ карты, если человѣкъ дѣйствуетъ сознательно, или обнаруживать непониманіе и незнаніе того дѣла, о которомъ человѣкъ взялся говорить...

Я не помню отзывовъ печати о „Знаменіяхъ времени" въ то время, когда этотъ романъ былъ новинкой, да едва ли они тогда и могли быть. Но около того же времени г. Мордовцевъ издалъ другой, вполнѣ однородный съ „Знаменіями времени" романъ— „Новые люди". И вотъ что писали о немъ въ 1870 г. „Отечественныя Записки",—журналъ, какъ извѣстно, наиболѣе въ то время авторитетный и распространенный въ „передовомъ" обществѣ. Прошу у читателя извиненія за длинную выписку; но поднимать старую исторію, такъ поднимать, хотя, къ сожалѣнію, не смотря даже на тридцатилѣтнюю давность, я не могу поднять ее вполнѣ.

„Стремленія „новыхъ людей",—говоритъ рецензентъ „Отечественныхъ Записокъ",—по мнѣнію г. Мордовцева, обнимаютъ слѣдующія три задачи: самостоятельный трудъ, наука и освобожденіе жизни отъ искусственныхъ условій, которыя затрудняютъ правильное и естественное развитіе ея... Мы, конечно, не имѣли бы никакого препятствія къ опубликованію этой декларацiи, если бы почтенный авторъ ограничился лишь тѣми немногими строками, которыя выписаны выше. Но... онъ рѣшилъ, что столь малаго количества строкъ недостаточно для читателя, что онѣ составляютъ только канву, а не дѣло; что слѣдуетъ сообщить ему нѣсколько болѣе вразумительности и на этотъ конецъ показать читателю живьемъ „новаго русскаго человѣка". дѣйствительно „не дѣлающаго пошлостей", дѣйствительно трудящагося, развивающаго себя наукой и устраивающаго свою жизнь по-новому. Рѣшилъ—и пустился въ путь: но, къ сожалѣнію, впопыхахъ не справился о томъ, гдѣ лежитъ страна, которую онъ собрался изслѣдовать. Результаты такой печальной поспѣшности сказались немедленно... Кобенящіеся герои г. Мордовцева, не смотря на несомнѣнную свою исковерканность, не имѣютъ никакой подлинности... Въ нашей беллетристикѣ, относительно воспроизведенія типа „новаго русскаго человѣка", установилась въ послѣднее время двоякая манера, смотря потому, гдѣ тотъ или другой авторъ избираетъ мѣсто дѣйствія для своего измышленія. Если „новый человѣкъ" ору-

дѣетъ въ провинціи, то онъ обыкновенно начинаетъ съ того, что пріѣзжаетъ изъ Петербурга и тотчасъ же грубитъ родителямъ и доказываетъ имъ, что они ослы. Доказать онъ, разумѣется, ничего не докажетъ, но непремѣнно увлечетъ за собой маленькаго „братишку“ и маленькую „сестренку“, и тогда въ этомъ злосчастномъ домѣ закипаетъ нелѣпѣйшая изъ драмъ, какую только можетъ измыслить праздное человѣческое воображеніе. Въ первой главѣ петербургскій гость говоритъ отцу, что онъ—оселъ, а матери, что она—содержанка; отецъ конфузится (ибо втайнѣ понимаетъ, что сынъ говоритъ правду), мать утираетъ слезы; братишка и сестренка прислушиваются. Во второй главѣ петербургскій гость опять повторяетъ отцу, что онъ оселъ, а матери, что она содержанка; братишка и сестренка вторятъ ему; отецъ конфузится, мать утираетъ слезы. Въ третьей главѣ сестренка фискалитъ петербургскому гостю на мать, что она потихоньку молится Богу; петербургскій гость говоритъ сестренкѣ: „ты у меня, сестренка, славный малый!“ И пушитъ мать на чемъ свѣтъ стоитъ: „Вы бы лучше канаву копали, а то только чужой хлѣбъ ѣдите!“ Въ четвертой главѣ отецъ начинаетъ подаваться: „а вѣдь ты правъ, мой другъ,—говоритъ онъ,—я, дѣйствительно, не больше, какъ старый оселъ“. И т. д., пока автору самому не надоѣстъ тянуть эту канитель... Вторая манера, т.-е. когда мѣсто дѣйствія назначено въ Петербургѣ, еще проще. Глава I: „новый человѣкъ“ сидитъ въ кругу товарищей; бѣдная обстановка; на столѣ колбаса, филипповскій калачъ, стаканы съ чаемъ. „Работать!—вотъ назначеніе мыслящаго человѣка на землѣ!“—говоритъ „новый человѣкъ“, и самъ ни съ мѣста. „Работать!—вотъ назначеніе мыслящаго человѣка на землѣ!“,—отвѣчаютъ всѣ товарищи, каждый по одиночкѣ, и сами ни съ мѣста... И т. д. до тѣхъ поръ, пока автора не стошнитъ. Тогда „конецъ“, и рукопись въ типографію. Читатель перечитываетъ эти художественныя воспроизведенія неизвѣстнаго ему міра и положительно не вѣритъ ни одному слову. Да и нельзя вѣрить, потому что немыслимо даже вообразить себѣ, чтобы существовало такое поколѣніе, которое ничѣмъ бы другимъ не занималось, кромѣ раскладыванія словеснаго гранъ-пасьянса. Хотя читатель и мало знаетъ о „новыхъ русскихъ людяхъ“, но всетаки онъ кое-что слыхалъ о нихъ. Онъ слыхалъ объ увлеченіяхъ не книжныхъ только, а дѣйствительныхъ, о безвременно погубленныхъ силахъ, о принесенныхъ жертвахъ; онъ знаетъ, что эти слухи не призракъ, а суровая правда; поэтому онъ желаетъ, чтобы ему объяснили, въ чемъ заключаются эти дѣйстви-

тельныя увлеченія „новаго человѣка“, во имя чего приносятся имъ жертвы и какъ приносятся... Гдѣ же жертвы, гдѣ встрѣча молодого и страстнаго убѣжденія съ самоувѣренною и ни на что не дающею отвѣта дѣйствительностью?.. По такому же убогому и безсодержательному рецепту нарисованы и „новые русскіе люди“ г. Мордовцева... Весьма естественно, что даже самый учтивый читатель, и тотъ спѣшитъ поскорѣе раскланяться съ рекомендуемыми ему пристанодержателями пустопорожности и закрываетъ книгу, чтобы никогда не возвращаться къ ней“ (О. З. 1870, іюль, „Новыя книги“).

Такъ отнеслись въ свое время „Отечественныя Записки“ къ „Новымъ людямъ“ г. Мордовцева. Что „словеснаго гранъ-пасьянса“, раскладываемаго какъ самимъ авторомъ, такъ и его дѣйствующими лицами, много и въ „Знаменіяхъ времени“,—это мы увидимъ. Что герои „Знаменій времени“ весьма близки къ тому, чтобы обзывать своихъ отцовъ ослами, а ихъ отцы къ тому, чтобы съ этимъ соглашаться, это тоже увидимъ. Но увидимъ и то, что героями „Знаменій времени“ приносятся жертвы... А теперь обратимъ вниманіе на слѣдующее показаніе рецензіи: „Въ нашей беллетристикѣ, относительно воспроизведенія „новаго русскаго человѣка“, установилась въ послѣднее время двоякая манера“ и т. д. Стало быть, въ то время г. Мордовцевъ, какъ авторъ „Новыхъ людей“ и „Знаменій времени“, не одиноко стоялъ. Это и г. А. Б. знаетъ. Охарактеризовавъ романы этого сорта, онъ пишетъ: „Литература освободительной эпохи шестидесятыхъ годовъ была очень богата такими произведеніями. Стоитъ вспомнить романы Шеллера, Омулевскаго, Бажина и многихъ другихъ, теперь основательнѣйшимъ образомъ забытыхъ писателей, это все—богомазы. Тутъ лица человѣческаго нѣтъ, а тогда все это читалось, поглощалось жадно и страстно и имѣло несомнѣнное вліяніе, потому что отражало въ себѣ настроеніе передовой части тогдашняго общества. Въ противовѣсъ этимъ писателямъ выступали богомазы и изъ противоположнаго лагеря—Клюшниковъ, Маркевичъ и т. п. Настоящая литература стояла въ сторонѣ отъ борющихся теченій и творила въ произведеніяхъ Тургенева, Достоевскаго и Толстого вѣчные, не умирающіе образы, а не иллюстраціи къ излюбленнымъ теоріямъ того или иного направленія“.

Мнѣ кажется, г. А. Б. немножко слишкомъ строгъ, а кромѣ того, и фактически не правъ. Г. Шеллеръ, напримѣръ, конечно, далеко не первоклассный талантъ и никогда имъ не былъ, но, по крайней мѣрѣ, за первыя, старыя свои произведенія, которыя г. А. Б. и

имѣетъ въ виду, отнюдь не заслуживаетъ титула „богомаза". А что онъ не забытъ, въ этомъ г. А. Б. можетъ убѣдиться, просмотрѣвъ отчеты провинціальныхъ библіотекъ и читаленъ: имя г. Шеллера стоитъ въ нихъ обыкновенно однимъ изъ первыхъ по количеству требованій, и иногда даже впереди дѣйствительно яркихъ звѣздъ нашей литературы. Затѣмъ, я не буду говорить о Толстомъ и Достоевскомъ („Бѣсовъ" послѣдняго самъ г. А. Б. оговариваетъ, какъ произведеніе стоящее отнюдь не „въ сторонѣ отъ борющихся теченій"). Но Тургеневъ, авторъ „Отцовъ и дѣтей", „Дыма", „Нови", — неужели и онъ въ своей художественной дѣятельности оставлялъ „теченія" въ сторонѣ? Конечно, „иллюстрацій" онъ не писалъ, но это уже дѣло художественной силы, таланта.

Какъ бы то ни было, въ шестидесятыхъ-семидесятыхъ годахъ появлялось не мало романовъ въ родѣ „Знаменій времени" и „Новыхъ людей". Въ нихъ, дѣйствительно, часто лица человѣческаго не было, не говоря уже о художественныхъ достоинствахъ. Передъ читателемъ или раскладывался безконечный гранъ-пасьянсъ на темы о трудѣ, самостоятельности, новой жизни, или громоздились одна на другую фантастическія приключенія изъ жизни „новыхъ людей", и тѣмъ болѣе фантастическія, что изображенію соотвѣтственной полосы подлинной жизни тогдашняя цензура ставила очень узкіе предѣлы. Но было въ этихъ плохихъ произведеніяхъ что-то очень привлекательное для извѣстной части читателей. Печатались они преимущественно въ журналахъ „Русское Слово" и „Дѣло", да иногда въ эфемерныхъ изданіяхъ въ родѣ „Всемірнаго Труда"; „Современникъ" и „Отечественныя Записки" были несравненно строже въ этомъ отношеніи. Будущій историкъ русской литературы, конечно, съ величайшимъ интересомъ остановится на томъ остроумномъ и глубокомысленномъ объясненіи, которое далъ на страницахъ „Отечественныхъ Записокъ" Глѣбъ Успенскій и самому появленію этихъ романовъ, и ихъ успѣху.

Прошу позволенія сдѣлать еще одну большую выписку.

„Боже милосердный, какъ мучительно мнѣ было смотрѣть на автора новыхъ временъ, на романиста новыхъ людей!.. Мнѣ было по истинѣ страшно за него, страшно за „необходимость" во что бы то ни стало создавать новыхъ, совсѣмъ-совсѣмъ новыхъ людей. Въ этихъ людяхъ у толпы, дѣйствительно, была самая настоятельная надобность; она, толпа, какъ и авторъ, представитель этой толпы, узнала самымъ обстоятельнымъ образомъ, что съ прошлымъ разор-

вана всякая связь, разорвана вдругъ, въ одинъ прекрасный день; давайте самой чистой нравственности, самыхъ возвышенныхъ добродѣтелей, самой сущей правды... Изъ чего онъ вылѣпитъ все это? думалъ я и ужасался... Во что одѣнетъ онъ свои благородныя желанія и мысли, откуда возьметъ чистую, незараженную кровь, здоровую, сильную, чуткую плоть? Но авторъ, не смотря на безвыходность этого положенія, покоряясь общественному требованію и требованію своей совѣсти, принялся лѣпить новыхъ людей, а я съ замираніемъ сердца смотрѣлъ на его работу... Откуда взять ему героя?.. Изъ народа?.. Бѣда его, что народа онъ совсѣмъ не знаетъ, да и какіе тамъ герои... Изъ господъ?—Ну ужъ... Изъ купцовъ?—Аршинники и архиплуты... Куда ни кинь—клинъ. И вотъ надо выводить его изъ какихъ-нибудь необычайныхъ условій... Надобно изолировать дѣтство его отъ всѣхъ условій, при которыхъ шло дѣтство толпы (въ одной повѣсти герой росъ почти между жеребятами), надо отучить отъ всѣхъ привычекъ прежней толпы, отъ всѣхъ ея вкусовъ, обычаевъ, свойствъ, и волей-неволей авторъ заставляетъ своего любимца питаться чуть не бекасиной дробью вмѣсто разносоловъ; дѣлаетъ сильнымъ невѣроятно и устраиваетъ ему обстановку необыкновенную. Купается онъ не какъ всѣ днемъ, а въ полночь: не какъ всѣ идетъ съ берега въ воду, а бросается со скалы. Эти невѣроятныя краски, преувеличенія, выдумки какъ нельзя лучше говорили мнѣ, въ какомъ ужасномъ положеніи осталась отъ прошлаго душа толпы. Каждую черту надо выдумывать, изобрѣтать, потому что нѣтъ ея подъ рукой и не знаешь, гдѣ взять... Я съ глубокимъ почтеніемъ къ непомѣрнымъ усиліямъ удовлетворить настоятельную жажду общественной совѣсти въ великомъ, сильномъ и честномъ—перечитывалъ всѣ эти сказанія о новыхъ людяхъ, но не могъ не чувствовать, что между этими крайностями, т.-е. между недавнимъ безпримѣрнымъ нравственнымъ паденіемъ и безпримѣрною жаждою новаго и возвышеннаго, есть третья черта, черта истиннаго состоянія общественной души, забытая авторами и старыми, и новыми: эта черта—страданіе" („На старомъ пепелищѣ").

Рекомендую читателю еще разъ перечитать эту прекрасную страницу, и ради глубины ея содержанія, и ради красоты того грустнаго смѣха, который такъ свойственъ Успенскому. Я не буду останавливаться на томъ, что понималъ Успенскій подъ страданіемъ, какъ чертой подлиннаго состоянія общественной души,—это отвлекло бы насъ слишкомъ далеко въ сторону отъ нашей темы. Не трону

пока и самаго объясненія, которое Успенскій даетъ появленію аляповатыхъ романовъ и ихъ успѣху. Спрошу только пока г-на А. Б.: если наиболѣе распространенный и авторитетный журналъ семидесятыхъ годовъ такъ опредѣленно высказался, устами вышеупомянутаго рецензента и Гл. Успенскаго, о художественной нелѣпости и полной неправдивости произведеній въ родѣ „Знаменій времени",—то не указываетъ ли это на необходимость какой-то очень существенной оговорки или поправки относительно „настроенія передовой части тогдашняго общества" и „задушевныхъ мыслей передовыхъ людей того времени"?

Посмотримъ нѣсколько ближе на романъ г. Мордовцева.

По Волгѣ ѣдутъ на пароходѣ два пассажира; одному „лѣтъ за двадцать", другому „лѣтъ за тридцать". Старшій называется Григоріемъ Борисовичемъ Стожаровымъ. Авторъ даетъ его біографію, которая начинается такъ: „Беззубая старушка, гречанка Парка, навязала на свой гребень куделю и стала прясть нитку Гришенькиной жизни послѣ полуночи 10 декабря 1835 года". Сообщивъ затѣмъ нѣкоторыя удивительныя черты изъ жизни Стожарова, авторъ замѣчаетъ, что онъ зоветъ своего младшаго спутника „Надей". Обстоятельство это ничего особенно любопытнаго, повидимому, не представляетъ: мало-ли какія у насъ есть уменьшительныя, ласкательныя имена собственныя, а въ частности „Надя" даже весьма удобно выкраивается изъ очень распространеннаго въ верхнемъ поволжьи имени „Геннадій". Но, по авторскому хотѣнью, „Надя" возбуждаетъ на пароходѣ всеобщее любопытство и тревогу. Одни думаютъ, что это переряженная дѣвушка, нѣкоторые полагаютъ, что „Надя" и ея спутникъ - „агенты какой-нибудь революціонной ассоціаціи или польскаго жонда", а одинъ чиновникъ рѣшилъ даже донести становому, что, дескать, въ поволжьи сѣются козни и разъѣзжаетъ какая-то Надя въ сюртукѣ и панталонахъ. Авторъ продолжаетъ: „Меня самого заинтересовала эта личность, и за свѣдѣніями о ней я обратился къ Музѣ, къ моей старой знакомой. Хотя мнѣ и совѣстно сознаться, что я знакомъ съ этой женщиной, знакомство съ которой въ наше время не дѣлаетъ чести порядочному человѣку, однако я всетаки иногда пользуюсь услугами этой женщины". И т. д., и т. д. Идутъ на трехъ печатныхъ страницахъ разсужденія о Музѣ, разговоръ съ ней и разсказъ о томъ, какъ и какія свѣдѣнія добыла она о Надѣ. Мимоходомъ поминаются и „Геродотинька", и Фукидидъ, и совре-

менные греки, „плачущіе отъ турецкаго ятагана“. Въ концѣ концовъ, оказывается, что „Надя“ есть студентъ Серпороевъ, а Надей его Стожаровъ зоветъ вотъ почему: „Стожаровъ не надѣется, чтобы Россія стала лучше, пока въ ней остаются многіе старые порядки, старые люди и старые предразсудки, а потому думаетъ, что измѣнить Россію къ лучшему предназначено было молодому поколѣнію, которое онъ и называетъ надеждой Россіи. Оттого и Серпороева онъ называетъ Надей“...

Это образчики той неудержимой болтливости, которая вообще свойственна г. Мордовцеву и которая налетаетъ какъ-то внезапно: о Стожаровѣ отъ себя разсказалъ, а для Серпороева почему-то понадобился зигзагъ въ сторону Музы; а потомъ опять, и уже до самаго конца романа, дѣло благополучно безъ Музы обходится. Я отмѣчаю эту черту, какъ личную особенность г. Мордовцева, выдѣляющую его изо всей группы авторовъ аляповатыхъ романовъ изъ жизни „новыхъ людей“,—вообще говоря, собственно авторское краснорѣчіе въ ихъ словесный гранъ-пасьянсъ не входитъ.

Герои „Знаменій времени“ съ ранней молодости отличаются необыкновенными качествами,—необыкновеннымъ умомъ, необыкновенною смѣлостью и рѣшительностью, правдивостью, образованностью и проч. Такъ Стожаровъ еще въ гимназіи отказался отвѣчать на экзаменѣ на вопросъ о „значеніи Наполеона въ исторіи нашего времени“. Онъ мотивировалъ свой отказъ тѣмъ, что „дѣйствія сумасшедшаго не могутъ имѣть органической связи съ какимъ бы то ни было временемъ“, а Наполеонъ былъ сумасшедшій и его слѣдовало посадить на цѣпь... Не говоря о томъ, возможенъ ли былъ въ дореформенной гимназіи вопросъ, предложенный Стожарову на экзаменѣ, любопытно было бы знать, какъ отвѣчалъ этотъ необычайно самостоятельный гимназистъ на экзаменахъ по нѣкоторымъ другимъ наукамъ. Но авторъ счелъ нужнымъ представить только одну пробу его самостоятельности. Въ университетѣ Стожаровъ написалъ такую диссертацію на медаль, „наставилъ въ ней такихъ вопросовъ, на которые не могли отвѣчать всѣ факультеты вмѣстѣ“. Диссертацію сожгли, хотя, какъ объяснилъ Стожарову одинъ профессоръ, „въ ней была замѣчательная начитанность, логика такая вѣская и не ломкая, что противъ нея, какъ противъ пушки, не устоишь, и казуистика ловкая“. Сожгли же ее „за то, за что въ прежнія времена сожигали на кострахъ самихъ авторовъ подобныхъ сочиненій“. „Въ наше время—продолжалъ профессоръ—автора такого сочиненія по-

садили бы въ крѣпость". Но, къ счастію для человѣчества, Россіи и романа г. Мордовцева, Стожаровъ въ крѣпость не попалъ, потому что на этотъ разъ имѣлъ осторожность не подписать подъ диссертаціей своего имени, а начальство, обыкновенно въ такихъ случаяхъ очень бдительное, почему-то не нашло нужнымъ разыскивать автора столь опаснаго сочиненія...

Гридневъ Василій Парменовичъ, сынъ богатаго купца-раскольника—молодой человѣкъ большихъ способностей, большой силы воли и чрезвычайной образованности. „Пріобрѣтенныя имъ знанія и усвоенныя имъ, по лучшимъ современнымъ учителямъ, убѣжденія встрѣтились съ другого рода убѣжденіями старика отца. Въ этой борьбѣ двухъ поколѣній, отживающаго и только что начинающаго жить на Руси, въ сопоставленіи тенденцій „Домостроя" съ доктринами Прудона, Молешота и Дарвина, окрѣпло въ молодомъ Гридневѣ то, что засѣло въ его голову прочно и оперлось на прочный фундаментъ, и пошатнулось то, что росло въ немъ безпочвенно и могло шататься". Полудикому отцу молодой Гридневъ съ благородною смѣлостью объявляетъ: „для васъ дорога Макрида-начетница, для меня дороги Бокль и Спенсеръ"; и еще: „по моему, батюшка, всѣ ваши книги—въ огонь". Полудикій отецъ грозитъ убить его за такія слова, но, въ концѣ концовъ, смиряется...

Карамановъ Аркадій Львовичъ. Хороши были предыдущіе, а этотъ молодой человѣкъ, кажется, всѣмъ головамъ голова. Въ особенности превосходенъ онъ своею смѣлою прямотою и рѣшительностью. Являясь къ отцу Стожарова, онъ, на вопросъ—не родственникъ ли онъ Льва Семеновича Караманова—отвѣчаетъ, не моргнувъ глазомъ: „Да, къ несчастью, я сынъ этого негодяя". И таковъ былъ Карамановъ съ ранней молодости. Стожаровъ-сынъ, какъ мы видѣли, въ гимназіи не видѣлъ возможности скрыть свое мнѣніе о Наполеонѣ на экзаменѣ изъ исторіи. Карамановъ обнаруживалъ эту безстрашную правдивость еще до гимназіи. Когда, бывало, Карамановъ-отецъ что-нибудь вралъ своимъ мужикамъ, маленькій Аркадій, „не стѣсняясь, говорилъ отцу при крестьянахъ: „ты лжешь, папаша", или, обращаясь къ крестьянамъ, говорилъ: „не вѣрьте папашѣ, онъ васъ не любитъ,—онъ злой", и, когда отецъ наказывалъ его за эти поступки, упрямый Аркадій никогда не просилъ прощенія, а даже подъ розгами повторялъ: „я сказалъ правду... ты злой, ты лгунъ"... А придя въ возрастъ, Карамановъ символизируетъ „отцовъ" въ образѣ

„ветхозавѣтной Валаамовой ослицы“, которую нужно „отвести отъ молодого поколѣнія“...

Если Карамановъ, такимъ образомъ, напоминаетъ рецептъ вышеупомянутаго рецензента „Отечественныхъ Записокъ“, по которому „новый человѣкъ“ долженъ говорить отцу, что онъ „оселъ“, а матери, что она „содержанка“, то и одинъ изъ отцовъ „Знаменій времени“ чуть-чуть что не говоритъ съ кротостью, по тому же рецепту: „ты правъ, мой другъ, я, дѣйствительно, не больше, какъ старый оселъ“. Старикъ Стожаровъ со старухой женой ждутъ у себя въ деревнѣ пріѣзда своего великолѣпнаго сына и бесѣдуютъ о немъ. Отецъ по этому поводу убѣждаетъ жену, что „нынче не тѣ времена“: „мы, вонъ, все думали о пушкахъ, да о туркахъ, да на лошадяхъ гарцовали... Теперь, матушка, молодежь думаетъ не о лошадяхъ, а о народѣ заботится, какъ бы его просвѣтить... Нынѣшняя молодежь, матушка, пишетъ, литературой занимается, рабочій вопросъ, вонъ, разрабатываетъ, женскій вопросъ, народныя школы, земство, политика, *братья-славяне*. Много дѣла нынѣшней молодежи... Намъ, матушка, стыдно вспомнить наши времена“. И т. д.

Я подчеркнулъ слова: *братья-славяне*. Дѣло въ томъ, что въ тѣ времена, къ которымъ относятся „Знаменія времени“, наша молодежь отнюдь судьбою братьевъ-славянъ не увлекалась, но она всегда занимала г. Мордовцева, и потому онъ предложилъ тогдашней молодежи увлечься ею: въ романѣ есть цѣлыя страницы, посвященныя ей, что еще болѣе увеличиваетъ сумбуръ идей и фактовъ въ „Знаменіяхъ времени“. И такой авторской „отсебятины“ не мало въ романѣ. Г. Мордовцевъ даже свои личные маленькіе литературные счеты сводитъ устами дѣйствующихъ лицъ романа. Такъ, у него одинъ больной бредитъ „ничтожнымъ пачкуномъ съ узенькой головенкой Гедебе“ („Гдб“—такъ подписывался подъ нѣкоторыми статьями покойный Гайдебуровъ) и „пеклеванной философіей Шелгунова“... „Какой странный бредъ“, — наивно замѣчаетъ присутствующая при этомъ дѣвица Бармитинова. Дѣйствительно, странный...

Не всѣ, конечно, отцы такъ кротко готовы признать себя „старыми ослами“, какъ старикъ Стожаровъ. Напротивъ,—вся соль романа состоитъ въ борьбѣ поколѣній. И такъ какъ г. Мордовцевъ не Тургеневъ, чтобы художественно и тонко распредѣлить свѣтъ и тѣни между отцами и дѣтьми, то его контрасты нарочито грубы. Такъ, отецъ Караманова—дѣйствительно „негодяй“ (хотя его негодяйства намъ во-очію не показываютъ: онъ живетъ и умираетъ за

кулисами); родители Гриднева и Тавологна—заскорузлые раскольники, чѣмъ очень дешево достигаются эффекты стремленія „дѣтей“ къ просвѣщенію. Тѣмъ не менѣе борьба поколѣній происходитъ и тамъ, гдѣ ей, повидимому, нѣтъ никакого резона быть. Такъ, чего бы ужъ, кажется, воевать молодому Стожарову со старымъ? Старикъ доживаетъ свой вѣкъ въ деревнѣ, „стыдясь“ своего прошлаго и благоговѣя передъ „нынѣшними временами“ вообще, передъ величіемъ идей и дѣятельности своего сына — въ частности. Душой онъ весь съ нимъ, и только, къ его глубокому прискорбію, его дряхлое тѣло не можетъ взлетѣть на тѣ высоты, гдѣ величаво стоитъ сынъ. И, однако, ему чудится грозный голосъ сына: „Отецъ, уступи требованіямъ времени, оно всесильно, а требованія его—законъ природы. Не борись съ могучей волной этого времени: эта волна — девятый валъ, страшный валъ, роковой силы котораго такъ боятся матросы. Уступи, отецъ, а то захлестнетъ тебя этотъ валъ“ и т. д. Когда молодой Стожаровъ пріѣхалъ въ отцовскую усадьбу, то на порогѣ ея онъ увидѣлъ трупъ: то убилась старая нянька Аверьяниха, бѣжавшая на встрѣчу своему воспитаннику. Новый человѣкъ по этому поводу размышляетъ: „Какая странная, роковая встрѣча... *Неужели отъ одного нашего приближенія должны вымирать старые люди, какъ вымираютъ дикія индѣйскія племена отъ соприкосновенія съ европейской цивилизаціей?*“ — Размышленіе это не мною подчеркнуто, оно напечатано курсивомъ въ самомъ романѣ,—такъ исключительно важнымъ и цѣннымъ представляется оно автору...

Да что старая Аверьяниха! что старики Стожаровы! — „новые люди“ г. Мордовцева и другъ друга считаютъ недостаточно новыми, а дѣвица Бармитинова — по всѣмъ признакамъ новая женщина и всѣми за таковую признаваемая—въ порывѣ самообличенія говоритъ: „нѣтъ, я не новая женщина, а старая, новыя еще не родились“. Народятся онѣ тогда, „когда живые возстанутъ противъ умершихъ, т. е. когда я возстану противъ тѣни моей матери и моего отца, когда всѣ живые возстанутъ противъ всѣхъ мертвецовъ, когда начнется общій бунтъ не противъ государей, не противъ правительствъ (все это вздоръ), а противъ мертвецовъ, когда мы возстанемъ на нихъ на ихъ память, на ихъ гробы и тѣни, на все то, что они оставили намъ по себѣ, на то, что они сдѣлали, на все, что осталось послѣ нихъ и на землѣ, и въ памяти нашей, и въ книгахъ, написанныхъ ими, и въ ихъ завѣщаніяхъ духовныхъ“.—Стожаровъ, учитель Бармитиновой, выражаетъ эту мысль еще болѣе энергичными словами,

а студентъ Серпороевъ, будучи моложе его, идетъ еще дальше и вноситъ поправку: „живые должны возстать не только противъ мертвыхъ, но и противъ живыхъ". Этимъ онъ хочетъ сказать, что и самъ (!) Стожаровъ для него не авторитетъ. Ну, а о другихъ, менѣе крупныхъ авторитетахъ, и говорить нечего. Стожаровъ прямо въ лицо „сказалъ Герцену, Бакунину и Огареву, что они уже отзвонили", а потому имъ пора и „съ колокольни долой". Молодой Гридневъ, какъ мы видѣли, представитель „доктринъ Прудона, Молешота и Дарвина". но въ разговорѣ со Стожаровымъ онъ, между прочимъ, замѣчаетъ: „Ну, вы ходите, я вижу, въ старыхъ сапогахъ Прудона". Стожаровъ съ своей стороны въ томъ же разговорѣ восклицаетъ: „Что романъ Чернышевскаго! Это для насъ уже старье; мы дожили до иныхъ понятій". Стожаровъ Бармитиновой объясняетъ, что онъ „заглянулъ дальше той черты, гдѣ кончается ученіе Чернышевскаго", и находитъ, что идеалы его „узки и односторонни". Гридневу Стожаровъ говоритъ: „вы идете за вѣкомъ, а я — передъ вѣкомъ... Я не Базаровъ... Базаровъ слишкомъ глупъ... Нѣтъ, узокъ, ограниченъ... Мы перешагнули черезъ нигилизмъ; ушли дальше".—Нѣкій „блѣдный юноша" пишетъ новому человѣку Канадѣеву: „Литература гоняется за типами, за идеалами, а ихъ нѣтъ... Даже Рахметовы *теперь* (курсивъ въ подлинникѣ) устарѣли. Современнѣе всѣхъ Оглобинъ *) у Гирса, да онъ слишкомъ уже вросъ въ почву... Мы идемъ въ народъ не съ прокламаціями, какъ дѣлали наши юные и неопытные предшественники въ шестидесятыхъ годахъ, мы идемъ не бунты затѣвать, не волновать народъ и не учить его, а учиться у него терпѣнію, молотьбѣ и косьбѣ. То были дѣти, а мы уже не дѣти: мы не вѣримъ ни въ благотворность французскихъ и испанскихъ революцій, ни въ благодѣтельность удобренія земли человѣческою кровью".—„Нигилизмъ, какъ и романтизмъ, какъ и крѣпостничество въ Россіи заносятся уже архивною пылью... Мы уже выросли изъ стараго платья Рахметовыхъ, Базаровыхъ и tutti quanti" — говоритъ съ своей стороны Канадѣевъ.—„Коммунизмъ! фурьеризмъ!— „ощетинивается" Карамановъ, „не говори ты этихъ старыхъ, пошлыхъ словъ, они истрепались давно, какъ старая туфля, которую надѣвали на всякую грязную ногу".—„Фурьеризмъ и коммунизмъ отжили свое время, это слишкомъ бабьи, дѣтскія понятія"—соглашается Канадѣевъ.—„Мы не примѣнимъ къ дѣлу забавной пословицы Прудона,

*) Одинъ изъ героевъ не оконченнаго романа „Старая и юная Россія".

что „собственность есть воровство“. Для этой пословицы ужъ отошла пора, она устарѣла, и нашему поколѣнію Прудонъ не указъ“,— объявляетъ Карамановъ... И т. д., и т. д.

Этотъ роскошный букетъ изъ „мы переросли“, „мы перешагнули“, а „то отжило“, „то устарѣло“, „тѣ отзвонили“ и т. п. можно бы было принять за злую каррикатуру на молодежь шестидесятыхъ-семидесятыхъ годовъ. Но, нѣтъ, г. Мордовцевъ самымъ серьезнымъ образомъ торопится *) громоздить новое на старое, новѣйшее на новое и самоновѣйшее на новѣйшее. У насъ какъ-то принято считать поколѣнія десятилѣтіями: поколѣніе шестидесятыхъ, поколѣніе семидесятыхъ, восьмидесятыхъ, девяностыхъ годовъ. Это чрезвычайно быстрая смѣна, но, если вѣрить г. Мордовцеву, въ дѣйствительности она еще быстрѣе. „Отцы и дѣти“ Тургенева появились въ 1862 г., знаменитыя статьи Писарева объ этомъ романѣ въ 1862-же и 1864 г. И это была пора увлеченія фигурой Базарова, но вотъ уже въ 1869 г., къ которому относятся „Знаменія времени“, Базаровъ былъ нѣчто въ родѣ „стараго осла“...

Но что же думаютъ и говорятъ эти новые, новѣйшіе и самоновѣйшіе и что они дѣлаютъ? Отвѣчать на этотъ вопросъ съ надлежащею обстоятельностью чрезвычайно трудно. Прежде всего, конечно, они думаютъ и говорятъ, что они новые, новѣйшіе и самоновѣйшіе, а дѣла и люди вчерашняго дня—старыя туфли и старые ослы. Затѣмъ они раскладываютъ словесный гранъ-пасьянсъ на тему о трудѣ, самостоятельности и новой жизни; въ этомъ гранъ-пасьянсѣ авторъ имъ отъ себя помогаетъ. Но и съ его помощью разобраться въ ихъ мысляхъ всетаки очень трудно: все что-то въ родѣ сапоговъ въ смятку выходитъ. Такъ, Стожаровъ много видѣлъ, много передумалъ, перечувствовалъ, пережилъ, и въ концѣ концовъ — сообщаетъ авторъ—„исходной точкой жизни Стожарова съ той поры стала польза, если и не въ широкихъ размѣрахъ, не въ общечеловѣческихъ видахъ, то хоть самая узенькая, хоть бы такая, которая принесла бы счастье и спасеніе Ларькѣ, укравшему у его отца пѣгаго иноходца“. Ну, думаете вы, устроить счастье и спасеніе Ларькѣ, можетъ быть, и не трудно, для этого, пожалуй, не надо

*) Кстати о торопливости и соотвѣтственной неряшливости г. Мордовцева. На стр. 210—211 утонулъ нѣкій мальчикъ Кузя (тоже своего рода „новый человѣкъ“), и всѣ видѣли его „маленькій, худенькій, легонькій трупъ“, его „маленькое мертвое тѣло“. На стр. 323 читатель получаетъ его, какъ ни въ чемъ не бывало, живого...

быть и новымъ человѣкомъ, а тѣмъ паче столь новымъ, что отъ одного его приближенія должны вымирать старые люди, какъ вымираютъ дикія индѣйскія племена отъ соприкосновенія съ европейской цивилизаціей. Однако, — вымираютъ, а о Ларькѣ Стожаровъ въ дальнѣйшемъ теченіи романа даже и не думаетъ и меньше, какъ на общечеловѣческомъ счастьи, мириться не хочетъ...

Надо замѣтить, что новые люди г. Мордовцева иногда бываютъ чрезвычайно кратки, ясны и энергичны въ своихъ выраженіяхъ: „я сынъ негодяя", „Герценъ отзвонилъ", „коммунизмъ—старая туфля" и т. п. Но, когда имъ приходится развивать и доказывать свои мысли, они становятся расплывчаты и многорѣчивы въ изложеніи азбучныхъ истинъ, какъ... какъ г. Мордовцевъ, или — даже въ разговорахъ между собою, когда, напримѣръ, самоновѣйшій убѣждаетъ новѣйшаго, что онъ старая туфля — говорятъ зигзагами, экивоками, играютъ словомъ, какъ... опять же какъ г. Мордовцевъ. И всѣ эти экивоки и зигзаги не отъ того только зависятъ, что авторъ по цензурнымъ условіямъ не можетъ предоставить своимъ героямъ полную свободу слова. По какому-то теперь непонятному недоразумѣнію роману г. Мордовцева въ свое время въ этомъ отношеніи не повезло. Но вы ясно видите, что въ большинствѣ случаевъ зигзаги и экивоки не этимъ слѣдуетъ объяснять. Ибо герои г. Мордовцева неоднократно заявляютъ, что всякіе бунты, революціи и прокламаціи— вздоръ и тоже старая туфля.

Стожаровъ и Карамановъ, эти „титаны", какъ выражается о нихъ нѣкоторая наивная дѣвица Марина, рѣшаютъ сдѣлать „послѣдній, великій шагъ", но нѣсколько расходятся въ своихъ планахъ. Оба они лишились родителей и вмѣстѣ съ тѣмъ стали богатыми людьми, а Карамановъ даже однимъ изъ богатѣйшихъ землевладѣльцевъ въ губерніи. И вотъ, Стожаровъ отдалъ даромъ все свое имѣніе крестьянамъ, а самъ „вошелъ въ ихъ общину такимъ же членомъ, какъ они всѣ, на равныхъ правахъ". Не таковъ Карамановскій послѣдній, великій шагъ. Карамановъ не вѣритъ въ крестьянскую общину, какъ она сложилась исторически, ждать отъ нея хорошаго „значитъ заставить вербу родить груши, заставить рости старое дерево не такъ, какъ оно само росло". Поэтому онъ рѣшаетъ продать полученное послѣ смерти отца въ наслѣдство имѣніе, купить землю, „никѣмъ не заселенную, въ заволжскихъ степяхъ, по сосѣдству съ Азіей" и заселить ее охотниками—на „новыхъ" началахъ: „новую общину легче устроить, чѣмъ передѣлать старую". Сообщая Кана-

дѣеву свой планъ, Карамановъ вызываетъ въ собесѣдникѣ одною подробностью недоумѣніе.

„— Значитъ, ты признаешь принципъ вознагражденія, принципъ платы, принципъ заработка, а слѣдовательно, принципъ богатства и бѣдности,—замѣтилъ Канадѣевъ, зорко взглянувъ на Караманова своими зелеными глазами.—Это скользко.

„— Для неподкованнаго ума скользко. А мой умъ подкованъ прочно,—отвѣчалъ Карамановъ и тоже скользнулъ своими холодными глазами по блѣдному лицу Канадѣева.

„Канадѣевъ взялъ своего друга за плечи, ласково взглянулъ ему въ глаза и сказалъ съ доброю улыбкой: „Ты все такой же“...

И молодые люди отправились кушать чай...

Какъ видитъ читатель, отвѣтъ Караманова на замѣчаніе Канадѣева есть просто бахвальство и наглая увертка отъ отвѣта; наглая, потому что онъ самъ началъ съ Канадѣевымъ разговоръ о своей общинѣ, и замѣчаніе послѣдняго поставило его въ тупикъ,—настоящаго отвѣта у него нѣтъ, какъ нѣтъ его и у автора. Сваливать этотъ зигзагъ на цензурныя условія нельзя, такъ какъ Карамановъ предполагаетъ устроить свою общину вполнѣ открыто, на легальныхъ основаніяхъ. И. конечно, только по авторскому хотѣнію нервный, несдержанный Канадѣевъ „съ кроткою улыбкой“ довольствуется уверткой своего друга.

Мы достаточно познакомились съ романомъ г. Мордовцева и можемъ возвратиться къ критическимъ замѣткамъ г. А. Б.

Я спрашиваю: неужели въ самомъ дѣлѣ „настроеніе передовой части общества, задушевныя мысли передовыхъ людей освободительной эпохи“ вполнѣ отразились въ рѣчахъ и поступкахъ деревянныхъ героевъ „Знаменій времени“? Я понимаю, что, напримѣръ, кн. Мещерскій съ величайшею радостью подписался бы подъ статьей г. А. Б. Понимаю, что и какой-нибудь самоновѣйшій Стожаровъ или Карамановъ можетъ съ своей стороны обойтись со всей освободительной эпохой и съ ея „передовыми“ людьми, какъ со старой туфлей. Но всетаки (чтобы взять лишь литературу, да и изъ нея помянуть лишь нѣсколько именъ) возможно ли отожествлять настроеніе и задушевныя мысли Некрасова и Добролюбова, Салтыкова и Успенскаго,—а вѣдь это были, какъ у насъ принято выражаться, „властители думъ“, а не одиночки какіе-нибудь, — съ настроеніемъ Стожа-

ровыхъ, Карамановыхъ, Канадѣевыхъ и прочихъ новыхъ людей г. Мордовцева? Очевидно, фактически возможно, если это дѣлаетъ спеціальный обозрѣватель литературы. Но фактическая возможность еще ничего не значитъ, бумага и не такое терпитъ. Какъ же это, однако, могло случиться, что бумагѣ, на которой печатается „Міръ Божій", приходится такое терпѣть?

Напомнивъ нѣсколько именъ „властителей думъ" шестидесятыхъ-семидесятыхъ годовъ, напомнивъ прямые отзывы рецензента „Отечественныхъ Записокъ" и Гл. Успенскаго о романахъ въ родѣ „Знаменій времени",—я долженъ, однако, сказать, что романы эти, дѣйствительно, въ свое время съ жадностью читались извѣстною частью общества. Какою?—въ этомъ мнѣ поможетъ разобраться г. Мордовцевъ.

„Молодежь любитъ подражать,—говоритъ Канадѣевъ, — и безъ подражанія молодость немыслима. Хоть она и бунтуетъ иногда противъ оффиціальнаго профессора и учителя, противъ начальства и опеки, но у нея всегда есть тайный предметъ культа, тайный профессоръ, тайный нравственный начальникъ, которому она слѣпо вѣритъ и которому подражаетъ... Подростающіе нуждаются въ образцахъ, какъ институтки въ обожателяхъ (обожаемыхъ?). Имъ нужна путеводная звѣзда, которой бы они поклонялись втайнѣ, потому что молодость любитъ поклоняться тайнымъ кумирамъ и сбрасываетъ съ пьедестала явныхъ, всѣми признанныхъ. Молодости нужно вздыхать по комъ-нибудь, по Бѣлинскомъ ли, Добролюбовѣ или Писаревѣ. Но этихъ уже нѣтъ, и она, растительная, вегетальная молодость, ищетъ ихъ въ литературѣ, если не находитъ въ жизни. А какіе образцы даетъ имъ современная литература? Гдѣ въ ней идеалы?.. Не въ романахъ же Гончарова въ самомъ дѣлѣ, не у Авдѣева же и не у Тургенева. Что-же, размазня Камышлинцевъ развѣ можетъ быть идеаломъ? Да всѣхъ ихъ возьмите,—все это узенькія лица съ узенькимъ міровоззрѣніемъ, людишки, надѣвающіе сапоги не по ногамъ и шляпу не по головѣ. У любого нынѣшняго гимназиста изъ Ларинской гимназіи и задатки прочнѣе, и шире міровоззрѣніе, и цѣли глубже, дѣйствія устойчивѣе... Дайте намъ другихъ людей"...

Я могу закрыть романъ г. Мордовцева и отложить его въ сторону съ чувствомъ пріятнаго удовлетворенія. Больше онъ мнѣ не понадобится, да и лучше приведенной рѣчи Канадѣева въ немъ ничего нѣтъ. Не то, чтобы вся эта рѣчь блистала умомъ, — скорѣе даже напротивъ, — но въ ней есть одна очень вѣрная мысль. Это

именно мысль о нѣкоторыхъ свойствахъ „растительной, вегетальной“ молодости. Нельзя только сводить періодъ этой молодости ко времени гимназическаго обученія хотя бы и въ Ларинской гимназіи, ученики которой всѣ будто бы поголовно обладаютъ болѣе прочными задатками и болѣе широкимъ міровоззрѣніемъ, чѣмъ всѣ герои Тургенева. Впрочемъ, Канадѣеву, который самъ недавно сидѣлъ на гимназической скамьѣ (и, можетъ быть, именно въ Ларинской гимназіи), это заблужденіе простительно. Мы-то знаемъ, что, если, съ одной стороны, Лермонтовъ, Добролюбовъ, Писаревъ были „властителями думъ“ въ возрастѣ немногимъ старше иного гимназиста, то, съ другой стороны, есть маленькія собачки, которыя остаются щенятами до старости. Онѣ не растутъ и потому терминъ „растительная, вегетальная“ молодость къ нимъ, собственно говоря, не приложимъ, но онѣ обладаютъ нѣкоторыми свойствами, которыя Канадѣевъ справедливо приписываетъ настоящимъ „подростающимъ“. Разница только въ томъ, что многое простительное подростающему не простительно закончившему свой ростъ, великовозрастному. „Блаженъ, кто съ молоду былъ молодъ, блаженъ, кто во время созрѣлъ“...

Хорошее дѣло молодость, и тысячу разъ правы тѣ юноши, которые, съ гордымъ сознаніемъ своей силы, радостно смотрятъ въ длинную,—кажется, безконечно длинную, — перспективу будущаго: гдѣ-то тамъ, неизмѣримо далеко сходятся линіи, обрамляющія путь жизни, но кто же думаетъ объ этомъ, когда сейчасъ передъ нами широкій просторъ? Правы и тѣ старцы, которые съ грустью оглядываются на свое невозвратное прошлое. Однимъ есть чему радоваться, другимъ есть о чемъ грустить. И даже тѣневыя стороны молодости вспоминаются послѣдними съ добродушной и развѣ чуть насмѣшливой улыбкой, если, конечно, онѣ не легли пятномъ на всю жизнь. А онѣ существуютъ, эти тѣневыя стороны. Говорю не о грѣхахъ молодости, для искупленія которыхъ тоже есть достаточно времени; но грѣхи—дѣло личное и случайное, они могутъ быть и не быть, смотря по условіямъ, въ которыхъ протекаетъ молодость. Въ „растительной, вегетальной“ молодости есть тѣневыя стороны естественныя, какъ болѣзненное прорѣзываніе зубовъ у младенцевъ, составляющія общее правило, которое, какъ и всякое другое правило, допускаетъ, разумѣется, исключенія. Одна изъ такихъ естественныхъ, нормальныхъ тѣневыхъ сторонъ указана въ приведенной рѣчи Канадѣева.

Современные Стожаровы и Карамановы, третируя „освободительную эпоху“, какъ старую туфлю, любятъ издѣваться надъ отдѣльными словами, бывшими тогда въ ходу. Таково, между прочимъ, слово покойнаго Лаврова—„критически мыслящая личность“. Почему-то это слово, очень серьезное и простое, повторяется нынѣ ироническимъ, а подчасъ и прямо злобнымъ тономъ, и суется ни къ селу, ни къ городу, когда нужно лишній разъ пнуть ногой наше прошлое, „освободительную эпоху“. Вотъ, напримѣръ, дѣйствующимъ лицамъ „Знаменій времени“ оно, повидимому, совершенно неизвѣстно, да едва ли былъ бы понятенъ самый смыслъ его. А между тѣмъ, г А. Б., иронически резюмируя содержаніе „Знаменій времени“, между прочимъ, пишетъ: „Необходимо только сдѣлаться критически мыслящей личностью, чтобы выработать ясный, толковый планъ разумной жизни, согласно которому и остается передѣлать общество“. Разумѣется, если кто думаетъ, что для „передѣлки общества“ достаточно „сдѣлаться критически мыслящею личностью“ и т. д.,—тотъ думаетъ вздоръ. Но совѣтъ выработать изъ себя критически мыслящую личность, развивать и въ другихъ критическую мысль и поступать такъ, какъ она укажетъ,—совѣтъ этотъ отнюдь не заключаетъ въ себѣ ничего вздорнаго или ироніи достойнаго. Герои романа г. Мордовцева отнюдь этому благому совѣту не слѣдуютъ, они именно не критически мыслятъ. Нельзя придавать значенія тому обстоятельству, что они такъ бурно отметаютъ авторитеты, которые, повидимому, должны бы были имѣть для нихъ особенно большое значеніе. Отметая одни авторитеты, они, какъ вѣрно указываетъ Канадѣевъ, страстно жаждутъ другихъ. Что же касается отметаемыхъ, то это, въ данной средѣ, авторитеты своего рода „оффиціальные“, „явные, всѣми признанные“. Базаровъ, напримѣръ, особенно послѣ статей о немъ Писарева, и самъ Писаревъ были одно время для извѣстной части „растительной, вегетальной молодежи“ непререкаемыми авторитетами, „кумирами“, за которые страстно ломались копья. Но какъ только они стали въ этой средѣ общепризнанными, такъ разные Канадѣевы и Стожаровы уже „бунтуютъ“ противъ нихъ (Стожаровъ не „подростающій“, ему перевалило за тридцать, но онъ маленькая собачка, только съ очень взъерошенной шерстью). Критическая мысль тутъ не при чемъ, да она и можетъ лишь вырабатываться въ періодъ „растительной, вегетальной молодости“ и только въ исключительныхъ случаяхъ является уже выработанною. Въ этомъ возрастѣ сознаніе еще не настолько окрѣпло, чтобы человѣкъ могъ

противопоставлять свое *я* разнаго рода вліяніямъ, и онъ легко гипнотизируется сегодня однимъ фактомъ, завтра другимъ. Мало того,— что бы ни говорилъ Канадѣевъ о прочности задатковъ и широтѣ міровоззрѣнія учениковъ Ларинской гимназіи,—„подростающіе", по справедливому замѣчанію того же Канадѣева, безсознательно ищутъ предметовъ поклоненія и подражанія. Къ этому надо еще прибавить страстность молодой души, характеризующую ея „кипящую кровь", „силъ избытокъ", а затѣмъ и особыя условія нашей „освободительной эпохи", эпохи деревянныхъ героевъ г. Мордовцева, какъ утверждаетъ г. А. Б., „эпохи великихъ реформъ", какъ ее навсегда назвалъ покойный Джаншіевъ...

Мнѣ вспоминается другой, давнишній покойникъ. 15 августа исполнилось двадцать пять лѣтъ со дня смерти Василія Степановича Курочкина, редактора „Искры" и переводчика пѣсенъ Беранже. Вотъ одна изъ характернѣйшихъ фигуръ нашей освободительной эпохи. Характерна въ немъ была вѣра въ силу печатнаго слова и страстная жажда борьбы со зломъ, то есть одна изъ формъ „вѣры въ силу личности и субъективнаго отношенія къ дѣйствительности", которыя г. А. Б. усвоиваетъ „точенымъ головамъ". Основанная Курочкинымъ и до сихъ поръ единственная въ Россіи, сатирическая газета имѣла блестящій успѣхъ, не только матеріальный, а и моральный: ея боялось все болотное наслѣдіе дореформенной Россіи, ей рукоплескало все вспрыснутое живой водой историческаго момента. Конецъ „Искры", какъ самого Курочкина, былъ печаленъ, но, буквально до послѣднихъ дней своей жизни, онъ оставался „вѣренъ сладостной мечтѣ" и за какихъ нибудь полторы-двѣ недѣли до своей смерти бесѣдовалъ съ пишущимъ эти строки о возможности вновь поднять знамя „Искры". Увы! было уже поздно, и не только потому, что смерть стояла уже за плечами Курочкина...

Освободительная эпоха была для огромнаго большинства русскихъ людей почти внезапнымъ скачкомъ изъ мрака къ свѣту. Были люди, подготовленные къ ней, давно призывавшіе ее мечтой, а когда оказывалось возможнымъ, то и словомъ. Это были люди большого ума, большихъ знаній, великодушныхъ идеаловъ, иногда блестящихъ талантовъ. Но ихъ была ничтожная горсть, еле замѣтная въ цѣломъ морѣ Собакевичей, Коробочекъ, Бетрищевыхъ, Чичиковыхъ, Петрушекъ, и—казалось—откуда возьмутся люди, когда взойдетъ заря новой жизни? Однако заря сама вызвала достаточно готовыхъ людей. Между прочимъ, оживилась наплывомъ новыхъ силъ и литература,

влачившая до тѣхъ поръ, за исключеніемъ нѣсколькихъ одинокихъ талантовъ, жалкое существованіе. Разумѣется, далеко не всѣ эти хлынувшія шумной волной въ литературу силы представляли собою высокую цѣнность. Многочисленные корреспонденты „Искры“ изъ разныхъ близкихъ и дальнихъ угловъ Россіи часто рекрутировались среди людей невѣжественныхъ и даже малограмотныхъ. Это были „обличители“ или „*а*бличители“, какъ смѣялись надъ ними тогда же. Приводить ихъ сообщенія въ удобный для печати видъ было уже дѣломъ редакціи, а отъ нихъ требовалась только достовѣрность сообщенныхъ фактовъ. И факты насилія, неправосудія, лицемѣрія, самоуправства, взяточничества, грубости рѣкой лились въ портфель редакціи „Искры“, а затѣмъ вызывали движеніе воды въ вѣковыхъ стоячихъ болотахъ. Обличительныя корреспонденціи и теперь пишутся въ газетахъ, въ суммѣ, конечно, въ гораздо большемъ числѣ и въ грамматическомъ и стилистическомъ отношеніи гораздо лучшаго качества. Но теперь это стало настолько обычнымъ дѣломъ, болота такъ къ этому претерпѣлись, что обличителей, какъ слишкомъ извѣстно, открыто преслѣдуютъ, бьютъ и даже убиваютъ. И тогда, конечно, дѣло не обходилось безъ непріятностей и иному обличителю приходилось плохо отъ обличаемаго и присныхъ его; но въ общемъ подлежавшіе обличенію были слишкомъ напуганы чѣмъ-то надвигавшимся неизвѣстнымъ, свѣтлымъ и грознымъ, а обличители ходили съ гордо поднятыми головами. Они имѣли для этого достаточные резоны. Еще недавно безгласные, принужденные молча присутствовать при всевозможныхъ пошлостяхъ и безобразіяхъ жизни нашихъ захолустьевъ, и сами молча претерпѣвать ихъ, они теперь узнали, что есть судъ общественнаго мнѣнія, и они могутъ быть докладчиками въ немъ... Было, пожалуй, много комическаго и надоѣдливаго, какъ въ мелочности наблюденій и обличеній, въ которую они часто впадали, такъ и въ ихъ гордо поднятыхъ головахъ; въ особенности въ контрастѣ между этою мелочностью и этою гордою вѣрою въ себя, въ свою миссію, въ „знаменія времени“. Но эти изъяны находили свои поправки въ литературѣ же. Щедринъ, положившій начало обличительной литературѣ, далъ въ „Современникѣ“ и надлежащее освѣщеніе ея конкретнымъ формамъ. Признавая за „литераторами-обывателями“ большія заслуги, воздавая должное ихъ искренности и безкорыстію, онъ, пожалуй, даже слишкомъ сурово отнесся къ указаннымъ комическимъ чертамъ ихъ дѣятельности.

Гдѣ же искать настроенія и задушевныхъ мыслей „передовой

части тогдашняго общества", — въ этихъ ли искреннихъ, безкорыстныхъ, но узкихъ и неумѣлыхъ обличителяхъ, или въ „Современникѣ"?

Обличеніями единичныхъ насильниковъ, лицемѣровъ, злодѣевъ и негодяевъ не исчерпывались задачи „Искры", и тѣмъ паче тогдашней литературы вообще. Ей, какъ и всему обществу, предстояла огромная работа приспособленія къ совершенно новымъ условіямъ жизни. Взять хоть бы ту непроглядную тьму невѣжества, которая царила въ нашемъ отечествѣ. Чтобы разсѣять эту тьму, нужно было въ однихъ возбуждать жажду знанія, въ другихъ удовлетворять ее: нужно было воспользоваться только теперь открывшеюся возможностью пустить въ широкій оборотъ какъ массу элементарныхъ знаній, такъ и высшія обобщенія научнаго и моральнаго характера, до которыхъ доработалась тяжкимъ трудомъ человѣческая мысль не только безъ нашего дѣятельнаго участія, но просто не при насъ. Этотъ ослѣпительный свѣтъ брызнулъ на насъ такъ же внезапно, какъ внезапно открылась для „обличителей" возможность вліять на общественное мнѣніе. И результаты были, естественно, тѣ же самые. Появились люди, о которыхъ можно сказать словами Шиллера: Was sie gestern gelernt, das wollen sie heute schon lehren,—они хотятъ учить тому, что узнали вчера. Ахъ, трудно изучить что нибудь въ одинъ день настолько, чтобы на другой же день стать учителемъ... Но когда на своего рода tabula rasa юнаго ума появляются ясныя, яркія слова съ такою же внезапностью, съ какою появились три огненныхъ слова на стѣнѣ Валтасарова пиршественнаго зала, тогда не мудрено, что человѣкъ считаетъ себя полнымъ обладателемъ окончательной истины. Онъ столь же гордо несетъ свою голову, какъ и тотъ обыватель, который заснулъ безгласнымъ свидѣтелемъ или жертвой насилія и проснулся его судьей; онъ, внезапно, безъ тѣхъ тяжелыхъ трудовъ, которыми вырабатывалась истина, получилъ ее въ свое распоряженіе въ полномъ и окончательномъ видѣ; онъ долженъ сегодня же стать учителемъ, проповѣдникомъ этой вчера узнанной имъ истины; и онъ съ размаха сѣчетъ и рубитъ все съ этой истиной или якобы истиной несогласное...

Все это вполнѣ естественно, и нынѣ, оглядываясь на свое прошлое, мы можемъ спокойно относиться къ былымъ увлеченіямъ: надъ ними высится рядъ могильныхъ холмовъ, они давно искуплены, и часто слишкомъ тяжко было искупленіе. Но въ свое время нельзя было и требовать такого спокойнаго отношенія отъ тѣхъ, кто зналъ и

исповѣдывалъ ту же истину, что и новоиспеченные учителя, но понималъ ее шире и зналъ нѣчто кромѣ нея. Не удивительно поэтому, что въ томъ же „Современникѣ“ тотъ же Щедринъ, который охладилъ восторги „литераторовъ-обывателей“, вылилъ не одинъ ушатъ холодной воды на „enfants terribles'ей“ и въ особенности на „горлопановъ, юродствующихъ и вислоухихъ“. И я опять спрашиваю: гдѣ же искать настроенія и задушевныхъ мыслей передовой части тогдашняго общества,—въ горлопанахъ и вислоухихъ или въ „Современникѣ“?

Здѣсь надо сдѣлать оговорку. Въ своихъ раздраженныхъ рѣчахъ по адресу enfants terribles'ей и вислоухихъ Салтыковъ имѣлъ въ виду, главнымъ образомъ, увлеченіе идеей „нигилизма“ и самымъ этимъ словомъ, какъ они освѣщались знаменитымъ романомъ Тургенева; увлеченіе, литературнымъ представителемъ котораго было „Русское слово“. Благодаря блестящему таланту Писарева, въ связи конечно, съ другими условіями, его проповѣдь естественныхъ наукъ, какъ единоспасающей отрасли знанія, дѣйствительно нашла себѣ громкій откликъ въ передовой части общества. Нельзя того же сказать о другихъ сторонахъ его недолгой, но бурной дѣятельности. Тутъ— употребляя его собственное выраженіе — „промахи его незрѣлой мысли“ увлекали преимущественно лишь „растительную, вегетальную молодость“. Да и самъ онъ, при всемъ своемъ умѣ и талантѣ, въ періодъ увлеченія Базаровымъ являлъ указанные Канадѣевымъ признаки растительной молодости: сбрасывая съ пьедесталовъ ходячіе авторитеты, нашелъ „кумира“, предметъ поклоненія и подражанія въ литературѣ. Но Писаревъ, не смотря на свой молодой задоръ, обладалъ тонкимъ критическимъ чутьемъ, а когда для Канадѣевыхъ и Стожаровыхъ пришла пора свергнуть и Базарова, объявивъ его старой туфлей, ихъ уже не удовлетворялъ художественный образъ Базарова: имъ нужны были линіи болѣе прямыя, черты болѣе рѣзкія, краски болѣе яркія. Отвѣтомъ на это требованіе растительной, вегетальной молодости и явились аляповатые романы изъ жизни „новыхъ людей“, въ томъ числѣ и „Знаменія времени“.

Какъ относилась къ этимъ произведеніямъ та часть общества, которой, надѣюсь, г. А. Б. не откажетъ въ названіи „передовой“,— это видно изъ вышеприведенныхъ цитатъ изъ „Отечественныхъ Записокъ“. И здѣсь намъ надо вернуться къ объясненію, которое Гл. Успенскій далъ происхожденію и успѣху топорныхъ романовъ изъ жизни „новыхъ людей“.

Дѣло было въ той же внезапности скачка изъ мрака къ свѣту. Потребность разорвать съ позорнымъ прошлымъ была огромная. Ненависть къ нему, въ виду открывшихся неопредѣленныхъ, но свѣтлыхъ перспективъ, дѣйствительно могла доходить, какъ у Бармитиновой и Стожарова, до „возстанія противъ тѣней матери и отца, противъ всѣхъ мертвецовъ, противъ всего, что они говорили, сдѣлали, противъ всего, что осталось послѣ нихъ на землѣ и въ памяти нашей, и въ книгахъ, написанныхъ ими, и въ завѣщаніяхъ духовныхъ". Но увы!—отъ духовнаго наслѣдія прошлаго легче отказаться на словахъ, чѣмъ на дѣлѣ, оно не башмакъ,—съ ноги не сбросишь, и le mort такъ или иначе saisit le vif. Въ этомъ огульномъ заушеніи *всего* прошлаго часто сказывалась характерная черта только что освобожденнаго раба. Но эти вчерашніе рабы искренно жаждали новой жизни; только откуда же взять нормъ для этой новой жизни, когда она еще только вырабатывается, только манитъ къ себѣ своею свѣтлою далью, а отъ прошлаго осталось лишь „пустое пространство, открытое для всѣхъ вѣтровъ", по выраженію Шелгунова? А между тѣмъ нормы требуются ясно выраженныя, въ виду вполнѣ опредѣленныхъ, конкретныхъ образовъ, „образцовъ" для подражанія и „кумировъ" для поклоненія. И когда за это дѣло взялись беллетристы второго и третьяго сорта, имъ естественно приходилось „каждую черту выдумывать, изобрѣтать, потому что нѣтъ подъ рукой или не знаешь гдѣ взять", пускать въ ходъ „невѣроятныя краски, преувеличенія, выдумки". Подлиннаго во всемъ этомъ была только подкладка „настоятельной жажды общественной совѣсти въ великомъ, сильномъ и честномъ". И будущій историкъ русскаго общества сумѣетъ усмотрѣть эту подкладку подъ разнообразными вышитыми на ней комическими и нелѣпыми узорами. Да и теперь ужъ, черезъ тридцать-то, сорокъ лѣтъ, можно бы, кажется, это сдѣлать.

Выше цитированный рецензентъ „Отечественныхъ Записокъ", помянувъ „безвременно погубленныя силы и принесенныя жертвы" въ жизни, спрашиваетъ: гдѣ же въ топорныхъ романахъ эти жертвы, „гдѣ встрѣча молодого и страстнаго убѣжденія съ самоувѣренною и ни на что не дающею отвѣта дѣйствительностью?" Въ „Знаменіяхъ времени" жертвы есть. Ихъ можно подвести подъ два тона. Стожаровъ и Бармитинова любятъ другъ друга, но рѣшаютъ, что дать и взять личное счастіе они могутъ только послѣ извѣстнаго искуса въ работѣ на общественную пользу; а когда срокъ этого

искуса истекаетъ, Бармитинова оказывается настолько истощенною, что заболѣваетъ и умираетъ. Такъ молодые люди и не видали личнаго счастія.—Что такого рода жертвы во имя извѣстнаго принципа приносились, это несомнѣнно, а что у Стожарова и Бармитиновой это вышло просто глупо, за это отвѣчаетъ авторъ, а не шестидесятые-семидесятые годы. — Стожаровъ и Карамановъ получаютъ богатыя наслѣдства и жертвуютъ ихъ на общеполезное, по ихъ мнѣнію, дѣло. Можно быть очень разнаго мнѣнія объ этомъ дѣлѣ, тѣмъ болѣе, что для самого автора, очевидно, неясно, въ чемъ оно состоитъ; но собственно актъ жертвы только въ очень низкопробномъ сынѣ можетъ вызвать „насмѣшку горькую надъ *промотавшимся* отцомъ"... А вѣдь и не такія еще жертвы приносились.

Я о самомъ актѣ жертвы говорю, отвлекаясь отъ того, что у г. Мордовцева ихъ приносятъ топорной работы самохвалы и нахалы. Всегда и вездѣ ко всякому чистому дѣлу пристегиваются люди въ разныхъ смыслахъ третьяго сорта. Были они, конечно, и въ шестидесятыхъ, и семидесятыхъ годахъ, но въ художественномъ произведеніи они и подлежатъ соотвѣтственному освѣщенію, а не поднятію на пьедесталъ. Тѣмъ не менѣе и г. Мордовцеву удалось схватить, разумѣется, въ грубо преувеличенномъ видѣ, одну черту тогдашней „растительной, вегетальной" молодежи. Если молодежь этого возраста всегда склонна, просто по условіямъ чисто біологическимъ, искать образцовъ для подражанія и поклоненія, при чемъ авторитеты „оффиціальные" оказываются слишкомъ для нея прѣсными, то въ семидесятыхъ и особенно въ шестидесятыхъ годахъ эта черта еще усиливалась условіями историческими. Освободительная эпоха такъ внезапно отворила ворота, въ которыя хлынули новыя идеи и новыя слова, что о какой-нибудь преемственности не могло быть и рѣчи. Но и дальнѣйшій ходъ нашей исторіи, благодаря своей обрывистости, не давалъ сложиться элементу преемственности. Сегодня „вегетальная молодежь" страстно увлекается тѣмъ-то и тѣмъ-то, скажемъ,— теоріей „критически мыслящей личности". Завтра теорія эта объявляется старой туфлей, и произносящіе этотъ приговоръ иногда не только не понимаютъ, а и не знаютъ, въ чемъ собственно состоитъ эта теорія. Оно и не мудрено: были книги, статьи, въ которыхъ эта теорія развивалась, а теперь откуда ихъ взять, эти книги и статьи? Слѣдуетъ поэтому снисходительно относиться не только къ положительнымъ увлеченіямъ нашей молодежи все новыми и новыми словами.

но и къ тому часто грубому отрицанію, съ которымъ она относится ко вчерашнему дню.

Въ періодъ нынѣ такъ сильно убывающаго воинствующаго настроенія нашего марксизма я получалъ множество писемъ (они хранятся въ моемъ архивѣ, какъ своего рода „знаменія времени"), въ которыхъ безцеремонное отношеніе къ разнаго рода „старымъ туфлямъ" и „старымъ осламъ" играло весьма видную роль. Помню, напримѣръ, одно письмо, въ которомъ авторъ съ необыкновеннымъ презрѣніемъ говорилъ объ „Исторіи философіи" Льюиса, называя ее „*книжонкой* Льюиса". Мой корреспондентъ презиралъ Льюиса за его, очень, впрочемъ, спокойное и, какъ говорится, объективное, отношеніе къ учителю Маркса, Гегелю. Англичанинъ, какихъ бы онъ мнѣній ни держался, никогда не назоветъ книгу Льюиса „книжонкой", потому что онъ такъ или иначе участвуетъ въ преемственномъ ходѣ развитія англійской, а черезъ нее и европейской мысли. У насъ не то. Это очень грустно, но понятно. Судьба распоряжается съ русской жизнью, какъ съ кринкой молока, въ которой только что успѣетъ отстояться слой сливокъ, какъ его снимаютъ. Но развѣ мой великолѣпный корреспондентъ не такой же Стожаровъ или Канадѣевъ? И развѣ не такой же Стожаровъ или Канадѣевъ г. А. Б., заушающій „передовую часть общества освободительной эпохи", ищущій въ ней „ослиныхъ ушей"? Но, да простится ему это, если, разумѣется, онъ находится въ возрастѣ „растительной, вегетальной молодости", потому, что съ великовозрастныхъ людей обязателенъ иной, болѣе строгій спросъ... А, впрочемъ, въ печати выступать съ такою развязностью не подобаетъ и очень юному человѣку.

Смерть жатву жизни коситъ. Умеръ Джаншіевъ, этотъ русскій армянинъ, такъ хорошо умѣвшій сочетать дѣйственную любовь къ своимъ сородичамъ по крови съ пламенною вѣрою въ величіе началъ русской жизни, какъ они сложились въ освободительную эпоху. Умеръ Соловьевъ, этотъ странный мистикъ, много и въ разныхъ направленіяхъ плутавшій по безграничному полю мысли, но никогда не измѣнявшій одной своей, коренной святынѣ—свободѣ мысли и слова. Тяжкія потери, въ особенности въ виду нашей бѣдности людьми искренной мысли и громкой рѣчи; обидныя потери, въ виду сравнительной молодости обоихъ покойниковъ: за ними была заслуга, но впереди ихъ была надежда.

Европа около этого же времени похоронила двухъ человѣкъ, конечно, несравненно болѣе видныхъ, чѣмъ наши покойники, хотя бы уже потому, что послѣдніе свѣтились исключительно въ Россіи, тогда какъ Ничше и Либкнехтъ (я ихъ разумѣю) принадлежали не только своей родинѣ, Германіи. И, однако, эти потери не такъ всетаки обидны, какъ наши. Ничше давно уже умеръ духовно, Либкнехтъ умеръ семидесятипяти-лѣтнимъ старикомъ. Въ лицѣ ихъ Европа хоронила только заслугу, и, конечно, тамъ не найдется Стожаровыхъ и Канадѣевыхъ, которые пнули бы ихъ трупы ногой, хотя это два прямо противоположные полюса европейской мысли и жизни. Одинъ—чистый теоретикъ, индивидуалистъ, аристократъ, другой—практикъ, соціалистъ и демократъ. Какъ ни былъ оригиналенъ Ничше и какъ онъ ни подчеркивалъ свою оригинальность, не трудно указать корни его идей въ исторіи и современной жизни. О Либкнехтѣ и говорить нечего. Это былъ, можетъ быть, вѣрнѣйшій изъ учениковъ Маркса, принужденный присутствовать подъ конецъ своей жизни при шатаніи, казалось, непоколебимыхъ доктринъ своего учителя. Не смотря на полную, полярную противоположность своихъ взглядовъ, оба вытекли изъ одного и того же источника и сольются въ памяти потомства въ одно и то же устье, какъ люди, искренно и трудно искавшіе истину и съ разныхъ сторонъ къ ней приблизившіеся, хотя и не достигшіе ея.

XVI *).

„Соціальный вопросъ съ философской точки зрѣнія“ Людвига Штейна. — Нѣсколько словъ „Міру Божію“.

Недавно вышла въ русскомъ переводѣ книга Людвига Штейна „Соціальный вопросъ съ философской точки зрѣнія“. Подъ соціальнымъ вопросомъ авторъ разумѣетъ не спеціально вопросъ о положеніи рабочаго класса и не спеціально экономическую сторону общественной жизни, какъ его разумѣютъ обыкновенно, а „цѣлую перепутанную, переплетающуюся сѣть соціальныхъ вопросовъ“. Вслѣдствіе этого его книга представляетъ собою нѣчто въ родѣ энциклопедіи общественныхъ наукъ. Она раздѣляется на три отдѣла: 1) „Первоначальныя формы общественной жизни“, 2) „Очерки исторіи общественной философіи“ и 3) „Основныя черты системы общественной философіи“. Въ ней есть главы, посвященныя „первобытной семьѣ и ея развитію“, „происхожденію собственности и ея психическимъ моментамъ“, „происхожденію и общественному характеру языка“, „происхожденію и общественному характеру права“, „происхожденію и общественному значенію религіи“, исторіи „общественной философіи“, вопросу о „вѣчномъ мирѣ“ и т. д. Понятно, что, не смотря на обширный размѣръ книги (слишкомъ 700 страницъ въ русскомъ изданіи), не всѣ отдѣлы ея одинаково разработаны даже въ фактическомъ отношеніи, независимо отъ личныхъ взглядовъ Штейна на тотъ или другой вопросъ. Одно изъ достоинствъ книги составляютъ обильныя указанія на литературу предмета; но, говоря, напримѣръ, о развитіи цвѣтового чувства у человѣка, авторъ ссылается на давно опровергнутую теорію Гейгера и Гладстона. Вопросъ о значеніи расы и національности, какъ соціологическаго

*) Октябрь 1900 г.

фактора, едва затронутъ, и, можетъ быть, благодаря этому, въ книгѣ встрѣчается, напримѣръ, такое забавное противорѣчіе. На стр. 287 читаемъ: „Такъ какъ англичане всегда бываютъ людьми идеи, а французы людьми дѣла, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣло идетъ о радикальныхъ экономическихъ экспериментахъ, то предшественники теоріи физіократовъ появились въ Англіи". А на стр. 339: „Великіе импульсы исходятъ по большей части отъ романскихъ народовъ, особенно отъ французовъ, великія же дѣла совершаются преимущественно германскими народами—англичанами и нѣмцами". И это опять таки подтверждается историческими примѣрами.

Каковы бы ни были эти фактическіе недочеты и частныя противорѣчія, очень естественные въ такой большой и сложной работѣ (Штейнъ самъ оговариваетъ ихъ возможность на стр. 24—25),— самая попытка поставить „соціальный вопросъ" въ рамки болѣе широкія, чѣмъ это дѣлается обыкновенно, заслуживаетъ полнаго вниманія. Къ сожалѣнію, попытка Штейна страдаетъ недостатками, гораздо болѣе важными, чѣмъ неравномѣрность разработки различныхъ сторонъ соціальнаго вопроса или фактическіе недочеты и недосмотры.

По опредѣленію Штейна, соціологія или, какъ онъ предпочитаетъ выражаться, соціальная философія имѣетъ цѣлью „изслѣдованіе всѣхъ формъ общественнаго сожительства", а вмѣстѣ съ тѣмъ „призвана создавать научные императивы для общественной жизни". Кромѣ трудности задачи, зависящей отъ чрезвычайной ея сложности, Штейнъ приводитъ „и другое возраженіе противъ философскаго изслѣдованія соціальнаго вопроса", основанное „на измѣнчивости самой задачи и на возможности партійнаго ея освѣщенія". „По этому поводу — говоритъ онъ — я замѣчу, что я не принадлежу ни къ одной изъ существующихъ политическихъ партій и имѣю претензію стоять выше всѣхъ партій... Цѣлью предлагаемой здѣсь попытки философскаго освѣщенія соціальнаго вопроса я ставлю поднятіе обсужденія до требуемаго Спинозой уровня—sub aeternitatis specie. Философія никогда не имѣла, да и не должна имѣть иныхъ стремленій, кромѣ стремленія къ обобщенію той суммы объективныхъ истинъ, которыя достигнуты въ данную историческую минуту... Потому задачей предлагаемаго изслѣдованія должно быть, — не обращая вниманія на взаимно противорѣчащія и перекрещивающіяся мнѣнія и на разные политическіе лозунги, — сообщить и обобщить сумму соціологическихъ истинъ, поскольку это возможно при современномъ состояніи

соціологической науки. Для философа, разсматривающаго общественное развитіе sub aeternitatis specie и привыкшаго координировать каждое отдѣльное явленіе съ великимъ міровымъ цѣлымъ, современныя политическія группировки партій представляются только преходящими случайными моментами въ соціальномъ развитіи человѣчества; для него политическія знаменитости сегодняшняго дня только маріонетки *), танцующія на проволокѣ естественнаго мірового развитія. Человѣкъ партіи интересуется только мѣстнымъ и современнымъ, а философъ изслѣдуетъ вѣчное и повсемѣстное. Первый оглушаетъ себя въ политическихъ оргіяхъ своего времени и слѣпо движется къ ближайшей цѣли, а философъ сохраняетъ хладнокровіе и широту міровоззрѣнія и среди окружающихъ его политическихъ вакханалій". Штейнъ говоритъ еще много презрительнаго по адресу сутолоки текущей жизни и ея дѣятелей, и кое съ чѣмъ изъ этихъ презрительныхъ разговоровъ намъ сейчасъ же придется имѣть дѣло, а пока съ насъ довольно и приведеннаго.

Когда человѣкъ заявляетъ, что онъ стоитъ внѣ всѣхъ наличныхъ политическихъ партій, онъ не утверждаетъ ничего невозможнаго или невѣроятнаго. Наличныя партіи, какъ-бы онѣ ни были многочисленны и враждебны другъ другу, могутъ далеко не исчерпывать всѣхъ возможныхъ точекъ зрѣнія на данный предметъ или всѣхъ возможныхъ способовъ дѣйствія. Только рабская ненависть къ оригинальности желаетъ непремѣнно втиснуть всѣхъ и каждаго въ ходячія формулы. Но независимость отъ существующихъ въ данную минуту взглядовъ отнюдь не есть ни такъ называемый объективизмъ вообще, ни въ частности, та его разновидность, которую хочетъ практиковать Штейнъ, оцѣнивая текущія земныя дѣла съ надзвѣздной высоты вѣчности, sub aeternitatis specie. Можно, конечно, съ увѣренностью сказать, что Штейнъ этой своей программы не выдержитъ, и не потому, чтобы у него лично не хватало для этого силъ, а потому, что программа эта вообще не исполнима. Какова-бы ни была роль объективнаго изслѣдованія въ первой половинѣ задачи

*) Это на стр. 27. На стр. 486, говоря о значеніи великихъ людей въ исторіи, Штейнъ спрашиваетъ: „Представляетъ ли Дарвинъ, какъ личность, нуль и маріонетку?" И, конечно, Дарвинъ оказывается не маріонеткой. Да и „люди въ родѣ Александра Великаго, Цезаря, Фридриха II и Наполеона относительно созданія общественныхъ фактовъ нѣсколько больше, чѣмъ простые нули и маріонетки" (481).

соціологіи, какъ ее понимаетъ Штейнъ,—есть-ли какая-нибудь возможность „создавать императивы для общественной жизни“, то-есть указывать образъ дѣйствія въ настоящую минуту, съ объективной точки зрѣнія или sub aeternitatis specie? Надо еще замѣтить, что современный уровень соціологіи Штейнъ признаетъ чрезвычайно низкимъ. Бурно негодуя противъ вмѣшательства профановъ въ обсужденіе общественныхъ вопросовъ, онъ и своимъ коллегамъ, профессіональнымъ ученымъ, отказываетъ въ достаточной компетентности. Онъ говоритъ: „Я придерживаюсь того нѣсколько старомоднаго воззрѣнія, что изслѣдованіе такого сложнаго вопроса, какимъ представляется мнѣ вопросъ соціальный, есть дѣло только серьезныхъ ученыхъ, разсчитывающихъ на серьезно образованныхъ читателей. Я откровенно признаюсь, что не вижу спасенія въ черезчуръ широкомъ демократизированіи сложныхъ соціологическихъ вопросовъ. Я настаиваю на нѣкоторой литературной стыдливости и цѣломудріи мысли. Летучее краснорѣчіе ежедневной политической прессы или шумное ораторство политиковъ пивныхъ не представляется мнѣ единственной инстанціей, пригодной для рѣшенія такихъ безконечно сложныхъ, глубоко коренящихся во всемъ строѣ нашей культуры вопросовъ. Такая наука, какъ только что созидающаяся соціологія, основой которой служатъ тоже еще очень молодыя науки: палеонтологія, антропологія, сравнительная этнографія, народная психологія и нравственная статистика, въ настоящее время еще не можетъ быть популярной. Ея данныя пока еще черезчуръ отрывочны, да и самыя данныя черезчуръ спорны, такъ что серьезный соціологъ не рѣшится появиться передъ большой публикой съ результатами, якобы вполнѣ готовыми... Наша мыслительная мастерская еще только открывается. Сырье еще разбросано по ней безъ всякаго порядка, оно еще ждетъ художественной обработки. При подобныхъ условіяхъ мы поступимъ гораздо благоразумнѣе, если старательно закроемъ ставни нашей мастерской, чтобы ни одинъ зѣвака не могъ посмотрѣть въ щелку и не сообщилъ-бы толпѣ, что у насъ дѣлается“. И т. д., и т. д. Штейнъ еще долго развиваетъ или, пожалуй, точнѣе, размазываетъ эту двойственную мысль, презрительной ироніей убѣждая „зѣвакъ“, „праздную и капризную толпу“, профановъ не соваться въ рѣшеніе общественныхъ вопросовъ и въ то же время утверждая, что спеціалистамъ еще не чему учить эту толпу, а потому имъ надлежитъ наглухо запереться въ своихъ ученыхъ кабинетахъ.

Курьезно, что все это говоритъ человѣкъ, выпустившій въ толпу

книгу соціологическаго содержанія въ 700 страницъ. Быть можетъ, еще курьезнѣе, что онъ предлагаетъ теперь же „создать организацію, въ которой были бы представлены всѣ отрасли знанія ихъ талантливѣйшими спеціалистами, нѣчто въ родѣ Универсальной Академіи". Учрежденію этому предстоитъ задача „представлять собою сумму человѣческихъ знаній въ возбуждающемъ почтеніе единствѣ ихъ и авторитетно высказывать свое научное мнѣніе о всѣхъ вопросахъ общественной жизни": эта научная организація будетъ „параллельна той, какая существовала въ средніе вѣка въ папствѣ и имперіи, и въ новое время въ конгрессахъ государствъ". „Декреты такой универсальной академіи... и суть тѣ научные императивы, которыхъ мы требуемъ, которые мы прямо признаемъ необходимымъ результатомъ всѣхъ нашихъ общественно-философскихъ изысканій" (652—653).

Если даже предположить, что засѣданія и вообще работы „универсальной академіи" будутъ происходить при закрытыхъ дверяхъ и запертыхъ ставняхъ, дабы какой-нибудь зѣвака не разболталъ толпѣ, что тамъ дѣлается,—то, спрашивается, какіе же „императивы" она будетъ вносить человѣчеству, когда „наша мыслительная мастерская еще только открывается"? Въ довершеніе курьеза Штейнъ въ одномъ мѣстѣ сбрасываетъ съ себя тогу профессіональнаго ученаго и кандидата въ универсальную академію, равную по своему значенію средневѣковому папству и имперіи, и пишетъ: „Мы сознаемъ, что только наивная любовь къ образамъ, только литературная смѣлость можетъ рѣшиться на попытку овладѣть такимъ измѣнчивымъ и недостовѣрнымъ матеріаломъ. Пусть будетъ такъ! Если бы люди дѣйствовали постоянно на основаніи самокритики и страшились-бы всякаго новаго предпріятія, то вскорѣ всякая фантазія ослабѣла-бы и всякая творческая сила изсякла-бы" (32).

Такимъ образомъ, Штейнъ рекомендуется своимъ читателямъ (и слушателямъ, такъ какъ книга его составилась изъ публичныхъ лекцій) въ нѣсколькихъ, довольно-таки трудно согласимыхъ видахъ: то онъ скромный ученый, сознающій неразработанность своей спеціальности, то членъ универсальной академіи, дающій „императивы" человѣчеству съ такою же увѣренностью, съ какою ихъ давалъ въ средніе вѣка папа; то, во имя „литературной стыдливости", надменно гонитъ профановъ съ арены рѣшенія общественныхъ вопросовъ, то, подъ знаменемъ „литературной смѣлости", самъ становится въ ряды ихъ. И эти противорѣчія, конечно, гораздо существеннѣе случайныхъ

недосмотровъ на счетъ того, кто люди дѣла и кто люди идеи— англичане или французы...

Исходя изъ того положенія, что исторія человѣчества есть лишь отрывокъ изъ исторіи вселенной, и насчитывая четыре общихъ принципа, управляющихъ ходомъ вещей въ природѣ, Штейнъ пытается найти имъ приложеніе въ „соціальной философіи". Принципы эти суть: причинность, непрерывность, развитіе и имманентная телеологія. Принципы или законы причинности и развитія (эволюціи) не требуютъ разъясненій; здѣсь Штейнъ стоитъ на почвѣ, общей всей современной наукѣ. Что касается принципа непрерывности, то Рейхесбергъ (Die Sociologie, die sociale Frage und der sogen. Rechtssocialismus) справедливо замѣчаетъ, что онъ является совершенно лишнимъ, какъ особая категорія. Дѣйствительно, самъ Штейнъ говоритъ: „Разъ доказано дѣйствіе закона причинности въ мірѣ духа, то доказана вмѣстѣ съ этимъ и непрерывность въ исторіи этого духовнаго міра. Потому что непрерывность есть просто коррелативъ причинности. Если процессъ развитія человѣческаго духа есть процессъ необходимый, то онъ вмѣстѣ съ тѣмъ и необходимо непрерывный" (44). Совершенно также справедливо указаніе Рейхесберга на несостоятельность того, что Штейнъ называетъ принципомъ или закономъ имманентной телеологіи. „Понятіе причинности, — говоритъ Штейнъ,—въ его примѣненіи къ исторіи учитъ насъ только тому, что прогрессъ цивилизаціи долженъ былъ необходимо происходить такъ, какъ онъ происходилъ, а болѣе широкое понятіе о развитіи говоритъ намъ, что этотъ процессъ былъ не только необходимымъ, но и счастливымъ, такъ какъ въ стремленіи къ новымъ формамъ существованія удержалось только наиболѣе полезное и наиболѣе приспособленное, тогда какъ менѣе полезное и неспособное къ жизни погибало. Такимъ образомъ, причинность въ исторіи всѣхъ фазисовъ развитія жизни не механическая, какъ у Бокля, а телеологическая" (38). Штейнъ не утверждаетъ, что развитіе человѣчества „было чисто телеологическимъ, а только то, что оно происходило имманентно телеологически". Онъ старается отличить свою имманентную телеологію отъ телеологіи „объективной и абсолютной" или „трансцедентальной". „Для настоящаго телеолога – поясняетъ онъ—не только всякое волевое дѣйствіе приспособлено къ цѣли, но и вообще все происходящее. Наоборотъ, имманентная телеологія сомнѣвается въ абсолютной цѣлесообразности всего происходящаго въ природѣ или даже прямо отрицаетъ ее и примѣняетъ масштабъ телеологіи только къ про-

явленіямъ воли, и въ особенности воли человѣческой". Съ точки зрѣнія объективной, абсолютной телеологіи мы должны бы были признать средніе вѣка эпохой „регрессивной" и нецѣлесообразной. Иначе освѣщаются средніе вѣка имманентной телеологіей. „Не намъ, стоящимъ на плечахъ прежнихъ поколѣній и имѣющимъ возможность съ этой высоты разсматривать теченіе мірового процесса, приходится рѣшать, что было полезно для поколѣнія, которому впервые было возвѣщено евангеліе Христово, а самому этому поколѣнію. Каждое поколѣніе въ исторіи—или, лучше сказать, его духовные вожди—съ инстинктомъ самосохраненія необходимо дѣлаетъ то, что ему въ данную минуту представляется наиболѣе полезнымъ". Поэтому „такая историко-философская проблема, какъ кажущаяся пріостановка развитія духовной культуры въ теченіе среднихъ вѣковъ, неразрѣшимая при признаніи цѣлесообразности въ исторіи, разрѣшается чрезвычайно легко. Съ одной стороны, можно указать, что при надлежащемъ критическомъ изслѣдованіи возможно открыть извѣстную непрерывность развитія духовной культуры и въ теченіе среднихъ вѣковъ, а съ другой,—можно утверждать, что тамъ, гдѣ мы видимъ регрессивное, противное цѣли движеніе, такая нецѣлесообразность есть просто обманъ нашего разума".

Все это разсужденіе истинно поразительно своею многостороннею, логическою и фактическою нескладностью. Что люди поступаютъ съ извѣстными цѣлями, это, конечно, несомнѣнно, но, во-первыхъ, цѣли эти относятся къ области не только полезнаго, а и пріятнаго, что далеко не одно и то же, тѣмъ болѣе, что пріятное зависитъ отъ вкусовъ, которые бываютъ высокіе и низменные, тонкіе и грубые; во-вторыхъ, людямъ и относительно собственной пользы свойственно ошибаться, такъ что если они и дѣлаютъ то, что имъ „представляется" полезнымъ, то изъ этого не слѣдуетъ, чтобы ихъ дѣйствія были имъ дѣйствительно полезны; въ-третьихъ, имѣя въ виду общій ходъ исторіи, не найдется ни одного „поколѣнія", которое было бы единодушно въ своихъ цѣляхъ и не раздиралось бы религіозною, политическою, экономическою, умственною рознью: поколѣніе, которому впервые было возвѣщено евангеліе Христа, выставило и христіанъ, и гонителей христіанства. Забвеніе столь элементарныхъ вещей объясняется у Штейна только его оптимизмомъ, желаніемъ доказать слушателямъ, читателямъ, да и самому себѣ, что все идетъ къ лучшему въ семъ наилучшемъ изъ міровъ, что человѣчество „непрерывно" выработываетъ для себя все высшія,

лучшія общественныя формы, все и въ другихъ отношеніяхъ совершенствуется и становится счастливѣе. Изгоняя изъ своего міросозерцанія „абсолютную“ телеологію, онъ возвращается къ ней черезъ другія ворота. Въ самомъ дѣлѣ, не все ли равно, абсолютная или „имманентная цѣлесообразность исторіи сама собой, хоть и медленно, кажущимися обходными путями, ведетъ къ все болѣе высокимъ формамъ существованія“ (47—48)? „*Въ природѣ* ничто не остается неизмѣннымъ; все развивается, и при томъ вверхъ, т. е. по лѣстницѣ все восходящей цѣлесообразности“ (39). Въ этой фразѣ есть уже намекъ на то, что и къ неорганической природѣ,—въ которой, по приведенному заявленію, цѣлесообразность отсутствуетъ и дѣйствуетъ лишь причинность,—что и къ ней приложима телеологическая точка зрѣнія. И эта мысль получаетъ мѣстами еще болѣе яркое выраженіе. Напримѣръ: „Если бы вселенная была въ дѣйствительности только слѣпой игрой мертвой матеріи, молекулярнымъ движеніемъ эфира, если бы она была чисто механическимъ, не имѣющимъ смысла и цѣли процессомъ, тогда жизнь дѣйствительно была бы дѣломъ, не стоющимъ издержекъ, какъ выражается Шопенгауеръ“ (705). Такимъ образомъ, граница между абсолютной и имманентной телеологіей (волевые процессы) окончательно стирается, и Штейнъ совершенно всуе поминаетъ свою имманентную телеологію въ слѣдущей характерной фразѣ: „Философія, знающая свои предѣлы, не можетъ выступать съ претензіей исправлять направленіе развитія, предписываемое человѣчеству имманентной телеологіей, и тѣмъ болѣе замѣнить его новымъ направленіемъ“ (707).

Мы видѣли, что принципъ или законъ непрерывности не имѣетъ резона претендовать на самостоятельное положеніе, такъ какъ, по собственному указанію Штейна, непрерывность есть „просто коррелятивъ причинности“. Штейну онъ важенъ не самъ по себѣ, а въ видахъ все того же его оптимизма. Для него дѣло не въ непрерывности историческаго процесса вообще, — это само собой разумѣется, — а въ непрерывности *цѣлесообразнаго* процесса, ведомаго имманентною телеологіей къ все большему и большему счастію человѣчества. Развитіе въ этомъ направленіи „непрерывное и не прекращающееся“; только „темпъ этого развитія можетъ быть различенъ“, но и то лишь „смотря по тому, требуетъ ли имманентная цѣлесообразность, дѣятельный агентъ этого развитія, ускоренія или, наоборотъ, замедленія“.

Само собою разумѣется, что, когда рѣчь заходитъ о конкрет-

ныхъ фактахъ, безпорочная, не ошибающаяся имманентная цѣлесообразность оказывается сплошь и рядомъ отсутствующею. Такъ, „волевыя дѣйствія“ французовъ, въ каковыхъ дѣйствіяхъ и должна выражаться имманентная цѣлесообразность, — отнюдь не цѣлесообразны: „нація, въ которой въ рѣшительные политическіе моменты улицѣ предоставляется рѣшающее слово, къ сожалѣнію, менѣе способна повиноваться холоднымъ законамъ общественной логики, чѣмъ разнузданно слушаться своего темперамента“. Да и вообще „печально то, что соціологи должны, безучастно скрестивъ руки, смотрѣть на то, что народы, самоубійственно не признавая очевидныхъ законовъ общественнаго развитія, идутъ къ своей національной погибели, вмѣсто того, чтобы подчиняться велѣніямъ общественнаго разума“ (675).

Все это, однако, ровно ничего не значитъ, если смотрѣть на вещи sub aeternitatis specie, и печалиться соціологамъ совсѣмъ не о чемъ. Во-первыхъ, потому, что они вѣдь пока еще очень мало знаютъ, должны работать при закрытыхъ ставняхъ и, можетъ быть, очень ошибаются насчетъ „холодныхъ законовъ общественной логики“ и „велѣній общественнаго разума“. Во-вторыхъ, потому, что, можетъ быть, имманентная телеологія, всезнающая и всемогущая, именно и требуетъ погибели Франціи или какой другой націи съ слишкомъ пылкимъ темпераментомъ, хотя при этомъ и остается загадкой,— зачѣмъ же она вызвала или породила этотъ слишкомъ пылкій темпераментъ... Въ виду всего этого оставимъ имманентную телеологію въ покоѣ и посмотримъ на самый историческій процессъ, какъ онъ рисуется Штейну независимо отъ того, ведетъ ли онъ къ счастію человѣчества и высшимъ формамъ общественной жизни, или къ чему-нибудь иному. На этомъ пунктѣ мы и сосредоточимъ свое вниманіе, лишь попутно затрогивая остальное содержаніе книги Штейна. Каковы бы, однако, ни были результаты, къ которымъ мы придемъ въ этомъ отношеніи, я не хотѣлъ бы оставить читателя подъ впечатлѣніемъ тѣхъ противорѣчій и недодуманностей, какія мы до сихъ поръ видѣли въ работѣ Штейна: она будетъ во всякомъ случаѣ полезна для русскаго читателя многими содержащимися въ ней правильными мыслями, не говоря уже объ обильныхъ указаніяхъ на литературу различныхъ сторонъ „соціальнаго вопроса“.

Было время господства идиллической теоріи полной гармоніи интересовъ отдѣльной личности, индивидуума и общества, какъ соціальной единицы, какъ юридическаго лица. Идиллія эта давно уже начала гускнѣть въ сознаніи людей искренней мысли, а въ послѣднее время такіе выдающіеся и вмѣстѣ съ тѣмъ во многихъ отношеніяхъ рѣзко расходящіеся писатели, какъ, напримѣръ, Киддъ и Ничше, прямо говорятъ о противоположности интересовъ личности и общества и кладутъ этотъ антагонизмъ въ основу всего историческаго процесса. Признаетъ этотъ антагонизмъ и Штейнъ, и если искать у него наиболѣе общаго выраженія для опредѣленія историческаго процесса, то это будетъ „борьба за индивидуальность" (Kampf um die Individualität). Терминъ этотъ давно знакомъ русскому читателю, интересующемуся соціологическими вопросами. Уже двадцать пять лѣтъ тому назадъ принципъ борьбы за индивидуальность былъ предложенъ мною, какъ для объективнаго руководства въ пестрой картинѣ фактическаго матеріала исторіи, такъ и въ качествѣ исходной точки для субъективной выработки „императивовъ". Я не могу, однако, согласиться съ тѣмъ примѣненіемъ этого принципа, которое дѣлаетъ Штейнъ.

„Общественный идеалъ съ философской точки зрѣнія,—говоритъ Штейнъ,—есть переходъ отъ коммунизма къ индивидуализму, смягчаемому государственными учрежденіями" (99). Обращаю вниманіе читателя на это сочетаніе словъ: „общественный идеалъ" есть „переходъ", не опредѣленная какая-нибудь точка, а переходъ, процессъ. Мы увидимъ въ свое время, что эта постановка вопроса характерна для самыхъ разнообразныхъ умственныхъ теченій нашего времени. Что же касается приведенной формулы въ другихъ отношеніяхъ, то, какъ бы широко мы ни понимали идею государства, съ философской точки зрѣнія, какъ ее толкуетъ Штейнъ, съ точки зрѣнія „вѣчности", формула эта очевидно немножко скудна. Надо замѣтить, что Штейнъ на протяженіи своей книги вкладываетъ въ слово „общество" очень разный смыслъ. То онъ разумѣетъ подъ нимъ всякую форму общежитія, будь то семья или государство, орда или сословіе; то рѣзко отличаетъ Gesellschaft, общество, и Gemeinschaft, что русскій переводчикъ передаетъ словомъ община, и чему авторъ даетъ такое опредѣленіе: „община есть та первичная соціальная форма, при которой люди безъ всякаго внѣшняго договора и безъ законной санкціи, руководясь однимъ только естественнымъ инстинктомъ, оказываютъ другъ другу услуги, взаимно защищаютъ и под-

держиваютъ другъ друга" (57). Но затѣмъ оказывается, что „сущность общества состоитъ въ добровольномъ сотрудничествѣ принадлежащихъ къ нему индивидуумовъ, а сущность государства въ сотрудничествѣ вынужденномъ" (499). Такимъ образомъ, „внѣшній договоръ и законная санкція" остаются, повидимому, только за государствомъ. Мы знаемъ, однако, что контроль современнаго государства простирается на семью и на акціонерную компанію, на союзы рабочихъ и на союзы предпринимателей, на клубы и рабочія артели и т. д. Всѣ эти общественныя формы, такъ сказать, обволакиваются государствомъ и получаютъ отъ него „законную санкцію". Но, противопоставляя общество государству, Штейнъ и разумѣетъ подъ первымъ нѣчто очень отличное отъ упомянутыхъ формъ, а именно: „тотъ мыслящій, размышляющій о своей судьбѣ слой населенія всѣхъ культурныхъ государствъ, который обладаетъ способностью относиться критически къ положенію общественныхъ дѣлъ". Это „общество является общеніемъ міровогo гражданства, тогда какъ государство представляетъ общеніе національное". Мнѣніе этого общества, по словамъ Штейна, „выступаетъ теперь съ такою же повелительною силою, какъ въ средніе вѣка церковь". Въ этомъ позволительно сомнѣваться, равно какъ въ самомъ существованіи единаго, единогласнаго и единодушнаго „міровогo гражданства". Но разъ Штейнъ его допускаетъ, оно клиномъ врѣзывается въ тотъ переходъ отъ первобытнаго коммунизма къ индивидуализму, умѣряемому государственными учрежденіями, который составляетъ общественный идеалъ Штейна; ибо, какъ онъ и самъ говоритъ, „границы государства, такимъ образомъ, значительно уже границъ общества".

Наконецъ, мы получаемъ отъ Штейна и еще одно опредѣленіе общества, на этотъ разъ обнимающее, повидимому, всѣ формы общежитія и сотрудничества. Мы видѣли, что „міровое гражданство" столь солидарно и столь этою солидарностью сильно, что его въ этомъ отношеніи можно сравнить съ средневѣковою церковью. Это на стр. 499, а на стр. 495 намъ сообщаютъ: „въ средніе вѣка всѣ, принадлежавшіе къ одному религіозному или политическому кругу, за малыми исключеніями, имѣли одинаковыя вѣрованія, на основаніи извѣстной теоріи cujus regio, illius religio; теперь, напротивъ, образованная и даже полуобразованная личность психически дифференцирована столь значительно, что въ одномъ и томъ же семейномъ, конфессіональномъ, профессіональномъ и общественномъ кругу едва-ли найдется дюжина мыслящихъ людей, обладающихъ подобнымъ—

не говоря уже объ абсолютномъ — міровоззрѣніемъ. Стало-быть, общество отнюдь не общее сотрудничество психическихъ нулей и маріонетокъ, а взаимодѣйствіе психически сильно дифференцированныхъ индивидуумовъ, сотрудничество ихъ для достиженія общихъ цѣлей". Не видно, почему бы это опредѣленіе не распространялось и на средневѣковое общество, по крайней мѣрѣ на сколько дѣло идетъ о взаимодѣйствіи и сотрудничествѣ для достиженія общихъ цѣлей. Какъ-бы то ни было, это опредѣленіе общества, какъ взаимодѣйствія составляющихъ его индивидовъ, представляетъ у Штейна исходную точку для очень вѣрной и очень важной мысли. Вотъ эта мысль:

Одной изъ истинныхъ задачъ сознательно созидающей соціологіи въ будущемъ должна быть планомѣрно обдуманная и подробная разработка системы этихъ взаимодѣйствій. При ихъ классификаціи придется преодолѣть громадныя затрудненія. Потому что одинъ и тотъ-же индивидуумъ можетъ принадлежать не только къ различнымъ рядомъ стоящимъ общественнымъ кругамъ, но и къ кругамъ господствующимъ и къ подчиненнымъ. Подъ терминомъ: отношеніе общественныхъ круговъ мы вмѣстѣ съ Зиммелемъ понимаемъ то „отношеніе, въ которомъ одинъ кругъ включаетъ въ себя другой, какъ подчиненный; такъ, напримѣръ, человѣчество, включающее государственный союзъ, государство, включающее семейные круги, или профессіональный союзъ, какъ цѣлое по отношенію къ округу, къ которому непосредственно принадлежитъ отдѣльный человѣкъ, а потомъ особенно близкое отношеніе этого послѣдняго къ тому или другому изъ членовъ этого округа". „Однимъ словомъ, мы имѣемъ тутъ дѣло съ такимъ громаднымъ разнообразіемъ взаимотношеній между индивидомъ и обществомъ, т. е. между многочисленными общественными кругами и интересами, къ которымъ можетъ принадлежать индивидуумъ, далѣе съ взаимоотношеніями общественныхъ группъ, какъ между собою, такъ и къ государству, съ одной стороны, и къ личности, съ другой, и, наконецъ, въ особенности съ взаимоотношеніями между государствомъ, обществомъ и личностью другъ къ другу (а иногда и противъ другъ друга), что положительно можно отчаяваться въ возможности когда-либо окончательно и исчерпывающимъ образомъ классифицировать такое громадное количество взаимоотношеній, изъ коихъ составляется общественный организмъ, оперирующій съ такими необычайно сложными, дифференцированными индивидами (496).

Сквозь эту-то сложную сѣть то обнимающихъ, то въ разныхъ направленіяхъ пересѣкающихъ другъ друга общественныхъ единицъ Штейнъ разсчитываетъ провести линію борьбы за индивидуальность. Къ сожалѣнію, это ему рѣшительно не удается. И не потому, что ячейки этой сѣти слишкомъ многочисленны, разнородны и перепутаны, а просто потому, что на дѣлѣ онъ не принимаетъ въ сообра-

женіе ихъ многочисленность, разнородность и перепутанность. Онъ красиво формулируетъ коренное противорѣчіе, составляющее основаніе борьбы за индивидуальность. Онъ говоритъ: „Съ одной стороны, индивидъ судорожно стремится къ суверенному утвержденію своей индивидуальности, а съ другой, онъ жаждетъ сліянія съ родомъ, т. е. хочетъ быть поглощеннымъ крупной общиной (религіозной, государственной, національной, правовой, профессіональной и т. д.)“ (471). Эта картина двухъ борящихся въ человѣкѣ душъ не только красива, а, пожалуй, и вѣрна, но она не полна и одностороння. „Религіозная, государственная, національная, правовая, профессіональная и т. д.“ единицы поминаются въ ней за одной скобкой, одинаково противополагаются индивиду, тогда какъ въ дѣйствительности и между ними происходитъ борьба, очень разнообразно отзывающаяся на судьбахъ индивида. Въ этомъ состоитъ корень едва-ли не важнѣйшихъ недостатковъ книги Штейна. Пусть классификація различныхъ общественныхъ единицъ, различныхъ видовъ „взаимодѣйствія“ представляетъ большія трудности и должна быть дѣломъ „цѣлаго поколѣнія соціологовъ“, какъ говоритъ въ одномъ мѣстѣ Штейнъ, пусть эти трудности даже завѣдомо непреодолимы; но фактъ существованія ихъ сложности во всякомъ случаѣ несомнѣненъ. Штейнъ же въ разныхъ мѣстахъ своей книги то оперируетъ съ тремя единицами—индивидомъ, государствомъ и „обществомъ“, безъ дальнѣйшихъ подраздѣленій послѣдняго; то противопоставляетъ индивида всему человѣчеству, минуя всѣ промежуточныя ступени. Онъ говоритъ, напримѣръ, о „контрастѣ, вслѣдствіе котораго индивидуумъ колеблется между своими собственными интересами и интересами человѣческаго рода“ (474). Онъ даже предсказываетъ, что „высшее въ человѣческой природѣ — родовой прогрессъ, проявляющійся въ исторіи человѣческаго рода,—долженъ со временемъ одержать рѣшительную побѣду надъ индивидуальными интересами“ (498), забывая при этомъ свой собственный общественный идеалъ, состоящій, какъ мы видѣли, въ торжествѣ индивидуализма („смягчаемаго государственными учрежденіями“).

Посмотримъ на нѣкоторыя частныя приложенія теоріи борьбы за индивидуальность, какъ ее понимаетъ Штейнъ.

Исходную точку брачныхъ отношеній въ исторіи человѣчества составляютъ различныя формы полигаміи и поліандріи, полового коммунизма, изъ котораго постепенно вырабатывается бракъ индивидуальный. Исторія брака есть „постоянно развивающаяся и услож-

няющаяся психическими факторами борьбы за индивидуальность". Руководитъ этою борьбой имманентная телеологія, безошибочно направляющая человѣчество все къ высшимъ формамъ существованія и общественности, а орудіемъ этой не ошибающейся имманентной телеологіи являются церковь, государство и нравственность, санкціонирующія „болѣе прочныя и высшія формы брака". Индивидуальный бракъ составляетъ одно изъ необходимыхъ предварительныхъ условій цивилизаціи; непрерывный и прочный прогрессъ мы видимъ только у народовъ съ моногамической формой брака. „Юридическія, нравственныя и религіозныя представленія могутъ измѣняться, но естественный законъ неизмѣненъ, и только безумцы могутъ стараться противодѣйствовать ему".

Таковъ въ общихъ чертахъ взглядъ Штейна на исторію брака. Какъ бы ни было кратко наше изложеніе, оно передаетъ всѣ существенные пункты воззрѣній Штейна. Присмотримся же къ нимъ нѣсколько ближе, не со стороны имманентной телеологіи, о которой мы уже говорили; а, главнымъ образомъ, со стороны тѣхъ общественныхъ, коллективныхъ индивидуальностей, которыя вводятся Штейномъ въ исторію брака. Таковыхъ онъ поминаетъ три: „церковь", „государство" и общество въ томъ неопредѣленномъ значеніи этого слова, въ силу котораго создается „нравственность". Церковь здѣсь надо разумѣть исключительно христіанскую, такъ какъ, не говоря о язычествѣ, мусульманство или, съ другой стороны, мормонство признаютъ полигамію; христіанская же церковь идетъ въ нашемъ вопросѣ дальше простой санкціи моногамическаго брака. Признавая бракъ таинствомъ и благословляя его для мірянъ, она предписываетъ безбрачіе монашествующимъ, а католическая церковь и бѣлому духовенству. Этотъ факторъ исторіи брака совсѣмъ не принятъ въ соображеніе Штейномъ. Освѣщая своимъ высокимъ авторитетомъ „наиболѣе прочную и высшую форму брака", церковь преслѣдуетъ формы менѣе прочныя, кладетъ болѣе или менѣе строгіе предѣлы праву развода и т. д., опираясь при этомъ и на авторитетъ свѣтскаго законодательства, то-есть государства. Что касается „общества", то его отношеніе къ данному вопросу крайне двусмысленно. Если знаменитое своею ханжескою чопорностью англійское общественное мнѣніе загубило Парнеля за его отношенія къ г-жѣ О'Ши, то оно-же терпитъ ужасающія безобразія половой жизни. Въ менѣе лицемѣрныхъ континентальныхъ странахъ общественное мнѣніе ни мало не возмущается такими явленіями, какъ адюльтеръ, menage à trois,

а въ иныхъ случаяхъ и гораздо болѣе яркими отступленіями отъ единственно признаваемаго церковью и государствомъ моногамическаго брака, не говоря уже о проституціи. Это общественное мнѣніе охотно разрѣшаетъ мужчинѣ то, за что жестоко караетъ женщину („Tue la!"), но вмѣстѣ съ тѣмъ вмѣняетъ культъ Венеры цѣлымъ разрядамъ женщинъ, однѣмъ въ заслугу, другимъ въ позорную обязанность. Наконецъ, и государство, вынужденное регламентировать проституцію и не имѣющее возможности услѣдить за другими отклоненіями отъ наиболѣе прочной формы половыхъ отношеній, вступаетъ отчасти въ это теченіе. Затѣмъ государству нужны солдаты, и, слѣдовательно, извѣстная часть населенія, находящаяся въ періодѣ половой силы, должна быть оторвана на извѣстный срокъ отъ семейной обстановки и поставлена въ совсѣмъ иныя условія. Въ промышленныхъ государствахъ на рынокъ выносится женскій трудъ, слишкомъ дешевый для оплаты существованія, слѣдствіемъ чего является усиленіе проституціи. И т. д., и т. д.

Всѣ эти бѣгло намѣченныя черты относятся къ новымъ временамъ, и мы видимъ, что церковь, государство и „общество" отнюдь не одинаково вліяетъ на формы половыхъ отношеній, что и между ними происходитъ борьба съ разными шансами побѣды. Заглянувъ въ далекую даль исторіи въ моментъ возникновенія семьи, мы и тамъ встрѣтимъ ту же сложную борьбу коллективныхъ, общественныхъ индивидуальностей, при чемъ индивидуальность въ тѣсномъ смыслѣ слова, индивидуальность личная, получаетъ отъ нихъ то поддержку, то, напротивъ, утѣсненіе. Большинство современныхъ соціологовъ признаетъ исходной точкой исторіи семьи ея отсутствіе, безразличное половое смѣшеніе или гетеризмъ, какъ нѣкоторые не совсѣмъ правильно называютъ этотъ отдаленнѣйшій моментъ исторіи человѣческой семьи и брака. Изъ этой первобытной Gemeinschaft лишь постепенно и съ большимъ трудомъ выдѣлились родъ и семья, прошедшіе ступени матріархата и патріархата. И, напримѣръ, Гумпловичъ съ своей точки зрѣнія очень послѣдовательно утверждаетъ, что семья обязана своимъ существованіемъ государству, что она есть государственное учрежденіе. Это грубо и односторонне, но въ томъ смыслѣ вѣрно, что наложенныя на личность семейныя узы существуютъ отчасти, дѣйствительно, благодаря центральной власти, долго боровшейся съ притязаніями рода и орды. Въ настоящее время Штарке, Вестермаркъ и нѣкоторые другіе соціологи отрицаютъ первобытный гетеризмъ и полагаютъ, что у большинства человѣческихъ племенъ моногамія

есть исконное учрежденіе. Съ этой точки зрѣнія многоразличныя уклоненія отъ моногаміи, о которыхъ сообщаютъ историки древности и современные путешественники и этнографы, суть или чисто мѣстныя явленія, не подлежащія обобщенію, или продукты позднѣйшаго времени, болѣе или менѣе долгой эволюціи. Если и такъ, то и эта эволюція сводится всетаки къ той-же борьбѣ за индивидуальность, въ каковой борьбѣ принимаютъ участіе не только личность и общество, какъ думаетъ Штейнъ, а и различныя ступени коллективной, общественной индивидуальности. Если въ данномъ племени каждая женщина принадлежала только одному мужчинѣ и каждый мужчина имѣлъ только одну женщину, а съ теченіемъ времени сложилась, положимъ, поліандрія (какъ въ Тибетѣ или у тодасовъ), то это значитъ, что родъ или племя побѣдило семью. По какимъ-то неизвѣстнымъ намъ причинамъ въ данномъ племени родится мало женщинъ, а смѣшиваться съ окружающими чуждыми племенами оно не хочетъ. Такъ именно стоитъ дѣло у тодасовъ. Представимъ себѣ, что у нихъ нѣкогда существовала моногамическая семья. Когда недостатокъ женщинъ и отвращеніе къ смѣшенію съ сосѣдними племенами стали обнаруживать свое дѣйствіе, племя, какъ цѣлое, какъ „общественный кругъ“, по выраженію Зиммеля и Штейна, какъ извѣстная общественная индивидуальность, должно было или погибнуть изморомъ, или разрушить низшій общественный кругъ, низшую общественную индивидуальность — семью. И вотъ, въ интересахъ племени, каждая женщина становится женою нѣсколькихъ мужчинъ, то есть первобытная моногамическая семья (если она была) разрушается. На индивидуальности личной эта борьба опять таки если она была—двухъ „общественныхъ круговъ“ должна была отразиться такъ: въ мужчинахъ должно было притупиться чувство ревности, которое Вестермаркъ считаетъ кореннымъ, исконнымъ свойствомъ человѣка, а въ женщинахъ должно было выработаться безразличіе по отношенію къ физическому общенію съ тѣмъ ли, съ другимъ ли лицомъ другого пола.

Такимъ образомъ, значитъ, каковы бы ни были наши мнѣнія о первобытныхъ брачныхъ отношеніяхъ, сквозь всю исторію брака красною нитью проходитъ борьба за индивидуальность. Борьба эта развивается, однако, отнюдь не столь прямолинейно, какъ думаетъ Штейнъ. Напротивъ, мы имѣемъ здѣсь чрезвычайно сложную и пеструю картину, въ которой фигурируютъ не только личная индивидуальность и „общество“, а и различные „общественные круги“,

различныя ступени индивидуальности общественной, борющіяся и съ личностью, и между собой. При различныхъ условіяхъ побѣда клонится въ разныя стороны, и найти здѣсь указующій путь „имманентной телеологіи“ нѣтъ никакой возможности. Спрашивается, какой же „императивъ“, какое правило поведенія можемъ мы вывести изъ этого объективнаго изслѣдованія исторіи брака? По соображеніямъ, высказаннымъ мною много лѣтъ тому назадъ, императивъ этотъ долженъ корениться въ интересахъ и достоинствѣ личности, хотя бы въ прямую противоположность интересамъ и достоинству какихъ бы ни было „общественныхъ круговъ“. И въ этомъ отношеніи мы находимъ у Штейна лишь одно цѣнное указаніе. Онъ говоритъ именно, что съ теченіемъ времени въ исторіи человѣчества „инстинктивная сторона половыхъ отношеній теряетъ свое прежнее единовладычество и раздѣляетъ свою власть все болѣе и болѣе съ факторами психическими (любовь, дружба, общность нравственнаго содержанія жизни и религіозныхъ, нравственныхъ и эстетическихъ идеаловъ)“ (73). Вотъ этому-то расширенію психической жизни личности могутъ и должны быть принесены въ жертву интересы и достоинство различныхъ „общественныхъ круговъ“. Это „императивъ“, конечно, абстрактный, чисто теоретическій, ибо въ сложной борьбѣ различныхъ „общественныхъ круговъ“ личности приходится сплошь и рядомъ, чтобы избавиться отъ гнета одного изъ нихъ, искать опоры въ другомъ.

Возьмемъ другой примѣръ. Въ главѣ „Зачатки общества и государства“ Штейнъ, между прочимъ, пишетъ: „Во время войны чувствовалась потребность въ централизаціи власти. Безъ начальника былъ невозможенъ никакой боевой порядокъ, потому должны были предоставить военачальнику право распоряженія по его волѣ всѣми боевыми силами. А это было рѣшительнымъ разрывомъ съ родовыми порядками. Въ ту минуту, когда свободно подчинили общую волю рода единой волѣ главы и такимъ образомъ признали его неограниченную власть, судьба рода была рѣшена: люди вступили на тотъ путь, который по необходимости велъ отъ демократическаго коммунизма къ монархическому абсолютизму. Такимъ образомъ, мы видимъ, что и въ государствѣ происходитъ тотъ же процессъ индивидуализированія, который мы констатировали въ исторіи брака (и собственности)“ (105).

Читатель видитъ, какая эта грубая и чисто словесная натяжка. Въ дѣйствительности, никакой аналогіи между исторіей брака, какъ

ее понимаетъ Штейнъ, и исторіей государственной власти — нѣтъ. Тамъ мы имѣли моногамическій бракъ для всѣхъ, здѣсь же возникновеніе власти одного лица. Сообразно этому, на стр. 108 Штейнъ задается вопросомъ: „Можетъ ли духъ, сдѣлавшійся сознательнымъ, одобрить и санкціонировать и такую тенденцію къ индивидуализированію или, наоборотъ, онъ долженъ энергично протестовать противъ нея?“ Тогда какъ моногамическій бракъ онъ считаетъ послѣднею, окончательною, безспорною формою брачныхъ отношеній...

На этомъ мы покончимъ съ Штейномъ. Я помяну еще лишь одинъ маленькій курьезъ, касающійся русской литературы. Съ литературой этой Штейнъ, какъ онъ сообщаетъ, знакомъ, благодаря „молодому русскому соціологу г. Полонскому“, да еще книгѣ Раппопорта „Zur Charakteristik der Methode und Hauptrichtungen der Philosophie der Geschichte“ *). Между прочимъ, Штейнъ пишетъ: „Н. Михайловскій успѣшно борется съ русскими послѣдователями Спенсера („Спенсеровы дѣти“). Кстати замѣтимъ, что полемика противъ Спенсера въ Россіи началась задолго до того времени, когда со Спенсеромъ познакомились на континентѣ“ (19). Такъ въ русскомъ переводѣ. Въ оригиналѣ загадочныя „Спенсеровы дѣти“ получаютъ такое объясненіе: „in Russland gab es eine *förmliche Partei* „Spencerowy dieti“ (Spencer's Kinder), gegen die Michailowsky siegreich auftrat“. У Раппопорта нѣтъ и помину о „förmliche Partei Spencerowy dieti“, ничего подобнаго не могъ сообщить Штейну и г. Полонскій. „Спенсеровы дѣти“—просто выраженіе, употребленное мною въ полемической статьѣ, которую я настолько самъ забылъ, что не перепечаталъ въ собраніи своихъ „Сочиненій“.

Хорошая поговорка—audiatur et altera pars, и я очень радъ, что могу цѣликомъ, не пропуская ни одного слова, представить читателямъ „нашъ отвѣтъ г. Михайловскому“, напечатанный въ октябрьской книжкѣ „Міра Божія“. Онъ очень кратокъ, этотъ „нашъ отвѣтъ“:

„Наши замѣтки о романѣ „Знаменія времени“ вызвали статью г. Михайловскаго, напечатанную въ сентябрьской книжкѣ „Русскаго Богатства“. Какъ помнятъ читатели, мы высказали мнѣніе, что крайне

*) Эта интересная книга въ нѣсколько измѣненномъ видѣ есть и на русскомъ языкѣ въ изданіи Павленкова (Философія исторіи въ ея главнѣйшихъ теченіяхъ. Спб. 1899).

слабый по достоинствамъ романъ г. Мордовцева явился въ свое время отраженіемъ настроенія и взглядовъ передовой части общества. Г-нъ Михайловскій обвиняетъ насъ въ измѣнѣ лучшимъ завѣтамъ прошлаго, въ оплеваніи эпохи великихъ реформъ. въ „заушеніи" ея выдающихся писателей и пр. Мы не находимъ нужнымъ возражать по существу на такого сорта обвиненія и не желаемъ вести полемику, лучше сказать,—перебранку такого тона. Наше отношеніе къ эпохѣ великихъ реформъ и ея славнымъ дѣятелямъ хорошо извѣстно, какъ нашимъ читателямъ, такъ и самому г. Михайловскому. Для чего понадобилось ему сдѣлать по нашему адресу эту выходку, мы, признаться, не понимаемъ. Можемъ объяснить ее развѣ тѣмъ, что за послѣднее время г. Михайловскій привыкъ всѣхъ несогласно съ нимъ мыслящихъ обвинять въ измѣнѣ. Конечно, это самый легкій способъ полемики, сомнѣваемся только, можно ли считать его достойнымъ г. Михайловскаго. Во всякомъ случаѣ въ этомъ нельзя не видѣть своего рода „знаменія", и очень печальнаго для г. Михайловскаго".

Это все. Но, не смотря на краткость этого „отвѣта", въ немъ скопленъ цѣлый рядъ какихъ-то странныхъ недоразумѣній. Я представилъ фактическія, документальныя свидѣтельства того, что романъ г. Мордовцева не отражаетъ „настроенія передовой части общества" 60 – 70-хъ годовъ, „задушевныхъ мыслей передовыхъ людей" „освободительной эпохи" (въ кавычкахъ — подлинныя слова статьи г-на А. Б.). Г. А. Б. называетъ это перебранкой... Недоумѣваю.—Г. А. Б., поминая наше прошлое, уподобляетъ его „промотавшемуся отцу", къ которому позднѣйшія поколѣнія должны относиться „съ горькой насмѣшкой обманутаго сына"; г. А. Б. далѣе усмотрѣлъ въ Мордовцевскихъ отраженіяхъ настроенія „передовыхъ людей" 60 —70-хъ годовъ „ослиныя уши"; я-же, съ своей стороны, указалъ на „львиный коготь" г-на А. Б. И онъ называетъ это *пере*бранкой... Еще разъ недоумѣваю. Наконецъ, недоумѣваю по поводу „измѣны", въ которой я будто-бы обличаю „Міръ Божій" или лично г. А. Б. Гдѣ? когда? Я писалъ исключительно объ одной статьѣ г-на А. Б., ни единымъ словомъ не поминая прошлаго „Міра Божія" или его взглядовъ вообще; а вѣдь, чтобы уличить кого-нибудь въ измѣнѣ, надо установить, что журналъ прежде исповѣдывалъ то-то и то-то, а нынѣ, дескать, измѣняетъ. Я недостаточно внимательно слѣдилъ за „Міромъ Божіимъ", чтобы взять на себя такую задачу, а припоминая статьи г. Иванова о Писаревѣ и нѣкоторыя другія, въ разное время напе-

чатанныя въ почтенномъ журналѣ, я нашелъ-бы, можетъ быть, не измѣну, а, напротивъ, большую послѣдовательность. Во всякомъ случаѣ для тѣхъ маленькихъ противорѣчій, которыя мнѣ случалось встрѣчать въ „Мірѣ Божіемъ", „измѣна"—слишкомъ громкое слово. Недалеко ходить: въ сентябрьской книжкѣ почтеннаго журнала г. А. Б. пишетъ много лестнаго о моей терпимости, о томъ, что, даже „выступая крайнимъ противникомъ" извѣстнаго направленія, я умѣю относиться къ нему „въ высшей степени объективно и строго научно"; что „читатель не встрѣтитъ здѣсь ни буренинскаго зубоскальства, ни тупого злорадства, ни полемическаго задора" и т. д. Черезъ мѣсяцъ, какъ мы видѣли, г. А. Б. пишетъ о моей нетерпимости, о томъ, что я „привыкъ всѣхъ, несогласно мыслящихъ, обвинять въ измѣнѣ"... Неужели-же это маленькое Schwamm drüber можно назвать измѣной? Конечно, нѣтъ. Это просто такъ, легкость мыслей.

XVII *).

Статья г. Панова о „нѣкоторыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ литературнаго труда въ Россіи“.

Въ № 7 – 8 журнала „Образованіе“ напечатана статья г. Панова: „Нѣкоторыя неблагопріятныя условія литературнаго труда въ Россіи“. Статья эта навела меня на нѣкоторыя размышленія. Мнѣ хочется подѣлиться ими съ читателями. Но сначала нѣсколько словъ о статьѣ, ихъ вызвавшей.

Г. Пановъ сознаетъ что его „работа страдаетъ большими пробѣлами“ и что „въ ней могутъ встрѣтиться большія погрѣшности“. Единственнымъ достоинствомъ своей замѣтки авторъ считаетъ то, что она „проникнута искреннимъ желаніемъ возбудить въ передовомъ обществѣ интересъ къ труженикамъ печатнаго слова и чрезъ то улучшить нѣкоторыя изъ ненормальныхъ условій литературнаго труда въ Россіи“. Прекрасная задача, но, можетъ быть, для ея исполненія не требовалось тѣхъ преувеличеній, которыя допускаетъ иногда г. Пановъ. Такъ, напримѣръ, говоря о тяжести литературнаго труда, влекущаго за собой „разнаго рода профессіональныя болѣзни, даже преждевременную смерть“, онъ приводитъ въ подтвержденіе списокъ, въ которомъ, между прочимъ, находимъ Мельникова-Печерскаго („былъ разбитъ параличемъ“), Маркевича („умеръ отъ аневризма“), Тютчева („умеръ отъ паралича“). Всѣ эти три случая отнюдь не типичны. Во-первыхъ, названные три писателя были вмѣстѣ съ тѣмъ и чиновниками, а слѣдовательно, тяжести матеріальнаго положенія литературныхъ тружениковъ не знали; во-вторыхъ, умерли они въ возрастѣ около 70 лѣтъ, когда отъ той или другой болѣзни умирать приходится многимъ; въ-третьихъ, аневризмъ и

*) Ноябрь 1900 г.

параличъ едва-ли могутъ быть признаны профессіональными писательскими болѣзнями. Любопытна слѣдующая особенность, которую г. Пановъ замѣтилъ, „изучая жизнь нашихъ литераторовъ: тѣ изъ писателей, которые болѣе или менѣе мирились съ дѣйствительностью, жили очень долго; писатели же противоположнаго лагеря умирали, не успѣвши расцвѣсть". Очень вѣроятно, что таково общее правило, но фактическія иллюстраціи къ этому правилу, приводимыя г. Пановымъ, не совсѣмъ удачны. Напримѣръ, въ числѣ писателей „противоположнаго лагеря" онъ поминаетъ Салтыкова, котораго смерть, въ виду его сохранившейся до конца дней (умеръ 63-хъ лѣтъ) творческой силы, можно, конечно, назвать преждевременною, но о которомъ никакъ нельзя сказать, что онъ „не успѣлъ расцвѣсть"; Пушкина, Грибоѣдова, Лермонтова, умершихъ, правда, въ молодыхъ годахъ, но насильственною смертью и при обстоятельствахъ, не имѣющихъ никакого отношенія къ ихъ литературной дѣятельности; г. Антоновича, котораго г. Пановъ считаетъ умершимъ въ 35 лѣтъ, тогда какъ онъ живетъ доселѣ въ возрастѣ 65 лѣтъ.

Подобныхъ частью промаховъ, частью натяжекъ можно бы еще нѣсколько найти въ статьѣ г. Панова. Поскольку это промахи,— можно пожалѣть, что авторъ отнесся къ своей задачѣ небрежно; а поскольку это натяжки, — онѣ совсѣмъ не нужны съ точки зрѣнія самого автора, такъ какъ и безъ нихъ положеніе русскаго писателя достаточно явственно.

Г. Пановъ начинаетъ издалека, съ появленія въ Россіи печатнаго станка, который, какъ извѣстно, былъ разрушенъ, а печатники обвинены въ ереси. Это было дурное предзнаменованіе. И, дѣйствительно, даже въ вѣкъ усиленнаго насажденія просвѣщенія въ Россіи, при Петрѣ Великомъ и его преемникахъ, положеніе писателей было несказанно тяжелое. Достаточно вспомнить скорбную фигуру Тредьяковскаго, автора хвалебныхъ одъ по заказу и битаго шута по неволѣ. Судьба Новикова и Радищева освѣщаетъ положеніе писателя XVIII вѣка съ другой, уже чисто-трагической стороны. Но образъ Тредьяковскаго кажется мнѣ особенно характернымъ. Мы привыкли вспоминать о немъ не иначе, какъ со смѣхомъ, чему способствуетъ не столько знакомство съ его произведеніями, изъ которыхъ мы, обыкновенно, помнимъ или даже знаемъ лишь нѣсколько нелѣпыхъ стиховъ, а просто традиція. Въ созданіи этой традиціи немалую роль сыграла незлобивость или незлопамятность русской литературы, которая, напримѣръ, въ лицѣ Лажечникова, оплевавъ автора „Тилемахиды"

превратила одного изъ его жесточайшихъ и грубѣйшихъ обидчиковъ, Артемія Волынскаго, въ какого-то рыцаря безъ страха и упрека. Кажется, одинъ только Иринархъ Введенскій попытался прикрыть нѣкоторымъ критическимъ щитомъ тѣнь Тредьяковскаго отъ града и доселѣ сыплющихся на него насмѣшекъ. Взглянувъ на „вѣчнаго труженика“, который такъ и не сталъ мастеромъ, въ условіяхъ его времени и среды, Введенскій нашелъ, что это былъ не только полезный труженикъ, но и своею піитическою бездарностью совсѣмъ ужъ не такъ рѣзко отличался отъ литературныхъ сверстниковъ. Введенскій имѣлъ въ виду главнымъ образомъ поэзію Тредьяковскаго, но его общій выводъ можетъ быть распространенъ на всю жизнь этого горемыки. Тредьяковскій былъ сынъ своего времени наравнѣ съ другими не только потому, что эти другіе тоже не были истинными поэтами, хотя Тредьяковскому должна быть всетаки присуждена пальма первенства бездарности. Не онъ одинъ сочинялъ холопски-льстивыя оды и выпрашивалъ подачки, дабы „пребѣдную свою фамиліишку питать, не растворяя хлѣбъ плачемъ“; не онъ одинъ, будучи до забавности высокаго о себѣ мнѣнія, терпѣлъ всяческія оскорбленія; не онъ одинъ практиковалъ доносы на своихъ собратій по профессіи или, вѣрнѣе, по ремеслу. Любопытно, что при всей своей склонности къ этого рода упражненіямъ, Тредьяковскій и самъ иногда терпѣлъ послѣдствія таковыхъ. Въ 1735 г., по доносу какого-то писца костромского духовнаго правленія, возникло дѣло о „псальмѣ“, въ которой „въ титулѣ ея императорскаго величества явилось напечатано не по формѣ“, а именно псальма начиналась словами:

Да здравствуетъ днесь *імператрикъ* Анна,
На престолъ сѣвши увѣнчанна.

Это была „пѣснь“ Тредьяковскаго на восшествіе на престолъ Анны Іоанновны, и несчастному поэту пришлось представить грозному Ушакову письменное разъясненіе слова „імператрикъ“. Въ 1755 г. Тредьяковскій представилъ въ синодъ „извѣщеніе“ о содержащихся въ духовныхъ одахъ Сумарокова противныхъ св. писанію мысляхъ „о безконечности вселенныя и дѣйствительномъ множествѣ міровъ, а не о возможномъ по всемогуществу Божію“. А въ 1757 г. его собственная „Ѳеоптія“ была запрещена за содержащіяся въ ней мысли объ обращеніи земли около солнца и луны около земли. Такимъ образомъ, все съ разныхъ сторонъ унизительное для писателя отразилось въ жизни и писаніяхъ Тредьяковскаго, всю уготованную

судьбою русскому писателю XVIII вѣка чашу позора и скорби онъ выпилъ; ибо если позорно призывать стороннюю, внѣшнюю силу для рѣшенія вопроса о „множествѣ міровъ“, то прискорбно не смѣть высказать мысль, что земля обращается вокругъ солнца. Но если, такимъ образомъ, фигура Тредьяковскаго и типична для своего времени, то пропорціи, въ которыхъ сочетались въ ней скорбь и позоръ, дѣлаютъ ее особенно выпуклою, особенно характерною. Вдумываясь въ нее, испытываешь очень сложное чувство, какое не возникаетъ, по крайней мѣрѣ въ такой степени, при воспоминаніи о Ломоносовѣ, Сумароковѣ и др., хотя и эти люди были грѣшны всѣми грѣхами своего времени. Образъ Тредьяковскаго окутанъ какою-то смѣсью смѣшного, презрѣннаго и жалости достойнаго въ такой мѣрѣ, какъ ни одинъ изъ писателей прошлаго вѣка. Но это вмѣстѣ съ тѣмъ и прообразъ многихъ и многихъ явленій въ литературѣ даже послѣднихъ дней XIX вѣка...

Вотъ что читаемъ въ замѣткахъ „Скромнаго Наблюдателя“, напечатанныхъ въ № 288 (16 октября) „Русскихъ Вѣдомостей“:

Кто о чемъ, а „Московскія Вѣдомости“ все злоумышленниковъ обличаютъ. Ѣхалъ одинъ изъ добровольцевъ-соглядатаевъ газеты г. Грингмута по Николаевской желѣзной дорогѣ и, по обычаю, внимательно прислушивался къ разговору пассажировъ. Вдругъ въ вагонъ вошелъ какой-то глухонѣмой и, въ качествѣ „пропагандиста“ зловредныхъ идей гр. Л. Н. Толстого, сталъ предлагать пассажирамъ купить сочиненія этого неодобряемаго на Страстномъ бульварѣ писателя. „Мы были свидѣтелями,—пишетъ соглядатай, какъ одинъ изъ такихъ поклонниковъ Толстого (къ сожалѣнію, даже офицеръ) уговаривалъ какого-то молодого человѣка, ѣдущаго изъ Забайкалья, купить „Воскресеніе“ и „Крейцерову сонату“, увѣряя, что „по этимъ книгамъ можно провѣрить свою душу“. Пишущій эти строки (т. е. соглядатай) не могъ не сказать слова предостереженія неопытному путешественнику, но офицеръ-толстовецъ громко повторилъ свою рекомендацію, и офицерскій мундиръ далъ вѣсъ рекомендаціи,—книги были куплены“...

Развѣ это не ужасно! Благонамѣренный соглядатай, безкорыстно радѣя о душѣ молодого путешественника, говоритъ — „не покупай“, а пропагандистъ-развратитель, „къ сожалѣнію, даже офицеръ“, явно противодѣйствуетъ благому намѣренію, самъ содѣйствуетъ пропагандѣ вредныхъ идей и, увы! побѣждаетъ!... Правда, продаваемыя сочиненія гр. Л. Н. Толстого всѣ дозволены къ обращенію, но это нисколько не оправдываетъ офицера-пропагандиста, ибо, по просвѣщенному мнѣнію соглядатая отъ „Моск. Вѣд.“, „мало-ли что разрѣшаетъ цензура“...

Сдѣлавъ упрекъ цензурному вѣдомству за пропускъ такихъ вредныхъ книгъ, какъ сочиненія гр. Л. Н. Толстого, соглядатай „Моск. Вѣд“ дѣлаетъ внушеніе и тому благотворительному обществу, которое, дозволяя нѣмымъ

продавать подобныя вредныя книги, „само занимается пропагандой толстовскихъ произведеній!“...

Достойно вниманія, что такое суровое обвиненіе напечатано въ газетѣ, редакторъ которой подлежитъ обвиненію въ такой же, но еще въ болѣе обширной пропагандѣ. Предо мною объемистый томъ изданія романа гр. Л. Н. Толстого „Воскресеніе“. На заглавномъ листкѣ обозначено, что этотъ романъ печатался въ университетской типографіи на Страстномъ бульварѣ, а тутъ же поставлено и синее клеймо: „Цѣна 1 руб. Контрагентство В. А. Грингмута“.

Тѣнь Третьяковскаго явственно витаетъ надъ г. Григмутомъ. Московскій публицистъ стиховъ, правда, не пишетъ или, если и пишетъ, то не публикуетъ; однако въ его прозѣ, подобно произведеніямъ его духовного предка, всегда больше лирики, чѣмъ смысла.

Кое странное піанство
Къ пѣнію мой гласъ бодритъ!—

восклицаетъ, вѣроятно, и онъ, приступая, напримѣръ, къ требованію отъ мимоходящихъ вторичной присяги и въ восторгѣ чувствъ забывая, что требованіе это не только противозаконно, — это бы еще не бѣда, мало-ли кому законъ не писанъ, — но даже неблагонамѣренно. И когда г. Грингмуту разъяснятъ это и вдоволь надъ нимъ насмѣются, онъ, — какъ писалъ въ одной своей жалобѣ творецъ „Тилемахиды“, — „извнѣ замолчитъ, а внутри раздирается на части“. Но черезъ минуту его опять осѣняетъ вдохновеніе, и опять:

Кое странное піанство
Къ пѣнію мой гласъ бодритъ!—

Вдохновенный взоръ г. Грингмута устремляется на какого-то „къ сожалѣнію, даже офицера“, который до такой степени забылъ утвержденный въ Москвѣ на Страстномъ бульварѣ уставъ о благонамѣренности, что совершенно открыто, въ вагонѣ желѣзной дороги, одобряетъ книги, на внутренней сторонѣ обложки которыхъ напечатано: „дозволено цензурою“. Хорошо и благотворительное общество, издающее эти дозволенныя цензурою сочиненія! Caveant consules! Катилина у воротъ!.. Однако и въ этомъ случаѣ вдохновенному пѣвцу придется, конечно, „извнѣ замолчать, а внутри раздираться на части“. Слишкомъ уже большое усердіе г. Грингмута не будетъ вознаграждено даже монополіей на право торговли дозволенными цензурой, но чрезвычайно зловредными произведеніями гр. Толстого. А вѣдь какъ бы это было хорошо въ томъ смыслѣ,

чтобы „пребѣдную свою фамиліишку питать, не растворяя хлѣба плачемъ...“

Но Богъ съ нимъ, съ г. Грингмутомъ! Мы уже приглядѣлись къ его словесно акробатическимъ упражненіямъ, при которыхъ онъ, стастно преслѣдуя неблагонамѣренность, какъ-то фатально оказывается самъ по ту сторону благонамѣренности. Конечно, эти упражненія смѣшны и для достоинства писателя унизительны, но они, по крайней мѣрѣ, ни для кого не опасны: хотя г. Грингмутъ и принимаетъ позы громовержца, передъ которымъ все должно трепетать, но взамѣнъ трепета—кто смѣется, кто презрительно или съ недоумѣніемъ пожимаетъ плечами, кто отмахивается, какъ отъ надоѣвшаго жужжанія комара или, вѣрнѣе, мухи, потому что комаръ всетаки ужалить можетъ. Года три тому назадъ мнѣ пришлось отмахнуться отъ жужжанія нѣкоего г. Медвѣдскаго, который, подобно г. Грингмуту, находилъ, что русская цензура слишкомъ слабо противодѣйствуетъ неблагонамѣренности или даже и сама неблагонамѣренна. Мы именно только отмахнулись, и вотъ г. Медвѣдскій исчезъ съ горизонта литературы, а вѣдь какъ было побѣдоносно жужжать началъ! И, конечно, то же самое было бы и съ г. Грингмутомъ, если бы въ его распоряженіи не было крѣпости „Московскихъ Вѣдомостей“. Но бывали въ исторіи русской литературы цѣлыя полосы, когда люди въ родѣ гг. Грингмута и Медвѣдскаго — только повыше ихъ ростомъ или по своему положенію значительнѣе — были, дѣйствительно, опасны...

Имя г. Медвѣдскаго напоминаетъ мнѣ одинъ эпизодъ изъ исторіи русской литературы.

Въ 1816 г. Карамзинъ приступилъ къ печатанію своей „Исторіи государства россійскаго“. Печаталась она въ военной типографіи, и генералъ Закревскій потребовалъ цензурнато разрѣшенія. Карамзинъ ходатайствовалъ о безцензурности. „Академики и профессоры — писатъ онъ —не отдаютъ своихъ сочиненій въ публичную цензуру; государственный исторіографъ имѣетъ, кажется, право на такое же милостивое отличіе. Онъ долженъ разумѣть что и какъ писать; надѣюсь, что въ моей книгѣ нѣтъ ничего противъ вѣры, государя и нравственности; но быть можетъ, что цензоры не позволятъ мнѣ, напримѣръ, говорить свободно о жестокостяхъ царя Іоанна Васильевича. Въ такомъ случаѣ, что будетъ исторія“. Ходатайство было уважено и, значитъ, въ 1816 г. Карамзину было въ частности разрѣшено свободно писать о „жестокостяхъ царя Іоанна Васильевича“.

И Карамзинъ писалъ, проводя параллели между Грознымъ царемъ и Калигулой и Нерономъ, называя ихъ „извергами внѣ закона, внѣ правилъ и вѣроятностей разсудка“, писалъ о „тучѣ доносителей, клеветниковъ, кромѣшниковъ“, созданныхъ Иваномъ Грознымъ, о томъ, что онъ „губительной рукой касался самыхъ будущихъ временъ“, оставилъ „злое сѣмя въ народѣ“ и т. д. Проходитъ 80 (*восемьдесятъ*) лѣтъ, въ теченіе которыхъ объ Иванѣ Грозномъ писано и переписано, въ прозѣ и стихахъ, въ художественныхъ и научныхъ произведеніяхъ. И вдругъ г. Медвѣдскій, желая, по собственному его выраженію, „прижать къ стѣнѣ“ „Русское Богатство“ „неудобными“ вопросами, благонамѣренно скорбитъ о томъ, что цензура пропустила у одного изъ сотрудниковъ журнала фразу о „растлѣвающемъ режимѣ Ивана IV“... Конечно, отмахнуться было не трудно, но поневолѣ приходитъ въ голову мысль: есть ли гдѣ предѣлы паденія достоинства русской литературы? Особенно характерны эти жалобы на неблагонамѣренность или, по крайней мѣрѣ, недостаточную дѣятельность цензурнаго вѣдомства...

Очень интересна, но и очень отвратительна эта парадоксальная струя, проходящая черезъ всю исторію русской литературы; парадоксальная потому, что, казалась бы, писателю естественно скорбѣть, наоборотъ, о строгости цензуры и даже самомъ фактѣ ея существованія. Писатель естественно думаетъ, что для него, какъ превосходно выразился однажды Тредьяковскій (хотя и въ другомъ смыслѣ), справедливость „власть отмщенія перу препоручаетъ“, — отмщенія не только за личную обиду, а и за поруганную правду, въ чемъ бы она, по его мнѣнію, ни состояла. А русскому писателю, на длинномъ пути выработки современнаго положенія печати, слишкомъ часто приходилось, по другому вышеприведенному выраженію Тредьяковскаго, „извнѣ замолкать, а внутри раздираться на части“. И тѣмъ не менѣе всегда находились люди, упрекавшіе печать въ разнузданности, а надзоръ за ней—въ слабости и попустительствѣ.

Перечитывая почтенный трудъ А. М. Скабичевскаго „Очерки по исторіи русской цензуры“, доведенные до начала шестидесятыхъ годовъ, часто приходишь въ изумленіе: какъ могла перенести все это русская литература? Какъ могла она сохраниться при такихъ условіяхъ? Вѣдь все, что составляетъ ея красу и гордость, что нынѣ чествуется всенародными торжествами, памятниками и проч. — Жуковскій, Пушкинъ, Гоголь, Бѣлинскій, Грибоѣдовъ, Лермонтовъ, — все это въ свое время принуждено бывало „извнѣ замолкать, а вну-

три раздираться на части". На судьбы русской литературы вліяли такіе люди, какъ, напримѣръ, Мусинъ-Пушкинъ, который къ удивленію цензора Никитенка, заявилъ однажды, что „надо совсѣмъ вывести романы изъ Россіи, чтобы никто не читалъ романовъ"; или гр. Уварова, который прямо сказалъ, что „хочетъ, чтобы, наконецъ, русская литература прекратилась; тогда, по крайней мѣрѣ, будетъ что нибудь опредѣленное, главное, онъ будетъ спать спокойно". Это была цѣль уже слишкомъ утопическая, но какъ настойчиво стремился къ ней Уваровъ—видно хотя бы изъ его циркуляра 1847 г., которымъ „особливой внимательности" цензуры рекомендовались „стремленіе нѣкоторыхъ авторовъ къ возбужденію въ читающей публикѣ необузданныхъ порывовъ патріотизма, общаго или провинціальнаго, стремленіе, становящееся иногда если не опаснымъ, то, по крайней мѣрѣ, неблагоразумнымъ по тѣмъ послѣдствіямъ, какія оно можетъ имѣть". Такимъ образомъ, все цвѣтное, яркое, хотя бы само по себѣ и не неблагонамѣренное, цензурѣ предписывалось истреблять; литература должна была быть какъ можно меньше замѣтною, если уже не могла быть уничтожена совсѣмъ. И на протяженіи исторіи русской литературы цѣлый рядъ цензоровъ въ родѣ знаменитаго Туманскаго, еще болѣе знаменитаго Красовскаго, Фрейганга и проч. оставили свой слѣдъ въ видѣ даже маловѣроятныхъ анекдотовъ. Теперь смѣшно читать эти страницы исторіи русской литературы, но каково было ихъ переживать?

И, однако, повторяю, всегда находились люди, считавшіе цензуру слишкомъ слабою и добровольно бравшіе на себя обязанность надзора какъ надъ печатью, такъ и надъ цензурою.

Людей этихъ можно раздѣлить на три группы. На первомъ мѣстѣ стоятъ представители власти, не надъ литературой поставленной. Напримѣръ, въ 1842 г. въ „Сынѣ Отечества" была напечатана повѣсть Ефимовскаго „Гувернантка", въ которой слѣдующія мѣста обратили на себя вниманіе гр. Клейнмихеля: 1) „Я васъ спрашиваю, чѣмъ дурна фигура вотъ хоть бы этого фельдъегеря, съ блестящимъ, совсѣмъ новымъ эксельбантомъ? Считая себя военнымъ и, что еще лучше, кавалеристомъ, господинъ фельдъегерь имѣетъ полное право думать, что онъ интересенъ, когда побрякиваетъ шпорами и крутитъ усы, намазанные фикстуаромъ, котораго розовый запахъ пріятно обдаетъ и его, и танцующую съ нимъ даму". 2) „Затѣмъ прапорщикъ строительнаго отряда путей сообщенія, съ огромными эполетами, высокимъ воротникомъ и еще высшимъ галстукомъ..."—Этими двумя

мѣстами Клейнмихель оскорбился за своихъ офицеровъ и добился того, что два цензора были посажены на гауптвахту. Подобныхъ примѣровъ можно бы было привести много, но съ насъ довольно и одного.

За этими представителями власти, вступающимися за своеобразно понятую честь своего вѣдомства, слѣдуютъ люди разныхъ профессій и общественныхъ положеній съ гораздо большими претензіями. Какъ извѣстно, Пушкинъ много терпѣлъ отъ цензуры, и, однако, нѣкій генералъ Скобелевъ поусердствовалъ собрать нѣкоторыя его ходившія по рукамъ рукописныя стихотворенія и направилъ ихъ въ высшія сферы при доносѣ, въ которомъ, между прочимъ, писалъ: „Если бы сочинитель вредныхъ пасквилей (то есть Пушкинъ) немедленно въ награду лишился нѣсколькихъ клочковъ шкуры—было бы лучше. На что снисхожденіе человѣку, надъ коимъ общій гласъ благомыслящихъ гражданъ дѣлаетъ строгій приговоръ? Одинъ примѣръ больше бы сформировалъ пользы; на сколько же, напротивъ, водворится вреда неумѣстною къ негоднымъ нѣжностью“. Люди въ родѣ Скобелева писали свои доносы, „ревнуя о единомъ благѣ“, какъ выразился въ доносѣ на Карамзина Голенищевъ-Кутузовъ. Онъ писалъ Разумовскому: „Имѣя столь вѣрный случай, рѣшился писать вашему сіятельству о томъ, чего бы не хотѣлъ ввѣрить почтѣ. Ревнуя о единомъ благѣ, стремясь къ единой цѣли, не могу равнодушно глядѣть на распростаняющееся у насъ уваженіе къ сочиненіямъ г. Карамзина. Вы знаете, что оныя исполнены вольнодумческаго и якобинскаго яда. Но его послѣдователи и одобрители подняли теперь еще болѣе голову, ибо его сочиненія одобрены пожалованіемъ ему ордена и рескриптомъ, его сопровождавшимъ... Карамзинъ явно проповѣдуетъ безбожіе и безначаліе. Не орденъ ему надо бы дать, давно бы его запереть, не хвалить его сочиненія, а надобно бы ихъ сжечь“.—Такимъ образомъ, не только надпись „дозволено цензурою“, но явственно выраженное съ высоты трона одобреніе не удерживали „извѣстителей“ отъ позорной практики доноса. Не мудрено, что такимъ цензорамъ, какъ Никитенко, приходилось восклицать: „Бѣдная, бѣдная наша литература!!!..“

Наконецъ, третью группу добровольныхъ охранителей благонамѣренности путемъ доносовъ составляютъ сами писатели. Но о нихъ мы не будемъ распространяться, — слишкомъ это самоубійственное теченіе гнусно...

Когда по смерти Пушкина въ „Литературныхъ прибавленіяхъ

къ Русскому Инвалиду“ явилось извѣстіе объ этомъ событіи, при чемъ Пушкинъ былъ названъ „солнцемъ поэзіи“, „нашей народной славой“, и говорилось о его „великомъ поприщѣ“, редакторъ Краевскій былъ вызванъ къ попечителю спб. учебнаго округа Дондукову-Корсакову, который прочелъ ему, отъ имени министра Уварова, жестокую нотацію за столь неумѣстныя выраженія. Когда черезъ два года Краевскій началъ печатать вновь найденныя стихотворенія Пушкина, онъ былъ вызванъ къ знаменитому Дубельту, который, отъ имени шефа жандармовъ, прямо заявилъ: „довольно этой дряни, сочиненій вашего Пушкина“ (Скабичевскій. Очерки по исторіи русской цензуры. 273, 311). Когда умеръ Гоголь, Тургеневъ напечаталъ объ немъ нѣсколько горячо написанныхъ строкъ, за которыя былъ посаженъ сначала въ кутузку, а потомъ высланъ изъ Петербурга въ деревню. Таково было въ свое время отношеніе къ Пушкину и Гоголю, талантъ которыхъ былъ, помимо всего прочаго, оцѣненъ императоромъ Николаемъ. Прошли года, Пушкинъ и Гоголь увѣнчаны славой, мы гордимся ими, а всѣ эти разные пресмыкающіеся Булгарины отмѣчены въ исторіи литературы соотвѣтственнымъ клеймомъ. Праведный судъ исторіи совершился, и чего же намъ больше желать? Да, но человѣкъ, способный хоть временами обнять расширенной душой прошедшее и будущее, не можетъ удержаться на этой плоскости; не можетъ не переживать хоть отчасти тѣ обиды и мученія, которыя достались на долю Пушкина, Гоголя и многихъ, многихъ другихъ. Пусть безцѣльны наши по этому поводу скорбь, въ одну сторону, и негодованіе, въ другую,—въ томъ смыслѣ, что ни Пушкинъ, ни Булгаринъ, ни Дубельтъ не услышатъ ихъ, и мы безсильны вызвать къ жизни ихъ тѣни для воздаянія коемуждо по дѣламъ. Но исторія была бы слишкомъ именно плоскимъ и мертвеннымъ дѣломъ, если бы мы были лишены способности всѣмъ существомъ своимъ проникаться жизнью прошлаго, по крайней мѣрѣ, не очень давняго прошлаго, слѣды котораго еще не настолько затерты „быстро текущей жизнью“, чтобы для насъ стало невозможнымъ перенестись въ условія тогдашней жизни.

Останавливаясь пока только на судьбѣ звѣздъ первой величины въ русской литературѣ и вдумываясь въ подробности мытарствъ, черезъ которыя должны были проходить даже ихъ лучшія, воистину безсмертныя творенія, по неволѣ вспомнишь горькое изреченіе Салтыкова: „писатель пописываетъ, читатель почитываетъ“. Но и это изреченіе недостаточно сильно, по крайней мѣрѣ, для нѣкоторыхъ

моментовъ русской исторіи, когда читатель не почитываетъ, а злобствуетъ. Гоголь писалъ Щепкину по поводу „Ревизора“: „Всѣ противъ меня: чиновники, пожилые и почтенные, кричатъ, что для меня нѣтъ ничего святого, когда я дерзнулъ такъ говорить о служащихъ людяхъ; полицейскіе противъ меня, купцы противъ меня, литераторы противъ меня... и уже находились люди, хлопотавшіе о запрещеніи пьесы“. Какая нибудь горсть просвѣщенныхъ цѣнителей восторгалась Пушкинымъ, Гоголемъ, Грибоѣдовымъ, Лермонтовымъ, Бѣлинскимъ, но эта горсть была слишкомъ ничтожна количественно и безсильна качественно, чтобы сколько нибудь оградить своихъ любимцевъ отъ оскорбленій и обезпечить просторъ ихъ работѣ. А за этимъ тѣснымъ кольцомъ пламенныхъ друзей и почитателей шли волны ненависти, злобы, клеветы, доноса, а еще дальше — океанъ непробудной „вѣковой тишины“. Принимая все это въ соображеніе, можно сказать, что тѣ звѣзды первой величины, произведенія которыхъ составляютъ нынѣ нашъ духовный хлѣбъ насущный, были въ свое время не нужны; это были своего рода лишніе люди. Поэтому-то какой нибудь Дубельтъ и могъ бросить въ лицо восторженному почитателю Пушкина такое оскорбленіе, какъ—„довольно этой дряни“. И если таково было отношеніе къ Пушкину, Гоголю и другимъ выдвинутымъ далеко впередъ не только громадными талантами, а и сторонними обстоятельствами, то легко себѣ представить, какъ жилось писателямъ менѣе виднымъ, и какое количество ихъ погибало въ видѣ, такъ сказать, литературныхъ зародышей, какія страданія испытывали они, „извнѣ замолкая, а внутри раздираясь на части“.

Позвольте напомнить одинъ любопытный разговоръ въ романѣ Герцена „Кто виноватъ?“

— Странно,—замѣтилъ Круциферскій, просто непонятно, зачѣмъ людямъ даются такія силы и стремленія, которыхъ некуда употребить. Всякій звѣрь ловко приспособленъ природой къ извѣстной формѣ жизни. А человѣкъ... не ошибка-ли тутъ какая нибудь? Просто сердцу и уму противно согласиться съ возможностью того, чтобы прекрасныя силы и стремленія давались людямъ для того, чтобы они разъѣдали ихъ собственную грудь. На что же это?

— Вы совершенно правы,—съ жаромъ возразилъ Бельтовъ,—и съ этой точки зрѣнія вы не выпутаетесь изъ вопроса. Дѣло въ томъ, что силы сами по себѣ безпрерывно развиваются, подготовляются, а потребности въ нихъ опредѣляются исторіей. Вы вѣрно знаете, что въ Москвѣ каждое утро выходитъ толпа работниковъ, поденщиковъ и наемныхъ людей на вольное мѣсто; однихъ берутъ, и они идутъ работать, другіе, долго ждавши, съ понурыми головами плетутся домой, а всего чаще въ кабакъ: точно такъ и во всѣхъ дѣлахъ

человѣческихъ: кандидатовъ на все довольно, занадобится исторіи, она беретъ ихъ; нѣтъ—ихъ дѣло, какъ промаячить жизнь. Оттого то это забавное à propos всѣхъ дѣятелей. Занадобились Франціи полководцы—и пошли Дюмурье, Гошъ, Наполеонъ съ своими маршалами... конца нѣтъ; пришли времена мирныя—и о военныхъ способностяхъ ни слуху, ни духу.

— Но что же дѣлается съ остальными? — спросила грустнымъ тономъ Любовь Александровна.

— Какъ случится; часть ихъ потухаетъ и дѣлается толпой, часть идетъ населять далекія страны, галеры, доставлять практику палачамъ; разумѣется, это не вдругъ—сначала они дѣлаются трактирными удальцами, игроками, потомъ, смотря по призванію, туристами по большимъ дорогамъ или по маленькимъ переулкамъ. Случится по дорогѣ услышать кличъ—декораціи перемѣняются: разбойника нѣтъ, а есть Ермакъ, покоритель Сибири. Всего рѣже выходятъ изъ нихъ тихіе, добрые люди; ихъ безпокоятъ у домашняго очага ѣдкія мысли. Дѣйствительно, странныя вещи приходятъ въ голову человѣку, когда у него нѣтъ выхода, когда жажда дѣятельности бродитъ болѣзненнымъ началомъ въ мозгу, въ сердцѣ, и надобно сидѣть сложа руки... а мышцы такъ здоровы, а крови въ жилахъ такая бездна. Одно можетъ спасти тогда человѣка и поглотить его... Это встрѣча... встрѣча съ...

Онъ не договорилъ.

Не трудно было бы договорить за Бельтова,—онъ думаетъ о счастіи женской любви, — но сейчасъ, по крайней мѣрѣ, это дѣло для насъ постороннее. Что же касается общаго разсужденія Бельтова, то, разумѣется, онъ правъ, когда упраздняетъ самую постановку вопроса, какъ ее понимаетъ Круциферскій. *Зачѣмъ* людямъ даются силы, которыхъ некуда употребить? — На этотъ вопросъ нѣтъ и не можетъ быть у человѣка отвѣта. Да и неправда, что, въ противоположность человѣку, *всякій* звѣрь ловко приспособленъ къ извѣстной формѣ жизни: мы знаемъ, что тысячи и тысячи „звѣрей" погибаютъ вслѣдствіе неприспособленности къ жизни. Но, устраняя точку зрѣнія Круциферскаго, Бельтовъ самъ вводитъ ее въ нѣсколько измѣненномъ видѣ въ свое разсужденіе. Силы и способности, говоритъ онъ, наростаютъ и развиваются постоянно, а разбирается въ нихъ исторія по мѣрѣ своихъ надобностей, при чемъ исторія оказывается какимъ-то разумнымъ существомъ, дѣйствующимъ цѣлесообразно: понадобились Франціи военныя дарованія, и они явились. Бельтовъ забываетъ, что военныя дарованія нужны были въ то же время и, напримѣръ, Австріи или Германіи, и, однако, исторія ихъ ими не снабдила. Значитъ, не на всякій спросъ исторія откликается соотвѣтственнымъ предложеніемъ. Если же предположить, что исторіи нужно было именно только Францію снабдить военными талантами, дабы Наполеонъ съ своими маршалами билъ австрійскихъ и герман-

скихъ генераловъ, то это будетъ значить, что у исторіи есть какія-то свои собственныя цѣли, и тогда вопросъ Круциферскаго — зачѣмъ?—не такъ ужъ неумѣстенъ, какъ утверждаетъ Бельтовъ.

Какъ бы то ни было, относительно фактической стороны дѣла между собесѣдниками нѣтъ разногласія. Бываютъ положенія, когда „прекрасныя силы и стремленія“ только „разъѣдаютъ собственную грудь“ ихъ носителей, какъ говоритъ Круциферскій; или: „странныя вещи приходятъ въ голову человѣку, когда у него нѣтъ выхода, когда жажда дѣятельности бродитъ болѣзненнымъ началомъ въ мозгу, въ сердцѣ, и надобно сидѣть сложа руки“, какъ говоритъ Бельтовъ. „Сложа руки“ — выраженіе фигуральное. Сложа руки мало кому приходится сидѣть, и та душевная драма, которую имѣетъ въ виду Бельтовъ, обыкновенно зависитъ отъ того, что человѣкъ вынужденъ прикладывать руки не къ тому дѣлу, къ которому влекутъ его силы и стремленія. Яркій образчикъ такого положенія читатель найдетъ въ книжкѣ г-жи Игнатовичъ „Помѣщичьи крестьяне наканунѣ освобожденія“, на тѣхъ именно страницахъ ея, гдѣ рѣчь идетъ о „крѣпостной интеллигенціи“. Ужасно было положеніе тѣхъ крѣпостныхъ, которыхъ „по наряду“, силкомъ обращали въ артистовъ и которые, за полною неспособностью, тщетно старались заслужить барскую похвалу, изображая какую-нибудь герцогиню на сценѣ или исполняя какую нибудь арію. Но въ тысячу разъ трагичнѣе положеніе истиннаго поэта, истиннаго художника изъ крѣпостныхъ. Передъ нимъ носятся высокіе, чистые образы, или подъ перо или кисть просится выношенная въ уязвленномъ сердцѣ злая сатира, мыслью онъ властелинъ всего міра, но вмѣстѣ съ тѣмъ знаетъ, что баринъ можетъ каждую минуту избить его или заставить—не „сложа руки“ сидѣть, а держаться этими руками за ремни запятокъ, чистить сапоги, пасти свиней и проч. Не мудрено, что прекрасныя силы и стремленія этихъ людей „разъѣдали ихъ собственную грудь“, что имъ приходили въ голову „странныя мысли“, что они кончали такъ часто безпробуднымъ пьянствомъ, сумасшествіемъ, самоубійствомъ.

Въ статьѣ г. Панова, отъ которой мы такъ давно отошли, не поминаются эти мученики собственныхъ дарованій, хотя между ними были и писатели (Сибиряковъ, Шевченко). Но и г. Пановъ приводитъ рядъ писателей алкоголиковъ, психическихъ больныхъ, самоубійцъ. Выдѣливъ въ этихъ печальныхъ явленіяхъ долю вліянія наслѣдственности, воспитанія, среды, мы всетаки получимъ остатокъ, объясняемый условіями жизни писателя, какъ писателя, его профес-

сіей. Разумѣется, профессія эта отнюдь не обязываетъ людей пьянствовать, сходить съ ума, самоубиваться; не обязываетъ и не оправдываетъ, но нѣкоторыя ея терніи кое что объясняютъ. Есть много писателей, жизнь которыхъ не омрачена ни однимъ изъ этихъ пятенъ, а есть и такіе, которые даже съ чрезмѣрною суровостью относятся къ самому обыкновенному изъ нихъ—злоупотребленію алкоголемъ; говорю: съ чрезмѣрною, потому что очень часто это не только порокъ, а и огромное несчастіе, причины котораго должны бы быть, повидимому, особенно близки и понятны „брату-писателю". Нѣсколько лѣтъ тому назадъ одинъ такой суровый судья изъ „Недѣли" требовалъ, чтобы ходячее выраженіе: „онъ страдалъ извѣстной русской слабостью"—было изгнано изъ печатнаго обихода и замѣнено яснымъ и точнымъ: „онъ пьянствовалъ"... Ахъ, эти добродѣтельные люди бываютъ ужасно строги и безпощадно послѣдовательны въ своей строгости: съ порокомъ нечего церемониться и деликатничать, нечего придумывать для него смягченныя, вуалирующія названія, хотя бы эти названія примѣнялись къ людямъ, давно покончившимъ всѣ счеты съ пороками и добродѣтелями и хотя бы они, по обстоятельствамъ своей жизни, заслуживали капельку сожалѣнія, сочувствія, а въ нѣкоторыхъ другихъ отношеніяхъ, можетъ быть, и уваженія и благодарности потомства... Любопытенъ также взглядъ гр. Л. Н. Толстого на пьянство,—взглядъ, пожалуй, еще болѣе суровый, хотя и не столь грубо выраженный. Какъ извѣстно, гр. Толстой видитъ въ пьянствѣ (а также и въ куреніи табаку) не только порокъ, грѣхъ, а и свидѣтельство какого-нибудь другого, ранѣе совершеннаго грѣха или цѣлой порочной жизни: люди пьютъ (и курятъ) для заглушенія упрековъ совѣсти, и только для этого и поэтому... Можетъ быть, напримѣръ, тотъ крѣпостной музыкантъ „Флейта", о которомъ сообщается въ книгѣ г-жи Игнатовичъ, пьянствовалъ и потому, что въ его прошломъ былъ какой-нибудь тяжкій, незамолимый грѣхъ, за который его, не умолкая, грызла совѣсть,—мы этого не знаемъ; но за то навѣрное знаемъ, что онъ, какъ и другіе подобные горькіе пьяницы, долженъ былъ „извнѣ замолкать, а внутри раздираться на части", и что это именно трагическое положеніе и влекло его къ пьянству. Ну, а сказать, что онъ пьянствовалъ, а не „страдалъ извѣстной русской слабостью", конечно, можно — имя вещи не мѣняетъ; только въ виду неисчислимыхъ обидъ и неизглаголанныхъ мукъ, пережитыхъ этимъ безвѣстнымъ „Флейтой", добродѣтельнымъ людямъ не слѣдовало бы вкладывать въ то-ли, въ дру-

гое-ли названіе жестоко презрительный или укорительный смыслъ. У добродѣтели есть много иныхъ, лучшихъ путей для своего проявленія...

Выраженіе: „извѣстная русская слабость“ слишкомъ уже спеціально усвоиваетъ намъ склонность, въ которой отнюдь не мы одни грѣшны. Оставаясь въ предѣлахъ литературной сферы, я обращу вниманіе читателей на статью г. Красносельскаго „Въ борьбѣ съ прозой жизни“ (№ 11 „Русскаго Богатства“ 1900 г.). Независимо отъ того интереснаго освѣщенія, которое авторъ даетъ судьбѣ и писаніямъ Гофмана, Квинсея, Эдгара Поэ и Жераръ де-Нерваля, я хотѣлъ бы остановить вниманіе читателя только на самомъ фактѣ изъ психической неуравновѣшанности, опіоманіи, пьянства. Подобныхъ фактовъ біографическая исторія литературы, науки, искусства, съ одной стороны, и психіатрія—съ другой, насчитываютъ множество у всѣхъ народовъ и во всѣхъ странахъ; на нихъ главнымъ образомъ и основывается извѣстная теорія, сближающая геніальность и помѣшательство.

Какой-то русскій декадентъ издалъ книжку подъ заглавіемъ „Обнаженные нервы“. Я не знаю этого декадента и даже имени его не помню, но я близко зналъ писателя, къ жизни и писаніямъ котораго какъ нельзя болѣе подходитъ это гиперболическое заглавіе. Это былъ—былъ, хотя онъ и посейчасъ живъ—человѣкъ оригинальнѣйшаго ума, колоссальнаго таланта, дѣтской безпомощности въ практикѣ жизни и совершенно изъ ряда вонъ выходящей воспріимчивости. Всѣ явленія жизни, свѣтлыя и мрачныя, — увы! они были большею частью мрачныя,—на которыя онъ наталкивался, точно дѣйствительно били его прямо по нервамъ, не прикрытымъ мускулами и кожей. И онъ не избѣгалъ этихъ ощущеній, напротивъ, жадно искалъ ихъ, то съ этою именно цѣлью проживая въ деревнѣ, то разъѣзжая по всей Россіи и за границей. Въ его писаніяхъ эта нервность отражалась, какъ и въ обиходѣ его личной жизни, безпорядочностью. Оставленное имъ литературное наслѣдство очень велико и въ количественномъ, и въ качественномъ отношеніи, но въ немъ не легко разобраться. Вполнѣ законченныхъ произведеній у него почти нѣтъ, и, не смотря на его огромный художественный талантъ, его писанія изрѣзаны вдоль и поперекъ публицистикой: не могъ онъ не откликаться на ударявшія его по обнаженнымъ нервамъ впечатлѣнія немедленно, не ожидая такой отъ нихъ отдаленности, которая позволила бы имъ спокойно воплотиться въ законченные образы и картины; страстная

потребность, если позволительно такъ выразиться, опорожнить свою душу отъ переполнившихъ ее впечатлѣній, съ тѣмъ, чтобы вновь и вновь подставлять имъ свои обнаженные нервы, влекла за собой многописаніе и быстрописаніе. Этому способствовали, съ другой стороны, и матеріальныя условія: литература составляла единственный источникъ существованія его съ не малой семьей. Нельзя сказать, чтобы его трудъ плохо вознаграждался; напротивъ, редакціи журналовъ, въ которыхъ онъ работалъ, всегда цѣнили его очень высоко. Но въ этой сложной натурѣ все было одно къ одному, причины и слѣдствія связывались въ такой неразрывный клубокъ, въ которомъ никакихъ концовъ найти нельзя. Безпорядочности его писаній вполнѣ соотвѣтствовала безпорядочность его личной жизни. Онъ часто строилъ чрезвычайно сложные и очень остроумные планы благоустройства своего матеріальнаго положенія, за которые покойный Салтыковъ называлъ его въ насмѣшку „министромъ финансовъ". И онъ вполнѣ заслуживалъ съ этой стороны насмѣшки, потому что болѣе неумѣлое отношеніе къ „презрѣнному металлу" трудно себѣ и представить. Это было что-то до высшихъ ступеней комизма наивное, дѣтское. Вмѣстѣ съ тѣмъ, однако, онъ никогда не писалъ спеціально для заработка, изъ за денегъ. Неустанно подновлявшійся приходъ его впечатлѣній и наблюденій съ избыткомъ покрывалъ ихъ расходъ, онъ даже не успѣвалъ расходовать все имъ воспринятое отъ жизни. Онъ жегъ свою свѣчку съ двухъ концовъ и, наконецъ, сгорѣлъ. Его долго спасалъ, казалось, неистощимый запасъ смѣха, юмора, дарованный ему природой, но если и всегда доля грусти примѣшивалась къ этому смѣху, то съ теченіемъ времени мрачныя впечатлѣнія дѣйствительности становились все сильнѣе и опредѣленнѣе; подкрашивать, какъ нибудь подслащать ихъ онъ не могъ, если бы и хотѣлъ, уже въ силу обнаженности своихъ нервовъ, и кончилъ сумасшествіемъ... Въ спискѣ г. Панова онъ значится въ числѣ алкоголиковъ. Не знаю, какъ рѣшилъ бы спеціалистъ психіатръ, но на мой личный взглядъ это совсѣмъ не вѣрно; въ подробности, впрочемъ, входить не буду...

Я говорю о Глѣбѣ Ивановичѣ Успенскомъ. Я не хотѣлъ сначала называть это дорогое имя, но потомъ подумалъ, что, какъ ни бѣглы черты, которыми я набросалъ портретъ этого замѣчательнаго человѣка, его все равно узнаютъ, да и, наконецъ, ни для кого не тайна его неизлѣчимая болѣзнь...

Какъ ни оригиналенъ былъ Успенскій въ своей жизни и въ сво-

ихъ писаніяхъ, вышеуказанныя черты его духовной физіономіи свойственны отнюдь не одному ему, а очень многимъ писателямъ, конечно, въ иныхъ размѣрахъ и иныхъ комбинаціяхъ. Я разумѣю „кровныхъ“ писателей, по выраженію Салтыкова, т. е. такихъ, для которыхъ литература не дилетантская забава или поприще отдохновенія отъ другихъ занятій, а настоящее призваніе, отъ котораго человѣкъ не можетъ отвернуться, даже если бы хотѣлъ „сидѣть сложа руки“. Превосходно выразилъ это гетевскій Тассо сравненіемъ писателя съ шелковичнымъ червемъ который вытягиваетъ изъ себя „драгоцѣнную ткань“ вплоть до того момента, когда она станетъ его гробомъ.

Wenn ich nicht sinnen oder dichten soll,
So ist das Leben mir kein Leben mehr.
Verbiete du dem Seidenwurm zu spinnen,
Wenn er sich schon dem Tode näher spinnt.
Das köstlihe Geweb' entwickelt er
Aus seinem innersten und lässt nicht ab,
Bis er in seinem Grab sich eingeschlossen...

Исключительна была духовная организація Успенскаго, исключительна и судьба его, но кровный писатель возможенъ и при менѣе оригинальномъ умѣ, менѣе блестящемъ талантѣ, менѣе обнаженныхъ нервахъ. Однако извѣстная степень выше средней воспріимчивости во всякомъ случаѣ необходима. Она не составляетъ, разумѣется, принадлежности только писателей, но въ писателѣ она осложняется жаждою того общенія съ читателемъ, которому щедринскій Крамольниковъ, а его устами и самъ суровый сатирикъ, пѣлъ такіе восторженные гимны. Г. Льдовъ можетъ утверждать, что онъ печатаетъ свои стихи только затѣмъ, чтобы самому „перечитывать навѣянныя мимолетными вдохновеніями строки“ (предисловіе къ „Лирическимъ стихотвореніямъ“); г. Ясинскій можетъ восторгаться образомъ поэта, который „пѣлъ и плакалъ одиноко“ и „ни разу пѣснью вдохновенной слухъ земной не усладилъ“ („Пѣвецъ небесъ“). Мы имъ не повѣримъ, это—лицемѣріе, свидѣтельствующее о томъ, что они имѣютъ въ виду лишь наименьшее изъ того, что можетъ дать общеніе съ читателемъ и на полученіе чего они не разсчитываютъ: апплодисменты, вѣнки... И большіе люди бываютъ не чужды тяготѣнія къ этого рода вещественнымъ знакамъ невещественныхъ отношеній, но во всякомъ случаѣ не въ этомъ состоитъ для нихъ главная цѣнность общенія съ читателемъ. Das köstliche Geweb'entwickeln sie aus ihrem

innersten, чтобы воспринятое отъ жизни довести цѣликомъ до ума и сердца читателей. И вотъ этому-то общенію обстоятельства ставятъ множество препятствій.

Прежде всего—„муки слова“: мысль и чувство писателя должны облечься въ словесную форму, которая, съ одной стороны, ихъ вполнѣ выражала бы, а съ другой—имѣла бы свободный доступъ въ умъ и сердце читателя. И если муки слова знакомы и великимъ писателямъ, то какъ часто должно находить горестное сомнѣніе на таланты средніе и малые, какъ часто должны они съ отчаяніемъ говорить себѣ: „не то! не такъ!“ Прибавьте къ этому матеріальную нужду, эту спутницу многихъ и многихъ литературныхъ существованій въ новое время, обязывающую работать въ срокъ, а не по рецепту Гоголя, который рекомендовалъ, не помню, семь или девять разъ, съ большими промежутками, переписывать свое произведеніе. Далѣе идутъ тѣ обстоятельства, которыя заставляютъ людей „извнѣ замолкать, а внутри раздираться на части“ и о которыхъ достаточно говорено выше. Затѣмъ, въ томъ общеніи съ читателемъ, которое составляетъ единственную или, по крайней мѣрѣ, главнѣйшую цѣль писателя, вопросъ не только въ томъ, на сколько удовлетворительна словесная форма, облекающая его мысли и чувства, а и въ томъ, на сколько самъ читатель готовъ для воспринятія ихъ, допустимъ, даже въ превосходной формѣ. И замѣтьте, что кровный писатель, не ремесленникъ и не дилетантъ, естественно очень требователенъ въ этомъ отношеніи. Ему мало, чтобы его „почитывали“, его мысли и чувства облеклись въ слово затѣмъ, чтобы въ концѣ концовъ отразиться въ жизни дѣломъ. Представимъ же себѣ, напримѣръ, Гоголя, который нашелъ для своего „Ревизора“ удовлетворяющую его форму, затѣмъ благополучно прошелъ сквозь цензурныя тернія, хотя и благодаря личному благосклонному отношенію императора Николая, и вотъ авторъ у желанной пристани... Не тутъ то было. Не только Гоголю не суждено было увидѣть хотя бы малѣйшій поворотъ общественной жизни съ того пути, который онъ заклеймилъ въ „Ревизорѣ“, но все его творчество отскочило отъ дѣйствительности, какъ отъ стѣны горохъ, обдавъ автора возвратными ударами ругани,—какъ онъ жаловался въ письмѣ къ Щепкину,—„чиновниковъ, полицейскихъ, купцовъ, литераторовъ“.

Принимая въ соображеніе, что этими категоріями ругателей почти исчерпывалась тогдашняя грамотная Россія, такъ называемое общество,—можно сказать, что, при всемъ блескѣ своего таланта, Го-

голь былъ, повидимому, не нуженъ въ свое время, лишній человѣкъ, одинъ изъ тѣхъ „не занадобившихся исторіи“, о которыхъ говоритъ герценовскій Бельтовъ, которыхъ „безпокоятъ у домашняго очага ѣдкія мысли“. И, кто знаетъ?—можетъ быть, это сознаніе своей ненужности оказало свою долю вліянія на то помраченіе духа и на то елейно-мрачное примиреніе съ дѣйствительностью, которымъ кончилъ Гоголь. Однако онъ былъ, сравнительно, счастливецъ. Извѣстно, что ему были очень знакомы „муки слова“,—но онъ не зналъ матеріальной нужды, обязывающей не очень засиживаться надъ работой. Извѣстно далѣе, ну хотя бы его отчаянное письмо къ Плетневу, въ которомъ онъ сообщаетъ о предполагавшемся запрещеніи „Мертвыхъ душъ“,—но у него были достаточно сильныя связи, чтобы отстаивать себя. Онъ имѣлъ противъ себя „чиновниковъ, полицейскихъ, купцовъ, литераторовъ“, - но около него былъ и кружокъ восторженныхъ почитателей, правда, ничтожный количественно, но изъ него росла такъ называемая „натуральная школа“, и, такимъ образомъ, былъ просвѣтъ, если не для превращенія слова непосредственно въ дѣло, то, по крайней мѣрѣ, для продолженія слова въ томъ же духѣ, а и это было уже своего рода дѣло. Стало быть, складывая подъ конецъ жизни оружіе передъ дѣйствительностью, покорно мирясь съ ней,—за что получилъ жестокій урокъ отъ Бѣлинскаго, — Гоголь поторопился стать ненужнымъ своей прежнею дѣятельностью человѣкомъ...

Но въ этомъ странномъ русскомъ обществѣ, въ этой странной русской исторіи, въ которой сегодняшній день отдѣляется отъ вчерашняго точно какою-то непроходимою пропастью, — трудно сказать, кто въ каждую данную минуту „занадобился“ этой исторіи. Мнѣ опять таки вспоминается Успенскій. Давно ли этотъ человѣкъ, по крылатому слову поэта, „глаголомъ жегъ сердца людей“, трепетомъ отзываясь въ нихъ каждымъ трепетаніемъ своего собственнаго сердца. Онъ самъ горѣлъ, догорѣлъ и—потухъ. И около него стало вдругъ такъ темно...

Мудрено ли, что люди съ болѣе или менѣе обнаженными нервами, въ виду всего вышесказаннаго, не выдерживаютъ, что въ спискахъ г. Панова значатся кроткій Гаршинъ и бурный Писаревъ, плачущій Батюшковъ и смѣющійся Гоголь, напыщенный Озеровъ и аскетически-строгій къ своему слову Успенскій и т. д., какъ психически больные, а далѣе идетъ цѣлый длинный рядъ „страдавшихъ извѣстною русскою слабостью“...

Я думаю, что все это надо принимать въ соображеніе, когда говорятъ и объ этой „извѣстной русской слабости“, и вообще о грѣхахъ писателей. Много грѣшилъ Пушкинъ, еще болѣе успѣлъ нагрѣшить за свою короткую жизнь Лермонтовъ, много грѣшили другіе, меньшіе и несравненно меньшіе. И не объ обѣленіи ихъ идетъ рѣчь, а только о вниманіи къ особенностямъ ихъ душевнаго строя, съ одной стороны, и къ условіямъ, въ которыхъ протекаетъ ихъ жизнь,—съ другой.

XVIII *).

О книгѣ г. Бердяева съ предисловіемъ г-на Струве и о самомъ себѣ.

Въ истекшемъ году мои писанія были предметомъ усиленнаго вниманія критики. Разумѣю не тѣ или другія отдѣльныя мои статьи, изъ которыхъ многія и прежде вызывали какъ очень благосклонные, такъ и очень неблагосклонные отзывы въ печати, — въ этомъ отношеніи я ужъ никакъ не могу пожаловаться на своихъ собратовъ по перу, — а всю совокупность моей многолѣтней литературной работы. Нынѣ именно она, а не та или другая статья въ отдѣльности составляла предметъ обсужденія въ нѣкоторыхъ провинціальныхъ газетахъ, и я пользуюсь случаемъ, чтобы выразить свою искреннюю, хотя и запоздалую благодарность, какъ авторамъ этихъ статей, такъ и всѣмъ, вспомнившимъ меня въ концѣ прошлаго года. Но какъ ни былъ я тронутъ всѣми этими неожиданными знаками вниманія, я понимаю, что люди, вспомнившіе меня въ этотъ разъ, естественно подчеркивали лишь симпатичныя имъ стороны моей дѣятельности. Было, однако, и нѣсколько оцѣнокъ, чуждыхъ этой естественной въ данномъ случаѣ односторонности.

Объ одной изъ нихъ, наиболѣе значительной по размѣру и наиболѣе интересной по содержанію, я хочу побесѣдовать съ читателями. Это — книга г. Николая Бердяева: „Субъективизмъ и индивидуализмъ въ общественной философіи. Критическій этюдъ о Н. К. Михайловскомъ. Съ предисловіемъ Петра Струве“. Работа эта затрогиваетъ много чрезвычайно интересныхъ и важныхъ вопросовъ литературы и жизни, и „Русскому Богатству“ предстоитъ, можетъ быть, еще не разъ къ ней вернуться. Какъ человѣкъ, лично слишкомъ затронутый книгой г. Бердяева, я думалъ сначала, въ видахъ

*) Январь 1901 г.

безпристрастія, совсѣмъ уклониться отъ оцѣнки излагаемыхъ ею взглядовъ, предоставляя это другимъ, хотя бы ихъ точки зрѣнія и не вполнѣ совпадали съ моею. Но потомъ подумалъ, что другіе сами по себѣ, а нѣкоторыя стороны спора, поднятаго гг. Бердяевымъ и Струве (читатель увидитъ, что споръ, по мнѣнію упомянутыхъ господъ, продолжающійся издавна, въ сущности поднимается ими совсѣмъ заново), всего удобнѣе освѣтить именно мнѣ.

Книга г. Бердяева оканчивается слѣдующимъ „заключеніемъ“:

„Объективная критика не оставляетъ камня на камнѣ отъ міровоззрѣнія г. Михайловскаго: „субъективизмъ“ и „индивидуализмъ“ долженъ уступить мѣсто другимъ направленіямъ общественной философіи, но произведенія нашего соціолога-публициста дѣйствуютъ и до сихъ поръ возбуждающимъ образомъ на мысль. Г. Михайловскій превосходный будильникъ мысли, хотя его собственныя рѣшенія вопросовъ могутъ внести значительную путаницу въ головы читателей. Подводя итоги заслугамъ г. Михайловскаго, мы должны указать на слѣдующее. Своимъ „субъективизмомъ“ онъ пытается утвердить самостоятельныя права за этической точкой зрѣнія; признавъ необходимость психологическихъ предпосылокъ всякаго соціологическаго познанія, онъ становится выше буржуазныхъ соціологовъ и *предвосхищаетъ* классовую точку зрѣнія на общественныя явленія. Такимъ образомъ г. Михайловскій ставитъ одинъ изъ самыхъ центральныхъ вопросовъ общественной философіи. Своимъ „индивидуализмомъ“ онъ ставитъ другой вопросъ общественной философіи, вопросъ объ отношеніи личности и общества. Онъ рѣшаетъ его невѣрно, но защищаетъ по своему дорогую и для насъ человѣческую личность, *предвосхищая* отчасти точку зрѣнія критической философіи, которая признаетъ святость человѣка, какъ самоцѣли. Г. Михайловскій вѣрно опредѣляетъ незаконность вторженія біологіи въ общественную науку и буржуазную подкладку такихъ теченій, какъ органическая теорія общества и дарвинизмъ въ соціологіи. Онъ понимаетъ зависимость идеологіи отъ общественной коопераціи. Онъ *предчувствуетъ* значеніе психологіи для общественной науки и дѣлаетъ интересныя попытки въ области коллективной психологіи. Но, конечно, прежде всего, какъ блестящій, очень талантливый публицистъ, чутко отражавшій лучшія стремленія своего времени и ненавидѣвшій враговъ свѣта, онъ займетъ подобающее мѣсто въ исторіи русской литературы и общественности 70 годовъ. Все это заставляетъ насъ признать несомнѣнное историческое значеніе за литера-

турнымъ противникомъ того направленія, которое намъ дорого, и это уже можно сдѣлать тѣмъ болѣе спокойно, что его значеніе теперь только историческое. Направленіе, которому онъ служилъ, умерло, и новая мысль воздвигаетъ на его развалинахъ свой храмъ".

Читатель благоволитъ обратить вниманіе на подчеркнутыя мною въ этой цитатѣ слова: „предвосхищаетъ", „предчувствуетъ". Эти и равнозначащія имъ выраженія много разъ повторяются на протяженіи книги г. Бердяева. Г. Михайловскій „безсознательно предвосхитилъ правильную точку зрѣнія" (стр. 35); „мы находимъ у него мѣста, которыя позволяютъ намъ сказать, что онъ очень близко подходитъ къ той соціальной точкѣ зрѣнія, на которой стоимъ мы сами" (38—39); „точки соприкосновенія между взглядами г. Михайловскаго и нашими собственными бросаются въ глаза" (44—45); „г. Михайловскій предвосхитилъ ту великую истину, что для соціальнаго познанія необходима специфическая психологія" (59); „какъ и всегда, у г. Михайловскаго, мы встрѣчаемъ здѣсь кое-что цѣнное,—онъ предчувствуетъ истину" (106). И т. д. Мнѣ кажется, что все это нѣсколько противорѣчитъ начальнымъ словамъ „заключенія": „объективная критика не оставляетъ камня на камнѣ отъ міровоззрѣнія г. Михайловскаго". Мнѣ кажется, что эта критика всетаки оставляетъ за мною высокую роль предтечи такихъ умовъ, какъ г. Бердяевъ, г. Струве и другіе. Но, и помимо того, быть въ теченіе не одного десятка лѣтъ „превосходнымъ будильникомъ мысли" своихъ соотечественниковъ-современниковъ до такой степени лестно, что, казалось бы, самое колоссальное самолюбіе должно быть удовлетворено этимъ положеніемъ. И, однако, въ заключеніи г. Бердяева есть нѣчто, необыкновенно горькое для меня.

Изо всѣхъ видовъ смерти самымъ ужаснымъ всегда казалось мнѣ быть заживо погребеннымъ, умереть уже въ гробу, въ заколоченномъ гвоздями гробу, подъ толстымъ слоемъ земли, и я часто просилъ своихъ друзей какимъ-нибудь, хотя бы самымъ жестокимъ способомъ убѣдиться, что я дѣствйительно умеръ. А! всѣ мы тамъ будемъ, въ заколоченномъ гвоздями гробу, подъ толстымъ слоемъ земли, но почувствовать себя заживо погребеннымъ и хотя бы самое короткое время тщетно биться и задыхаться, и ни для кого не слышно кричать, и съ отчаяніемъ и злобою кусать себѣ руки и рвать ногтями лицо,—какой ужасъ! Въ такую страшную минуту не утѣшишься лестною мыслью о былой роли превосходнаго будильника мысли или предтечи такихъ умовъ, какъ г. Бердяевъ, г. Струве и другіе... А

г. Бердяевъ предоставляетъ мнѣ нѣчто въ этомъ родѣ. Правда, онъ полагаетъ, что мои писанія „дѣйствуютъ и до сихъ поръ возбуждающимъ образомъ на мысль“, но вмѣстѣ съ тѣмъ заживо заколачиваетъ меня въ гробъ, покрытый позолотой и блестящимъ покровомъ „историческаго значенія“. Хороша эта позолота, роскошенъ этотъ покровъ, завидна вся эта помпа историческаго значенія, гарантирующая человѣку „вѣчную память“... когда человѣкъ дѣйствительно умеръ; но я согласенъ и на гораздо болѣе бѣдныя похороны... когда дѣйствительно умру. Г. Бердяевъ говоритъ обо мнѣ въ разныхъ мѣстахъ своей книги, какъ о человѣкѣ, который неспособенъ или не можетъ понять то-то или то-то не по недостатку умственныхъ способностей (ихъ онъ за мной въ извѣстной мѣрѣ признаетъ), а просто потому, что онъ покойникъ, трупъ, равно свободный и отъ пониманія, и отъ непониманія. А вмѣстѣ съ тѣмъ онъ хоронитъ и то направленіе, которому я „служилъ“ (въ прошедшемъ времени!), и ему уже видится, какъ „новая мысль воздвигаетъ на его развалинахъ свой храмъ“...

Г. Бердяевъ говоритъ съ такою силою убѣжденія, что я начинаю осматривать и ощупывать себя... и къ величайшему своему удовольствію прихожу къ заключенію, что я еще живъ, и живъ Богъ, жива душа моя; а, ища глазами храма, воздвигнутаго „новою мыслью“, замѣчаю именно развалины, — развалины нѣкотораго подобія Вавилонской башни, гордые строители которой разбѣгаются въ разныя стороны, потому что Господь Богъ смѣшалъ ихъ языки, такъ что они даже другъ друга не понимаютъ...

Критика произведеній писателя, такъ много и безсистемно писавшаго, въ столь разной формѣ отзывавшагося на столь разнообразныя явленія жизни и литературы, какъ я, представляетъ большія трудности. И я долженъ покаяться, что весьма мало сдѣлалъ для облегченія въ этомъ отношеніи положенія критики, да и читателей вообще. Я не удосужился, напримѣръ, составить, не говоря уже о предметномъ, но даже именного указателя къ своимъ сочиненіямъ (нѣкоторую помощь можетъ оказать въ этомъ отношеніи указатель, приложенный къ книжкѣ г. Красносельскаго „Міровоззрѣніе гуманиста нашего времени. Основы ученія Н. К. Михайловскаго“). Поэтому я склоненъ былъ бы извинять многія изъ неправдъ, сказанныхъ обо мнѣ, если бы авторы ихъ не злоупотребляли обобщающими выра-

женіями въ родѣ: „всегда“, „всѣ“, „никогда“, „нигдѣ“. Я уже лѣтъ шесть тому назадъ принужденъ былъ замѣтить г-ну Струве, что для того, чтобы сказать: такой-то „*нигдѣ* не далъ“ того-то,—надо *вездѣ* искать, а г. Струве, по собственному признанію, этого и не предполагалъ дѣлать. Слѣдуетъ отдать справедливость г. Бердяеву: оказавъ мнѣ честь вниманія ко всей моей литературной дѣятельности, онъ ознакомился съ нею несравненно лучше, чѣмъ всѣ другіе, оказывавшіе мнѣ эту честь господа марксисты или объявляющіе себя таковыми. Имъ не разъ случалось высказывать сужденія, можетъ быть, и превосходныя сами по себѣ, но съ такой червоточиной чисто фактической неправды, которая дѣлала эти превосходныя сужденія, по малой мѣрѣ, неумѣстными, „не въ то мѣсто попадающими“. Повторяю, г. Бердяевъ очень выгодно отличается въ этомъ отношеніи отъ своихъ единомышленниковъ. Онъ читалъ критикуемыя имъ сочиненія внимательно и добросовѣстно. Однако и съ нимъ случаются странные казусы въ этомъ отношеніи.

На стр. 219 г. Бердяевъ приводитъ слѣдующія мои слова изъ IV тома „Сочиненій“: „Если такимъ образомъ все зданіе Правды должно быть построено на личности, то, какъ уже сказано, конкретные политическіе вопросы представляются иногда въ такой сложной формѣ, что прослѣдить въ этой сѣти за интересами и судьбами личности бываетъ очень трудно. Въ такомъ случаѣ, вмѣсто интересовъ личности, вы поставите интересы народа или, точнѣе, труда“. (NB). Г. Бердяевъ сопровождаетъ эту цитату такимъ дополненіемъ: „г. Михайловскій прибавляетъ, что за недостаткомъ времени и мѣста онъ не можетъ „представить оправданія для такой постановки вопроса“. Къ сожалѣнію, г. Михайловскій *нигдѣ* и *никогда* не представилъ оправданія тому, почему „вмѣсто интересовъ личности можно представить интересы народа или труда“.

Тамъ, гдѣ у меня стоитъ знакъ (NB), г. Бердяевъ дѣлаетъ выноску, указывая на 461 стр. IV тома моихъ сочиненій и прибавляя: „То же самое г. Михайловскій говоритъ на стр. 490 т. VI“ и въ подтвержденіе дѣлаетъ выписку. Если бы онъ, однако, началъ эту выписку нѣсколько выше, то получилъ бы слѣдующее:

„Надо найти въ личности такой ея аттрибутъ, такое свойство, которое было бы ей присуще, именно какъ личности, и не зависѣло бы ни отъ какихъ случайныхъ опредѣленій. Такой аттрибутъ есть трудъ, цѣлесообразное напряженіе личныхъ силъ. „Таланты отъ Бога, богатства отъ рукъ человѣческихъ“, какъ говоритъ поэтъ. Если я талантливъ, то

это случайный даръ судьбы, очень, можетъ быть, цѣнный для меня и даже для всего человѣчества, но онъ ни въ какомъ случаѣ не составляетъ необходимаго элемента человѣческой личности и, если не будетъ оплодотворенъ трудомъ, то можетъ или совсѣмъ безслѣдно затеряться, какъ это часто бываетъ, или даже принести вредъ и мнѣ, и людямъ, какъ это тоже часто бываетъ. Если я богатъ, то это богатство навѣрное есть плодъ дѣятельности „рукъ человѣческихъ", но, по всей вѣроятности, не моихъ. Выигравъ 200,000 въ лотерею или получивъ ихъ по наслѣдству, я, собственно, этимъ фактомъ выигрыша или полученія наслѣдства, ни на волосъ не прибавилъ и не убавилъ своего личнаго достоинства; если найдутся люди, которые съ этого момента начнутъ искать сближенія со мной, оказывать мнѣ знаки вниманія и почтенія, то ясно, что они не меня лично почитаютъ, а деньги и создаваемую ими силу въ обществѣ; на деньгахъ же, мною полученныхъ, нѣтъ печати моей личности. Эта печать личности налагается лишь ея дѣятельностью, трудомъ. Все остальное, что такъ или иначе можетъ способствоватъ успѣху конкретной личности въ конкретной дѣйствительности, что можетъ опредѣлятъ ея судьбы и интересы,—талантъ, происхожденіе, богатство, красота,—все это лишь случайные аттрибуты личности, не изъ нея самой проистекающіе, не ею самою данные, а зависящіе отъ вкусовъ, нравовъ, обычаевъ, законовъ общества, въ составъ котораго она входитъ. Эти вкусы, нравы, обычаи, законы подлежатъ особому обсужденію, до котораго намъ пока дѣла нѣтъ. Они могутъ быть достойны всякаго уваженія, помимо ихъ внѣшней обязательности, но, во всякомъ случаѣ, сама личность выражается только въ трудѣ, который относится, можетъ быть, къ ней такъ же, какъ движеніе къ матеріи. Такимъ образомъ, *для практическаго обихода,* да и не только для него, а въ видахъ теоретической ясности, мы можемъ подставитъ въ нашей первоначальной формулѣ, вмѣсто личности, ея единственное проявленіе—трудъ, сознательный, цѣлесообразный расходъ силъ. Тогда „интересы личности", оказавшіеся на оселкѣ практики двусмысленными и даже многосмысленными, замѣняются „интересами труда". И почему бы не поискать въ этой области матеріаловъ для „общечеловѣческаго идеала"? Болѣе общечеловѣческаго, пожалуй что, и не сыщешь, ибо гдѣ человѣкъ, тамъ и трудъ" (VI, 489—490).

Г. Бердяевъ цитируетъ это мѣсто только съ подчеркнутыхъ мною словъ: „для практическаго обихода" и т. д. и съ чрезвычайною рѣшительностью пишетъ свои *нигдѣ, никогда*... Г. Бердяевъ

имѣетъ, конечно, право считать неудовлетворительными мои „оправданія тому, почему вмѣсто интересовъ личности можно подставить интересы народа или труда“; но какъ же всетаки *нигдѣ* и *никогда*, если *на той же страницѣ?!* Я не обвиняю г. Бердяева въ злонамѣренности,—онъ, видимо, хотѣлъ добросовѣстно выполнить свою задачу,—но считаю себя въ правѣ преподать ему урокъ, однажды уже преподанный мною г-ну Струве: чтобы говорить—*нигдѣ*, надо искать *вездѣ*; можетъ быть, оно, искомое-то, гдѣ нибудь совсѣмъ рядомъ находится...

Случается г. Бердяеву и на другіе манеры не въ то мѣсто попадать. Такъ, напримѣръ, на стр. 228 онъ пишетъ: „Противопоставленіе „любви къ ближнему“ и „любви къ дальнему“ кажется г. Михайловскому очень остроумнымъ; такимъ образомъ думаетъ онъ, между прочимъ, посрамить русскихъ „учениковъ“, между тѣмъ, какъ въ психологическомъ отношеніи это чистѣйшая безсмыслица, не выдерживающая ни малѣйшаго прикосновенія анализа“. Изложивъ затѣмъ собственные взгляды на „любовь къ ближнему“, г. Бердяевъ прибавляетъ: „Г. Михайловскій былъ бы правъ, если-бы онъ поставилъ вопросъ на другую почву, если-бы онъ сказалъ, что ни одно современное поколѣніе не можетъ смотрѣть на себя только какъ на средство, что оно признаетъ за собою нравственную цѣну такъ же, какъ самоцѣль“.

Противопоставленіе любви къ ближнему и любви къ дальнему (оно принадлежитъ Ничше) кажется мнѣ дѣйствительно остроумнымъ и даже гораздо болѣе, чѣмъ остроумнымъ. Посрамлять имъ „учениковъ“ я отнюдь не думалъ, я имѣлъ въ виду просто факты, суммирующіеся въ означенномъ противопоставленіи, и если ужъ говорить спеціально объ „ученикахъ“, то тутъ можно увидѣть желаніе не посрамить ихъ, а, напротивъ, пожалуй, даже реабилитировать. Одно изъ дѣйствующихъ лицъ разсказа г. Вересаева „Повѣтріе“ уличаетъ „учениковъ“ въ „звѣрскихъ выводахъ“. Я же находилъ, что среди „учениковъ“ есть люди, пламенно любящіе—только не „ближняго“ своего, а „дальняго“. Таковы герои „Повѣтрія“, таковъ, напримѣръ, покойный Гвоздевъ, видѣвшій въ деревенскомъ „кулачествѣ-ростовщичествѣ явленіе прогрессивное, собственно потому, что съ теченіемъ времени оно должно превратиться „въ свою противоположность“, и строившій такимъ образомъ благополучіе грядущихъ поколѣній на горѣ и страданіяхъ поколѣнія современнаго.

Ясно, я думаю, что г. Бердяевъ совершенно напрасно утруждалъ себя указаніемъ на условіе, при которомъ я „былъ бы правъ“.

И не только въ этомъ случаѣ г. Бердяевъ беретъ на себя совсѣмъ лишній трудъ. Неосновательно рѣшивъ, что я нигдѣ и никогда и т. д., онъ пишетъ: „Это, конечно, не значитъ, что тутъ нѣтъ никакой связи, связь существуетъ, и мы посмотримъ, почему служить личности для г. Михайловскаго то же самое, что служить трудящемуся народу“. И г. Бердяевъ довольно длиннымъ окружнымъ путемъ приходитъ къ слѣдующему выводу: „Тутъ мы, кажется, подходимъ къ объясненію того факта, почему для г. Михайловскаго интересы „народа“ и интересы „личности“ одно и то же. Онъ опредѣляетъ народъ, какъ совокупность трудящихся классовъ общества, но его народъ не есть трудящіеся классы въ современномъ смыслѣ этого слова, его производитель еще не отдѣленъ отъ орудій производства, онъ собственникъ, который и есть именно реальное зерно идеальной „личности“ г. Михайловскаго. Этотъ фактъ наложилъ роковую печать на демократизмъ 70-хъ годовъ. Отношеніе современнаго производителя, уже оторваннаго отъ орудій производства, къ общественной эволюціи совсѣмъ не то, что у г. Михайловскаго. „Профанъ“ нашихъ дней не тотъ, что „профанъ“ г. Михайловскаго, и его „Записки“ безконечно отличаются отъ „Записокъ профана“ 70-хъ годовъ. Мы стоимъ на точкѣ зрѣнія современнаго „профана“ и будемъ говорить отъ его лица“(226—227).

Вонмемъ глаголамъ современнаго профана, но, можетъ быть, справедливо выслушать сначала рѣчь стараго профана не въ пересказѣ г. Бердяева, а въ подлинникѣ. Его точка зрѣнія выясняется еще въ 1875 г. въ первой же главѣ „Записокъ профана“ (Сочиненія, т. V), и позже въ разныхъ мѣстахъ и по разнымъ поводамъ, напримѣръ, въ 1893 г. въ статьѣ о народничествѣ г-на В. В. (См. „Литературныя воспоминанія и современная смута“, т. II. стр. 190—191), или, напримѣръ, въ 1887 г., въ той самой статьѣ, въ которой мы нашли то, чего г. Бердяевъ не нашелъ нигдѣ. Я предпочитаю сослаться именно на эту послѣднюю статью, не смотря на нѣкоторое неудобство ея полемической формы (она представляетъ собою отвѣтъ на открытое письмо г. Яковенко, касавшееся, между прочимъ, „Записокъ профана“). Вотъ что мы тамъ читаемъ:

„При дальнѣйшемъ разотвлеченіи (простите этотъ немножко неуклюжій терминъ) интересы труда превращаются въ интересы народа, при чемъ, какъ справедливо цитируетъ г. Яковенко, я утверждаю

что „педагоги, въ качествѣ работниковъ, суть такъ же народъ, какъ и плотники, химики, литераторы, пастухи“; а далѣе, какъ опять же г. Яковенко вѣрно говоритъ, „причисляю еще математика, полицейскаго чиновника, физіолога, землевладѣльца, солдата, политика-эконома и т. д“. Это очень вѣрно. Но, можетъ быть, г. Яковенко не предъявилъ бы нѣкоторыхъ своихъ вопросительныхъ знаковъ, если бы обратилъ надлежащее вниманіе въ этой цитатѣ на слова „въ качествѣ работниковъ“. Трудъ, напримѣръ, педагога, литератора, химика, политико-эконома — такой же трудъ, какъ и всякій другой, столь же почтененъ и столь же требуетъ заботы объ его интересахъ. Но бываетъ вѣдь и такъ, что, положимъ, литераторъ не только работаетъ, а издаетъ кромѣ того газету, съ которой получаетъ доходъ, какъ съ коммерческаго предпріятія; или химикъ не только сидитъ въ лабораторіи, а выстроилъ еще домъ, въ которомъ жильцы живутъ и деньги за квартиры платятъ, за квартиры, а не за трудъ. Все это очень естественно и законно, но тѣмъ не менѣе, въ силу вышеизложеннаго, я долженъ произвести операцію отвлеченія и усмотрѣть въ жизни даже одного и того же человѣка двѣ весьма различныя полосы: полосу, отмѣченную печатью проявленія личности, и полосу, опредѣляемую вкусами, нравами, обычаями, законами, имѣющими силу въ данномъ обществѣ“. И т. д. (VI, 491).

Читатель видитъ, что я говорилъ о „трудящихся классахъ общества“ совершенно независимо отъ того, собственники ли ихъ представители или нѣтъ, отдѣлены ли они отъ орудій производства или нѣтъ, и что земледѣлецъ, на которомъ я будто бы сосредоточиваю, по мнѣнію г. Бердяева, все вниманіе, стоитъ въ моемъ спискѣ людей труда между физіологомъ и солдатомъ, хотя это положеніе онъ занимаетъ, разумѣется, совершенно случайно.

Итакъ, во-первыхъ, вопреки показанію г. Бердяева я представилъ оправданіе тому своему положенію, что въ конкретныхъ политическихъ вопросахъ вмѣсто интересовъ личности можно или должно подставлять интересы народа; во-вторыхъ, вопреки показанію г. Бердяева я разумѣлъ и разумѣю подъ трудящимися классами общества не только земледѣльца. Хорошо или дурно, вѣрно или невѣрно я въ обоихъ этихъ случаяхъ разсуждаю. — это вопросъ особый, котораго г. Бердяевъ даже не коснулся, ибо вычеркнулъ изъ моихъ писаній самый поводъ для его обсужденія: коли *нигде* нѣтъ и *никогда* не было, такъ нечего и обсуждать...

Странное чувство испытываетъ писатель, принужденный по какимъ-нибудь обстоятельствамъ пересматривать свои старыя, много лѣтъ тому назадъ написанныя статьи. Изъ нашей братіи, пишущихъ на спѣхъ и не имѣющихъ въ своемъ распоряженіи достаточно времени для обработки своихъ статей, развѣ только какая-нибудь очень самомнѣнная бездарность бываетъ часто довольна своимъ произведеніемъ тотчасъ послѣ его напечатанія. Вообще же подобное довольство есть большая рѣдкость, и это естественно. Еще такъ свѣжи впечатлѣнія, подъ которыми статья написана, еще такъ ярки образы и мысли, ими вызванныя, и въ сравненіи съ тѣмъ, что предносилось умственному взору, то, что вышло на бумагѣ, кажется такимъ блѣднымъ и бѣднымъ. Но проходитъ годъ, два, десять, десятки лѣтъ, первоначальныя впечатлѣнія сами блѣднѣютъ и гаснутъ, разница между тѣмъ, что хотѣлось сказать, и тѣмъ, что сказалось, слабѣетъ, и вы не безъ удовольствія, а иногда даже прямо съ удовольствіемъ перечитываете забытую статью. Разъ я засталъ Салтыкова за чтеніемъ корректуры какихъ-то его давнишнихъ работъ для отдѣльнаго изданія книгой. „Читаю вотъ то-то (не помню ужъ что),—сказалъ онъ мнѣ своимъ ворчливымъ басомъ, — и знаете: право, хорошо!“ Суровый сатирикъ, очевидно, самъ удивлялся тому удовольствію, которое ему доставляло чтеніе старыхъ, забытыхъ произведеній, въ свое время далеко не удовлетворявшихъ его. Но это только одна сторона дѣла. Перечитывая для отвѣта г. Бердяеву свои старыя статьи, разбросанныя по разнымъ томамъ, я—не скрою—не разъ испытывалъ чувство удовлетворенія, да и какъ же иначе: то тамъ, то тутъ я „предвосхитилъ“, „предчувствовалъ“, —словомъ, оказывался предтечей блистательныхъ умовъ строителей храма новой мысли. Какъ ни лестно, однако, это положеніе, мнѣ не разъ приходилось и недовольно морщиться при чтеніи своихъ старыхъ статей, и это, какъ относительно формы, такъ и относительно содержанія. Что касается формы, то недовольство относится преимущественно къ „лирикѣ“, по выраженію г. Бердяева, которой онъ находитъ у меня даже слишкомъ много. Я не думаю, чтобы это было вѣрно, и г. Гофштетеръ, напримѣръ (въ „Литературномъ приложеніи къ Торгово-промышленной газетѣ), находитъ у меня, напротивъ, „чуждый всякаго пафоса стиль“ и „холодный, почти лягушечій темпераментъ ума“. На всѣхъ не угодишь, конечно, въ томъ числѣ часто и на самого себя. Это бы еще не большая бѣда, но кое-что я теперь, подъ давленіемъ житейскаго опыта и навѣянныхъ имъ новыхъ размышленій, сказалъ бы не такъ, не

только по формѣ, а и по самому содержанію. Объ этомъ рѣчь у насъ будетъ ниже, а теперь, чтобы нѣсколько отдохнуть отъ самого себя, обращусь къ г. Бердяеву.

Г. Бердяевъ, какъ онъ самъ говоритъ о себѣ, — представитель „новаго направленія", подъ коимъ разумѣется марксизмъ. Извѣстно, что это направленіе или ученіе переживаетъ въ настоящее время, какъ въ западной Европѣ, такъ и у насъ, тяжелый кризисъ; въ самомъ сердцѣ германской соціалъ-демократіи, еще недавно столь дружно стоявшей подъ единымъ знаменемъ единаго, неразложимаго Маркса, происходитъ глубокій разладъ. Но г. Бердяевъ объявляетъ „пошлыми" разговоры о „разложеніи марксизма". Разговоры эти могутъ быть, конечно, пошлыми, какъ и вообще всякіе разговоры о чемъ бы то ни было великомъ или ничтожномъ, чистомъ или грязномъ, но и въ такомъ случаѣ не потому они пошлы, что трактуютъ о дѣйствительномъ, несомнѣнномъ фактѣ разложенія, однимъ изъ выраженій котораго являются и книга самого г. Бердяева, и предисловіе къ ней г. Струве. Допустимъ, что въ результатѣ разложенія марксизма онъ вновь возродится, какъ фениксъ изъ собственнаго своего пепла, но сейчасъ онъ находится въ періодѣ кризиса. Г. Бердяевъ потому считаетъ разговоры объ этомъ кризисѣ пошлыми по существу, что ему непріятно, больно признать вѣрность указываемаго имъ факта, и онъ безсознательно стремится утаить шило въ мѣшкѣ, хотя оно для всѣхъ явственно торчитъ изъ мѣшка. Г. Бердяевъ твердо вѣритъ въ близкое окончательное торжество марксизма, да торжество это, по его мнѣнію, пожалуй, уже и наступило. „Правда",—пишетъ онъ въ предисловіи, —травля новаго направленія все еще продолжается, и теперь постоянно приходится встрѣчаться съ неприличными инсинуаціями и безсмысленнымъ непониманіемъ, но все это исходитъ не столько отъ корифеевъ стараго направленія, сколько отъ второстепенныхъ представителей отживающаго народничества (Съ какимъ нибудь г. Н. Энгельгардтомъ разговоръ совсѣмъ не тотъ, что съ Н. К. Михайловскимъ,—съ первымъ просто никакого разговора не можетъ быть. Къ той же приблизительно категоріи относятся писанія г. Оболенскаго и т. п.). Травля будетъ продолжаться и впредь, но въ ней будутъ принимать участіе темныя силы русскаго общества, и это будетъ соотвѣтствовать болѣе дифференцированной соціальной средѣ".

Итакъ, въ непродолжительномъ времени въ нашей литературѣ водворится миръ и въ человѣкахъ благоволеніе, — относительное, ко-

нечно, но за предѣлами этой свѣтлой картины останутся только темныя силы русскаго общества... Мнѣ кажется, однако, что нѣкоторое облачко на этомъ чистомъ небѣ намѣчается уже въ предисловіи г. Бердяева. Оно состоитъ изъ маленькаго слова „ортодоксальность". „Авторъ примыкаетъ къ совершенно опредѣленному направленію, но чуждъ ортодоксальности",—говоритъ о себѣ г. Бердяевъ. Маленькое это облачко, но есть въ немъ что-то зловѣщее, оно можетъ разростись въ цѣлую тучу, чреватую громомъ и молніей; ибо гдѣ есть ортодоксія, тамъ есть и ереси, есть расколъ.

„Ортодоксальность" вошла въ словесный обиходъ нашихъ марксистовъ очень недавно, и появилось это слово какъ-то внезапно и безшумно, именно какъ легкое облачко на ясномъ небѣ. Для меня, впрочемъ, довольно давно была ясна его необходимость, вслѣдствіе чего я уже нѣсколько лѣтъ тому назадъ добивался разрѣшенія вопроса о „настоящихъ" и „не-настоящихъ" марксистахъ. Тогда я ничего не добился, но и теперь, не смотря на маякъ „ортодоксальности", нахожусь въ большомъ затрудненіи. Г. Бердяевъ говоритъ: „Довольно распространено мнѣніе, будто бы существуетъ догма, застывшая система, въ которой уже дано рѣшеніе всѣхъ вопросовъ. Это не болѣе, какъ миѳъ, и миѳъ вредный для интересовъ умственнаго развитія". откуда же, однако, идетъ этотъ миѳъ? Кто распространяетъ мнѣніе, будто найденъ ключъ отъ всѣхъ ключей и „дано рѣшеніе всѣхъ вопросовъ"? Не думаю, чтобы нашлось много марксистовъ, которые согласились бы признать исповѣдуемое ими ученіе такъ таки прямо „застывшей системой",—слишкомъ непріятно звучитъ это сочетаніе словъ, и естественно, что, напримѣръ, такое выраженіе, какъ „дальнѣйшее критическое развитіе основоначалъ марксизма", способно, по крайней мѣрѣ на словахъ, объединить гораздо большее число людей. Но вѣдь это можетъ быть, съ одной стороны, именно только чистою словесностью, подъ которою скрывается все тотъ же догматизмъ, а съ другой стороны, „критическое развитіе" можетъ идти такъ далеко, что отъ основоначалъ мало что останется. Какъ бы то ни было, зловѣщее облачко ортодоксальности на нашихъ глазахъ разростается съ чрезвычайною быстротою, и г. Бердяевъ едва ли по надлежащему адресу направляетъ укоризненныя слова „травля", „неприличныя инсинуаціи", „безсмысленное непониманіе"; или, по крайней мѣрѣ, говоря о нашихъ марксистахъ, онъ долженъ бы былъ къ слову „травля" прибавить эпитетъ „взаимная". И я рѣшительно не понимаю, почему разговоры о разложеніи марксизма кажутся г.

Бердяеву „пошлыми“, когда, не говоря уже объ иностранной литературѣ, въ средѣ нашихъ марксистовъ то и дѣло раздаются рѣчи противъ нѣкоторыхъ основныхъ положеній ученія Маркса.

Въ статьѣ г. Подарскаго, напечатанной въ декабрьской книжкѣ „Русскаго Богатства“ за 1900 г., было уже приведено нѣсколько очень выразительныхъ относящихся сюда фактовъ. Ниже мы увидимъ факты еще болѣе выразительные. А теперь посмотримъ на формы, въ которыхъ это разложеніе или расколъ выражается или которыми онъ прикрывается.

Вотъ, напримѣръ, какъ оканчивается статья г. Струве „Основная антиномія теоріи трудовой цѣнности“, напечатанная въ февральской книжкѣ журнала „Жизнь“ за прошлый годъ: „Было бы весьма желательно, чтобы, напр., такой замѣчательный сторонникъ ортодоксальнаго отношенія къ ученію Маркса и такой превосходный его знатокъ, какъ Владиміръ Ильинъ, указалъ, какимъ путемъ—съ точки зрѣнія ортодоксіи—можетъ быть разрѣшена „основная антиномія теоріи трудовой цѣнности“, на мой взглядъ логически упраздняющая эту теорію“.

Я привелъ эти слова не для того лишь, чтобы напомнить читателямъ объ отреченіи г-на Струве отъ одного изъ краеугольныхъ камней экономической (и не только экономической) теоріи Маркса, а и для указанія на ту любезную, вѣжливую, почтительную форму, въ которой г. Струве обращается къ г. Ильину и которая смягчаетъ или прикрываетъ фактъ раскола. Этотъ пріемъ пока еще держится относительно недавно вполнѣ признанныхъ въ данной средѣ авторитетовъ. Такъ, о томъ же г-нѣ Струве г. Неждановъ говоритъ въ ноябрьской книжкѣ „Жизни“(стр. 441): „Такова ужъ особенность этого писателя, что при всей своей талантливости онъ способенъ иногда впадать въ такія грубѣйшія ошибки, разоблачить которыя не составляетъ никакого труда даже людямъ, въ общемъ стоящимъ гораздо ниже его во всѣхъ отношеніяхъ“. Но этой галантности нѣтъ и слѣда, когда рѣчь идетъ, напримѣръ, о г. Филипповѣ, который, не смотря на неразлучно его сопровождающій титулъ „доктора философіи“, авторитетомъ въ средѣ „новаго направленія“ не пользуется: тамъ же тотъ же г. Неждановъ называетъ почтеннаго доктора философіи „невѣжественнымъ“, какой-то его „постулатъ“ — „нелѣпымъ“ и т. д. Изъ той же статьи г. Нежданова видно, что г. Филипповъ въ свою очередь обзываетъ теорію своего оппонента „негодною“ и въ то же время утверждаетъ, что онъ, оппонентъ,

г. Неждановъ, въ сущности излагаетъ его, доктора философіи М. М. Филиппова, взгляды, но только „въ перепутанномъ видѣ“.

Если все это, какъ я думаю, заслуживаетъ названія „травля“, то не правъ ли я, предлагая г. Бердяеву прибавить къ этому существительному прилагательное—„взаимная“?

По всей вѣроятности и г. Струве въ самомъ непродолжительномъ времени не будетъ огражденъ барьеромъ галантнаго обращенія отъ уличеній въ „безсмысленномъ непониманіи“ и т. п. Начало этому уже положено въ декабрьской книжкѣ „Жизни“ библіографической замѣткой г. Васильева о книгѣ гг. Бердяева и Струве. Авторъ замѣтки находитъ, что та часть книги, которая трактуетъ обо мнѣ, „безусловно заслуживаетъ вполнѣ одобрительной рецензіи“, но все остальное... Судите сами: „Метафизическая точка зрѣнія г. Струве приводитъ его къ совершенно излишнимъ тавтологіямъ, къ безплодному морализированію“: „его вылазка противъ эвдемонизма.... очень сомнительна по своему характеру“; онъ старается „воскресить давно уже похороненную систему міровоззрѣнія“. Еще рѣзче отзывы о г. Бердяевѣ. Его попытку „конструировать единство космическаго, такъ сказать, процесса и процесса соціологическаго нужно признать безусловно неудачною“; сдѣлавъ изъ книги выписку, г. Васильевъ замѣчаетъ: „эта выписка безусловно исчерпываетъ сущность собственныхъ взглядовъ г. Бердяева и свидѣтельствуетъ о полной хаотичности этой сущности“; „положеніе г. Бердяева просто вздорно, такъ какъ, конечно, нелѣпо говорить о власти человѣка надъ природой иначе, какъ въ фигуральномъ смыслѣ“; „претензія г. Бердяева на роль вожака не только мысли, но и движенія—безусловно неосновательна, и намъ рѣдко, вѣрнѣе, никогда не приходилось встрѣчать сочиненіе, разсчитанное вести за собой и дающее такъ мало“.

Что значитъ утвержденіе г. Васильева, что г. Бердяевъ претендуетъ на роль вожака,—я не знаю. Мнѣ кажется, онъ повиненъ въ этомъ не болѣе всякаго другого писателя, естественно желающаго по мѣрѣ своихъ силъ вести читателей къ истинѣ, какъ онъ ее понимаетъ. А что это пониманіе весьма и весьма отличается отъ того, которое доселѣ предъявлялось марксистами,—это несомнѣнно.

Г. Бердяевъ—еретикъ, но, въ противоположность обычной практикѣ всѣхъ еретиковъ, онъ сравнительно очень мягко относится къ той ортодоксіи, отъ которой онъ откололся. Щедро разсыпая жесткіе эпитеты въ родѣ „нелѣпый“ и т. п., даже когда рѣчь идетъ,

напримѣръ, о Кантѣ, къ которому онъ предлагаетъ возвратиться, онъ относится къ ортодоксамъ, то есть бывшимъ своимъ единомышленникамъ, съ тою-же галантностью, образчикъ который мы видѣли въ отношеніи г-на Струве къ г. Ильину. Вотъ, напримѣръ, какъ выражается г. Бердяевъ о философскихъ взглядахъ, изложенныхъ г. Бельтовымъ въ книгѣ „Къ вопросу о развитіи монистическаго взгляда на исторію": „Излишняя ортодоксальность, преданность традиціямъ доктрины помѣшали этому талантливому писателю окончательно свести теоретическіе счеты съ субъективистами" (16). „Философія марксизма", конечно, не содержитъ въ себѣ „нелѣпостей", „вздора" и тому подобныхъ непривлекательностей, какихъ такъ много, напримѣръ, въ моихъ сочиненіяхъ,—Боже избави! ничего подобнаго!—она, по мнѣнію г. Бердяева, только „очень хромаетъ"(48)...

Подъ этою мягкою формою скрывается, однако, рѣшительное отреченіе отъ марксизма и если критика гг. Струве и Бердяева дѣйствительно не оставляетъ камня на камнѣ, такъ это именно въ марксизмѣ. Я, противникъ марксизма, не могу, однако, примкнуть къ этой ихъ разрушительной работѣ, даже если бы они пожелали моего сотрудничества, а они его, конечно, не пожелаютъ...

Г. Бердяевъ говоритъ въ одномъ мѣстѣ: „Г. Михайловскому вѣроятно чуждо и непонятно то, что мы говоримъ, — онъ человѣкъ другого поколѣнія и сдѣланъ изъ другого тѣста" (120). И далѣе: „Онъ принимаетъ критерій совершенствованія, данный Бэромъ, и кладетъ его въ основаніе своей общественной программы, хотя для насъ, воспитанныхъ на философскихъ и общественныхъ наукахъ, странно и даже дико звучитъ, что соціальный идеалъ имѣетъ чисто біологическую опору" (144). Я не знаю, изъ какого я тѣста сдѣланъ, и не думаю, чтобы люди разныхъ поколѣній были фатально обречены на взаимное непониманіе; но очень вѣрю, что мое построеніе кажется г. Бердяеву страннымъ и даже дикимъ, а съ другой стороны, долженъ признаться, что многое въ рѣчахъ гг. Бердяева и Струве мнѣ, дѣйствительно, чуждо и непонятно. Мнѣ чуждъ весь складъ ихъ мысли, и когда, напримѣръ, г. Струве съ видомъ глубочайшаго убѣжденія говоритъ: „субстанція міра есть духъ и міровой духъ есть субстанція" (XXXIV),—для меня это только очень гордая, но совершенно пустая словесность. Когда тотъ же г. Струве, увѣренный въ „необходимости метафизики", строитъ „метафизическій синтезъ"; или приходитъ къ „метафизическому постулату нравственнаго міропорядка, независимаго отъ субъективнаго

сознанія"; или когда онъ (какъ и г. Бердяевъ) говоритъ объ абсолютномъ добрѣ, абсолютной истинѣ или абсолютной красотѣ; или еще, когда г. Бердяевъ развиваетъ свой взглядъ на телеологическій характеръ космическаго процесса,—я вспоминаю г. Волынскаго: тому все это близко, онъ съ абсолютами, субстанціями и цѣлями міроваго процесса на короткой ногѣ. Я же только ничего не имѣю противъ возрожденія г. Волынскаго среди якобы-марксистовъ...

Якобы,—пишу и подчеркиваю это слово. Г. Бердяевъ говоритъ въ предисловіи: „г. Михайловскій нѣсколько лѣтъ тому назадъ вступилъ въ ожесточенную полемику съ новымъ направленіемъ, выплывшимъ на поверхность русской жизни въ 90-ые годы. Теперь достаточно ясно, что побѣда осталась не за г. Михайловскимъ".— Признаюсь мнѣ это вовсе не достатачно ясно, и я думаю, напротивъ, что побѣда осталась не за мной лично, конечно, потому что, не говоря о русской литературѣ, и европейская тутъ приложила свою руку,—но во всякомъ случаѣ за противниками направленія, выплывшаго у насъ въ 90-е годы. Пусть мой индивидуализмъ и субъективизмъ разбиты гг. Струве и Бердяевымъ окончательно (объ этомъ особый разговоръ будетъ), но что касается марксизма, то эти господа поступаютъ подобно многимъ разбитымъ военачальникамъ: они трубятъ побѣду, а сами оставляютъ свои позиціи, сжигаютъ укрѣпленія и отступаютъ все дальше и дальше. Гг. Бердяевъ и Струве отступаютъ въ область идеалистической метафизики. Допустимъ, что, укрѣпившись тамъ, они одержатъ блистательную побѣду, но сейчасъ они во всякомъ случаѣ битву проиграли и съ марксизмомъ покончили. Впрочемъ, и будущая блистательная побѣда нѣсколько сомнительна, такъ какъ гг. Бердяевъ и Струве въ слишкомъ многомъ и важномъ несогласны между собою, и, можетъ быть, только условная вѣжливость мѣшаетъ имъ находить другъ у друга „нелѣпости" и „вздоры". На стр. VIII г. Струве указываетъ „на слишкомъ узкое пониманіе объективизма въ познаніи у самого Бердяева". На стр. XXV—XXVI—онъ пишетъ: „Бердяевъ, вслѣдъ за большинствомъ нѣмецкихъ критицистовъ, объединяетъ въ общемъ понятіи объективной нормы законы мышленія и законъ нравственный. Въ этомъ объединеніи на мой взглядъ заключается крупная ошибка" На стр. XXXI—XXXII: „Вопреки Бердяеву я вижу въ Кантовскомъ ученіи о противорѣчіяхъ не слабую сторону, а великое открытіе и вѣчное пріобрѣтеніе теоріи познанія". На стр. LIII: „Я

не понимаю, какъ можетъ Бердяевъ, стоя на почвѣ апріоризма и идеализма, отмахиваться отъ метафизики трансцендентнаго". И т. п.

Это, однако, только мимоходомъ. Мнѣ нечего дѣлать въ той области, куда нынѣ отступили гг. Струве и Бердяевъ. Посмотримъ на положеніе, въ которомъ находятся ихъ прежнія, марксистскія укрѣпленія.

Начнемъ съ „діалектическаго матеріализма", который такъ пламенно отстаивалъ г. Бельтовъ и который нашелъ себѣ столько практическихъ выраженій въ родѣ превращенія кулачества-ростовщичества въ свою противоположность и т. п. Вотъ что говоритъ г. Струве о діалектическомъ матеріализмѣ: „Въ этой философской надстройкѣ нѣтъ совершенно никакихъ идеалистическихъ элементовъ, и потому тѣмъ, кто захочетъ съ положительно-научнымъ и съ практически-положительнымъ содержаніемъ ученія Маркса сочетать философскій идеализмъ, съ этой надстройкой нечего дѣлать, въ ней нечего искать. Она вся цѣликомъ должна пойти на сломъ, чтобы уступить мѣсто другому „вѣнцу". Самое же зданіе должно быть совокупными усиліями отчасти перестроено и обновлено, отчасти послужить лишь хорошимъ строительнымъ матеріаломъ для новыхъ сооруженій" (IV). „Метафизическая часть марксизма должна раздѣлить судьбу діалектики и матеріализма, оказавшихся одинаково несостоятельными предъ судомъ философской критики" (VI).

Минуя многія другія, столь же опредѣленныя и ясныя выраженія, какъ г-на Струве, такъ и г. Бердяева, обратимся къ такъ называемой Zusammenbruchstheorie, въ силу которой имѣетъ произойти въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ всеобщій экономическій катаклизмъ или, по выраженію Энгельса, скачокъ изъ царства необходимости въ царство свободы. Съ извѣстной точки зрѣнія это не болѣе, какъ одно изъ приложеній гегелевской діалектики (отрицаніе отрицанія), но насъ увѣряли, что это чисто научное предвидѣніе, логическій выводъ изъ фактовъ опыта и наблюденія. Г. же Бердяевъ говоритъ, по этому поводу, слѣдующее: „То представленіе ортодоксальнаго марксизма, что общество становится все болѣе и болѣе капиталистическимъ, что положеніе производителей все ухудшается, что зло увеличивается и затѣмъ путемъ катаклизма должно перейти въ свою противоположность, въ добро, никоимъ образомъ не можетъ быть удержано" (260). Къ этой мысли наши авторы тоже не разъ возвращаются.

Къ знаменитому положенію объ экономическомъ фундаментѣ и

идеологической, то есть правовой, политической, этической, религіозной, философской надстройкѣ г. Бердяевъ относится такъ: „Мы не считаемъ особенно удачнымъ шаблонное выраженіе о „матеріальномъ базисѣ, надъ которымъ возвышается идеологическая надстройка". Это, конечно, выраженіе фигуральное, но оно плохо уже потому, что предполагаетъ дуализмъ матеріальнаго и идеологическаго (базиса и надстройки). При анализѣ оно оказывается лишеннымъ опредѣленнаго смысла" (88).

Надо замѣтить, что о пресловутомъ главенствѣ „экономическаго фактора" наши авторы совсѣмъ не говорятъ. Мало того, ими колеблется основное положеніе ученія Маркса-Энгельса въ его наиболѣе общемъ выраженіи: „формы бытія опредѣляютъ собою формы сознанія". Они разсуждаютъ такъ: психологически это вѣрно, — „общественное бытіе составляетъ матеріалъ, изъ котораго человѣческая психологія, посредствомъ опыта, черпаетъ свое содержаніе". Однако иное мы получаемъ, становясь на гносеологическую точку зрѣнія: „Соціальное—это только та почва, на которой люди приходятъ къ сознанію общеобязательнаго, но трансцендентально-логическое предшествуетъ соціальному, какъ предшествуетъ всякому бытію, которое всегда есть только содержаніе опыта" (44 — 45). Это рѣзкое противоположеніе психологіи, съ точки зрѣнія которой формы бытія опредѣляютъ собою формы сознанія, и гносеологіи, по которой формы сознанія „предшествуютъ всякому бытію", красною нитью проходитъ черезъ всю книгу гг. Бердяева и Струве и составляетъ именно ихъ новое, метафизическое укрѣпленіе.

Если вникнуть во всѣ развѣтвленія пути, по которымъ обязательно должна идти мысль, отправляясь отъ изложенныхъ новыхъ взглядовъ гг. Бердяева и Струве, и если прибавить ко всему этому фактъ отреченія г. Струве отъ трудовой теоріи цѣнности *), то, до-

---

*) Любопытно слѣдующее замѣчаніе г. Бердяева: „Народники очень любятъ подчеркивать свое полное согласіе съ чисто экономическимъ ученіемъ Маркса, особенно съ теоріей цѣнности, хотя на нашъ взглядъ это ученіе, и теорія цѣнности прежде всего, нуждается въ глубокой переработкѣ. См. статью П. Струве, „Жизнь", февраль 1900. Съ интересомъ ждемъ его книги о цѣнности. М. Туганъ-Барановскій тоже признаетъ необходимость пересмотра теоріи цѣнности. См. „Научное Обозрѣніе", май 1899. Нѣкоторые народники, вѣроятно, выступятъ въ роли ортодоксальныхъ защитниковъ экономическаго ученія Маркса. Вообще же экономическое ученіе Маркса имѣетъ чисто соціологическій смыслъ и отдѣлять его отъ геніальной соціологической точки

пуская даже, что побѣда на ихъ сторонѣ, это во всякомъ случаѣ побѣда не марксизма, а скорѣе надъ марксизмомъ. Но мы, старые противники односторонности марксизма, не радуемся этой побѣдѣ (если она есть), хотя, можетъ быть, и нашего меду тутъ не одна капля есть. Въ самомъ дѣлѣ, сколько времени и труда потратили мы на разговоры о невѣрности теоріи главенства экономическаго фактора, исключительно опредѣляющаго собою всякую политическую, философскую и всякую иную надстройку, о негодности гегельянскихъ діалектическихъ фокусовъ, о недоказанности скачка изъ царства необходимости въ царство свободы И вотъ, только теперь гг. Струве и Бердяевъ пожинаютъ плоды трудовъ нашихъ. Да и такія ли еще уступки они намъ дѣлаютъ! Сколько насмѣшекъ и негодованія вызывалъ мой субъективизмъ, а теперь гг. Струве и Бердяевъ, признавая его гносеологическую негодность, объявляютъ его психологическую неизбѣжность („гносеологическая ложь и психологическая правда", какъ энергически выражается г. Струве на стр. XXIII). Какія гордыя рѣчи слышали мы о категоріи необходимости, о причинной связи явленій, какъ о единственной инстанціи для сужденія объ историческихъ явленіяхъ, и какъ издѣвались надъ нами за требованіе нравственнаго суда. А теперь г. Бердяевъ пишетъ: „Генетическая точка зрѣнія, которою особенно гордится историческій матеріализмъ, отходитъ для г. Михайловскаго на второй планъ, но онъ особенно напираетъ на важную мысль, оставленную историческимъ матеріализмомъ въ тѣни, что оцѣнивать явленія нельзя по категоріи необходимости и что этическая точка зрѣнія самостоятельна"(45). „Мы еще разъ подчеркиваемъ наше полное согласіе съ тою мыслью г. Михайловскаго, что всякій человѣкъ долженъ давать нравственную оцѣнку соціальнымъ явленіямъ" (61). Отъ нашихъ обвиненій въ фатализмѣ съ негодованіемъ отмахивались, какъ отъ клеветы, а нынѣ г. Бердяевъ „долженъ сознаться, что нѣкоторые ученики Маркса даютъ поводъ къ фаталистическому истолкованію своихъ воззрѣній, вслѣдствіе неразработанности философскихъ основъ" (114). Лич-

зрѣнія Маркса значитъ совершать невозможную операцію, обнаруживающую большую путаницу понятій" (256—257). Другими словами: экономика и соціологія Маркса такъ тѣсно связаны между собою, что „народники" должны принимать или отвергать ихъ цѣликомъ, ну а гг. Струве и Туганъ-Барановскій совсѣмъ иное дѣло, —они могутъ „глубоко переработать", или и совсѣмъ отринуть экономику, оставляя во всей неприкосновенности геніальную соціологію...—и никакой путаницы понятій при этомъ не обнаружатъ...

ность, индивидуальность презиралась новымъ міросозерцаніемъ (*тогда*, лѣтъ пять-шесть тому назадъ новымъ, а теперь оно уже состарѣлось). А нынѣ „нельзя отрицать, что въ индивидуализмѣ есть что-то привлекательное для человѣка, что-то вѣчное, и что въ извѣстномъ смыслѣ духъ индивидуализма является лучшимъ продуктомъ общественнаго развитія и никогда не умретъ“ (175). И „г. Михайловскій глубоко правъ, отстаивая нравственную автономію человѣческой личности, хотя бы весь міръ посягалъ на нее“ (232). Намъ предлагали, съ позволенія сказать, плюнуть на мужика, въ виду его безнадежнаго „деревенскаго идіотизма“. А теперь г. Бердяевъ пишетъ: „Мы можемъ признавать свое безсиліе въ аграрномъ вопросѣ, но мы должны нравственно протестовать противъ хищническихъ сторонъ того процесса, который совершается въ крестьянской жизни“ (229). Это указаніе на законность нравственнаго протеста даже при сознаніи своего безсилія очень интересно, и тѣмъ интереснѣе, что почти буквально тѣми же словами г. Бердяевъ говоритъ и о такихъ сферахъ, которыя до послѣдняго времени составляли предметъ исключительнаго вниманія марксистовъ: „Мы прекрасно видимъ отрицательныя хищническія стороны развитія капитализма, нравственно протестуемъ противъ нихъ всегда, но фактически далеко не всегда въ силахъ что-нибудь съ ними подѣлать“ (138).

Все это частности, при томъ взятыя въ безпорядкѣ изъ разныхъ мѣстъ книги гг. Бердяева и Струве. Но хотя уже и тутъ есть указанія на мои заблужденія и „гносеологическую ложь“, а всетаки, перечитывая эти мѣста, я чувствую, что почтенные авторы немножко рано торопятся зарыть меня въ могилу. Недаромъ г. Бердяевъ упрекаетъ г. Ильина (и далеко не одного его, конечно) за то, что онъ „слишкомъ склоненъ разрывать связь съ людьми 70-годовъ“ (264)

Г. Бердяевъ вспоминаетъ, что я еще въ 1878 г. предсказалъ появленіе „учениковъ“, которыхъ тогда и въ поминѣ не было. Поощряемый этою удачею, беру на себя смѣлость сдѣлать другое предсказаніе: въ непродолжительномъ времени (и, надѣюсь, до моей настоящей смерти) идеи 70-хъ годовъ вновь объединятъ значительную и, конечно, не худшую часть русскаго общества,—разумѣется, не въ буквальномъ своемъ повтореніи, а со всѣми тѣми поправками, которыхъ требуетъ пережитый съ тѣхъ поръ опытъ. Останутся островки, гдѣ среди громкозвучной тишины декаденты будутъ фіолетовыми руками воздѣлывать разноцвѣтную ерунду; гдѣ привьется худшая сторона ничшеанства и всякая мразь будетъ ходить го-

големъ, воображая себя сверхъ-человѣкомъ; гдѣ сохранится горсть „ортодоксовъ“: гдѣ, наконецъ, среди метафизическихъ тумановъ дружески обнимутся г. Волынскій и гг. Струве и Бердяевъ. Но все это будутъ только „инсулярныя положенія“, безъ вліянія на главное русло мысли.

Отнюдь не думаю приписывать себѣ какую нибудь важную роль въ этомъ поворотѣ,— ни себѣ лично, ни даже всей той группѣ, къ которой имѣю честь принадлежать. Мы старались только по мѣрѣ силъ сохранить тотъ священный огонь, который сами получили отъ своихъ предшественниковъ, только спасти его отъ разнообразныхъ вѣтровъ, грозившихъ загасить его въ пустынѣ мысли послѣднихъ двухъ десятилѣтій. Главную-же роль въ поворотѣ сыграла, какъ и всегда у насъ, европейская литература. Волна ортодоксальнаго марксизма еще только добѣгала до отдаленныхъ окраинъ нашего обширнаго отечества, когда въ Европѣ уже пошли „пошлые“, по мнѣнію г. Бердяева, разговоры о „кризисѣ“, о „концѣ“, о „разложеніи“ марксизма. И не пошлые это разговоры. Уже потому не пошлые, что въ нихъ принимаютъ участіе люди ни какъ не меньше гг. Струве и Бердяева ростомъ, и потому еще, что надломъ вѣры въ марксизмъ, какъ въ цѣльное и единоспасающее міросозерцаніе, не можетъ произойти „безъ борьбы, безъ думы роковой“. Г. Струве называетъ меня идеалистической душой, которая всю жизнь билась въ тѣсной клѣткѣ позитивизма. Не думаю, чтобы это было вѣрно, потому что широкая брешь въ клѣткѣ позитивизма была для меня открыта съ самаго начала моей литературной дѣятельности. Но достовѣрно, что книга самихъ гг. Бердяева и Струве есть прямое отраженіе той тоски по идеалу, которою заболѣли нѣкоторыя европейскія души, долго бившіяся въ клѣткѣ марксизма, возведеннаго въ степень цѣлаго міроразумѣнія. Я не говорю, чтобы эта тоска была прежде чужда всѣмъ русскимъ марксистамъ, но выразить, заявить ее они посмѣли, только получивъ разрѣшеніе изъ Европы. Кромѣ этого обычнаго у насъ и имѣющаго за себя извѣстныя оправданія идолопоклонства передъ послѣднимъ словомъ европейской мысли, для такого укрывательства или даже подавленія своихъ идеаловъ была и другая причина: утомленіе. За приливомъ энергіи въ 60-хъ и 70-хъ годахъ наступилъ вполнѣ объясняемый обстоятельствами отливъ ея и понадобился „отказъ отъ наслѣдства“ и какой нибудь успокаивающій, примиряющій съ дѣйствительностью лозунгъ. Не одинъ такой лозунгъ и былъ предложенъ, но окончательно укрѣпился лозунгъ

марксизма. Въ высшей степени типично выражается соотвѣтственное настроеніе въ слѣдующихъ словахъ одного изъ героевъ повѣсти Повѣтріе" (г. Вересаева): „Пора перестать судить о явленіяхъ дѣйствительности съ точки зрѣнія нашихъ идеаловъ... Жизнь развивается по своимъ законамъ, не справляясь съ нашими идеалами; нечего и приставать къ ней съ этими идеалами; нужно принять тѣ, которые диктуетъ сама дѣйствительность." И въ самомъ словѣ „идеалъ" звучало что-то презрительное, а дѣйствительность со всѣми ея лютыми горями и неправдами принималась, какъ нѣчто данное, опредѣляемое непреоборимыми законами природы и историческаго развитія. Ну, а бороться съ непреоборимымъ—безумно.

Я отнюдь не хочу сказать, чтобы всѣ, воспринявшіе „новое слово", были трусы, лѣнтяи, эгоисты или баричи, желающіе смотрѣть на драму дѣйствительности, изящно облокотясь на обитый бархатомъ барьеръ ложи. Были, конечно, и такіе, но не таково было настроеніе большинства увлеченныхъ новымъ словомъ. Идеалъ жилъ въ ихъ душѣ, но они его не только отъ людей, а и отъ самихъ себя прятали, ибо доктрина, вспомоществуемая противоестественною связью законосообразности общественныхъ явленій съ гегелевской діалектикой, учила, что идеалъ самъ собой, естественнымъ ходомъ вещей осуществится въ болѣе или менѣе близкомъ, болѣе или менѣе далекомъ будущемъ. Его вынесутъ на своихъ плечахъ ряды новыхъ людей труда, которые выдвинутся на арену исторіи, а мы, интеллигенція, мы—quantité négligeable, мы—ничтожество, которое не имѣетъ ни права, ни основанія произносить свой нравственный судъ надъ явленіями общественной жизни. Обстоятельства очень способствовали укрѣпленію у насъ этого взгляда. И вотъ, хотя увѣренность въ осуществленіи идеала была дѣломъ вѣры и надежды, а отнюдь не знанія, оно, это якобы знаніе, закрыло собою весь духовный горизонтъ увлеченныхъ... Изъ трехъ элементовъ человѣческаго духа одинъ—разумъ—получалъ, повидимому, полное удовлетвореніе и на алтарѣ этого божка приносились въ жертву остальные два—чувство и воля. Ихъ алканія и запросы отвергались—не скажу съ убійственною, но съ комически гордою ироніей. Чувство?—но, говоря очень наивными и безграмотными, однако и очень типичными выраженіями великолѣпнаго марксистскаго поэта: „да будемъ рабами мы знанья, научимся чувство уму покорять". Воля?—но хотятъ люди или не хотятъ, а историческій ходъ вещей влечетъ ихъ въ извѣстную сторону и мы знаемъ—въ какую. Сообразно этому третировалась „идеологія"

политика, право, этика объявлялись неприкосновенными для рукъ человѣческихъ, не въ силу какой нибудь своей священности, а потому, что всякая идеологія составляетъ производную отъ основной сущности историческаго процеса и въ каждую данную минуту соотвѣтствуетъ извѣстному экономическому укладу, извѣстнымъ формамъ производства и обмѣна. Этимъ опредѣлилась и область фактовъ, подлежащихъ изученію, фактовъ, знаніе которыхъ необходимо. Съ похвальнымъ усердіемъ изучались экономическіе факты, интересно было связать ту или другую подробность идеологической надстройки съ положеніемъ экономическаго фундамента въ данное время (при чемъ не только у насъ, а и въ европейской литературѣ дѣлались натяжки, передъ которыми самъ Энгельсъ только руками разводилъ), а все остальное, весь міръ, весь огромный міръ оставался внѣ кругозора увлеченныхъ. Есть анти-Дюрингъ Энгельса, есть книжка г. Бельтова, гдѣ при помощи гегелевской діалектики разъясненъ весь міровой процессъ во всей его обширности и во всѣхъ деталяхъ, и этого довольно: въ эту обширность у насъ мало кто и заглядывалъ, больше на слово повѣрили...

Конечно, это было не *міро*пониманіе, не *міро*разумѣніе или *міро*созерцаніе. Это была именно тѣсная клѣтка, которая могла имѣть свои достоинства, какъ извѣстный уголокъ міросозерцанія, но въ которой нечего было искать отвѣтовъ на всѣ вопросы, волнующіе душу современнаго человѣка. Вслѣдъ за европейскими писателями гг. Бердяевъ и Струве это поняли. Но, пробивая въ своей клѣткѣ отдушину, они разбили, отдали „на сломъ", какъ говоритъ г. Струве, и самую клѣтку. И если бы они даже совершенно разбили мой „субъективизмъ и индивидуализмъ", то, во-первыхъ, они не спасли бы этимъ ими же разбитый марксизмъ, а во-вторыхъ, я — и признавая себя побѣжденнымъ, всетаки не пошелъ бы за ними. Почему — выяснится изъ продолженія нашей сегодняшней бесѣды.

XIX *).

Продолженіе о книгѣ г. Бердяева съ предисловіемъ г. Струве и о себѣ самомъ.—Кончина В. А. Манассеина.

Книга гг. Бердяева и Струве, имѣющая цѣлью на словахъ обновить марксизмъ, а въ сущности разрушить его и начать противъ индивидуализма и субъективизма кампанію съ совершенно новой и, какъ говоритъ въ одномъ мѣстѣ г. Бердяевъ, не обыкновенной точки зрѣнія, — книга эта затрогиваетъ такое множество важныхъ вопросовъ, что по ней глаза разбѣгаются. Попробуемъ начать съ слѣдующаго замѣчанія г. Бердяева:

„Г. Михайловскій призываетъ личность бороться съ историческимъ процессомъ во имя своего идеала, но онъ нигдѣ не говоритъ о томъ—можетъ-ли личность разсчитывать на побѣду... Скептическая нотка всюду звучитъ у г. Михайловскаго, онъ не ручается за то, что именно личность побѣдитъ естественный ходъ вещей, а не наоборотъ... Его „соціологія“ практически безплодна, она не можетъ дать намъ радостнаго прогноза“ (99—100).

Это очень любопытное замѣчаніе. Г. Бердяеву во что бы то ни стало нуженъ „радостный“ прогнозъ. Казалось-бы, послѣдовательному объективисту нуженъ только прогнозъ, а будетъ-ли онъ радостный или горестный или колебательный, условный,—это уже само изслѣдованіе покажетъ. Иначе г. Бердяеву придется направить по своему собственному адресу упрекъ, такъ часто и такъ неосновательно обращаемый къ субъективистамъ: вы видите въ исторіи и вообще въ дѣйствительности только то, что ходите видѣть, да еще возводите этотъ свой произволъ въ принципъ. А если истина печальна?

Если истина печальна, то, напримѣръ, Шопенгауэръ безстрашно

*) Февраль 1901 г.

признаетъ ее, а Ничше выразилъ желаніе „погибнуть на великомъ невозможномъ“. Но не всѣмъ-же быть мрачными Шопенгауэрами или героически настроенными Ничше. Съ точки зрѣнія нобходимости радостнаго прогноза надо покрасить печальную истину по возможности въ розовый цвѣтъ, надо ее такъ замаскировать или обставить, чтобы она оказалась либо совсѣмъ не печальною, либо чреватою радостными послѣдствіями. Едва-ли подобные пріемы заслуживаютъ названія объективизма, но къ нимъ очень часто прибѣгаютъ люди, „гордые своимъ непреклоннымъ объективизмомъ“, какъ выразился о своихъ единомышленникахъ одинъ русскій марксистъ. Я не то хочу сказать, что они намѣренно извращаютъ истину, но таковъ ужъ складъ ума людей, требующихъ непремѣнно радостнаго прогноза.

Имъ непремѣнно нуженъ веселый, пріятный конецъ жизненной драмы или чтобы добродѣтель торжествовала, а порокъ былъ наказанъ и т. п. Нуженъ имъ такой конецъ, пожалуй, и какъ цѣль, къ которой слѣдуетъ стремиться, ради которой стоитъ жить и умирать, и бороться, но главнымъ образомъ, какъ нѣчто предуказываемое внѣшними могучими силами — естественнымъ ходомъ вещей, имманентными законами общественной жизни, волею провидѣнія, процессомъ саморазвивающейся идеи и т. д. Онѣ, эти внѣшнія силы, или помогутъ имъ бороться за идеалы, или даже безъ всякихъ съ ихъ стороны усилій приведутъ все къ наилучшему концу. И когда все небо заволакивается мрачными тучами, они ликуютъ и жмурятся отъ ослѣпительнаго солнечнаго блеска, и дѣйствительно слѣпнутъ, то-есть не видятъ того, что у нихъ подъ носомъ и на ихъ спинахъ дѣлается. Вотъ почему, напримѣръ, д-ръ философіи М. М. Филипповъ не можетъ понять столкновенія нравственнаго чувства съ необходимостью, при чемъ побѣда окажется, конечно, на сторонѣ необходимости. А вѣдь, казалось бы, сколько великихъ художественныхъ произведеній, этихъ вдохновенныхъ отраженій дѣйствительности, построено именно на этомъ конфликтѣ между нравственнымъ чувствомъ героя и внѣшними силами, необходимо обрекающими его на гибель. И сколько такихъ трагедій каждый изъ насъ знаетъ въ самой жизни...

Но Богъ съ нимъ, съ г. Филипповымъ. Есть люди радостнаго прогноза неизмѣримо крупнѣе этого д-ра философіи.

„Было время, когда переходъ къ рабскому хозяйству былъ прогрессомъ, обозначалъ наростаніе соціальной среды, производитель-

ныхъ силъ общества, хотя теперь для насъ рабство не только субъективно отвратительно, но есть также объективный признакъ слабости человѣка". Такъ говоритъ г. Бердяевъ (130) и въ примѣчаніи прибавляетъ: „Г. Михайловскій никакъ не можетъ переварить подобнаго объективизма; его возмущаютъ разсужденія Энгельса о рабствѣ, хотя они теперь повторяются всякимъ историкомъ культуры".

Позволю себѣ мимоходомъ замѣтить, что выраженіе „повторяются" не совсѣмъ умѣстно въ данномъ случаѣ, потому что многіе историки культуры вполнѣ независимо отъ Энгельса и раньше его, своимъ умомъ дошли до положенія, котораго держится въ лицѣ Энгельса экономическій или историческій матеріализмъ. Затѣмъ, если даже допустить, что *всякій* историкъ культуры дѣйствительно раздѣляетъ мнѣніе Энгельса, то его всетаки не раздѣляетъ „замѣчательнѣйшій критикъ соціальнаго матеріализма", какъ г. Бердяевъ называетъ Штаммлера. Штаммлеръ говоритъ: „Людоѣдство и рабство ни въ какомъ случаѣ не могутъ быть справедливыми. Если на невольничество смотрѣли иначе, ссылаясь на то, что только при его помощи могла быть достигнута высшая степень культуры, то это лишь печальное заблужденіе. Нельзя считать достиженіемъ высшей культуры то состояніе, при которомъ отдѣльныя личности или классы достигаютъ высшихъ духовныхъ наслажденій, благодаря тому, что другіе должны совершенно отказаться отъ человѣческаго достоинства" („Хозяйство и право съ точки зрѣнія матеріалистическаго пониманія исторіи", русскій переводъ, 166).

Но припомнимъ, въ чемъ состоитъ разсужденіе Энгельса о рабствѣ, которое (разсужденіе) г. Струве объявилъ „классическимъ примѣромъ объективности и историчности экономическаго матеріализма" („Критическія замѣтки къ вопросу объ экономическомъ развитіи Россіи", 65). „Только рабство - говоритъ Энгельсъ — дало возможность провести въ крупномъ масштабѣ раздѣленіе труда между земледѣліемъ и промышленностью и такимъ образомъ создало цвѣтъ античнаго міра—греческую культуру. Безъ рабства не было бы греческаго государства, не было бы греческаго искусства и греческой науки. Безъ рабства не было бы римскаго государства, а безъ греческой культуры и римскаго государства не существовало бы современной Европы. Мы не должны никогда забывать, что все наше экономическое, политическое и интеллектуальное развитіе предполагаетъ состояніе въ которомъ рабство было необходимостью и

пользовалось всеобщимъ признаніемъ. Поэтому, мы имѣемъ право сказать: безъ античнаго рабства не было бы современнаго соціализма".

Я спрашивалъ г-на Струве и теперь спрашиваю г. Бердяева: при чемъ тутъ объективность? На безмѣрно огромномъ полѣ исторіи совершенно произвольно намѣчены двѣ точки: античное рабство и современный соціализмъ—и соединены прямою линіей. Обратите при этомъ вниманіе, какое множество явленій огромной важности оставлено внѣ этой линіи и соединяемыхъ ею точекъ. Во-первыхъ, рабству предшествовало людоѣдство, на раннихъ стадіяхъ историческаго процесса не вполнѣ имъ вытѣсняемое. Далѣе, если на античномъ рабствѣ и выросла блестящая греческая культура, изъ которой черезъ Римъ развилась современная Европа, то мы знаемъ множество случаевъ, когда рабство такихъ результатовъ не давало, какъ въ Ассиріи, Вавилонѣ, Персіи, да и нынѣ не даетъ, напримѣръ, въ Африкѣ. Затѣмъ „всеобщимъ признаніемъ" рабство едва ли когда-нибудь и гдѣ-нибудь пользовалось. Оно пользовалось признаніемъ лишь рабовладѣльцевъ, да и то, напримѣръ, Аристотель, считая его необходимымъ, утверждалъ, однако, что оно противно человѣческой природѣ, а длинный рядъ возстаній рабовъ — греческихъ, римскихъ и почти современныхъ сѣверо-американскихъ, кровавыми чертами записанныхъ въ исторіи, конечно, не говоритъ о „всеобщемъ признаніи". Наконецъ, на античномъ рабствѣ не только греческая наука и искусство выросли, а и многое другое, оставленное Энгельсомъ внѣ прямой линіи, соединяющей двѣ выбранныя имъ историческія точки. И то же самое должно сказать о „римскомъ государствѣ" и „современной Европѣ" и обо „всемъ нашемъ экономическомъ, политическомъ и интеллектуальномъ развитіи". Въ этихъ слишкомъ общихъ словосочетаніяхъ заключается сложнѣйшая сѣть идей и фактовъ, изъ которой Энгельсъ спеціально отмѣчаетъ только одно явленіе—„современный соціализмъ". Но вѣдь соціализмомъ, какъ бы мы къ нему ни относились, не исчерпываются же современная Европа и все наше экономическое, политическое и интеллектуальное развитіе. Мы знаемъ, напримѣръ, что существуетъ колоніальная политика, въ настоящую минуту поглощающая тысячи человѣческихъ жизней и милліарды денегъ въ южной Африкѣ и въ Китаѣ. Знаемъ страшные размѣры, принятые въ современной Европѣ милитаризмомъ, знаемъ не менѣе страшный ростъ международной ненависти, проституціи, самоубійствъ...

Останавливаюсь не потому, конечно, что затрудняюсь найти еще какія-нибудь явленія, оставленныя Энгельсомъ безъ вниманія по

обѣ стороны прямой линіи, соединяющей античное рабство съ современнымъ соціализмомъ, а просто потому, что надо же на чемъ-нибудь кончить. При томъ я нечаянно употребилъ слово *страшный* и испугался—не будетъ ли это сочтено признакомъ субъективнаго отношенія къ дѣйствительнсти, а я хочу на этотъ разъ быть вполнѣ объективнымъ, чтобы имѣть право спросить г. Бердяева—въ чемъ же состоитъ объективизмъ разсужденія Энгельса о рабствѣ? Рѣчь идетъ, какъ справедливо указываетъ г. Бердяевъ, о прогрессѣ, объ улучшеніи. И вотъ соціалистъ Энгельсъ видитъ въ античномъ рабствѣ улучшеніе, собственно, потому, что безъ этого рабства „не было бы современнаго соціализма". При этомъ онъ отгораживаетъ свои умственныя очи наглазниками отъ множества современныхъ явленій, которыя точно такъ же, и даже гораздо лучше, можно связать съ античнымъ рабствомъ, но которыя его. Энгельса, одобренія не заслуживаютъ, которыя, по просту говоря, ему не нравятся. Конечно, это наивнѣйшій субъективизмъ, совсѣмъ даже не хитро выглядывающій „изъ-подъ таинственной холодной полу-маски" строго объективнаго отношенія къ исторической дѣйствительности... „Классическій примѣръ объективности и историчности экономическаго матеріализма" есть не больше, какъ примѣръ наивнаго самодовольства и самовлюбленности. Какъ миѳическій Нарцисъ, плѣненный своею красотою, не хотѣлъ ничего видѣть, кромѣ собственнаго отраженія въ водѣ (за отсутствіемъ въ тѣ времена зеркала), такъ и Энгельсъ закрываетъ глаза на все въ современной Европѣ и въ нашемъ экономическомъ, политическомъ и интеллектуальномъ развитіи,—кромѣ исповѣдуемаго имъ ученія. И поистинѣ изумительна эта слѣпота. Книга Энгельса, содержащая вышеизложенный „объективный" взглядъ на рабство, появилась въ годъ изданія исключительнаго закона противъ нѣмецкихъ соціалистовъ (1878), въ годъ берлинскаго конгресса, когда не остывшая еще отъ франко-прусской войны и разгрома парижской коммуны Европа только что закончила еще одну страшную трагедію. Казалось бы, эти явленія тоже могутъ быть приведены въ связь съ античнымъ рабствомъ въ томъ самомъ смыслѣ и въ тѣхъ самыхъ выраженіяхъ, какъ это дѣлаетъ Энгельсъ относительно современнаго соціализма; однако, онъ не упоминаетъ о нихъ, они у него закутаны въ туманной общей формулѣ „нашего экономическаго, политическаго и интеллектуальнаго развитія", въ которой блеститъ только одна гипнотизирующая его точка.

Можетъ быть, Энгельсу слѣдовало поставить вопросъ совсѣмъ

иначе. Можетъ быть, онъ долженъ бы былъ сказать, что дорогія ему идеи и соотвѣтственные факты пробились, не благодаря античному рабству, дыханіе котораго доселѣ слышится въ исторіи, а напротивъ—не смотря на него, вопреки ему. Но дѣло въ томъ, что съ послѣдовательно проведенной марксистской точки зрѣнія никакія „не смотря“ и „вопреки“ не имѣютъ мѣста. Все, когда-либо бывшее, есть одна изъ необходимыхъ подготовительныхъ ступеней къ осуществленію даннаго идеала, и выводъ этотъ основывается на объективномъ знаніи, утверждаютъ сторонники ученія...

На этотъ счетъ у Паульсена есть хорошая страница, которую я позволю себѣ привести.

„Идеалъ будущаго—говоритъ Паульсенъ („Введеніе въ философію“, 2-е изданіе, 330)—всюду служитъ твердой точкой, изъ которой исходитъ толкованіе исторіи. Отсюда опредѣляются точки прошедшаго, имѣющія руководящее значеніе, и черезъ эти точки проводится потомъ та кривая, которую описываетъ ходъ исторической жизни. Поэтому, всякое новообразованіе тотчасъ же начинаетъ „переоцѣнку историческихъ цѣнностей“; оно нуждается въ ней для своей философіи исторіи. Припомните возрожденіе, реформацію, французскую революцію, національный союзъ и новую нѣмецкую исторію на прусской почвѣ: каждое новообразованіе, переоцѣнивая историческія цѣнности, увѣряетъ себя въ своей собственной внутренней необходимости. Такъ пріобрѣтаетъ теперь увѣренность въ себѣ соціализмъ. Что представлялось когда-то людямъ великимъ и важнымъ: тезисы Лютера, Лейпцигскій или Седанскій день—то, разсматриваемое съ новой точки зрѣнія, сокращается въ совершенно заурядное будничное событіе. Напротивъ, какое-нибудь событіе, едва замѣченное другими—коммунистическій манифестъ Маркса, основаніе Лассалемъ общаго союза рабочихъ и т. д.—пріобрѣтаетъ значеніе событія, дѣлающаго эпоху во всемірной исторіи. Старое стремленіе всякой новой партіи создать себѣ свое собственное лѣтосчисленіе, новый календарь съ новыми святыми, снова выступаетъ передъ нами и здѣсь. Насколько нелѣпа кажется новая оцѣнка вѣрующимъ стараго строя, настолько же внушающей довѣріе представляется она своимъ собственнымъ вѣрующимъ; только одному не хотятъ они вѣрить: именно тому, что то, на чемъ покоится ихъ воззрѣніе на вещи, есть *вѣра*, а *не знаніе*: вѣдь мы же, говорятъ они, совершенно ясно видимъ, что исторія движется въ направленіи къ этой цѣли; „наука“ есть третье слово соціалъ-дем

кратіи. Конечно, вы становитесь у цѣли: какъ же могло бы теперь не казаться, что и исторія движется по направленію къ вамъ? Но то, что поставило васъ на этотъ пунктъ, есть не наука, а любовь и ненависть, желаніе и отвращеніе,—не разсудокъ, а воля. Кто не раздѣляетъ вашей любви и вашей ненависти, вашихъ надеждъ и идеаловъ, тому вы не сможете доказать истинность вашего воззрѣнія. Вы можете сослаться только на будущее, а въ томъ-то и дѣло, что будущее открыто только вѣрѣ, а не знанію".

Г. Бердяевъ можетъ сказать, что разсужденіе Паульсена къ нему совершенно не относится, потому что онъ не только на науку, на „знаніе" опирается. Дѣйствительно, г. Бердяевъ лишенъ простодушія тѣхъ марксистовъ, которые еще недавно утверждали, что они обладаютъ „универсальнымъ принципомъ", могущимъ служить солиднымъ базисомъ для общественной дѣятельности", и что „принципомъ этимъ является не только признаніе законосообразности историческаго процесса, но и опредѣленное представленіе о его направленіи", а, дескать, больше ничего и не требуется. Г. Бердяевъ понимаетъ, что требуется еще кое что, и даже очень многое. Правда, и онъ „гордится не столько своими идеальными стремленіями, сколько своимъ научнымъ прогнозомъ" (63). Но, независимо отъ этого „научнаго" (онъ же и „радостный") прогноза, онъ ищетъ для себя и другихъ опоръ, внѣ науки, какъ систематизированнаго объективнаго знанія. Онъ говоритъ: „Мы съ гордостью употребляемъ выраженіе „научный идеалъ", забывая, что логически это сочетаніе не лучше „субъективнаго метода". Научнымъ можетъ быть только предвидѣніе будущаго, идеалъ же будущаго, нашъ порывъ къ правдѣ и справедливости—все это категоріи, принципіально отличныя отъ научныхъ" (64). Высказавъ это положеніе, г. Бердяевъ замѣчаетъ, что многіе изъ его единомышленниковъ „вѣроятно не согласятся съ такою постановкою вопроса и сочтутъ ее непозволительною ересью". Но, чтобы хоть нѣсколько успокоить правовѣрныхъ, онъ спѣшитъ прибавить: „мы всетаки рискнемъ развить этическую точку зрѣнія и постараемся показать, что она очень отличается отъ *обыкновенной* этической точки зрѣнія на соціальныя явленія, которая смертельно всѣмъ надоѣла у нѣмецкихъ катедеръ-соціалистовъ и русскихъ субъективистовъ". Не знаю, соблазнился ли кто-нибудь изъ правовѣрныхъ *необыкновенною* точкою зрѣнія г. Бердяева, но во всякомъ случаѣ

требованіе самостоятельной этической оцѣнки явленій дѣйствительности, независимо отъ изслѣдованія ихъ причинной связи,—громко заявляется, какъ г. Бердяевымъ, такъ и г-мъ Струве.

Привѣтствую это рѣшеніе къ которому, въ виду его элементарности, давно пора было бы придти, не мороча простодушныхъ людей нелѣпою мыслью, будто законъ причинности есть единственная инстанція для сужденія о явленіяхъ исторіи и текущей жизни. Но лучше поздно, чѣмъ никогда, и надо надѣяться, что хоть ради „необыкновенной" этической точки зрѣнія, предлагаемой г. Бердяевымъ, намъ скоро будетъ разрѣшено называть мерзость не только необходимымъ слѣдствіемъ извѣстной причины, а и мерзостью, то есть судить о вещахъ сообразно нашимъ понятіямъ о добрѣ и злѣ. Разумѣю разрѣшеніе не начальства, которое не всегда согласно съ нашимъ пониманіемъ добра и зла, съ чѣмъ намъ поневолѣ приходится мириться, а собратовъ — „учениковъ": они вѣдь еще, можно сказать, на дняхъ всей силой доступнаго имъ остроумія обрушивались на всякую попытку нравственнаго суда надъ дѣйствительностью,—она есть дѣйствительность, неразрушимою причинною цѣпью скованная съ прошлою дѣйствительностью и дѣйствительностью грядущею, и этого довольно. Въ сущности этотъ „непреклонный объективизмъ" былъ маской, которую они носили, впрочемъ, совершенно безсознательно и ненамѣренно. Нельзя же въ самомъ дѣлѣ видѣть очень непреклонный объективизмъ, напримѣръ, хоть бы въ томъ же разсужденіи Энгельса о рабствѣ, какъ объ „улучшеніи", со ссылкой на „всеобщее признаніе", которымъ будто бы этотъ институтъ пользовался. Все дѣло тутъ было въ „радостномъ" прогнозѣ, который, дескать, есть вмѣстѣ съ тѣмъ и „научный" прогнозъ. Потребность нравственнаго суда была на лицо, но она маскировалась увѣренностью, что если и не все превосходно въ нашемъ лучшемъ изъ міровъ, то *научно* доказано грядущее произрастаніе добра изъ зла.

Съ этой стороны, какъ ни пріятно отмѣтить у г. Бердяева (и у г. Струве) поворотъ въ сторону самостоятельнаго нравственнаго суда надъ дѣйствительностью, вышеприведенныя замѣчанія Паульсена остаются по отношенію къ нимъ во всей своей силѣ. Тщетно будете вы искать у нихъ „научнаго" доказательства воодушевляющаго ихъ прогноза. Г. Струве, кажется, объ этомъ и не думаетъ, всецѣло занятый полетомъ въ надзвѣздныя сферы метафизики, а г. Бердяевъ, хотя и говоритъ о научномъ прогнозѣ и даже разрѣшаетъ себѣ „сохранить выраженіе „научный идеалъ", не смотря на логическую

неправильность" (64),—но доказательствъ у него нѣтъ. Онъ даже не потрудился хоть мелькомъ коснуться тѣхъ многочисленныхъ критическихъ замѣчаній именно о ненаучности прогноза, какихъ нынѣ накопилось такъ много. Хотя онъ и „гордится не столько своими идеальными стремленіями, сколько своимъ научнымъ прогнозомъ", но ни малѣйшаго оправданія этой гордости не предъявляетъ: и поистинѣ *„вѣра, а не знаніе* есть то, на чемъ покоится его воззрѣніе на вещи". Большая сила—вѣра, она, говорятъ, даже горами двигаетъ, но именно потому, что она сама по себѣ такая большая сила, ее отнюдь не полагается подмѣнивать другой большой силой—знаніемъ, или, наоборотъ, знаніе подмѣнивать вѣрой.

Какъ говоритъ Вернеръ Зомбартъ,—кстати сказать, весьма уважаемый гг. Бердяевымъ и Струве,—можно доказать необходимость возникновенія того идеала, который воодушевляетъ марксистовъ, но эту необходимость „не надо смѣшивать съ необходимостью его осуществленія. Чтобы доказать вторую необходимость, требуется еще цѣлый рядъ соображеній... Къ тому же мнѣ кажется сомнительнымъ, возможно ли вообще такое научное обоснованіе" („Соціализмъ и соціальное движеніе въ XIX вѣкѣ", приложеніе къ книгѣ Уоллеса „Чудесный вѣкъ", стр. 68).

Поучительны для насъ еще слѣдующія разсужденія Зомбарта:

„Между марксистами распространилось мнѣніе, что соціальная эволюція тождественна съ естественнымъ процессомъ, независимымъ отъ дѣйствій людей, и что, поэтому, люди могутъ спокойно сидѣть сложа руки и выжидать, пока плодъ эволюціи созрѣетъ, чтобы сорвать его. Это фаталистическое и, какъ мнѣ кажется, псевдомарксистское пониманіе ничего общаго не имѣетъ съ духомъ эволюціоннаго принципа. Оно совершенно упускаетъ изъ виду, что все то, что разыгрывается въ соціальной жизни, само собою разумѣется, происходитъ между живыми людьми, и что сами люди дѣлаютъ свою эволюцію, ставя себѣ цѣли и стремясь къ ихъ осуществленію... Соціальное развитіе есть постольку необходимый процессъ, поскольку теоретикъ выводитъ перемѣны въ жизни изъ мотивовъ дѣйствующихъ личностей, какъ необходимое слѣдствіе этихъ мотивовъ, а самые мотивы, въ свою очередь, стремится понять въ ихъ обусловленности и необходимости... Теоретикъ видитъ въ самой цѣли слѣдствіе опредѣленной причины, нѣчто, долженствующее быть достигнутымъ въ будущемъ съ помощью воли. Сама же воля есть звено въ причинной цѣпи, охватывающей соціальныя явленія; но ка-

кова бы ни была ея необходимость, она всетаки составляетъ неотъемлемое субъективное свойство дѣйствующей личности. Если, такимъ образомъ, теоретикъ разсматриваетъ опредѣленныя направленія воли, а вмѣстѣ съ ними опредѣленный ходъ развитія соціальной жизни въ ихъ необходимости, то это всегда происходитъ съ само собой подразумѣвающимся ограниченіемъ, при предположеніи, что дѣйствующая личность будетъ обладать энергіей принимать рѣшенія и стремиться къ ихъ осуществленію. Если же вслѣдствіе какихъ-либо причинъ, хотя бы, напр., вслѣдствіе господства фаталистическаго взгляда, эта энергія уменьшится, то вмѣстѣ съ тѣмъ выпадетъ и важнѣйшее звено причинной цѣпи, и развитіе приметъ совершенно иное направленіе. Совершенно неправильно переносить понятіе естественнаго процесса природы на соціальныя явленія и утверждать, напримѣръ, что соціализмъ неизбѣжно долженъ наступить съ „необходимостью закона природы". Это невѣрно. Непонятно, напримѣръ, почему развитіе капитализма не можетъ привести къ гибели всей современной культуры? И оно дѣйствительно привело бы къ этому результату, если бы носители прогресса не проявили въ періодъ переворота соціальной жизни качествъ, необходимыхъ для новаго общественнаго строя, если бы они, положимъ, впали въ деморализующій квіетизмъ" (ibid, 96—98).

Намъ такъ часто, такъ сердито говорили, что мы клевещемъ на „учениковъ", упрекая ихъ въ фатализмѣ. Оказывается, однако, что этотъ грѣхъ водится и за европейскими марксистами, а тѣмъ болѣе за нашими, которые стараются копировать европейскихъ: это и отмѣчаетъ такой умный и безпристрастный поклонникъ—но не идолопоклонникъ — Маркса, какъ Зомбартъ. Какъ, впрочемъ, мы видѣли въ прошлый разъ, обстоятельство это не ускользнуло отъ вниманія г. Бердяева. Только онъ, по свойственной ему по отношенію къ правовѣрнымъ мягкости, выразился такъ: „Нѣкоторые ученики Маркса даютъ поводъ къ фаталистическому истолкованію своихъ воззрѣній". На упреки въ фатализмѣ „ученики" обыкновенно отвѣчали либо голымъ отрицаніемъ: нѣтъ, молъ, мы не фаталисты, либо такимъ возраженіемъ: да кто же не знаетъ, что исторію дѣлаютъ люди? —Вѣрно, что это всѣ знаютъ, знаете и вы, но эта всѣмъ извѣстная истина не оказываетъ (и не оказывала) никакого вліянія на ходъ вашей мысли. „Радостный прогнозъ" г. Бердяева весь построенъ на вѣрѣ въ естественный ходъ вещей который неизбѣжно приведетъ человѣчество къ счастію, хотя онъ и знаетъ, что „въ соціальную законосообраз-

ность цѣликомъ входитъ волевая активность человѣчества, создающаго свою исторію" (114). И вотъ почему (не только, поэтому, разумѣется) г. Бердяевъ недоволенъ моими взглядами: я „нигдѣ не говорю о томъ, можетъ ли личность разсчитывать на побѣду", „скептическая нотка всюду звучитъ" у меня. я „не ручаюсь, за то. что именно личность побѣдитъ естественный ходъ вещей, а не наоборотъ"...

Да, я не ручаюсь. Подобно Зомбарту, я ввожу въ свой прогнозъ условный элементъ или, какъ онъ выражается, само собой подразумѣвающееся ограниченіе: если дѣйствующая личность будетъ обладать энергіей принимать рѣшенія и стремится къ ихъ осуществленію. „Если же вслѣдствіе какихъ нибудь причинъ. хотя бы, напримѣръ, вслѣдствіе (столь распространеннаго у марксистовъ) фаталистическаго взгляда, эта энергія уменьшится, то вмѣстѣ съ тѣмъ выпадетъ и важнѣйшее звено причинной цѣпи, и развитіе приметъ совершенно иное направленіе". Подобно Зомбарту, я считаю теоретически возможнымъ, что развитіе капитализма приведетъ къ гибели всей современной культуры (нѣкоторый, правда, очень слабый намекъ на эту возможность есть и въ предисловіи къ „Капиталу"). И тѣ выросшіе на почвѣ капитализма кровавокрасные и ядовитые цвѣты звѣрства и грабежа, которые такъ пышно цвѣтутъ въ настоящую минуту въ Китаѣ и южной Африкѣ и которые не компенсируются конечно, платоническими оваціями Крюгеру и безсильными словесными протестами противъ озвѣрѣлости европейскихъ солдатъ,—не таковы, я полагаю, чтобы позволительно было закрывать на нихъ глаза. А вѣдь это только отдѣльныя, хотя и экстренно яркія проявленія нѣкотораго общаго порядка вещей. Это необходимое, то есть причинно обусловленное явленіе. И я опять вспоминаю д-ра философіи М. М. Филиппова. который никакъ не можетъ понять конфликта между необходимостью и нравственнымъ чувствомъ. Счастливый онъ человѣкъ. У него сердце бьется аккуратно въ тактъ исторіи, что бы въ этой исторіи ни дѣлалось... Да, я не могу предъявить безоблачно радостный прогнозъ. Но значитъ ли это, что я внушаю людямъ уныніе или безнадежное отчаяніе? Нѣтъ, я бужу въ людяхъ сознаніе необходимости и обязательности „борьбы за индивидуальность"...

Г. Бердяевъ богатъ вѣрой. Еще богаче ею былъ старикъ Бебель, когда говорилъ на Эрфуртскомъ конгрессѣ 1891 года: „Я убѣжденъ. что осуществленіе нашихъ послѣднихъ цѣлей такъ близко, что развѣ

немногіе изъ присутствующихъ не доживутъ до дня торжества". Честный старикъ давно призналъ свою ошибку. А Кауцкій заявилъ на Эрфуртскомъ конгрессѣ 1898 г., что осуществленіе послѣднихъ цѣлей нѣмецкой соціалъ-демократіи было бы теперь величайшимъ несчастіемъ, потому что къ этому люди еще не готовы. Такимъ образомъ, Кауцкій признаетъ, какъ и Зомбартъ, „дѣйствующую личность" важнымъ историческимъ факторомъ. И пора бы нашимъ „ученикамъ" перестать безсмысленно издѣваться надъ лавровской теоріей „критически мыслящей личности".

Русскіе субъективисты, которые такъ „надоѣли" г. Бердяеву, никогда не отрицали причинной связи явленій и значенія внѣшнихъ объективныхъ силъ, каковы, напримѣръ, географическое положеніе той или другой страны, данный общественный строй и т. п. Не только не отрицали, а настаивали на этихъ истинахъ, когда нынѣшніе „ученики" еще, можетъ быть, и въ гимназію не бѣгали. Но вмѣстѣ съ тѣмъ они настаивали и настаиваютъ на великомъ значеніи того, что Зомбартъ называетъ „неотъемлемымъ субъективнымъ свойствомъ дѣйствующей личности" и въ чемъ „ученики" видятъ или видѣли une quantitè nègligeable. Въ этомъ состоитъ первое и наиболѣе общее различіе между субъективистами и объективистами. Отсюда вытекаетъ и второе: субъективисты утверждаютъ право и обязанность личности судить о явленіяхъ исторіи и дѣйствительности не только въ ихъ причинной связи и съ объективной точки зрѣнія ихъ необходимости, а и съ субективной точки зрѣнія своихъ идеаловъ, право и обязанность нравственнаго суда. Это право и эту обязанность гг. Бердяевъ и Струве нынѣ вполнѣ признаютъ. Но они недовольны „обыкновенной" этической точкой зрѣнія, она имъ „надоѣла". Они жаждутъ „необыкновеннаго" и, разумѣется, находятъ его. Посмотримъ же, что удовлетворило ихъ жажду, что они нашли.

Г. Бердяевъ приводитъ три оправданія или „обоснованія" своего идеала.

„Во-первыхъ,— говоритъ онъ,—нашъ идеалъ общественный *объективно необходимъ*; тенденціи соціальнаго развитія таковы, что общественный строй, который мы считаемъ своимъ идеаломъ, непремѣнно наступитъ, или будетъ неизбѣжнымъ результатомъ *имманентной законосообразности* историческаго процесса. Такимъ образомъ, идеалъ получаетъ объективно логическую, научную санкцію, которая позволяетъ бодро смотрѣть впередъ" (63).

Это обоснованіе мы уже видѣли. Точнѣе сказать, мы его на дѣлѣ не видали, а слышали только фактически не оправданныя слова о научномъ прогнозѣ. Пойдемъ дальше.

„Во-вторыхъ, соціальный матеріализмъ даетъ субъективно-психологическое обоснованіе идеала: идеалъ общежитія, совпадающій съ научнымъ предвидѣніемъ, оказывается *субъективно-желательнымъ* для опредѣленнаго общественнаго класса, и этотъ классъ борется за его осуществленіе“.

На этомъ пунктѣ мы должны остановиться нѣсколько подольше. Онъ тѣсно связанъ съ извѣстнымъ положеніемъ о классовой борьбѣ, какъ сущности историческаго процесса. Положеніе это не то что не вѣрно, а требуетъ значительныхъ дополненій, съ одной стороны, и ограниченій—съ другой; столь значительныхъ, что совокупность ихъ отводитъ собственно борьбѣ классовъ сравнительно очень скромное мѣсто. Во-первыхъ, и въ нашей, и въ европейской литературѣ давно уже было указано, что рядомъ съ борьбой классовъ, и часто совершенно извращая ее, существуетъ борьба расъ, племенъ, націй. Если, напримѣръ, калифорнійскіе рабочіе всячески гонятъ иммигрирующихъ китайцевъ, принадлежащихъ къ тому же рабочему классу, или если французскіе рабочіе недовольны конкурренціей болѣе дешевыхъ итальянскихъ рабочихъ и т. п., то это, конечно, не классовая борьба. Далѣе, по признанію самихъ марксистовъ, было время, когда общество не дѣлилось на классы, и будетъ время, когда дѣленіе это исчезнетъ, и, однако, исторія не останавливала и не остановитъ своего теченія, но она не была и не будетъ борьбой классовъ, за ихъ отсутствіемъ. Одинъ итальянскій писатель остроумно замѣчаетъ, что исторія есть несомнѣнно борьба классовъ, когда 1) классы есть, когда 2) ихъ интересы антагонистичны и когда 3) они сознаютъ этотъ антагонизмъ. А это, — прибавляетъ онъ,— „приводитъ насъ въ концѣ концовъ къ тому юмористическому уравненію, что исторія есть борьба классовъ... когда она есть борьба классовъ“ (Benedetto Croce. „Matérialisme historique et économie sociale“. Tr. par. A. Bonnet. 138). Наконецъ, и внутри классовъ происходитъ борьба между соперничающими индивидуумами, часто становясь поперекъ дороги классовой борьбы. Въ цѣломъ изъ всего этого сплетается такая сложная сѣть, въ которой совсѣмъ ужъ не такъ часто можно усмотрѣть чистую сознательную классовую борьбу. Интересны въ этомъ отношеніи скорбныя замѣчанія Бебеля о ростѣ соціаль-демократической партіи въ Германіи: „За послѣдніе годы

(Бебель говорилъ въ 1894 г.) мы значительно увеличились количественно, но, говорю прямо, не улучшились качественно. Дѣло зашло такъ далеко, что въ нашихъ рѣшеніяхъ принимаютъ участіе элементы, хорошенько даже не знающіе, чего хочетъ наша партія и что значитъ соціализмъ... Я не могу отрицать, что наша партія разжижается, что она вступаетъ въ оппортунистическій фарватеръ, что классовая борьба блѣднѣетъ... Дабы привлечь новыхъ сторонниковъ, дѣлаются уступки во всѣ стороны, затираютъ чисто пролетарскій характеръ партіи и часто прячутъ требованія классовой борьбы въ карманъ". (См. Wl. Simkhowitsch „Die Krisis der Socialdemocratie" 43).

Но не будемъ увлекаться въ сторону и вернемся ко второму обоснованію г. Бердяева. Какъ бы то ни было, оно вводитъ въ его работу субъективный элементъ. И въ этомъ отношеніи г. Бердяевъ выражается столь опредѣленно, что одинъ изъ сотрудниковъ „Жизни" имѣлъ, повидимому, право сказать, что онъ, равно какъ и г. Струве, „возвращается къ автору „борьбы за индивидуальность"... (Мимоходомъ сказать, нынче распространилась какая-то эпидемія „возвращенія": „возвращаются" или приглашаютъ возвратиться—кто къ Канту, кто къ Фихте, къ Лассалю, къ Ланге, это очень характерно въ томъ смыслѣ, что люди, очевидно, въ тупой переулокъ забрались). Въ самомъ дѣлѣ, г. Бердяевъ говоритъ, напримѣръ: „Вмѣстѣ съ г. Михайловскимъ мы принимаемъ *субъективизмъ*, психологическое a priori, какъ неизбѣжный фактъ: психологическій объективизмъ, безстрастный взглядъ на борьбу общественныхъ группъ мы считаемъ теоретической иллюзіей, фиговымъ листомъ, которымъ слишкомъ часто прикрывается „субъективизмъ" самаго низменнаго сорта. Ни простой смертный, ни ученый не можетъ быть нравственной tabula rasa; такъ называемый общественный индифферентизмъ, которымъ теоретики любятъ иногда гордиться, это только вѣдь façon de parler, совершенно индифферентный человѣкъ—психологическій non sens, подъ индифферентизмомъ всегда вскрываются опредѣленныя чувства, симпатія и стремленія" (46—47). И много еще подобныхъ словъ говоритъ г. Бердяевъ, и всѣ эти слова суть варьяціи на тему, много лѣтъ тому назадъ мною данную; варьяціи иногда немножко пересоленныя, иногда недосоленныя, а иногда представляющія собою почти дословное повтореніе... А! я, кажется, могу успокоиться, хотя г. Бердяевъ и утверждаетъ, что его критика „не оставляетъ камня на камнѣ въ моемъ міровоззрѣніи". Но это тоже своего рода façon de parler,—кое какіе камешки всетаки остаются. И любопытна исторія

вотъ этого камешка субъективизма. Мы ее сейчасъ увидимъ, а теперь насъ ждетъ третье обоснованіе идеала г. Бердяева.

Это третье обоснованіе онъ называетъ „объективно этическимъ". „Необходимо показать, что нашъ общественный идеалъ не только объективно необходимъ (категорія логическая), не только субъективно желателенъ (категорія психологическая), но что онъ также объективно нравственъ и объективно справедливъ, что его осуществленіе будетъ прогрессомъ въ смыслѣ улучшенія, словомъ, что онъ общеобязателенъ, имѣетъ безусловную цѣнность, какъ должное (категорія этическая)". — Здѣсь и лежитъ основаніе той необыкновенной этической точки зрѣнія, которую г. Бердяевъ желаетъ установить. Нельзя, однако, сказать, чтобы она была такъ ужъ необыкновенна, какъ это кажется г. Бердяеву. Въ исторіи мысли она заявлялась не разъ, заявлялась иногда съ чрезвычайнымъ шумомъ и блескомъ, и затѣмъ шумъ утихалъ, блескъ меркнулъ. И г. Бердяеву приходится, какъ и многимъ уже не новымъ, а новѣйшимъ людямъ, „возвращаться". Для своей необыкновенной этики онъ ищетъ основанія въ „законодательствѣ сверхъиндивидуальнаго сознанія трансцендентальной апперцепціи", въ той области, гдѣ лежитъ абсолютная истина, абсолютное добро и абсолютная красота, въ томъ, что „предшествуетъ всякому бытію"... Я не вхожъ въ эту область, я не знаю, что было до всякаго бытія (вѣроятно, потому, что „изъ другого тѣста сдѣланъ"); да, признаюсь, меня туда и не тянетъ: по нашему ограниченному условіями бытія и, конечно, невѣрному представленію, тамъ, гдѣ никакого бытія, то-есть ровно ничего нѣтъ, должно быть ужасно холодно, темно и скучно. При томъ же, если бы я даже очень хотѣлъ проникнуть въ эту область, я всетаки не зналъ бы кого взять въ руководители: г. Бердяева или г. Струве.

Г. Бердяевъ противопоставляетъ субъективизму объективизмъ „абсолютнаго-трансцендентальнаго", которое состоитъ въ логическихъ и этическихъ нормахъ, предшествующихъ всякому бытію. Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ отрицаетъ бытіе „абсолютнаго-трансцендентнаго". По поводу одного моего разсужденія о гетевскомъ Фаустѣ онъ пишетъ: „Фаустъ былъ дѣйствительно разбитъ жизнью, его метафизическое мышленіе было мучительно и не привело къ удовлетворительнымъ результатамъ, но Фаустъ будущаго не поступится великими вопросами, онъ не станетъ воздерживаться отъ ихъ рѣшенія и не понизитъ качества своихъ исканій; сынъ лучшихъ временъ—онъ пойметъ, что неразрѣшимые вопросы, надъ которыми бился прежній

Фаустъ, были просто неправильно поставлены, нелѣпы, фиктивны, что абсолютное трансцендентное недоступно человѣку только потому, что его нѣтъ, что оно было созданіемъ человѣческой слабости" (186). И на этой же страницѣ находимъ два примѣчанія. Одно изъ нихъ гласитъ: „Абсолютное - трансцендентальное (логическія и этическія нормы) мы, конечно, признаемъ, это совершенно соединимо съ отрицаніемъ онтологическаго абсолюта". Въ другомъ примѣчаніи, между прочимъ, читаемъ: „Если вытравить дуалистическіе элементы изъ кантіанства, то мы приходимъ къ имманентной монистической философіи. Теорія познанія и этика Канта даютъ незыблемыя абсолютныя основанія для нашей познавательной и нравственной дѣятельности, но наше познаніе и наша нравственность примѣнимы только къ міру явленій, за которыми скрывается лишь абсолютное ничто. Трансцендентальная философія уничтожаетъ окончательно трансцендентную философію".

Таковъ взглядъ г. Бердяева. Онъ рѣшительно не удовлетворяетъ г-на Струве. Г. Струве „указываетъ на слишкомъ узкое пониманіе объективизма у самого Бердяева" (VIII). „Субъективному методу или, общее, субъективизму—говоритъ онъ далѣе—необходимо, на мой взглядъ, противопоставить рѣшительный объективизмъ, признающій объективность, т. е. обязательность не только за формальными элементами родового сознанія, но и за его содержаніемъ" (XV). Изложивъ затѣмъ свою „чисто аналитическую теорію познанія", „рѣшительно отличающуюся отъ нормативной теоріи познанія большинства нѣмецкихъ критицистовъ, которая построена на формальной аналогіи объективнаго познанія и объективнаго долженствованія".—г. Струве продолжаетъ: „Тогда какъ г. Михайловскій хочетъ возвести естественный субъективизмъ эмпирическаго субъекта познанія въ законъ и такимъ образомъ субъективировать познаніе, нормативная гносеологія насильственно субъективируетъ нравственность, перенося на должное объективность, качество истиннаго или сущаго. Бердяевъ очень удачно критикуетъ субъективизмъ съ точки зрѣнія нормативной теоріи познанія, но его собственное построеніе объективной нравственности по аналогіи съ объективнымъ познаніемъ подпадаетъ всецѣло подъ нашу выше развитую критику" (LI). И далѣе: „Заложенная въ самомъ нашемъ сознаніи самостоятельность должнаго указываетъ его источникъ внѣ опыта, его не имманентный, не эмпирическій, а трансцендентный характеръ. Переходъ „отъ того, что люди считаютъ добромъ, къ тому, что есть добро" (Бердяевъ, 77).

есть выходъ изъ области опыта и постулированіе трансцендентнаго. Я вообще не понимаю, какъ можетъ Бердяевъ, стоя на почвѣ апріоризма и идеализма, отмахиваться отъ метафизики трансцендентнаго. Неужели признаніе нравственнаго міропорядка, этой, какъ прекрасно выражается Бердяевъ, религіозной идеи, не есть метафизика трансцендентнаго?“ (LIII). И еще: „Здѣсь есть полная аналогія между религіознымъ сознаніемъ въ обычномъ смыслѣ слова и сознаніемъ этическимъ. Ни одинъ научно образованный человѣкъ не можетъ вѣрить въ опытную или логическую, вообще объективную доказуемость бытія личнаго Бога. Но тѣмъ не менѣе убѣжденіе въ бытіи личнаго Бога есть одинъ изъ видовъ убѣжденія въ существованіи объективнаго и разумнаго міропорядка“ (LIV).

Итакъ, подождемъ пока гг. Бердяевъ и Струве рѣшатъ промежъ себя, что именно предшествуетъ всякому бытію, только ли абсолютное-трансцендентальное или и абсолютное-трансцендентное. Въ ожиданіи мы можемъ и въ предѣлахъ бытія выяснить кое-какія недоразумѣнія. Они есть, эти маленькія и доступныя разъясненію недоразумѣнія.

Гг. Струве и Бердяевъ—рѣшительные объективисты, хотя и препираются объ основаніяхъ объективизма. А, между тѣмъ, выше мнѣ довелось похвалиться, что они признаютъ мой субъективизмъ. Что-же это значитъ? Это значитъ, что въ моемъ субъективизмѣ заключаются „гносеологическая ложь и психологическая правда“, какъ выражается г. Струве. И любопытно, что это относится не только ко мнѣ, а и къ „ортодоксальному марксизму“. Г. Струве говоритъ: „Г. Михайловскій всегда совершенно правильно отстаивалъ самозаконность этической совѣсти, о которой столь часто забываютъ ортодоксальные марксисты, но его субъективный методъ требуетъ сознательнаго подчиненія истиннаго (совѣсти интеллектуальной) должному (совѣсти этической), а такъ какъ этическая совѣсть общественнаго человѣка, какъ справедливо указывалъ еще до марксистовъ г. Михайловскій, въ общемъ есть продуктъ его общественно-классового положенія, то этимъ, черезъ посредство этической совѣсти, устанавливается та-же самая зависимость интеллектуальной совѣсти отъ „классовой точки зрѣнія“, на которую напираетъ ортодоксальный марксизмъ. Ошибка и г. Михайловскаго, и ортодоксальнаго марксизма состоитъ въ возведеніи соціально-психологическаго факта въ гносеологическую норму“ (XXIV).

Дѣйствительно, когда „ученики“ съ чрезвычайнымъ великолѣпіемъ

поучали меня „классовой точки зрѣнія“, противопоставляя ее моему „субъективному методу“, они, можно сказать, пальцемъ въ небо попадали. Но, думаю, что поучая меня теперь „внѣклассовой, общечеловѣческой точкѣ зрѣнія“ (XXIV), г. Струве тоже пальцемъ, только въ другое небо попадаетъ.

Поразительно упорство, легкомысліе, тупость, — я не знаю, наконецъ, что, съ которымъ люди повторяютъ иногда другъ за другомъ одно и то-же обвиненіе, даже не упоминая о тѣхъ разъясненіяхъ, которыя были много разъ предъявлены. Вотъ хоть бы это утвержденіе г. Струве, что будто мой субъективный методъ требуетъ сознательнаго подчиненія истиннаго (совѣсти интеллектуальной) должному (совѣсти этической). Еще г. Струве милостивъ. Онъ, по крайней мѣрѣ, признаетъ, что я указалъ несомнѣнный „соціально-психологическій фактъ“. Другіе критики утверждали, что мой субъективизмъ имѣетъ смыслъ только „гносеологической нормы“. Напримѣръ, г. Слонимскій утверждалъ въ 1889 г., что, по моему мнѣнію, соціологу нужны „только доброе сердце и нѣкоторая доля воображенія“, а, напримѣръ, ариѳметика, географія и вообще объективное знаніе совсѣмъ не нужно. Это было, разумѣется, уже слишкомъ глупо, но та-же мысль въ той или другой, не столь нелѣпой формѣ, повторялась не разъ, и мнѣ приходилось разъяснять дѣло, — но тщетно... Г. Слонимскому мнѣ пришлось напомнить одну свою юношескую статью (которую теперь, въ старческомъ возрастѣ, я написалъ-бы, разумѣется, иначе, не отказываясь, однако, отъ ея основныхъ положеній). Напомню ее опять вкратцѣ.

Я писалъ, между прочимъ: „Субъективный путь изслѣдованія употребляется всѣми тамъ, гдѣ дѣло идетъ о мысляхъ и чувствахъ людей. Но характеръ научнаго метода онъ получаетъ тогда, когда примѣняется сознательно и систематически. Для этого изслѣдователь долженъ не забывать свои симпатіи и антипатіи, какъ совѣтуютъ объективисты, сами не исполняя своего совѣта, а только выяснять ихъ; прямо заявить: вотъ тотъ родъ людей, которымъ я симпатизирую, въ положеніе которыхъ я мысленно переношусь, вотъ чьи чувства и мысли я способенъ представить себѣ въ формѣ своихъ собственныхъ чувствъ и мыслей; вотъ что для меня, *кромѣ истины*, желательно и вотъ что не желателено... Субъективныя разногласія однимъ сообщеніемъ свѣдѣній не устраняются, потому что и порождаются они не различіемъ въ количествѣ знаній, а различіемъ симпатій и антипатій, *различіемъ общественныхъ положеній, пре-*

пятствующихъ людямъ представлять себѣ чужія мысли и чувства въ формѣ собственныхъ... Разногласіе субъективныхъ заключеній представляетъ *весьма важное неудобство*. Неудобство это, однако, для соціологіи неибѣжно, борьба съ нимъ лицомъ къ лицу, въ открытомъ полѣ, для науки невозможна. Не въ ея власти сообщить изслѣдователю тѣ или другія соціологическія понятія; *такъ какъ они образуются всею его обстановкою*. Она можетъ сообщить знанія, но вліять на измѣненіе понятій можетъ лишь косвенно... Роль науки слишкомъ высока и почтенна, чтобы слѣдовало бояться указывать предѣлы ея компетенціи... Но изъ этого не слѣдуетъ, что наука должна сидѣть сложа руки и отложить всякія попеченія объ устраненіи или хоть облегченіи такого *важнаго неудобства*, какъ разногласіе понятій о нравственномъ и безнравственномъ, справедливомъ и несправедливомъ, желательномъ или нежелательномъ... Соціологъ долженъ прямо сказать: я *желаю познавать* отношенія, существующія между обществомъ и его членами, но, *кромѣ познанія*, я желаю еще осуществленія такихъ-то и такихъ-то моихъ идеаловъ, посильное оправданіе которыхъ при семъ прилагаю... Для большей части соціологовъ не ясенъ весь процессъ ихъ собственныхъ изслѣдованій. Нѣкоторые моменты этого процесса остаются, такъ сказать, въ скрытомъ состояніи, что не мѣшаетъ, однако, имъ вліять на ходъ изслѣдованія... Иногда нѣкоторые моменты по *необдуманности мысли* просто скрадываются. Наука можетъ и должна *открыть, что именно скрадено въ данномъ изслѣдованіи*" *).

Читатель благоволитъ обратить вниманіе на подчеркнутыя слова и выраженія. Ясно, кажется, во-первыхъ, что ортодоксальные марксисты били мнѣ челомъ моимъ же добромъ, когда учили меня „классовой точкѣ зрѣнія", которая есть лишь частный случай того, что я называю въ этой цитатѣ продуктомъ „всей обстановки" и „различія общественныхъ положеній" изслѣдователей. И надо обладать необычайнымъ простодушіемъ, чтобы отрицать субъективизмъ, и хвалиться объективизмомъ, утверждая въ то-же время, что истина по необходимости представляется въ различномъ освѣщеніи представителямъ различныхъ классовъ общества. Ясно далѣе, во-вторыхъ, что я, вопреки мнѣнію г. Струве, не подчинялъ „интеллектуальную совѣсть этической совѣсти", а утверждалъ только, что *кромѣ по-*

*) Любопытно, что часть этой цитаты приводитъ и г. Бердяевъ (43), но не ту, гдѣ содержатся интереснѣйшія для насъ въ данномъ случаѣ мѣста.

знанія, а отнюдь не вмѣсто его, соціологу нужно еще нѣчто. Ясно также, что „недобросовѣстность мысли" я такъ недобросовѣстностью и называлъ и не только не обращалъ несомнѣнный соціально-психологическій фактъ субъективнаго отношенія къ дѣйствительности въ гносеологическую норму, а, напротивъ, рекомендовалъ нѣчто вродѣ того, что въ астрономіи называется пріемомъ (а пожалуй, и методомъ) „личнаго уравненія". Не извращать факты въ угоду идеалу, не подчинять интеллектуальную совѣсть этической совѣсти предлагалъ я изслѣдователямъ, а выяснять эту „этическую совѣсть" себѣ и другимъ, регулировать—насколько это возможно, въ интересахъ самого познанія, вліяніе того соціально-психологическаго факта, неизбѣжность котораго признаютъ и г. Струве, и г. Бердяевъ. Дѣйствительно ли это нужно, или можетъ быть совсѣмъ не нужно,—это другой вопросъ. Но нельзя же, даже послѣ неоднократныхъ разъясненій, утверждать, то, какъ г. Слонимскій, что я проповѣдую „доброе слово" и „чувствительность", а географію и ариѳметику выкидываю за бортъ, то, какъ г. Струве, что я подчиняю интеллектуальную совѣсть этической совѣсти, то, какъ д-ръ философіи М. М. Филипповъ, что у меня „изслѣдованіе истины не только не отдѣляется отъ оцѣнки должнаго и желательнаго, но этическій элементъ постоянно протестуетъ противъ истины"? И всѣ эти безобразія (потому что это, конечно, безобразія) совершаетъ „субъективный методъ"... Въ дѣйствительности, этотъ, столь жестоко обвиняемый, субъективный методъ никогда ни ариѳметику съ географіей не вычеркивалъ изъ списка знаній, необходимыхъ соціологу, ни гносеологической лжи не проповѣдовалъ, ни противъ истины не протестовалъ. Втунѣ трудились всѣ эти господа, принимая на себя очень, впрочемъ, почетную роль защитниковъ ариѳметики, географіи, знанія, истины.

Приступая къ оцѣнкѣ моего субъективизма, г. Бердяевъ дѣлаетъ въ высокой степени лестное для меня замѣчаніе, что я „безсознательно предвосхитилъ правильную точку зрѣнія": онъ „видитъ положительную заслугу г. Михайловскаго въ томъ, что онъ такъ энергично и настойчиво подчеркивалъ эту (субъективизмъ) несомнѣнную истину." „Субъективизмъ г. Михайловскаго,—продолжаетъ онъ,—если и не рѣшаетъ, то, во всякомъ случаѣ, ставитъ вѣрно вопросъ, который совершенно игнорируется буржуазными соціологами вродѣ Спенсера, Гумпловича и т. п., вообще оказывается мало доступнымъ для академической науки." Сдѣлавъ въ подтвержденіе рядъ выпи-

сокъ изъ моихъ сочиненій, г. Бердяевъ заканчиваетъ ихъ заключеніемъ: „Точки соприкосновенія между взглядами г. Михайловскаго и нашими собственными бросаются въ глаза.“ Но это еще болѣе лестное для меня замѣчаніе относится только къ *субъективизму*, какъ указанію на несомнѣнный соціально-психическій фактъ, съ которымъ нельзя не считаться, а отнюдь не къ субъективному методу...

Первое, чему г. Бердяевъ ставитъ отрицательный знакъ въ субъективномъ методѣ, это—логико-грамматическая нескладность термина: „въ нелѣпомъ словосочетаніи „субъективный методъ“—съ существительнымъ, имѣющимъ чисто-логическій смыслъ (методъ) согласуется прилагательное,—имѣющее смыслъ исключительно психологическій (субъективный)“. Указаніе это кажется г. Бердяеву столь важнымъ, что онъ его подчеркиваетъ—печатаетъ разрядкой. Позволительно, однако, сомнѣваться въ столь большой важности этой нескладности. Терминъ „субъективный методъ“ принадлежитъ Конту, котораго, кстати сказать, упрекали и за варварское сочетаніе греческаго и латинскаго языковъ въ словѣ „соціологія“, что не помѣшало, однако, этому слову войти во всеобщее употребленіе, и къ которому даже строгій г. Струве относится съ извѣстной, хотя и минимальной долей уваженія („третировать Конта въ качествѣ философскаго ничтожества и смѣшно, и несправедливо“, VII). Это, положимъ, еще ничего не значитъ. „Нелѣпости“ г. Бердяевъ находитъ даже у Конта, къ которому питаетъ глубочайшее уваженіе. Но вотъ, напримѣръ, г. Бердяевъ полагаетъ, что словосочетаніе „научный идеалъ“ логически не лучше „субъективнаго метода“ и, однако, разрѣшаетъ себѣ и своимъ единомышленникамъ сохранить его, „такъ какъ оно имѣетъ для насъ своеобразное значеніе“ (64). На этомъ самомъ основаніи, можетъ быть, и мнѣ не поставится въ незамолимый грѣхъ употребленіе термина „субъективный методъ“. Да и что собственно нелѣпаго въ сочетаніи существительнаго, имѣющаго логическій смыслъ, съ прилагательнымъ, имѣющимъ смыслъ психологическій? Надо замѣтить, что терминъ „субъективный методъ“ употребляется не только Контомъ и русскими субъективистами (не всѣми,—г. Карѣевъ его не признаетъ). И самъ г. Бердяевъ, подивившись этой нелѣпости, черезъ нѣсколько страницъ пишетъ: „Существуетъ наука, въ которой „субъективный методъ“ получилъ право гражданства, это—психологія. Всѣ выдающіеся психологи нашего вѣка признаютъ недостаточность одного объективнаго метода для разработки психологической науки и необходимость метода субъек-

тивнаго, метода самонаблюденія“ (84). Какъ видите, здѣсь сочетаніе существительнаго „методъ“ съ прилагательными „субъективный“ и „объективный“ не шокируетъ г. Бердяева. Правда, въ дальнѣйшемъ изложеніи г. Бердяевъ безразлично употребляетъ выраженія „субъективный“ и „психологическій“ для обозначенія метода, обязательнаго для психологіи; но, я думаю, сказать, что въ психологіи долженъ примѣняться психологическій методъ, - значитъ сказать столь же мало, какъ потребовать для исторіи историческаго метода, для физіологіи—физіологическаго, для химіи—химическаго и т. д., то-есть ровно ничего не сказать.

Но дѣло, конечно, не только въ грамматическихъ соображеніяхъ. Приведя нѣсколько выписокъ изъ разныхъ мѣстъ моихъ сочиненій, г. Бердяевъ говоритъ: „Такое пониманіе субъективнаго метода можетъ имѣть методологическое значеніе“. И далѣе: „Психологическій (то-есть субъективный) методъ имѣетъ мѣсто и въ соціологіи и, поскольку г. Михайловскій намъ на это указываетъ, онъ совершенно правъ. Соціальный процессъ долженъ быть истолкованъ психологически, т. е. въ терминахъ внутренняго опыта. Ни одно историческое явленіе не будетъ для насъ понятно, если мы не поймемъ той человѣческой психики, тѣхъ человѣческихъ мыслей и чувствъ, которыя скрываются за всякимъ историческимъ явленіемъ“. Все это такъ, но—говоритъ г. Бердяевъ—все это „не имѣетъ ничего общаго съ нравственною оцѣнкою явленій... Субъективный методъ въ психологіи, съ точки зрѣнія г. Михайловскаго, долженъ быть признанъ нравственно-индифферентнымъ и въ этомъ смыслѣ объективнымъ“ (84, 85).

Итакъ, субъективный методъ не только имѣетъ свой raison d'être, но прямо-таки необходимъ въ психологіи, а въ видѣ психологическаго метода необходимъ и въ соціологіи, но онъ не долженъ имѣть ничего общаго съ нравственною оцѣнкою явленій, онъ долженъ быть нравственно-индифферентнымъ. Меня очень радуетъ, что г. Бердяевъ признаетъ обязательность субъективнаго или, пусть, психологическаго метода въ соціологіи. Имя вещи не мѣняетъ, и, становясь въ эту позицію, г. Бердяевъ вмѣстѣ съ тѣмъ во всякомъ случаѣ становится въ ряды субъективистовъ въ томъ общемъ смыслѣ, что, на ряду съ внѣшнею силою „имманентныхъ законовъ экономическаго развитія“ и т. п., признаетъ значеніе и человѣческой психики, значеніе мотивовъ человѣческой дѣятельности. А субъективистомъ въ смыслѣ признанія неизбѣжности „психологическаго a priori“

онъ уже раньше себя объявилъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ призналъ, притомъ въ чрезвычайно энергическихъ выраженіяхъ, обязательность нравственнаго суда надъ явленіями дѣйствительности прошедшей, настоящей и будущей, насколько мы можемъ въ нее проникнуть. И вотъ я не знаю, какъ сочетать все это съ его объективизмомъ. Если связь эта достигается въ сферѣ абсолюта, предшествующаго всякому бытію, то, какъ уже сказано, я туда не вхожъ. А въ предѣлахъ бытія дѣло стоитъ, мнѣ кажется, такъ: то „психологическое a priori" или то „предвзятое мнѣніе", съ которымъ мы неизбѣжно, какъ соглашается г. Бердяевъ, приступаемъ къ изученію явленій общественной жизни, содержитъ въ себѣ и этическіе элементы; давленіе этихъ этическихъ элементовъ на ходъ изслѣдованія опять же неизбѣжно, но это давленіе, часто происходящее помимо сознанія, должно быть регулировано; и такъ какъ методъ есть путь, которымъ мы сознательно идемъ къ опредѣленной цѣли, то я называю это регулированіе субъективнымъ методомъ.

На этомъ я долженъ пока кончить. Мнѣ хочется помянуть только что умершаго рѣдко хорошаго человѣка.

13 февраля скончался Вячеславъ Авксентьевичъ Манасеинъ.

Не мнѣ судить о томъ, что потеряла въ немъ русская медицина, но я имѣю много данныхъ для сужденія о покойномъ, какъ о человѣкѣ. Я познакомился съ Манасеиномъ въ 1866 г., когда, въ качествѣ временнаго редактора маленькаго журнальчика „Книжный Вѣстникъ", обратился къ нему, тогда еще, помнится, студенту, но уже пользовавшемуся извѣстностью, за сотрудничествомъ. „Книжный Вѣстникъ" скоро прекратился, и я потерялъ Манасеина изъ виду, сохранивъ лишь воспоминаніе о немъ, какъ о пріятномъ собесѣдникѣ и товарищѣ и рѣдко начитанномъ молодомъ человѣкѣ съ громадной памятью. Слышалъ я, конечно, о томъ, что мой скромный сотрудникъ по скромному литературному дѣлу быстро поднимался въ общественномъ мнѣніи не только среди студентовъ медико-хирургической академіи, а и вообще. Но лично вновь встрѣтился я съ нимъ только лѣтъ черезъ 12—15 въ комитетѣ Литературнаго Фонда, членами котораго намъ не разъ доводилось быть вмѣстѣ. И тутъ я получилъ возможность оцѣнить необыкновенныя душевныя качества этого человѣка. Всѣ когда-либо бывшіе членами комитета, не сомнѣваюсь, единогласно признаютъ, что это былъ идеальный товарищъ

и идеальный работникъ. Онъ бывалъ и секретаремъ, и предсѣдателемъ Литературнаго Фонда. Связанныя съ этими положеніями обязанности довольно сложны и подчасъ тяжелы, но Манасеинъ несъ ихъ съ какою-то упорною добросовѣстностью, охотно исполняя въ то же время и стороннія порученія комитета въ родѣ, напримѣръ, посѣщенія просителей, для полученія свѣдѣній о ихъ положеніи или для оказанія имъ медицинской помощи. Конечно, многіе и многіе писатели съ благодарностью, а можетъ быть, и съ умиленіемъ вспоминаютъ его отзывчивость къ ихъ нуждѣ, ту мягкость и деликатность, съ которыми онъ къ нимъ относился.

Дѣла Литературнаго Фонда были, разумѣется, далеко не самою значительною подробностью въ жизни Вячеслава Авксентьевича. Отказавшись отъ частной практики, онъ, однако, принималъ у себя въ опредѣленные дни больныхъ. Затѣмъ профессура, клиника, приватное руководительство занятіями студентовъ и вообще всѣхъ обращавшихся къ нему за указаніями (его называли ходячей библіотекой), затѣмъ предсѣдательство въ студенческой кассѣ изданіе журнала „Врачъ", который онъ поставилъ на невиданную въ нашей спеціальной литературѣ высоту. Но и этого мало. Нѣкоторыя черты характера Манасеина предоставили ему еще одну общественную роль. И я часто задумывался, какъ онъ находитъ время для всѣхъ этихъ многочисленныхъ занятій, откуда берутся эти, право, иногда казалось, почти нечеловѣческія силы?

Бархатная мягкость отношенія ко всѣмъ труждающимся и обремененнымъ не была въ Манасеинѣ только внѣшностью, манерой, — она была въ его душѣ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ это былъ человѣкъ твердыхъ убѣжденій, ненавидѣвшій компромиссы и разладъ между словомъ и дѣломъ. Нагляднымъ для всѣхъ образомъ онъ показалъ это, отказавшись отъ каѳедры послѣ двадцатипятилѣтняго на ней пребыванія, въ силу того, что, по его убѣжденію, профессоръ долженъ уступить послѣ этого срока мѣсто молодымъ силамъ. По отношенію къ нему это было неосновательно, потому что онъ самъ былъ еще настоящей силой, но никакіе уговоры и просьбы не могли убѣдить его отказаться отъ мысли, облеченной въ слово. Среди студентовъ академіи онъ пользовался большою популярностью, но это не мѣшало ему быть требовательнымъ и строгимъ профессоромъ и экзаменаторомъ. Онъ былъ популяренъ, но никогда не популярничалъ. Мнѣ случалось видѣть не молодыхъ уже, бородатыхъ врачей, державшихъ экзаменъ на степень доктора медицины, которые бея-

лись экзамена у Вячеслава Авксентьевича. Его высокое понятіе объ обязанностяхъ врача сказалось въ его журналѣ-газетѣ: „Врачъ“ жестоко преслѣдовалъ всякое нарушеніе врачебной этики, чѣмъ, конечно, нажилъ много враговъ, но едва ли кто изъ этихъ враговъ въ душѣ, по крайней мѣрѣ, отказывалъ въ своемъ уваженіи этому безпощадному обличителю. Такъ же суровъ былъ онъ и въ Литературномъ Фондѣ въ случаяхъ, называющихся въ отчетахъ комитета „отказами по имѣющимся въ комитетѣ свѣдѣніямъ“. И вотъ это-то сочетаніе бархатной мягкости ко всѣмъ оскорбленнымъ людьми или судьбой съ непреклонною твердостью убѣжденій и суровостью по отношенію къ нарушителямъ правилъ, какъ спеціально-врачебной, такъ и обще-житейской этики,—это-то, говорю, сочетаніе и предоставило ему роль, можно сказать, перманентнаго третейскаго судьи. Задолго до учрежденія Союза писателей съ его Судомъ чести, къ Манасеину постоянно обращались съ просьбами разобрать, въ качествѣ третейскаго судьи, то или другое недоразумѣніе. Вышеуказанное сочетаніе служило гарантіей его безпристрастія. И когда образовался Союзъ писателей, Манасеинъ былъ единогласно выбранъ однимъ изъ судей чести, каковымъ и избирался каждый годъ вплоть до своей смерти. И говорятъ, что даже г. Буренинъ въ своихъ старчески-злобныхъ и неблаговонныхъ выходкахъ противъ Суда чести не осмѣлился коснуться этого чистаго человѣка своимъ грязнымъ перомъ.

Много хорошихъ людей пришлось мнѣ на своемъ вѣку хоронить, и между ними были и большіе люди. И естественно, что всякій разъ скорбь о потерѣ большого или даже просто хорошаго человѣка затушевывала тѣ неприглядныя черты, которыя были у покойниковъ: у кого, при всѣхъ часто огромныхъ достоинствахъ, легкомысліе, у кого жесткость, у кого — слабость къ житейскимъ благамъ и т. п. Манасеинъ же представляется мнѣ цѣльнымъ и чистымъ кристалломъ, безъ единой трещины, безъ единаго пятна. По крайней мѣрѣ, таковъ онъ былъ съ тѣхъ сторонъ, съ которыхъ я его видѣлъ.

XX *).

О книгѣ гг. Бердяева и Струве и о себѣ самомъ.—О докторахъ философіи вообще и о д-рѣ философіи М. М. Филипповѣ въ частности.

Взявшись за гужъ, не говори, что не дюжъ. Разъ поднявъ перчатку, брошенную мнѣ гг. Бердяевымъ и Струве, я долженъ довести это дѣло до конца, хотя по разнымъ причинамъ это въ данную минуту отнюдь не пріятная обязанность. Непріятная, во-первыхъ, потому, что хотѣлось бы говорить совсѣмъ о другомъ, а во-вторыхъ, потому, что не хотѣлось бы говорить о нѣкоторыхъ вопросахъ, поднимаемыхъ моими критиками. Въ области этихъ вопросовъ я позволю себѣ только одно замѣчаніе.

На стр. LXXXII г. Струве приводитъ слѣдующія мои слова, написанныя въ 1880 г.: „Мы вѣрили, что Россія можетъ проложить себѣ новый историческій путь, особливый отъ европейскаго, при чемъ для насъ важно не то было, чтобы это былъ какой-то національный путь, а чтобы онъ былъ путь хорошій, а хорошимъ мы признавали путь сознательной практической пригонки національной физіономіи къ интересамъ народа. Предполагалось, что нѣкоторые элементы наличныхъ порядковъ, сильные либо властью, либо своею многочисленностью, возьмутъ на себя починъ проложенія этого пути. Это была возможность. Теоретическою возможностью она остается въ нашихъ глазахъ и до сихъ поръ. Но она убываетъ, можно сказать, съ каждымъ днемъ. Практика урѣзываетъ ее безпощадно, сообразно чему наша программа осложняется, оставаясь при той же конечной цѣли, но вырабатывая новыя средства". Цитату эту г. Струве сопровождаетъ такимъ примѣчаніемъ: „Въ этихъ словахъ г. Михайловскій въ 1880 г., самъ того, конечно, не зная, далъ полное теоре-

*) Апрѣль 1901 г.

тическое и моральное оправданіе того направленія, выступленіе котораго въ 90-хъ годахъ вызвало такой рѣзкій отпоръ съ его стороны. Въ этомъ отпорѣ г. Михайловскій погрѣшилъ двояко: теоретически и этически. Теоретически—непризнаніемъ огромной научной и вообще объективной цѣнности за утвержденіемъ и доказательствомъ полной призрачности той „теоретической возможности", которая уже въ глазахъ самого г. Михайловскаго въ 1880 г. была безпощадно урѣзана практикой: этически—желаніемъ дискредитировать общественно-нравственную цѣнность этой критической работы, желаніемъ, ярко выразившимся въ совершенно неправильномъ тонѣ, взятомъ имъ относительно новаго направленія. Вообще *морально неправильный тонъ* являлся и до сихъ поръ является нерѣдко крупнымъ грѣхомъ г. Михайловскаго, какъ публициста".

Мнѣ кажется, что мой почтенный оппонентъ не вѣрно или не полно изображаетъ дѣло и валитъ съ больной головы на здоровую. Развѣ работа того направленія, которое „выступило въ 90-хъ годахъ", то есть нашего марксизма, состояла только въ критикѣ „теоретической возможности"? Если бы и такъ, то представители этого направленія должны бы были отмѣтить, что мы и сами, задолго до ихъ критики, указывали на „безпощадную урѣзку" теоретической возможности, равно, какъ и на то, что „сообразно этому наша программа осложняется, оставаясь при той же конечной цѣли, но вырабатывая новыя средства". Наши противники закрывали, однако, глаза на эти указанія и предъявляютъ ихъ, да еще съ попрекомъ, только теперь, когда сами уже далеко отошли отъ марксизма, лишь по какому-то странному недоразумѣнію доселѣ ими защищаемаго. За то они занимались еще многимъ другимъ, кромѣ критики теоретической возможности. Они преклонялись передъ единоспасающимъ идоломъ „экономическаго фактора"; они издѣвались надъ правомъ нравственнаго суда надъ явленіями общественной жизни; они выбрасывали за бортъ исторіи многомилліонную массу крестьянства ради его „деревенскаго идіотизма"; они третировали „интеллигенцію", какъ ничтожную или же состоящую „на содержаніи" величину; они видѣли прогрессивное явленіе въ кулачествѣ-ростовщичествѣ, фатально имѣющимъ превратиться въ свою противоположность, и т. д., и т. д. При этомъ гордые своимъ „новымъ словомъ", они не находили достаточно сильныхъ словъ для изображенія глупости, невѣжества и „реакціонныхъ стремленій" своихъ предшественниковъ. Неужели это не заслуживало рѣскаго отпора, и г. Струве можетъ

утверждать это даже теперь, когда онъ уже покончилъ съ „ортодоксальностью“ и успѣлъ замѣнить свое былое „новое“ новѣйшимъ, а наконецъ, и самоновѣйшимъ? „Морально неправильный тонъ“... Не припомнитъ ли г. Струве, что г. Бельтовъ въ книгѣ, доселѣ осыпаемой комплиментами г. Бердяева, кривляясь и кувыркаясь, уличалъ меня во „лжи“ въ то самое время, когда самъ лгалъ, что и было мною документально доказано. Не припомнитъ ли еще г. Струве, что „Русское Богатство“, по чисто моральнымъ соображеніямъ, прекратило одно время полемику съ „Новымъ Словомъ“, а г. Novus, принявъ это за трусость, храбро пугалъ насъ, что кто-то у нихъ тамъ „сорвется съ цѣпи“...

Но оставимъ эти старые счеты. Въ предлагаемой статьѣ я постараюсь, обходя многія подробности, остановиться главнымъ образомъ на тѣхъ сторонахъ критики гг. Бердяева и Струве, которыя обозначены въ самомъ заглавіи ихъ книги „*Субъективизмъ* и *индивидуализмъ* въ общественной философіи“.

Г. Бердяевъ задаетъ мнѣ два любопытныхъ вопроса, давая при этомъ нѣкоторые матеріалы для отвѣтовъ на нихъ, какъ съ моей, такъ и съ его собственной точки зрѣнія. Первый вопросъ онъ ставитъ въ такой рамкѣ: „Человѣческая психологія съ ея специфическимъ субъективнымъ отношеніемъ къ окружающимъ явленіямъ можетъ мѣшать человѣческой логикѣ и научному познанію, но можетъ уживаться мирно и даже способствовать объективному пониманію явленій. Вопросъ, значитъ, стоитъ такимъ образомъ: при какихъ условіяхъ неизбѣжный человѣческій субъективизмъ не противорѣчитъ требованіямъ научнаго объективизма? Что нужно для гармоническаго сочетанія субъективнаго и объективнаго? Этотъ вопросъ можетъ быть рѣшенъ не смѣшеніемъ психологическаго (субъективнаго) сознанія съ трансцендентальнымъ (объективнымъ), какъ это дѣлаетъ г. Михайловскій, а наоборотъ—строгимъ ихъ разграниченіемъ“ (47).

Стало быть, я или не имѣю правильнаго отвѣта на поставленный г. Бердяевымъ вопросъ, или совсѣмъ не имѣю его, — ни правильнаго, ни неправильнаго,—или, наконецъ, можетъ быть, даже и не задавалъ себѣ самаго вопроса. И все это потому, что я смѣшалъ психологическое сознаніе съ трансцендентальнымъ. Если бы, однако, оказалось, что я себѣ вопросъ г. Бердяева задавалъ и далъ на него правильный (то есть въ данномъ случаѣ совпадающій съ отвѣтомъ самого г. Бердяева) отвѣтъ, то... то оказалось бы я думаю вмѣстѣ

съ тѣмъ и то, что либо я не смѣшивалъ психологическаго сознанія съ трансцендентальнымъ, либо, и смѣшивая ихъ, можно приходить къ вѣрнымъ заключеніямъ. Посмотримъ же.

„Человѣческая психологія съ ея специфическимъ субъективнымъ отношеніемъ къ окружающимъ явленіямъ можетъ мѣшать человѣческой логикѣ и научному познанію, но можетъ уживаться мирно и даже способствовать объективному пониманію вещей". Такъ говоритъ г. Бердяевъ. А изъ моихъ писаній онъ любезно приводитъ, напримѣръ, слѣдующія слова: „Предвзятое мнѣніе (то есть „специфическое субъективное отношеніе къ окружающимъ явленіямъ") неизбѣжно играетъ весьма значительную роль въ нашихъ изслѣдованіяхъ, какъ бы мы безпристрастны ни были. Сѣтовать на это нечего, во-первыхъ, уже потому, что это неизбѣжно, а во-вторыхъ, потому, что если предвзятое мнѣніе ведетъ часто къ неполнымъ и ошибочнымъ наблюденіямъ и умозаключеніямъ, то имъ же обусловливается и дальнѣйшее движеніе науки впередъ".

Отсюда возникаетъ вышеприведенный вопросъ г. Бердяева, на который онъ отвѣчаетъ слѣдующимъ образомъ: „Теперь соціальная наука возбуждаетъ страсти, во имя соціальныхъ идей люди принимаютъ мученическій вѣнецъ. Общечеловѣческая же соціальная наука возможна будетъ только въ безклассовомъ обществѣ" (40). Что касается моего отвѣта, то г. Бердяевъ опять же самъ любезно его сообщаетъ. Вотъ онъ: „Соціологіи мы никогда не будемъ имѣть, если борьба интересовъ не расчиститъ для насъ почвы, сгладивъ общественныя дифференцированія".

Я могъ бы, разумѣется, привести гораздо больше и гораздо болѣе яркихъ мѣстъ изъ своихъ писаній, подтверждающихъ и развивающихъ эти мысли, но ограничиваюсь даже не всѣмъ, что приводитъ г. Бердяевъ. И думаю, что имѣю право сказать: хотя г. Бердяевъ „строго разграничиваетъ психологическое и трансцендентальное сознаніе", а я ихъ смѣшиваю или даже понятія не имѣю о послѣднемъ, но, какъ въ мотивахъ заданія вопроса, такъ и въ отвѣтѣ на него,—между нами нѣтъ разницы. Не считая, конечно, той, что мои мысли изложены тридцать лѣтъ тому назадъ, а г. Бердяевъ изложилъ свои вчера... Ахъ, бѣдные бываютъ потомки! Они такъ часто, подобно опереточнымъ карабинерамъ, arrivent trop tard; „не оставивъ камня на камнѣ" въ работѣ предковъ, они воздвигаютъ на этихъ развалинахъ зданіе, упирающееся вершиной въ надзвѣздныя сферы небытія, чтобы, спустившись съ этой головокружитель-

ной высоты, придти къ тѣмъ же результатамъ, къ которымъ пришли десятки лѣтъ тому назадъ предки...

Независимо отъ грядущихъ судебъ общепризнанной соціологіи въ связи съ измѣненіями въ общественной жизни, отдѣльные изслѣдователи могутъ и нынѣ приблизиться къ истинѣ въ этой области. Но чтобы могли явиться среди насъ люди, „органически способные къ многостороннему сочувственному опыту, способные воспроизвести въ своемъ сознаніи всѣ оттѣнки, раскиданные процессомъ общественныхъ дифференцированій въ разныя стороны, — для этого нужны особенно счастливыя и чисто случайныя обстоятельства: удачное смѣшеніе крови, особенности воспитанія и проч. И это будутъ люди съ высокимъ нравственнымъ уровнемъ, способные къ успѣшной разработкѣ соціологіи (—). Но такіе люди, конечно, рѣдки". Съ этими моими словами г. Бердяевъ (41) также вполнѣ согласенъ, и я очень горжусь его одобреніемъ, но мнѣ жаль, что тамъ, гдѣ въ этой цитатѣ стоитъ знакъ (—), г. Бердяевъ пропустилъ слѣдующую фразу: „можетъ быть, не лишне замѣтить, что одинъ высокій нравственный уровень самъ по себѣ не можетъ гарантировать ничего (Сочиненія I, 141)". Фраза это мимоходная, вводная и поставлена у меня въ скобкахъ, поэтому нѣтъ большого грѣха въ томъ, что она пропущена. Но мнѣ всетаки жаль, что г. Бердяевъ ее вычеркнулъ. Мои критики, въ томъ числѣ и гг. Струве и Бердяевъ, съ такимъ страннымъ упорствомъ повторяютъ неправду, будто субъективное начало морали безъ остатка поглощаетъ у меня объективное начало знанія (вплоть до ариѳметики и географіи), что дѣйствительно „можетъ быть не лишне замѣтить, что одинъ высокій нравственный уровень самъ по себѣ не можетъ гарантировать ничего". Оно немножко азбукой отдаетъ, но что же дѣлать... Мнѣ вотъ и въ 1875 г. приходилось доказывать, что „снимать съ соціологіи узду общеобязательныхъ логическихъ формъ мышленія я никогда не думалъ, а, напротивъ, всегда предлагалъ надѣть ее" (Сочиненія, III, 397). Но не перепечатывать же мнѣ при всякомъ удобномъ случаѣ всѣ свои сочиненія...

Мой „субъективизмъ" гг. Струве и Бердяевъ признаютъ вполнѣ. Ихъ смущаетъ только „субъективный методъ". По этому случаю могу лишь напомнить сказанное мною четверть вѣка тому назадъ: „Субъективнымъ методомъ называется такой способъ удовлетворенія познавательной потребности, когда наблюдатель ставитъ себя мысленно въ положеніе наблюдаемаго. Этимъ самымъ опредѣляется г

сфера дѣйствія субъективнаго метода, размѣръ законно подлежащаго ему района изслѣдованій“ (Сочиненія, III, 402).

Перехожу ко второму вопросу, задаваемому мнѣ г. Бердяевымъ: онъ подчеркиваетъ, что ставитъ его „ребромъ“. „Дѣйствительно— говоритъ онъ — необходимъ извѣстный идеалъ, дѣйствительно необходимо подвергать все нравственной оцѣнкѣ съ точки зрѣнія этого идеала, но почему именно *этотъ* идеалъ выше всякаго другого, почему именно *онъ* даетъ правильную оцѣнку явленій и способствуетъ правильному ихъ пониманію“? (61—62). Этотъ „ребромъ поставленный“ вопросъ г. Бердяевъ такъ поясняетъ нѣсколько дальше: „Въ различныя историческія эпохи и у различныхъ общественныхъ группъ субъективные идеалы чрезвычайно различаются, подъ человѣческимъ, гуманнымъ понимаютъ различныя вещи, а нерѣдко и совсѣмъ имъ пренебрегаютъ. Въ то самое время, когда *человѣкъ* Н. К. Михайловскій писалъ въ „Отеч. Зап.“ свои статьи, въ которыхъ проповѣдывалъ единственно человѣческую, субъективно-антропоцентрическую точку зрѣнія, другой *человѣкъ* М. Н. Катковъ провозглашалъ на страницахъ „Русск. Вѣстн.“ идеалъ, который“ и т. д. (65—66).

Изъ этого видно, что г. Бердяевъ имѣетъ свой идеалъ или свой критерій, съ точки зрѣнія котораго онъ расцѣниваетъ явленія общественной жизни, и относительно котораго онъ можетъ представить оправдательныя соображенія. Выражаетъ онъ его въ формѣ „основной идеи Кантовой этики“, въ силу которой человѣкъ есть цѣль въ себѣ самомъ и никто не можетъ имъ пользоваться какъ средствомъ, не дѣлая его вмѣстѣ съ тѣмъ и цѣлью. Это очень высокій и даль освѣщающій критерій, но, мнѣ кажется, я въ своихъ писаніяхъ не очень отступаю отъ него, ибо мой „человѣкъ“, человѣческая личность есть тоже самоцѣль, которую никто не можетъ обращать въ средство, въ орудіе, въ органъ. Поэтому, если соображенія г. Бердяева о „человѣкѣ Михайловскомъ“ и „человѣкѣ Катковѣ“ умѣстны по отношенію ко мнѣ, то они умѣстны и по отношенію къ самому г. Бердяеву. Только вотъ я не могу доказать, что мой идеалъ или критерій выше всякаго другого, а г. Бердяевъ можетъ... Къ удивленію, однако, на стр. 81 читаемъ: „Человѣкъ, какъ самоцѣль, царство человѣчности, человѣческой силы и сознательности — вотъ наша путеводная звѣзда. *Истинность этой идеи не можетъ быть*

доказана, какъ не можетъ быть доказана всеобщая приемлемость принципа причинности, но безъ этого апріорнаго принципа мы были бы нравственно слѣпы и *не умѣли бы отличать въ окружающей насъ жизни справедливаго, человѣчнаго и прогрессивнаго отъ несправедливаго, безчеловѣчнаго и реакціоннаго*" (81).

Признаюсь, я совершенно не понимаю, почему г. Бердяевъ, требуя отъ меня доказательствъ „истинности идеи", такъ просто и спокойно говоритъ, что истинность его идеи „не можетъ быть доказана". И почему эта недоказуемая идея „человѣка, какъ самоцѣли" помогаетъ ему отличать „справедливое, человѣчное и прогрессивное отъ несправедливаго, безчеловѣчнаго и реакціоннаго", когда „въ различныя историческія эпохи и у различныхъ общественныхъ группъ подъ человѣческимъ, гуманнымъ понимаютъ различныя вещи, а нерѣдко и совсѣмъ имъ пренебрегаютъ" ..

Я попробую, однако, отвѣтить на „ребромъ поставленный" вопросъ г. Бердяева и, если не доказать то, что онъ для себя считаетъ недоказуемымъ,—хотя отъ меня и требуетъ доказательствъ,—то всетаки представить нѣкоторыя оправдательныя соображенія Они давно даны мною въ теоріи борьбы за индивидуальность, которую я и долженъ напомнить читателю, принявъ въ соображеніе возраженія гг. Струве и Бердяева.

Гг. Струве и Бердяевъ неоднократно говорятъ, что я имѣю дѣло исключительно съ „біологическими абстракціями" *). По ихъ мнѣнію, самая задача теоріи борьбы за индивидуальность, какъ я её понимаю, не имѣетъ ни философскаго, ни соціологическаго значенія. Я не могу съ этимъ согласиться. Какъ рѣшеніе всеобъемлющаго вопроса о взаимныхъ отношеніяхъ единаго и многаго, цѣлаго и частей, теорія борьбы за индивидуальность могла бы, съ одной стороны, подняться до метафизическихъ небесъ во вкусѣ моихъ критиковъ, а съ другой—обнять весь міръ реальныхъ явленій отъ физико-химическихъ до астрономическихъ. Я воздержался отъ того и отъ другого и ограничилъ свою работу предѣлами жизни, со включеніемъ жизни общественной. Задача гг. Бердяева и Струве, по

*) Въ связи съ этимъ находится забавная ошибка г. Бердяева. Будучи увѣренъ, что я мало что, кромѣ сочиненій по біологіи, читалъ, онъ причисляетъ къ біологамъ и не разъ цитируемаго мною, но очевидно совершенно неизвѣстнаго ему К. Снелля.

скольку ея положительную часть можно усмотрѣть изъ подъ критики моихъ воззрѣній, и гораздо шире, и гораздо уже. Біологическія явленія очень мало интересуютъ ихъ, а въ соціологіи вниманіе ихъ сосредоточивается главнымъ образомъ только на ближайшемъ, по ихъ мнѣнію, фазисѣ общественнаго развитія. Вмѣстѣ съ тѣмъ, однако, они ищутъ „метафизическаго синтеза", ибо ему „доступны всѣ богатства опыта, и кромѣ того онъ ищетъ обнять всю ту область человѣческихъ переживаній, которая не подлежитъ вѣдѣнію опыта" (XXXVI). Они приходятъ къ „метафизическому постулату нравственнаго міропорядка, независимаго отъ субъективнаго сознанія" (LIV). Безъ этой „религіозной идеи нравственнаго міропорядка жизнь безсмысленна" для нихъ (137). Они утверждаютъ „имманентную цѣлесообразность и прогрессивность" мірового, космическаго процесса, то есть вѣчное приближеніе его къ конечной благой цѣли, а въ процессѣ историческомъ — постепенное осуществленіе все болѣе и болѣе высокихъ идеаловъ человѣчества. „Цѣлесообразность коренится въ трансцендентальной апперцепціи, въ томъ сверхъ-индивидуальномъ сознаніи, которое созд(ан?)аетъ міръ не только причинно-обусловленнымъ, но и движущимся къ цѣли" (136).

Къ сожалѣнію, все это очень слабо развито и во всякомъ случаѣ не обставлено сколько-нибудь вѣскими аргументами. Мнѣ кажется, однако, что если не центральный пунктъ міровоззрѣнія гг. Бердяева и Струве, пунктъ, изъ котораго можно бы было провести радіусы къ любой точкѣ ихъ кругозора, то ихъ основной мотивъ указать не трудно. Это именно жажда „радостнаго прогноза". Они — оптимисты прежде всего; оптимисты не потому, что къ радостному прогнозу ихъ привело объективное изслѣдованіе, — напротивъ, характеръ всего ихъ изслѣдованія предопредѣленъ потребностью радостнаго прогноза: и не вслѣдствіе, такъ сказать, умственнаго и нравственнаго полнокровія, которое непосредственно въ себѣ самомъ носитъ силу бодро и радостно смотрѣть впередъ, — для этого они слишкомъ настаиваютъ на цѣлесообразности и прогрессивности не только историческаго, а и мірового процесса.

Что касается ближайшихъ стадій историческаго процесса, то оптимизмъ гг. Струве и Бердяева не новость. Въ томительно-тусклые восьмидесятые годы мы, по извѣстному, слишкомъ красивому выраженію, уныло „сложили ненужныя руки на пустой груди"; „дѣйствительность" была признана силою непреоборимою; мы провозгласили „отказъ отъ наслѣдства", заключавшаго въ себѣ элементъ

отрицательнаго отношенія къ этой дѣйствительности, и съ удивленіемъ, иногда и со злобою оглядывались на свое недавнее прошлое, а на будущее и совсѣмъ махнули рукой: будь что будетъ. Но вотъ на этомъ тоскливо-сѣромъ небѣ поднялась мало-по-малу заря вѣры и надежды. Я разумѣю марксизмъ, „ортодоксальный", какъ говорятъ уже нынѣ, марксизмъ, быстро заполонившій широкіе круги. Странное это было явленіе, хотя и вполнѣ понятное. Понятно именно, что послѣ тупой безнадежности восьмидесятыхъ годовъ марксизмъ захватилъ умы и сердца тою вѣрою и надеждою, тѣмъ „радостнымъ прогнозомъ", который онъ принесъ съ собою, — это былъ дождь послѣ томительной засухи. Но понятно также, что „отказъ отъ наслѣдства" продолжалъ заявляться и принялъ даже еще болѣе рѣзкія формы. Новая доктрина все же требовала примиренія съ дѣйствительностью, ибо, дескать, она сама собой, хотимъ ли мы этого или не хотимъ, управляемая собственными имманентными законами, приведетъ насъ къ лучшему будущему, и всяческое зло текущей дѣйствительности превратится въ свою противоположность. Не на свои силы предложила доктрина „ученикамъ" разсчитывать,— напротивъ, она утверждала полное безсиліе „интеллигенціи", „критически мыслящей личности", „субъективныхъ идеаловъ" и проч.,— а на цѣлесообразность и прогрессивность объективнаго историческаго процесса, который неизбѣжно осуществитъ идеалъ справедливости и свободы. И разъ блеснулъ свѣточъ этого идеала гдѣ-то въ болѣе или менѣе близкой, въ болѣе или менѣе далекой перспективѣ, воспріятіе марксистской доктрины не представляло уже никакихъ затрудненій. Простая, ясная, она явилась къ намъ совсѣмъ готовою, притомъ въ значительной степени лишенною того дѣйственнаго характера, который имѣла въ западной Европѣ: намъ нужно было, по выраженію Щедрина, еще „годить", пока прочно уляжется „экономическій фундаментъ", на которомъ возвысится новая „надстройка". А долго или не долго „годить", — это уже зависѣло отъ усмотрѣнія и темперамента каждаго. Но вотъ марксизмъ получаетъ ударъ за ударомъ въ Европѣ. Это отражается, разумѣется и у насъ. Нашъ марксизмъ распадается и въ своемъ первоначальномъ „ортодоксальномъ" видѣ такъ же быстро таетъ, какъ въ свое время быстро нарастал, хотя отщепенцы почему-то и считаютъ нужнымъ защищать его на словахъ, отходя отъ него на дѣлѣ. Дальше всѣхъ отошли пока гг. Бердяевъ и Струве. Расширяя марксизмъ до степени всеобъемлющей метафизической системы, а въ сущности топя

его въ ней, дѣлая противникамъ даже больше уступокъ, чѣмъ они желали бы получить, они, однако, стоятъ за „радостный прогнозъ“ и придаютъ ему лишній плюсъ идеей „нравственнаго міропорядка“, идеей цѣлесообразности и прогрессивности всего мірового процесса.

Съ теченіемъ времени гг. Бердяевъ и Струве, можетъ быть, надлежаще обставятъ свою идею нравственнаго міропорядка, цѣлесообразности и прогрессивности космическаго процесса, но пока что — ихъ телеологія виситъ на воздухѣ. Моей работѣ „Теорія Дарвина и общественная наука“, въ которой есть цѣлая обширная глава „Теорія Дарвина и телеологія“, г. Бердяевъ смѣло противопоставляетъ нѣсколько подстрочныхъ примѣчаній въ такомъ родѣ: „Въ этомъ отношеніи г. Михайловскій опирается на дарвинизмъ, хотя мы склонны думать, что дарвинизмъ заключаетъ въ себѣ телеологическій принципъ“ и т. д. (133). Или: „Мы настаиваемъ, что совершенно неправильно утвержденіе, будто бы дарвинизмъ исключаетъ всякую телеологію“ (202). Это, конечно, очень смѣло, но едва ли доказательно, потому что „склонность“ г. Бердяева думать такъ или иначе не есть еще доказательство. Г. Бердяевъ ссылается, кромѣ того, на авторитеты, но и ссылки эти далеко не столь для него благопріятны, какъ онъ склоненъ думать.

Ссылается онъ, напримѣръ, на Паульсена („Введеніе въ философію“). Паульсенъ, дѣйствительно, утверждаетъ существованіе, кромѣ причинной связи между явленіями, еще связи телеологической и возстаетъ противъ отрицательнаго отношенія многихъ натуралистовъ къ идеѣ цѣлесообразности въ природѣ. Достойно, однако, вниманія уже и то, что Паульсенъ замѣняетъ слово „цѣлесообразность“ словомъ „цѣлестремительность“ (Zielstrebigkeit), заимствуя и это понятіе, и самый терминъ у натуралиста, и именно біолога—Бэра. Изъ этого нагляднаго примѣра г. Бердяевъ могъ бы заключить, что и у біологовъ есть чему поучиться философамъ. А, впрочемъ, мимоходомъ сказать, вѣдь и вся идея развитія или эволюціи нашла себѣ главную поддержку и оправданіе въ трудахъ біологовъ. Какъ бы то ни было, по Паульсену, „телеологическое толкованіе почти не болѣе какъ постулатъ, или неопредѣленная возможность... Попытка понять порядокъ природы изъ ея смысла приводитъ насъ лишь къ сознанію нашей неспособности проникнуть черезъ явленіе къ смыслу. Поэтому естествознаніе поступило справедливо въ томъ, что ограничилось чисто причиннымъ созерцаніемъ. Несправедливо поступаетъ оно лишь въ томъ, что невозможность телеологическаго объясненія при-

роды оно помѣщаетъ не въ субъектѣ, а въ вещи,—въ томъ, что оно не говоритъ: цѣль природы для нашего сознанія трансцендентна, а говоритъ: въ природѣ нѣтъ цѣли и смысла".

Такимъ образомъ, всякая попытка дать телеологическое объясненіе природы по необходимости должна кончиться фіаско. Но не забудемъ, что мы имѣемъ дѣло даже не съ цѣлесообразностью, а только съ цѣлестремительностью, при чемъ о какой-нибудь единой цѣли всего мірового порядка и рѣчи нѣтъ. Паульсенъ говоритъ лишь о частныхъ цѣляхъ или, вѣрнѣе, объ опредѣленныхъ, заранѣе извѣстныхъ результатахъ, къ которымъ „стремятся" извѣстные ряды или группы явленій. Но, спрашивается, какъ отличить въ сложной цѣпи другъ друга обусловливающихъ, другъ съ другомъ разнообразно связанныхъ явленій—явленіе цѣлевое? Паульсенъ даетъ слѣдующій любопытный отвѣтъ: „фактически каждый привноситъ въ жизненныя явленія телеологическую связь; никто не останавливается на томъ, чтобы на всѣ явленія въ животной жизни смотрѣть, какъ на одинаково дѣйствительные и одинаково важные члены причинной цѣпи; напротивъ, всякій отмѣчаетъ въ послѣдней извѣстные члены, какъ оттѣненныя высшія точки, около которыхъ группируются въ цѣлестремительной связи всѣ остальные". Но, какъ гласитъ пословица, на вкусъ, на цвѣтъ товарища нѣтъ: то, что представляется „оттѣненной высшей точкой" одному, можетъ другому казаться наименѣе дѣйствительнымъ и наименѣе важнымъ въ извѣстной группѣ явленій. Всѣ мы „стремимся" къ престарѣлому возрасту, за которымъ слѣдуетъ смерть, но вмѣстѣ съ тѣмъ оставляемъ юное потомство. Спрашивается, что здѣсь цѣль—престарѣлый возрастъ, смерть, или юное потомство? Паульсенъ вполнѣ понимаетъ трудность рѣшенія этого вопроса. Онъ продолжаетъ: „Ступени жизни насѣкомаго одинаково дѣйствительны; бабочка есть такое же условіе возникновенія яйца, какъ и яйцо есть условіе возникновенія бабочки. Кто находитъ, что яйцо или личинка красивѣе и значительнѣе, чѣмъ бабочка, того нельзя опровергнуть. И если бы даже кто-нибудь вздумалъ утверждать, что та кучка удобренія, которую производитъ животное въ теченіе своей жизни и которую оно увеличиваетъ подъ конецъ своимъ трупомъ, есть та цѣль, которая собственно имѣлась въ виду жизнью, то и его нельзя бы было опровергнуть". Но этого мало. Мы знаемъ, что бабочка „стремится" на огонь свѣчи, лампы, фонаря, костра, и гибнетъ; и это не случайное явленіе, оно имѣетъ свою постоянную причинную подкладку и всякій разъ, когда имѣются

надлежащія условія, цѣпь явленій, составляющихъ жизнь бабочки, обрывается этимъ путемъ. Что же здѣсь „оттѣненная высшая точка" или цѣль природы? Во всякомъ случаѣ, „мы имѣемъ здѣсь въ концѣ-концовъ—продолжаетъ Паульсенъ—дѣло не съ *объективнымъ* познаніемъ, а съ *основаннымъ на субъективныхъ чувствахъ отличеніемъ* извѣстныхъ элементовъ передъ другими" („Введеніе въ философію" 238—240). Подчеркнутыя мною слова напечатаны курсивомъ и у Паульсена, и я предоставляю читателю самому судить, насколько онъ можетъ служить поддержкой г. Бердяеву.

Итакъ, существуютъ ли цѣли природы или нѣтъ, я ихъ во всякомъ случаѣ не знаю и не могу знать. Для меня это или вѣчно закрытое или просто пустое мѣсто, изъ котораго нѣтъ возможности извлечь требуемую г. Бердяевымъ „объективно-этическую норму, санкціонирующую прогрессъ".

Объективно міръ или, точнѣе, та обширная часть его, которая меня занимаетъ,—жизнь представляетъ безконечно сложную систему индивидуальностей, находящихся въ самыхъ разнообразныхъ взаимныхъ отношеніяхъ. Все единое есть вмѣстѣ съ тѣмъ и многое, всякое цѣлое состоитъ изъ частей, и потому можно различить нѣсколько ступеней индивидуальности, то есть степеней особности, самостоятельности, концентраціи силъ. Взаимныя отношенія двухъ сосѣднихъ, одна надъ другой высящихся, непосредственно другъ въ друга входящихъ, какъ часть въ цѣлое, индивидуальностей—очень просты: низшая ступень подчиняется высшей; часть, утрачивая въ той или другой степени свою особность и самостоятельность, попадаетъ въ той же степени въ сферу вліянія цѣлаго. Та Zielstrebigkeit (но отнюдь не цѣлесообразность), о которой, вслѣдъ за Бэромъ, говоритъ Паульсенъ, можетъ состоять именно только въ томъ, что всякое цѣлое слѣпо, стихійно, въ силу „имманентныхъ" законовъ своего бытія, „стремится" подчинить себѣ свои части, обратить ихъ въ служебное состояніе для вящшей полноты своего существованія. Въ возникающей отсюда борьбѣ за индивидуальность, направленной на два фронта,—вверхъ и внизъ,—шансы побѣды растутъ, такъ сказать, лавинообразно: чѣмъ больше удалось данному цѣлому подчинить себѣ свои части, тѣмъ болѣе гарантировано оно отъ подчиненія высшему цѣлому, часть котораго оно само составляетъ. Что же касается пути, которымъ достигается побѣда, то онъ можетъ быть выраженъ извѣстнымъ изреченіемъ—divide et impera: всякая высшая индивидуальность подчиняетъ себѣ низшія,

раздѣляя между ними трудъ своего существованія, усваивая имъ ту или другую спеціальную функцію и тѣмъ самымъ лишая ихъ самостоятельности.

Я не буду расцвѣчать это краткое и схематическое изложеніе теоріи борьбы за индивидуальность всѣми тѣми біологическими фактами, на которыхъ она основана,—интересующіеся найдутъ ихъ въ моихъ старыхъ статьяхъ. Но на одной группѣ этихъ фактовъ я долженъ на малое время остановиться. Мнѣ кажется, что до того момента, до котораго выше доведено изложеніе теоріи борьбы за индивидуальность, она не возбудила бы не только неудовольствія, а и вниманія гг. Бердяева и Струве. Что имъ за дѣло до біологіи! Они приходятъ въ волненіе только тогда, когда „біологическія абстракціи" вторгаются въ соціологію. Къ сожалѣнію, они уже слишкомъ презрительно относятся къ біологіи, вслѣдствіе чего многіе ихъ взгляды отличаются неясностью и противорѣчивостью. Такъ, напримѣръ, объ обществахъ животныхъ я нашелъ у г. Бердяева только одно указаніе (примѣчаніе на стр. 194—195); и оно до такой степени туманно и двусмысленно, что я рѣшительно не умѣю сказать, какъ относится авторъ къ этой группѣ явленій, хотя, въ виду той роли, которую она играетъ въ моихъ писаніяхъ, моему критику и слѣдовало бы высказаться на этотъ счетъ вполнѣ опредѣленно. Какъ бы то ни было, я не раздѣляю мнѣнія Штаммлера, совершенно выкидывающаго общества животныхъ за бортъ соціологическаго изслѣдованія, и думаю, что изученіе ихъ можетъ освѣтить многое и въ сферѣ явленій жизни человѣческихъ обществъ. И при нѣсколько большемъ вниманіи къ этому пункту мои критики отнеслись бы, можетъ быть, снисходительнѣе къ слѣдующимъ соображеніямъ. Общество есть одна изъ ступеней индивидуальности, и его отношенія къ другимъ ступенямъ опредѣляются тѣмъ же закономъ борьбы. Какъ и всякая другая индивидуальность, общество самымъ процессомъ своего развитія „стремится" подчинить себѣ входящія въ его составъ индивидуальности, предоставляя имъ, путемъ спеціализаціи, служебное положеніе. Но оно встрѣчаетъ при этомъ противодѣйствіе со стороны этихъ низшихъ индивидуальностей, и побѣда склоняется въ ту или другую сторону, смотря по обстоятельствамъ. Общества животныхъ, разсматриваемыя рядомъ съ человѣческимъ обществомъ, представляютъ образцы различныхъ результатовъ этой борьбы. И я позволю себѣ напомнить нѣкоторые изъ нихъ. Но прежде надо устранить кое какіе чисто фактическіе недосмотры и ошибки моихъ критиковъ.

Г. Струве утверждаетъ, что я „не додумался даже до того, что общество, какъ, при всемъ своемъ увлеченіи біологическими аналогіями, показалъ Спенсеръ, не имѣетъ чувствилища“ (LVIII). Это— *неправда*, простая фактическая неправда, и если бы г. Струве „дочитался“ хотя бы только до 55 стр. I тома моихъ сочиненій, то и тамъ уже нашелъ бы слѣдующее, кажется, достаточно выразительное мѣсто: „Въ организмѣ страдаетъ и наслаждается цѣлое, а не части; въ обществѣ страдаютъ и наслаждаются части, а не цѣлое. И никакое остроуміе, никакая эрудиція не въ силахъ стереть эту коренную разницу“. Въ свою очередь г. Бердяевъ поучаетъ меня, что „въ дѣйствительности общество никогда не было, не есть и не будетъ организмомъ и даже угнетенная личность не можетъ быть его органомъ“ (146). Что касается *человѣческаго* общества, то г. Бердяевъ совершенно правъ, и его заявленіе было бы вполнѣ умѣстно, если бы онъ обратился съ нимъ ну хоть къ такому пламенному стороннику органической теоріи, какъ, напримѣръ, г. Трачевскій (см. его предисловіе къ переводу книги Вормса „Общественный организмъ“). Но меня въ этомъ отношеніи поучать значитъ моимъ же добромъ да мнѣ же челомъ бить. Мы сейчасъ въ этомъ убѣдимся.

Я подчеркнулъ, что г. Бердяевъ правъ относительно *человѣческихъ* обществъ, да онъ вездѣ только ихъ и имѣетъ въ виду. Но если бы онъ удѣлилъ нѣкоторое вниманіе обществамъ животныхъ, то нашелъ бы тамъ рядъ переходныхъ формъ, сближающихъ организмъ и общество. Среди низшихъ животныхъ мы встрѣчаемъ, напримѣръ, сифонофору, общество или, такъ называемую, колонію полиповъ и медузъ, члены которой исполняютъ спеціальныя обязанности движенія, осязанія, размноженія. Это—настолько полная побѣда общества надъ входящими въ его составъ индивидами, цѣлаго надъ частями, что много было споровъ о томъ, есть ли сифонофора организмъ или общество. Въ муравейникѣ или пчелиномъ роѣ мы видимъ иную, гораздо меньшую, но всетаки значительную степень побѣды общества. Вообще, чѣмъ организмъ выше, совершеннѣе, сложнѣе, тѣмъ болѣе гарантированъ онъ противъ поглощенія обществомъ. „Безъ сомнѣнія, *человѣкъ есть существо настолько сложное и разнородное или совершенное, что не можетъ уже войти въ составъ не только такихъ совершенныхъ обществъ, какъ сифонофора, но и такихъ, какъ муравейникъ. Онъ не можетъ быть въ такой степени поглощенъ обществомъ* (замѣтьте это, г. Бердяевъ): борьба чаще кончается въ его пользу. Но всетаки тутъ дѣло только

въ градаціи. Я попробую представить ее въ такомъ видѣ. Нѣкоторые изъ составляющихъ сифонофору полиповъ и медузъ суть просто половые органы, всѣ остальные безполы. Это—высшая изъ одержанныхъ обществомъ надъ организмомъ побѣдъ. Въ пчелиномъ роѣ есть трутни, которые, хотя и составляютъ, собственно говоря, въ совокупности половой органъ роя и ради этого отправленія только и терпятся, но всетаки самостоятельно ѣдятъ, летаютъ. Существуютъ и безполыя рабочія пчелы. Это—меньшая степень побѣды общества: превратить однѣхъ пчелъ въ простые органы труда, а другихъ въ простые органы размноженія рою не удалось, но искалѣченіе всетаки весьма сильно. Наконецъ, въ человѣческомъ обществѣ безполый рабочій возможенъ только въ идеѣ—въ теоріи мальтузіанцевъ" (Сочиненія, III, 417).

Такимъ образомъ и здѣсь, какъ во всякой серіи явленій природы, мы имѣемъ, не смотря на рѣзкое различіе между крайними членами этой серіи, рядъ переходныхъ формъ въ высокой степени важныхъ для уразумѣнія даннаго явленія. Человѣческое общество не есть организмъ, никогда не можетъ имъ стать, и общеупотребительное выраженіе „общественный организмъ", пожалуй, и удобное, какъ метафора, не имѣетъ реальнаго значенія. Тѣмъ не менѣе общество постоянно обнаруживаетъ тенденцію къ развитію по органическому типу, временами проявляющуюся съ особенною силою, но всегда встрѣчающую препятствіе въ высокой организаціи человѣка. Высота же эта измѣряется степенью побѣды человѣческой индивидуальности надъ индивидуальностями, въ свою очередь входящими въ его составъ. Этого послѣдняго положенія, весьма важнаго для пониманія теоріи борьбы за индивидуальность, гг. Бердяевъ и Струве даже не коснулись. Не стану и я развивать его здѣсь. Интересующіеся благоволятъ обратиться въ особенности къ послѣднимъ главамъ статьи: „Патологическая магія", а также къ брошюрѣ г. Красносельскаго „Міровоззрѣніе гуманиста нашего времени".

Такова объективная сторона ученія о борьбѣ за индивидуальность. Это просто описаніе и выясненіе фактически существующихъ отношеній между различными ступенями индивидуальности *), въ которое не влито ни капли морали, симпатіи или антипатіи, одобренія или неодобренія. Исключеніемъ можетъ показаться только слово

*) Г. Бердяевъ говоритъ въ одномъ мѣстѣ, что общество не есть индивидуальность, индивидуализированная единица (а не только не организмъ). Полагаю, что это просто lapsus.

„совершенный“: „человѣкъ есть существо настолько сложное и разнородное или *совершенное*, что не можетъ уже войти въ составъ такого *совершеннаго* общества, какъ сифонофора“. Замѣтятъ, можетъ быть, что совершенное съ одной точки зрѣнія часто оказывается несовершеннымъ съ другой. Но мѣриломъ совершенства я принялъ извѣстный общепризнанный, чисто объективный законъ Бэра, на которомъ, собственно говоря, покоится вся идея эволюціи. Можно, однако, пожалуй, и устранить это подозрительное слово, замѣнивъ степень совершенства степенью сложности, разнородности и концентраціи состава. Отъ этого ничего не измѣнится. „Міропорядокъ“ (по крайней мѣрѣ, въ предѣлахъ жизни) представится намъ всетаки въ видѣ необъятной системы индивидуальностей, изъ которыхъ каждая стремится къ все большей сложности, разнородности и концентраціи своего состава, борясь и съ низшими, и съ высшими индивидуальностями и то побѣждая, то терпя пораженіе въ этой неустанной борьбѣ на два фронта. Общей цѣли этого міропорядка мы не знаемъ и не можемъ знать, она для насъ не существуетъ, и мы склонны видѣть въ этой вѣковѣчной борьбѣ, съ человѣческой точки зрѣнія, скорѣе безпорядокъ, лишенный всякаго нравственнаго смысла и цѣли. Но это не исключаетъ, конечно, необходимости и возможности нравственности и телеологіи, только не объективной, которой тщетно ищутъ гг. Бердяевъ и Струве, а субъективной. Въ безконечномъ потокѣ стремящихся къ все большей и большей сложности и самостоятельности индивидуальностей разныхъ степеней, вѣчно борющихся между собой съ различными результатами борьбы, есть одна—и только одна—волна, за судьбами которой мыслящій человѣкъ не можетъ не слѣдить съ извѣстной тревогой. Это—человѣкъ, человѣческая личность; ибо только ея жизнь можетъ онъ переживать, только ей сочувствовать, сострадать и сорадоваться. Повинуясь объективному, стихійному закону борьбы за индивидуальность, онъ именно ее, эту борьбу, долженъ сознательно поставить цѣлью своей жизни, на ея побѣдѣ построить свой идеалъ. Здѣсь и лежитъ точка примиренія объективнаго и субъективнаго, правды-истины и правды-справедливости.

Мнѣ трудно—въ особенности въ настоящую минуту—развивать въ бѣглой полемической замѣткѣ эти положенія, въ свое время обставленныя, мнѣ кажется, довольно хорошо. Мнѣ особенно жаль, что не удалось коснуться тѣхъ осложненій, которыя вносятся въ борьбу за индивидуальность фактомъ существованія въ самомъ об-

ществѣ (человѣческомъ) цѣлой градаціи индивидуальностей (семья, родъ, сословіе, классъ, цехъ, государство, церковь и проч.). Въ непродолжительномъ времени, я надѣюсь примѣнить эти общія положенія къ новому, до сихъ поръ не тронутому или почти не тронутому мною матеріалу. Теперь я хотѣлъ только напомнить ихъ.

Въ № 4 „Научнаго Обозрѣнія" д-ръ философіи М. М. Филипповъ сдѣлалъ мнѣ репримандъ... Почтенный редакторъ „Научнаго Обозрѣнія", между прочимъ, „предвидитъ, что г. Михайловскій найдетъ въ какой-нибудь изъ своихъ старыхъ статей мѣсто, гдѣ нѣчто подобное (тому, что утверждаетъ г. Филипповъ) и имъ самимъ утверждалось". Нѣтъ, я не стану искать такихъ мѣстъ, мнѣ чужда честолюбивая мысль сравняться въ чемъ бы то ни было съ г. Филипповымъ. Но мнѣ дѣйствительно пришлось рыться въ своихъ старыхъ статьяхъ по поводу одной подробности репримандa г. Филиппова.

Г. Филипповъ недоволенъ тѣмъ, что я его называю докторомъ философіи... Онъ пишетъ: „Представимъ себѣ, что г. Михайловскаго рано или поздно изберутъ — ну, хотя бы въ почетные академики. Едва-ли было бы остроуміемъ высокаго сорта, если бы кто нибудь сталъ съ полемическими цѣлями назойливо именовать г. Михайловскаго не иначе, какъ „почетнымъ академикомъ Михайловскимъ". Но именно къ такому ребяческому пріему прибѣгаетъ г. Михайловскій, упорно повторяя мою ученую степень". А въ подстрочномъ примѣчаніи къ этому мѣсту напечатано: „Вообще ученыя званія и степени не даютъ покоя г. Михайловскому. Не онъ-ли переименовалъ приватъ-доцентовъ въ приватъ-звонарей—остроуміе, которому могъ бы позавидовать самъ г. Дорошевичъ"!

Г. Дорошевичъ дѣйствительно чрезвычайно остроумный писатель, и мнѣ было бы очень лестно превзойти его въ остроуміи, но бѣда въ томъ, что г. Филипповъ — плохой судья въ этомъ отношеніи. На оберткѣ „Научнаго Обозрѣнія" ежемѣсячно печатается: „Изданіе П. П. Сойкина подъ редакціей д-ра философіи М. М. Филиппова" и сообщается „личный адресъ редактора": „д-ру философіи М. М. Филиппову". Есть довольно много переводныхъ сочиненій, изданныхъ подъ редакціей „д-ра философіи М. М. Филиппова". Въ прошломъ году я читалъ въ московскихъ газетахъ, что „д-ръ философіи М. М. Филипповъ" прочтетъ въ такомъ-то залѣ такую-то публичную лекцію.

Въ прошломъ же году я читалъ въ „Сѣверномъ Курьерѣ“ объявленіе о литературномъ вечерѣ, въ которомъ, дескать, примутъ участіе такія-то и такія-то лица, въ томъ числѣ „д-ръ философіи М. М. Филипповъ“. И если и я называю М. М. Филиппова д-ромъ философіи, то, спрашивается, при чемъ же тутъ остроуміе,—остроуміе и „полемическія цѣли“? Вѣдь не заподозрятъ же меня въ желаніи острить и въ полемическихъ цѣляхъ, если я назову академиковъ Фаминцына или Бекетова академиками, профессоровъ Шимкевича или Карѣева профессорами и т. п.

Другое дѣло „приватъ-звонари“. Тутъ есть какой-то намекъ на остроту. Но гдѣ же это я переименовалъ приватъ-доцентовъ въ приватъ-звонарей? Рѣшительно не помню. Однако, если д-ръ философіи М. М. Филипповъ утверждаетъ, что переименовалъ, такъ значитъ переименовалъ. И вотъ я роюсь въ шести томахъ своихъ сочиненій, чтобы найти забытое мною мѣсто, гдѣ я такъ глупо съострилъ, потому что вѣдь это, въ самомъ дѣлѣ, глупо. Искалъ, искалъ и хотѣлъ уже бросить поиски и смиренно принять репримандъ г. Филиппова, какъ вдругъ совершенно случайно напалъ на стр. 487 тома IV, гдѣ, по поводу біографіи поэта Никитина, говорится объ отживающемъ типѣ „литературнаго человѣка“: „Это былъ, если не самъ служитель Аполлона и музъ, то, по крайней мѣрѣ, приватъ-звонарь храма литературы“. А на стр. 491, по поводу послѣдней турецкой войны, идетъ рѣчь о воинствующихъ газетныхъ руководителяхъ, въ частности о г. Суворинѣ: „Они не больше, какъ приватъ-звонари при храмѣ славы“. Ну, слава Богу, — подумалъ я, удовлетворенно закрывая книгу, — можетъ быть, это и не очень остроумно, но во всякомъ случаѣ не такъ глупо, какъ изобразилъ д-ръ философіи. Только зачѣмъ заставилъ онъ меня потратить время на поиски когда-то мимоходомъ сказаннаго и давно забытаго слова? А выводъ отсюда во всякомъ случаѣ такой: если д-ръ философіи М. М. Филипповъ утверждаетъ, что кто-нибудь что-нибудь во что-нибудь переименовалъ, то это вовсе не значитъ, чтобы все это такъ и было въ дѣйствительности.

Вернемся теперь къ докторству г. Филиппова. Называть д-ра философіи д-ромъ философіи, конечно, не значитъ остроумничать. Но есть всетаки что-то комическое въ томъ, что ученая степень г. Филиппова поминается и на оберткѣ журнала, въ которомъ онъ участвуетъ, и въ объявленіяхъ о публичныхъ лекціяхъ, и даже въ объявленіяхъ о литературномъ вечерѣ, что и письма ему надо адре-

совать опять же „д-ру философіи". Въ томъ же № 4 „Научнаго Обозрѣнія" есть статьи „проф." П. Казанскаго", „проф. Л. Сакетти", „проф. Ниса", „проф. А. Трачевскаго", и никого эти титулы не удивляютъ и не смѣшатъ. А „д-ръ философіи"—смѣшно. Зависитъ это отчасти просто отъ установившагося обычая: у насъ, что называется, принято подпысываться „проф". и не принято подписываться „д-ръ философіи". Но есть тутъ и другая причина. Заключается она въ томъ, что означенные „проф". суть настоящіе профессора или были ими, а д-ръ философіи М. М. Филипповъ не совсѣмъ настоящій д-ръ философіи. Дѣло не въ заслугахъ почтеннаго доктора передъ наукой,— надѣюсь, что г. Неждановъ лишь по недоразумѣнію прибавляетъ къ его имени эпитетъ „невѣжественный",—а въ самомъ титулѣ. Для полученія степени доктора въ Россіи требуется пройти степень магистра, то есть выдержать магистерскій экзаменъ и представить и защитить на публичномъ диспутѣ научную работу, а затѣмъ представить и защитить еще одинъ такой же ученый трудъ. Этотъ длинный и не легкій искусъ не существуетъ для германскаго доктора, вслѣдствіе чего М. М. Филипповъ, получившій степень доктора философіи за границей, не пользуется у насъ никими правами, связанными съ этимъ титуломъ, который является лишь ничего не значущимъ украшеніемъ. Носить его не возбраняется но если бы г. Филипповъ пожелалъ занять профессорскую каѳедру, то ему пришлось бы начать съ превращенія изъ поповъ даже не въ дьяконы, а въ дьячки и пройти съ самаго низа всю ту лѣстницу, которая обязательна для русскаго ученаго. Словомъ, заграничный докторъ философіи есть совсѣмъ не докторъ философіи въ Россіи, и званіе это не есть какая бы то ни было ученая степень. Прибавьте къ этому наши русскіе нравы и обычаи, въ силу которыхъ, напримѣръ, на обложкѣ „Вѣстника Европы" не значится, что этотъ журналъ издается и редактируется докторомъ историческихъ наукъ, хотя г. Стасюлевичъ уже пятьдесятъ лѣтъ есть докторъ, притомъ настоящій, а не заграничный. Естественно, что г. Филипповъ, который, будучи лишь, такъ сказать, титулярнымъ докторомъ философіи, и журналъ въ качествѣ таковаго редактируетъ, и въ простомъ литературномъ вечерѣ таковымъ анонсируется, и въ своемъ „личномъ адресѣ" таковымъ титулуется,—естественно, говорю, что онъ производитъ нѣсколько комическое впечатлѣніе.

Что касается недовѣрія, обнаруживаемаго, какъ русскимъ закономъ, такъ и русскимъ общественнымъ мнѣніемъ по отношенію къ

заграничнымъ докторскимъ дипломамъ, то, надо признаться, оно имѣетъ нѣкоторыя основанія. Не говоря о той легкости, съ которою они получаются совершенно легальнымъ путемъ, при выдачѣ ихъ практикуются разныя злоупотребленія. Не знаю, какъ теперь, но еще недавно докторскій дипломъ можно было просто купить въ Германіи. Это не значитъ, разумѣется, чтобы въ Германіи не было докторовъ, справедливо пользующихся высокимъ авторитетомъ,— заслуги германскихъ представителей науки слишкомъ извѣстны. Охотно вѣрю, что ученые труды, за которые г. Филипповъ увѣнчанъ степенью доктора философіи (я ихъ, къ сожалѣнію, не знаю), ни въ чемъ не уступаютъ трудамъ первоклассныхъ нѣмецкихъ ученыхъ, но вообще-то нѣмецкій дипломъ доктора философіи не дорого стоитъ, хотя за него, можетъ быть, иногда и большія деньги платятся. Разсказываютъ такой анекдотъ. Одинъ взбалмошный американскій мильонеръ пожелалъ украсить себя титуломъ нѣмецкаго доктора философіи и безъ труда получилъ за деньги соотвѣтственный дипломъ. Но затѣмъ ему вздумалось посмѣяться надъ удовлетворившимъ его желаніе университетомъ, и онъ обратился къ нему съ просьбой выдать за хорошее вознагражденіе дипломъ и его, мильонера, лошади. Представители университета оказались, однако, остроумнѣе и находчивѣе, чѣмъ ожидалъ взбалмошный американецъ. Они отвѣтили: намъ случается выдавать дипломы осламъ, но лошадямъ—никогда!

Повторяю, я не сомнѣваюсь въ высокомъ научномъ значеніи тѣхъ трудовъ, за которые М. М. Филипповъ получилъ дипломъ доктора философіи. Я только стараюсь объяснить, почему этотъ титулъ производитъ въ данномъ случаѣ комическое впечатлѣніе.

Изданія редакціи журнала „РУССКОЕ БОГАТСТВО“:

(*С.-Петербургъ*—контора редакціи, Баскова ул., 9; *Москва*—отдѣленіе конторы, Никитскія Ворота, д. Гагарина).

Д. Айзманъ. ЧЕРНЫЕ ДНИ. Очерки и разсказы. Ц. 1 р.

С. Ан—скій. ОЧЕРКИ НАРОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Ц. 80 к.

П. Булыгинъ. РАЗСКАЗЫ. Ц. 1 р. 50 к.

Діонео. ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОЙ АНГЛІИ. Ц. 1 р. 50 к.

— АНГЛІЙСКІЕ СИЛУЭТЫ. Ц. 1 р. 50 к.

Вл. Короленко. ОЧЕРКИ и РАЗСКАЗЫ. Кн. первая. *Десятое* изданіе. Ц. 1 р. 50 к.

— ОЧЕРКИ и РАЗСКАЗЫ. Кн. вторая. *Шестое* изданіе. Ц. 1 р. 50 к.

— ОЧЕРКИ и РАЗСКАЗЫ. Кн. третья. *Второе* изданіе. Ц. 1 р. 25 к.

— СЛѢПОЙ МУЗЫКАНТЪ. *Десятое* изданіе. Ц. 75 к.

— ВЪ ГОЛОДНЫЙ ГОДЪ. *Пятое* изданіе. Ц. 1 р.

— БЕЗЪ ЯЗЫКА. Разсказъ. *Третье* изданіе. Ц. 75 к.

Н. Кудринъ. ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦІИ. *Второе* изданіе. Ц. 1 р. 50 к.

Ек. Лѣткова. МЕРТВАЯ ЗЫБЬ. Повѣсти и разсказы. Т. I. *Второе* изданіе. Ц. 1 р.

— ОТДЫХЪ. Повѣсти и разсказы. Т. II. *Второе* изданіе. Ц. 1 р.

— РАБЪ. Повѣсти и разсказы. Т. III. Ц. 1 р.

Л. Мельшинъ. ВЪ МІРѢ ОТВЕРЖЕННЫХЪ. Записки бывшаго каторжника. Т. I. *Третье* изданіе. Ц. 1 р. 50 к.

— ВЪ МІРѢ ОТВЕРЖЕННЫХЪ. Т. II. *Второе* изданіе. Ц. 1 р. 50 к.

— ПАСЫНКИ ЖИЗНИ. Разсказы. *Второе* изданіе. Ц. 1 р.

— ОЧЕРКИ РУССКОЙ ПОЭЗІИ. Ц. 1 р. 50 к.

Н. К. Михайловскій. СОЧИНЕНІЯ. *Шесть* томовъ, по 2 руб. каждый томъ.

— ЛИТЕРАТУРНЫЯ ВОСПОМИНАНІЯ и СОВРЕМЕННАЯ СМУТА. *Второе* изданіе. Два тома., по 2 р. каждый томъ.

— ОТКЛИКИ. Томъ I. Ц. 1 р. 50 к.
„ Томъ II. Ц. 1 р. 50 к.

— ПОСЛѢДНІЯ СОЧИНЕНІЯ. Томъ I. Ц. 1 р. 50 к.

— ПОСЛѢДНІЯ СОЧИНЕНІЯ. Томъ II. Ц. 1 р. 50 к. (Печатается).

А. О. Немировскій. НАПАСТЬ. Повѣсть. Ц. 1 р.

А. В. Пѣшехоновъ. НА ОЧЕРЕДНЫЯ ТЕМЫ. Ц. 1 р. 50 к.

Сборникъ „РУССКАГО БОГАТСТВА“ (1899 г.). Часть первая. Беллетристика. Ц. 2 р.

— Часть вторая. Публицистика. Ц. 1 р.

С. Н. Южаковъ. ДОБРОВОЛЕЦЪ-ПЕТЕРБУРГЪ. Ц. 1 р. 50 к.

П. Я. СТИХОТВОРЕНІЯ. Т. I. *Пятое* изданіе. Ц. 1 р.

— СТИХОТВОРЕНІЯ. Т. II. *Второе* изданіе. Ц. 1 р.

— РУССКАЯ МУЗА. Собраніе лучшихъ, оригинальныхъ и переводныхъ стихотвореній русскихъ поэтовъ XIX вѣка. Съ приложеніемъ образцовъ юмористической поэзіи. Въ книгѣ **больше 30.000 стиховъ.** Произведеніямъ почти каждаго поэта предпослана краткая характеристика. Ц. 1 р. 75 к.

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ И НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ.

РУССКОЕ БОГАТСТВО,

ИЗДАВАЕМЫЙ ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ **Вл. Г. КОРОЛЕНКО**

и при ближайшемъ участіи **Н. Ѳ. Анненскаго, А. Г. Горнфельда, Діонео, А. И. Иванчинъ-Писарева, Н. Е. Кудрина, П. В. Мокіевскаго, В. А. Мякотина, А. В. Пѣшехонова, Реуса, С. Н. Южакова и П. Ф. Якубовича (Л. Мельшина).**

На годъ съ доставкой и пересылкой **9** р., безъ доставки въ Петербургѣ и Москвѣ **8** р., за границу **12** р. Адресъ: **Петербургъ**, Баскова ул., 9; **Москва**, Никитскія Ворота, д. Гагарина.—При непосредственномъ обращеніи по этимъ адресамъ допускается **разсрочка**: при подпискѣ **5** р. и къ 1-му іюля **4** р., или при подпискѣ **3** р., къ 1-му апрѣля **3** р. и къ 1-му іюля **3** р. **Книжные магазины, библіотеки, земскіе склады и потребительныя общества** могутъ удерживать за коммиссію и пересылку денегъ только **40** коп. съ каждаго годового экземпляра. Подписка въ разсрочку отъ нихъ не принимается.

[illegible] ВОСПОМИНАНІЯ [illegible]
[illegible] ГУСТА [illegible]
ОТЕЧЕСТВ. [illegible] II. 1 р. 50 к.
[illegible] II. 1 р. 50 к.
ПОСЛѢДНІЯ СОЧИНЕНІЯ [illegible] II. 1 р. 50 к.
ПОСЛѢДНІЯ СОЧИНЕНІЯ [illegible] II. 1 р. 50 к. (Новинкина).
А. П. [illegible] НАПАСТЬ. [illegible] II. 1 р.
А. Н. [illegible] ГЛА ОЧЕРЕДНОЙ ГЕЛЕЙ II. 1 р. 50 к.
[illegible] ДРЕВЕСТВО БОГАТСТВА [illegible] 1899 г. [illegible] II. 2 р.
[illegible] II. 1 р.
С. Н. Ю[illegible] ПЕТЕРБУРГЪ. II. 1 р. 50 к.
П. Я. СЛУЖОТОРЕНІЯ. [illegible] II. 1 р.
— СТИХОТВОРЕНІЯ. [illegible] II. 1 р.
— РУССКАЯ МУЗА. [illegible]

РУССКОЕ БОГАТСТВО,

[illegible] Вл. Г. КОРОЛЕНКО
[illegible]

PG
3011
M474
t.1

Mikhailovskiĭ, Nikolaĭ
Konstantinovich
Posledniia sochineniia
t. 1

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY